Мой XX век
И жить еще надежде...
Александр Городницкий

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Каждый геолог хоть раз в жизни спел песню под гитару у костра. Некоторые сочиняли песни сами — и их пели участники экспедиций.

Но чтобы песни геолога запела вся страна — такого, наверное, не бывает…

Бывает. «Атланты» и «Снег», «Над Канадой» и «Перекаты», «Донской монастырь» и «Жена французского посла» не звучали по радио и телевидению, но их пели тысячи людей, зачастую даже не зная имени их автора — Александра Городницкого.

Его судьба — яркое воплощение феномена, возникшего в России в середине 60-х годов, когда человек с гитарой стал выразителем мыслей и чувств миллионов.

Феномен этот назывался «авторской песней», а имена тех, кого впоследствии стали называть «бардами» — Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Александра Галича, Юлия Кима, — были у всех на слуху.

Но в своих воспоминаниях Александр Городницкий рассказывает не только об авторской песне.

Ученый с мировым именем, он объездил весь свет, был на Северном полюсе и в Антарктиде, погружался на океанское дно и искал затонувшую Атлантиду. Рассказы о путешествиях, написанные то лирично, то с тонкой иронией, составляют отдельную часть книги.

- Александр Городницкий
  - Вместо предисловия
  - Глава 1
    - Седьмая линия
    - Новая Голландия
    - Что пели мы в студенчестве своем
  - Глава 2
    - На материк
    - Светила над снастями
    - Жена французского посла
    - Под водою лежит Атлантида
  - Глава 3
    - А на Арбате падает снежок
    - Спасибо, что петь разрешили
    - Театральная сюита
  - Глава 4
    - Путешествие к теплому морю

- Уроки немецкого
- Глава 5
  -
  - «Я говорил от имени России»
  - «Повремени, певец разлук»
  - Последний летописец
  - «Единственный свидетель уходящего столетия»
  - Имени Окуджавы
  - Не пойте без меня

Александр Городницкий
И жить еще надежде…

Вместо предисловия

Несколько лет назад в моем родном Питере на авторском вечере ко мне подошла очень красивая девушка, дотронулась до меня рукой, чтобы убедиться в реальности моего существования, и удивленно сказала: «Как, разве это вы «Снег» написали? Я эту песню еще в детском саду пела». И с явным разочарованием добавила: «Я думала, вы уже давно умерли».

Смешная эта реплика заставила меня с грустью подумать о том, что литературно-музыкальный жанр, возникший в нашей стране где-то в начале 60-х годов и получивший не очень точное название «авторская песня», сейчас, на рубеже третьего тысячелетия, стремительно и невозвратно уходит в прошлое и становится историей, обрастая легендами и небылицами.

На другом выступлении, в Москве, совсем недавно, я получил записку с таким вопросом: «Скажите, а кто были ваши любимые барды, когда вы учились в школе?» Мои робкие попытки объяснить, что когда я учился в школе, никаких бардов и самого понятия авторской песни еще не было и в помине, вызвали недоумение в аудитории, состоявшей главным образом из молодежи. Еще бы, — ведь теперь авторская песня включена в школьные программы по литературе.

Мы, поредевшее поколение шестидесятников, дожили до рубежа тысячелетий, когда песни и стихи как будто перестали быть нужны. На наших глазах распадается тысячелетняя романовско-сталинская империя, бывшие окраины которой уже охвачены межнациональными, а по существу, гражданскими войнами. Их ползучее пламя медленно, но неуклонно стремится к центру. «Когда говорят пушки, музы молчат». Именно так все и происходит. На юге России свистят бомбы и снаряды, громыхают орудия и ракетные установки, а поэты безмолвствуют. На смену бесконечной чеченской войне спешат дагестанская и азиатская. Взрывы сотрясают Москву, унося десятки человеческих жизней. Телеэкраны, эфир, газеты и журналы наполнены криминалом, кровью, порнографией и цинизмом. Политики истерически кричат, обличая друг друга от имени народа, а достоверность этих обличений проверке не поддается. Всеобщая усталость, раздражение и разочарование достигли опасного предела.

Тихая, требующая глубоких раздумий стихотворная строка, негромкое звучание гитарной струны, приглашающее к доверительному разговору, — все это осталось в прошлом и сегодня как будто не востребовано. Песен в стране не слышно. Только дискотеки оглушительно гремят, перекрывая пальбу.

Может быть, и впрямь что-то необратимо поменялось в отношениях между людьми, оглохшими от рева толп и выстрелов и способными теперь слышать только выкрики под оглушительные удары электрогитар и бой барабанов?

Для меня Родина — не только страна, где я родился, но и эпоха, в которой я вырос и жил. И меня невольно охватывает ностальгия по невозвратно миновавшему времени «поющих шестидесятых», поре недолгих юношеских надежд, короткой хрущевской оттепели и первой волны гласности, вызвавшей к жизни среди прочего такое странное явление, как авторская песня, охватывает печаль по ушедшим из жизни друзьям.

Предлагаемые читателю записки не стоит воспринимать как документальное историческое повествование. Это прежде всего воспоминания о людях, с которыми мне довелось встречаться и без которых моя жизнь могла бы сложиться иначе.

Что-то здесь взято из материалов моей книги «След в океане», опубликованной в 1993 году, что-то написано позднее. Приведенные в книге размышления по поводу авторской песни отражают мою личную точку зрения и на объективность также не претендуют.

После первой публикации моих воспоминаний я получил множество писем от читателей, в том числе от бывших однокашников по школе и институту, от геологов и летчиков, с которыми я работал в Заполярье, от моряков, с которыми плавал, писем с дополнениями и замечаниями. Дело в том, что я никогда не вел дневников и писал по памяти, поэтому детали отдельных событий могли быть неточны. Пользуюсь случаем, чтобы выразить признательность моим друзьям, знакомым и коллегам за высказанные замечания.

Из полученных писем хотелось бы выделить три. Первое написал старейший капитан Дальневосточного пароходства Виталий Витольдович Радынский, мой давний знакомец по Владивостоку. «Дорогой Саша, я с интересом прочел твою книгу. Такая яркая биография, — экспедиции в Арктику, на Северный полюс, погружения на дно океана, поиски Атлантиды, дружба с Высоцким. Твоя жизнь могла бы стать поучительным примером для молодежи, однако, к сожалению, не станет таковой, ибо вся книга наполнена неприличными сексуальными историями и подробностями». Далее идет подробное перечисление: «Страница 8, 5-я строка сверху, страница 12, 7-я строка снизу» и так далее. Письмо примерно такого же содержания я получил из Петербурга от старейшего собирателя авторской песни бывшего фронтовика Николая Федоровича Курчева. Только страницы и строчки отмечены были другие. Почти в это же время я получил письмо от

женщины из Екатеринбурга: «Дорогой Александр Моисеевич. Я давняя поклонница Ваших песен и прочитала Вашу книгу, как детектив, почти не отрываясь. Однако книга меня расстроила. Дело в том, что я недавно пережила серьезную семейную драму. Мой муж оказался горьким алкоголиком, и я вынуждена была уйти от него с двумя детьми. Вся же Ваша книга — сплошной панегирик пьянству: 23 страница, 4-я строка сверху» и т. д. Я приуныл. А тут еще некстати вспомнилось: моя жена, перелистав рукопись перед тем, как я отвез ее в издательство, отодвинула ее в сторону и недовольно сказала: «У настоящего мужчины было бы что вспомнить в жизни, а у тебя только пьянка и бабы — больше ничего». Я приуныл окончательно. Меня, однако, утешил мой давний друг поэт Игорь Губерман, который, прочитав мои воспоминания, заметил: «Старик, я с трудом осилил твою писанину. Очень скучно, — какие-то экспедиции, наука, Атлантида. Ни любви, ни выпивки».

Надеюсь, что с этой книгой подобных проблем не возникнет.

Глава 1
Российских провинций столица

Седьмая линия

Моя память с возрастом, как и слабеющее зрение, делается дальнозоркой, — я начисто забываю события недавних дней и неожиданно для себя отчетливо вижу разрозненные картинки далекого детства. Так, например, мне ясно вспоминается, как в 36-м году с Андреевского собора, неподалеку от которого стоял наш дом на Васильевском острове в Ленинграде, срывали кресты. Примерно в то же время была взорвана часовня Николы Морского на Николаевском мосту, названном так по этой часовне. После революции мост переименовали в честь лейтенанта Шмидта. Саму же часовню, по преданию, не трогали до смерти академика Ивана Петровича Павлова, жившего в «доме академиков» на углу Седьмой линии и набережной Невы. Великий физиолог был верующим и регулярно посещал эту часовню. Сразу же после его смерти часовню взорвали, но то ли постройка была крепкой, то ли взрывчатку пожалели, а вышло так, что распалась она на три больших части, которые долго потом разбирали вручную. Отец рассказывал, что мы с ним как-то проходили мимо взорванной часовни и я спросил у него: «Папа, когда ее склеят?»

Я родился на Васильевском острове и могу считать себя островитянином. Первые зрительные воспоминания связаны для меня с такой картиной: в начале моей родной улицы, перегораживая ее, сереют грузные корпуса судов, а над крышами окрестных домов торчат корабельные мачты.

Седьмая линия Васильевского острова между Большим и Средним проспектами, где располагался наш дом, беря свое начало от набережной Невы, в конце своем упирается в речку Смоленку. Как известно, по дерзкому замыслу Петра василеостровские линии и должны были быть поначалу не улицами, а каналами, соединявшими рукава Невы. Обывателям же василеостровским вменялось в обязанность иметь лодки «дабы по этим каналам ездить». Однако первый санктпитербурхский губернатор, вороватый «светлейший князь Ижорский» большую часть отпущенных казной для рытья каналов денег употребил на обустройство своего роскошного дворца на василеостровской набережной, развернув его фасадом вопреки воле Государя к Неве вместо здания Двенадцати Коллегий. Каналы поэтому получились узкие, непроточные и такие грязные, что их пришлось засыпать.

Я называю себя ленинградцем, ибо звукосочетание «Ленинград» услышал задолго до того, как узнал имя человека, с которым оно связано. Кроме того, мне трудно называть блокаду «Петербургской». Конечно, умом я понимаю, что Великому и

многострадальному городу необходимо вернуть историческое имя, и все-таки…

Повернуть к истокам не старайтесь реки, —
С прошлым не проститься нам, громко хлопнув дверью.
Общим кровотоком связаны навеки
Сталинград с Царицыным и Калинин с Тверью.
Запахи квартирные, храмы обезглавленные.
Лозунги плакатные, блочные коробки.
Петербуржцы мирные почивают в Лавре.
Узники блокадные спят на Пискаревке.
Кто в своей могиле первым должен сдаться.
Поделив обильные горести и славу.
Как их поделили Гданьск и прежний Данциг.
Вильнюс с прежним Вильно, Вроцлав и Бреслау?
Не мечите слово в разговорах страстных:
Нет пути хорошего в этой теореме, —
Если можно снова отобрать пространство,
То отнять у прошлого невозможно время.
Долгая там будет путаница с письмами.
Длительные прения в песнях и стихах.
Где посмертно люди навсегда прописаны
В разных измерениях, в разных городах.

Я родился в 1933 году, когда большинство старых «питерских» названий улиц, площадей, мостов и даже пригородов было уже изменено на новые, «послереволюционные». Дворцовая площадь носила имя Урицкого, которого здесь застрелили, Марсово поле называлось Площадью жертв революции. Это название всегда представлялось мне нелогичным, так как жертвы революции, как мне тогда казалось, — это прежде всего капиталисты и помещики. Невский проспект переименовали в Проспект 25 Октября, а Садовую — в Улицу 3 Июля. В связи с этим рассказывали анекдот. Старушка спрашивает: «Скажи, сынок, как мне к Невскому добраться?» — «А вот садись, бабка на остановке Третьего июля, — как раз к Двадцать пятому октября и доедешь». — «Что ты, милок, — мне раньше надо». Уже после войны, когда отовсюду активно вытравливался немецкий дух, Петергоф был переименован в Петродворец. Другое такое же переименование породило чисто питерскую шутку, непонятную москвичам: «Как девичья фамилия Ломоносова?» — «Ораниенбаум». Интересно, что в годы моего довоенного детства пожилые люди обычно употребляли старые питерские названия, упорно игнорируя советские переименования. Теперь, когда

вернули старые названия, я, сам став пожилым, почему-то предпочитаю привычные уху имена моего детства, называя Каменноостровский Кировским, а улицу Первой роты — Первой Красноармейской.

Будучи коренным василеостровцем (или василеостровчанином?), я всегда интересовался происхождением питерских названий. Так, не без удивления я обнаружил, что название Голодай (отдаленный приморский край Васильевского) к слову «голод» никакого отношения не имеет. Просто заселившие Васильевский остров при Петре иностранцы в конце недели отправлялись сюда на взморье проводить свой «holyday». Название пригородного поселка Шушары по Московскому шоссе тоже появилось при Петре. Там на тракте стояла городская застава, и обывателей, имевших документ, пропускали в столицу, а «беспачпортную шушеру» тормозили здесь, за пределами города, где она и селилась.

Дом тридцать восемь по Седьмой линии, где мои родители занимали в коммунальной квартире на втором этаже узкую, как щель, тринадцатиметровую комнатушку с окном, упершимся в черный колодец двора, был старым шестиэтажным доходным домом, да и сама квартира, принадлежавшая раньше, видимо, одной весьма состоятельной семье, была когда-то довольно комфортабельной, о чем говорили лепные узоры на высоких потолках прежних больших комнат, рассеченных тонкими перегородками на тесные клетушки. Из соседей по коммуналке более других запомнился мне высокий, статный, седой зубной врач Соломон Исаакович Курдик, возможно потому, что давал мне иногда поиграть свою трость, увенчанную красивой рукояткой в форме собачьей головы с зелеными прозрачными глазами. Давний друг моих родителей еще по Могилеву Марк Соломонович Гордон вспоминал, что когда они ходили к нам в гости, то ориентировались не по номеру нашего дома, который не помнили, а по вывескам зубных врачей: «Справа — Шик, слева — Брик, а посредине — Курдик».

Мои отец и мать родились в губернском городе Могилеве в Белоруссии, откуда отец приехал в Ленинград учиться в конце 20-х годов. Дед мой по отцовской линии был по профессии шорником и имел в Могилеве собственную мастерскую. Переживший трех царей, он отличался крепким здоровьем, религиозностью и редким трудолюбием. Работал не покладая рук до 80 лет и умер, простудившись на чьей-то свадьбе, в 84 года. Более всего любил париться в русской бане. Отец мой вспоминал, что уже в последние годы жизни деда, приезжая из Ленинграда в Могилев, он возил его на извозчике париться в баню, поскольку

без посторонней помощи дед добраться туда не мог. В бане, однако, отец старался сесть от деда подальше, чтобы не ошпариться брызгами кипятка, долетавшими из его шайки. Несмотря на преклонный возраст, дед не менее двух раз ходил в парилку. Отец помогал ему забраться на полок и подавал веник, а сам садился на нижнюю полку, поскольку горячего пара не выносил.

Недавно мне в руки попал чудом уцелевший рыжий и выцветший фотоснимок 1911 года, на котором изображен дед за станком в своей мастерской и стоящий рядом трехлетний отец, и я с грустью подумал, что почти ничего не знаю о своей родословной.

Предназначенный для счастья.
Словно страус для полета.
Я взираю безучастно
На коричневое фото.
Тает город в серой дымке
Над помятым документом.
Дед на выгоревшем снимке
Шарит шорным инструментом.
Нацепив очки и фартук,
Спину гнет, не зная грусти.
Отпрыск горестных сефардов
В могилевском захолустье.
Там сырою пахнет кожей.
Век иной и жизнь другая,
И отец трехлетний тоже
Что-то держит, помогая.
Вот и все, что соберу я
Из забытой родословной.
Та немыслимая сбруя
Развалилась безусловно.
Мне не нужен дедов опыт,
Ремесла его не жаль мне.
…А ночами снится топот
И заливистое ржанье.

Судя по воспоминаниям отца, к большевикам дед относился сдержанно, хотя именно им почему-то, возможно, из-за недостаточного технического образования, приписывал заслугу изобретения радио, которое, как известно, задолго до них придумали Маркони и Попов. «Нет, нет, это сделали они и сделали специально, — говорил он моему отцу, с опаской косясь

на вещающую хриплым голосом черную тарелку репродуктора в углу. — И знаешь зачем? Чтобы никто не мог думать сам. Потому что если человеку в ухо все время что-нибудь говорят, то он уже сам думать не может».

Много лет спустя, в декабре 1961 года, когда я впервые отправился в океанское плаванье на военном паруснике «Крузенштерн», оригинальное высказывание деда нашло неожиданное подтверждение в реплике нашего замполита. Когда я спросил его, почему по принудительной трансляции на судне весь день оглушительно грохочет радио, забивая уши, он ответил: «А это специально, чтобы матрос много не думал. За него другие думают».

Что же касается заблуждения о могуществе большевиков в области науки и техники, то оно до сих пор бытует довольно широко. Вспоминаю, как в начале 80-х, уже на другом судне, где я прочел для экипажа лекцию о дрейфе континентов, другой замполит спросил у меня: «Скажите, а мы можем управлять движением континентов?» «Кто это мы?» — переспросил я. «Как это кто? — удивился замполит. — Конечно, партия и правительство». «Нет, что вы, — замялся я, — человечество пока не в состоянии управлять таким сложным процессом». «Плохо работаете, — отрезал замполит, — должны научиться». А в пору перестройки и распада Союза мне домой в Москве позвонил корреспондент Би-би-си: «Профессор Городницкий? Мне вас рекомендовали как специалиста по строению земной коры. Мы хотели бы, чтобы вы прокомментировали заявление Звиада Гамсахурдия, что большевики специально устраивают землетрясения в Закавказье, чтобы подавить в Грузии движение за независимость». «Конечно, большевики многое могут, — ответил я, — но специально устраивать землетрясения они, слава Богу, еще не научились. Поэтому заявление Гамсахурдия либо глупость, либо, что вероятнее, — политическая провокация».

Бабушку свою по отцовской линии я помню смутно. Облик ее ассоциируется в памяти с острым ароматом антоновских яблок, лежащих на чердаке в ее могилевском доме, да еще, пожалуй, с торжественным обрядом варки всевозможных варений в сияющем подобно вечернему солнцу медном тазу, в процессе чего детям разрешалось лакомиться пенками. Была она непревзойденной мастерицей по части знаменитой еврейской кухни, прежде всего по фаршированию рыбы и изготовлению «тейгелех» — маленьких орешков из теста, вываренных в меду. Двигалась и говорила тихо. Когда немцы занимали Могилев, в августе 41-го, бабушка, уже покинув дом, решила вдруг вернуться за какими-то забытыми вещами. Она не слишком опасалась прихода немцев, хорошо

помня немецкую оккупацию Могилева в 1918 году, когда немцы торговали с местным населением и не вмешивались в его внутренние дела. Вместе с несколькими тысячами могилевских евреев она и ее сестры погибли в лагере уничтожения в Лупполово, где фашисты полуживыми закопали их в землю, не потрудившись толком расстрелять.

Родителей матери я практически не помню. Они умерли в эвакуации в Свердловске в годы войны.

Отец мой своей скромностью, трудолюбием и любовью к порядку пошел в деда. Более строптивым характером обладал его младший брат — Борис, мой дядя, ставший потом профессиональным военным. В 1916 году, пяти лет от роду, когда в Могилев, где размещалась Ставка Верховного Командования русской армии, прибыл Николай II, он ухитрился чуть не попасть под царский автомобиль, неожиданно перебежав перед ним улицу. Происшествие это не обошлось без вмешательства полиции и последующей взятки полицмейстеру, чтобы «замять дело». А пару лет спустя тот же Борис напоил валерьянкой козла и впустил его в комнату, где молился дед. Скандал был неимоверный. В младших классах школы, куда его определили, дядя отличался изрядным хулиганством. По свидетельству одноклассников, он публично посрамил грозного преподавателя математики, у которого была привычка двумя пальцами больно хватать провинившегося за нос и тащить его к доске. Ухватил он было и Бориса, но тот немедленно сморкнулся ему в ладонь.

Пятнадцати лет дядя мой добровольцем вступил в Красную Армию. В конце 30-х годов на Дальнем Востоке, где он уже офицером служил в химических частях, чуть не загремел, вместе с другими офицерами их полка, по обвинению в шпионаже. Правда, всех обвиняли в шпионаже в пользу Японии, а его тогда, в связи с фамилией Городницкий, — в пользу Польши. Все обошлось по чистой случайности — Ежова сменил Берия, и репрессии были временно приостановлены. Помню, как в 39-м, проездом в Мурманск, «на Финскую», он появился в нашей тесной комнатке на Васильевском, в дубленом, остро пахнущем овчиной полушубке, туго перепоясанный портупеей с кобурой, с «кубарями» в петлицах, сразу заполнив своим громким голосом и воинским снаряжением все наше небольшое жизненное пространство. Пережив Отечественную и дослужившись до подполковника, дядя вышел в отставку и поселился в Саратове.

Был он в свое время изрядным сердцеедом. Вспоминаю, как в 1966 году мы вместе с моим тогдашним начальником Николаем Николаевичем Трубятчинским в промозглую осеннюю погоду прибыли в командировку в Находку, в Военную Гидрографию,

договариваться о совместной экспедиции. В городской гостинице «Восток» пожилая хмурая администраторша нам сказала, что мест нет и не будет, да и вообще гостиница эта — для интуристов. «Я знаю, что надо делать, — шепнул мне в ухо Николай Николаевич. — Надо вложить в паспорт два червонца и дать ей». Так я и поступил и сказал, просовывая в окошечко паспорт: «Может быть, мы оставим паспорта на случай, если место вдруг освободится?» «Да зачем мне ваш паспорт?» — строго спросила администраторша и отпихнула его ладонью. Паспорт упал на ее столик и раскрылся, обнаруживая внутри две красненькие бумажки. К моему удивлению, неприступная дама, даже не взглянув на них, с интересом прочитала мою фамилию и спросила: «Это кто — Городницкий?» «Я — Городницкий», — несколько смущенный своей популярностью в этом далеком краю, произнес я. «Подождите, — сказала она, вдруг покраснев и начав поправлять свою «химическую» прическу, — вас двухместный «люкс» устроит? Тогда давайте и второй паспорт». Польщенный таким безотказным действием своей фамилии и приписывая все это, конечно, собственным песенным заслугам, я заполнил наши гостиничные анкетки. Принимая их, она спросила: «Лейтенант Городницкий, Борис, вам родственник?» «Только не лейтенант, а подполковник, — наконец начиная что-то понимать, ответил я. — Дядя мой». — «Ой, у меня смена через час кончается. Можно, я к вам зайду, вы мне про него расскажете. Всю жизнь его помню!!»

Неукротимый характер дядьки с годами не изменился. В феврале 1991 года, приехав в Саратов на его восьмидесятилетие, я услышал поведанную им историю, как ему накануне юбилея вручили тридцать рублей от парткома, чтобы он — ветеран войны — мог подписаться на газету «Правда». «Я еще тридцатник добавил, — хитро улыбаясь, сказал он, — и подписался на «Огонек»».

После выхода первого издания книги «И вблизи, и вдали» я послал ее ему в подарок. «Что ты там про меня понаписал? — позвонил он мне. — Я твою книжку у внуков держу, а то моя Клавдия Андреевна меня из дома выгонит. Кстати, ты не помнишь, как эту администраторшу звали — не Света?»

Мать моя родилась в многодетной семье, где было семеро детей. Всем им, несмотря на нужду, дали образование. Отец и мать познакомились в 1923 году в школе, во время соревнований на лучшую устную газету. В то время в моде были разного рода кружки, один из которых, литературный, собирался обычно в обширной квартире школьных друзей отца Гордонов. Душой кружка был старший из братьев Гриша Гордон, впоследствии ставший журналистом и безвременно умерший. Второй брат —

Павел Гордон, возможно, под влиянием этого кружка, стал известным поэтом-переводчиком, взяв себе в качестве псевдонима звучную фамилию Кобзаревский. Переводил он в основном стихи белорусских поэтов, а кроме них — еврейских, латышских и таджикских. Жил и умер в Ленинграде. До сих пор помню его замечательную библиотеку в квартире на Пятой Красноармейской — угол Московского, неподалеку от старинного каменного верстового столба, поставленного еще при Екатерине II. Именем Павла Кобзаревского названа одна из улиц в Могилеве.

В 25-м году родители расстались. Отец поехал учиться в Ленинград, а мать — в Москву, где пыталась поступить в МВТУ им. Баумана. Она сдала приемные экзамены, но не была зачислена «по социальному положению». Тогда она пошла учиться в педагогический техникум, который закончила в 1928 году. После этого ее направили на работу в Сибирь, в Алтайский край, в глухую деревню Вознесенское Рубцовского района, где впервые организовали школу. В непривычной для нее сибирской обстановке маме приходилось нелегко, тем более что местные власти всячески старались привлечь ее к коллективизации. Помню, как она рассказывала, что когда заготавливали пельмени, дети по нескольку дней не ходили в школу.

Отец посылал ей письма из Ленинграда чуть ли не каждый день. Он в это время учился в ленинградском фотокинотехникуме, куда поступил в 26-м году. Стипендия ему не полагалась из-за неприглядности социального происхождения — сын кустаря. Приходилось поэтому работать, чтобы прокормиться. В те поры в учебных заведениях существовали на общественных началах трудовые артели, подыскивавшие для студентов временную работу. Через такую артель отец устроился ночным сторожем, поскольку дни были заняты учебой. Посты ночных сторожей были разные — выгодные и невыгодные. Выгодными считались посты у продовольственных магазинов (где перед закрытием сторожа кормили бутербродами с колбасой или ветчиной, да еще и в запас давали) или такие посты, где сторож сидел в тепле, между запертой внутренней и открытой внешней дверью магазина.

Отцу достался пост невыгодный, наружный, у магазина «Военная книга» на углу Невского и Желябова (где, кстати, магазин помещается и поныне). Рядом с ним на Невском существовал тогда второй магазин — Рудметаллторга и в том же здании третий — Госшвеймашин. Все эти три магазина отец охранял на пару со студентом из пединститута. Сторожам выдавалась спецодежда — валенки с галошами и тулуп. Если один из напарников дежурил в дождь, то его сменщик должен

был надевать сырой тулуп — просушить было негде. Поскольку стоять приходилось на улице, отогреться в холодные питерские вечера было нелегко. Только в семь утра, когда открывались чайные и на Невском появлялись первые прохожие, можно было согреться вместе с ночными извозчиками чашкой горячего чая с булкой. Зато рядом шла ночная жизнь Невского проспекта.

Из знаменитого ресторана «Крыша», закрывавшегося в полночь, разбредалась по Невскому подвыпившая пестрая толпа — от преуспевающих нэпманов до загулявших поэтов и тогда уже чрезвычайно престижных валютных проституток. Однажды ночью отец увидел, как три милиционера и три вызванных ими дворника пытались посадить на извозчика дородного пьяного мужчину. Он каждый раз давал им обступить себя и схватить, после чего с улыбкой разводил руками — и все шестеро валились на землю. Так повторялось несколько раз, пока вокруг не собралась большая толпа, встречавшая очередную милицейскую неудачу аплодисментами и свистом. Оказалось, что милиционеры сажают в пролетку, чтобы отправить в участок, известного тогда борца — Якубу Чеховского.

Поскольку пост был наружный и обогреться было негде, отец научился спать стоя. Но при этом быстро затекали ноги. Тогда отец присмотрел себе за левой створкой ворот того дома, где находился книжный магазин, большую нишу с деревянным настилом. Обычно в шесть часов утра, когда начиналось движение, он забирался в эту нишу и ложился на настил поспать. Однажды перед октябрьскими праздниками (в Ленинграде в это время обычно красили все двери и ворота, выходящие на улицу) он улегся, как обычно, подремать в нишу. За второй створкой ворот стояли баночки с краской и кистями. Когда отец проснулся, то обнаружил, что его «сторожевые» служебные валенки выкрашены в ярко-красный цвет. Оказывается, мальчишки, шедшие поутру в школу, увидели ноги в валенках, торчащие из-за ворот, и выкрасили валенки вместе с галошами.

Сон у отца в молодости был крепкий. Однажды ночью в квартире случился пожар. Приезжала пожарная часть. Горела стенка, примыкавшая к ванной. Пожарные не могли попасть в кухню, поэтому они прошли через комнатушку, где спал отец, отодвинули кровать со спящим, проникли к месту загорания и ликвидировали пожар. Отец даже не проснулся. Только утром удивился, увидев, что его кровать стоит посередине комнаты, на полу лужи, грязные следы и сильно пахнет гарью.

Жил тогда отец на улице Рылеева, близ Литейного, и обычно в свой техникум, располагавшийся на улице Правды, ходил пешком. Трамвай стоил дороговато. Его маршрут был разбит на

тарифные участки. Проезд на каждом стоил три копейки, и на поездку иногда надо было тратить 9–12 копеек. Маршрут отца пролегал по Литейному и Владимирскому проспектам, где в те годы процветала бойкая торговля всякой всячиной. Внимание прохожих обращал на себя высокий мужчина, стоявший обычно на углу Литейного и Невского и продававший с лотка пятновыводитель. Вокруг продавца, носившего прозвище «человек-пушка», всегда толпились зеваки, так как он охотно демонстрировал всем желающим действие своего средства. Проходя каждое утро мимо, отец хорошо запомнил всю его рекламу, которую бойкий продавец выкрикивал неподражаемой скороговоркой:

«Японский переваренный мыльный корень — химическое домашнее радикальное средство, необходимое в каждом доме, в каждом хозяйстве. Выводит пятна на шерстяных, диагоналевых френчах, брюках, лайковых перчатках, тюлевых занавесках, коврах и мебели и прочих материалах. Состав дореволюционного времени. Изобретение известного профессора Шуприса, в тысяча девятьсот тринадцатом году на Всемирной выставке в Лейпциге удостоено Первой золотой медали, этой же награды удостоено на выставке в Токио, в тысяча девятьсот двадцать третьем году на промышленной выставке в Москве удостоено хорошего отзыва, хорошей награды. Это каждому доступно и каждому необходимо. Теперь лето, и от пятен никто не может быть гарантирован. Вы купили новое пальто, новый костюм, новое платье, заплатили бешеные деньги, надели один раз, шли по улице, и вам капнули краской с крыши. Или вы задели за колесо извозчика, опрокинули чернильницу на скатерть, ковер, мебель, где образуются громадные пятна. Вам не надо волноваться, торопиться, искать химическую чистку. Приобретая этот состав, вы можете сами вывести любое пятно на любом материале. Выводит пятна винные, масляные, жирные, смолу, деготь, мумию, медянку, а также бриолин, каролин и мазут. Это не какие-нибудь бесполезные притирки и примазки, которые вам будут всучивать всевозможные чертики-водолазики.

Я не имею полного морального и юридического права портить чужое имущество, что карается двадцатой статьей уголовного кодекса и двадцать пятой статьей гражданского кодекса. Я беру с совершенно неизвестной мне головы шапку (при этом он хватал кепку с головы ближайшего к нему человека), смазываю ее химическими чернилами и показываю, как удаляется пятно. Спешите видеть, спешите взять, — палочка пятнадцать — две — двадцать пять! Здесь не Лозаннская конференция, — долго думать не надо: кому надо — покупайте, а кому не надо, путь

продолжайте!»

Неподалеку от него, на углу Владимирского и Стремянной стоял человек с огромной, разбитой на секции клеткой, в которой размещалось множество разных птиц. Он громко выкрикивал: «За двугривенный выпускаю птичек на волю!» Вокруг толпились сердобольные старухи и няни или мамы с детьми, поэтому человек довольно быстро, собрав двугривенные, уходил с пустой клеткой, а спустя некоторое время возвращался обратно с этими же (как выяснилось позднее, прирученными) птицами.

На узких выложенных плитами тротуарах толклись бродячие продавцы книг, пронзительно выкрикивая: «Первая ночь новобрачных с картинками! Сорок картинок — всего за полтинник!»

Помимо работы ночными сторожами и грузчиками, студенты фототехникума время от времени прирабатывали на киносъемках как статисты. Работа эта была легкой, а заработок — вполне приличным. Как раз в это время Эйзенштейн снимал на «Ленфильме» картину «Октябрь». Помощниками его были Г. Александров, Штраух и Гоморов. Оператором фильма был Эдуард Тиссе. Поскольку съемки начались в мае 1927 года, все студенты, в том числе и отец, старались пораньше сдать экзамены, чтобы освободить время. Сдав экзамены досрочно, отец чуть ли не каждый день ездил на съемки то в Смольный, то в Петропавловскую крепость, то на станцию Кушелевка. Кроме участия в массовках он работал разнорабочим на съемочных площадках, расставляя осветительные приборы, разматывая кабели или подвозя из Арсенала винтовки, а позднее, научившись обращаться с прожектором, — осветителем на вечерних съемках. Отец вспоминал, что в фильме «Октябрь» профессиональных актеров почти не было. Ленина, например, играл рабочий цементного завода Никандров, имевший с ним портретное сходство. Ему сшили костюм, пальто и кепку, а на голове выбрили лысину. В роли Керенского снимался также похожий на него студент университета. Зиновьева играл его брат, а в роли Троцкого был занят какой-то зубной врач, также обладающий большим сходством с героем. Можно было только поражаться терпению и выдержке Александрова и Штрауха, которые «дрессировали» непрофессиональных актеров. Больше всего возни было с Никандровым, часто не понимавшим, что от него требуется. Обычно на массовках его не показывали. Поскольку отец работал в съемочной группе, ему было поручено привозить Никандрова на съемки в Смольный, где специально была выделена комната для гримировки. На съемочную площадку

Никандрова выпускали в самый последний момент. Это производило такое впечатление, что все солдаты и матросы, участвовавшие в массовках, встречали его как настоящего Ленина. Когда он проходил по актовому залу, направляясь к трибуне, не надо было искусственно подогревать «энтузиазм масс». Присутствующие кричали «Ура!» и кидали вверх шапки вполне естественно, что и фиксировалось на пленке.

Однажды отцу в очередной раз поручили привезти Никандрова в Смольный на съемку. Жил тот в гостинице «Европейская». Когда отец поднялся на второй этаж и постучал в номер, там никого не оказалось. Горничная сказала, что Никандров вчера не ночевал, а накануне с ним произошел неожиданный скандал. Он поднялся вечером в уже упомянутый ресторан «Крыша», где кутили татары, и, подсев к ним за стол и изрядно набравшись, начал куролесить. Потом затеял драку. Когда вызванные милиционеры стали его забирать, он вырывался и кричал: «Кого забираете, гады! Я — Ленин, я вам свободу дал!» В какое отделение его увезли, было неизвестно. Пришлось звонить в Смольный и выяснять. Когда отец разыскал отделение, где сидел Никандров, дежурный заявил, что аферист, работающего под Ленина, он не отпустит. Пришлось снова звонить в Смольный, в административную группу. Там сказали: «Ждите в милиции — мы позвоним Подвойскому». Примерно через полчаса Никандрова освободили. Выглядел он весьма неприглядно: лицо обрюзгшее, под глазом — огромный синяк. В таком помятом виде отец и привез его в Смольный на съемку. Там Никандрову устроили изрядную выволочку, загримировали синяк под глазом и выпустили на площадку под восторженные овации «революционных рабочих и крестьян».

В связи с этой историей вспоминается еще одна, уже из других времен, поведанная мне недавно артистом Борисом Львовичем, собирателем бессмертных актерских баек. В конце 30-х годов, когда снимались знаменитые исторические фильмы «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», грим вождей непосредственно перед съемкой утверждали в ЦК ВКП(б), откуда артистов, уже загримированных, везли прямо на съемочную площадку в зашторенной автомашине. На одном из московских перекрестков водитель не успел вовремя затормозить на красный свет, и к машине подскочил милиционер, который, потребовав у шофера права, начал долго и нудно отчитывать его. Поняв, что они опаздывают на съемку, актер, игравший Ленина, не выдержав, открыл окошко и, высунувшись из него, сказал, по-ленински грассируя: «В чем дело, товарищ?» Постовой остолбенел. В это время «другой вождь», не привыкший быть на

вторых ролях, также появился в окошке и, топорща сталинские усы, грозно спросил у милиционера: «Как ваша фамилия?» По преданию, милиционер после этого грянулся на мостовую в глубоком обмороке и был отправлен на «скорой помощи» в больницу, где его позже навещали уже разгримированные артисты.

Похожая ситуация возникла, как мне рассказывали, в 1982 году в Ташкенте на торжествах по случаю шестидесятилетия образования СССР. Согласно сценарию, главное театрализованное действие планировалось на Центральном городском стадионе, где Ленин, стоя на броневике, должен был объезжать трибуны, приветствуя народ. Актер, который предназначался на роль Ленина, внезапно заболел, и потребовалась срочная замена. Времени было в обрез. Наконец, после усиленных поисков, отыскали в Самарканде актера местного театра, который играл там Ленина, да и внешне был весьма на него похож. Его срочно доставили в Ташкент самолетом, наскоро загримировали и поставили на броневик. И все шло прекрасно до тех пор, пока броневик с вождем, уже завершая почетный круг по стадиону, не поравнялся с правительственной трибуной. Тут обрадованное неожиданной удачей сердце провинциального актера, впервые встретившегося со столь высоким начальством, не выдержало: напротив трибуны Ленин снял кепку и громко закричал: «Салям-алейкум, товарищ Рашидов!»

На деньги, заработанные на съемках, отец купил себе шапку, ботинки и большую деревянную фотокамеру. Старинный этот фотоаппарат я хорошо помню. Он стоял в нашей комнате на Васильевском и сгорел в блокаду вместе с домом. Помню также необычную фотографию, где отец, игравший в массовке рабочего, снят сидящим между Лениным и Троцким…

В феврале 1930 года мать приехала к отцу в Питер и они поженились. Все имущество молодой семьи в тринадцатиметровой комнатушке на Седьмой линии Васильевского острова, полученной отцом, состояло из ломберного столика, двух стульев, раскладушки и табуретки. Отец в это время работал в фотокинотехникуме и учился заочно в Московском полиграфическом институте. Мать пошла работать учительницей начальных классов в среднюю школу на Восьмой линии и поступила на заочное отделение физико-математического факультета Пединститута им. Герцена, который закончила в 36-м, когда мне было уже три года.

Дом наш, казавшийся мне тогда огромным, с высоким лепным фасадом и сохранившейся с дореволюционных времен красивой парадной с литыми бронзовыми украшениями, выходил

на бульвар, где уже на моей памяти были посажены молодые деревца. В блокаду их спилили на дрова, а потом посадили снова, на этот раз почему-то ели, и всякий раз, проходя по Седьмой линии мимо родного дома, я с грустью вспоминаю довоенный лиственный бульвар.

Родители дома почти не бывали, — днем они работали, а вечером учились. Поэтому большую часть времени в первые мои четыре года я проводил с няньками. Институт нянек в Ленинграде в начале 30-х был весьма распространенным и вполне доступным даже для таких малоимущих семей, как наша. Няньки мои были в основном женщины средних лет или пожилые, из псковских, новгородских или вологодских краев, чаще всего верующие. Отправляясь утром на уроки в школу, мать обычно снаряжала нас гулять. Обычно мы гуляли на бульваре на Седьмой или Большом проспекте, но совершали и дальние прогулки в Соловьевский сад на углу Первой линии и набережной.

В Соловьевском саду с его стройным Румянцевским обелиском, увенчанным бронзовым орлом и гордой надписью «Румянцева победам», по субботам и воскресеньям играл военный духовой оркестр. Исполнялись по большей части старинные марши и вальсы. Мне почему-то более других запомнился часто звучавший вальс «Осенний сон». Зрительная память связывает с глухими ударами вздыхающего барабана и грустным напевом труб огненно-красную акварель сухих кленовых листьев на песчаных дорожках сада. До сих пор, услышав этот старый вальс, я испытываю странное чувство мечтательной грусти, как будто кто-то теплой рукой осторожно берет тебя за сердце. Может быть, именно поэтому всю жизнь более всего я люблю вальсы. Навсегда остался в памяти и старинный марш «Прощание славянки», уже через много лет снова вернувшийся ко мне со сцены МХАТа в финале «Трех сестер».

В доме на углу Восьмой и Среднего, где теперь стоянка такси, помещался тогда ресторан «Лондон», превратившийся в начале 50-х в заштатную столовку. Здесь дежурили извозчики в высоких пролетках с откидным верхом и лаковыми черными крыльями. В отличие от нынешних такси, проблем с ними практически не возникало. Звонкое цоканье конских копыт по еще булыжной мостовой, ржание и всхрапывание лошадей, ласково зазывающие голоса извозчиков, ударяющий в ноздри острый запах лошадиного навоза населяли каменные городские просторы реальной жизнью. Жаль, что нынче нам осталась только смертоносная гарь отработанного бензина. Все это вновь приходит мне на память, когда я перечитываю замечательные строки Самойлова: «Звонко цокает кованый конь о булыжник в

каком-то проезде».

Одна из моих нянек, набожная старуха из-под Крестец, во время прогулок ежедневно таскала меня в Андреевский собор на церковные службы, строго-настрого наказав не рассказывать об этом матери. Более всего любила она отпевания. Торжественность мрачноватого этого обряда, странная неподвижность лежавшего человека, бледное лицо которого ярко освещалось свечами в таинственной полутьме храма, необычно выпевавшиеся слова, терпкий запах плавящегося воска — все это внушало тоску, побуждало скорее выйти наружу, под яркий солнечный свет, на нагретые каменные ступени, где играли другие дети. Я не мог разгадать пугающей тайны смерти и понял тогда только одно: смерть — это неподвижность. В 36-м, как уже упоминалось, с собора сорвали кресты, и он свое существование прекратил.

Вместо свергнутого Бога появлялись другие. Помню, как над воротами домов на нашей линии прибивали странный знак Осоавиахима — с винтовкой, пропеллером и противогазом, напоминающий языческий тотем.

Поскольку мать и отец нередко возвращались домой поздно, спать меня в раннем детстве, как правило, укладывали няньки, так что я хорошо запомнил и полюбил старые колыбельные песни, которые они пели. Больше других запомнились мне две песни. Одна из них начиналась строчками:

Спи, дитя мое, спи, усни,
Сладкий сон к себе мани.
В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла.

Вторая, которую я, конечно, так же как и первую, услыхав впервые от своих нянек, считал народной, начиналась так:

Не осенний мелкий дождичек
Брызжет, брызжет сквозь туман,
Слезы горькие льет молодец
На свой бархатный кафтан.

Уже через много лет я сильно удивился, узнав, что слова одной песни принадлежат Якову Полонскому, а второй — другу Пушкина Антону Дельвигу. Именно эти песни всплывают в моей памяти как одни из первых в жизни.

Стена, как Ванька-встанька,

От двери до угла.
Поет мне песню нянька
Про солнце и орла,
Крестецкою растяжкой
Коверкая слова.
Садится солнце тяжко
В окне за острова.
Орел, избегнув сети,
Летит к себе домой.
Струится теплый ветер
По линии Седьмой.
Июльское бесцветье
И тридцать пятый год.
Струится пыльный ветер
Вдоль запертых ворот,
У близкого причала
Качая корабли.
Вот здесь мое начало
И край моей земли,
Где то, что в коммуналке,
И то, что за стеной.
Покачивает валко
Единою волной
Та песня, что надолго
Мне на душу легла,
Как ощущенье дома,
И света, и тепла.

Что касается самого Пушкина, то первая картинка, увиденная мной на стене нашей узкой комнатки, — большой, работы Тропинина портрет Пушкина с перстнем на пальце. Отец вырезал эту литографию из какого-то журнала и повесил над моей кроватью. Так что с Пушкиным я знаком почти с самого рождения.

А с улицы из черных репродукторов гремели другие песни и марши, заполняя собой окружающее пространство и призывая воевать и строить:

Нам нет преград на море и на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века!

Или:

Мы железным конем все поля обойдем,
Соберем, и посеем, и вспашем.
Наша поступь тверда, и врагу никогда
Не гулять по республикам нашим.

А позже:

Сталин наша слава боевая,
Сталин нашей юности полет.
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет.

От песен этих становилось весело и тревожно, хотелось маршировать вместе со всеми, бороться и обязательно побеждать. Только через много лет, привыкший к этим песням как к неотъемлемой части моей жизни, я вдруг обратил внимание на то, что почти ни в одной из них нет местоимения «я», — вместо него всегда безликое «мы».

Так исподволь, через песни, в подсознание слушающих, словно яд в ухо спящему королю, вливалась привычка все делать строем, по команде: сеять, строить, воевать, ненавидеть и даже любить.

Сейчас, когда в дни Первомая или Седьмого ноября я вижу на улице редеющие группы плохо одетых стариков с орденскими колодками, размахивающих красными флагами и распевающих надтреснутыми голосами эти старые песни, сердце мое сжимается от жалости к ним и горечи за наше обманутое поколение.

Что же касается песен времен революции, то их тоже, конечно, пели, но постепенно они как бы уходили из жизни. Это относилось и к «Варшавянке», и к «Вы жертвою пали в борьбе роковой», и ко многим другим. Набирающему силу авторитарному режиму, хотя еще и называвшему себя революционной властью, такие песни были уже не нужны. Мне вспоминается небезопасная шутка отца. Мы с ним стояли на краю тротуара на Большом проспекте, а мимо нас шагом двигался кавалерийский эскадрон в буденовках с алыми звездами и шишаками сверху. Эскадрон лихо распевал «Интернационал». Когда я спросил у отца, для чего на буденовках эти суконные шишечки сверху (их еще называли «громоотводами»), он, усмехнувшись, сказал: «А ты слышишь, они поют: «Кипит наш разум возмущенный»? Вот через них пар и выходит».

Моя теща, Нина Ивановна Сундарева, как-то в разговоре заметила, что почти все песни революции — переводные, пришедшие к нам с Запада. Ни одна из них практически не родилась в России. Это и «Интернационал», и «Марсельеза», и та же «Варшавянка». Красноармейцы на Гражданской войне, у костров, подальше от бдительных комиссаров, их не пели. Они предпочитали петь «Ермака» и другие народные песни. Часто одни и те же песни пели и белые, и красные. О чем это говорит? Не о том ли, что сам дух революции, бунта «бессмысленного и беспощадного», чужд российской душе? Вслушайтесь в раздумчивый тон русских народных песен, — вы не отыщете в них и следа грозных мятежей, не раз сотрясавших империю. Даже гениальная стилизация Блока в «Двенадцати»: «Уж я ножичком полосну, полосну» кажется на этом фоне чужеродной и явно звучит из уст маргиналов, которым «на спину б надо бубновый туз».

В 33-м году отец перешел на работу на военно-морскую картфабрику, где проработал почти всю жизнь — около 35 лет. Имя его не раз упоминается в книгах, посвященных истории военной гидрографии в нашей стране.

Даже в те дни, когда отец и мать были вечером дома, они, как правило, работали. Мать проверяла бесконечные ученические тетради, а отец готовился к занятиям или штудировал очередную полиграфическую литературу, которая тогда в основном была на немецком языке. По вечерам, засыпая, я видел отца или мать, склоненных над столиком при неярком свете настольной лампы. Зрелище это вселяло чувство покоя и уюта. Зато настоящими праздниками были те нечастые дни, когда отец ненадолго освобождался и мы отправлялись гулять. Основным местом этих гуляний была набережная Невы, куда няньки не слишком любили ходить, предпочитая ближние бульвары и садики. Здесь начинался другой мир.

Под сырым пронизывающим до костей балтийским ветром поскрипывали у причалов самые разные суда, — от гигантских (так мне тогда казалось) пароходов до маленьких, густо дымивших буксиров, которые все почему-то носили имена героев Великой Французской революции — «Сен-Жюст», «Демулен», «Робеспьер». Веселые матросы курили на палубах. Иногда там же можно было услышать звуки баяна и лихие матросские песни, из которых запомнилась: «По морям, морям, морям, морям. Нынче здесь, а завтра там». За маленькими круглыми окнами в медной оправе, светившимися в черном борту, происходила какая-то таинственная жизнь — уже не на земле, а в другой, хотя и близкой, не далее шага, но совершенно недоступной стихии. Это

детское ощущение сладкой притягивающей тревоги и непреодолимого любопытства я вспомнил уже взрослым, когда впервые прочел строки Мандельштама: «Зимуют пароходы. На припеке зажглось каюты толстое стекло».

Другим любимым местом был зоопарк на Петроградской. Туда надо было ехать на трамвае, хотя и не слишком далеко, а все-таки — настоящее путешествие через мосты. Трамваи тогда были с открытыми площадками и колокольчиком, объявлявшим отправление. Вечером на них зажигались разноцветные огни — для каждого номера свой, чтобы можно было опознать нужный в темноте. В зоопарке, полюбовавшись на слонов, жирафов и львов, мы обычно шли кататься на «американские горы». Маленькая тележка с лязгом и звоном взлетала вверх и стремительно неслась вниз по крутым головокружительным виражам, проскакивая через какие-то тоннели. Сердце замирало от ужаса и восторга.

Кстати, именно здесь, на Петроградской, несколько позднее, когда я уже мог по складам читать объявления на стенах и вывески, я сделал неожиданное для себя открытие. Зная наизусть «Доктора Айболита», я пришел в восторг, увидев на угловом доме надпись: «Бармалеева улица». Вот оно что, — оказывается, даже улица есть в честь Бармалея! Мне тогда, конечно, было невдомек, что все как раз наоборот. Здесь прежде жил богатый купец Бармалеев, по фамилии которого и была названа улица, а уже по названию улицы придумал Корней Чуковский имя своему герою.

Любил я и праздничные демонстрации, особенно первомайские, куда отправлялся либо с мамой и ее школой, либо с отцом. Второй вариант был гораздо привлекательней, поскольку колонну картфабрики обычно возглавлял большой военно-морской оркестр, да и в самой колонне было довольно много людей в морской форме. Это вселяло иллюзию причастности к морю. И морская форма осталась любимой на всю жизнь. Хорошо помню последнюю предвоенную демонстрацию 1 мая 1941 года. Колонна наша, двигавшаяся по улице Герцена (сейчас Большая Морская) через Исаакиевскую площадь, остановилась у здания немецкого консульства, на котором развевался огромный красный флаг с белым кругом и черной свастикой в середине.

Более всего отец любил книги, которым, будучи полиграфистом, посвятил свою жизнь: работу на картфабрике он совмещал с преподаванием в Ленинградском полиграфическом техникуме и Промакадемии, а выйдя на пенсию, руководил дипломными проектами и принимал постоянно участие в конкурсных комиссиях Ленинградского общества научно-

технических изданий, заместителем председателя которого был много лет. Беря в руки красиво изданную книгу, он всегда радовался. Как-то он сказал, что брать в руки неряшливо изданную или грязную и затрепанную книгу хорошего автора так же неприятно, как общаться с умным и талантливым человеком в грязной и рваной одежде.

Судя по воспоминаниям отца, читать я научился по газетным буквам к пяти годам, а стихи запоминал со слуха довольно легко и очень любил читать их во время прогулок совершенно незнакомым людям. Вот что без тени юмора рассказывал отец: «На бульваре Алик мог подойти к сидящему на скамейке человеку и спросить: «Дядя, вы знаете стихи про челюскинцев?» Если тот говорил — нет, Алик выпаливал ему это стихотворение от начала до конца. Вот откуда у него появилась любовь к публичным выступлениям».

Почти каждое лето родители выезжали вместе со мной в Белоруссию — в Могилев или под деревню Полыковичи «на Полыковские хутора». После тесной василеостровской комнатушки и питерских дождей белорусская солнечная деревенская вольница казалась сказочной. В памяти смутно брезжат протяжные белорусские песни, и до сих пор звенит в ушах лихая «Левониха» с замечательными четырехсложными рифмами:

Левониха — душа ласковая,
Черевичками поляскивала.

Собирались мы поехать в Белоруссию под Могилев и в 41-м году, но планы эти по какой-то случайности отменились, и родители сняли дачу под Вырицей в Ленинградской области. Это определило нашу судьбу.

В 40-м году у меня вдруг отыскали «музыкальный слух», и загорелись идеей обучать меня музыке. В начале 41-го отец получил довольно большой по тем временам гонорар за учебник по полиграфии «Производство клише для высокой печати», который ему перевели на сберкнижку. Было решено купить пианино, однако внезапно грянувшая война порушила эти наивные планы. Что касается вклада на сберкнижке, то мать смогла получить его только в 44-м, в эвакуации, в Омске. На эти деньги на целую неделю накупили хлеба, масла и яиц. Так что не могу сказать, что мое несостоявшееся музыкальное образование не стоит выеденного яйца.

В том же 40-м меня отдали для подготовки к школе в частную немецкую группу, где попутно обучали немецкому языку, столь

же модному тогда, как теперь английский. Занятия вела чистенькая невысокая старушка Агата Юльевна. Мы изучали немецкий алфавит, ставили какие-то пьески на немецком языке, разучивали песенки. Однако времени на изучение немецкого мне также не хватило, — началась война. Об этом я вспоминал позднее в стихотворении «Уроки немецкого»:

Под покрывалом бархатным подушка,
С литою крышечкой фарфоровая кружка.
Пенсне старинного серебряная дужка
Мне вспоминаются по вечерам.
Агата Юльевна, опрятная старушка,
Меня немецким обучавшая словам.
Тогда все это называлось «группа».
Теперь и вспоминать, конечно, глупо
Спектакли детские, цветную канитель.
Потом война, заснеженные трупы.
Из клейстера похлебка вместо супа.
На Невском непрозрачная метель.
Ах, песенки о солнечной форели!
Мы по-немецки их нестройно пели,
В окошке шпиль светился над Невой.
Коптилки фитилек, что тлеет еле-еле,
Соседний сквер, опасный при обстреле,
Ночной сирены сумеречный вой
Не знаю, где теперь ее могила, —
В степях Караганды, на Колыме унылой.
У пискаревских каменных оград.
Агата Юльевна, оставим все, как было,
Агата Юльевна, язык не виноват.
Спасибо за урок. Пускай вернется снова
Немецкий четкий слог, рокочущее слово,
Из детства, из-за тридевять земель.
Где голоса мальчишеского хора.
Фигурки из саксонского фарфора
И Шуберта хрустальная капель.

К счастью, горькая участь Агату Юльевну обошла. После публикации этого стихотворения в книге «Ледяное стремя» в 1997 году я получил письмо, где было написано: «В книге Ваших стихов есть за душу берущее стихотворение «Уроки немецкого». До войны наша семья жила на Восьмой линии, и меня, совсем маленькую, водили в ту самую группу к Агате Юльевне и ее сестре. Думаю, Вам будет приятно узнать, что война пощадила их,

после войны они продолжали заниматься с детьми, и я, уже школьница, год или два ходила к ним на «уроки немецкого». С уважением И. Варданянц».

Почти сразу после начала войны, в июле 41-го года, моя мать вместе с начальными классами своей школы выехала, забрав меня с собой, в деревню под Валдай. В соответствии с планом эвакуации, составленным еще перед Финской войной в 39-м году, туда отправили несколько десятков тысяч ленинградских детей. Но немцы уже в первый месяц войны вплотную подошли к Валдаю, в то время как Ленинград еще был относительным тылом. Многие родители кинулись оттуда за своими детьми, чтобы забрать их обратно. Одним из последних эшелонов нас вывезли назад в Питер. Помню бомбежку на станции Бологое, когда нас загнали под вагоны, а все вокруг было красиво освещено яркими осветительными ракетами.

Дом наш загорелся в январе 41-го года не от бомбы и не от снаряда. В квартире выше этажом умерла соседка и оставила непогашенной «буржуйку», а гасить понемногу разгоравшийся пожар было нечем — воду тогда приходилось таскать из проруби на Неве.

…Три дня неспешно на морозе
Горел шестиэтажный дом.
В стихах сегодняшних и прозе
Припоминаю я с трудом
Ту зиму черную блокады,
Паек, урезанный на треть,
И надпись, звавшую с плаката
Не отступить и умереть.
Но спрятавшись под одеяло,
Я ночью чувствую опять.
Что снова дом мой тлеет вяло,
И снова некуда бежать.

В апреле 42-го, уже через ладожскую трассу, мы отправились в эвакуацию в Сибирь, в Омск, куда переехала картфабрика для срочного выпуска военно-морских карт. В Омске первый год отец почти все время был на казарменном положении — надо было срочно пустить фабрику. Мать сначала пошла работать вахтером (за это давали рабочую карточку), а к 44-му году освоила специальность сначала корректора, а потом технического редактора в Гидрографии, где и проработала до пенсии. Около двадцати пяти лет уже после войны она редактировала морские лоции, штурманские таблицы и наставления для мореплавателей.

Вспоминаю, что уже через десятки лет, во время долгих плаваний на «Крузенштерне» и других гидрографических судах, открывая по ночам на вахте в штурманской рубке увесистые тома морских лоций, в выходных данных я не без гордости читал: «Технический редактор Р. М. Городницкая».

Мать умерла в 81-м году от очередного инфаркта. Сама она за всю свою жизнь кроме повседневной работы и забот по дому ничего не видела и уж конечно за границей не бывала и по морям не плавала.

Повидала мама мало, —
Не каталась в заграницы.
Корректировала мама
Мореходные таблицы.
Нищета, война и голод.
Коммунальные заботы.
Был маршрут ее недолог —
На работу и с работы.
Каждый день глаза ломая
О колючие страницы.
Корректировала мама
Мореходные таблицы.
Жизнь была не с неба манна, —
Я болел, она болела.
Ничего на свете мама
Повидать и не успела.
Не умела мама в горе
На судьбу слепую злиться.
Маяки мигают в море.
Штурмана глядят в таблицы.
Новый день в окошке длится.
Двадцать лет как мамы нету.
Мореходные таблицы
Корабли ведут по свету.

Последние годы мать мучили постоянные страхи за меня и за отца, превращавшиеся в нервную болезнь. Она боялась взять телефонную трубку, открыть дверь на внезапный ночной звонок. Когда я задерживался вечером в городе, она могла часами стоять у окна, с тревогой вглядываясь в темноту. При этом к моим многомесячным экспедициям в Арктику и дальние моря она относилась спокойно, даже зная о риске во время погружений на подводных аппаратах. Все это происходило как бы вне ее реальной жизни и не вызывало такого беспокойства, как мои

вечерние опоздания.

Все невзгоды нашей семьи ложились на ее хрупкие плечи. Ее любили, кажется, все вокруг — и домочадцы, и соседи. Каждого вошедшего в дом она старалась прежде всего накормить, хорошо помня черные военные годы. Более всего боялась обременить кого-нибудь собой, причинить неудобство. Терпеть не могла долгов и внушила эту нетерпимость мне. В доме, несмотря на нужду, всегда поддерживала медицинскую чистоту. Она и умерла оттого, что, почувствовав себя плохо и уже вызвав врача, вдруг решила вытереть пол, показавшийся ей недостаточно чистым.

Ее внезапная смерть в ноябре 1981 года, по существу, сломала отца. Он потерял интерес к жизни, хотя был человеком любознательным и общительным. В январе 1985 года у него обнаружили рак легких, к сожалению, неоперабельный. Летом 1985 года мы с женой не без труда уговорили его переехать к нам в Москву (он долго сопротивлялся этому переезду, не желая уезжать от могилы матери). Скрывая от него смертельный диагноз и стараясь отвлечь его от размышлений о болезни, я предложил ему написать воспоминания о его детстве и юности. Будучи человеком, приученным к порядку и каждодневному труду, он завел конторскую книгу и начал аккуратно записывать туда свои воспоминания. Работал отец, к несчастью, недолго. 6 мая 1996 года он умер на моих руках от горлового кровотечения. Уже после его смерти, внимательно прочитав написанное, я еще раз ощутил горькое чувство сиротства, незнания своих, даже самых, казалось бы, близких корней. Из записок этих я узнал многое, о чем при нашей многолетней жизни в одной комнате даже не догадывался, — например, о том, как в 49-м году, когда началась «борьба с космополитами», отца чуть не посадили по ложному доносу, и наших соседей по квартире вызывали в КГБ, чтобы они дали на него показания. К счастью, все наши соседи были людьми порядочными.

Начатые отцом воспоминания, страх перед темнотой и безвестностью, поглотившей моих предков, желание, чтобы о моих родителях хоть кто-нибудь вспомнил, были главными причинами, побудившими меня самого взяться за перо…

Когда я думаю о счастливых семейных парах, в наше время достаточно редких и нетипичных, то всегда вспоминаю своих родителей. Сейчас они лежат рядом под одним надгробным камнем на Казанском кладбище в Царском Селе, и я рано или поздно надеюсь к ним присоединиться.

Каждый раз по приезде в Питер навещая их могилу, расположенную в конце еврейского участка, я прохожу мимо древнего покосившегося и заросшего мхом могильного камня с

изображением могендовида и надписями золочеными буквами по-русски и на иврите. Здесь похоронен в 1896 году лейб-гвардии фельдфебель Шимон-Черкасский, видимо, выходец из кантонистов, отдавший жизнь за обретенную им негостеприимную Родину. Заброшенная эта могила поневоле заставляет задуматься о собственной судьбе.

Кавалер Святого Георгия,
Фельдфебель Шимон-Черкасский,
Что лежит на Казанском кладбище
В Царском Селе осеннем,
Представитель моей отверженной
В этой державе касты,
Свой последний бивак наладивший
Здесь под дубовой сенью.

Гренадер императорской гвардии,
Выходец из кантонистов —
Нелюбимых российских пасынков
Выпала с ним судьба нам,
Неродного отечества ради
Был он в бою неистов,
Управляясь в часы опасности
С саблей и барабаном.

Давний предок единокровный мой
Фельдфебель Шимон-Черкасский,
За отвагу на поле брани
Орден свой получивший,
Обладатель ружья огромного
И медной блестящей каски,
В девяносто четвертом раненый,
В девяносто шестом — почивший.

Ах, земля, где всегда не хватало нам
Места под облаками,
Но которую любим искренне.
Что там ни говорите!
Ощущаю я зависть тайную,
Видя надгробный камень,
Где заслуги его записаны
По-русски и на иврите.

И когда о последнем старте я

Думаю без опаски
И стараюсь представить мысленно
Путь недалекий сей свой.
Вспоминается мне лейб-гвардии
Фельдфебель Шимон-Черкасский,
Что лежит под опавшими листьями
На окраине царскосельской.

В Омске, в эвакуации, я пошел в школу сразу во второй класс. Время было голодное. Немногие носильные вещи, захваченные из Ленинграда, были довольно скоро обменены на продукты. Спасала посаженная нами картошка, которая заменяла все. Там, в эвакуации, класса с третьего я пристрастился к чтению. В доме на Войсковой улице, где нас поселили, каким-то образом оказались подшивки старых журналов «Вокруг света», которые я перечитывал по многу раз, наивно мечтая о дальних путешествиях. Может быть, именно поэтому география стала моим любимым предметом.

Здесь же, в Омске, состоялся мой первый выход в драматический театр, так как сюда был эвакуирован из Москвы театр имени Евгения Вахтангова. Было это, кажется, уже в 43-м году. На сцене шел «Сирано де Бержерак» в переводе Щепкиной-Куперник. Мне посчастливилось месяца за два до этого прочесть однотомник Ростана, так что всего «Сирано» я знал почти наизусть. В конце первого акта, действие которого происходит в театре, король проходит со свитой через сцену и говорит: «Что сегодня было на ужин!» К всеобщей радости публики, актер, игравший короля, под сильным впечатлением от собственного ужина, а возможно, и в мечтах о нем, неожиданно сказал: «Что сегодня было на ужин — биточки!»

Однако основу культурной жизни в эвакуации составляло кино. Его крутили в клубе гидрографии по два раза в неделю. И песни, впервые прозвучавшие с экрана, надолго овладевали зрителями. Помню, как поразил меня фильм «Большой вальс», как все мальчишки после фильма «Три мушкетера» постоянно распевали на пыльных омских улицах бодрую песенку Д'Артаньяна: «Вар, вар, вар, вар, вара, я еду на коне», но более всего запомнился мне Марк Бернес в фильме «Два бойца» с его знаменитой песней «Темная ночь». Кинофильм этот был особенно близок мне еще и потому, что действие его проходило в недоступном для меня тогда Ленинграде.

Вместе с тем, когда я думаю об истоках авторской песни в нашей стране, я полагаю, что ее зачинателями были не только

Булат Окуджава и другие авторы начала 60-х. Их предтечей в военные годы был и Марк Бернес, который среди грохота бомб и снарядов «ревущих сороковых» впервые открыл для нас ее задушевную интонацию. И если именно интонация, негромкий, но проникающий в самое сердце голос есть отличительная особенность этого жанра, то Марка Бернеса можно с уверенностью назвать одним из его основателей. И это в те времена, когда гитара еще обличалась как символ мещанства. Не случайно песня «Темная ночь», сразу же выделившись на гремящем фоне грозных и бравых военных песен, за несколько недель облетела всю страну, стала любимой на фронте и в тылу, породила массу веселых и грустных пародий типа: «Ты меня ждешь, а сама с офицером живешь, и от детской кроватки тайком ты в ДК убегаешь».

Открыв для себя Бернеса на этой песне, я стал буквально отслеживать все его роли. Оказалось, что удивительная и точная интонация его негромкого речитатива звучит во всех песнях, которые он поет, — и в кинофильме «Истребители» («В далекий край товарищ улетает»), и в фильме «Антоша Рыбкин» («Там ждет меня далекая подруга синеокая, девушка любимая моя»), и даже в не слишком удачной песне о Ленинграде («Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню мою»). Все песни он пел так, как будто сам их написал. При этом задушевность исполнения совершенно не зависела от сопровождающего инструмента, — это могла быть гитара («Темная ночь»), рояль («В далекий край товарищ улетает») и даже гармошка («Тучи над городом встали»).

В Омске я впервые понял, что песня может не только радовать, но вызывать чувство обиды и стыда. Еще в 42-м, в начале эвакуации, словоохотливые омские мальчишки в нашем дворе, обозвав меня жиденком, популярно объяснили мне, что это значит. Хорошо помню растерянные лица родителей, к которым я кинулся за поддержкой. Помню, как долго плакал и ни за что не хотел быть евреем, хотел быть как все вокруг. В связи с этим на долгие годы запомнилась мне весьма популярная в то время антисемитская песенка, распевавшаяся дразнившими меня мальчишками на мотив песни «В кейптаунском порту» и начинавшаяся строчками: «Старушка не спеша дорожку перешла, — ее остановил милиционер». До сих пор, когда я вспоминаю ее, сердце сжимается от жгучего чувства детской обиды. Уже значительно позднее я узнал о настоящих фашистских песнях, распевавшихся в Германии, и понял, какой страшной может быть песня, призывающая к убийству и погромам.

В начале лета 45-го года, по окончании четвертого класса,

родители отправили меня в пионерский лагерь в поселок Чернолучье под Омском. В памяти смутно брезжат купания на Иртыше, походы в лес за ягодами, пионерские «линейки» и первые танцы под баян. К этому времени относится моя первая детская влюбленность, речь о которой пойдет ниже.

Осенью 45-го мы возвратились в Ленинград. Поскольку дом наш на Васильевском сгорел, отцу выписали ордер на комнату, разрушенную попаданием снаряда, в большом доме на углу Мойки и Фонарного переулка. На время ремонта нас почти на полгода приютила семья Карцевых, с которой дружили родители. Только в конце ноября мы перебрались в комнату в большой коммунальной квартире в доме 82 на Мойке, наконец-то в собственную комнату, где я прожил вместе с родителями более 10 лет.

Новая Голландия

Стихи я начал писать случайно. Я в то время учился в седьмом классе 254-й ленинградской школы, расположенной напротив Никольского собора, в доме на углу проспекта Римского-Корсакова и улицы Глинки, где поворачивали трамвайные рельсы. Школа наша помещалась в старинном здании с высокими потолками и лепными карнизами. На фасаде дома уже при нас водрузили мемориальную доску, извещавшую о том, что именно здесь в гостях у своего друга Никиты Всеволожского бывал Александр Сергеевич Пушкин на собраниях литературно-политического кружка «Зеленая лампа». Самое забавное, что в предыдущие годы эта доска висела на соседнем доме, но потом историки, подумав, перевесили ее на нашу школу. Теперь всякий раз, бывая в Питере и проезжая на трамвае мимо, я ревниво смотрю на знакомый школьный фасад, опасаясь, не перевесили ли эту доску еще куда-нибудь после очередных исторических уточнений, но она пока еще на месте…

Заканчивался трудный 47-й год, завершавший для меня пору недолгих мальчишеских увлечений. Марки, которые я начал собирать еще в 44-м году, в эвакуации, мне уже изрядно поднадоели. Пробовал в шестом классе начать собирать открытки, но из этого тоже ничего не получилось. Тогда почему-то была пора коллекционирования — все что-нибудь собирали. Отец пытался склонить меня к занятиям фотографией и подарил на день рождения свой старый «фотокор», снимавший еще не на пленку, а на специальные стеклянные фотопластины. Поначалу мне понравилось это занятие. Особенно привлекали меня ритуальное таинство проявления и фиксации негативов и печатания фотоснимков, секреты рецептур проявителей и фиксажа, приготовление соответствующих растворов, напоминающее о средневековых алхимиках. Наконец, таинственная процедура при красном полутемном свете, когда со дна кюветы, из черноты раствора, вдруг проступает человеческое лицо. У нас в школе образовался кружок фотолюбителей. Вел его чрезвычайно бледный и болезненный человек с тихим голосом, одетый в неизменный вытертый пиджак с бахромой на продранных рукавах. Он сказал, что все его занятия надо записывать, как лекции. «Ну-ка, покажи», — сказал как-то отец и, посмотрев мои записи, произнес: «Это знающий человек. Сразу видно, что специалист высокого класса».

Занятия, однако, продолжались недолго. На одно из них пришел директор школы и попросил у нашего руководителя

документы. На этом все и кончилось. Только через несколько лет, уже после смерти Сталина, когда началась пора реабилитации, вспомнив грустный облик нашего наставника, я понял, откуда он к нам попал.

Я еще таскался с фотоаппаратом, когда к нам в седьмой «Б» пришел новенький, Володя Михайловский, почти сразу же получивший, уже не помню почему, кличку «Бича», — невысокий полный мальчик, тихий, немногословный и очень скромный. Рисовал он прекрасно, хотя смущался, краснел и страшно сердился, когда на это обращали внимание. Жил Володя недалеко от школы, на Малой Подьячевской улице, хордой соединявшей петлю Грибоедовского канала. Как раз по этой улице и далее, через Львиный мостик и улицу Декабристов, пролегал мой каждодневный путь в школу и обратно, в огромный дом на углу Мойки и Фонарного переулка, где мы тогда жили. Мы с Володей подружились, тем более что оказались попутчиками. И как-то раз он зазвал меня к себе домой, показал свои рисунки карандашом и акварелями, которые мне сразу понравились. Володя был удивительно одаренным рисовальщиком, быстро и точно изображавшим на бумаге окружающий мир с поразительным, как мне казалось, сходством. Глядя на то, как он рисует, можно было подумать, что дело это простое и доступное для каждого. Поэтому я тоже попытался рисовать, но из этого, конечно, ничего не получилось, хотя Володя по доброте своей усердно мне помогал.

Теперь уже не помню, кто именно посоветовал нам пойти в художественный кружок при Ленинградском Дворце пионеров, располагавшемся в Аничковом дворце на углу Фонтанки и Невского. Володя, которому не хотелось записываться в кружок одному, уговорил и меня. Мы отобрали с ним несколько рисунков и отправились на Фонтанку.

Отдел художественного творчества Дворца пионеров помещался в длинном двухэтажном флигеле, вытянутом вдоль Невского перпендикулярно фасаду главного здания. Мы долго ходили по коридорам второго этажа в поисках «художественной студии», с робостью прислушиваясь к звукам разного рода музыкальных инструментов, раздававшимся из-за дверей. В конце коридора, рядом с вокальным классом, где какой-то высокий женский голос выпевал гаммы, мы увидели наконец надпись «Студия рисования», но двери оказались запертыми. Выяснилось, что сегодня среда, а занятия бывают только по вторникам и четвергам.

Обескураженные, мы повернули обратно, и, когда уже дошли до конца коридора, я заметил приоткрытую дверь, за которой звучали стихи. Я подошел поближе и прислушался. Это были

очень красивые и совершенно мне неизвестные стихи, как потом оказалось — Вийона. Читал их негромким глуховатым голосом невысокий, стройный и курчавый черноволосый мужчина в толстых роговых очках и темной гимнастерке без погон, перехваченной в талии широким офицерским ремнем (как потом выяснилось, Ефим Григорьевич Эткинд). На столе перед ним лежала толстая открытая офицерская кожаная полевая сумка, набитая книгами. На стульях перед столом, спиной к дверям и ко мне, сидели несколько ребят и девушек, примерно на класс или на два постарше, чем я. «Ну, чего ты застрял, пойдем!» — окликнул меня Бича. «Иди, я еще побуду», — неожиданно для себя ответил я ему, тихо открыл дверь, надпись на которой так прочесть и не успел, вошел в комнату и, стараясь не шуметь, сел на крайний стул. Никто из присутствующих не обратил на меня никакого внимания — все были заняты слушанием стихов. Так в феврале 1947 года началось мое увлечение стихами, затянувшееся на долгие годы.

Что же до Володи Михайловского, которому я обязан своим приходом во Дворец пионеров, то с ним мы встретились после многих десятилетий сравнительно недавно, в 1998 году в Питере на моем вечере в Концертном зале. Он действительно стал художником. Его морские батальные полотна украшают залы Военно-морского музея и кают-компании многих судов.

Для приема в «Студию литературного творчества» (вот что было написано на дверях) необходимо было представить один собственноручно написанный рассказ или три стихотворения. У меня к тому времени уже было в запасе одно стихотворение, посвященное умирающему гладиатору и подозрительно смахивающее на лермонтовское. Помучившись неделю, я, не ожидавший от себя такой прыти, написал еще одно, про татаро-монгольское нашествие (я в те поры страшно увлекался книгами Яна «Батый» и «Чингис-хан»). Там были такие, чрезвычайно почему-то тогда нравившиеся мне строчки:

Монголы, монголы, монголы идут,
И стонет земля под тяжелым копытом,
И рвется тревожный набатный гуд:
Монголы, монголы, монголы идут…

Ободренный своим неожиданным успехом, я состряпал еще одно, примерно такого же качества, стихотворение про Древний Рим. Так что можно сказать, что стихи на историческую тему я начал писать с самого начала.

Меня, хотя и со скрипом, приняли — правда, не в ту, как

оказалось, старшую группу, куда я случайно забрел, а в младшую, состоящую из семи- и восьмиклассников. Это, однако, роли не играло, так как на занятиях можно было сидеть как в той, так и в другой группе. Младшей руководил тогда ленинградский поэт Леонид Иванович Хаустов, человек маленького роста, с всклокоченными черными волосами и угольными зрачками. Одет он был неизменно в коричневый костюм и темную рубашку с галстуком, ходил быстрой походкой, был темпераментен и эмоционален.

Старшую группу вел поэт Глеб Сергеевич Семенов, очень худой, небольшого роста, всегда держащийся с подчеркнутой прямотой осанки, но казавшийся сутуловатым. Волосы его, в противоположность Хаустову, были прямыми и всегда гладко зачесанными. Ходил он неторопливыми длинными шагами на как бы негнущихся ногах. Пиджак строгого темного цвета висел на его плечах так же «прямо». Строгость его внешнего облика подчеркивалась всегда аккуратно завязанным галстуком и негромким глуховатым голосом. Занятия по «теории литературы» (да, да, тогда именно так это называлось) вел уже увиденный и услышанный мною доцент Ленинградского пединститута им. Герцена Ефим Григорьевич Эткинд, в недавнем прошлом военный переводчик…

Так начались мои занятия во Дворце пионеров. Проходили они два раза в неделю — по средам и пятницам. Один день — «теория литературы», другой — практические занятия. Теория состояла в знакомстве с элементами стихосложения, рифмами, ритмами и так далее, а также с историей русской и мировой поэзии, которую нам, старшеклассникам, как я понял гораздо позднее, Эткинд читал на вузовском уровне. Говорил он так интересно и увлеченно, своим первооткрытием звучащей сокровищницы российской поэзии — от «Слова», Кантемира и Державина до Блока и запретной тогда Цветаевой, — открытием трагических судеб Данте и Петрарки и стихов Джона Донна, Шекспира и Франсуа Вийона я обязан именно ему.

Ефим Григорьевич Эткинд, ныне известный во всем мире как переводчик, писатель, литературовед и критик, был человеком удивительных талантов и не менее удивительной работоспособности. Он не только был переводчиком, прекрасно владевшим европейскими языками, в первую очередь — английским и французским, но и глубоким знатоком русского языка и русской поэзии. Он, по существу, заложил основы науки перевода европейских поэтов на русский язык от Жуковского до наших дней. Им составлено собрание лучших поэтических переводов в России, вошедшее в состав «Библиотеки поэта». Так

же тщательно изучил он и русскую эпиграмму за последние три века. Будучи далеким от политики, он тем не менее не остался в стороне во время позорного процесса над Иосифом Бродским и вместе с Фридой Абрамовной Вигдоровой решительно встал на защиту арестованного поэта. Выступления на процессе Бродского, а также помощь опальному писателю Солженицыну (Эткинд прятал у себя часть его архива, в том числе один из машинописных экземпляров «Архипелага ГУЛАГ») привели к увольнению Эткинда из Педагогического института им. Герцена, где он проработал много лет, и его публичной травле. Лишенный возможности работать, он вынужден был эмигрировать.

В эмиграции Ефим Григорьевич в течение ряда лет с успехом читал лекции в Сорбонне и университетах Германии. В Париже он издал по-русски свой фундаментальный труд «Анатомия стиха», стал одним из основных редакторов и составителей многотомной Истории русской литературы вместе с И. З. Серманом, Ж. Нива и В. Страда. Он подготовил множество изданий классиков русской поэзии от Пушкина до Цветаевой на немецком и французском языках. Активно участвовал вместе с С. Маркишем в издании романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» и других книг «Тамиздата». В сложной конфликтной обстановке парижской эмиграции с постоянными междоусобицами между отдельными издательскими и литературными группами Эткинд, так же как и Виктор Некрасов, приложил немало усилий для нормализации литературной жизни. Его энергии хватало, кажется, на все. Он ухитрялся ездить с лекциями в Америку, планировать издание Энциклопедии советской цивилизации, писать многочисленные статьи, выступать с обширными докладами на конференциях и писать книги.

В последние годы он неоднократно приезжал в Россию. Я встретился с ним последний раз в мае 1999 года в Питере, куда он приехал в связи с пушкинским юбилеем. Он был у меня на авторском вечере в Концертном зале, а на следующий день я приехал к нему домой в маленькую квартирку в доме неподалеку от Площади Мужества. Мы просидели и проговорили весь день до темноты. И он заставил меня через много лет знакомства перейти с ним на ты. Это оказалось менее сложно, чем я предполагал: в свои восемьдесят он казался значительно моложе, — та же живость ума, мальчишеская любознательность, азарт в полемике и полное отсутствие занудства и стремления вещать, нередко свойственного классикам ушедшего фронтового поколения. Опасаясь за его здоровье, я по пути к нему деликатно взял небольшую флягу коньяка, и пришлось бежать за второй.

Говорили как бы сразу обо всем, о Глебе Семенове, о

Бродском, к которому ушла жена Эткинда, о Льве Копелеве, с которым Григория Ефимовича связывала многолетняя дружба, об авторской песне, о поэзии в Питере, о тревогах и надеждах нынешнего дня. Прощаясь, он подарил мне свою «Анатомию поэзии». Кто мог предполагать, что встреча эта окажется последней? Через полгода у него внезапно обнаружили рак, и вскоре его не стало. И когда я слушал его глуховатый голос, я снова вспоминал молодого курчавого красавца в офицерской гимнастерке, вдохновенно читавшего стихи Вийона и открывшего мне когда-то океан Мировой поэзии.

«Практика», которую сначала я проходил у Хаустова, а потом у Семенова, заключалась в чтении и разборе стихов. Процесс этот имел строгий, раз навсегда заведенный порядок. За неделю до обсуждения стихи передавались автором двум специально назначенным «оппонентам», которые внимательно читали их дома и готовили подробный критический разбор. На занятии сначала читал стихи автор. (При этом строжайшим образом соблюдалась полная тишина. Категорически запрещалось разговаривать, перешептываться или шумно перемещаться. Это строгое правило оцениваешь вполне, когда сам читаешь стихи.) После этого с подробными «докладами» выступали оппоненты. Затем слово предоставлялось всем желающим. Мнения можно было высказывать любые, но их обязательно полагалось аргументировать. «Нравится? Почему? Объясни, пожалуйста». «Не нравится? Опять же, почему?» Резюме обычно подводил руководитель. Обсуждаемому часто приходилось туго, так как мнения высказывались самые резкие, но все люди были пишущие, каждый знал, что наступит и его черед, и обстановка, в общем, была доброжелательная. Много лет спустя, когда мне самому довелось вести литературные объединения, я всегда использовал эту старую, полюбившуюся мне во Дворце пионеров схему.

«Практика», однако, не ограничивалась только разбором собственных стихов. Регулярно устраивались литературные игры: цепные стихи, буриме, акростих, стихи заданным размером на заданную тему и так далее. Глеб Сергеевич сказал тогда одну запомнившуюся мне на долгие годы фразу: «Я, конечно, не могу научить вас писать стихи — это только Господь Бог может. Но если я сумею научить вас отличать плохие стихи от хороших, буду считать, что мы с вами не зря тратили время». С тех пор прошло более сорока лет, но эти слова я запомнил отлично. Действительно, сколько порой одаренных поэтов страдают отсутствием вкуса — опасной болезнью, становящейся с возрастом неизлечимой, как и другие детские болезни, угрожающие взрослым! А ведь если научиться отличать плохие

стихи от хороших, то сможешь и своим стихам, которые каждому автору кажутся замечательными, дать трезвую и правильную оценку, пусть даже самую горькую!

И Глеб Семенов как мог воспитывал в нас вкус. А мог он многое. Человек с прекрасной памятью, воспитанный в старой интеллигентской семье (приемная мать, Елена Георгиевна, была когда-то актрисой, а приемный отец — известный писатель Сергей Семенов), он обладал тонким и безошибочным литературным вкусом. Прежде всего он читал нам наизусть множество стихов, авторов, которых мы, тогдашние жертвы полуобразованщины и усеченных школьных программ сталинской эпохи соцреализма, попросту не знали. Только спустя много лет я понял, как рисковал Семенов, называя нам многие запретные тогда имена и читая стихи, в ту пору не печатавшиеся. Помню, как-то году в 50-м он прочел нам на занятии строчки неизвестного (так он сказал) автора, которые я запомнил с первого раза наизусть:

В глубокой выработке, в шахте,
Горю с остатками угля.
Здесь смертный дух, здесь смертью пахнет.
И осыпается земля.
Последние истлеют крепи.
И рухнет небо мертвеца,
И превращаясь в пыль и пепел,
Я домечтаю до конца.
Я лишь на миг тебя моложе, —
Пока еще могу дышать:
Моя шагреневая кожа.
Моя усталая душа.

«Чьи это стихи?» — спросил кто-то из нас. Глеб Сергеевич по своей привычке многозначительно поднял брови и ничего не ответил. Только несколько лет назад, прочтя подборку в одном из толстых журналов, я узнал, что автором этих «безымянных» полюбившихся мне стихов был Варлам Шаламов, сидевший тогда в колымских лагерях. Как стихи эти добрались до Глеба Сергеевича в то время? Понимал ли он, что играет с огнем, — ведь вход на занятия был практически открытый? Видимо, понимал, но миссионерский свой долг понимал еще лучше. Именно он, помнится, дал мне впервые прочитать стихи прекрасного поэта Николая Тарусского, стихи Николая Заболоцкого и многих других поэтов, тогда запрещенных или полузапрещенных.

Могу сказать без преувеличений, что в восьмом и девятом классах, на занятиях литературной студии, именно Глеб Сергеевич Семенов сформировал мое (и не только мое) поэтическое мировоззрение. От него и от Эткинда услышали мы впервые имена и стихи, сложившие основы стройного и огромного здания Мировой поэзии — от Тредиаковского до обериутов, от терцин «Божественной комедии» и песен вагантов до мужественной «Мэри Глостер» и «Баллады о трех котиколовах». Это было подлинным открытием, переполнявшим и тяготившим наши нищие до того мальчишеские сердца своим неожиданным величием.

После занятий мы упорно не хотели расходиться, обычно долго бродили по вечернему шумному Невскому или по тихой и безлюдной Фонтанке, беспрестанно читая стихи или разговаривая о них. Жизнь наша, до той поры бессмысленная, обрела главный смысл. И дело было, конечно, не в скромных наших способностях и не в уровне собственных злополучных стихов. Мы все обрели истинную веру, причастились великого таинства мира звуков и смысла их единственной гармонии, и не могли уже жить, как прежде.

Давид Самойлов сказал как-то, что графоман отличается от истинного поэта только тем, что его вдохновение не дает результатов на бумаге. Возможно, мы и были такими графоманами. Дело, однако, не в результатах, а в том странном состоянии постоянного праздника посреди скудной нашей жизни. Может быть, именно тогда в наши незрелые души, уже изрядно потравленные «воспитанием под барабан» в пионерии и комсомолии, лег первый камень альтернативной основы существования, появилось первое сомнение в безусловной правоте примитивного нашего атеизма. У братьев Стругацких в фантастической повести «Попытка к бегству» на обитаемой планете, куда попадает космический корабль, господствует авторитарный режим, и людей приговаривают к смерти за следующий состав преступления: «Хотят странного». Стараясь научить нас «отличать плохие стихи от хороших», Глеб Сергеевич впервые привил нам это желание — «хотеть странного». Французская пословица утверждает, что человека отличает от животного «стремление ко лжи и к искусству». Не знаю, как по части лжи, а уж по части искусства Глеб Семенов, возможно, и сам не сознавая ответственности своего деяния, выступил почти в роли Господа Бога, отделив нас от животного мира. И в этом его огромная заслуга. Не все, безусловно, стали литераторами — многие бросили потом писать. Но прочные основы нравственного и эстетического воспитания были заложены в них так же, как и в

тех, кто связал свою судьбу с литературой. Они уже навсегда вырвались из мира обывательских материальных «ценностей»…

Именно Глебу Семенову принадлежит заслуга превращения в интеллигентов целого поколения пишущей ленинградской молодежи. Он отдал этому делу практически всю свою недолгую жизнь. Много лет руководил студией во Дворце пионеров. Потом, когда я учился в Ленинградском Горном институте, мы пригласили его вести студию там. По окончании Горного все участники «горняцкого» объединения не могли и не хотели расставаться с Семеновым и долгие годы ходили на его занятия во Дворец культуры им. Первой пятилетки, где он потом вел студию литературного творчества. Забегая вперед, могу сказать, что из «глеб-гвардии семеновского полка» (так мы себя в те поры величали) вышло немало литераторов, внесших заметный вклад в литературу последующих лет. Среди них — писатели Андрей Битов, Яков Гордин, Борис Никольский, поэты Александр Кушнер, Леонид Агеев, Глеб Горбовский, Владимир Британишский, Олег Тарутин, Нонна Слепакова, Нина Королева и многие другие.

С тех пор прошло много лет, но когда я в журналах или поэтических книжках встречаю вдруг новые хорошие, ранее неизвестные мне стихи, то, читая их, снова слышу глуховатый и негромкий голос Глеба Семенова.

Нам всем, дворцовым студийцам, было от 15 до 17 лет, и Глеб Семенов казался тогда безнадежно старым и взрослым человеком, а ведь ему не было еще и тридцати. Поэтическая судьба его сложилась трудно. Первая книга стихов «Свет в окнах», вышедшая в 1948 году, была неудачной. Последующие сборники, очень редкие, тоже были разными по своему уровню. Лучшие стихи оказались доступны для широкой публикации только после его смерти (он умер в январе 1982 года от рака легких). Был он крайне требователен к себе и всю жизнь мучился из-за хронической невозможности опубликовать то, что хочет. В годы войны его не взяли в армию из-за слабых легких, и это тоже мучило его, что нашло отражение в его стихах. Существовал он более чем скромно тем, что частично переводил, а по большей части работал при Союзе писателей в качестве литконсультанта и вел литературные объединения. Не знаю, что было бы, если бы его творческая судьба сложилась более удачно, но думаю, что в этом случае того уникального (на более чем два десятилетия — в самые черные годы) педагогического семеновского феномена могло бы и не быть…

Но вернемся в 1948 год. В нашем кружке (мы не любили это слово и всегда говорили «студия») были свои лидеры — первые поэты, писатели и критики. Старшую группу одно время посещал

Василий Аксенов, поступивший после школы учиться в Первый медицинский институт. В этой же группе занимались Борис Никольский, Владимир Торопыгин (главный редактор «Авроры», безвременно умерший от рака), Игорь Масленников, ушедший потом работать на телевидение. До сих пор помню его стихи, тогда чрезвычайно мне понравившиеся:

Луч солнца сух и высок,
Сух и высок веками.
Песок, камень, камень, песок,
Камень, песок, камень.
И солнце целит дулом в висок,
Верблюд шевелит боками.
Песок, камень, камень, песок,
Камень, песок, камень.
Пальмы стоят, стоят с руками,
Лужа прохладной грязи.
Камень, песок, песок, камень.
Камень, песок — оазис.

Часто рядом со мной за столом оказывался очень серьезный и худой юноша с иконописным лицом, который оказался моим ровесником, но я почему-то считал его старше, может быть, из-за неприступного вида, а может быть, потому, что его первого, несмотря на возраст, перевели в старшую группу. Это был Володя Британишский, с которым мы впоследствии учились на одном курсе в Горном институте. Помнится, нам как-то предложили показать свои стихи ленинградскому поэту Петру Ойфе, работавшему тогда в газете для пионеров «Ленинские искры». Прочтя рукописные тексты, он заявил: «У всех стихи плохие, потому что написаны они плохим почерком, трудно читать. А вот у Британишского стихи хорошие, потому что он пишет печатными буквами и их читать легко».

Стихи у Володи действительно были хорошими. Меня они тогда поражали глубиной и серьезностью тематики.

Да, жил и минерал, он был расплавом, газом,
Он магмой бешеной кипел в груди земной.
Но времена прошли, стал минерал алмазом,
И вот он на стекле лежит передо мной.

«Вот поистине «геологические» стихи, — думал я, — но какие глубокие и точные!»

В старшей группе выделялся своими стихами Лев Куклин, также ставший потом профессиональным поэтом. Но истинным лидером среди поэтов в ту пору был Феликс Нафтульев, которому все прочили большое поэтическое будущее. Был он на два года старше меня, стихи писал легко и много, и очень, по тогдашним нашим представлениям, мастеровито. Здесь надо оговориться, что уровень поэтического мастерства в студии был сравнительно невысок. Несмотря на призывы наших руководителей, за редким исключением все писали привычными ямбами. В последние годы мне часто приходится слышать и читать стихи начинающих поэтов, и я с честной завистью вижу, насколько они «мастеровитее» нашего поколения. Возможно, в этой «ямбической скованности» отразилась наша несчастная эпоха конца 40-х годов, когда любая «формалистическая» поэзия казалась непозволительной экзотикой.

Феликс Нафтульев писал быстро и эмоционально, мог написать стихи буквально на любую тему. Мне более всего запомнились его поэмы «Небо зовет» и «Индийская гробница» (все тогда увлекались этим фильмом). Стихи Феликса были лаконичными и динамичными, из них всегда была отжата «вода», которую «лили» все остальные. Помню его стихотворение «Стратонавты», посвященное памяти погибших в 30-е годы стратонавтов Васенко, Федосеенко и Усыскина:

…Мне надо знать, как тьма редела.
Как стрелки прыгали, шаля,
Как нарастающе гудела
В иллюминаторах Земля.
Как разом, отзвенев нелепо,
Вслепую, в чернозем, в века…
Мне надо знать, как страшно небо, —
Чтоб победить наверняка!

Нафтульеву я (да и видимо не я один), завидовал. Еще бы — такие стихи! На отчетных вечерах Дворца пионеров он всегда читал стихи последним, и, в отличие почти от всех других, его неизменно награждали долгими аплодисментами. Ох уж эти первые выступления, мучительный выбор, что прочесть, первые столкновения с «внутренней цензурой» в лице всего того же Глеба Сергеевича (здесь он был жесток), противная и непобедимая дрожь в коленках, когда ты, всегда бесконечно долго, идешь к сцене, и все присутствующие безжалостно и насмешливо глядят на тебя, как будто ты голый перед ними. От этого мерзкого ощущения стараешься идти быстрее, но при этом обязательно за

что-нибудь зацепишься, вызывая уже откровенный смех и отчаянно пытаясь не свалиться. А потом дрожь из коленок переходит на голос, в горле ком, выбранные для читки стихи кажутся ужасными, а впереди еще — гробовое молчание зала или несколько жидких хлопков, и под это враждебное молчание надо двигаться обратно. И не менее отвратительное чувство непобедимой зависти к собрату, которому хлопали больше, чего ты почему-то не можешь простить именно ему! Так, наряду с благородной и бескорыстной любовью к поэзии, пускали свои цепкие корни в наших неопытных сердцах сорняки — зависть и тщеславие.

По окончании школы Феликс Нафтульев окончил журналистский факультет ЛГУ, работал долго в Ленинграде, в детском журнале «Костер». В 1966 году мы вместе с ним ездили в Польшу в составе группы «творческой ленинградской молодежи». С тех пор я потерял его из виду и ни разу не встречал нигде в печати его стихов. После выхода книги моих воспоминаний «И вблизи, и вдали» он неожиданно прислал мне в Москву письмо:

«Привет, Алик! С удовольствием прочел твою книгу, с особым — ее начальные главы. Так оно и было: цепные стихи в сорок первой, кажется, комнате Художественного корпуса (неподалеку репетировали балерины, мы пытались завести с ними знакомство), и шляния к Медному всаднику, и Глеб Сергеевич в квартире 99 у книжных полок, в ветхом зеленом халате с бахромой и кистями.

Можно еще кое-что вспомнить. Например, у меня своя версия твоего прихода в кружок. Мой друг-сопартник Сережа Сотников сказал, что со мной хочет поговорить соседский мальчик из его квартиры. Беседа состоялась в обширной прихожей вашей коммуналки. Ты спрашивал, что нужно, чтобы поступить в студию, куда, когда и с чем приходить, а я объяснял. Значит, в определенном смысле ты — мой крестник. Храню несколько твоих рукописей той поры.

Твой «Снег» прозвучал по ТВ впервые, если не ошибаюсь, весной 1958 года в передаче, автором которой был тоже я. После Польши, если помнишь, крупно пировали всей компанией ночью в редакции «Костра» на Таврической, а наутро обнаружилось, что с редакционных дверей свинчены ручки.

В той поездке, в Варшаве, я, между прочим, пережил некоторое потрясение. В кафе, где мы ждали кормежки, на эстраде стоял рояль. Повинуясь фестивальным рефлексам, мы этот рояль обступили и с комсомольским энтузиазмом исполнили колкеровского «Пана Ковальского». Тут я с изумлением и

разочарованием заметил, что слушатели-варшавяне не рукоплещут, не кричат «Миру-мир» и «Бхай-бхай», а недовольно морщатся: какого рожна русские раскудахтались? И стало отчего-то неловко. Теперь-то понятно, отчего.

Теперь о себе. Если не искать в том, что ты написал про меня, иронии (оттенок, вероятно, есть), то увы. Здорово я вас всех надул, сам того не желая. Вы завидовали, а я ощущал себя голым королем, поражался, что никто этого не видит, и мучился от того, что «за истину принял вранье» и «небо утратил свое», вследствие чего «все ревностней день ото дня герои мои проклинают меня» (тетрадка 48 года).

Примечательно, что интуитивно меня тянуло совсем не к законопослушным конформистским творениям. Помню, как решил написать о сверстнике, чья семья погибла в гетто, — подробно, длинно, жалостно, с неожиданными последними Строками: «Я хожу по улицам с Володей, не попавшим в Университет». Однако эти стихи, а также другие подобные, я не закончил, а про то, что «опять занижают эльзасским шахтерам расценки», всегда заканчивал. Осознав за собой такую странность, я вскоре после окончания пресловутого Университета (меня — полукровку — на филфак приняли, на заштатное, правда, отделение логики и психологии) со стихотворными публикациями завязал.

Теперь я — неплохой редактор и журналист с детским уклоном. Помог Сенкевичу написать книжки про «Ра» и «Тигрис». Более тридцати лет тружусь в документальном кинематографе, где «широко известен в узких кругах».

Кстати, в середине семидесятых годов гостил неделю на «Крузенштерне», пришвартованном к стенке. Не успел вселиться, как был вызван в капитанскую каюту знакомиться. Знакомство вышло сердечное, и утром капитан не явился к завтраку (а я, напротив, явился, чем горжусь).

Сказанное тобой о Глебе Семенове — точно и верно, однако это — лишь подступы. Семенов — человек бесконечно противоречивый, трагический. Он растил, он и калечил. Помню его и люблю, держу его фото перед столом, — но, тем не менее…

И авторская песня по-прежнему ждет своего исследования. В ней все гораздо сложнее, чем видится «изнутри». Допустим, взаимоотношения авторской песни и официальной, — это же целая позиционная война, с засадами, ложными аэродромами, обманными рейдами, сабельными прорывами!

С «бардами» (не люблю слова!) — с некоторыми дружу. Дольского, Розенбаума, Клячкина принимал в нашу организацию (прежде — профком драматургов, ныне — Союз литераторов

России). Бываю на концертах, коллекционирую пленки, — болею, наблюдаю и оттачиваю концепцию.

Встречаюсь с Левой Куклиным, изредка — с Игорем Масленниковым, с переводчицей Майей Квятковской-Фрадкиной и с Борей Никольским. С Сережей Сотниковым раз в год созваниваемся или видимся.

Ну и, разумеется, спасибо за память и добрые слова. Будь здоров!

Феликс».

Феликс Нафтульев умер в самом начале 2001 года, перевалив рубеж тысячелетий.

Справедливости ради следует сказать, что замечание Феликса по отношению к Глебу Семенову не лишено оснований. При всех своих перечисленных выше достоинствах Глеб Сергеевич Семенов действительно был человеком противоречивым, во многом — закомплексованным, капризным, чрезвычайно мнительным и нередко — необоснованно жестоким к любившим его людям, в первую очередь — к женщинам. Где-то в конце 50-х годов писательница Надежда Крамова (отметившая в декабре 1999 года в Бостоне свое столетие), мать моей давней приятельницы Людмилы Давидович, у которой я тогда был в гостях, когда зашла речь о Глебе Семенове, сказала: «Не люблю я его, — стольких он баб запутал». Я, помнится, тогда заявил, что не могу находиться в доме, где дурно говорят о моем учителе, и ушел, гордый собой.

С окружающими его он все время был в каких-то сложных отношениях, с кем-то ссорился, мирился, соперничал. Часто это выражалось не впрямую, а намеками, многозначительным подъемом бровей, поджиманием губ. Этот питерско-провинциальный стиль «многозначительного умолчания» был довольно моден одно время в ленинградских окололитературных компаниях и даже считался признаком хорошего тона.

Немало обидных вещей он по разным причинам и без причин наговорил и мне. В один прекрасный день в середине 70-х, в Москве, где он жил в преподавательском корпусе МГУ со своей очередной женой, он вдруг без всякого повода с моей стороны захлопнул перед моим носом двери своей квартиры, не считая нужным ничего объяснить. Помню, как долго и болезненно я переживал это событие, безуспешно ища на себе хоть какую-то вину перед ним. Через пару лет он так же неожиданно восстановил со мной отношения и даже подарил мне свою книжку с надписью «Кто старое помянет…» И опять никаких объяснений. История эта так навсегда и осталась для меня загадкой.

В 1981 году, придя на спектакль Ленинградского Молодежного театра «Если иначе нельзя» (постановка Владимира Малыщицкого по повести Юрия Давыдова «На скаковом поле возле бойни») и прослушав мои песни в спектакле, он неожиданно заявил, что такие песни приносят только вред, поскольку провоцируют власти на репрессии. Увы, он оказался прав: спектакль с моими песнями довольно скоро запретили.

Впрочем, как правильно заключил Феликс в своем письме, все это нисколько не умаляет его огромный вклад в жизнь каждого из нас.

Что касается истории моего поступления в литературный кружок Дворца пионеров в 1947 году, то действительно, после моего случайного первого визита, узнав от соседа по квартире, что его одноклассник Феликс Нафтульев занимается там, я встречался с ним, чтобы узнать условия приема.

Выступали мы тогда со стихами довольно редко, как правило, на отчетных вечерах студии в концертном зале старинного Аничкова дворца, куда разрешалось приглашать родственников и знакомых. Потом, в девятом и десятом классе, мы выступали на вечерах Дворца в зале Ленинградской филармонии и в Эрмитажном театре.

Помню, на выступлении в Эрмитажном театре я читал свои (весьма, кстати, посредственные) стихи о португальском мореплавателе Васко да Гама, поскольку увлекался тогда географическими открытиями. Об этом через много лет неожиданно вспомнил в своих стихах Владимир Британишский:

…И он к нам, в кружок наш, в Аничков дворец,
Пришел. Что прочтет горбоносый птенец?
Какими сразит нас стихами?
А он нам — о Васко да Гаме.
И в восемьдесят — не соврать бы — восьмом,
В Москве прихожу в цедеэловский дом,
И публика в зале, набитом битком,
И он обозначен в программе.
О чем же прочтет он, лет сорок спустя?
А век наш летит и грохочет, свистя.
Ведь сверхзвуковые теперь скоростя —
Попробуй поспеть за голами!
А он нам — о Васко да Гаме…

Другим «неформальным» поэтическим лидером очень недолгое время был таинственный человек Олег Ширма, парень шестнадцати лет, которого привел в кружок его одноклассник

поэт Виктор Берлин, закончивший впоследствии Политехнический институт. Олег неожиданно появился у нас и почти так же внезапно исчез. У меня с ним сразу же осложнились отношения, так как ему понравилась волоокая, с темной косой и длинными черными ресницами, Лена Иоффе, за которой я тогда ухаживал, и он после первого же занятия с прямотой римлянина стал угрожать мне финкой, чтобы я не ходил ее провожать. Вместе с тем он сразу же потряс всех, и прежде всего, кажется, Глеба Сергеевича, поэмой, которую нам прочел. Это была поэма о Сталинградской битве, написанная вполне профессионально и явно человеком воевавшим. Поэма настолько отличалась от наших ученических писаний, что сразу же возникло подозрение, подлинно ли Олег Ширма ее автор. До сих пор помню такие строчки из нее:

Бледнеют голубые ромбы
Скрестившихся прожекторов,
И первый взрыв немецкой бомбы
Гремит у бронекатеров.
Пробиты бомбой бензобаки,
И нефть пылает на песке,
И грохот танковой атаки
Подкатывается к реке.

Поэма казалась написанной зрелым настоящим поэтом. А вот другие стихи у Олега как-то не получались. Он походил к нам что-то около месяца, потом пришел на занятие с «маленькой», демонстративно выпил ее «из горла» без закуски, вызвав этим у присутствующих почти такое же потрясение, как прежде чтением поэмы, и исчез. Секрет таинственной поэмы так и остался для меня неразрешимым.

Загадочную эту историю частично прояснило письмо, присланное мне Виктором Берлиным из Санкт-Петербурга в 1998 году:

«Однажды у нас в классе появился «новенький». На первом же уроке он сел на первую парту и начал демонстративно писать стихи, на чем, как и рассчитывал, «попался». На перемене я подошел к нему, познакомился и сразу же позвал его и к нам домой, и во Дворец. К сожалению, он оказался вором. У нас дома он украл «Учебник шахматной игры» Эммануила Ласкера, которым очень дорожил мой отец, увлекавшийся шахматами, и еще несколько наиболее ценных книг. В другой раз он стащил лежавшие на буфете 50 рублей, по тем временам немалые деньги,

а для нашей семьи — особенно. Мать пошла со мной к его отцу, и тот отдал безропотно.

Жил Олег вдвоем с отцом в крошечной комнатушке на Некрасовской. Мать его жила в Харькове. Отец всегда ходил в старой шинели, и обстановка в комнате у них была не то что бедной, а просто нищей. Иногда, украв деньги у отца или еще у кого-нибудь, Олег уезжал к матери в Харьков, потом возвращался. Был он, как мне кажется, патологически завистлив. Отсюда его страсть к воровству вообще и к плагиату в частности. У меня нет сомнений, что поэму он украл, — она явно написана не только талантливым и опытным поэтом, но и взрослым человеком, пережившим то, о чем пишет. Мы руководствовались принципом презумпции невиновности: любое сомнение в пользу обвиняемого. Раз мы не можем доказать, что поэма украдена, то должны верить, что он ее автор. Но в литературоведении (а вопрос об авторе — дело литературоведения) наоборот: сомнение в авторстве — достаточный повод в отказе публикации. Что касается автора поэмы, то, возможно, его следует искать в украинских, например харьковских, изданиях того времени, если это кому-нибудь нужно. Что же касается Олега, то, как мне сказали, вскоре после окончания школы он попал в тюрьму за кражу пальто в университетском гардеробе, и больше я о нем не слышал».

Прочитав приведенное выше письмо Феликса Нафтульева, где он бичует себя за конформизм, я вспомнил, что и сам в восьмом классе, будучи тогда ретивым комсомольцем, написал весьма посредственное, но «политически грамотное» стихотворение «Венок красных маков», в котором обличал «поджигателя войны» Уинстона Черчилля (так мы тогда совершенно искренне считали). Стихи эти, по рекомендации Г. С. Семенова, я прочел на одном из отчетных вечеров и был удостоен первого в своей жизни упоминания в печатной прессе. И не где-нибудь, а в главной газете — «Ленинградская правда»! Статью об отчетном вечере студии литературного творчества опубликовал известный в те поры ленинградский поэт Всеволод Азаров, которому стихи мои вдруг понравились, и он написал: «Молодой поэт нашел гневные слова для разоблачения…» и т. д. Дурацкому моему тщеславному счастью не было предела. Пару раз после этого, в том же 49-м, несколько стихотворений, тоже довольно скверных, напечатала газета «Ленинские искры». Это были мои первые публикации. К сожалению, «отличать плохие стихи от хороших» я в ту пору еще не научился, поскольку совершенно не хотел понимать безнадежно низкого

литературного уровня моей печатной продукции.

Справедливости ради следует сказать, что Глеб Сергеевич Семенов, бывший для меня в те годы высшим авторитетом, довольно трезво и невысоко оценивал мои поэтические способности. Беседуя как-то со мной об упомянутом выше Олеге Ширме, он сказал: «Понимаешь, про тебя я знаю, что ты можешь, а что нет, а вот он — человек неожиданный». Много лет спустя, уже в конце 50-х годов, в каком-то поэтическом застолье он же, приводя уже не помню чьи остроумные изречения, заявил, обратившись ко мне: «А вот есть цитата про тебя: «Если хочешь быть талантливым, стань лауреатом»». (Слова эти я припомнил уже в 1999 году, когда действительно стал лауреатом премии Булата Окуджавы.) Возможно, самым разумным в моем положении было бы бросить писать стихи раз и навсегда, но я уже был отравлен сладким ядом обманчивого сознания причастности к литературе, и сил честно бросить это неблагодарное для меня занятие в себе не находил. Так, видимо, лишенный актерского таланта юноша готов быть статистом в массовке, осветителем, рабочим сцены — лишь бы дышать пыльным воздухом подмостков, пропитанным едкими запахами нафталина и олифы.

Никогда не забуду своего первого посещения дома Глеба Сергеевича, которому я должен был срочно принести какую-то взятую у него книгу. Он тогда жил в квартире матери на последнем этаже большого писательского дома на канале Грибоедова, напротив Русского музея, неподалеку от Храма Спаса на Крови. Дом этот, как рассказывали, был одним из первых кооперативных домов, построенных на писательские сбережения еще в 30-е годы.

К строительству этого дома имеет отношение одна забавная апокрифическая история, связанная с именем известного журналиста и литератора и не менее известного остроумца той, не располагавшей к остроумию эпохи, — Стенича. Согласно этой истории, небольшая делегация писателей, в которую затесался и Стенич, отправилась в Смольный к Сергею Мироновичу Кирову, просить гвозди для строительства своего дома. Киров их принял, сказал, что постарается помочь, хотя с гвоздями сложно, и тут же написал записку какому-то своему заместителю. Окрыленные неожиданным успехом, писатели устремились в указанный им кабинет, но когда после долгого и унизительного ожидания они наконец попали туда, то сразу же поняли, что радовались рано.

Хозяином кабинета оказался огромного роста еврей с пышными буденновскими усами, одетый в гимнастерку и синие с красным кантом кавалерийские галифе, сидевший верхом на венском стуле за огромным письменным столом. Тут же, не дав

им сказать ни слова, он начал кричать: «Ага, появились, голубчики! Это вы ходите и отрываете товарища Кирова от важных дел из-за всякой ерунды? Писатели, попутчики паршивые! Народ, не разгибая спин, трудится, чтобы построить светлое будущее, а вы только путаетесь под ногами и всем мешаете. Что вам надо? Гвозди? Вы что, совсем обнаглели? При чем тут записка от товарища Кирова? У нас для Турксиба нет гвоздей, для Сибири нет гвоздей, а для вашего писательского дома и подавно. Убирайтесь отсюда, пока я вас не приказал арестовать!» Писатели, испуганные и обескураженные, покинули кабинет. Последним уходил Стенич. Уже подойдя к двери, он неожиданно обернулся и негромко, но внятно спросил: «Для писательского дома у вас гвоздей нет. А Христа распять нашли гвоздики?» Грозный начальник побагровел, закрутился на стуле и, изрыгая что-то нечленораздельное, подписал наряд на гвозди…

Войдя в парадное рядом с воротами, я долго поднимался по высокой лестнице без лифта на последний этаж к квартире с указанным мне номером. Поднявшись на последнюю лестничную площадку, я нашел ее и обернулся на дверь напротив, где красовалась медная дощечка с надписью «В. Каверин». Сердце мое замерло в груди от сознания, до каких литературных вершин я добрался. На звонок открыл Глеб Сергеевич в зеленом весьма потертом халате с кистями на кушаке и домашних туфлях и повел меня в свой кабинет, также сильно поразивший мое мальчишеское воображение.

За открытой им дверью обнаружилась узкая длинная комната, в торце которой располагалось высокое окно. За окном, освещая комнату нестерпимо алым слепящим светом, пылал весенний петербургский закат, на фоне которого проступали купола Казанского собора и черные контуры бесконечных труб, башенок и островерхих крыш. Над некоторыми крышами неподвижно струился темно-лиловый, с алой же подкладкой, дым. У меня захватило дух. Когда я, прикрыв глаза ладонью, огляделся, то увидел, что вся длинная правая сторона кабинета занята книжными стеллажами, уходящими вверх к потолку и заставленными книгами. Книги были самыми разными — от старинных, как мне показалось, фолиантов с красными корешками, тисненными золотом, и бумажных обложек «ЗИФ» 20-х годов до бесчисленных малогабаритных томиков стихов, чьи авторы, по большей части, были мне неизвестны. На одной из полок красовалась надпись: «Книги на дом не выдаются». У противоположной стены, впритык к ней, стоял небольшой письменный стол. В дальнем углу, рядом с окном, висела какая-то небольшая и темная икона. Когда я подошел ближе, то

обнаружил, что это не икона, а рисованный черно-белый портрет Пушкина, специально повешенный как икона.

Таинственный и притягательный облик этого поэтического кабинета, заставленного книжными полками, с Богом-Пушкиным, с окном, распахнутым в блоковско-питерское небо, запомнился мне до мельчайших деталей на долгие годы. Сидя в таком кабинете, перед таким окном, в окружении таких собеседников, можно было создавать только бессмертные стихи. Самое удивительное при этом, что, к стыду своему, я совершенно не помню ни разговора с Глебом Сергеевичем, ни содержания прочитанной книги, ни даже стихов, о которых шла речь в тот вечер. Все в моей памяти выжег этот пронзительный черно-багровый интерьер.

В то время все вокруг постоянно твердили нам, что надо «приобретать жизненный опыт», зарабатывать себе рабочую биографию, изучать жизнь не по книжкам. И только Глеб Сергеевич не уставал повторять, что поэзия, так же как и наука, требует от человека глубоких профессиональных знаний и мастерства; что, не зная мировой поэзии, и прежде всего отечественной, нельзя создать ничего нового. Что люди, презирающие культуру, пишущие «пупом», никогда не смогут обогатить литературу. «Рецепт один, — читайте, читайте и читайте», — повторял он.

Жили мы тогда с родителями в упомянутой выше большой коммунальной квартире на пятом этаже огромного дома на углу Мойки и Фонарного переулка. Во дворе этого гигантского дома с проходными дворами, заставленными дровяными сараюшками, помещались старые петербургские бани. Существует версия, что именно из-за этих, построенных еще в XVIII веке, бань река Мойка и получила свое историческое название. В числе прочих жильцов нашей квартиры (которую раньше занимал повар Мариинского театра), вытянутой подобно кишке вдоль длинного коридора, ведшею на кухню, был член Союза писателей Николай Афанасьевич Сотников. Кто он был, критик или киносценарист, я так и не понял. Они с его, к тому уже времени бывшей, женой и упомянутым выше сыном Сергеем, одноклассником Феликса Нафтульева, занимали три крохотных комнатки в конце коридора, возле кухни. Ксения Николаевна, так звали его жену, постоянно подрабатывала машинописью, и в квартире у нас время от времени появлялись ее клиенты и приятели, среди которых мне запомнился Виктор Некрасов, тогда еще молодой автор только что опубликованного романа «В окопах Сталинграда».

Сам Николай Афанасьевич, грузный обрюзгший человек неопределенных лет, в неизменных роговых очках, в квартире

появлялся редко. В постоянно пустовавшей комнате его была неплохая библиотека из старых книг, кое-что из которых его сын Сережа давал мне читать. На старом расшатанном столике в передней, напротив входных дверей, где стоял телефонный аппарат (тогда еще не автоматический с наборным диском, а с кнопками А и Б и с «телефонной барышней» в трубке), вместе с письмами квартирным обитателям регулярно появлялись календарики мероприятий в Доме писателей. Доме кино и различного рода пригласительные билеты, в пору отсутствия Сотникова лежавшие здесь подолгу. Я смотрел на них с завистью к этому таинственному человеку, который каждый день, оказывается, мог ходить то на концерт, то на просмотр и обсуждение кинофильма, то на какую-нибудь интереснейшую лекцию. Вот что значит быть настоящим писателем! Да я бы на его месте только и делал, что ходил бы все время то в Дом писателя, то в Дом кино — не жизнь, а сплошной праздник, да еще и постоянно среди всяких знаменитостей!

С другой стороны, такой образ жизни отпугивал меня своим, как мне представлялось тогда, праздным безделием. Я понятия не имел о черном и каторжном писательском каждодневном труде, заменяя его в своем воображении редкими приятными взлетами творческого вдохновения. Да и родители мои, с утра до ночи пропадавшие на работе, усердно приучали меня к тому, что каждый мужчина должен иметь «серьезную» специальность и трудиться, как и все, на производстве. Под словом «серьезная» понималась — техническая. Всякое искусство в нашей «технарской» семье воспринималось в основном как развлечение и отдых после работы, которая, неважно какая, но обязательно каждодневная, и являлась главной целью в жизни. Поэтому делать искусство своей специальностью я тогда не собирался.

В то же время, хотя я и старался быть отличником, математика и физика давались мне с трудом, а больше всего я любил литературу и историю, явно обнаруживая, к неудовольствию матери, гуманитарный уклон. Физику у нас в восьмом классе преподавала некая Мария Леонтьевна, женщина средних лет, грузная и косноязычная, с тяжелым неподвижным взглядом бесцветных глаз, от которой за версту веяло холодом и полным равнодушием к своему предмету. Я боялся ее гипнотического взгляда, как кролик боится взгляда кобры. В десятом классе ее сменил высокий, узкоплечий и худой Владимир Александрович с впалыми щеками многолетнего курильщика и цепкими презрительными глазами, щеголявший во флотском офицерском кителе и заявивший как-то моему однокласснику Леве Лозовскому, отличавшемуся вопиющей еврейской

внешностью: «Зря стараешься. Таким, как ты, я все равно больше тройки никогда ставить не буду, чтобы вы в вузы потом не лезли». Может быть, поэтому никакой привязанности к физике я не испытывал в то время.

Математику же преподавал замечательный человек Александр Павлович Григал, прекрасно знавший свой предмет, но грозный и строгий. В нашем девятом «Б» учился высокий крепыш по фамилии Синица, носивший на своей широкой груди множество спортивных значков. (Уже в девятом классе он занимался в юношеской спортивной школе и был разрядником по нескольким видам спорта.) С математикой Синица систематически был не в ладах. Каждый раз, когда Григал громовым своим голосом зачитывал оценки за очередную контрольную, он начинал с отличников: «Камский — пять, Темкин — пять, Капинос — пять…» Потом шли четверки, тройки и двойки. Заканчивал же он всегда в рифму: «Синица — единица!» Меня он тоже не особенно жаловал, так что выше четверки я у него обычно не поднимался.

Совсем другое дело — литература и история. Литературу в восьмом и девятом классе нашей 236-й мужской школы, расположенной в помещении старой гимназии на Мойке, 108, как раз напротив главных ворот знаменитой петровской Новой Голландии, где когда-то строили галеры, вела худенькая и некрасивая Лариса Михайловна, со старомодной косой и высоким восторженным голосом старой девы. Я у нее, конечно, был на самом хорошем счету, так как с литературой, которую любил, проблем никогда не возникало.

Не обходилось, однако, и без конфликтов, в которых каждый раз виновен был я. Помню, однажды зимой она вошла к нам в класс, румяная от мороза, с блестящими глазами и звонко сказала: «Ребята! Сегодня мы с вами начинаем новую тему, связанную с величайшим нашим поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным — любовь Пушкина. Дело в том, малышки, что Пушкин был однолюб». Я, к тому времени успевший прочитать довольно много всякой всячины о поэте, в том числе дневники А. Вульфа, книги Вересаева, работы Щеголева, дневник самого Пушкина в Михайловском с характерной записью о романе с А. П. Керн и зная знаменитый донжуанский список Пушкина, довольно гнусно захихикал, чем неожиданно для себя вызвал ее яростный гнев. «Городницкий, — закричала она, заливаясь краской, — немедленно покиньте класс. И давайте дневник — я вам двойку поставлю!» Несколько растерянный ее внезапным и, как полагал, несправедливым гневом, я вышел в коридор и, закрывая за собой дверь, слышал,

как она объясняла срывающимся от волнения голосом: «Ребята! Не верьте этому цинику! Да, действительно, женщин в жизни Пушкина было много. Но ведь Пушкин был один! И поэтому любовь каждый раз была одна — великая, светлая пушкинская любовь!» Увы, мне потребовалось полвека, чтобы понять, как она была права!

Историю в восьмом и девятом классе вел худощавый, подтянутый, высоколобый, в строгих роговых очках Вячеслав Николаевич, ушедший потом преподавать в Нахимовское училище и надевший морскую форму. Вот кто умел говорить красиво! В нескольких словах мог он развернуть захватывающую картину штурма Бастилии или казни Робеспьера. Именно ему я обязан пожизненной любовью к истории. Именно он дал впервые прочесть поразившие меня тогда книги Стефана Цвейга «Жозеф Фуше», «Подвиг Магеллана» и «Звездные часы человечества». В десятом классе его сменил Петр Антонович, лысоватый и неряшливый, с вытянутой длинной и асимметричной головой. Он вел историю СССР и объяснял ее по-простецки: «Услышав это, Ленин сказал — ты, милочка Коллонтай, не очень-то тут разливайся, мы тебя враз укоротим!» Впрочем, человек он был добрый, да и отрезок истории ему попался неблагодарный.

Классным руководителем с восьмого по десятый класс была у нас учительница немецкого языка Софья Львовна Щучинская, маленького роста, с черными зачесанными гладко волосами и гоголевским профилем. Характер у нее был сложный и жесткий. Именно она была инициатором создания в школе рукописного журнала «Проба пера», сменным редактором которого в числе прочих был и я. Печатался он на машинке в одном экземпляре. Обложку и рисунки делали сами. В журнале помещались стихи, проза и публицистика. Помню, всего было выпущено номеров шесть (выходил он раз в месяц). К великому сожалению, после перевода 236-й школы в другой район все старые архивы наши, в том числе и журналы «Проба пера», были сожжены. У меня чудом сохранился один номер с напечатанной там моей первой поэмой «Ноябрь».

Оглядываясь назад, я понимаю теперь, что в те далекие и неискренние годы Софья Львовна Щучинская делала все что могла. Она говорила часто, что не учеба главное в школе, а жизнь в коллективе. «Вы будете вспоминать через несколько лет уже не нас и не школу, а только то, что вы сами успели в ней сделать». Вот и я теперь действительно вспоминаю журнал «Проба пера» и бережно перелистываю его желтые страницы с никому уже, кроме меня самого, не нужными стихами и рассказами. Вместе с тем я никак не мог отделаться от постоянного чувства неловкости, не

вполне осознанной, которая возникала у меня всякий раз, когда на классном собрании по любому поводу она громко кричала: «Даю честное слово коммуниста!» Софья Львовна умерла от рака в конце 50-х годов, и я был в числе двух или трех моих одноклассников, шедших за гробом. В поэме «Новая Голландия», написанной мной в 1962 году на борту военного парусника «Крузенштерн» в Северной Атлантике, есть часть, посвященная ее памяти.

Что же касается моих гуманитарных склонностей в школьные годы, то все относительно. Несколько лет назад я присутствовал на «Дне открытых дверей» в Международном университете в Дубне, где я числюсь профессором по кафедре наук о Земле. На кафедре информатики, где мы с коллегами уже успели пропустить по паре рюмок коньяка, стояли компьютеры с экзаменационными тестами для поступающих, вокруг которых толпились студенты и абитуриенты. Когда мы подошли, кто-то из них пошутил: «Вот вы нам тут вопросов наготовили. А сами-то можете на них ответить?» Слегка разгоряченный коньяком, я тут же сел за один из компьютеров. Остальные профессора от этого скромно уклонились. И тут я не без испуга вспомнил о своих проблемах с физикой и математикой в школе. Отступать однако было поздно, — плотное кольцо насмешливых абитуриентов уже сомкнулось вокруг меня. «Ну ладно, — подумал я, отрезвев от страха, — с литературой и языком-то я как-нибудь справлюсь. А вот как бы с физикой и математикой не опозориться». Результат тестирования оказался для меня весьма неожиданным: английский я еле вытянул на тройку, по литературе получил четверку, а физику и математику, не задумываясь, ответил «на пять».

В то трудное послевоенное время для нас, полуголодных ленинградских мальчишек, самым доступным искусством оставалось кино, сыгравшее огромную роль в формировании системы наших ценностей и стереотипа поведения.

«Из всех искусств для нас наиважнейшим
Является кино», — заметил Ленин.
И не ошибся: в школьные года.
Послевоенные, да и позднее тоже.
Оно сердца нам жгло на всю катушку.
Катушки эти, помню, привозили
В тяжелых металлических коробках,
Защитною окраскою и формой
Напоминавших цинки для патронов
Или противотанковые мины,

Которые в ту пору находили
Под Сиверской и возле Сестрорецка.
Ах, эти фильмы! Именно по ним
Учились мы уменью целоваться.
Закуривать и открывать бутылку,
Да и другим вещам, необходимым
Для юношеской жизни, о которых
Умалчивали школьные программы.

…Прощай, кинематограф. Ты теперь
Искусство ретро, как и оперетта,
Что вытеснена шоу, или книги
В суровую эпоху Интернета.
Прощай, кино. Уже не будем мы
Из темноты с надеждою на свет
Смотреть, завороженные лучом
Твоей трескучей кинопередвижки.
Прощай, мое важнейшее искусство,
Последняя и первая любовь.
Ты — жизнь моя, которая прошла
И более уже не повторится.

Кстати, в августе 1999 года по приглашению кинорежиссера Саввы Кулиша, с которым мы подружились еще в 1984 году, когда жили в одной каюте на борту «Дмитрия Менделеева» в 31-м рейсе, я принял участие в работе жюри Всероссийского кинофестиваля «Окно в Европу», проходившего в Выборге. За неделю мне довелось посмотреть около тридцати новых отечественных фильмов, и меня поразило, что ни в одном из них не звучат песни. Я поделился этим неожиданным открытием с участником фестиваля композитором Владимиром Дашкевичем, автором многих прекрасных песен к кинофильмам, и он грустно развел руками. Песни ушли с киноэкрана, вытесненные обязательными нынче сексуальными подробностями, мордобоем, насилием и другой «чернухой».

В последних классах школы началось также мое увлечение театром, но об этом подробнее будет рассказано ниже.

Кончались 40-е годы, о мрачной оборотной стороне которых я тогда не догадывался. Уже шла вовсю «борьба с космополитами», предвещая в недалеком будущем дело врачей. Уже были преданы анафеме Ахматова и Зощенко, Шостакович и Мурадели. Снижали послевоенные цены, но испуг оставался привычным выражением человеческих лиц. Что же делать… У нас не было другого детства

и юности. Для меня конец 40-х годов стал временем первых вполне платонических сердечных увлечений, горьких раздумий о своей неисправимой национальной неполноценности, мечтаний о будущем, где мне хотелось бы стать «настоящим мужчиной».

Характерно, что поэзия не занимала никакого конкретного места в моих жизненных планах — она как бы существовала сама по себе, не становясь в то же время самоцелью. Я в ту пору увлекался историей и даже собирался поступать на истфак в университет. Свидетельством этого осталось интервью, взятое у меня как у «круглого отличника» каким-то незадачливым корреспондентом молодежной газеты «Смена» в девятом классе в 1949 году. Интервью вместе с фотографией попало на страницы газеты, откуда, много лет спустя, перекочевало в юбилейную книгу, посвященную 60-летию газеты «Смена». В книге этой напечатаны «Атланты» и мое дурацкое давнее интервью, названное в духе того времени «Смело смотрим вперед», где я наивно заявлял, что собираюсь после школы в университет.

Что еще занимало нас тогда? Ну конечно, любовь. Для нас, питомцев мужской школы, девочки были инопланетянами. В восьмом классе у нас организовали кружок танцев, куда пригласили девочек из соседней 235-й школы. Борьба с «иностранщиной» и космополитизмом была в самом разгаре, поэтому фокстроты и танго, воплощавшие тлетворное разложение буржуазного Запада, были объявлены вне закона. Даже слова были изъяты из обихода. Когда на танцах, не более одного раза за весь вечер, играли все-таки танго или фокстрот, их стыдливо называли «медленный танец» и «быстрый танец». Строгие комсомольские патрули на школьных вечерах бдительно следили, чтобы никто не вздумал танцевать неприлично развратный «гамбургский фокстрот», считавшийся пределом грехопадения. В кружке танцев поэтому тщательно изучали «Русский бальный», «Па-де-катр» и другие мертворожденные бальные танцы. Единственным, кажется, утешением был вальс. Ему я обучился быстро. Считалось особым шиком закружить свою партнершу до такого состояния, чтобы у нее начала кружиться голова и она, боясь упасть, старалась сама ближе прижаться. Умение танцевать в старших классах казалось нам столь же необходимым, как, например, умение читать.

Саша Малявкин, мой сосед по парте в девятом классе, переводившийся ненадолго в школу рабочей молодежи и успевший почерпнуть там изрядный опыт сексуальных навыков, регулярно ходил на танцы в клуб «Швейник» на Исаакиевской площади и постоянно дразнил наше любопытствующее воображение рассказами о своих победах. В подпольном классном

дневнике того времени кто-то из завистников написал о нем: «Хвастает, что познал женщину, но это свист». Остальные перебивались редкими поцелуями. Куда нам, тогдашним, тягаться с современными московскими и питерскими старшеклассниками, отягощенными ранним сексуальным опытом! Зато устраивались многочисленные ханжеские диспуты на тему «Дружба, товарищество и любовь», где прыщавые лбы-переростки и полногрудые девятиклассницы на полном серьезе обсуждали, может ли быть «чистая дружба» между юношей и девушкой.

И все-таки наступали волнующие майские дни, когда на подоконники выставлялись радиолы, и пробивалась первая светлая зелень на тополях, стоящих вдоль Мойки, и щемящие до сих пор сердце мелодии вальса «Память цветов» или фокстрота «Укротитель змей» манили наши неокрепшие души и тела смутным обещанием немедленного счастья. И бледные незагорелыс ноги девчонки из соседнего дома в неожиданно короткой, не по тогдашней моде, юбке заставляли беспокойно просыпаться светлой ночью, отличавшейся от дня только тишиной и неподвижностью…

Комната, где ютились мы с отцом и матерью, была узкой и длинной и напоминала трамвайный вагон. В одном торце ее помещалась дверь, в другом — окно. Зато за окном открывался необъятный вид на весенний город. Фасад дома в его верхней части был украшен лепными ангелами. Один из них располагался возле нашего окна, слева от него. Справа, симметрично ангелу, красовалась водосточная труба. Когда мне доводится попадать на Мойку, я всегда безошибочно определяю «свое» окно. Оно и впрямь было моим. До сих пор помню весенний праздник его открытия, когда из щелей извлекалась пожелтевшая за зиму вата, отдирались полоски бумаги и крошащаяся замазка и распахивались пыльные рамы, впуская в нашу тесную комнату таинственную полифонию апрельского города. Со стороны фасада окно было перехвачено старинной чугунной решеткой, так что на широком подоконнике при открытом окне образовывалось что-то вроде небольшого балкона, где я обычно любил устраиваться с книгами или тетрадкой.

Прямо подо мной, глубоко внизу, медленно струились грязно-зеленые воды Мойки, по которой иногда, пыхтя, тянул буксир какую-нибудь баржу да в начале лета проплывали учебные шлюпки с обнаженными по пояс загорелыми курсантами Высшего военно-морского пограничного училища, располагавшегося неподалеку от нашего дома, на другом берегу Мойки, возле Поцелуева моста, в здании бывшего Гвардейского экипажа. Враз поднятые по команде сверкающие на солнце весла, резко

нагибающийся в такт гребкам старшина, командующий «р-раз, р-раз», неизменный военно-морской флажок на корме — все это заставляло сжиматься сердце в мечтах о настоящем море.

Вечерами по булыжной мостовой возле нашего дома с песнями маршировали курсанты Высшего транспортного училища, также располагавшегося неподалеку. Эти ежевечерние строевые песни «Распрягайте, хлопцы, коней», «Эй, море Черное, песок и пляж», «Взвейтесь, соколы, орлами» и другие, как ни странно, рождали чувство стабильности и покоя.

Напротив дома на противоположной стороне Мойки возвышалось несуразное здание Дома культуры работников связи, в стиле социалистического конструктивизма начала 30-х годов, перестроенное когда-то из немецкой кирхи, своим серым обликом и высокой башней напоминавшее старинный средневековый замок. По выходным на последнем этаже его, где помещался танцевальный зал, устраивались танцы, и громкие звуки оркестра до позднего вечера вырывались из узких длинных окон, похожих на бойницы.

(Сейчас в верхних этажах башни разместилась одна из питерских радиостанций. Мне недавно довелось побывать там, и я через много лет с грустью снова взглянул на «свое» окно на пятом этаже отреставрированного ныне дома между ангелом и водосточной трубой.)

Правее, над крышами старых домов на бывшей Большой Морской (в мое время — улица Герцена, а ныне — опять Большая Морская), где жили когда-то Набоковы и другие именитые дворяне, сиял в лучах заходящего солнца купол Исаакиевского собора. Перед блокадой он был закрашен, «чтобы не служил ориентиром для немецкой артиллерии при обстреле». Помню, как после войны с него долго соскребали краску специально подрядившиеся альпинисты-верхолазы. Это ежевечернее золотое сияние за окном, являвшее разительный контраст с нищенской нашей домашней обстановкой, стало для меня как бы необходимой частью интерьера.

Не так давно на брифинге в роскошной резной черного дерева гостиной особняка Набокова, на Большой Морской, где теперь располагается редакция газеты «Невское время», кто-то из журналистов спросил меня: «Скажите, а вы впервые в особняке Набокова?» «Нет, — ответил я, — я здесь уже был много лет назад, в сорок девятом году. Тогда я ходил по всей этой анфиладе совершенно голый, прикрываясь листом бумаги». Мое неожиданное заявление привело присутствующих журналистов в явное смятение. Они решили, что у меня «поехала крыша». Пришлось пояснять, что в этом доме в 1949 году помещался

райвоенкомат, где я вместе с другими допризывниками проходил приписку и необходимую при этом медкомиссию. В каждой из комнат бельэтажа сидели врачи, и мы, раздетые догола, ходили из комнаты в комнату, стыдливо прикрываясь обходным листом.

Забавная история на том же брифинге произошла с поэтом Евгением Рейном. Журналисты спросили его, кого он считает лучшим поэтом в России после смерти Бродского. Женя засопел и покраснел. «Оставьте Евгения Борисовича в покое, — пришел я ему на помощь. — Когда в свое время Виктора Гюго спросили, кто лучший поэт Франции, он так же, как Евгений Борисович, долго сопел и краснел, а потом произнес: «Альфред де Мюссе — второй по величине»».

Вернемся однако к давнему виду из окна. Левее Дома культуры связи, над крышами домов, в том месте, где Большая Морская соединялась с набережной Мойки и в маленьком скверике в апреле всегда прежде других начинали зеленеть два деревца, отчетливо были видны верхушки мачт огромного парусника «Крузенштерн», стоявшего в те годы у причала на набережной Невы, неподалеку от моста Лейтенанта Шмидта. Мачты эти, черневшие на фоне пронзительных алых и желтых закатов, пылавших над Васильевским и Петроградской, будили чувство счастливой тревоги, напоминая о том, что мы живем на берегу, и вселяя обманчивую иллюзию о доступности дальних стран. Старый этот парусник, построенный в Германии в 1929 году, был захвачен в качестве военного трофея и много лет стоял здесь без движения, ожидая своей дальнейшей участи. Думал ли я тогда, глядя на его мачты, что мне посчастливится штормовать на нем в суровой зимней Северной Атлантике, плыть Гибралтарским проливом мимо Геркулесовых столбов, швартоваться у причалов далекой Ямайки?

Этот пьянящий воздух вечернего города, пропитанный звоном трамваев, обрывками танцевальной музыки, резкими криками вдруг вспыхивающих на солнце чаек, сигналами автомобилей, протяжными гудками близких судов и, наконец, звонким стуком чьих-то запоздалых каблучков по камням в молочном безмолвии белой ночи, кружил голову упрямым, несмотря ни на что, ожиданием счастья назавтра. Необъятность и неопределенность будущего, кажущееся богатство выбора — все пьянило воображение. И писались стихи, глупые и беспомощно-восторженные, а ныне недоступные, вызывающие острое чувство ностальгии.

Что пели мы в студенчестве своем

Геологией я начал заниматься так же случайно, как и стихами. Увлекаясь в старших классах литературой и историей, не в пример физике и математике, я не мог не сознавать бесплодности этих увлечений. Когда я закончил десятый класс, на дворе стоял 1951 год. Еще не отшумела антисемитская кампания по борьбе с космополитами, а уже готовилось дело врачей. Несмотря на золотую медаль, путь на истфак в Ленинградский университет, носивший гордое имя Андрея Александровича Жданова, был для меня с моим «пятым пунктом» закрыт наглухо. То же относилось и к основным «престижным» вузам. Идти в «разрешенные вузы» — пединститут, мединститут и так далее, входящие в «черту оседлости», не хотелось.

Яд сталинской антисемитской пропаганды до такой степени коррозировал мое полудетское сознание (не говорю «душу» — ее тогда, пожалуй, еще не было), что я сам себе казался человеком второго сорта, неженкой и белоручкой, ничего не умеющим. Я мечтал стать «настоящим мужчиной», закаляющим свой дух и тело постоянными трудностями и героическими подвигами, хотелось доказать всем (и себе), что я не хуже других. Реализовать эти юношеские комплексы в те невеселые времена, по моему разумению, можно было, только связав свою будущую жизнь с армией или экспедициями…

В начале десятого класса в нашей школе появился ладно скроенный молодой подполковник с голубыми просветами и крылышками на золотые погонах, туго перетянутый скрипучей портупеей. Объявлялся набор десятиклассников в курсанты Высшей военно-воздушной академии. До сих пор помню, с каким завистливым вниманием мы следили за ним, когда он рассказывал об условиях приема. Через год — всего через год! — уже присваивается первое офицерское звание младшего лейтенанта и жить можно будет не в казарме, а дома. Его литая фигура, туго обтянутая новенькой гимнастеркой с яркими полосками орденских колодок, мерцание погон, портупеи и начищенных до предельного блеска сапог безоговорочно покорили и наши мальчишеские сердца.

Нельзя забывать, однако, что для нас, школьников военного поколения, облик боевого офицера был тогда главным идеалом. Не в пример Белинскому «титло литератора» заслонялось от нас «блеском мундиров и мишурой эполет». Кроме того, обещались большие по тем временам деньги и полная независимость от родительской опеки. Остатки сомнений были развеяны, когда на

новогодний вечер в школу пришли вчерашние выпускники, ребята всего лишь на два класса старше нас, вместе с которыми мы еще вчера выпускали стенгазету и ставили спектакли. Они появились в такой же летной форме, при погонах с офицерской звездочкой на голубом просвете.

Заявления в академию подало больше половины класса, в том числе и я, совершенно упустив из виду то (показавшееся нам совершенно неважным) обстоятельство, что прием-то был только на специальность «строительство аэродромов», которая никакого отношения к полетам не имела. Поскольку я, не без оснований, побаивался, что меня и в академию из-за пятого пункта не возьмут, то одновременно начал думать — не поступить ли в военно-морское училище, хотя, конечно, о море, как и о геологии, никакого понятия не имел, а воды боялся, поскольку плавать не умел.

В моем увлечении морем во многом «повинны» Сергей и Вадим Карцевы, уверенно пошедшие после седьмого класса сначала в подготовительное, а потом в Высшее военно-морское училище. Прибегая домой в недолгие сроки увольнений или в «самоволку», загорелые и отощавшие на военно-морских харчах, братья поражали мое убогое школьное воображение незнакомыми морскими словечками. Пол они называли палубой, кухню — камбузом, стены — переборками, порог — комингсом. Мир вокруг начинал преображаться. Казалось, привычные прежде комнатные стены, став переборками, кренятся и скрипят, унылый дом напротив, маячащий в окнах, превращается во вражеский фрегат, идущий на абордаж, а серые булыжники мостовой искрятся балтийской рябью под атлантическим норд-вестом. Братья чаще приходили в выходной форме с ярко-синим сиянием «гюйсов» (так они называли свои морские форменные воротники с тремя белыми полосками, присвоенными, как мне объяснил Сергей, русским морякам еще в XVIII веке за победы в морских сражениях). Первое, что они делали по приходе, — бросались, сняв свои «гюйсы», на кухню и начинали яростно их застирывать, безуспешно стараясь с помощью хозяйственного мыла и щелочей вытравить красивый синий цвет. На мой недоуменный вопрос братья снисходительно пояснили, что новенькие синие воротники — опознавательный знак «салаг», а у настоящих опытных и бывалых моряков, каковыми они, вне всяких сомнений, себя и считали, «гюйсы» должны быть бледными, выцветшими от тропического солнца, полярных ветров и соленой воды.

А чего стоили их палаши в черных тугих ножнах с черными же рукоятями и кистями на эфесах, настоящее «табельное» оружие, которое обычно небрежно отстегивалось и ставилось в

угол! Разрешение «подержать» палаш обычно сопровождалось захватывающими дух историями о кровопролитных дуэлях (конечно, из-за женщины), возродивших древнее искусство фехтования. О том, как грозные курсанты наводят ужас на всю шпану в танцевальном «Мраморном зале» на Васильевском острове. Как под угрозой обнаженных палашей испуганные милиционеры, незаконно придравшиеся к курсантам на ночной набережной, вынуждены многократно отдавать им честь, чтобы потом убраться подобру-поздорову.

Но даже когда братья являлись в «самоволку» из какого-нибудь овощехранилища в грязных, донельзя затертых матросских «робах» и огромных не по размеру ботинках последнего срока носки, прозванных «ГД» (говнодавы), они и тогда казались мне небожителями, штатными гриновскими героями, сошедшими ненадолго на берег.

Итак, мифическое море и не менее мифическое небо, ослепившие худосочного юнца на пороге десятого класса. Я регулярно, вместе со всеми, являлся «на построения» и перекличку на старый, еще дореволюционный плац в Военно-воздушную академию на улицу Красного курсанта на Петроградской и одновременно собирал документы для военно-морского училища. Отец, всю жизнь работавший в системе военной гидрографии, поначалу снисходительно относился к моим безумным намерениям, справедливо полагая, что все равно из этого ничего не получится. Только когда, уже получив аттестат и медаль, я должен был назавтра окончательно отдать документы в академию, где, как ни странно, попал в список, он всерьез встревожился и с несвойственной ему безоговорочно-твердой манерой категорически отговорил меня связываться с военной службой, которую слишком хорошо знал.

Что же было делать? Недолго сомневаясь, я отнес документы на Васильевский в приемную комиссию Ленинградского Горного института, где просил зачислить меня на геолого-разведочный факультет. Почему именно Горный? А не потому ли, думаю я теперь, что и в Горном институте в те времена тоже была форма, унаследованная еще от царских времен и, кстати, весьма напоминающая морскую офицерскую — с такими же двубортными тужурками, украшенными золотыми жгутами контр-погон с литыми буквами на них, напоминавшими императорские гербы? Да и знаменитое здание воронихинской постройки с его грязно-белой колоннадой располагалось на Самой набережной, и неподалеку от подъезда поскрипывали у причала суда. А из вечно пыльных окон институтских аудиторий были видны мачты и надстройки огромных кораблей, стоявших

на соседних стапелях Балтийского завода. А еще дальше, за унылыми заводскими корпусами, редкий солнечный луч вдруг выхватывал из дымной мглы ослепительную рябь Маркизовой лужи. Я никогда, в отличие от Володи Британишского, не увлекался минералогией и геолог ней и выбирал скорее не специальность, а образ жизни, который в моем наивном мальчишеском воображении был связан с постоянными экспедициями, преодолением трудностей и приключениями.

Значительно позднее я прочел и взял на вооружение мудрую фразу любимого мною Роальда Амундсена, одного из самых героических путешественников, открывшего Северный и Южный полюса: «Всякое приключение — результат плохо организованной работы».

Жесткого «национального ценза» в Горном (по сравнению с университетом) как будто не было, и я сравнительно легко прошел обязательное для медалистов собеседование. Строгая медкомиссия также подтвердила мою принципиальную пригодность к трудностям геологических скитаний. Но здесь совершенно неожиданно возникла новая проблема. Оказалось, для поступления в Горный надо обязательно совершить прыжок с вышки в воду, как требуют нормы ГТО. До сих пор не могу понять, какой идиот придумал это условие, что общего между геологией и прыжками в воду.

Известие это повергло меня в полное уныние, поскольку плавать я тогда не умел совершенно. В Горный, однако, очень хотелось, и я, непонятно на что надеясь, отправился в толпе абитуриентов к водному стадиону на Елагин остров. Кончался дождливый ленинградский август. День был будний, холодный и ветреный, на влажных дорожках парка лежали первые осенние листья.

Нас загнали в раздевалку, и затем мы, зябко поеживаясь, долго толклись на некрашеных холодных досках купальни под порывами сырого ветра, ожидая, пока нас по одному вызовут на вышку. Услышав свою фамилию и мгновенно вспотев от волнения и страха, я на подгибающихся непослушных ногах направился к вышке с твердым намерением прыгнуть во что бы то ни стало, хотя и уверен был, что иду на самоубийство. «Главное прыгнуть, — твердил я себе, собрав остатки мужества, — а уж потом как-нибудь вытащат». Наивный школьник, воспитанный под сталинский барабан, я тогда всерьез полагал, что «в советской стране человеку не дадут погибнуть». Увы, более чем тридцатилетний опыт экспедиций впоследствии показал: на деле все обстоит совсем не так.

Руки и ноги меня не слушались. Когда я наконец взобрался

на вышку, где очутился впервые в жизни, глянул вниз на отвратительную серую воду с огромной, как мне показалось, высоты и сделал пару неуверенных шагов по шаткой доске, с которой мне надлежало прыгнуть, то понял, что ни за что на свете этого не сделаю. Без всякого юмора вспомнил я в этот момент старый анекдот про еврея, который пообещал, что за четыре поллитры спрыгнет с Исаакиевского собора. Когда он забрался туда, то заявил: «Об соспрыгнуть не может быть и речи. Вопрос об том, как слезть вниз». Я повернулся, чтобы с позором уйти назад, но в этот момент доска спружинила, и я упал в воду. Не помню, как выбрался, но прыжок мне засчитали. Так я стал геологом…

Ленинградский Горный начала 50-х представлял собой своеобразное заведение. С одной стороны — старейший технический вуз, основанный еще Екатериной II для дворян как «офицерский корпус горных инженеров». В знаменитом музее, среди образцов исчезающих ныне видов горных пород, вроде малахита, диковинного чуда — пальмы, выкованной русским умельцем из обыкновенного чугунного рельса, и портретов ставших известными выпускников (в числе которых красуется теперь и мой), можно увидеть образцы форменных сюртуков конца XVIII века и короткие шпаги «Господ Горных Ея Величества инженеров». Давние эти традиции как бы подчеркивались вновь введенной после войны для горняков и геологов формой. Нам, юнцам, нужды не было в том, что безумный генералиссимус решил перевести на казарменный образ жизни почти все гражданские ведомства. Нас радовали фуражки с молоточками, подтверждавшие принадлежность вчерашних нищих мальчишек к «Горному корпусу». Фуражки эти с самого начала первого курса, еще за год до получения формы (ее разрешали носить только со второго курса), были предметом немалой гордости. Их полагалось заказывать в специальных ателье, где шились они как морские офицерские фуражки — с высокой тульей и широкими полями. Козырек, наоборот, был небольшим, круто скошенным вниз и острым, «нахимовским». Молоточки же, украшавшие тулью спереди, должны были быть обязательно геологическими — тонкими, а не, упаси Боже, толстыми — горными.

Что касается научной базы, то, несмотря на сталинские разгромы и чистки, в Горном отчасти сохранилась старая школа профессуры — от академиков Келля, Германа и Наливкина до профессоров Погребицкого, Нестерова, Шафрановского и многих других. Сохранились многолетние и даже вековые традиции горного дела, столь уважаемого и важного в Российской империи. Во дворе Горного нам показали самую настоящую шахту,

построенную еще в прошлом веке и точно отображавшую действующие шахты. Преподавательский корпус, где жили профессора и доценты, выходивший на Двадцать первую линию, носил старое название «офицерского». А сами наши профессора щеголяли в двубортных форменных мундирах «горных директоров» различных рангов, вплоть до генеральских, украшавших их мятые брюки синими адмиральскими лампасами.

В студенческих курилках с придыханием рассказывали о дореволюционной жизни института, в частности о нашумевшей в свое время дуэли между тогдашними студентами Германом и бароном Врангелем, которая случилась «из-за актрисы». Актрисой была еще здравствовавшая в пятидесятые годы заслуженная артистка Александрийского театра Е. Тимме. Дуэль как будто кончилась бескровно, но разыгрался скандал, и, согласно легенде, барон Врангель вынужден был уйти из Горного и поступил учиться в военное заведение. Упорный же Герман стал нынешним академиком. А ведь, пожалуй, повернись дуэль иначе, — и история Гражданской войны могла бы быть иной.

О действительном разгроме профессуры Ленинградского Горного мы узнали уже позднее, после 53-го года, когда всплыли подробности «дела геологов», по которому пострадал, в частности, один из ведущих отечественных тектонистов профессор Тетяев.

С другой стороны, студенческая жизнь после школы показалась нам вольницей. Героические легенды складывались не только о прошлом института, но и о настоящем. Так, вроде еще в прошлом году, как снисходительно рассказывали старшекурсники, на кольце трамвая 21, который в то время делал круг у самого подъезда института, состоялась историческая драка «горняков» с матросами. К матросам присоединились курсанты соседнего училища имени Фрунзе, и студентов начали сильно теснить. Тогда несколько десятков добровольцев с криком «Наших бьют!» помчались по коридорам института, распахивая подряд все двери попутных аудиторий, из которых, если верить вдохновенным рассказчикам, выбегали вместе со студентами и преподаватели. Равенство сил было восстановлено, и побоище удалось прекратить, только вызвав две пожарные команды и разделив враждующие толпы движущимися трамваями. Масса страшных историй, обраставших сексуально-питейно-героическими подробностями, была связана также со знаменитым студенческим общежитием на «Малом-40».

В ту пору студенты Горного лишь частью формировались из недавних десятиклассников. Значительную долю составляли вчерашние фронтовики и производственники, пришедшие с шахт

и металлургических заводов. Они с презрением поглядывали на нас, послешкольную мелюзгу, не знающую настоящей жизни и мающуюся романтическими бреднями. Надо сказать, что несмотря на частые запои и драки, ставшие в Горном довольно будничным явлением, эти великовозрастные, как мы считали, люди учились упорно и настойчиво, хотя им науки давались намного труднее, чем нам — вчерашним школьникам. До сих пор помню нашего старосту белоруса Дору Трофимовича, человека богатырского роста, с безукоризненной строевой выправкой и вставными золотыми зубами, всегда ходившего в новенькой офицерской гимнастерке с белоснежным подворотничком и многочисленными орденскими планками. На войне он служил в охране Жукова, но рассказывать об этом не любил. Старостой в параллельной группе был также бывший армеец Кирилл Иванов — быстро ставший партийным лидером, человек с правильным красивым российским лицом и светлыми кудрями. Не помню уже от кого, может, от них пошла мода ходить на занятия не с портфелями, а с офицерскими полевыми сумками, в которых таскали мы наши несчастные конспекты. «Атташе-кейсов», столь модных позже, тогда, конечно, не было и в помине. Нарядами родители нас тоже не баловали, поэтому обычной формой одежды на первых курсах были затертые лыжные костюмы и «комбинированные» курточки леншвейного незатейливого покроя.

Профессора и преподаватели наши порой бывали странными. Так, читавший математику доцент Вербицкий, будучи искусным художником, изображая по ходу лекции на доске интеграл, вместо обычного штриха или звездочки мастерски пририсовывал под ним в качестве индекса поросенка и говорил: «Интеграл два поросенка» и так далее. Первую свою лекцию в начале второго курса он начал словами: «Итак, друзья, начинается длительный и неприятный перерыв между каникулами».

Практику по математике в нашей группе вел веселый и доброжелательный человек Семен Борисович Фридман, принимавший зачеты и экзамены обычно навеселе, благодаря приносимым нами же «маленьким».

Курс физики читал профессор Тер-Погосян, человек рассеянный и добрый. «Ваша фамилия Обложкина? — спросил он как-то на занятии мою однокурсницу. — У меня на втором курсе есть студент по фамилии Переплетов. Надо бы вас познакомить». «Городницкий, — сказал он мне на экзамене по механике, — почему вы меня можете поднять за волосы, а себя нет?» «Вас тоже не могу», — неучтиво ответил я, покосившись на его лысый смуглый череп. «Пожалуй, вы правы, — грустно усмехнулся он, —

давайте зачетную книжку». Практику по физике вел крошечного роста шарообразный со злыми глазами доцент Звягин по прозвищу «молекула». Уверяли, что всем, кто выше его ростом, он больше тройки на экзаменах не ставит.

Профессор Салье, входивший, блестя глазами, в аудиторию в своем изрядно потертом и лоснящемся «горнодиректорском мундире», в выражениях обычно не стеснялся и смело крыл «демагога и хама, незаконно захватившего пост министра геологии СССР, Антропова».

Более же всего разных «баек» ходило вокруг члена-корреспондента Академии наук СССР Келля, бывшего одно время ректором, но всегда одевавшегося чрезвычайно скромно. Рассказывали, в частности, историю, как во время учебной геодезической практики, которая проводилась после первого курса в Псковской области, в районе деревни Вышгород, бригада студентов долго возилась с мензульной съемкой. Когда все устали и обозлились, к ним подошел босоногий старичок в холщовой рубахе и соломенной шляпе и сказал: «Ребятки, может, лучше сделать так-то и так-то?» «Да пошел ты, дед, — возмутились студенты, — знаешь куда? Что ты в этом можешь понимать?» И дед пошел. А на следующий день, явившись сдавать зачет по практике, они с ужасом увидели того деда, но уже в генеральском мундире, во главе комиссии.

Главным источником наших первокурсных мучении были, конечно, техническое черчение и начертательная геометрия. О, эти бессонные ночи над «эпюрами» и «листами»! Они одни способны на всю жизнь отбить охоту к любой технической специальности. А «теория машин и механизмов» — ТММ, которая расшифровывалась студентами — «тут моя могила». Преподаватели ее были не слишком либеральны. Доцент Филиппов, например, во время сессии заключал пари со своими коллегами на две бутылки коньяка. Выигрывал тот, кто срежет больше сдающих.

«А что это у вас?» — спрашивал, бывало, доцент Фомин на зачете по теории машин и механизмов у робкой вчерашней десятиклассницы. «Маховичок», — жалобно пищала студентка. «Правильно, — улыбался экзаменатор. — А что он делает?» — «Вращается». «Молодец, — поощрительно хмыкал Фомин. — А сколько он оборотов делает в минуту?» — «Сто двадцать». «Умница, — окончательно расцветал экзаменатор. — А если его в красный цвет покрасить, с какой скоростью он будет вращаться?» «Не знаю», — краснела девица. — «Ну, идите, еще почитайте».

На пятом этаже лабораторного корпуса располагались большие «чертежные» аудитории, тесно уставленные кульманами

и чертежными столами. Здесь круглосуточно дымно, как в аду, горел свет и сгибали спины над чертежами злополучные хвостисты. Хотя курить здесь категорически запрещалось, на это никто решительно внимания не обращал. В коридоре перед чертежными комнатами по сходной цене можно было сторговаться с умельцами, бравшимися за две поллитры выполнить любой чертеж. Прямо в чертежке часто принимались и зачеты, благо сама кафедра начертательной геометрии тоже располагалась на пятом этаже.

Немало проблем мне доставляла физкультура, которой в Горном уделялось особое внимание. Будучи с детства крайне неспортивным, еще в школе со страхом шарахаясь от брусьев или «козла», я, попав на общую физкультурную подготовку, испытывал изрядные муки всякий раз, когда требовалось выполнить какое-нибудь обязательное упражнение. Неприятности эти дошли до края, когда, пытаясь метнуть гранату, я чуть не попал ею в стоявшего неподалеку преподавателя. Не знаю, сколько бы еще мои мучения продолжались, если бы кто-то из однокурсников, уж не помню сейчас кто именно, не дал мне умный совет — записаться в секцию штанги. Помню, вначале я страшно удивился, поскольку богатырским сложением не отличался ни до, ни после. «Это совершенно неважно, — заявил мой доброжелатель, — ты попробуй».

Секцией штанги руководил экс-чемпион Союза по борьбе и поднятию тяжестей с довольно громкой в прошлом спортивной фамилией. Весил он более ста пятидесяти килограммов и силой обладал неимоверной. Когда на остановке он ступал на подножку трамвая, вагон со скрипом кренился. Занятия штангой оказались и вправду совсем несложными. В наши обязанности входило чистить и красить гриф и диски да время от времени разучивать упражнения с небольшими нагрузками. Чаще всего члены секции сидели вокруг штанги и слушали захватывающие истории из мира Большого спорта, которые с удовольствием рассказывал наш тренер — после того, как дежурный возвращался с очередной бутылкой. Держа в руке налитый стакан, он поучал нас: «В штанге ведь что главное? Следите за мной. Главное — взять на грудь. Дальше пойдет сама». Зачеты нам ставились автоматически, и я до сих пор благодарен своему тренеру за чувство юмора и избавление от мук.

Совершенно автономным государством в Горном была военная кафедра, располагавшаяся на шестом, последнем, этаже лабораторного корпуса. Командовал ею тогда генерал-майор Ефременко. Сначала кафедра готовила артиллеристов, и в первом этаже лабораторного корпуса долгое время стояла большая

гаубица. При нас, однако, начали готовить уже не артиллеристов, а саперов, которые «ошибаются один раз в жизни». Военные занятия, проводившиеся всегда по четвергам, не были особо обременительными. Лекции по «общевойсковой подготовке» читали красавцы-полковники, одетые в сияющую форму, с пестрыми орденскими планками. Особым красноречием, впрочем, они не отличались. Помню, один из них, рассказывая о «боевой славе русской пехоты», поведал нам о том, что «на Бородинском поле гвардейское каре Семеновского полка двенадцать раз отражало атаки французских керосинов». «Не керосинов, а кирасиров», — робко поправил лектора один из моих однокашников, за что был с лекции изгнан. «У нас на кафедре — все дубы и все шумят», — заметил как-то молодой офицер.

На шестом этаже стоял огромный ящик, в котором был макет местности с рекой, высотами, населенным пунктом и тому подобными объектами. Здесь обычно проводились учебные занятия по тактике. Какая-то студенческая пара после одного из танцевальных вечеров избрала этот довольно уютный ящик для своих любовных утех, удобно устроившись на холмистом рельефе тактической местности. Однако, явно не рассчитав своих сил, подорванных сильными эмоциями, а возможно и бутылкой портвейна, которая была прихвачена с собой для тактических игр, они крепко уснули. Разбудил их уже на следующее утро дежурный офицер, открывший ящик перед очередной учебной группой и обнаруживший обнявшихся любовников с пустой бутылкой в руках. На военной кафедре по этому замечательному случаю все занятия были отменены, а полковники и подполковники (ниже званий не было) в праздничном настроении отправились с санкции генерала в близлежащий ресторан «Балтика», чтобы отметить чрезвычайное происшествие. Взятая в плен военной кафедрой пара была милостиво отпущена на все четыре стороны.

На первом и втором курсах начались и «специальные» предметы — общая геология, минералогия и палеонтология, о которых до сих пор вспоминаю с интересом. Практикой по палеонтологии руководил добрейший Борис Васильевич Наливкин. На зачете надо было определить по внешнему виду тип окаменелости и назвать его по-латыни. Моему соседу Коле Золотокрылину достался отпечаток какого-то древнего папоротника, довольно характерный на вид. Коля, однако, все вертел его в руках и никак определить не мог. «Ну-с, — подошел к нему Наливки», — что вы про это думаете?» «Если это то, что я думаю, — ответил Коля, — то где же у него глаза?»

Наши представления о геофизике, с которой мы так

опрометчиво связали свои жизни, были в те поры более чем скромные. Знали мы только, что если геолог изучает строение Земли по образцам пород, найденных на поверхности, то геофизика исследует ее глубинное устройство на основе измерений разных физических полей — электрического, магнитного и других. Помню, как член-корреспондент Татаринов, читавший у нас курс по полезным ископаемым, на одной из своих лекций неожиданно дал довольно исчерпывающее определение геофизике как науке: «Геофизика подобна мини-юбке, — она позволяет увидеть массу интересного, скрывая в то же время главный источник информации».

Помню, как уже на втором курсе мы собирались на «мальчишник», чтобы отпраздновать получение формы (тужурки и шинели офицерского образца с черными бархатными контр-погонами, украшенными медными литыми буквами «ЛГИ»). Мы, помню, чрезвычайно гордились своей формой. Особенно нас радовало, когда пьяные матросы на Невском, не разобравшись в непонятной форме, похожей на морскую, отдавали нам честь. На мальчишнике, куда принесли одновременно водку, ликеры и разные вина, пили все подряд, поскольку опыта в этом еще не имели. В результате новая форма изрядно пострадала, мать три дня отпаивала меня молоком, а я дал себе зарок «никогда в жизни не брать этой отравы в рот». Увы, как заметил Баратынский:

Не властны мы в самих себе
И в молодые наши леты
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

С первым курсом связано также воспоминание о печальном завершении моей первой платонической любви, возникшей еще в эвакуации и носившей в основном придуманный эпистолярный характер. Его героиня Таня Ильина, поступившая в отличие от меня на истфак ЛГУ, ныне профессор, зав. кафедрой, автор многих известных книг по истории искусств.

Для чего храню на антресолях
Патефон с затупленной иглою
И пластинок довоенных пачку?
Никогда я слушать их не буду.
Все они, согласно этикеткам,
Сделаны Апрелевским заводом.
Тот завод давно уже закрылся.
Но своим мне памятен названьем,

Так же, как и Ваковский, наверно.
Я пытался как-то на досуге
Оживить его стальную душу,
И крутя весьма усердно ручку,
Чтобы завести его. Когда-то
Заводили так автомобили.
Но пружина, видимо, ослабла,
А чинить никто и не берется.
Впрочем, мне достаточно названий
Песенок на выцветших конвертах:
Перечтешь — и снова зазвучали.
Сорок пятый. Лето. Чернолучье —
Пионерский лагерь возле Омска,
И песчаный пляж на диком бреге Иртыша.
Не первая любовь,
А скорее — первая влюбленность.
Мне двенадцать, ей — едва за десять,
И зовут, конечно же, Татьяной.
Поцелуи? Боже упаси!
Только разговоры или вздохи.
Лето сорок пятого. А значит,
В Ленинград мне скоро возвращаться.
Ей же в Белоруссию. И письма
Шли шесть лет из Бреста в Ленинград
И обратно. Каждый адресат
Уверял другого в вечной дружбе,
Что с годами перейдет, быть может…
Помню, классе, кажется, в девятом
Получил в письме я фотоснимок.
На крыльце сидит она. Коса
За плечо закинута, и грудь
Проступает явственно под блузкой.
Бешено заколотилось сердце,
И во рту внезапно пересохло.
Через пару лет она и вправду
Прикатила в Питер и учиться
Поступила в университет
На истфак. Вот тут бы и расцвесть
Вновь эпистолярному роману!
Но ее тогда я познакомил
Со своим приятелем случайно.
Ныл я первокурсник желторотый, —
Он уже заканчивал второй.
И носил горняцкую фуражку

С узким козырьком «а-ля Нахимов»
И высокой бархатной тульею.
Черного же бархата погоны
С золоченым вензелем литым
И изящной синей окантовкой,
И, общественной согласно мерке.
Приобрел мужской изрядный опыт,
Так как регулярно посещал
«Мраморный» — весьма известный зал
Танцевальный в Кировском ДК,
Где происходили то и дело
Громкие разборки из-за женщин
Между горняками (общежитие
Наше было рядом — Малый сорок)
И курсантами морских училищ,
Чаше с преимуществом последних,
В те поры ходивших с палашами.
Мой же опыт равен был нулю.
В этом месте можно ставить точку.
Потому что старая пластинка
С хрипотцой утесовской лукавой
Мне некстати вдруг напоминает:
«У меня есть сердце, а у сердца —
Песня», — а у этой песни тайна.
Тайна же достойна умолчанья. —
Да и патефон ведь неисправен.

Уже на втором курсе нашу специальность «геофизические методы разведки полезных ископаемых» перевели с геолого-разведочного на специально созданный геофизический факультет. По институту поползли таинственные слухи, что геофизиков будут зачислять на «совершенно секретную» специальность по поискам урана. Никакого понятия о ней мы, конечно, не имели, кроме того, что занимается ею совсем уже секретный СРЕДМАШ под командой «сталинского наркома» Берии. Слухи эти, однако, довольно скоро приобрели вполне реальную основу. В число записавшихся попал и я Нас пригласили в подвальное помещение, где за обшитой металлом дверью помещалось отделение «радиоактивной разведки», завели на нас обширнейшие анкеты и через некоторое время, приобщив к «форме номер два» и взяв подписки о неразглашении государственной тайны, зачислили на специальность «РФР» — геофизические методы поисков радиоактивных полезных

ископаемых. Мы, идиоты, попавшие на это «избранное» отделение, помню, еще радовались, совершенно не представляя, что нас ожидает в будущем.

Романтика секретности и государственной необходимости затуманивала наш разум. Особенно нам нравилось, что мы освобождались от обязательных для всех учебных воинских лагерей и получали офицерское звание «просто так». Здоровые и молодые, мы не задумывались всерьез о разрушительном действии радиации и на занятиях по технике безопасности беззаботно пошучивали. Тяжелое похмелье пришло гораздо позднее, уже после института, когда я узнал о безвременной смерти моих однокашников, попавших по окончании на престижную и высокооплачиваемую работу на урановые месторождения у нас и в Чехословакии. Пока же наша будущая специальность была неистощимым предметом различного рода сексуальных шуток. Мною даже была написана веселая песенка на мотив популярной тогда песни «Жил на свете золотоискатель» (слова которой, как выяснилось через много лет, принадлежат М. А. Светлову), ставшая со временем трагикомическим гимном студентов нашей несчастной специальности:

На уран он жизнь свою истратил.
Много лет в горах его искал,
И от этой жизни в результате
Он свой громкий голос потерял.
Загрустил от этой он причины
И промолвил с горечью в словах:
«Я теперь уж больше не мужчина,
А всего лишь — облако в штанах».

Сейчас, по прошествии многих лет, я не могу без содрогания петь пророческий последний куплет:

Он заплакал и пошел, рыдая,
Через реки, горы и поля,
И лежала перед ним большая,
Женщинами полная Земля.

Весной 1997 года меня неожиданно пригласили на авторское телевидение для участия в популярной передаче «Старая квартира», которая на этот раз была посвящена 1955 году. Надо было вспомнить, что мы пели в том году и вообще в студенческие годы, когда авторской песни как будто еще и в помине не было.

Сцена при этом должна была изображать непринужденную студенческую вечеринку середины 50-х. Режиссер решил, что уместно будет сварить пунш, столь популярный в наше время. Когда я спичкой поджег спирт, налитый в кастрюлю, пламя вспыхнуло с такой силой, что горящий спирт выплеснулся наружу, и пришлось гасить начавшийся пожар. Что же касается песен, то с гитарой в руках я вспомнил кое-что из тех лет, включая «Глобус», «Бригантину» и «Закури, дорогой, закури».

Вернувшись домой, я вдруг подумал: а что мы вообще пели в начале нашей студенческой жизни, на первом и втором курсах, еще не соприкоснувшись с обширным экспедиционным фольклором и «зековскими» песнями? А пели мы то же, что и все, — лирические песни «Ясной ночкою весенней при луне…» или «Над туманами, над туманами огни терриконов горят» и другую подобную дребедень. Память о недавней войне одаривала нас героическими песнями этой уходящей в прошлое эпохи: «На позицию девушка», «Темная ночь» и «Вечер на рейде». И в то же время причастность к студенческому братству давала нам возможность с удовольствием окунуться в древний песенный мир буршей и студентов, который не имел и не имеет срока давности.

С одинаковым усердием, собираясь на нехитрые наши вечеринки, где, как правило, кутежи ограничивались сухим вином, мы распевали традиционные студенческие песни наших предков — «Крамбамбули», «Там, где Крюков канал и Фонтанка-река словно брат и сестра обнимаются», «В гареме нежился султан». При этом обязательно соблюдалась каноническая форма исполнения каждой песни с соответственным позвякиванием бокалов, хоровыми вопросами и ответами типа «Да я не пью! — Врешь, пьешь!» и другой звуковой аранжировкой. Сюда же, конечно, относятся и неизменные песни типа «Жены» («Холостою жизнью я извелся»), «Кисы-Мурочки», «В пещере каменной нашли пол-литра водки», «Я иду по Уругваю» и тому подобных. Все эти песни считались безымянными и народными. Тем большим было мое удивление, когда я узнал, что одну из наиболее популярных песен того времени с широко известными строчками:

Так наливай сосед соседке, —
Соседка любит пить вино.
Вино, вино, вино, вино, —
Оно на радость нам дано, —

написал ленинградский поэт Дмитрий Генкин, старший брат ленинградского барда Александра Генкина. Интересно, что блатной репертуар, вроде «Мурки» и других бытовавших в то

время песен уголовного мира, у нас не приживался.

Наряду с хоровыми «лихими» застольными песнями большой популярностью пользовались жестокие романсы и лирические песни из репертуара запрещенного тогда Петра Лещенко, Оскара Строка и близкие к ним по духу. Сюда относились «Как блестят твои глаза», «Осень, прозрачное утро», «Журавли», «Я иду по далекой стране», «Зачем смеяться, если сердцу больно». Почти каждый из поющих, приобретший к тому времени свой собственный опыт первой (конечно, неудачной) любви, вкладывал в эти затертые строчки свой сокровенный смысл.

Честно говоря, и сейчас, когда я вспоминаю строки этих «душещипательных» песен, они кажутся мне куда более содержательными, чем их современные аналоги в крикливом стиле «рок-музыки». Тогда хоть не дергались и не выкрикивали. Примерно год назад мне довелось посмотреть по телевидению программу, посвященную песням Лещенко. Выступал очень старый человек, его давний однокашник, и рассказал, что в начале своей артистической карьеры Лещенко был, оказывается, танцором-чечеточником. И добавил: «Удивительно, что он начал писать песни. Когда человек танцует, у него короткое дыхание, а для песни нужно длинное». Вот в чем различие текстов рок-музыки и авторской песни, идущей от романса и народных песен, — в дыхании!

Интересно, что песни пели с одинаковым удовольствием все или почти все. Тогда еще не было резкого разделения на «мы» и «я», столь характерного для нынешнего времени.

Что пели мы в студенчестве своем,
В мальчишеском послевоенном мире?
Тех песен нет давно уже в помине,
И сами мы их тоже не поем.
Мы мыслили масштабами страны,
Не взрослые еще, но и не дети,
Таскали книги в полевом планшете —
Портфели были странны и смешны.
Что пели мы в студенчестве своем.
Когда, собрав нехитрые складчины,
По праздникам, а чаше без причины
К кому-нибудь заваливались в дом?
Питомцы коммуналок городских,
В отцовской щеголяли мы одежде,
И песни пели те, что пелись прежде.
Не ведая потребности в иных
Мы пели, собираясь в тесный круг,

О сердце, не желающем покоя,
О юноше, погибшем за рекою.
О Сталине, который «лучший друг».
«Гаудеамус» пели и «Жену»
И иногда, вина хвативши лишку,
Куплеты про штабного писаришку
И грозную прошедшую войну.
Как пелось нам бездумно и легко. —
Не возвратить обратно этих лет нам.
Высоцкий в школу бегал на Каретном,
До Окуджавы было далеко.
Свирепствовали вьюги в феврале,
Эпохи старой истекали сроки,
И темный бог, рябой и невысокий,
Последний месяц доживал в Кремле.

На многолюдных первомайских и ноябрьских демонстрациях, где колонна Горного института с огромным транспарантом из тяжелого красного бархата, украшенным изображением орденов, шла сразу же за колонной Балтийского завода, дружно пели «шахтерскую» песню:

Славься шахтеров племя.
Славься шахтерский труд!
Мы обгоняем время,
Сталин — наш лучший друг!

На демонстрации (явка для комсомольцев была обязательной) шли охотно, без понуканий. У меня в столе до сих пор завалялась фотография 1952 года, где два «отличника-зубрилы», два образцовых комсомольца, добившиеся самой высокой чести — нести на ноябрьской демонстрации транспарант, описанный выше, стоят с бледными от волнения лицами, вцепившись потными руками в толстые, покрашенные пачкающей ладони краской древки, перед внушительной воронихинской колоннадой родного института. Один из них я, а второй — Костя Сергеев, ныне член-корреспондент Академии наук и директор Института морской геологии и геофизики на Дальнем Востоке.

Огромная колонна черных студенческих шинелей, расцвеченная женскими шубейками и пальто, картонными и фанерными изображениями терриконов и шахт, разноцветными шарами и букетами из огромных бумажных цветов, полыхающая

начищенной по этому случаю медью институтского духового оркестра, медленно двигалась вдоль набережной Невы от Двадцать первой линии к мосту Лейтенанта Шмидта по влажной и скользкой василеостровской брусчатке. Справа от нас, на хмурой осенней Неве, под порывами промозглого ноябрьского ветра, раскачивались и дымили хищные эскадренные миноносцы, украшенные мокрыми флагами расцвечивания. Слева на панели толклась разношерстная публика, в которой шустро шныряли стайки шпаны в натянутых на уши «лондонских» кепках с «золотыми фиксами» из латуни во рту. Из открытых окон Высшего военно-морского училища им. Фрунзе махали руками курсанты, оставшиеся в этот праздничный день без увольнении. Справа, скрестив бронзовые руки на узкой адмиральской груди, смотрел под ноги идущим великий русский мореплаватель немецкий барон Иван Федорович Крузенштерн.

На углу Восьмой линии, где на набережную, мерцая тусклой сталью, выскакивали скользкие, как змеи, трамвайные рельсы, колонна обычно останавливалась. Здесь в ряд стояли «полуторки», открытые грузовики и фургоны с бортами, украшенными красным кумачом и словами «Сталину — слава». С них шла бойкая торговля водкой и нехитрой, но зато и недорогой закуской. Наиболее популярным видом бутербродов были так называемые «сестры Федоровы» — три кильки, положенные на ломоть черного хлеба. Через борта машин в наши протянутые руки легко вылетали баснословно дешевые в те времена «маленькие» и «мерзавчики». Если же в колонну попадала поллитровка, то она передавалась по шеренге слева направо. При этом каждый на ходу делал по глотку, а правофланговый выкидывал пустую бутылку. Еще вполне здравствующий тогда Верховный Главнокомандующий, «наш лучший друг», с огромного портрета, заслонявшего окна трех этажей на «Доме академиков» напротив въезда на мост Лейтенанта Шмидта, зорко смотрел прямо в глаза и в рот каждому из нас, чтобы никто не смел увернуться от обжигающего глотка водки и бодрого маршевого припева.

Время моей учебы в Горном институте совпало с драматическими событиями в истории страны. 53-й год начался «делом врачей». По каналу Круштейна шел, раскачиваясь и размахивая руками, пьяный, белыми от бешенства глазами пристально вглядываясь в лица встречных. «Жиды! — кричал он, — жиды вонючие! Убирайтесь отсюда! Всех будем травить, как крыс!» Густая слюна текла по серой щетине его небритого подбородка.

Сравнительно недавно издательство «Пик» опубликовало

«фантастический роман» не печатавшегося ранее писателя Ерашова «Что было бы, если бы Сталин прожил еще неделю?». А было бы вот что: в помещении московского цирка планировался открытый процесс над врачами-убийцами и их последующая публичная казнь на Лобном месте на Красной площади. Репортаж о казни должен был вести Вадим Синявский. Бригаде художников было заказано соответствующее оформление Красной площади.

Было уже написано (это не фантастика, а факт) коллективное письмо, подписанное виднейшими деятелями науки и культуры — советскими евреями, в котором они признавали коллективную вину евреев и требовали их депортации на Дальний Восток. Документ этот и подписи под ним существуют реально. По приказу Сталина были подготовлены эшелоны для депортации, а в Хабаровском крае уже построены лагерные зоны специально для высланных. При этом число мест в бараках планировалось не более чем на половину людского поголовья, отправляемого на восток, — половина должна была умереть по дороге.

Ничего этого я, конечно, не знал и знать не мог. Помню морозный мартовский день 53-го года, переполненный актовый зал института, хмурые мужские лица и заплаканные глаза женщин. Огромная мраморная статуя вождя возвышалась над залом, где выступавшие клялись в верности сталинскому пути и обращались к правительству с просьбой присвоить институту имя Сталина. На следующее утро мы, второкурсники, всей группой отправились в конец Московского шоссе — тогда оно носило название Проспект Сталина. Туда, где почти на выезде из города, около Средней Рогатки, стояли с обеих сторон проспекта бронзовые фигуры Ленина и Сталина. Путь был не близкий, на автобусе, — метро еще в ту пору не было. С собою мы везли огромный венок, купленный на нищие студенческие стипендии. В полной тишине, сняв шапки, мы прислонили наш венок к заиндевелому мраморному основанию памятника. Умерший вождь равнодушно смотрел теперь уже не в глаза каждому, а поверх наших голов, в сторону Пулково, в лиловую морозную мглу, пропитанную бензиновой гарью.

Через несколько лет, после XX съезда, статую с постамента сняли. Взорам всех приезжих, едущих из аэропорта в город, открывалась странная картина: Ленин, показывающий на пустой постамент напротив. Через какое-то время исчез и постамент, а потом убрали и осиротевшего Ленина.

Неожиданные преображения памятников вождям в последующие годы видеть мне приходилось неоднократно. Помнится, в 70-м году в Царском Селе под Ленинградом, где жили тогда мои родители, открыли новую баню, а напротив ее

входа установили памятник Ильичу с кепкой в руке. Ленин явно направлялся в баню, поскольку на постаменте были выбиты его слова: «Правильной дорогой идете, товарищи!» Ситуация эта показалась городским властям несколько двусмысленной, и в одно прекрасное утро памятник неузнаваемо изменился. Надпись с постамента исчезла. Преобразился и Ленин: ему была приделана окладистая борода, в правую руку вместо кепочки дан веник, а в левую — шайка. Великий вождь превратился в старика, идущего в баню. Этот монумент, однако, тоже простоял недолго и был снят после очередной идеологической инспекции.

В середине 70-х годов во время Международного геологического конгресса по Тихому океану, проходившего в Хабаровске, я попал на автобусную экскурсию по городу. В числе других достопримечательностей Хабаровска нам был показан огромный постамент из красного мрамора, на котором сиротливо стояла несоразмерно маленькая фигурка Владимира Ильича. Бойкая девица-экскурсовод пояснила нам: «На этом месте когда-то возвышался огромный памятник Муравьеву-Амурскому — покорителю края. После революции памятник был снят и на его место поставлен памятник Ленину. Посмотрите — какой несоразмерный монумент: весь Ленин с один сапог Муравьева-Амурского».

В 80-м, кажется, году в Воронеже мне показали огромный, гордо возвышающийся над пологим берегом Дона памятник замечательному русскому поэту Алексею Кольцову, здешнему уроженцу. Что-то в памятнике показалось мне неуловимо знакомым — это не поэтически решительное движение вперед, эта долгополая шинель с длинными кавалерийскими обшлагами, уже виденная прежде правая рука, заложенная за отворот, и, наконец, огромные солдатские сапоги. «Да-да, — предупредил мой недоуменный вопрос сопровождающий меня представитель горкома комсомола. — Это была статуя Сталина, а к юбилею нашего знаменитого земляка голову Сталина сняли и вместо нее приделали голову Кольцова». Так и стоит над Воронежем Алексей Кольцов в кавалерийской шинели, и невольно на ум приходят его знаменитые строчки: «Раззудись, плечо, размахнись, рука».

А бесконечные варианты «Лукичей», расставленные во всех наших больших городах, — например, «Ленин в джинсах» возле метро «Московская» в Питере или «Ленин на термосе» — в начале Крещатика напротив Бессарабскою рынка в Киеве!

С чувством горькой ностальгии по своему юношескому ослеплению «светлыми идеями социализма» прихожу я в Москве к Дому художника, невдалеке от которого стоят и сидят свергнутые со своих постов в разных местах столицы Дзержинский, Калинин

и Свердлов. У их ног лежит расколотый Ильич из роскошного красного мрамора. И вспоминается надпись, увиденная мною в 1965 году в волжском городе Самаре, тогда Куйбышеве, на мраморной мемориальной доске, висевшей по чьему-то недосмотру на одном из домов, а позднее снятой по указанию партийного начальства:

«На этом месте в сентябре 1918 года во время белочешского мятежа толпой озверевших белогвардейцев были растерзаны последние честные борцы за коммунизм».

Выше упоминалась песня «про штабного писаришку», начинающаяся строчками «Я был батальонный разведчик», которую мы, конечно, считали народной. Однако сорок лет спустя в Москве, в 1992 году, я познакомился с ее автором. Алексеем Петровичем Охрименко.

Автор «народной» песни про батальонного разведчика и не менее популярных песен, которые мы тоже распевали в студенческие годы, — «Венецианский мавр Отелло», «Ходит Гамлет с пистолетом» и «Великий российский писатель, граф Лев Николаич Толстой», — Алексей Петрович Охрименко, родившийся в 1923 году, в 42-м девятнадцатилетним юнцом ушел на фронт, где почти сразу же угодил в котел подо Ржевом. Помните у Твардовского: «Я убит подо Ржевом»? Но Алексею Охрименко везло. Он не погиб под Ржевом и позднее под Витебском, хотя и получил тяжелое ранение, а в 45-м закончил войну под Кенигсбергом. После войны он стал журналистом. Работал в радиокомитете, в журнале «Советский Союз», в «Медицинской газете» и, наконец, в газете «Воздушный транспорт», откуда ушел на пенсию.

Самые знаменитые свои песни, «Батальонного разведчика», «Отелло», «Гамлета» и «Толстого», он написал в соавторстве с друзьями Сергеем Кристи и Владимиром Шрейбергом. Охрименко вспоминал об этом так: «Писали мы втроем: я, мой старый друг, который демобилизовался на год позже меня, в сорок седьмом году, Сергей Кристи, и Володя Шрейберг, который шел на класс моложе нас. Писали мы у Володи. У них были две комнаты в общей коммунальной квартире. В одной из них стояло фортепиано (играл Володя очень прилично). Выглядело это так: Володя садился к фортепиано, а мы по обе стороны от него, я иногда приходил с гитарой. И мы не писали, а, как говорится, слагали песни. Долгое время они не были нигде записаны, пока Володя однажды не хватился и не сказал: «Давайте все-таки запишем их и перепечатаем на машинке». Потом, к сожалению, наша троица расстроилась. То есть не то что мы, не дай Бог, поругались, — мы дружили и продолжали дружить, но у Володи

наступила пора диплома, — он ВГИК кончал, Сережа уехал в Подмосковье, где работал потом в газете в Воскресенске. И уже после пятьдесят первого года мы вместе никогда ничего не писали. А я, поскольку не мог уже, так сказать, от песни отстать, через некоторое время сел писать один».

Сам Охрименко, судя по его воспоминаниям, начал писать песни в 43-м году, когда после ранения попал в госпиталь в Шую и, влюбившись там в медсестру, решил посвятить ей песню «Донна Лаура». Скоро, однако, его выписали на фронт, потом снова ранили, потом его часть перебросили с германской войны на японскую, и песню он закончил уже в Маньчжурии. По приезде в Москву он показал песню своим друзьям, и это послужило началом цикла, который был назван ими «Ангоры и персонажи».

Первая песня, написанная ими совместно, была о Льве Николаевиче Толстом. Здесь, по свидетельству А. П. Охрименко, зачинщиком стал Сергей Кристи, начавший песню про незаконнорожденного сына Толстого. Друзья, выслушав начало песни и одобрив его, решили, что песню надо написать не столько о сыне Толстого, сколько о самом Льве Николаевиче. Так появилась знаменитая «вагонная песня» «Жил-был великий писатель…» Песня эта за долгие годы обросла различными вариантами текста и мелодии. Я сам, прочитав ее «канонический» текст в книжечке А. П. Охрименко, выпущенной в Москве в Центре авторской песни в 1999 году, был удивлен, что в нем отсутствует самый, на мой взгляд, удачный куплет:

Однажды покойная мама
На графский зашла сеновал.
Случилась ужасная драма, —
Граф маму изнасиловал.

Помимо замечательной рифмы, этот куплет содержит главный сюжетный ключ песни, вполне обосновывая право поющего считать себя сыном великого писателя, о чем говорится в последнем куплете песни, также отсутствующем в указанном издании:

Граф умер в дороге, в изгнаньи,
Дитям он не дал ничего.
Подайте, подайте, граждане, —
Я сын незаконный его.

Впрочем, сам Охрименко относился к разночтениям своих

песен с пониманием. Выступая на радио «Эхо Москвы», он сказал: «Если песня пошла в народ, то обязательно кто-нибудь что-нибудь добавит. Это судьба всякой народной песни».

Интересно, что, как вспоминал А. П. Охрименко, его отец Петр Федорович был толстовцем. Эмигрировав в Америку после революции 1905 года и страдая, как герой Короленко, от незнания языка, он написал из Бруклина письмо Толстому в Ясную Поляну с просьбой помочь ему найти в Америке работу. Письмо начиналось словами: «Великий человек, Лев Николаевич». Незадолго перед этим Томас Альва Эдисон подарил Толстому фонограф, которым Лев Николаевич довольно активно пользовался. И Толстой написал Эдисону письмо, сообщив адрес Петра Федоровича Охрименко, а через короткое время тот уже работал в мастерских Эдисона. Впоследствии Петр Федорович Охрименко, вернувшись в Россию, стал известным литературным переводчиком и перевел на русский язык романы Хемингуэя, Стейнбека и других американских писателей.

Сама же знаменитая песня про батальонного разведчика была и осталась в памяти народной как одна из главных исторических примет грозной Отечественной войны, намного обойдя по известности все другие, даже самые популярные песни той эпохи. Недаром поэт-песенник Алексей Фатьянов, автор текста весьма известной песни «Соловьи», в пылу пьяной откровенности говорил Охрименко за столиком закрытого ресторана ВТО: «Алексей, без меня бы ты за этот стол не попал. А вот я всех своих «Соловьев» пустил бы по ветру ради одной строчки из твоего «Разведчика». А ведь от моих «Соловьев» Сталин плакал».

Автор предисловия к книжке «Я был батальонный разведчик» Е. Калинцев пишет, что поэт Михаил Светлов, автор «Каховки» и «Гренады», восхищался стихами «Батальонного разведчика», их неподражаемой ироничной интонацией. Ее слышали и одобряли Юрий Олеша, Сергей Антонов и многие другие писатели. В то же время признанная народом песня в годы застоя не могла не насторожить чуткие уши охранителей идеологической чистоты. Не случайно Всеволод Кочетов в печально известном романе «Чего же ты хочешь» устами своего героя-резонера говорит об этой песне американцу: «Никакая она не народная. Сочинил ее, видимо, изрядный сукин сын. Ее время от времени публикуют в эмигрантских газетках и журнальчиках. Мы не хотим, чтобы над тем, что совершил советский народ в годы Великой Отечественной войны, кто-нибудь смеялся. А это насмешка».

Мне довелось несколько раз выступать вместе с А. П. Охрименко в Москве, Киеве и других городах. Он, несмотря на свой почтенный возраст, довольно сильно «закладывал», что,

однако, не мешало ему всегда успешно выступать со своей старенькой семистрункой в руках, поскольку для аудитории он всегда был ожившим мифом. Помню, в марте 1993 года на моем юбилейном вечере в ДК «Меридиан» в Москве он после банкета полностью отключился, и далеко за полночь, когда все уже разошлись, мы с женой с большим трудом довезли его на машине домой, поскольку адреса его не знали, а сам он сообщить нам его не мог. К сожалению, дни его были уже сочтены.

Охрименко рассказывал мне, что все самые известные свои песни он пел в 50-е годы по писательским квартирам в Москве и Переделкино и мечтать не мог о публикации песен или их записи. Теперь, после ухода в 1993 году последнего из авторов этих песен (Владимир Шрейберг умер в 1975, а Сергей Кристи — в 1986 году), они снова растворяются в фольклоре и становятся поистине народными.

Экспедиционные «геологические» песни я услышал несколько позднее. Первая моя производственная практика, открывшая начало экспедиционной жизни, состоялась в одной из поисковых партий «Восточной экспедиции». Так именовалась одна из экспедиций Первого Главного геолого-разведочного управления Министерства геологии, занимавшегося поисками урана. Работала она в Средней Азии совместно с Отделом специсследований Всесоюзного геологического института, располагавшегося в высоком старинном здании на Среднем проспекте Васильевского острова, неподалеку от Горного.

Еще с начала второго семестра на третьем курсе, за несколько месяцев до практики в аудиториях обсуждались разные варианты экспедиций — от Магадана до Кавказа. Высокомерные старшекурсники, уже постоянно «приписанные» к полюбившимся им организациям, оценивающе, как на рынке работорговли, приглядывались к нашим однокурсницам, вербуя их в свои партии и не обращая никакого внимания на нашу бессильную ревность.

Более друг их в то время котировались две экспедиции Первого Главка, — «Горная», работавшая в далекой и таинственной Туве, и «Восточная», работавшая в Средней Азии.

База партии, в которую мы попали на практику, располагалась в Душанбе (тогда — Сталинабаде), куда мы и отправились вчетвером с моими однокашниками, в длинную дорогу поездом с пересадкой в Москве. Помню, как расстроился мой отец, провожавший меня светлой июньской ночью на Московском вокзале, когда выяснилось, что все пассажиры общего вагона, абонированного для студентов Горного института, мертвецки пьяны, как сокрушался потом о выбранной мною

профессии.

Поезд от Москвы до Сталинабада шел тогда около шести суток. Скромные наши студенческие финансы кончились примерно на третий день. Заядлый преферансист Саня Малявкин, взявший «общественную» пятерку и с надеждой на выигрыш отправленный в соседний вагон, тут же ее проиграл. Кто-то из сердобольных соседей посоветовал нам купить по пути в России мешок картошки, чтобы продать его в Средней Азии. Мы сдуру потратили последние рубли на эту картошку, но у нас уже и за Аралом никто ее почему-то не покупал. Сварить ее в условиях общего вагона не удалось, так что в Сталинабад мы прибыли голодные и одуревшие от жары. Что касается жары, то у меня на много лет осталось неизгладимое воспоминание от этого первого путешествия: в соседнем «купейном» вагоне на отрезке дороги между Термезом и Каршами сидели голые офицеры, вытирали пот грязными полотенцами и, морщась, пили теплую водку.

В Сталинабаде нас в первый же вечер смертельно напоили разведенным спиртом и местным вином «Тайфи». Потом накормили, снабдили горными ботинками «на шипах», наскоро обучили работе с радиометрами и развезли на грузовиках в горы, в поисковые отряды. Так началась экспедиционная жизнь. Состояла она из изнурительных каждодневных маршрутов по горам Гиссарского хребта, целью которых было геологическое картирование и поиски урана. Ходили в маршруты по двое — геолог и геофизик с радиометром для поисков радиоактивных аномалий. Нередко нашими геологами были женщины. Мне доводилось довольно часто ходить в многодневные маршруты с начальницей нашего отряда Люсей Григорьевой, крепко сбитой крутобедрой дамой лет тридцати с пятым размером повсеместно. Поскольку все приходилось таскать на себе, то лишнего груза не брали. Брали, в частности, один спальный мешок на двоих. Ночью на перевалах температура понижалась до нуля, и, чтобы не замерзнуть, спали в этом мешке, крепко обнявшись. При этом никаких сексуальных позывов не возникало, — во-первых, смертельно уставали за день, во-вторых, мне было девятнадцать, и тридцатилетняя Люся казалась мне весьма пожилой.

Каждый день надо было одолеть два-три километра высоты, да и карабкаться приходилось часто по почти отвесным склонам, цепляясь пальцами за обманчивые выступы скал. Вот где я хлебнул первого страха! Если геолог мог хоть немного помогать себе геологическим молотком, цепляясь им за скалы или выбивая ступеньки в дресве, то уж геофизик (то есть я) со своим громоздким и неуклюжим прибором, болтавшимся на груди и больно бившим при каждом очередном падении, был совершенно

беспомощен. До сих пор помню, как хорошо было лезть вверх по сланцевым скалам с их плитчатой отдельностью, как бы создающей природные ступеньки, и как тяжело — по гранитам, с их округлыми — не зацепиться — поверхностями, покрытыми мелкой острой дресвой, в кровь ранящей руки. А грозные гюрзы и другие ядовитые змеи, притаившиеся в расселинах скал! А десятки скорпионов и фаланг, вылезавших по ночам к палаткам на свет! А обманчивые ледовые фирны в ущельях, где только оступись — и засквозишь неведомо куда!

Работы по поискам урана проводились в обстановке сугубой секретности. Пикетажки, куда мы записывали показания радиометров, выдавались нам представителями «первого отдела» в виде строго прошитых и опечатанных тетрадок. Записи можно было вести только в них. Само слово «уран» в переговорах по радио и при переписке было строго запрещено — вместо него говорили «теллур». Пикетажки эти полагалось хранить во что бы то ни стало, за утерю — суд.

До сих пор помню чувство беспомощности, испытанное мною уже на другой год на том же Гиссарском хребте. Мы с моим геологом Костей удобно расположились на привал у ручья под редкой сенью низкорослой арчи, сняв с себя — он рюкзак с образцами, я — надоевший и раскалившийся на солнце радиометр. Не успели мы расслабиться, как раздалось грозное хрюканье, и по распадку прямо на нас понеслось несколько рослых кабанов. Уж не помню, как, но практически молниеносно мы с Костей ухитрились вскарабкаться на самое высокое деревце, бросив все пожитки внизу. Семейство кабанов закружилось под деревом, тыча в них розовые пятачки, трогательно контрастировавшие с внушительными клыками. И тут я, несмотря на жару, похолодел от ужаса, увидев, что мой «сов. секретный» полевой дневник валяется внизу и огромный секач — глава семейства к нему внимательно принюхивается — не схарчить ли. Служебный долг и боязнь неминуемой посадки боролись во мне с вполне естественным животным страхом. Я с надеждой посмотрел на геолога, ожидая приказа, но он нахмурился и отвернулся. Тут я окончательно понял, что вниз ни за что не полезу. На мое счастье, потоптавшись под деревом и слегка унавозив «сов. секретное» имущество, свинячье семейство неспешно отправилось дальше.

Через каждые несколько дней отрядный лагерь менял свое место. Никаких вертолетов в ту пору в каждодневном обиходе еще не было, и перебазировались с помощью вьючных лошадей, на которых грузили весь скарб — палатки, вьючные ящики и сумы. Рабочими и коноводами были местные таджики,

нанимавшиеся на сезон. Были они все молодыми, непьющими и верующими. Все носили усы одинаковой формы — опущенные от углов рта вниз. Кто-то сказал мне, что такая форма усов считается в Таджикистане общепринятой «из-за Буденного». «Как это из-за Буденного?» — не понял я. И мне объяснили, что в годы коллективизации и «борьбы с басмачеством» по горам и долинам Таджикистана огнем и мечом прошелся легендарный маршал Семен Михайлович Буденный, посланный сюда насаждать советскую власть. Мне часто потом в маршрутах доводилось набредать на брошенные к разоренные кишлаки, где в безлюдных глинобитных домах шуршат обжившие их змеи. Так вот, таджики с тех пор закручивают усы концами вниз, потому что Буденный носил их концами вверх…

На сезонную работу в геологические партии они шли охотно, хотя не обходилось и без комических случаев. Помню, например, как пришел к нам старик из соседнего кишлака на Ходжи-Оби-Гарме. Целый день он сидел молча неподалеку от нашего лагеря и, цокая языком, разглядывал наши палатки и обшарпанный грузовичок, а потом пришел и принес заявление такого содержания:

«Прошу принять меня на работу начальником охраны, начальником гаража или вообще каким-нибудь начальником».

По вечерам костров, как правило, не жгли, песен не пели и ложились рано — во-первых, вставали около пяти утра, чтобы начать маршрут не по жаре, а во-вторых, уставали смертельно, поначалу не столько от физической нагрузки (хотя и от нее, конечно), сколько от нервного напряжения. Несколько лет потом мне все снились сны, что я оступаюсь на скальном карнизе и падаю. И я просыпался в холодном поту.

Не менее рискованными оказывались и переходы с вьючными лошадьми. Перемещались по узким козьим тропам, над скальными обрывами и ущельями, что чревато было ежеминутными неприятностями, особенно после дождей. Лошадей вьючили до отказа. Они, зная это, старались надувать животы, на которых затягивали подпругу. Полагалось поэтому резко ударить носком сапога лошадь в брюхо и сразу же после этого туго затянуть подпругу. Надежность вьюка проверялась тем, что полностью навьюченную лошадь прогоняли вскачь по ровному месту. Если вьюк не разваливался, он считался готовым. Сложной наукой оказалось и ведение лошади в поводу по узкой тропе или оврагу над пропастью или крутым склоном. Животное каждую минуту могло испугаться или оступиться, поэтому категорически запрещалось наматывать повод на руку. В то же время, всегда надо было быть готовым разгрузить упавшую или

испугавшуюся лошадь от вьюка, особенно съехавшего набок, не забывая при этом постоянно успокаивать ее, чтобы она не начала биться и метаться.

Вспоминается странная история, произошедшая на первой производственной практике. Мы, не помню уж зачем, приехали в Сталинабад, и по пути обратно в горы заехали на ГАЗ-51 на рынок. Начальник партии вместе с шофером пошли закупать арбузы, а мы с Олегом (так звали моего товарища) остались стоять в тени машины на пыльной базарной площади. Одеты мы были в выгоревшие и драные ковбойки, сатиновые тренировочные штаны и войлочные широкополые шляпы, носившие почему-то название «мечта идиота». На ногах красовались изрядно поизносившиеся «горные ботинки», подбитые на общий манер кусками автомобильного баллона, что, как утверждали знатоки, обеспечивало меньшее скольжение их на крутом склоне. По этому наряду, выделявшему нас из пестрохалатной и тюбетеечной толпы аборигенов, а также по начисто сгоревшим и облупленным от непривычного солнца носат, опознать в нас геологов-практикантов было нетрудно.

К нам подошла цыганка, обликом своим сразу же напомнившая мне старуху Изергиль. Волосы ее были седыми с лиловым оттенком, глаза — в таких же темно-лилового цвета глазных впадинах — казались неподвижными и пугающими. Лилово-черным был и платок на ее голове. В это время в Сталинабаде дул «афганец», южный ветер, приносивший в город мелкую пыль. Пыль эта, висевшая в воздухе, делала его полупрозрачным, поэтому все краски темнели и насыщались, как на театральной сцене при боковом освещении через фильтр. Старуха предложила нам погадать, но денег у нас не было, да и желания узнать судьбу тоже, поэтому, чтобы отвязаться, мы отдали ей случайно оставшийся рубль. Она явно оскорбилась и, цепко схватив своими худыми пальцами Олега за запястье, стала гадать. И он, и я при этом впали в какое-то странное, до сих пор непонятное мне оцепенение и покорно выслушали все, что она нам нашептала своей хриплой скороговоркой. «Кончишь учиться — большим начальником станешь, — сказала она Олегу. — Самую дорогую руду найдешь, там, где другой не найдет. Орден красный получишь и денег несметно. А потом в горах разобьешься. Еще тридцати тебе не будет, а разобьешься».

Я бы и не вспомнил после про старушечьи бредни, если бы не странность последовавших за этим событий. В 1957 году мы с Олегом окончили родной Горный институт и расстались навсегда. Он попал по распределению в Алтайскую экспедицию в Усть-Каменогорск, и я с ним больше не встречался. Через пару лет я

узнал, что Олегу крупно повезло — в каком-то районе, уже забракованном как неперспективный предыдущими геологическими съемками, он совершенно неожиданно наткнулся на крупнейшее месторождение ртути. О нем писали в газетах. Олег вместе с другими был представлен сначала к ордену, а через год и к Государственной премии. Несколько позднее я узнал, что Министерство геологии, несмотря на его молодость, назначило Олега начальником большой экспедиции и заместителем начальника краевого геологического управления.

О дальнейшей его судьбе я узнал только в конце 60-х годов, когда сам уже полностью переключился на морскую геологию.

За несколько дней до своего тридцатилетия, по причине которого был уже заказан банкет в городском ресторане, Олег, будучи большим начальником, прилетал на вертолете инспектировать какую-то поисковую партию на Алтае. Работы партии ввиду наступления осени уже сворачивались, и она, как когда-то мы на Гиссаре, должна была выходить с караваном вьючных лошадей вниз. Погода случилась нелетная, и, не дождавшись вертолета и боясь опоздать на собственный юбилей, Олег решил отправиться пешком вместе со всеми. Уж никак не могу понять, с какой стати ему, крупному начальнику, вдруг вздумалось самому вести в поводу вьючную лошадь, да к тому же, в нарушение самых элементарных правил безопасности, которым нас обучали еще в студенчестве, намотать на руку повод. На крутом и скользком склоне над обрывом лошадь оступилась и сорвалась в пропасть, унеся с собой Олега.

Первым моим начальником был старший инженер Сергей Максимов, здоровый рыжий верзила со звероподобной внешностью и весьма добрым сердцем, большую часть времени пребывавший в нетрезвом состоянии. Помню, с каким восхищенным ужасом мы, новички, смотрели на него, когда в лагере партии на Анзобском перевале он на пари с каким-то другим алкашом за четыре поллитры съел сурка после того как пришло предупреждение, что сурки могут быть носителями чумы. Никакой чумой Серега не заразился. Зато раз и навсегда приобрел авторитет человека безумной храбрости.

В редкие «камеральные» дни собирались у костра и пели песни. Гитара тогда еще не вошла в моду, поэтому пели просто так. Здесь впервые мне довелось услышать довольно много безымянных песен геологического фольклора, многие из которых я помню и пою до сих пор. В их числе прежде всего песня, автор которой так и остался мне неизвестен:

Закури, дорогой, закури.
Завтра утром с восходом зари
Ты пойдешь по тайге опять
Молибдена руду искать.

Поскольку пели эту песню не в тайге, а на отрогах Памира, то слова «по тайге» обычно заменялись словами «по горам», а упоминание о Москве — соответствующим упоминанием о Ленинграде. Особенно полюбились мне в этой песне сентиментальные строчки:

Жизнь геолога — холод, вода.
Пролетит, не заметишь когда.
Только жить соберешься сполна, —
На висках заблестит седина.

Кроме этой часто пели песню:

Я смотрю на костер догорающий,
Гаснет розовый отблеск огня.
После трудного дня спят товарищи, —
Почему среди них нет тебя?

Пелись и другие песни, где речь неизменно шла о трудностях геологической жизни, скитаниях и разлуках, — «Дым костра создаст уют», «Глобус» и тому подобное. От песен этих сладко ныло сердце, становилось жалко себя. В то же время они вселяли в нас гордость за свою романтическую профессию, уважение к своему образу жизни, столь непохожему на городское существование.

В связи с этим нельзя не вспомнить забавный диалог, случившийся на горной тропе, когда мы с моим геологом Светом Лесковым возвращались из маршрута в лагерь. Навстречу нам из-за поворота появилась беременная женщина, с трудом переставляющая ноги, стараясь не оступиться. За ней следом верхом на ишаке ехал бородатый таджик в полосатом халате и тюбетейке, широко разведя в стороны длинные ноги, чтобы не задевать землю. Поздоровавшись, мы спросили, куда они направляются. «Жену в родильный дом везем, — ответил таджик, — рожать пора. А ты кто будешь?» — обратился он к Лескову». «Инженер», — сказал Свет. «Плохой инженер, однако, — заявил наш собеседник. — Хороший инженер в городе

живет, на заводе работает. Если в горы пошел, то плохой инженер». И, сокрушенно поцокав языком, отправился догонять жену.

Интересно, что в отличие от первокурсных студенческих компаний, в экспедиции «лихих» студенческих песен и песен военного времени уже почти не пели, заменив их на «профессиональный» лирический репертуар. Под влиянием этих песен я и сам начал придумывать первые грустно-юмористические куплеты:

Исцарапанный весь и избитый.
Между диких обрывов и скал,
Притулившись на глыбе гранита,
Молодой геофизик страдал.

Что касается нашего тогдашнего отношения к опасностям, то к ним надо было привыкать как к неизменной детали нашего повседневного быта. Нам даже надбавку к зарплате платили за это — двадцать процентов «высокогорных» — как говорилось, «плата за страх». В 1955 году, в свой второй полевой сезон на Гиссарском хребте, мне довелось быть свидетелем гибели своего коллеги — двадцатипятилетнего геофизика Адольфа Образцова, насмерть разбившегося в маршруте. Истерзанное его тело, расклеванное орлами, долго не могли достать со дна ущелья. Эта первая в моей жизни безвременная смерть потрясла меня, и я тогда же написал об этом песню, где были такие слова:

Неспроста от утра до утра
Над ущельем кружили орлы.
Наш товарищ разбился вчера,
Оступившись у края скалы.
Возвращаются письма назад
Телеграмма ушла в Ленинград.
Пусть тоску прогоняем мы прочь, —
Нелегко нам уснуть в эту ночь.

Так песня памяти погибшего товарища стала моей первой экспедиционной песней. К сожалению, впоследствии таких песен стало больше.

Песню эту, уже как безымянную, некоторое время пели в экспедициях, но потом почему-то пополз слух, что она приносит несчастье, что все, кто ее любит петь, рано или поздно разобьются. Мне по окончании Горного в горах больше работать

не доводилось, однако и сам я эту песню петь не люблю.

В 1956 году, на преддипломной практике в другом горном районе, — на Тахталыкской гряде Тянь-Шаня, мне впервые пришлось столкнуться с землетрясением. Палатки нашей партии стояли на травянистом склоне пологого предгорья. Помню, у кого-то из геологов был день рождения, и все изрядно выпили. Ночью нас разбудил испуганный Коля Золотокрылин: «Ребята, трясет». «Пить надо меньше, тогда трясти не будет», — сердито отреагировал начальник отряда. В этот момент произошел еще один вполне ощутимый толчок, и все враз умолкли, прислушиваясь к низкому гулу, долетавшему из дальнего ущелья. На склоне, поросшем травой, под полотняными крышами, нам, кажется, ничего особенно не грозило, но всем стало как-то зябко. Утром выяснилось, что землетрясение разрушило мост через реку Нарын и машина с продуктами к нам дойти не сможет. Всю следующую неделю, пока не наладили переправу, мы занимались тем, что распарывали бикфордовы шнуры для взрывных работ и кропотливо вытряхивали из них порох. Порохом этим набивали ружейные гильзы и стреляли горных куропаток — кекликов, поскольку больше есть было нечего.

Вот одно из странных мистических явлений, запомнившихся мне в студенческие годы по экспедициям на Гиссарском хребте. Палатки наши стояли на плоском травянистом склоне на берегу узкой и бурной горной речушки, у самого подножья отвесных и неприступных гранитных скал. Ясная лунная ночь, полное безветрие. Напротив нас, на том берегу реки — такой же травянистый склон, со всех сторон также замкнутый отвесными скалами. В отличие от нашего берега, вдоль которого шла узкая вьючная тропа, противоположный берег для людей был недоступен. Перед палатками стоял складной походный стол, на котором мирно горела свеча. Четверо геологов при свете огарка яростно сражались в «пульку».

Вдруг неожиданно и громко завыли обе наши собаки, а через несколько минут после этого прибежал рабочий Саид и стал взволнованно и сбивчиво, забыв от испуга русские слова, что-то мне объяснять, все время показывая рукой в сторону противоположного берега. Мы пригляделись и вдруг увидели странную процессию — около десятка темных фигур, напоминавших средневековых монахов с накинутыми на голову капюшонами, спускались вниз по склону от нижнего края скальной гряды, направляясь в нашу сторону. Перед каждым из них колыхалось в такт их движениям бледно-голубое пламя, как будто каждый нес перед собой огромную свечу. И хотя за ревом реки и стуком швыряемых ею камней ничего разобрать было

невозможно, мне показалось, что слышно монотонное пение. Как могли попасть люди в это неприступное место? Из путаных речей нашего проводника, требовавшего немедленно бежать, стало понятно наконец, что, по местному поверью, души умерших и не преданных земле бродят в лунные ночи по горам с непогашенным огнем и умерщвляют грешных людей своим прикосновением. Сидевшие вокруг стола так и застыли с картами в руках. Собаки продолжали выть. Никто был не в состоянии двинуться с места. Дойдя почти до реки, тени и огни исчезли. Я взглянул на часы. Все это продолжалось не более десяти минут. Саид, успокоившись, ушел, собаки замолчали, преферанс был продолжен, и о странном событии скоро забыли. До сих пор не могу понять, что это было — мираж? Массовая галлюцинация?

Что же касается памятных историй, то приключались, конечно, не только мрачные, но порой и смешные. В число методов поисков месторождений урана входил так называемый эманационный. Дело в том, что в процессе распада соединения урана могут образовывать радиоактивный газ — радон, а соединения тория — торон. Если месторождение урановой руды в коренных породах закрыто сверху чехлом осадков, то газ этот может проникать снизу в почвенный слой, создавая эманационный ареал. Поэтому на горных склонах, закрытых почвой, уран искали так: откачивали специальным насосом из шпуров в почве воздух в резиновые мешочки и затем отправляли их в Сталинабад, в лабораторию, на определение содержания торона или радона. При этом в качестве «резиновых мешочков» весьма успешно использовались обычные презервативы. В один прекрасный день они вдруг кончились, и меня вместе со «старшим», которым был тоже студент-практикант Гена Слонимский, учившийся когда-то со мной в одной школе, отправили за пополнением «резиновых мешочков» в Сталинабад, поскольку их отсутствие грозило срывом работ.

Мы с Геной, исполненные сознанием важности нашей миссии, оседлали коней и поскакали вниз. «Девушка, нам, пожалуйста, презервативы», — заявил Геннадий, осадивший своего Басмача у дверей центральной аптеки, где по случаю жаркого дня было безлюдно. «Сколько?» — спросила продавщица. «Две тысячи», — гордо сообщил Гена. Девушка всплеснула руками и скрылась за дверью с надписью «заведующий». Через несколько минут оттуда появился старый еврей-провизор в серебряных очках. «В чем дело, Леночка?» — переспросил он и, наморщив лоб, посмотрел на нас поверх очков. — «Лев Исаакович, они просят две тысячи!» — «Ну и что? — невозмутимо заметил провизор. — Отпустите, может быть, у них вечеринка…»

Месяцы, проведенные в горах, тяжелые маршруты на солнцепеке, скупой палаточный быт (хотя по нынешним временам он не был таким уж скупым — всегда были и фрукты, и арбузы, и свежая баранина), закалили наши городские нетренированные тела, укрепили уверенность в том, что профессию мы выбрали верно. Самое замечательное, как я понял уже значительно позднее, что за три года, которые я проработал на производственной практике в Средней Азии, сначала на Гиссарском хребте, а потом на Тахталыкской гряде Тянь-Шаня, никаких серьезных рудопроявлений урана мы так и не обнаружили, как ни старались.

Зато запомнились на всю жизнь яркие крупные и близкие звезды над ночным хребтом, лунное мерцание соседних ледников, пронзительно-голубые краски мечетей и медресе, недолгое ощущение счастья, когда поднимаешься на недоступную, казалось бы, вершину, и приятный холодок штатива на обожженном солнцем плече. Теперь, когда я вспоминаю это время, из памяти начисто выветриваются все невзгоды и неприятности, которых было, видимо, немало. Остаются только сожаление о невозможности вернуть эти первые ощущения страха, смешанного с постоянным восхищением многогранностью и богатством таинственной горной страны, и тоска по утраченному ныне собственному легкому и послушному телу, стремительно карабкавшемуся когда-то по отвесным кручам.

Запомнилось мне с тех пор и одно древнеперсидское изречение, выбитое на скальной стене: «В горах кто ходит медленно, тот ходит хорошо, а кто ходит хорошо, тот ходит быстро».

Первой практике, знаменовавшей начало моей экспедиционной жизни, что продолжалась впоследствии более 35 лет, предшествовало еще одно немаловажное событие — осенью 1953 года, при активном содействии Володи Британишского и Саши Гдалина, учившихся со мной на одном курсе, в Горном институте было организовано литературное объединение. В качестве его руководителя, конечно же, приглашен был Глеб Сергеевич Семенов.

В Горном выходила в то время многотиражка «Горняцкая правда», вокруг редакции которой группировались люди, интересующиеся литературой или уже пишущие. Главный редактор этой газеты Павел Иванович Мустель, ставший позднее ректором Горного института, оказал нам немалую поддержку, и наконец профком и комитет комсомола приняли соответствующее решение. Первые занятия «объединения», на которые собиралось вначале не более десяти человек, проходили

в тесной комнатке редакции, но популярность ЛИТО стала быстро расти, и уже через месяц для каждого занятия приходилось заказывать в диспетчерской Института специальную аудиторию. Мы с Володей в ту пору были третьекурсниками, и я, как один из организаторов, стал первым старостой ЛИТО.

Основу литобъединения составили начинающие поэты. В их число вошли геологи Геннадий Трофимов и Игорь Тупорылое, старше нас на курс, студенты-геологи 53-го года поступления Леонид Агеев и Олег Тарутин, наша сокурсница Лина Гольдман, студентка с нефтяной геофизики Лидия Гладкая. Несколько позднее в ЛИТО вошли первокурсники с геолого-разведочного факультета Елена Кумпан, Яков Виньковецкий, Эдуард Кутырев и Андрей Битов, писавший вначале, очень недолго, стихи, а затем переключившийся на прозу. Поначалу же проза была представлена Анатолием Кравчинским, в отличие от известного классика именовавшимся «Кравчинский-не-Степняк», и Всеволодом Белоцерковским, быстро переметнувшимся в режиссеры.

Занятия велись примерно по той же схеме, что когда-то во Дворце пионеров. Контингент, однако, был иной, да и эпоха была уже совсем другая — умер Сталин, приближался Двадцатый Съезд. Для нас, студентов Горного, выбравших себе, как мы были уверены, самую «земную» специальность, литературные увлечения были не абстрактными, а дополняющими суровую и горькую нашу действительность, не перемещением в отвлеченный от нее мир «изящной словесности», но формой осмысления этой действительности и, прежде всего, попыткой мучительного прозрения от детски-просталинских иллюзий. Может быть, именно поэтому основным направлением в горняцком ЛИТО стало сугубо реалистическое, из-за чего мы довольно скоро получили полунасмешливое название «почвенники». В названии этом, однако, как я думаю сейчас, не было, по существу, ничего обидного, ибо оно довольно точно соответствовало реальности.

Наиболее яркими представителями этого направления были, конечно, Леонид Агеев, Олег Тарутин и Володя Британишский. Несколько позднее к нам в ЛИТО пришли поэты из других объединений — Нина Королева, Глеб Горбовский и еще позднее — Александр Кушнер.

С самого начала «горняцкого объединения» в нем установился нетипичный в то время дух демократии, который, как я теперь понимаю, был определен в первую очередь Глебом Семеновым. На обсуждениях стихов, встречах с поэтами из других ЛИТО и просто в разговорах наш руководитель все менее выглядел ментором, скорее — старшим товарищем. Чем далее,

тем больше он незаметно становился как бы нашим ровесником и, возможно, сам чему-то учился. Ничего удивительного в этом не было — все как-то незаметно стали друг другу соперниками и учителями, тем более что круг доступного нам чтения был достаточно узок и о многом приходилось узнавать друг от друга.

В это время в Ленинграде существовало несколько групп молодых поэтов. Наиболее «официальным» было университетское объединение, которое состояло в основном из филологов. Сюда входили Майя Борисова, Илья Фоняков, Владимир Торопыгин, Валентин Горшков и некоторые другие. Большой популярностью пользовалось ЛИТО при Доме культуры трудовых резервов, которым руководил Давид Яковлевич Дар. Именно оттуда пришел Глеб Горбовский, там занимались в те годы Виктор Соснора, Алексей Ельянов и другие поэты и прозаики.

Наиболее близкая к рафинированному литературному слою группа создала (правда, несколько позднее) круг, который концентрировался вокруг Анны Андреевны Ахматовой. В него входили Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев и, наконец, безвременно ушедший из жизни Иосиф Бродский. Они-то и называли нас «почвенниками». Особняком держались авангардисты — Уфлянд, Еремин и Виноградов. Существовало также литобъединение в Политехническом институте, видную роль в котором играл уже упомянутый мной поэт Виктор Берлин и на занятия которого ходили Александр Штейнберг, Борис Голлер и другие.

В 1954 году в актовом зале Политехнического института начались общегородские вечера студенческой поэзии, проходившие при огромном стечении народа. У меня много лет хранится «самиздатовский» сборник по материалам одного из таких вечеров, с памятной надписью: «Талантливым горнякам от литобъединения Политехнического института». При всей непохожести отдельных авторов, их объединяет энергия и некая устремленность в завтра, которой, несмотря на уровень нынешней гласности и дозволенности, сегодня нет.

Возвращаясь к нашему горняцкому ЛИТО, надо сказать, что его «идейными лидерами» в ту пору были Британишский, Агеев и Тарутин, а поэтическим — Глеб Горбовский.

Я вспоминаю вечера поэзии, на которых выходил Володя Британишский, худой, казавшийся всегда почему-то небритым, в заношенной горняцкой тужурке, и читал свои героические, по тем временам, стихи о вечере встречи в родной школе: «Обстановка совсем семейная, — семьи тоже бывают лживые», или стихи о курсантах: «Не любитель я военщины, только хочется и мне, чтобы девушки и женщины уважали их вдвойне». До сих пор

помню короткое его стихотворение, которое неизменно пугало тогдашних ревнителей «идейной выдержанности»:

Меня едва не сбили с ног —
Гудок.
А за стеклом, с шофером рядом,
Вкушая необъятным задом
Подушек кожаный покой.
Сидит с чужим недобрым взглядом
Другой
Другой — не из другой страны
Случайным ветром занесенный,
Не пережиток старины.
Из наших мест, из наших дней,
Такой другой куда страшней.
Вот он глядит, и взгляд сердит,
Шофер — его шофер — гудит.
И этот взгляд, и этот тон
Мне говорят, что я — не он
Что я, мол, от природы — пеш,
А он в машине родился
Что разница большая меж.
И мне, мол, непонятна вся.
Когда я всю ее пойму,
Ох, будет весело ему!

Стихи эти, написанные в 56-м году, напечатаны были только в 90-м. Но уже тогда они ходили в списках, смело обличая всемогущий класс «аппаратчиков».

Острые и непримиримые стихи Британишского, как правило, вызывали бурную реакцию зала, — сочувственную у одних и враждебную у других. За их распространение исключали из вузов. Помню, Борис Слуцкий подарил ему книжку с надписью: «Одному из лучших поэтов шестидесятых годов». В 1958 году вышла первая поэтическая книжка Британишского «Поиски», вызвавшая резкую доносительскую статью в «Ленинградской правде» с характерным названием «Снимите с пьедестала». В 56-м году Володя уехал работать в Тюменскую область в Салехард. Потом в 60-м году переехал в Москву, где вышли две книги его стихов «Наташа» и «Пути сообщения». После этого его четырнадцать лет не печатали, мстя замалчиванием за недавнее поэтическое лидерство, за доверие не забывшей его аудитории и коллег по перу. Это многолетнее испытание забвением Владимир Британишский выдержал с честью: ни одной строки в угоду, «для власти, для ливреи».

Лишенный возможности печатать свои стихи, он полностью посвятил себя поэтическим переводам с польского, за короткое время освоив язык и став одним из ведущих переводчиков польской поэзии. Только в 1980 году вышла из печати его новая книга стихов «Открытое пространство», а в 1985 году — «Движение времени». В этой последней книге наиболее четко отразилась связь времен, эволюция, которую испытал автор за эти годы. На смену юному задору и темпераменту пришла потребность в анализе и модели мира. Не «сорванный голос», как написал о нем несколько лет назад питерский критик Виктор Топоров, а иные поэтические и философские рубежи, другая система чувств и мыслей. На мой взгляд, голос у Владимира Британишского все тот же — полный достоинства, начисто лишенный фальши и аффектаций, внешне сдержанный, но содержащий взрывчатый заряд. Неслучайно поэтому его, более тридцати лет живущего в Москве, до сих пор относят к «поздним петербуржцам».

Леонид Агеев писал тогда же жесткие и горькие стихи о поэтах, погибших в 37-м:

Еще их тело сытое, хмельное.
Блаженствует. Не этому ли телу
С распоротою пулею спиною
Упасть, хрипя, под каменную стену?

Леониду Агееву не суждена была долгая жизнь. По окончании Горного института он работал в Первом Главном геологоуправлении в Ленинграде, выпустил несколько книг стихов, стал членом Союза писателей и время от времени, к сожалению, сильно пил. В последний раз мы с ним встречались в конце 80-х в Мурманске, куда приезжали выступать. В 91-м году он, сорвавшись дома со стремянки, куда зачем-то полез пьяный, упал и разбился насмерть. Я тогда написал стихи, посвященные его памяти:

Снова провожаем мы друг друга,
Словно в институте кие года,
В те края, где непрозрачна вьюга.
Реки не свободны ото льда.
В этот дом старинный на Покровке,
Помнится, в такой же вот мороз.
Синий тортик вместо поллитровки
Кушнер по наивности принес.
За начало новых экспедиций
Рюмку поминальную налей.
Трудновато будет возвратиться
Из далеких нынешних полей.
В том краю, где не бывает хлеба.
Как и встарь, без вилки и ножа,
Все мы соберемся возле Глеба,
Рюмки невесомые держа.
А пока что молча, без улыбки.
Вспоминаем посреди зимы
Тот квартал, болотистый и зыбкий.
Где живали некогда и мы.
Где, гордясь горняцкою фуражкой.
По асфальту шел я молодой,
И мерцала медленная Пряжка
Черной непрозрачною водой.

Один из ближайших друзей Леонида Агеева, учившийся с нами вместе, поэт и геолог Олег Тарутин, действительно долгое время жил рядом с рекой Пряжкой на углу Английского проспекта и улицы Декабристов, почти рядом с домом Блока на Пряжке. Он, как правило, писал веселые стихи, но юмор его временами был грустноват:

У старушки Медичи
Были гады родичи.

Властолюбцы, интриганы, —
Родич родичу удав.
Лезли к трону постоянно,
На приличья наплевав.
То, глядишь, проткнутый стонет.
То отравленный хрипит:
Кто кого перебурбонит.
Кто кого обвалуит.

Позднее на стихи Олега Тарутина написал песню «Телепатия» Александр Дулов. Окончив Горный институт, Олег через пару лет попал со мной вместе в Енисейскую экспедицию Научно-исследовательского института геологии Арктики, и мы с ним неоднократно встречались в Игарке. В экспедициях он написал немало стихов и и даже одну песню «Стланики» на мотив известных тогда «Ландышей». Песня эта сразу же оказалась под запретом из-за крамольного куплета:

Если б в эти стланики-то
Вдруг попал Хрущев Никита,
Хоть в маршруте укороченном,
Доставали б чудака
Представители ЦК
Кириченко и Коротченко.

Олег Тарутин умер в сентябре 2000 года от рака. Стихи его, как правило, вызывавшие у читателей и слушателей улыбку, самому ему порой доставляли весьма грустные минуты. Так, его долго не хотели принимать в Ленинградское отделение Союза писателей, поскольку возглавлявший его в те годы поэт Александр Прокофьев, имя которого останется в истории не столько благодаря его стихам, сколько благодаря организованной им травле Иосифа Бродского, заподозрил в одном из юмористических стихотворений Олега намек на себя. Грузный краснолицый Прокофьев тогда только что завел себе молодую подругу и страшно разъярился, когда прочел стихи Тарутина:

Свинобатька бросил свиноматку, —
Ухожу, мол, к молодой свиньоре.
Свиноматку враз скрутило горе…
Он ушел, унес свою свинину
К той, другой, которая моложе.
Даже не взглянул на свиносына,

И на свинодочь, конечно, тоже.

Кстати о Прокофьеве. В 1969 году группу молодых ленинградских литераторов, в которую кроме меня входили Виктор Соснора, Олег Тарутин, Леонид Агеев, Александр Кушнер, Лев Гаврилов и другие, пригласили «на экскурсию» в Большой Дом на Литейном, рядом с которым располагался Дом писателей. Дом, где расположено ленинградское Управление КГБ, построенный в 30-е годы, и на самом деле большой и заметно возвышается над крышами соседних домов. Он хорошо виден из окон конференц-зала писательского дома, поэтому все писатели, выходя на трибуну, поневоле косились на него прежде, чем начать говорить. Встреча, на которую нас пригласили, по-видимому, была организована в рамках плановой «профилактической» промывки мозгов молодым авторам. В ее состав входили лекция о подрывной идеологической деятельности американской и других буржуазных разведок, ознакомление с образцами «антисоветской литературы» и экскурсия. Во время экскурсии в «Музей боевой славы ленинградских чекистов» я увидел на стене большой фотопортрет молодого Александра Прокофьева в кожанке и с маузером на бедре. «А это наш старый кадр, — предвосхитил мой недоуменный вопрос наш гид. — Александр Андреевич Прокофьев. В двадцатые годы направлен нами на литературную работу».

Вспоминая о ЛИТО Горного института, нельзя не сказать о Якове Виньковецком, который впоследствии эмигрировал в США и трагически погиб, кончив жизнь самоубийством. Это был человек удивительных и разносторонних талантов, хотя и во многом загадочный. По окончании Горного довольно быстро защитил кандидатскую. Писал прозу. Потом увлекся живописью и приобрел довольно широкую известность как художник-модернист и в Союзе, и за рубежом. Неслучайно его работы, выставленные на нашумевшем «Вечере творческой молодежи Ленинграда» в Ленинградском Доме писателей 30 января 1968 года, стали одним из объектов известного доноса, состряпанного В. Щербаковым, В. Смирновым и Н. Утехиным и опубликованного позднее Сергеем Довлатовым: «За полчаса до открытия вечера в кафе Дома писателей были наспех выставлены работы художника Виньковецкого, совершенно исключающие реалистический взгляд на объективный мир, разрушающие традиции великих зарубежных и русских мастеров живописи. Об этой

неудобоваримой мазне в духе Поллака, знакомого нам по цветным репродукциям, председательствующий литератор Я. Гордин говорил всем братьям по духу как о талантливой живописи, являющей собой одно из средств «консолидации различных искусств»».

Яшины непонятные картинки вызывали неоднозначную реакцию и в нашем ЛИТО. Я вспоминаю споры между ним и искусствоведом и поэтом Львом Мочаловым, который, глядя на абстрактную Яшину живопись, говорил: «Яша, я признаю, что ты настоящий художник. Только ты нарисуй меня или вот птичку, чтобы похоже было. А потом рисуй любую абстракцию. А пока ты птичку не нарисуешь, я тебя художником не признаю». Виньковецкий при этом всячески бранил Мочалова, но птичку не рисовал.

Выл он человеком удивительным. Незадолго до своего отъезда написал и опубликовал — как рукописное издание — небольшую книжку об устройстве Земли, которую подарил мне. Я тут же прочел ее (вернее — попытался прочесть) и почти ничего не понял. Через много лет, в 1983 году, уже защитив докторскую, также посвященную строению и эволюции оболочек Земли, я снова прочел ее и снова многого не смог понять. Когда я сказал об этом Андрею Битову, он заявил, что я напрасно пытаюсь найти в этой книге реальные научные обоснования. Она отражает скорее не геологические, а натурфилософские взгляды. Эмигрировав в Америку в 1975 году, Яков устроился на работу в крупную нефтяную фирму «Эксон» в Хьюстоне и какое-то время вполне преуспевал. Но потом его неожиданно обвинили в растрате казенных денег. Не найдя возможности (или не желая) оправдываться, он покончил с собой. Вскоре после этого выяснилось, что он невиновен. Неожиданная его смерть всех потрясла.

В 1999 году в Бостоне его вдова Дина Виньковецкая показала мне изданный ею альбом его живописных работ. Теперь он стал признанным художником, и никто уже не будет требовать от него нарисовать птичку.

Что же касается поэтических открытий, то ими буквально потрясал молодой Глеб Горбовский, в стихах которого обыденный, казалось бы, мир вокруг нас преображался в таинственную страну.

Только поэтический глаз Горбовского мог заметить очевидную вещь: «крокодилы ходят лежа». Холодом северного пространства дышали строки его стихов, привезенных из первых экспедиций, где он работал рабочим-взрывником:

Пустыня кончится обрывом
В необозримый океан.
Твой воротник стоит, как грива,
Твое шоссе — меридиан.

Тема отдельного разговора — песни Глеба Горбовского, ставшие целой эпохой в Ленинграде конца 50-х. Песни эти, написанные по большей части на расхожие мотивы, тут же распространялись и распевались не только нами, его друзьями, но и широким кругом людей, о нем никогда не слыхавших. Пожалуй, наиболее известной стала песня Горбовского, придуманная им на оригинальный мотив — «Когда качаются фонарики ночные». Мне неоднократно приходилось в самых разных местах до хрипоты спорить, доказывая авторство Глеба, с яростными сторонниками «древнего народного» происхождения этой песни. Совершенно очевидно, что песню эту написал поэт. Достаточно вспомнить великолепные строчки: «Смотрю, как кот в окно», или: «Я сам себя убил и выбросил за борт».

Широкой популярностью пользовалась в 60-е годы в Ленинграде его песня о художниках:

На дива — на диване, на диване
Мы лежим — художники.
У меня, у меня да и у Вани
Протянулись ноженьки.

А еще мы в те годы с удовольствием дома и на улице распевали его песню о незадачливом постовом:

У помещенья «пиво-воды»
Стоял не пьяный постовой.
Слуга народа из народа.
Как говорится, парень свой.

Надо сказать, что сам Горбовский на гитаре не играл, песни свои пел только вместе со всеми «а капелла» и со сцены их не пел, кажется, никогда.

Судьба, однако, сыграла с ним злую шутку. Излечившись путем многолетних и неоднократных героических усилии от хронического пьянства, Глеб Горбовский вместе с ним во многом избавился и от своего незаурядного поэтического таланта. Может быть, именно поэтому в последнее время Глеб Яковлевич

Горбовский всячески старается подчеркнуть свою «истинно русскую сущность» и печатает в черносотенной газете «День» стихи с выразительными строчками: «Они примазались к России, чтоб очернить ее лицо…» Читать это стыдно и грустно.

В небезопасности «крутого» излечивания творчески одаренного человека от алкоголизма я убеждался впоследствии неоднократно. Так, один из моих друзей, актер театра «Современник», создавший немало неповторимых сценических и экранных образов и страдавший хроническими запоями, был по настоянию своей энергичной очередной жены надолго и профессионально излечен от своего тяжкого порока. И хотя он продолжал активно сниматься в кино и играть в театре, но в нем как будто лопнула главная пружина, все роли его стали бесцветны к неинтересны. После нескольких лет томления духа он «развязал» и снова стал играть блестяще.

В связи с этим вспоминается история, рассказанная мне как-то случайно в конце 60-х замечательным шахматистом Михаилом Талем, экс-чемпионом мира, оказавшимся моим соседом в ночном самолете, летевшем из Риги в Москву. Таль поведал мне о том, что, когда он стал чемпионом мира, его неожиданно вызвал в одну из рижских психиатрических клиник его приятель — известный врач-психиатр, у которого на излечении находился какой-то крупный начальник, на почве хронического пьянства возомнивший себя великим шахматистом.

«Вылечить его можно только психическим шоком, — сказал врач. — Ты, Миша, должен мне помочь. Ты приедешь со мной вместе к нему в больницу и пару раз обыграешь его. Конечно, он ни в коем случае не должен знать, кто ты. Скажем ему, что ты перворазрядник».

«В общем, он меня уговорил. — рассказывал дальше Таль. — Приезжаю я с ним в больницу, прихожу в палату к этому типу. Он сидит хмурый и всклокоченный. Представляется: «Я — гениальный шахматист». Фигуры на доске уже расставлены. Я приехал усталый, отчетливо понимаю разницу в наших возможностях и первые три-четыре хода делаю рассеянно. И вдруг на пятом уже ходу спохватываюсь, что он начал меня серьезно прижимать. Я туда-сюда, а он жмет и жмет. Я выскакиваю в коридор к своему приятелю-психиатру и говорю: «Петя, он действительно шахматист мирового класса!» А Петя отвечает: «Не валяй дурака, — мне его вылечить надо». Я возвращаюсь в палату, собираюсь, как могу, и пытаюсь свести партию к ничьей. Не тут-то было — еще через десяток ходов он вынуждает меня сдаться. «Может, вторую желаете?» — мрачно улыбается больной. Тут я всю свою волю и знания мобилизовал, как мог, и ценой

страшного нервного напряжения еле-еле свел с ним вторую партию «вничью». Вышел я к своему врачу и говорю: «Все, — освобождай меня от этой миссии, — он и вправду гениальный шахматист». — «Нечего мне тут заливать, — гениальный. Тебе, может быть, и гениальный, а у меня, знаешь, какие из-за него неприятности? Жена его каждый день звонит во все инстанции, начальство дергает, а никакие другие курсы не помогают. Человек, можно сказать, пропадает, там, говорят, целый трест остановился, а ты мне тут шутки шутишь. Значит, так, — ты когда в Штаты улетаешь, — в субботу? Тогда послезавтра обязательно приезжай. Что хочешь делай, но ты просто обязан выиграть у него подряд три партии. Человека спасти надо».

Я все дела отложил, засел за теорию, за этюды. В общем, подготовился, как на матч-реванш. Приехал в больницу к нашему пациенту. А он уже меня ждет и руки потирает. И тут меня прямо оторопь взяла, хуже чем с Бобби Фишером. Так или иначе сел я с ним за стол и с неимоверными усилиями, около четырех часов просидев, выиграл три партии подряд. После конца третьей партии противник мой багровеет и теряет сознание — шок. Тут понабежали врачи и сестры — куда-то его поволокли. Петя, мой приятель, руку мне пожимает. «Спасибо, — говорит, — ты человека спас, век тебе не забуду, поскольку кроме человека еще и мою лечебную репутацию спас». Возвратился я через месяц из Штатов, звоню Пете, ну как, говорю, дела у твоего больного? «Спасибо, — говорит, — еще раз огромное, — он уже две недели как выписался, работает, все в полном порядке».

Тут бы и сказке конец, — грустно улыбнулся Таль, — но есть у нее продолжение. Этим летом в Риге в Парке культуры я как-то давал в воскресенье показательный шахматный турнир на десяти досках. И вдруг вижу — за третьей доской сидит мой гениальный пациент. Я опять же оробел, на все другие доски — ноль внимания, а все полностью сосредоточил на третьей доске. И что вы думаете? После третьего же хода стало ясно, что играть он не может — вылечили. Вот так-то».

Возвратимся, однако, в Ленинградский Горный конца 50-х и его славное литобъединение.

Важным событием в нашей тогдашней жизни, как и в жизни нашего поколения, был Двадцатый съезд партии и доклад Хрущева, впервые открыто разоблачившего культ Сталина. Рухнул идол, завалив своими обломками все жизненное пространство. Надо было заново учиться жить. Это не могло не отразиться в стихах, которые мы писали.

После начала перестройки, весной 90-го года, в Ленинграде, благодаря инициативе Майи Борисовой, безвременно ушедшей из

жизни несколько лет назад, вышел стихотворный сборник «То время — эти голоса (Ленинград, поэты оттепели)». В него вошли стихи Владимира Британишского, Глеба Горбовского, Леонида Агеева, Олега Тарутина, Александра Кушнера и других поэтов, связанных в те годы с ЛИТО Горного института. Посвящен сборник памяти умершей незадолго перед этим ленинградской поэтессы Татьяны Галушко, тоже имевшей отношение к Глебу Семенову. Неслучайно, вспоминая о докладе Хрущева, в предисловии к своим стихам Леонид Агеев, которого тоже вскоре не стало, написал в этой книге:

«Были «лишние люди». Было «потерянное поколение» Ремарка. Был заданный однажды себе вопрос: «А из какого поколения ты? Как его нарекут, если такому суждено случиться, потомки?» Находился и ответ: «Я из поколения «детей войны», тех самых, родившихся ненадолго перед началом Великой Отечественной». На пятом десятке всплыло и утвердилось новое — не то чтобы более точное, а просто иного плана понятие: обманутое поколение. Я из поколения обманутых… Опознанию первого обмана помог XX съезд. О культе и репрессиях говорили и раньше, до съезда; настойчивее — после 1953 года. Мне и двадцати не было. Молодо-зелено, но не настолько, чтобы, наслушавшись таких — чаще полушепотом — разговоров, не добраться до материалов всех съездов ВКП(б) и не сравнить, с карандашом в руках, в первую очередь — списки руководящих органов партии, избранных XVI и XVII съездами. Обман оказался жестоким: с детства тебе рассказывали сказку о самом добром, самом мудром, самом заботливом отце-вожде-учителе. Он же, оказывается, был совсем не таким: нехорошим, по меньшей мере, был человеком, а скорее всего — настоящим злодеем. Услышать сказанное Хрущевым на XX съезде я был готов. В 1957 году Сталин для меня умер вторично. Труп я сжег, прах развеял. Хрущевский и брежневский обманы были впереди…»

Перечитывая сегодня в книге «То время — эти голоса» наши старые стихи, пусть наивные с позиций сегодняшнего времени, я все-таки испытываю радость за них и за нас тогдашних.

В 1956 году и думать было нельзя эти стихи напечатать. Ценой больших усилий на ротаторе Горного института был на правах рукописи выпущен тиражом триста экземпляров сборник стихов членов ЛИТО, под редакцией Глеба Семенова, ставший теперь предметом зависти коллекционеров. Вместе с нашими стихами туда вошли также стихи студентов ЛГИ более старших поколений — Нины Островской, Бориса Рацера, Льва Куклина, Игоря Тупорылова. Из «литовцев» там — Игорь Трофимов, Лидия Гладкая, Глеб Горбовский, Эдуард Кутырев, Леонид Агеев, Олег

Тарутин, Владимир Британишский и я.

Поскольку сборник разошелся моментально, решили сделать второй выпуск, существенно расширив круг авторов. Этот второй выпуск действительно вышел в 1957 году. Ему, однако, не повезло. В это время проходил первый Всемирный фестиваль молодежи, и цензура была особенно бдительна. Сборник попался кому-то на глаза и вызвал бурю. По категорическому указанию партийных властей партком института принял решение весь тираж сборника уничтожить, и он был сожжен в котельной института. Чудом уцелело только несколько экземпляров.

Уничтожение этого сборника, а также ряд доносов в разные инстанции, включая КГБ, привели к тому, что занятия ЛИТО Горного института в 1957 году были прекращены, а Глеб Сергеевич Семенов из него изгнан.

Одним из поводов этого разгрома послужили, в частности, стихи Лидии Гладкой, посвященные происходившим тогда печально известным венгерским событиям:

> Там алая кровь заливает асфальт.
> Там русское «стой» — как немецкое «хальт»…

«Богема проклятая, — стучал на нас кулаком секретарь парткома института Олег Васильевич Литвиненко, — до прямой антисоветчины докатились!»

Жалобы на ЛИТО в партком были и раньше, но они носили не слишком серьезный характер. Так, в 1955 году на одном из институтских партийных собраний секретарь парткома заявил, что стихи участников ЛИТО, публикуемые в газете «Горняцкая правда», разлагающе действуют на студентов. «Начитавшись этих стихов, — говорил он, — студенты, вместо того, чтобы нормально учиться, начинают влюбляться, женятся. Тут же появляются дети, а мы не можем обеспечить их жилплощадью. И несчастные дети страдают по вине безответственных поэтов». Помню, как радовался Глеб Семенов такой высокой оценке нашей лирики.

На этот раз «наезд» был вполне серьезный. И хотя ЛИТО формально не закрыли, вместо Глеба Семенова из Союза писателей был приглашен руководить им Дмитрий Леваневский, хорошо известный своим приспособленчеством. На этом недолгий взлет ЛИТО Горного института закончился.

Несмотря на сравнительно небольшой срок существования (около трех лет), ЛИТО сыграло значительную роль в жизни почти каждого из его участников, большая часть которых навсегда связали себя с литературой. Стали профессиональными литераторами Леонид Агеев, Олег Тарутин, Андрей Битов, Нина

Королева, Лидия Гладкая, Глеб Горбовский, Владимир Британишский и некоторые другие — явление для технического вуза в известной степени уникальное.

Где-то году в 55-м я впервые, вместе с Кушнером, Тупорыловым и Британишским участвовал в «конференции молодых авторов», организованной в ленинградском Союзе писателей. В семинаре, которым руководили Вадим Шефнер и Анатолий Чивилихин, рядом со мной сидел худенький курчавый юноша в солдатской форме с черными строительными погонами, перечеркнутыми ефрейторскими лычками. Это был москвич Сергей Артамонов, служивший под Ленинградом и писавший тогда стихи. Мы с ним быстро подружились, и я сразу же познакомил его с Семеновым и сосватал его в наше литобъединение. Отслужив, он вернулся в Москву, где я неоднократно бывал у него потом в доме в Кривоарбатском переулке. Он жил там вдвоем со своей бабушкой в старой московской коммуналке, в длинной и узкой комнатушке, разделенной надвое огромным шкафом.

В этой комнате в ноябре 1961 года во время встречи с Иосифом Бродским я случайно познакомился с молодой московской поэтессой Анной Надь, ставшей позднее моей женой. Именно Сергей ввел меня в первый раз в дом Давила Самойлова, с которым был хорошо знаком. Писал он тогда стихи и очень неплохие рассказы, которые никто и нигде, конечно, не печатал. В 1973 году Сергей Артамонов эмигрировал во Францию. Теперь он живет недалеко от Парижа. Много лет занимается резьбой по дереву, обнаружив безусловный талант скульптора. В 1999 году он приезжал в Москву и устроил в Исторической библиотеке выставку, которая прошла с большим успехом.

Помню, после семинара один из довольно именитых тогда ленинградских поэтов, чье имя внушало мне большое почтение, пригласил нескольких участников семинара, и меня в том числе, к себе домой. На столе стояла обильная водка, разговор шел о литературе, и я все ждал от известного поэта каких-нибудь мудрых слов, соответствующих моим о нем высоким представлениям. Он же, выпив, поглядел на меня туманным взглядом и сказал: «Форма у тебя красивая. На блядей, наверное, здорово действует».

Примерно в 54-м – 55-м годах в нашем Горном пошла мода на студенческие спектакли. Был даже объявлен конкурс на лучший факультетский спектакль. Тут же возникли группы режиссеров, актеров и, конечно, в первую очередь, авторов. Главными сценаристами факультетского спектакля геологов были Леонид Агеев и Олег Тарутин, на нашем геофизическом факультете — мы

с Володей Британишским.

Тарутин с Агеевым написали лихой текст в стихах, и спектакль с блеском прошел на институтской сцене. Мало того, в отдельных героях легко угадывались пародийные черты их потенциальных соперников-геофизиков.

Я незадолго перед этим, под впечатлением экспедиций на Гиссар, написал цикл «мужественных», в духе своего любимого в те поры Киплинга, а на самом деле — довольно беспомощных и подражательных «Стихов о Гиссарском хребте», где всячески воспевал трудности экспедиционного быта и суровые мужские забавы. Поэтому герой агеевско-тарутинской пьесы, старшекурсник, рассказывающий небылицы робким первокурсникам, гордо заявлял:

Помню, было на Гиссаре…
От сапог подметки ели —
Аж язык распух во рту,
А последних три недели
Дотянули — на спирту.

Факультетский спектакль геологов пользовался громким успехом и явно претендовал на первое место в конкурсе. Надо было как-то, хотя бы в чем-нибудь обойти торжествовавших геологов. О том, чтобы написать стихотворный текст лучше, чем Агеев с Тарутиным, не могло быть даже речи. Тогда на заседании факультетского комсомольского бюро было решено написать специально для спектакля песни, которых у геологов не было — чтобы выиграть конкурс. Тем более что недавно закончивший геофизический факультет молодой композитор Юрий Гурвич обещал написать музыку. Ответственным за тексты песен и их подготовку в спектакле был назначен я — Британишский в это время писал стихотворные репризы, описывая деканатский коридор:

Вот первокурсники-ягнята,
Какими были все когда-то.
На расписание толпой
Глядят с покорностью тупой.
Но в расписание не глядя,
Шагает старшекурсник-дядя.
Он расписание давно
В сплошное превратил «окно».

Я исправно, к указанному мне сроку, сочинил требуемые тексты для песен, главной из которых в спектакле должен был стать «Геофизический вальс», и отправился к Гурвичу, бывшему в те поры зятем известного ленинградского писателя Юрия Германа. Потом я несколько раз звонил ему, но он все говорил, что песня еще не готова. Наконец, когда до спектакля оставалось всего два дня, я приехал к нему, и он выдал мне нотную запись, которую я, ввиду своей полной музыкальной безграмотности, прочесть, конечно, не мог. Я тут же помчался в Горный и вручил ноты нашей главной «солистке». Посмотрев их, она ударилась в слезы и решительно сказала, что такую сложную мелодию петь не в состоянии. А спектакль — послезавтра. Как же быть?

Разгневанный комсомольский секретарь заявил мне: «Ты эту кашу со своим Гурвичем заварил, ты и расхлебывай. Как хочешь и что хочешь делай, но чтобы назавтра песня была, а иначе — комсомольский билет положишь за срыв факультетского спектакля». Угроза по тем временам казалась мне нешуточной. Гурвич после моего отчаянного звонка к нему обиделся и, обвинив нас в «непонимании музыки», повесил трубку. Положение было критическое. Расставаться с комсомольским билетом очень не хотелось — не зря, выступая как-то в те годы против меня на занятии ЛИТО, Британишский съязвил: «Городницкий был когда-то комсоргом и никак не может этого забыть». Все, что мне оставалось, — ценою бессонной ночи попытаться придумать к песне нехитрую мелодию.

Наутро я принес ее в институт, и певица петь согласилась. Так, впервые в своей жизни, я придумал мелодию для песни, хотя, по всей видимости, не придумал, а скорее слепил из обрывков мотивов, бывших у меня в то время на слуху. Получилась песня «Геофизический вальс»: «Снег на крышах темнеет и тает на исходе весеннего дня». Несколько обнаглев после этого, я придумал тут же еще одну песню «Сонные кони храпят без седла», а Володя Британишский, ревниво следивший за моими потугами, немедленно написал песню для сцены в общежитии:

Задумчиво встали походные кружки
На серой клеенке стола.
Совсем как в палатке, у нас в комнатушке
Не больно-то много тепла.

И мотив к ней он придумал довольно неплохой. В результате мы заняли в конкурсе первое место, и геологи были посрамлены. Правда, бдительная партийная цензура категорически вычеркнула из нашего спектакля сцену застолья в студенческом

общежитии на Малом-40, где тамада провозглашал: «В Москве прошел Двадцатый съезд», а его сосед немедленно добавлял: «Пусть каждый выпьет и заест!»

Так на четвертом курсе я начал «слагать песни». К числу самых первых относятся «Геофизический вальс» и упомянутая выше песня, посвященная памяти Образцова.

В 1956 году я первый раз в жизни получил также «официальный» заказ на песню. В связи с подготовкой к празднованию в 1957 году юбилея города, хор клуба «Трудовые резервы» решил исполнить «Гимн Великому городу» Глиера из известного балета «Медный всадник». Надо было написать текст гимна. Узнав об этом, Глеб Сергеевич уговорил руководство клуба заказать текст мне. «Имей в виду, — сказал мне Семенов, — что дело это платное и денег у них много, так что проси как можно больше».

Я пришел в клуб «Трудовые резервы» и на вопрос, сколько будет стоить текст гимна, зажмурившись от собственной наглости, попросил шестьсот рублей — сумму, как мне тогда казалось, непомерно высокую. Директор, к моему удивлению, радостно улыбнувшись, тут же поставил цифру в договор. «Дурень, — сокрушенно покачал головой Глеб Сергеевич, узнав об этом, — они же собирались тебе три тысячи заплатить». Тем не менее гонорар этот на многие годы стал моим самым большим литературным заработком.

Так нечаянно я сделался в 56-м году автором «Ленинградского гимна», пополнив собой славные ряды «гимнюков». Гимн этот начинался словами:

Поем тебя мы, наш город величавый,
Рожденный в труде и дыму баррикад.
Твой каждый камень овеян славой.
Седой Петербург, Петроград, Ленинград.
Для мира ставший знаменем свободы.
На радость нам и недругам на страх.
Не волей царей, а волею народа
Ты гордо встал на невских берегах.

Много лет он исполнялся на разного рода официальных церемониях и при отправлении «Красной стрелы» от перрона Московского вокзала. Кстати, совсем недавно один из уже нынешних «отцов» Санкт-Петербурга на Ассамблее в Таврическом дворце спросил меня, нельзя ли переделать слова этого гимна на гимн Санкт-Петербурга.

Помимо занятий в ЛИТО, которые обычно проходили раз в

неделю, мы довольно часто собирались, читая друг другу стихи и обсуждая их или споря о прочитанном. Собирались обычно либо у Агеева на Покровке, где у него с женой Любой была небольшая комната, либо у Олега Тарутина на углу Маклина и Декабристов. Застолья при этом были чисто символическими, главное — что читалось и говорилось, хотя, конечно, серьезные выпивки, особенно с участием Глеба Горбовского, тоже случались. Как-то в зимнюю пору мы с ним и с Агеевым распивали «маленькую» на невском льду, перед сфинксами, а поскольку стакана не было, то вырезали ножом рюмку из яблока. Вообще — умение выпить входило как бы в кодекс «горняцкого» бытия. Помню, как все смеялись над Сашей Кушнером, когда на мои проводы в экспедицию вместо общепринятой поллитры он принес торт, перевязанный голубой ленточкой.

У меня на старой и затертой допотопной бобине сохранился обрывок записи одного из тех давних сборищ, происходившего в тесной комнате моей коммуналки на Красной улице, где мы жили с женой и ребенком. Тогда, кажется, обсуждались мои стихи. Из общего нестройного гомона явственно выделялся голос Кушнера: «Так как постановили — считать это стихотворение плохим или хорошим?»

Встречи эти, с чтением, обсуждением и разговором, чаще всего уже без Глеба Семенова, стали традиционными, и после, когда все разъехались по разным краям и экспедициям, а вернувшись, уже отдалились друг от друга, отсутствие этих сборищ сильно сказывалось.

И еще одно: средой нашего литературного обитания всегда был Ленинград, его улицы, переулки, каналы, Васильевский вокруг Горного. Это вовсе не значит, конечно, что мы писали именно о городе, — он просто всегда незримо присутствовал в самом дыхании нашем в те годы…

К середине 50-х относится также начало моей дружбы с братьями Штейнбергами, которые, хотя сами стихов и прозы не писали, сразу же оказались в самом центре литературной жизни. Старший — Генрих — учился в Горном на два курса после меня, где ухитрился закончить сразу два факультета — геолого-разведочный и геофизический. Но окончании института он уехал на Камчатку, гае провел много лет, став известным вулканологом. К нему в конце 60-х — начале 70-х годов регулярно ездили в гости и «работать» питерские друзья-литераторы, в том числе Андрей Битов, Глеб Горбовский и многие другие. Сам Генрих был и остался человеком фантастическим и таинственным. Еще учась в Горном институте он, согласно легенде, прыгал на пари с Ласточкина гнезда в Крыму, на Камчатке опускался в кратер

действующего вулкана, усиленно тренировался для того, чтобы попасть в отряд космонавтов и даже вступил для этого в партию (но не помогло). Его однокашник Андрей Битов посвятил Штейнбергу целую повесть «Путешествие к другу детства».

В начале 70-х директор Института вулканологии, где работал Генрих, С. А. Федотов, широко известный своими антисемитскими высказываниями, организовал настоящую травлю Штейнберга. Генриха обвинили в крупной растрате казенных денег, исключили из партии и отдали под суд. Уволенный с «волчьим паспортом», не имея возможности устроиться на работу по специальности, он довольно долго работал истопником в кочегарке, а изучение вулканов продолжал в свободное время и на свои средства. Позже, когда ложные обвинения с него были сняты, он перевелся работать на Сахалин в Институт морской геологии и геофизики и в Москву наезжал редко. Совсем недавно, уже став доктором наук, академиком РАЕН и директором нм же созданного нового Института вулканологии, он, приехав ко мне домой, высыпал на стол из мешочка горсть каких-то кристаллов. Оказалось, что это — сернистый рений, редкометалльный минерал, впервые в мире найденный им в вулканических извержениях.

Младший — Александр — был в те поры студентом Политехнического института и немало усилий приложил к организации там студенческих вечеров поэзии. Окончив институт, он много лет работал в Государственном институте прикладной химии в Ленинграде, где занимался теорией взрыва (видимо, не только теорией, поскольку после одного эксперимента изрядно оглох). В начале 80-х Александр перебрался в Черноголовку — научный центр под Москвой, стал доктором наук, профессором, а несколько лет назад уехал работать в Калифорнию. Иногда братья объединяли свои научные усилия. Так они разработали оригинальную модель работы гейзеров на Камчатке и многое другое.

В студенческие годы, да и позднее, братья Штейнберги были знакомы и дружны практически со всеми известными в то время молодыми писателями, поэтами и художниками из упомянутых выше группировок. У их родителей — Анны Аркадьевны и Семена Исааковича, в большой квартире старого петербургского дома на Пушкинской улице, неподалеку от Московского вокзала, все время собирался разнообразный народ. Здесь можно было увидеть и уже упомянутых горняков (Глеб Горбовский обладал в этом доме личным правом сдавать пустые бутылки — в фонд следующих посиделок), и Иосифа Бродского, и Евгения Рейна, вернувшегося с Камчатки и читавшего с рычанием свои

плотоядные стихи «Люди ели мясо», и молодых тогда писателей: Сергея Вольфа, Владимира Кацнельсона (впоследствии ставшего Марамзиным), Игоря Ефимова с женой-поэтессой Мариной Рачко. За большим столом блистал острыми репликами Анатолий Найман, читал свои первые рассказы Андрей Битов, устраивали домашние вернисажи Олег Целков, Анатолий Зверев, Михаил Кулаков, Яков Виньковецкий.

У одного из братьев, Генриха — была хотя небольшая, но своя комната, на стене которой красовался огромный портрет хозяина работы Михаила Кулакова. В комнату эту набивалось обычно несметное количество народа, сидевшего ночи напролет в густом табачном дыму. Поскольку дом располагался рядом с Московским вокзалом, он служил также постоянным местом ночлега для заезжих москвичей. Родители братьев сами с удовольствием принимали участие в застольях, чтобы выпить рюмку водки и послушать «современную молодежь».

Помнится, именно в квартире Штейнбергов был придуман шуточный «радиорепортаж», посвященный юбилею Глеба Семенова, которому в 1958 году исполнилось сорок лет (безнадежно много, как мы считали тогда). Авторами юбилейной передачи были Шура Штейнберг, Глеб Горбовский, Нина Королева, Яков Виньковецкий и некоторые другие. В репортаже изображалось торжественное прибытие персонального поезда с юбиляром в Ленинград и встреча его на Московском вокзале — пародия на официальные приемы «высоких гостей». При этом «пионерка Маша Веселкина», поздравлявшая юбиляра от имени студии литературного творчества Ленинградского дворца пионеров, читала приветственные стихи, начинавшиеся такими строчками:

Все радостней солнце родимое светит,
И звезды сияют на башнях Кремля,
И в ваше великое сорокалетье
Колхозные жнейки пахают поля.

Вся сцена была выдержана примерно в том же тоне. Нашли в ней отражение и другие литературные группы, прежде всего ЛИТО, которым руководил Давид Яковлевич Дар, увлекавшийся в то время путешествиями на мопедах со своими учениками. Он появляется «на моторище одноцилиндровом», в окружении своих питомцев и «рабочею тематикой потряхивает».

Но не дрогнул Глеб — дрыгнул ноженькой.
Он сказал им пару слов тихим голосом.

Тут и сгинул враз окаянный Дар,
А и с ним дадарчата в тартарары…

Примерно через год после этого был придуман и записан на магнитофон второй радиоспектакль, на этот раз уже фантастического содержания, созданный примерно тем же авторским коллективом. Тогда как раз начались полеты в космос, и действие начиналось с того, что тогдашний глава ленинградской писательской организации поэт Александр Прокофьев был отправлен в космос на новом спутнике рекордного веса «вместо слонят Рами и Шаши, которых к полету не допустили, поскольку их предки долгие годы жили в Индии». В связи с его отсутствием в Ленинграде возникла Республика поэтов (сокращенно РЕПО). Власть в республике взял в свои руки Комитет общественного спасения «в составе — Городницкий, Хемингуэй, Битов, Тарутин». Далее шел текст конституции РЕПО:

Пункт 1. О правах и обязанностях граждан. Гражданином РЕПО является каждый, именующий себя поэтом.

Пункт 2. Об охране прав граждан Республики. Гражданин Республики обязан плюнуть в морду всякому, не признающему его поэтом, ибо этим ущемляются его гражданские права…

Гербом Республики был утвержден ошейник собаки Кушнера.

В качестве государственного гимна утверждалась песня Горбовского «Когда качаются фонарики ночные». Ее первая музыкальная строка стала позывными Республиканского радио.

Довольно скоро, однако, в Республике возник правительственный кризис, причиной которого послужило то, что один из сограждан не признал другого поэтом, а этот другой — не плюнул ему в морду, чем грубо нарушил конституцию. Правительство пало, и президентом был избран Кушнер, стихи которого тут же вошли в обязательные школьные программы. Группа первоклассников маршировала по улице, распевая хором песню на его стихи:

Прошла зима ненастная.
Растаяла как дым.
Бегут трамваи красные
По рельсам голубым.

«Раз, два, три», — раздавался после песни громкий шепот учительницы, и дети хором кричали: «Спасибо товарищу Кушнеру за наше счастливое детство!»

Кушнера, однако, тоже вскоре свергли, так как выяснилось,

что он в силу своей неисправимой интеллигентности не в состоянии отличить кошку от кота. Поводом послужили его собственные стихи:

Я встретил дворника.
Он мне принес кота
И получил награду за услугу.
Он мне сказал, что с кошками — беда.
Но это — кот, дарю тебе как другу.
«Бери кота, — сказал он, — береги».
Принес в четверг, а кот рожал во вторник
И мы ведь были даже не враги —
За что меня так презираешь, дворник?

После свержения Кушнера началось смутное время. То власть захватывал «ефрейтор Артамонов», который «в целях сохранения военной тайны ввел в армии гражданскую форму одежды», то крайний реакционер и религиозный фанатик Владимир Британишский, отменивший все свободы и изгнавший из страны евреев. При нем стала выходить газета «Клерикальные новости». Но в самый разгар своего правления он «неожиданно отказался от власти и удалился в пустыню, где был снова подобран сердобольными евреями». Было, конечно, и женское правление в лице Нины Королевой.

На фоне смены власти в республике плелись всяческого рода политические интриги. Просуществовала, однако, республика недолго. Прокофьев вернулся, и в Ленинграде началась черная реакция.

«На площади Тургенева сжигали произведения Агеева. На площади Льва Толстого — произведения Кушнера. Особенно ярко горела проза Битова. Городницкий — чадил. Оставшиеся в живых поэты спешно погрузились в ресторан-поплавок на Неве и обрубили концы. Их понесло в открытое море…»

Далее описывались злоключения поэтов в изгнании и борьба между ними:

«Городницкий влез на дерево и закричал: «Предлагаю избрать меня комсоргом! Кто за? — Единогласно».

Тут же развернулась борьба за власть между Городницким и Штейнбергом. Сторонники Городницкого ходили, распевая «антиштейнберговскую» песню на мотив известной к тому времени песни «Снова солнце встает с утра»:

Завтра солнце взойдет с утра —
В коммунизм собираться пора.

Началася другая жизнь —
Штеенберг не пройдет в коммунизм.
Штеенберг не пройдет в коммунизм —
Будем мы городить городнизм.
Завтра солнце взойдет с утра —
В коммунизм собираться пора.

Что касается Глеба Семенова, то он удалился от всех мирских дел в уединенное место в Комарове. Над его рабочим пнем висела надпись «А почему бы и нет?» (его любимое выражение)».

Среди героев радиоспектакля был, конечно, и Яков Виньковецкий, у которого в ту пору болели зубы и поэтому он проходил как «бандит и налетчик Яшка-Флюс, отрабатывающий произношение слов «деньги — на бочку»»…

Прошло более тридцати лет. Ушли из жизни одни и разошлись судьбы других героев и авторов этого старого капустника. Осталась только память о собственной молодости и казавшейся тогда вечной дружбе. У меня в доме до сих пор бережно хранится старая магнитофонная бобина с записью этого незатейливого «радиоспектакля». Как правильно написал когда-то Александр Кушнер:

Будущее — за магнитофоном.
Мы умрем, но наши голоса
Снова под глазком его зеленым
Оживут хотя б на полчаса…

Уже после окончания Горного, ЛИТО клуба Первой пятилетки и наша компания дополнились молодыми поэтами — Яковом Гординым, Татьяной Галушко и Виктором Соснорой, поразившим всех удивительными стихами и, прежде всего, своей поэмой «Слово о полку Игореве». Все они стали профессиональными литераторами. Трагически сложилась судьба талантливой Татьяны Галушко, умершей в 1988 году, в самом расцвете творческих сил, от рака. В 1968 году она вместе с Иосифом Бродским, Сергеем Довлатовым и мною попала в знаменитый донос после вечера в Доме писателей, о котором я уже упоминал. О Татьяне там было сказано так: «Не раз уже читала со сцены Дома писателей свои скорбные и злобные стихи об изгоях Татьяна Галушко (Санасарян). Вот она идет по узким горным дорогам многострадальной Армении, смотрит в тоске на ту сторону границы, на Турцию, за которой близка ее подлинная родина, и единственный живой человек спасает ее на нашей

советской земле — это давно почивший еврей по происхождению, сомнительный поэт О. Мандельштам».

Последние годы Татьяна работала в Пушкинском музее и музее Некрасова. Темпераментная, нетерпимая ко всяческой фальши, с пышными черными волосами и низким сильным голосом, она всегда поражала своей энергией и жизнерадостностью. Когда читаешь ее последние стихи, становится горько от несправедливости судьбы, отнявшей у нее возможность жить и писать. Примерно за год до смерти, уже зная безысходность своего диагноза, она написала в поэме «За все заплачено — не забудь»:

Теперь, когда смертный объявлен час,
Меня не догнать никому из вас.
Начальники жизни, политруки, —
Теперь это даже вам не с руки.

Мое последнее свидание с ней оказалось нечаянным. Осенью 1988 года я был в Таллинне и поэтому не знал о ее смерти. В один из первых дней дождливого октября, оказавшись проездом на одни сутки в Ленинграде, откуда улетал вечером на юг, я отправился в Пушкин, на Казанское кладбище, навестить могилу родителей. Уже смеркалось, когда я вышел к безлюдному входу, вблизи которого стоит полуразрушенная старая часовня, построенная еще Кваренги и заросшая травой и кустарником. Неожиданно я заметил погребальный автобус у ворот и небольшую группу людей, прячущихся под зонтиками от дождя. Среди них я узнал Соснору, Кушнера и Майю Борисову. «Как хорошо, что ты приехал», — сказала Майя. Я, потрясенный случившимся, не стал ничего объяснять, но благодарен судьбе, которая вывела меня к кладбищенским воротам точно в назначенное время.

Татьяну похоронили недалеко от входа, справа, среди старых надгробий XIX века с серыми массивными гранитными крестами и золочеными «ятями» на полустертых надписях, занесенных в осеннюю пору опавшей листвой. Теперь, бывая там, я каждый раз захожу положить цветы на могилу и вспоминаю Татьянины стихи:

Утешает в тоске об исходе
С облетающим лесом родство:
Пусть уйду, когда в щедрой природе
Гибель выглядит как торжество.
Не во мрак, а в листву, что алея,
Осыпается с крон и крылец,

Переньюсь я, дитя Водолея,
Словно дождь, мой холодный близнец…

Виктор Соснора в 50-е годы служил в армии, недолго работал токарем. Его стихи выделял из других и высоко ценил Николай Асеев, ходивший в то время в классиках. Несмотря на широкую известность Виктора как поэта, а в последние годы и как прозаика, большая часть из написанного им долгое время оставалась ненапечатанной. Неслучайно поэтому он написал в коротком предисловии к своим стихам в сборнике «То время — эти голоса»:

«Блистательное поколение шестидесятых годов разбилось о стену. Его уже нет. У стены каждый становится сам собой. Я автор тридцати одной книги стихотворений, восьми книг прозы, четырех романов (пятый в работе) и шести пьес — и все это не опубликовано. О том, что дождичек не тот и у нас на дворе четверг, пусть говорят прорабы духа, мне не до разговоров, я рабочий, я работаю»…

Яков Гордин, начинавший когда-то как поэт и работавший в те годы техником в геолого-разведочных экспедициях в Якутии, стал известным писателем и исследователем-историком, работы которого, посвященные Пушкину, декабристам, первой половине XIX века, вызывают не только литературный, но и серьезный научный интерес, прежде всего оригинальными концепциями автора. Он — автор либретто многих современных опер. В последние годы руководит в Питере журналом «Звезда».

Одной из многообещающих поэтесс в ЛИТО Горного института была во второй половине 50-х годов Лена Кумпан, ходившая тогда в неизменной финской шапочке, писавшая прекрасные лирические стихи и даже успевшая опубликовать одну книжку стихов «Горсти». Лена тоже выступала на упомянутом вечере в 68-м году в Доме писателя. О ней авторы доноса отозвались так: «И в такой «дикой» стороне, населенной варварами, потерявшими, а может быть, даже не имевшими человеческого обличия, вещает «поэтесса» Елена Кумпан. Она поднимается от этой «страшной» жизни в нечто мистически возвышенное, стерильное, называемое духом, рожденным ее великим еврейским народом». Справедливости ради следует сказать, что к «великому еврейскому народу», куда причислили Лену ослепленные злобой доносчики, она никакого отношения не имела. Жила Лена вместе с сестрами-близняшками Ксаной и Верой и матерью в большой коммунальной квартире на Восемнадцатой линии Васильевского острова, между Большим и

Средним проспектами. В этой квартире мы тоже частенько собирались, особенно после занятий ЛИТО — благо недалеко от Горного. Именно к этим сборищам в то время и относились Ленины шуточные строчки «По копейке собирали — покупали «Саперави»».

Окончив Горный институт, Лена какое-то время работала в институте ГИПРОНИКЕЛЬ, однако геология ее не интересовала, и она пошла работать экскурсоводом по Ленинграду. Потом она вышла замуж за Глеба Сергеевича Семенова и вошла в круг старой ленинградской интеллигенции, центром которой были Лидия Яковлевна Гинзбург и Тамара Юрьевна Хмельницкая. Близки к этому кругу были также Виктор Андроникович Мануйлов, Дмитрий Евгеньевич Максимов и Ефим Григорьевич Эткинд. Стихи, однако, Лена перестала писать раз и навсегда, о чем можно только сожалеть. Через пару лет после смерти Г. С. Семенова она вышла замуж за ученого-литературоведа Елизария Моисеевича Милетинского и переехала в Москву.

Что касается «женской поэзии» глебовского ЛИТО, то в Горном в ней, наряду с Леной, ведущее место занимали Нина Королева и Лидия Гладкая. Уже по окончании Горного мы неоднократно собирались в квартире Нины Королевой на Гаванской улице.

Мне почему-то запомнилось сборище у нее 7 ноября 1967 года, в день 50-летнего юбилея Октябрьской революции. Тогда, помню, власти решили, что надо бы повторить «исторический выстрел «Авроры»». Носовая пушка «Авроры» была снова заряжена и на самом деле пальнула холостым выстрелом, но, видимо плохо рассчитали заряд, поскольку во многих ближних домах на Английской набережной полетели стекла. Компания в тот вечер у Нины собралась шумная и большая. Я незадолго перед этим вернулся из очередного экспедиционного рейса на «Крузенштерне» и рассказывал про Бермудские острова, недоступную тогда «заграницу», для красочности довольно подробно остановившись на увеселительных заведениях, которые мы видели, на самом деле, только со стороны. Выслушав мой рассказ, питерский прозаик Сергей Вольф, уже успевший «принять», восторженно закричал: «Саня, вот это моя мечта — западные женщины. С ними можно сразу переходить к любви! Им не надо, как нашим дурам, сначала два часа толковать про Кафку и прочую лапшу на уши вешать». Примерно через полчаса пришла чешская журналистка Милена, приехавшая из Праги. Вольф тут же подсел к ней и, не отрывая вожделеющих глаз от ее крутых коленок и могучих бедер, туго обтянутых модной тогда мини-юбкой, спросил дрожащим голосом: «Скажите, Милена, а вот вы,

чехи, считаете Кафку своим национальным писателем?»

Выпито было тогда довольно много. Читали стихи, спорили. Под конец вечера начались танцы. В это время пришел какой-то запоздалый гость, знакомый Нины, только что приехавший из Москвы. Он никого из присутствующих не знал и несколько оробел, попав в шумную и разгульную компанию. Как раз в этот момент Инга Петкевич (кстати, весьма одаренный прозаик, написавшая в свое время серию прекрасных рассказов «Мы с Костиком» и многое другое), красивая и полная рыжеволосая женщина, сбросив мешавшие ей туфли, решила исполнить сольный танец на столе. Гость начал с тревогой оглядываться по сторонам и увидел одиноко сидевшего за столом Андрея Битова, который, ни на кого не обращая внимания, с меланхолическим видом поедал что-то из своей тарелки и показался затосковавшему пришельцу (возможно, из-за очков) единственным интеллигентным человеком среди этой пьяной богемы. «Простите, — доверительно шепнул он ему, — кто эта вульгарная рыжая баба?» «Не обращайте внимания, — ответил Битов, не переставая есть, — это моя жена». Гость испуганно выскользнул в переднюю, оделся и ушел.

Позже Нина Королева вышла замуж за Сашу Штейнберга, и они переехали на Мойку в дом неподалеку от квартиры Пушкина, а еще позднее — в Москву.

В 1958 году в ДК «Первой пятилетки» я впервые услышал стихи молодой поэтессы Нонны Слепаковой. В конце октября 1959 года, вскоре после моего возвращения из экспедиции, мы случайно оказались с ней вместе в пустовавшем Доме творчества писателей в Комарово, куда не в сезон давали льготные путевки молодым поэтам. Там же я познакомился с известным ленинградским литератором Кириллом Косцинским, которого примерно через год посадили, обвинив в антисоветской агитации. Нонне тогда только что исполнился 21 год. У нее были светлые коротко стриженые волосы и узкие зеленоватые глаза. Она, помнится, сильно переживала тогда какой-то свой неудачный роман, если не ошибаюсь, с неким Ефимом Славинским, из-за которого, судя по ее собственным словам, пыталась покончить с собой. В то же время за ней усиленно ухаживал впоследствии безвременно погибший поэт Александр Морев, чуть ли не каждодневно наезжавший из Ленинграда. Мы с Нонной подружились. На память об этой осени у меня остались ее стихи, написанные тогда в Комарово:

Вот видит Бог, как не хочу
При людях заливаться краской.

И снова к скользкому ключу
С тобой по очереди красться.
Чтобы вздыхало тяжело
В медалях осени приморье,
Чтоб снова счастье подошло.
Короткое и непрямое.
Чтобы тебе вернуться вспять,
А мне на полустанках мокнуть,
Когда ты едешь целовать
Красивые литые локти
Своей жене, и по вихрам
Трепать ребенка полустрого,
Отдав меня сырым ветрам.
Отдав меня моим дорогам.
Я не хочу, да и нельзя
Прийти к тебе, потрогать книги.
Из глаз твоих губами взять
Большие ягоды ресники.
Поверить твоему плечу,
Когда опять меня обидят…
Вот видит Бог, как не хочу.
Но Бог, наверное, не видит.

Позже Нонна вышла замуж за Льва Мочалова. Ее стихи стали заметным явлением в ленинградской поэзии.

В конце 50-х Нонна начала писать песни и довольно успешно выступала с ними в ленинградском Доме писателей, аккомпанируя себе на гитаре. Песни эти отличались точностью образной поэтической строки, глубоким лиризмом. Помню такую ее песенку:

Хорошо тебе со мной, со мной,
А на улице темно, темно.
Свист милиции ночной, ночной
Долетает к нам в окно, в окно.

Где-то в начале 60-х мы с Нонной решили «создать» нового поэта на манер Черубины де Габриак. Выбор пал на одну из ее подруг, очень красивую жгучую брюнетку Галю, учившуюся в ленинградской консерватории по классу пения. За два-три присеста мы с Нонной настряпали около десятка «ультралирических» стихов со строчками вроде: «Сколько в верности предательства, а в измене чистоты» и, снабдив этими

стихами Галю, отправили ее в Дом Первой Пятилетки к Семенову. Эффект, который она произвела на первом же занятии своей внешностью и стихами (особенно это касалось мужской части объединения и прежде всего самого Глеба Сергеевича), был потрясающим. Мужчины наперебой прочили ей большое поэтическое будущее. Подборку стихов немедленно затребовал ленинградский молодежный журнал. К сожалению, артистических возможностей Гали хватило не надолго, и она довольно быстро «раскололась», положив конец столь удачно начатой мистификации.

Позднее Нонна Слепакова написала песни к спектаклю по Киплингу «Кошка, которая гуляет сама по себе», однако своих несен больше не пела.

Неповторимая особенность поэтического таланта Слепаковой — ирония, граничащая с сарказмом, что было использовано ею в ее озорных поэмах довольно успешно. В этом она во многом предвосхитила нынешних постмодернистов. Писала она не только стихи и песни, но и пьесы, прозу, в том числе автобиографический роман. Несколько лет руководила литературными объединениями и до последних дней была окружена молодежью, которая ее боготворила.

Характер у Нонны был не простой, — мятежный и взрывчатый. Мы с ней нередко ссорились и даже на какое-то время расходились. Об этом написала она в одной из своих песен:

Старый друг, сказать по чести.
Потеряли мы контакт.
Мы поем с тобой не вместе
И беседуем не в такт.
Смотрят годы долгим взглядом
Из нахмуренных окон.
Мы сидим с тобою рядом,
А стоим особняком.

По прошествии времени мы, однако, неизменно мирились. На юбилейном вечере по поводу моего шестидесятилетия в 1993 году в Ленинградском концертном зале она заявила: «Вот, считают, что Городницкому в жизни повезло, — его песни широко известны. А ведь на самом деле и ему не повезло: он — невостребованный поэт. И вообще, если бы собрали на эту сцену всех женщин, любивших Городницкого, она бы рухнула под их тяжестью».

Нонна Слепакова умерла от рака летом 1998 года на Петроградской стороне, где прожила всю свою жизнь. За

несколько лет перед этим она перенесла тяжелый инсульт, но упорно продолжала работать и шутить. Большая последняя книга ее избранных стихов «Полоса отчуждения» вышла через три дня после ее смерти в Смоленске. Песни же, оставшиеся только в случайных записях, до сих пор не опубликованы. Вспоминая ее слова о невостребованности поэта, сказанные в мой адрес, с горечью осознаю, что они во многом относятся к ней самой. Долг ее друзей, в том числе и мой, — по возможности исправить это.

Интересно, что именно на рубеже 50-х и 60-х годов, как раз в то время, когда в Москве появились песни Окуджавы и Новеллы Матвеевой, ленинградские поэты тоже активно начали писать песни, хотя и недолго. Кроме песен Глеба Горбовского и Нонны Слепаковой широкой популярностью пользовались шуточные песенки Виктора Сосноры (их называли «фишки»). Неоднократно, собираясь в разного рода поэтических застольях, мы дружно распевали лихую песню Виктора:

Летел Литейный в сторону вокзала,
Я шел без денег и без башмаков,
И мне моя любимая сказала,
Что я окончусь между кабаков.
Пошел я круто — пока, пока,
Прямым маршрутом по кабакам.
Сижу и пиво желтое солю.
Официант, полбанки и салют!

Пользовалась известностью еще одна песня Сосноры, начинавшаяся строчками:

У майора жена, белолица, пышна, —
Пенка.
И встречался с женой рядовой полковой
Пекарь.

Даже рафинированный прозаик Сергей Вольф, ценивший только Кафку и Джойса, и тот придумал песенку:

Ракетная игрушка
Взлетает в небеса.
Нам жить с тобой, подружка.
Осталось полчаса.
У ней стальные усики
И водород в хвосте.

Снимай скорее трусики
И полегай в постель.

Пытался придумывать песни и Леонид Агеев, но у него они почему-то не получались.

Широкой популярностью в поэтических компаниях пользовалась в то время «блатная» песня:

Стою себе на Невском — держусь я за карман,
И вдруг ко мне подходит незнакомый мне граждан.
Он спрашивает тихо, куда б ему пойти.
Чтоб можно было лихо там время провести.

Как выяснилось после, песня эта была придумана вовсе не блатарями, а ссыльным интеллигентом Ахиллом Левитоном.

Что касается песенных открытий того времени, то они связаны для меня в конце 50-х и начале 60-х годов с домом Руфи Александровны и Ильи Захаровича Серманов, живших тогда неподалеку от Нарвских ворог, а позднее эмигрировавших в Израиль. Илья Захарович преподавал литературу и защитил докторскую по русской поэзии XVIII века. Руфь Александровна (ее девичья фамилия — Зевина) была испанистом-переводчиком и писала рассказы под псевдонимом Зернова. Она успела в свое время принять участие в гражданской войне в Испании в 1935–1936 годах, получить там орден и потом отсидеть на Колыме. За Илью Захаровича она вышла замуж после освобождения. Сама Руня, как ее звали друзья, и ее дочь Ниночка, ставшая в те годы моим первым аккомпаниатором, прекрасно играли на гитаре и пели. Мне запомнилось одно из первых моих публичных выступлений в Ленинградском Дворце пионеров. После концерта рослая старшеклассница подошла к Ниночке и спросила: «А почему вы ему аккомпанируете? Вы что, лучше всех играете или вы ему кто?»

Через Серманов мне довелось познакомиться в те годы со многими интересными людьми — от легендарного испанского тореро Мигеля Домингина до писателей и переводчиков Овадия Герцевича Савича, Фриды Абрамовны Вигдоровой и ее мужа Александра Борисовича Раскина, Норы Яковлевны Галь, только что переведшей любимого мною Экзюпери, и, наконец, безвременно умершей Натальи Григорьевны Долининой, замечательного педагога и литератора. Похоронена она на кладбище в Комарово, неподалеку от могилы А. А. Ахматовой, рядом с могилой ее отца — известного филолога Г. Гуковского,

профессора МГУ.

Именно в этом доме, где часто собирались ленинградские переводчики и писатели, я впервые услышал в исполнении Руни множество лагерных песен, вывезенных ею с Колымы. В их числе такие, например, как «Голубые снега», «По тундре, по широкой дороге» и многие другие. Песни эти потом я многократно слышал в тайге и тундре, в Туруханском крае и на Кольском, с разными текстовыми и интонационными вариантами в исполнении бывших и настоящих зеков. Но, пожалуй, именно Рунино исполнение до сих пор представляется мне наиболее точным.

Сейчас я думаю — почему именно «блатные» песни, еще до появления стилизованных песен Высоцкого (написавшего их тоже, кстати, в духе времени) и «лагерных» песен Галича, пользовались таким успехом в компаниях интеллигенции?

Возможно, дело прежде всего в том, что страшная жизнь сталинских лагерей, откуда многие из них возвратились после хрущевской оттепели, подсознательное ощущение преступности авторитарной государственной системы, внутри которой существовали мы все, сближало нас с героями этих песен, тем более что, в отличие от одесского «ядовского фольклора» начала 20-х годов, речь в этих песнях шла, как правило, не об убийцах и налетчиках, а о заключенных. «Интеллигенция поет блатные песни», — писал один из поэтов в то время.

Именно эти песни в те переломные годы в московских и ленинградских застольях были естественным продолжением «крамольных» разговоров и предтечами несен Галича, Высоцкого и Кима. Сейчас большинство этих песен забыто и, видимо, незаслуженно, поскольку они создавали точную доверительную обстановку общения. И еще одно. Примерно с середины 50-х и далее, к 60-м, пение песен стало понемногу вытеснять чтение стихов, даже в поэтических компаниях. Так незаметно наступила пора «поющих шестидесятых».

Что же касается нас, тогдашних выпускников Горного института, то главным, навсегда объединившим нас, было то, что все мы с незначительной разницей в возрасте — от самых старших вроде меня и Британишского, до самых молодых — Битова или Кумпан, принадлежали к поколению недолгой хрущевской оттепели. Наше политическое и литературное самосознание стремительно совершенствовалось — начав еще в школе с соцреализма и «Краткого курса», оно менялось по мере открытия Хемингуэя и Ремарка, Цветаевой и Мандельштама, первых документов о масштабах сталинских репрессий и песен заключенных.

Конечно, многого мы еще не знали, были незрелы и

невежественны. Нам казалось, стоит только очистить социализм от сталинского культа — и все опять будет хорошо. Неслучайно именно в эти годы в Москве и в Ленинграде возникла подпольная организация «Марксистов-ленинцев». Кроме того, исторический перелом, наступивший с XX съездом, как бы символизировал движение вперед и осуществление юношеских наших надежд, связанных с реализацией «чистых» революционных идей. Почти никто из нас не подозревал тогда истинных масштабов бедствия, не задумывался о тлетворности самой системы, породившей чудовищный феномен Сталина.

Кроме того, что немаловажно, мы были молоды, полны неизрасходованной энергии, чувствовали себя нераздельной частью великого народа, победившего недавно фашизм в грозной войне, что зацепила наше детство. В нас еще устойчивы были иллюзии всеобщего братства и общности советских людей, не было еще армяно-азербайджанской резни на Кавказе, погромов в Оше, войны в Чечне и Абхазии, баркашовцев со свастикой на рукаве.

Смотря хлынувшие к нам через «железный занавес» западные фильмы, от Ди Сантиса до Феллини, сравнивая себя с героями Хемингуэя и Ремарка, мы не считали тогда свое поколение потерянным, ибо еще верили в «комиссаров в пыльных шлемах». И были полны оптимизма.

Общение наше с Москвой в те годы было случайным и эпизодическим. Центром нашего мира неизменно был Питер. Поэтому мы не считали его «великим городом с областной судьбой». Напротив, он был нашей единственной столицей и началом отсчета в литературе, истории и жизни. А ведь Ленинград после разгрома журналов «Звезда» и «Ленинград», Ахматовой и Зощенко, в период литературного правления Прокофьева и ему подобных, стал оплотом самой черной реакции в литературе. И все-таки именно тогда мы начали обретать собственный голос.

В это время и начали вызревать в наших незрелых душах слабые ростки миропонимания, давшие всходы позднее. Замечательно, что ни позже, ни в наши дни почти никто из питомцев «семеновского полка», и в первую очередь из «горняков», не стал приспособленцем, не писал «по указке», не вошел в «Содружество» или другие дурно пахнущие черносотенные организации. Несмотря на разную степень литературной одаренности все остались — людьми.

Глава 2
Острова в океане

На материк

По случаю окончания Горного состоялся шумный выпускной банкет в снятой для этого столовой Свердловского райкома на Большом проспекте Васильевского острова. «Научный доклад в связи с защитой диплома» за столом делал староста одной из групп Олег Горбунов.

«Поскольку оказалось, — вещал Олег, — что в Технологическом институте во время выпускного банкета был убит преподаватель, в качестве эксперимента решено пригласить сюда и преподавателей». Затем шло «геологическое» описание обеих наших групп. «Группа РФ-51–1,— продолжал Горбунов, — представляет собой плотную серую массу с редкой вкрапленностью долбежников. Группа РФ-51–2 характеризуется ярко окрашенными вторичными образованиями, именуемыми женским полом. Группы несогласно перекрываются одна другой, о чем свидетельствует большое количество заключенных браков». Действительно, на последних курсах многие (в том числе и я) успели жениться на своих однокурсницах, что привело впоследствии к многочисленным разводам.

Вечер был шумный. Все предвещали друг другу великое будущее и большие открытия. Предстояло всеобщее расставание.

В заказанной мне «оде», написанной в подражание великому образцу, были такие строчки:

Какие б ни качали нас глубины,
Куда бы новый ни увел маршрут.
все те же мы, — нам целый мир чужбина,
Отечество нам — Горный институт.

Мне было торжественно присвоено звание «горного инженера-геофизика» и вручены диплом с отличием, не дававший, однако, никаких реальных преимуществ, а также большой бронзовый овальный институтский знак, напоминающий дворницкую бляху. Распределили меня в Караганду, в «Степную» экспедицию Первого главка. Названия этих экспедиций «степная», «лесная» и другие, как понял я уже в недавние годы, подозрительно напоминали недобро известные названия «Степлаг», «Леслаг» и им подобные. Впрочем, ничего удивительного в этом не было ведомство практически одно и то же.

На мое счастье, в Караганде не оказалось ни жилья для

молодых специалистов, ни особой потребности в них, и я, получив свободный диплом и вернувшись в Питер, попал на работу в научно-исследовательский институт геологии Арктики, располагавшийся на моей родной Мойке, неподалеку от бывшей школы, в районе все той же Новой Голландии. Меня взяли туда инженером-геофизиком по попутным поискам урана, которые в те годы, согласно строгому приказу министра геологии, велись во всех экспедициях при любой геологической съемке. Сейчас этот идиотский приказ отменили.

Булат Окуджава сказал как-то, что авторская песня родилась на московских кухнях и «там же умерла, оставив несколько имен». Возможно, для Москвы это и верно. У меня все было иначе. Начав ездить в экспедиции с середины 50-х годов, я почти сразу же окунулся в мир безымянных песен, которые пелись у экспедиционных костров и были далеки от Москвы не только по расстоянию, но и по тематике.

НИИГА, как сокращенно именовался институт, представлял собой в то время довольно своеобразную организацию, сравнительно недавно переведенную в Министерство геологии из системы Севморпути. Поэтому многие, особенно старые сотрудники, еще щеголяли в морской форме и в фуражках с голубым полярным флажком, тем более что экспедиции института работали по всей Арктике — на побережье от Мурманска до Певека и на островах Ледовитого океана. Директором института в те годы был Борис Васильевич Ткаченко, человек органической порядочности и доброты, немало способствовавший созданию и сохранению в институте здорового психологического климата.

Его заместителем по науке был профессор Михаил Григорьевич Равич, человек со сложным характером, но одаренный и знающий геолог, немало времени и сил отдавший изучению Арктики и Антарктики и получивший в 70-е годы Государственную премию. Скончался он от неожиданного инфаркта в постели у любовницы в Вильнюсе, куда в последние годы зачастил читать лекции. На его похоронах новый директор Игорь Сергеевич Гранберг сказал: «Михаил Григорьевич умер как настоящий мужчина».

Порывистость и горячность Равича иногда приводили к курьезным ситуациям. Как-то в конце 50-х, приехав с инспекцией в нашу съемочную партию на Таймыр, он заприметил молодого смышленого паренька из зеков — Алеху, кашеварившего в нашем отряде. Голубые любознательные глаза и преданный серьезный вид Алехи приглянулась Равичу, и он решил привить пареньку любовь к геологии. Неделю подряд он, не жалея своего

драгоценного профессорского времени, таскал Алеху в маршруты, терпеливо объясняя значение мудреных геологических терминов, обучая парня обращаться с компасом и картой, отбирать геологические образцы и на глаз «мордально» определять виды горных пород.

Ученик ему попался благодарный — он преданно смотрел в глаза своему наставнику и буквально впитывал знания. Уже на второй день специальным приказом по партии любознательный повар был переведен в техники с существенным повышением оклада. Сам Михаил Григорьевич, неоднократно ставя любознательность Алехи в пример всем другим геологам, с нетерпением ждал момента, когда тот начнет задавать вопросы. Наконец закончив, как он считал, первый курс введения в геологию и надиктовав своему прилежному ученику полтетради, Равич благосклонно произнес: «Ну, Алексей, спрашивай». И блаженно сощурился в предвкушении вопросов. «Михаил Григорьевич, — робко спросил Алеха, не отрывая от учителя своих преданных, все понимающих глаз, — что такое внематочная беременность?» На следующее утро он снова варил кашу.

Помню, несколько лет спустя, выступая на ученом совете НИИГА с лекцией о своем участии в Антарктической экспедиции, Михаил Григорьевич рассказывал, как его из-за курчавых волос не хотели в Кейптауне пускать в бар для белых. «Тогда я достал советский паспорт, — сказал Равич, — и говорю: «Ай эм рашен»». В уважительной тишине присутствовавших раздался ядовитый шепот одного из старейших геологов В. М. Лазуркина: «И тут соврал!»

Ученый совет в конце 50-х состоял в основном из старых полярников, в число которых входили такие известные геологи как Николай Николаевич Урванцев, в 1921 году открывший Норильское медно-никелевое месторождение и затем сидевший в лагере с конца 30-х до начала 50-х, доктора наук Атласов, Сакс, Марков — да и не только они. Среди молодежи господствовал стереотип поведения «старых полярников». Один, например, по фамилии Вакар, даже в Ленинграде ездил на работу летом на байдарке, лихо причаливая у самого подъезда института. Он, помнится, был также неистощимым изобретателем разного рода самодельного арктического снаряжения, именовавшегося по его имени «вакар-рубаха», «вакар-палатка» и так далее.

Однако главным достоинством истинного и заслуженного «северянина» считалась способность к выпивке. Так, старый полярник Емельянцев, например, записался как-то на теплоходную экскурсию на Ладогу, в течение которой пил, не выходя из каюты, а на вопрос — зачем поехал, ответил: «А на

воздухе больше входит».

Вспоминаю, как в первый год работы в институте, когда я поутру шел в свою комнату № 69 по коридору первого этажа, меня, чаще всего по понедельникам, останавливал весьма, как потом выяснилось, талантливый, но сильно в ту пору пьющий геолог Владимир Александрович, который обычно стрелял у меня трешки на опохмелку. Появляясь, вялый и бледный, как привидение, из-за шкафа с образцами и дохнув на меня страшнейшим перегаром, он доверительно шептал: «Мне сейчас, чтобы умереть, достаточно подпрыгнуть». Я тут же испуганно протягивал ему трешку.

Поначалу я попал в Енисейскую экспедицию, где в мои обязанности входило руководить попутными поисками урана при геологической съемке в правобережье низовьев Енисея, в районе Игарки и Норильска.

Так летом 57-го года я впервые оказался на Крайнем Севере, с которым связан был потом более семнадцати лет. До сих пор помню чувство ни с чем не сравнимой гордости, когда я притащил домой выданное мне на институтском складе «полярное обмундирование», состоявшее из старой «восстановленной» цигейковой куртки, двух пар сапог — кирзовых и резиновых, плащ-палатки и спального мешка. Предметом особой гордости был также настоящий кавалерийский карабин с двумя обоймами патронов.

Дело в том, что по существовавшей тогда инструкции секретные материалы, а в число их входили все стотысячные карты, с которыми работали геологи при съемке в енисейской тайге, полагалось выдавать в Первом отделе института только вместе с оружием «для их охраны». Путь мой в первую полярную экспедицию оказался тернистым — я был послан «старшим» с группой сезонных рабочих, набранных в близлежащем к институту районе Покровки, в основном из злостных алиментщиков, бичей и алкашей. Шесть дней мы ехали с ними плацкартным вагоном от Ленинграда до Красноярска, затем дней десять ждали парохода и еще примерно неделю плыли по Енисею до Игарки. Все это путешествие запомнилось мне как чудовищная непрерывная пьянка. Я, хотя и числился старшим, в силу своей неопытности и беспомощности был совершенно не в силах с ней бороться, и она закончилась сама собой, когда были наконец пропиты все деньги. Забавная история на пароходе произошла с двумя нашими молодыми геологами, которые познакомились с роскошной блондинкой, следовавшей в Дудинку к своему мужу в одноместной каюте люкс. Они на все свои последние деньги накупили коньяка и отправились к ней в каюту, в надежде

напоить ее. Где-то часа через два блондинка брезгливо вытащила их бесчувственные тела из своей каюты со словами: «Ну и народ пошел, — выпить толком не с кем. Пойду одна допивать».

До сих пор помню суровую красоту енисейских берегов, которые мне довелось тогда увидеть впервые.

Вид тогдашней Игарки тоже поразил меня — она в те поры была построена целиком из дерева. Здесь был большой лесной порт и лесобиржа. Лес сюда сплавлялся по Енисею и обрабатывался, а потом продавался прямо на иностранные пароходы, заходившие в устье Енисея. Это несоответствие нищих деревянных барачных построек, праздничного пылания белого ночного июльского неба, отражавшегося в енисейской воде, и казавшихся непривычными здесь пароходов с итальянскими и греческими флагами поражало воображение, напоминало о Джеке Лондоне и Киплинге. Здесь все было из дерева — не только дома, но и мостовые, более похожие на огромные настланные полы. Именно это заставило меня в 1959 году написать песню об Игарке «Деревянные города»:

Укрыта льдом зеленая вода.
Летят на юг, перекликаясь, птицы,
А я иду по деревянным городам.
Где мостовые скрипят, как половицы.

База нашей экспедиции располагалась на самом краю города, по южную сторону лесобиржи, вытянувшейся вдоль правого берега Енисея и окруженной высоким глухим забором со сторожевыми вышками. Там круглосуточно сновали высокие штабелепогрузчики, напоминающие марсианские треножники из Уэллса, перевозя пакеты досок от лесопильного комбината к причалам. Прямо за почерневшим от ветров и мороза и покосившимся на мерзлоте двухэтажным бревенчатым домом нашей экспедиции, недалеко от которого делал кольцо старенький игарский городской автобус, начиналась тундра. Перед окнами, на пологом берегу енисейской протоки, за которой день и ночь взревывали самолеты на аэродроме, догнивали брошенные здесь рыболовные сейнеры и какая-то старая, но, видно, ладно сколоченная норвежская зверобойная (как мне объяснили) шхуна с остатками латинских букв на покосившейся высокой рубке.

На летнее время, с началом навигации, по Енисею в Игарку завозили обычно несколько десятков тысяч вербованных мужчин и женщин для работы на лесосплаве, сортировке и погрузке леса. На все это время объявлялся сухой закон. До сих пор помню, как,

придя в игарский военторг за одеколоном, я спросил, нет ли у них «Шипра». ««Шипра» нет, — есть только «Кармен»», — ответила продавщица. «Бери, не сомневайся, — толкнул меня локтем случившийся у прилавка работяга. — «Кармен» — вкуснее».

Единственным местом, где продавали спиртное, недоступным, правда, для местных жителей, был клуб иностранных моряков, куда иностранные моряки, как правило, не ходили, и поэтому в нескольких «гостиных» клуба, за столами, заваленными агитационной литературой на английском языке, скучали подвыпившие гебешники. Центром клуба были бар, где «наливали все», и танцевальный зал, где плясали местные комсомольские активистки, «допущенные к иностранцам», и несколько проверенных органами профессионалок. Напротив Интерклуба высилась высокая, надежно сложенная из отборных строевых бревен игарская тюрьма, также обнесенная высоким забором, построенная в конце 30-х — начале 40-х и служившая долгие годы местом пересылки.

В тюрьме этой оказалась довольно неплохая библиотека художественной литературы, сложившаяся из книг, отобранных у заключенных при «шмонах». Помню, когда мы работали на реке Колю, то взяли во временное пользование в тюремной библиотеке целый вьючный ящик с книгами. Среди этих книг оказался, в частности, первый том из так и не изданного двухтомника Эдуарда Багрицкого, который был тогда моим любимым поэтом. В углу титульного листа сохранилась надпись «Зелик Штейнман». Зная, что известный ленинградский критик Зелик Штейнман вернулся из лагерей в Ленинград, я «зажилил» эту книгу и привез ее в Питер. Придя на встречу с Зеликом, чтобы вернуть книгу, я с горечью и сожалением услышал его страстную речь о том, что сажали правильно, что Сталин был гений и тому подобное.

Уже позднее, в 1962 году, мне довелось быть свидетелем страшного пожара в Игарке, когда неизвестно от каких причин (говорили, что поджог) вдруг вспыхнула лесобиржа, а потом огонь перекинулся на город. Жаркий июль и небольшой ветер привели к тому, что буквально за несколько часов сгорело более половины города. Температура пламени была настолько высокой, что его не брала вода, моментально превращавшаяся в пар, и огонь потом гасили уже с вертолета, бросая специальные химические бомбы. Помню, как из обреченного огню Интерклуба, под строгой охраной автоматчиков, вытаскивали ящики с коньяком и водкой и давили их трактором прямо на глазах у горюющих мужиков. Только тюрьму удалось отстоять от огня.

…В огне кипело что-то и взрывалось.
Как карточные, рушились дома,
И лишь одно огню не поддавалась
Большая пересыльная тюрьма.
Горели рядом таможня и почта,
И только зеки медленно, с трудом,
Передавая ведра по цепочке.
Казенный свои отстаивали дом.
Как ни старалась золотая рота.
На полминуты пошатнулась власть.
Обугленные рухнули ворота,
Сторожевая вышка занялась.
И с вышки вниз спустившийся охранник,
Распространяя перегар и мат.
Рукав пожарный поправлял на кране.
Беспечно отложивши автомат.
За рухнувшей стеною лес и поле, —
Шагни туда и растворись в дыму!
Но в этот миг решительный на волю
Бежать не захотелось никому.
Куда бежать? И этот лес зеленый,
И Енисей, мерцавший вдалеке,
Им виделись одной огромной зоной.
Граница у которой на замке.
Ревел огонь, перемещаясь ближе.
Пылали балки, яростно треща.
Дотла сгорели горсовет и биржа, —
Тюрьму же отстояли — сообща.
Когда я с оппонентами моими
Спор завожу о будущих веках.
Я вижу тундру в сумеречном дыме
И заключенных с ведрами в руках.

Когда сейчас я слышу выкрики на коммунистических митингах о возвращении к старому строю, и вижу, как много голосов, особенно в нищей и темной нашей глубинке, подается на выборах за коммунистов, мне постоянно вспоминается эта картина.

Что же касается Интерклуба, то уже с первого года шустрые ленинградцы проторили туда дорогу, раздобыв какие-то липовые бумажки. Поэтому путешествие в Интерклуб с его баром и нехитрыми танцевальными знакомствами, так же, как баня и кино, были мощным стимулом для экспедиционной молодежи,

прозябавшей под комарами в тайге и тундре, хоть ненадолго выбраться «погулять» в Игарку. Забегая вперед, могу сказать, что кроме Интерклуба танцы иногда организовывались в клубе лесопильного комбината, доступного для всех. Поскольку мужское население Игарки значительно превышало по численности женское, то в клубе этом нередко вспыхивали драки.

Досталось там пару раз и нам, в 58-м году, когда местные парни, обиженные на своих подруг, явно отдававших предпочтение «питерским», решили сквитаться, легко определив нас по однотипным летным меховым курткам. Малочисленные экспедиционники вынуждены были организованно отступить, и мне бы уйти с ними! Но девушка, с которой я танцевал, шепнула: «Еще один танец, и уйдем вместе». Как только я получил в гардеробе свою куртку, моментально опознавшие врага и обрадованные легкой добычей аборигены тут же сбили меня с ног и начали избивать ногами. Первыми же ударами мне разбили нос и лоб, так что кровь залила глаза. «Абзац», — подумал я уныло, не успев толком испугаться. Поднявшись из последних сил на четвереньки, я каким-то звериным чутьем угадал, где выходная дверь. И с «низкого старта», ударив головой в живот загородившего выход парня, вывалился на высокое деревянное крыльцо и засквозил вниз, бороздя окровавленным лицом обледенелые ступени. Никто из противников вслед за мной на мороз выскакивать не стал. Я вытер, как мог, разбитое лицо снегом и попытался встать на ноги, но от боли в правом подреберье тут же упал обратно на четвереньки. Дама моя, конечно же, меня бросила. Предмет моей гордости, выданная мне недавно новая летная куртка, которая так меня подвела, была испачкана кровью и грязью, меховая шапка осталась в клубе победителям в качестве трофея. С трудом поднявшись на ноги, охая от боли и безуспешно стараясь унять кровь, обильно лившую из носа, я поплелся по скользкой и накатанной заснеженной деревянной мостовой, идущей под гору.

И тут я заметил, что навстречу мне, снизу вверх, так же, как я, скользя, падая и снова поднимаясь, движется человек в такой же куртке, громко выкрикивая бранные слова. Когда мы сблизились, я узнал в нем Олега Тарутина, хотя опознать его (видимо, так же, как и меня) было нелегко, — часть его русой бороды была вырвана, под глазом чернел огромный «фонарь». Выяснилось, что после первого столкновения, в котором Олегу тоже досталось, враждующие стороны договорились о прекращении драки при условии, что «наши» уйдут. Они действительно ушли, но уже на базе, где мои потерпевшие поражение земляки утешали себя разведенным спиртом, Олег

вдруг вспомнил, что я вроде тоже был в клубе. Поскольку никто возвращаться туда за мной не захотел, он героически отправился выручать меня один. Читателям будет нетрудно представить живописный вид двух избитых и грязных питерских поэтов, обнявших друг друга на морозной игарской улице, где «мостовые скрипят, как половицы».

Начало работы на Крайнем Севере ознаменовалось для меня первым общением с авиацией…

Перед путешествием в Игарку мне ни разу не довелось ни на чем летать, поэтому первый мой в жизни воздушный полет состоялся в июне 1957 года, когда нас перевозили на биплане АН-2, который летчики ласково называли «Аннушкой», на базу партии на реке Горбиачин.

Помню, когда в игарском аэропорту «Полярный», расположенном на острове посреди Енисея, самолет оторвался от земли и накренился на правое крыло, делая разворот, и мне больно придавили ногу поехавшие по металлическому полу вьючные ящики и какие-то седла, а в маленьком круглом иллюминаторе стремительно понеслись подо мной бревенчатые дома, штабели леса, вспыхнувшая ослепительным солнцем серая енисейская протока с дымящими посреди нее пароходами и, наконец, зеленые полосы тайги вперемежку с зеркальными осколками болот, я испытал острое чувство, настоящего счастья и обретения своего места в жизни. Мне казалось — сбылась моя главная мальчишеская мечта о превращении в «настоящего мужчину», обживающего тайгу и обряженного в штормовку и резиновые сапоги с длинными голенищами. До этого, однако, было еще далековато.

«Тебя когда-нибудь в самолете укачивало?» — спросил меня второй пилот, вылезший из пилотской кабины, недоверчиво приглядываясь к моей физиономии. «Никогда!» — уверенно ответил я, тем более что это была чистейшая правда — меня действительно до этого ни разу не укачивало на самолете, поскольку я летел на нем впервые. «Молодец, — одобрительно хлопнул меня пилот по плечу, — а то нам тут еще «на сброс» надо залететь». «На сброс» — так называется доставка по воздуху груза в те места в тайге, где приземлиться самолет не может, поэтому все необходимое просто бросается в открытый люк с небольшой высоты на вираже, так, чтобы не разбилось и не потерялось. Мы в тот раз, как помню, доставляли «на сброс» овес для лошадей. Чтобы овес не рассыпался из лопнувшего мешка, в каждый мешок его насыпали только наполовину, а потом завязывали еще в один мешок. Кроме овса, бросали почту, палатки и спирт, налитый по этому случаю в резиновые грелки. Для каждого прицельного

броска надо было делать по нескольку заходов. Потом бортмеханик швырял в распахнутый люк очередной мешок, машина вздрагивала, круто поднималась вверх и, опрокидываясь на крыло, стремительно шла на следующий заход. До сих пор не помню, как мне удалось выжить в этой мучительной и непривычной для меня ситуации. Когда самолет наконец приземлился, я с трудом выполз из него и лег под крыло. «А говоришь, не укачивало», — неодобрительно покачал головой второй пилот.

Несмотря на неудачный первый опыт, к самолетам всех марок и к вертолетам я привык довольно быстро и укачиваться перестал. Тогда геологов на Крайнем Севере возили летчики Полярной авиации, независимого в ту пору ведомства, на котором еще лежал отсвет громкой славы покорения полюса и арктических перелетов Громова, Чкалова и Водопьянова. Для работы в Полярной авиации тогда действительно требовались высокая профессиональная подготовка, смелость и знание Севера. Почти все командиры машин, летавшие с нами, имели «право первой посадки» в незнакомом месте, были настоящими полярными асами и уж, конечно, личностями. В конце 50-х – начале 60-х годов мне немало пришлось летать с летчиками полярной авиации и в Туруханском крае, и в районе Норильска, и в Амдерме, и в Косистом, и, наконец, на станцию «Северный полюс», при этом трижды с вынужденными посадками, и я всегда удивлялся их постоянному самообладанию и спокойному юмору даже в самых критических ситуациях.

Реальность таких ситуаций я вполне ощутил уже в 58-м году, когда на несколько дней, теперь уже не помню зачем, прилетел из тайги на базу в Игарку, и мне надо было отправляться назад, на реку Горбиачин, где работала наша партия. Меня, как договорились, должна была попутно забросить «Аннушка», летевшая потом дальше с грузом для оленеводов. Переправившись утром в аэропорт через енисейскую протоку, я разыскал командира машины и спросил, когда полетим. «Да часа через два — не раньше, — ответил он. — Еще пообедать успеешь». Успокоенный его ответом, я и впрямь пошел обедать в аэродромную столовую. Не успел я покончить с первым, как услышал за окном гул прогреваемого мотора. Схватив рюкзак, я выскочил наружу и увидел, как «мой» самолет выруливает на взлетную полосу. Я кинулся наперерез ему, размахивая руками. Увидев меня, командир засмеялся и через прозрачный колпак кабины показал мне «дулю». Меня обдало песком и мелкими камушками, взвихрившимися от работы винта, и «Аннушка» взлетела. Обиженный и раздосадованный, я поплелся обратно,

собираясь все высказать коварному командиру, когда самолет вернется. Выяснилось, однако, уже в диспетчерской, что командир ни при чем. Ему поменяли полетное задание в связи со срочным санрейсом, и дожидаться меня он не стал.

Примерно часа через два самолет должен был возвратиться. Однако он не вернулся ни через два часа, ни к вечеру. Все попытки вызвать его по радио были безрезультатны. Разбитый самолет с погибшим экипажем нашли только на третий день. У них, видимо, что-то случилось с рулем высоты. Все трое — оба пилота и бортмеханик — вцепились в штурвал, напрасно пытаясь выправить машину.

К 58-му году относится также мое первое знакомство с вертолетами, доставлявшими нас туда, где «Аннушка» сесть не могла. Надо прямо сказать, что полеты на них особого удовольствия не приносили. Этому немало способствовало то, что в первый же год, почти на наших глазах, прямо в Игарском аэропорту, разбился вертолет, у которого при взлете отломался винт. Сами летчики, чаще всего пересаженные на вертолет с самолета за какие-нибудь провинности, свои новые аппараты тоже недолюбливали. «На вертолете летать — все равно что тигрицу трахать, — говаривали они, — и опасно, и удовольствия мало». «Мы на вертолетах людей не возим, — сказал мне как-то один из вертолетчиков, — возим только грузы и геологов».

С героической и бесшабашной вольницей полярных летчиков связано немало легенд и «баек», где правда неотличима от вымысла. Один из знаменитых полярных летчиков-героев конца 30-х годов, генерал Илья Павлович Мазурук, как-то рассказывал при мне такую историю.

На исходе 41-го года, в самое тяжелое время, когда немцы были уже под Москвой, московская группа особого назначения Полярной авиации (МОГОН) получила срочное и ответственное задание. Надо было перегнать с Аляски в Москву новую партию американских боевых самолетов для пополнения наших повыбитых ВВС.

В состав группы особого назначения входили наши самые прославленные полярные летчики — Герои Советского Союза Водопьянов, Черевичный, Мазурук и другие, хорошо знавшие сложную полярную трассу. С трудом преодолев ураганные ветры и снежные заряды, к тридцать первому декабря они добрались до Амдермы. До Москвы оставалось совсем немного. И тут, как назло, занепогодило. Внезапный циклон принес беспросветную пургу. Стало ясно, что до родной Москвы уже не добраться и Новый год придется встречать здесь. Это никого не радовало, помимо всего прочего, еще и потому, что все запасы спирта

полностью вышли, так как все надеялись к Новому году вернуться домой.

Далее Мазурук описывает такую невеселую картину. За длинным праздничным столом летной столовой сидят, позванивая орденами, унылые героические полярные летчики. На столе — множество самой разнообразной закуски: от соленой кеты до нежной американской тушенки, и при этом полное отсутствие хотя бы одной бутылки. Часы показывают одиннадцать вечера, а за столом царит мрачная тишина. Вдруг распахивается наружная дверь, и вместе с клубами снежного пара в помещение входит старый аэродромный механик дядя Вася, держа в руках большую трехлитровую бутыль с непонятной жидкостью красного цвета. «Дорогие наши сталинские соколы, — говорит дядя Вася нетвердым уже голосом, — не извольте погнушаться. Сам не знаю, что это такое — у себя в ремонтном балочке нашел». Таинственную красную жидкость тут же стали испытывать на запах. По запаху — вроде «она». Но ведь красная. Если бы зеленая или хотя бы синяя, как денатурат! Ведь известно, что красный цвет специально добавляют во все яды, чтобы их кто-нибудь сдуру не глотнул.

Пробовать жидкость никто не решался. Стрелки часов к этому моменту показывали уже половину двенадцатого. «Уважаемые герои, — снова заявил дядя Вася, — жизни ваши нужны товарищу Сталину и всей нашей стране для войны с фашистами. А я человек старый, одинокий, никому особенно не нужный. Разрешите за вас смерть принять!» С этими словами он налил себе полстакана зловещего красного зелья. Кое-кто фальшивым голосом стал было его отговаривать, но большинство трусливо промолчало, и дядя Вася со словами: «За Родину, за Сталина!» — лихо опрокинул стакан. В напряженном ожидании прошло минут двадцать. Дядя Вася сидел за столом в полном здравии и наливал себе еще. Наконец — без десяти двенадцать — летчики не выдержали. Все налили себе и под далекий бой кремлевских курантов, прорывавшийся сквозь треск ночного эфира, выпили за Новый год и за победу. Оживление и веселый разговор, вспыхнувшие враз за столом, отвлекли общее внимание от дяди Васи. Вспомнили о нем только через полчаса, когда заметили, что за столом его нет. Обнаружили его под столом. Дядя Вася лежал на полу, хрипел и дергал ногами.

«И тут мы все как были, в одних гимнастерках, выскочили из-за стола и дернули стометровку в наш медпункт, в соседнюю избу, к нашему врачу. Нам, конечно, сразу же — рвотное и промывание желудка, потом опять то же самое, и так часа два. И вот лежим мы все трясущиеся и голые, а гимнастерки наши с

орденами и золотыми звездами валяются на лавках. И вдруг вспомнил кто-то, — а дядю Васю-то, старика, забыли! С трудом напялив обмундирование, поплелись назад, открыли дверь в столовую и увидели странную картину. За пустым столом сидит живой и здоровый дядя Вася, наливая себе очередной стакан. «А, голубчики, явились, — язвительно заметил он, допивая таинственную жидкость. — Будете над стариком издеваться? Да вы не сумлевайтесь — спирт чистейший. Просто я в него для понту пачку красного стрептоцида опустил…»»

Мой безвременно ушедший из жизни друг — автор песен и журналист Юрий Визбор, прилетавший в 50-е годы с каким-то журналистским заданием в район Тикси, попал там как-то на сброс сена. «Для кого сбрасываете?» — поинтересовался Визбор, и словоохотливый бортмеханик популярно объяснил ему, что сено сбрасывают для мамонта. «Вы что, неужели не знаете? — изумился механик недоумению журналиста. — Ведь во всех газетах писали. В устье Лены недавно мамонтенка разморозили, Диму, и оживили. Теперь его в Москву надо переправлять, а в самолет он не помещается. Решили пустить его своим ходом. Вот мы по пути следования ему сено и бросаем». На самом деле, как потом оказалось, сено сбрасывали для лошадей в геологическую экспедицию.

Подобная привычка к веселой и дерзкой мистификации всегда подкупала меня в этих бескорыстных и смелых людях с психологией озорных мальчишек.

Мне рассказывали о забавном случае, произошедшем в Антарктиде на станции «Восток». Прилетевший туда полярный экипаж закрепил по-штормовому машину и по случаю усилившейся пурги пошел выпивать. Когда все сидевшие за столом уже клевали носами, с центральной базы в «Мирном» пришла срочная радиограмма. Необходимо было сообщить в Москву на радио, проводятся ли в Антарктиде какие-нибудь спортивные соревнования. «Как же, проводятся, — сообщил в «Мирный» еще державшийся на ногах радист, глядя на уснувших летчиков и бодрствующего со стаканом в руке синоптика. — Эстафета четыре по сто… С прицепом». «А кто победил?» — запросили из «Мирного». «Наука. На втором месте — летчики», — сообщил в эфир радист и отключился. На следующий день Московское радио передало в спортивных новостях:

«Несмотря на трудные условия антарктической зимовки, советские полярники не теряют бодрости духа и регулярно проводят спортивные соревнования. Как нам только что сообщили по радио, на станции «Восток» вчера состоялись легкоатлетические соревнования — эстафета четыре по сто

метров, с прицепом в виде саней. Первое место заняла команда синоптиков, на втором месте — летный состав».

Вспоминается в связи с этим еще одна история, случившаяся в 64-м году, когда я участвовал в Полярной экспедиции в Северном Ледовитом океане. Работа наша заключалась в проведении магнитных и гравиметрических измерений на льду моря Лаптевых. Самолет АН-2 садился на льдину, из него выскакивали геофизики и проводили наблюдения, после чего самолет перелетал на следующую точку. Поскольку до берегового аэродрома лететь было далеко, то с целью экономии горючего и времени для ночевки выбиралась льдина понадежнее. Самолет ставился «на колодки», чтобы его не сорвало ветром, неподалеку от него воздвигалась утепленная палатка, и люди устраивались спать. В очередной раз, когда экипаж выбрал льдину и мы если, пришла радиограмма из Косистого, что назавтра ожидается нелетная погода. По такому случаю летчики наши решили «расслабиться». Притащив бачок с «антиобледенителем» и несколько банок тушенки, они изрядно загуляли. Часа через два весь летный состав — оба пилота и механик, исключая, пожалуй, радиста, — полностью отключился, уронив свои мужественные лица на шаткую поверхность складного стола. И в этот момент нас неожиданно вызвали с базы и дали команду срочно вылетать на материк, поскольку получено штормовое предупреждение и льдину может сломать.

Что делать? Слегка протрезвевший от чрезвычайной ситуации радист попытался растолкать сначала первого пилота, потом второго, но все его усилия были напрасны, — оба они лыка не вязали. Только механик, которому долго терли лицо снегом, понемногу начал приходить в себя. Вместе с радистом они снова попытались оживить командира, но и второй заход успеха не имел. Тогда радист решился на крайнюю меру, — он налил полный стакан спирта и с помощью механика с трудом влил этот спирт в командирский рот. «Что ты делаешь?» — испуганно закричал я. «Подожди, — ответил радист, — я его знаю, он сейчас очнется». Действительно, к моему немалому удивлению, минут через пять командир начал подавать признаки жизни. «Помогайте», — скомандовал нам радист. Мы подхватили командирское тело и, преодолевая усилившуюся вьюгу, поволокли его к самолету. С большим трудом мы упихали его в левое кресло и положили его негнущиеся пальцы на рукоятки штурвала. Вторая бригада тем временем срочно грузила в самолет наши пожитки и снимала растяжки и колодки, на которых была закреплена машина. Место второго пилота, лежавшего в грузовом отсеке, занял радист.

Самое поразительное, что, почувствовав под руками штурвал, командир мгновенно «включился» и, совершенно трезвым голосом отдав проверочные команды, врубил двигатель и взлетел, после чего немедленно уснул снова. «Ничего, — успокоил меня радист, — курс я знаю и до аэродрома машину доведу. Вот только для посадки снова придется его будить». Через час с небольшим полета мы добрались до Косистого. Перед посадкой была повторена операция со спиртом, после чего первый пилот снова ожил. Несмотря на мой ужас и полную уверенность, что нам пришел конец, посадка была безукоризненной. Совершив посадку, однако, командир отключился уже окончательно, и из кабины его пришлось вытаскивать.

Под впечатлением от общения с полярными летчиками, в 1959 году, во время весновки в Туруханском крае, на реке Колю, о которой речь пойдет ниже, я написал песенку, им посвященную:

Кожаные куртки, брошенные в угол.
Тряпкой занавешенное низкое окно.
Бродит за ангарами северная вьюга,
В маленькой гостинице пусто и темно.

С песней этой в ту же осень произошла забавная история. Окончив полевые работы, мы летели домой в Ленинград через Туруханск, где застряли на несколько дней ввиду нелетной погоды — пришла ранняя полярная зима и замела Туруханск внезапной вьюгой. Оставалось только дожидаться. Настроение, однако, было приподнятое — после четырехмесячного сидения в тайге мы наконец возвращались домой в Ленинград, к чистому белью, к цивилизации, к родным и близким. Кроме того, мы были, конечно, уверены, что обнаруженные нами рудопроявления дадут начало новому Норильску.

Поздней метельной ночью мы почему-то решили зайти «на огонек» в дежурное помещение начальника Туруханского аэропорта. Сам аэропорт представлял собой грунтовую взлетно-посадочную полосу, быстро раскисавшую под любым дождем, а здание аэропорта было обычной потемневшей и покосившейся на мерзлотной почве от времени избой. Начальник же, судя по рассказам, был человеком далеко не заурядным. Мне уже довелось вскользь познакомиться с ним предыдущей весной в мае, когда, приходя к нему, я безуспешно выпрашивал вертолет для заброски на весновку, а он выставлял меня вон, точно указывая, куда именно я должен пойти. Меня еще тогда поразил его неизменно хмурый и похмельный вид, и я поинтересовался

причинами такой постоянной мрачности. Причины, как выяснилось из рассказов, были серьезные.

Всего лишь год назад этот неприветливый и обрюзгший человек был майором военной авиации, пилотом первого класса, и командовал где-то под Москвой эскадрильей тяжелых реактивных бомбардировщиков. Примерно через месяц ему должны были присвоить очередное воинское звание подполковника и назначить начальником штаба полка. Был он высок ростом, статен и широкоплеч и очень гордился личным сходством с «великим летчиком нашей эпохи» Валерием Павловичем Чкаловым. Именно это сходство его и подвело. Я вспоминаю, как уже где-то в 80-е годы в Центральном доме литераторов выступал писатель Марк Галлай, в прошлом летчик-испытатель, Герой Советского Союза, с воспоминаниями о своем учителе — Чкалове: «Валерий Павлович, — сказал он, — был человеком большой личной храбрости». Помолчал и добавил: «Любил выражаться по-русски». Снова помолчал и еще добавил: «К женщинам относился конкретно».

Примерно такими же чертами отличался и наш герой. Всем известна нашумевшая в свое время, еще до войны, история, как Чкалов на пари со своими друзьями-летчиками пролетел на самолете под главным пролетом Троицкого моста над Невой в Ленинграде. И хотя он продемонстрировал не только полное свое бесстрашие, но и уникальное пилотское мастерство, его все же надолго уволили из авиации и летать запретили. Герой нашего рассказа, всерьез относясь к своему сходству с великим летчиком, решил во что бы то ни стало повторить чкаловский подвиг. А поскольку больших мостов через реки в Подмосковье не оказалось, то он на пари с такими же асами посадил свой тяжелый современный реактивный командирский бомбардировщик на Можайское шоссе и посадил, как утверждают очевидцы, классно. Не успел он принять поздравления и почать бутылку из трех ящиков выигранного им на пари коньяка, как дело о нем уже было передано командованию ВВС. К тому же еще совершенно некстати выяснилось, что по Можайскому шоссе пролегает трасса личных автомашин членов политбюро. В итоге недолгого, но сурового разбирательства бывший командир эскадрильи был от командования отстранен, из майоров разжалован и из военной авиации навсегда уволен. Для исправления он послан был в Туруханск в Полярную авиацию, командовать аэродромом без права полетов. Потому-то и пребывал в перманентно хмуром состоянии.

Услышанная романтическая история только укрепила в нас желание немедленно пообщаться с начальником аэропорта, и мы,

несмотря на поздний час, осторожно постучались к нему. В его полупустом кабинете, на огромном деревянном рубленом столе, за которым он сидел, подперев щеку кулаком, стоял селектор, соединявший его с аэродромными службами, пара телефонов и небольшой дюралевый бачок с упомянутым выше «антиобледенителем». Так называется специальная жидкость, которая разбрызгивается на плоскости летящего самолета в северных широтах, чтобы они при полете в облаках и тумане не покрывались льдом и самолет не падал. Говорят, что в последние годы, благодаря успехам отечественной (а может быть, зарубежной) химии, для летчиков изобрели что-то такое, что можно только лить на плоскости, но в то отсталое время это был чистый спирт-ректификат.

Посидев с хозяином, встретившим нас с неожиданным радушием, минут двадцать, я решился показать ему свою песню про полярных летчиков, не сказав, конечно, что это моя, во избежание неожиданных последствий (я уже говорил, что он был человеком невычисляемым). Когда, немного пригубив антиобледенителя, я эту песню спел, начальник действительно совершил поступок довольно неожиданный. Включив селектор, он объявил по аэродрому боевую тревогу, и когда минут через пятнадцать в кабинет набились испуганные, заспанные и полуодетые люди, нетвердым голосом приказал: «Немедленно проснуться, отложить все дела и начать разучивать новую песню».

На следующий день его сняли и с этой должности. В бумаге, посланной по его персональному делу в Главное управление Полярной авиации, значилось, что он, «грубо используя служебное положение, пытался принудить во внеслужебное время сотрудников и сотрудниц (подчеркнуто особо) разучивать нецензурную песню неизвестного содержания».

Понесенное им вторичное наказание не было, видимо, слишком долгим: уже через пару лет выяснилось, что он снова стал летчиком, на этот раз в системе Полярной авиации. А поскольку летчик он был действительно классный, то дела его довольно скоро пошли в гору. К середине 60-х он уже стал начальником крупного авиапредприятия на Северо-Востоке, был награжден орденами и впоследствии с почетом ушел на пенсию.

А песня осталась на Крайнем Севере как безымянная. Впрочем, не совсем безымянная. Прошлым летом мне довелось лететь самолетом из Мурманска в Москву. Седой командир корабля, с многочисленными орденскими планками на тужурке, идя по проходу между креслами, оглянулся на меня и спросил: «Простите, я не обознался? Это вы «Кожаные куртки» написали?» «Я», — сознался я, смутившись. «Напишите мне что-нибудь на

память. Это ведь наша песня». После этого я был приглашен в кабину, где и присутствовал при посадке. Песня эта в числе четырех моих наиболее популярных по данным «всенародного» опроса песен, вместе с песнями «Снег», «Перекаты» и «Атланты», вошла в первый диск «Песни нашего века», вышедший в Москве в 1998 году по инициативе Георгия Васильева и Алексея Иващенко.

Надо сказать, что на эту песню, как и на многие другие мои ранние песни, написано немало пародий.

Вышло так, что значительную часть своей жизни я провел среди мужчин, на долгие месяцы оторванных от нормальных условий жизни, от родного дома и от женщин. Семнадцать лет на Крайнем Севере, потом около тридцати лет в океане. Ну а поскольку народ, окружавший меня, — геологи, летчики, моряки, — были в основном молодыми и достаточно задорными, то большинство пародий на мои песни носило ярко выраженный сексуально-питейный характер.

Одна из первых пародий была написана на песню «Кожаные куртки» моим коллегой и многолетним другом геологом Михаилом Константиновичем Ивановым, с которым я встретился впервые в 1958 году, когда, поняв, что уран искать в Правобережье Енисея бесполезно, переквалифицировался на поиски медно-никелевого оруденения.

Весной 59-го нас вдвоем с Ивановым еще по апрельскому снегу выбросили вертолетом на весновку в район реки Колю, притока реки Северной, где предстояло провести детальное обследование выявленных там медно-никелевых рудопроявлений. Около двух месяцев мы с Михаилом прожили вдвоем в палатке, отрезанные от внешнего мира. Сначала мы выходили на лыжах осматривать обнажения, а потом, в мае, когда началось снеготаяние и лыжи стали непригодны, просто топили «буржуйку» и ожидали, пока сойдет снег. Он, увлекавшийся живописью, обычно вытаскивал на солнце мольберт и краски, а я садился с тетрадкой писать стихи, в числе которых и была написана «Песня полярных летчиков». «Ну и компания подобралась, — смеялся Михаил, — стишки, картинки, а кто геологией заниматься будет?» Питались мы выданным нам яичным порошком, китайскими консервами «Великая стена» и сухарями и читали по очереди единственную книгу, захваченную нами из Игарки из числа все тех же книг, полученных в тюремной библиотеке. Это был роман Ричарда Олдингтона «Все люди — враги». В этом весьма сентиментальном романе действие происходит в Англии в пору Первой мировой войны. Герой романа, оставив свою подругу, отправляется воевать в Европу, а она за это время успевает ему изменить. Когда он возвращается,

то, ничего ему не объясняя, она очень долго не подпускает его к себе, считая, что «должна морально очиститься», и причиняет ни в чем не повинному герою немалые страдания. Мне эта ситуация не понравилась, о чем я и заявил Михаилу. Он же, будучи поклонником Олдингтона, сердито ответил: «Да, да, Саша, твои ухватки мы знаем. Ты ведь высокой и чистой любви не понимаешь. Тебе надо, чтобы сразу в койку! Как это поется в твоей новой песне?».

После чего он сходу выдал пародию из двух строчек:

Кожаные брюки, брошенные в угол.
Юбкой занавешенное низкое окно.

Несколько позднее все тот же Иванов написал довольно едкую пародию на мою песню «Деревянные города», в которой продолжал обличать мою примитивную сексуальность:

В какой бы ни попал я уголок.
Мне разводить не надо канители:
Дровами, заготовленными впрок.
Ложатся дружно женщины в постели.

В той же пародии содержалась довольно верная, хотя и нелицеприятная, характеристика моих вокальных способностей:

А я иду по деревянным городам.
Где мостовые скрипят, как Городницкий.

Много лет спустя, в марте 1993 года, на мой шестидесятилетний юбилей московский автор и пародист Игорь Михалев, намеренно использовав строчку из давней пародии Иванова, написал новую пародию, точно отражающую мое нынешнее жалкое старческое состояние:

Кожаные брюки вновь на старом месте,
И в стакане челюсть бьется о края.
Ты чего пристала, школьница-невеста?
Отойди от дедушки, милая моя.

С тех давних северных экспедиций запомнился мне увлекательный и небезопасный способ путешествия — плавание по северным рекам на байдарках или надувных резиновых

лодках, именуемых почему-то «клиперботами». Реки были быстрые, порожистые, иногда непроходимые, с большим числом водопадов и перекатов, особенно в правобережье Енисея. Чтобы защитить тонкие резиновые борта от острых камней, их часто обвязывали снизу брезентом. Надувные лодки обычно состояли из трех и более отсеков, что, однако, не всегда давало гарантию безопасности на перекатах. Каждый раз, прежде чем проходить «на плаву» опасный участок на неведомой реке, полагалось тщательно осмотреть его с берега. Это, однако, в тяжелом дневном переходе, под комарами, далеко не всегда выполнялось, так как требовало дополнительных усилий. Результатом были довольно частые в те годы несчастные случаи на воде, в том числе и с трагическим исходом. Но об этом ниже.

Поскольку в 1957 году в мои обязанности входила проверка попутных поисков урана в полевых партиях, то мне немало пришлось с самого начала пространствовать по туруханской тайге в правобережье Енисея вместе с начальником Енисейской экспедиции Анатолием Васильевичем Лоскутовым. Мы перебирались обычно с караваном оленей из расположения одной партии в другую, где он проверял, как идет съемка, а я — состояние попутных поисков. Был он человек довольно интеллигентный и, видимо, неплохой геолог, но сильно пьющий. Он оказался хорошим рисовальщиком и, кажется, даже учился прежде в Мухинском.

В пути нас сопровождало два десятка вьючных оленей, которыми командовали эвенки — каюр Мишка Довендук и его жена Тоська с удивительно красивым и тонким лицом и безнадежно кривыми ногами. У Мишки Довендука брат был милиционером, и это, по твердому Мишкиному убеждению, давало ему безусловное право относить себя к высшему эшелону власти. Он поэтому никогда не расставался с красно-синей милицейской фуражкой, подаренной ему братом, и к другим каюрам относился свысока.

Эту социальную спесь с Мишки, однако, постоянно сбивала его жена, непрерывно бранившая его день и ночь. За всю свою жизнь, ни до, ни после, я не слышал, чтобы женщина так отчаянно и беззастенчиво материлась. Обычно мы с Лоскутовым с утра уходили в маршрут, а каюры, сняв лагерь и навьючив оленей, должны были к вечеру переместить его на другое указанное на карте место. При вечерних поисках лагеря в незнакомой таежной местности мы с Лоскутовым практически никогда не испытывали затруднений, так как уже метров за триста был отчетливо слышен пронзительный голос кричащей на мужа Тоськи, служивший нам безошибочным ориентиром.

Иногда, хотя и довольно редко, своей постоянной руганью Тоська настолько донимала супруга, что он все-таки не выдерживал. В запасе против сердитой подруги у него всегда был один-единственный козырь. «А тебя, Тоська, солдат … !» — торжествующе выкрикивал он в самые критические моменты семейной перепалки, и Тоська на какое-то время действительно умолкала, все же испытывая, видимо, определенное смущение при упоминании о ее явном грехе, весьма, правда, недолгое.

В наших каюрах-эвенках, при всей детскости и неустройстве звериного их бытия, меня всегда привлекало чувство удивительного, недоступного нам — горожанам, единения с окружающей природой, ощущения себя частью ее. Живя, на наш взгляд, в грязи и нищете, в нечеловеческих условиях, напиваясь до бесчувствия спиртом или одеколоном, они в то же время смотрели на нас с мягким и снисходительным превосходством хозяев окружающего мира по отношению к недолгим и ничего не понимающим пришельцам. Они мирились с необходимостью нашего обязательного присутствия в их жизни, но вряд ли воспринимали нас всерьез.

Мне нравилось скупое и надежное архитектурное устройство их высокого чума, который можно было возвести на любом месте за несколько минут из жердей, оленьих шкур и веревок. Высокая острая крыша с отверстием в ней обеспечивала хорошую тягу, поэтому, когда в чуме разводили огонь, то дым весь уходил вверх, а тепло всегда оставалось, что мы особенно оценили в начале ранней полярной зимы, когда попытки согреться с помощью «буржуек» в наших тоненьких и моментально выдуваемых брезентовых палатках приводили только к их загоранию. Котел с сдой кипел прямо здесь — в чуме, и чтобы поесть, не надо было выскакивать наружу, под дождь или снег. Постоянным и неизменным источником их существования были олени — они ели оленину, свежую или вяленую, одевались с ног до головы в оленьи шкуры, спали на полу, застланном такими же шкурами, обеспечивавшими тепло и сухость, и даже чумы свои строили из оленьих шкур.

Природная незлобивость этих детей лесотундры, философский созерцательный склад ума располагали их к мягкому юмору. Рассказывали такой эпизод, случившийся в те годы в нашей Енисейской экспедиции.

Вдоль таежной речушки по оленьей тропе медленно движется караван оленей. На передних нартах сидит каюр-эвенк и невозмутимо курит трубку. К этим же нартам привязаны, чтоб не упали, мертвецки пьяный начальник партии и вьючный ящик. На вторых нартах трясутся так же надежно привязанные мешок

картошки, два рюкзака, палатка и пьяный геолог. Навстречу едет другой эвенк на нартах и тоже курит трубку. Поравнявшись со встречными нартами, он спрашивает у каюра: «Эй, мужик, куда едешь, чего везешь?» «Экспедиция, — невозмутимо отвечает каюр, — всякий разный груз».

И в первый, и в последующие годы, когда мне довелось работать и жить с эвенками, меня всегда занимал незатейливый, но точный механизм негромких песен, которые они пели. Вот движутся неспешно по тайге нарты, я подремываю, а каюр, сквозь зубы, не выпуская изо рта трубки, тихо напевает что-то односложное на непонятном мне языке. «Мишка, про что поешь?» — спрашиваю я у него. «Как про что? Про реку, — удивляется он, — вдоль реки, однако, едем». Проходит минут двадцать, а мотив песни как будто не меняется. «А теперь про что, все еще про реку?» — «Нет, однако, теперь про сосну — вон большая сосна показалась». Еще через полчаса в песне начинают вдруг появляться нотки повеселее. «Что, опять про сосну?» «Совсем не про сосну, — терпеливо и снисходительно, как глупому ребенку, объясняет он мне. — Видишь, дым над лесом появился чум, однако, близко». Эта нехитрая творческая манера — петь только о том, что видишь и знаешь, заимствованная у наших каюров, на долгие годы запала мне в сердце.

Что же касается оленей, то странные безропотные эти животные всегда вызывали мое удивление своим неизменным безмолвием в любых случаях жизни. Они даже умирали молча — только плакали. В жаркое летнее время они десятками гибли от «копытки». Пару раз случалось нарты с грузом таскать на себе. Зрелище молча умирающих оленей в первый год так поразило меня, что я написал какие-то весьма чувствительные стихи о нашей экспедиционной жизни, которые начинались так:

В болотах ложатся и гаснут олени —
Все меньше оленей в моей судьбе.
Писать ли тебе о своих сомненьях.
Писать ли тебе?

Вернувшись в Ленинград, я имел неосторожность показать эти стихи Нонне Слепаковой и заодно рассказал о поисках урана и тяготах экспедиционной жизни. Она немедленно откликнулась народней:

Хочу написать я о женских коленях —
Их было немало в моей судьбе.
Писать ли тебе о своих сомненьях,

Писать ли тебе?

Возвращаясь к многодневным нашим маршрутам с Лоскутовым, должен сказать, что благодаря им мне удалось освоить в первый же год все виды внутритаежного транспорта — от самолета и вертолета до оленей и надувной лодки. Маршруты эти закончились примерно через месяц, когда, пнув ногой последнюю пустую флягу из-под спирта, Лоскутов улетел на центральную базу на Горбиачин. Там он запил уже серьезно. Выходя по утрам из своей палатки, чтобы осмотреть новые горные выработки — шурфы или канавы, которыми пытались вскрыть рудные тела, он с трудом подходил к краю канавы и, брезгливо морщась, говорил: «Что это у вас? Долериты? Какая гадость!» И шел обратно похмеляться.

На следующий год Лоскутов был с позором из начальников изгнан, и на его место назначили пожилого и непьющего Михаила Никитовича Злобина, невысокого человека с крестьянским, иссеченным морщинами лицом, тихим голосом и цепким глазом. «Никель-то мы, конечно, не найдем, — говаривал он обычно. — И пес с ним, пес с ним! А вот копеечку государственную, копеечку-то сбережем. Это уж будьте спокойны!»

В 58-м году я, окончательно разочаровавшись в «попутных поисках урана», переквалифицировался на геологическую съемку, а потом на магниторазведку при поисках медно-никелевых руд, сначала в районе реки Горбиачин, а потом южнее, на реке Колю.

Оперативная связь базы экспедиции с полевыми партиями осуществлялась по радио. Каждый день в указанное время, обычно после маршрутов, в районе девяти вечера, все партии со своими позывными вызывались центральной рацией из Игарки, и передавались сообщения и почта. Если слышимость была плохая — работали ключом, если же хорошая, то пользовались просто микрофоном. Часто поэтому сугубо личные телеграммы, посланные из Ленинграда по телеграфному адресу — Игарка, Гранит, далее, — становились известными всем. Помню, например, как рабочий одной из партий получил от жены телеграмму такого содержания: «Вышла замуж прошу развод целую Шура», а наш студент-дипломник из университета получил от любимой девушки такой ободряющий текст: «Коленька ура все в порядке ничего не будет целую Нина». С радиограммами этими вообще было много трагикомических историй. Так, в Ленинград из одной экспедиции, работавшей на Таймыре, была послана телеграмма, подписанная ее участниками: «Иванов, Поммер». На

телеграфе заменили «Поммер» на «умер», и в Ленинграде семья ни в чем не повинного Иванова испытала нервный шок. Были и просто смешные истории: заместитель начальника нашей экспедиции, попав в Туруханск, прислал оттуда в Игарку телеграмму: «Пароходом выехать не могу думаю баржей». Ответ начальника гласил: «Думайте головой выезжайте чем хотите».

Из-за этого «телеграфного стиля» немало насмешек пришлось перенести и мне. Я в то время занимался уже магнитной съемкой. На базе экспедиции в Игарке стояла самодельная вариационная станция, которую обслуживала молоденькая девица Соня Коварженко, славившаяся своей наивностью и невинностью. Станция эта должна была работать бесперебойно, иначе все измерения в тайге оказались бы бракованными. Поэтому, уезжая в поле, я строго-настрого предупредил Соню: «Главное, чтобы не было никаких задержек в измерении вариаций, иначе мы в тайге будем работать впустую, понятно?» Каждый вечер, в строго установленное время, к чему уже все привыкли, Коварженко вызывала по радио Городницкого, и начиналась длительная передача вариаций: «Шесть ноль-ноль — двадцать шесть, ноль пять — двадцать две», и так далее. Вдруг передачи эти прекратились, и на третий день, вместо ожидаемых данных о вариациях, пришла паническая телеграмма: «Саня третий день задержки что делать Соня». Надо мной долго издевалась вся экспедиция.

Одним из моих первых начальников партии оказался старый геолог Борис Борисович Мариенгоф, младший брат Анатолия Мариенгофа, того самого, который вместе с Есениным был когда-то основоположником имажинизма и написал книгу «Роман без вранья», Старший брат, судя по рассказам Бориса Борисовича, не слишком признавал младшего, который, несмотря на отсутствие высшего образования, обладал глубоким аналитическим умом и стремлением к философии. «Саня, — поучал он меня, — жене, конечно, можно изменять, но уж признаваться в этом ни в коем случае нельзя. Потому что если ты признаешься женщине, что был с другой, — это самое для нее оскорбительное. Поэтому всегда и все отрицай, несмотря даже на очевидные факты. Пусть она прямо с другой тебя в постели застанет, все равно говори — не было, тебе показалось, оптический обман. И рано или поздно она тебе все-таки поверит, потому что хочет верить. Понял? Значит, главный принцип такой: не верь своим глазам — верь моей совести».

«А теперь, — заявил он мне как-то, — я объясню тебе механизм власти. Вот, погляди, у меня двадцать работяг и двадцать пар сапог. Я им сапоги раздал, и они на меня плюют: я

им не начальник, я — завхоз. А сейчас представь себе другую ситуацию: у меня двадцать рабочих и только десять пар сапог. Я уже начальник — я кому-то могу дать, а кому-то — нет, понял? В этом и есть главный принцип власти».

Его улыбающаяся, всегда небритая физиономия с мясистым горбатым носом, никак не гармонировавшая с неизменной морской фуражкой, с которой он никогда не расставался, казалась лукавой и плутоватой. Однажды, после какой-то крупной пьянки, он выстроил в шеренгу своих работяг, которые его обожали, вызвал из палатки меня и спросил заплетающимся языком: «Саня, скажи, а вот есть в Ленинграде такой поэт — Шефнер?» «Ну, есть», — негромко ответил я, удивленный неожиданностью и неуместностью вопроса. «Громче говори, а вы, босяки, все слушайте, понятно?» «Есть такой поэт», — уже громко выкрикнул я, ничего по-прежнему не понимая. «Хороший поэт?» — снова спросил Мариенгоф. «Ну, хороший, а что?» «Нет, еще раз скажи, что хороший, а вы все слушайте!» «Хороший», — заорал я громко. «Так вот, — торжествующе заявил Борис Борисович, подняв вверх палец, — я у него в тридцать восьмом году в Ленинграде бабу увел!»

С тех позабывшихся времен я не видел Бориса Борисовича Мариенгофа много лет, даже не знал, жив ли он. Однако недавно я совершенно неожиданно встретил его в переполненном вагоне ленинградского метро. «Привет, Саня, — окликнул он меня, и, как будто продолжая прерванный только вчера разговор, сказал: А я все-таки этих сук обманул (он показал пальцем вверх) — у меня сын в Париж уехал!» И улыбнувшись своей плутоватой улыбкой, сошел на следующей остановке.

Первый полевой сезон в Заполярье подарил мне также знакомство и дружбу с удивительным человеком — Анатолием Клещенко.

Мне вспоминаются жаркий июльский день 1958 года, наполненный неотвязным гудением комаров на порожистой и стремительной таежной реке Горбиачин, в правобережье заполярного Енисея, и узкая заплатанная байдарка с двумя бородачами в накомарниках и видавших виды штормовках, выскочившая из-за поворота перед нашей стоянкой. Оба они оказались нашими земляками-ленинградцами, один, как и мы, геолог, Вадим Драгунов, а второй, невысокого роста, худощавый, с цепким внимательным взглядом и дымящей трубкой, назвался сезонным рабочим. Так произошло мое первое знакомство с Анатолием Клещенко, поэтом, писателем и охотником, человеком трудной и легендарной биографии, опубликовавшим свои первые стихи в 1937 году, принятым в Союз писателей в 39-м и

осужденным на максимальный срок за антисталинские стихи в 40-м.

Анатолий Клещенко родился 14 марта 1921 года в деревне Поройки Ярославской области. Отец Толи — Дмитрий Андреевич — был «богомазом», реставрировал иконы в церквах города Мологи, ушедшего вместе с ними на дно Рыбинского водохранилища. Говорят, до сих пор в окрестных деревнях в некоторых домах висят иконы, написанные отцом Анатолия. В 11 лет Толя решил убежать в Америку, но вместо этого в Молдавии попал в табор к цыганам и почти год кочевал вместе с ними, научился ходить на руках, делать сальто. Там же он в совершенстве изучил блатной жаргон, что немало помогло ему впоследствии в лагерях. После того как отец разыскал беглеца, он отвез его в Киево-Печерскую лавру, где обучил иконописному мастерству. Это тоже помогло и в лагере, и в последующей ссылке под Красноярском. Я помню, что стены в его последней квартире в Петропавловске-Камчатском были поначалу разрисованы им самим, но вмешался бдительный «домовой комитет», и пришлось живопись со стен убрать.

Анатолий не получил высшего образования в молодости, но был упорным самоучкой, человеком редкого стремления к культуре и познанию. В его детском и юношеском воспитании большую роль сыграли известный литературовед Борис Иванович Каплан, расстрелянный в 41-м году, и его жена Софья Шахматова. Борис Иванович впервые был арестован еще в 34-м году, так что обстановка произвола и репрессий была знакома Толе с детства.

Его ранние поэтические публикации привлекли внимание Анны Ахматовой и Бориса Корнилова. Зверские пытки и избиения в подвалах печально знаменитого «Большого Дома» на углу Литейной и Шпалерной не сломили девятнадцатилетнего юношу и не заставили его отречься от найденных у него при обыске самоубийственных стихов, в которых он непримиримо обличал сталинизм и самого Сталина:

Чтоб были любы мы твоим очам,
Ты честь и гордость в наших душах выжег.
Но все равно не спится по ночам
И под охраной пулеметных вышек.
Что ж, дыма не бывает без огня:
Не всех в тайге засыпали метели!
Жаль только — обойдутся без меня,
Когда придут поднять тебя с постели.

В темные и страшные времена, когда, не выдержав

физических и нравственных мук в застенках, бывалые бойцы покорно подписывали заведомо ложные обвинения, отрекаясь от самих себя, Анатолий нашел в себе силы и на суде бесстрашно обличать сталинщину. Почему его не расстреляли? По чистой случайности — как раз в это время ненадолго была отменена смертная казнь. Вместо этого ему предстояло заживо сгнить в лагерях. Шестнадцать беспросветных лет провел он там, но не погиб, не сломался и не согнулся. В лагере, в нечеловеческих условиях неволи и каторжного труда, состоялось его поэтическое и нравственное становление. Там он ухитрился написать несколько циклов стихов и поэму о своем любимом герое — Франсуа Вийоне. Выбор героя его поэмы — не случаен. Именно великий французский поэт, вынужденный общаться с судьями и палачами, давал Анатолию силы выжить в беспросветных потемках ГУЛАГа, и выжить достойно. Да и соседями его подчас оказывались весьма достойные люди — такие, например, как Василий Семенович Буняев, впоследствии автор многих учебников по французской и немецкой литературе.

Пройдя все круги лагерного ада, Клещенко не ожесточился, не озлобился. Двадцатый съезд и реабилитация в 1957 году вернули его в Ленинград. По ходатайству Анны Ахматовой, Бориса Лихарева и Анатолия Чивилихина его заново приняли в Союз писателей, поэтому до самой смерти в его документах значилось, что он член Союза не с 39-го, а с 57-го. Приходилось все начинать с нуля. Стихи его не печатали. Александр Ильич Гитович помог ему с переводами — надо было на что-то существовать. И тогда Анатолий начал писать прозу («для денег», — говорил он сам). А его переводы тибетских народных песен, сделанные в 1957 году, сразу же получили самую высокую оценку Л. Н. Гумилева и Б. И. Панкратова.

В последующие годы в Ленинграде одна за другой стали выходить из печати его повести: «Дело прекратить нельзя», «Распутица кончается в апреле», «Когда расходится туман», «Это случилось в тайге». А вот стихи практически не печатали. Слишком горькими и обличительными казались они осмотрительным редакторам «эпохи застоя». Так появился писатель Анатолий Клещенко, а поэт как бы исчез.

Анатолию, однако, было душно в городе, где, по существу, мало что изменилось. Все, кто сажал его, остались на своих местах.

Будучи человеком прямым и бескомпромиссным, он не мог спокойно чокаться в ресторане Дома писателей с доносившими на него стукачами, в том числе с преуспевавшим поэтом Николаем Новоселовым, чей донос сыграл роковую роль в его судьбе. На

лето Анатолий нанимался сезонным рабочим в геологическую экспедицию и уезжал в тайгу и тундру.

После нашего неожиданного знакомства на Горбиачине мы не раз встречались с Толей в Ленинграде и в Комарово, где он жил рядом с Анной Андреевной Ахматовой. В шумных геологических застольях, где все звали его просто Толя, всегда поражали его скромность, сосредоточенность и немногословность. По его простецкому виду, бороде и постоянной трубке, с которой он никогда не разлучался, все окружающие принимали его за типичного геолога. Даже Анатолий Найман, ночевавший у него в те годы в Комарово, в своей книге об Анне Ахматовой не назвал его имени среди поэтов — соседей Анны Андреевны по Комарово, а на недоуменный вопрос вдовы ответил: «Я думал, что он геолог». О стихах его, и прежде всего о лагерных стихах, не знали даже самые близкие приятели. Вряд ли он надеялся когда-нибудь их опубликовать. За обликом неизменно скромного и доброжелательного «своего парня» трудно было распознать героя, обличавшего всесильного злодея, и поэта трагической судьбы.

В то время стали известны песни Александра Галича, и Анатолий один из первых зазвал его к себе и записал на магнитофон. Потом он как-то неожиданно исчез из Ленинграда, а через год выяснилось, что он навсегда покинул Питер, завербовавшись на Камчатку в качестве инспектора охотохозяйства Елизовского района. Что заставило его так поступить? На это он сам отвечает в своем стихотворении «Буран»:

…Мне веселей, чем дома — в шалаше,
В тайге, в пути… Но не суди облыжно;
Чертей, что воют иногда в душе,
При вое ветра как-то меньше слышно.

Уход в тайгу был уходом от ненавистной ему жизни.

Наша последняя встреча с ним состоялась в сентябре 1974 года в Петропавловске-Камчатском, куда я попал как участник Всесоюзной конференции по вулканологии, в его маленькой квартирке, напоминавшей старинное жилье настоящего охотника: чучела зверей и птиц между грубыми самодельными полками, заставленными книгами, медвежьи шкуры на полу и на стенах. Мы просидели тогда вдвоем целую ночь до утра, он читал мне свои стихи, агитировал махнуть с ним на Командоры, был полон сил и не всегда свойственного ему веселья. Договорились встретиться через полгода в родном Питере, куда он собирался вернуться. Однако судьба судила иначе. Через две недели после

нашей встречи Анатолий отправился на последнюю (как он считал, перед возвращением) охоту. Охота эта действительно оказалась последней. Заброшенный на промысел вертолетом, Клещенко жестоко простудился и заболел двусторонним воспалением легких. Охотничья избушка оказалась разбитой. А тут еще, как назло, наступила нескончаемая пора ураганных ветров и ледяных ливневых дождей, столь частых осенью на Камчатке. Почти два штормовых ненастных месяца в безлюдной тайге, без помощи и медикаментов, боролся он со смертью. В этом последнем беспощадном поединке снова проявились стойкость его характера, несгибаемое мужество перед лицом беды. Слабея от болезни, кашляя кровью, из последних сил он заставлял себя подниматься на работу. Когда наконец прилетел вертолет, у него еще хватило сил забраться в кабину. Но было уже поздно…

В Ленинграде, в просторном и полутемном вестибюле Союза писателей на улице Воинова, почти напротив места, где его когда-то пытали, я встретился с его гробом, привезенным с Камчатки. Прах его захоронили в Комарове, неподалеку от могилы Ахматовой. Он снова стал ее соседом, теперь уже навсегда.

Анатолий Клещенко прожил всего пятьдесят три года нелегкой и героической жизни. Уже после его смерти две книги его повестей и рассказов «Это случилось в тайге» и «Долг», и две книги стихов «Гуси летят на север» и «Добрая зависть» вышли в ленинградском отделении издательства «Советский писатель» в 1976 и 1984 годах. А вот лучшие его стихи только сейчас, с наступлением эпохи гласности, начали свой путь к читателю — горькие и непримиримые лагерные стихи, полная юношеского романтизма и сарказма поэма, посвященная его любимому герою и поэту — Франсуа Вийону, философская лирика последних лет.

Переехав в Москву в 1972 году и попадая в Питер только нечастыми наездами, я редко теперь бываю в Комарове и еще реже — на удаленном от станции кладбище, среди могил которого прорастает все больше надгробных камней с близкими мне именами.

На Комаровском кладбище лесном.
Где дальний гром аукается с эхом,
Спят узники июльским легким сном,
Тень облака скользит по барельефам.
Густая ель склоняет ветки вниз
Над молотком меж строчек золоченых.
Снят рядом два геолога ученых —
Наливкины — Димитрий и Борис.
Мне вдруг Нева привидится вдали
За окнами и краны на причале.
Когда-то братья в Горном нам читали
Курс лекций по истории Земли:
«Бесследно литосферная плита
Уходит вниз, хребты и скалы сгрудив.
Все временно — рептилии и люди.
Что раньше них и после? — Пустота».
Переполняясь этой пустотой.
Минуя веток осторожный шорох,
Остановлюсь я молча над плитой
Владимира Ефимовича Шора.
И вспомню я, над тишиной могил
Услышав звон весеннего трамвая,
Как Шор в аудиторию входил,
Локтем протеза папку прижимая.
Он кафедрой заведовал тогда.
А я был первокурсником. Не в этом,
Однако, дело; в давние года
Он для меня был мэтром и поэтом.

Ему, превозмогая легкий страх,
Сдавал я переводы для зачета.
Мы говорили битый час о чем-то,
Да не о чем-то, помню — о стихах.
Везде, куда ни взглянешь невзначай.
Свидетели былых моих историй.
Вот Клещенко отважный Анатолий, —
Мы в тундре с ним заваривали чай.
Что снится Толе — шмоны в лагерях?
С Ахматовой неспешная беседа?
В недолгой жизни много он изведал, —
Лишь не изведал, что такое страх.
На поединок вызвавший судьбу,
С Камчатки, где искал он воздух чистый.
Метельной ночью, пасмурной и мглистой.
Сюда он прибыл в цинковом гробу.
Здесь жизнь моя под каждою плитой.
И не случайна эта встреча наша.
Привез тебе, Долинина Наташа, —
Давненько мы не виделись с тобой!
То книгу вспоминаю, то статью,
То мелкие житейские детали —
У города ночного на краю
Когда-то с нею мы стихи мигали.
Где прежние ее ученики?
Вошла ли в них ее уроков сила?
Живут ли так, как их она учила.
Неискренней эпохе вопреки?
На Комаровском кладбище лесном,
В ахматовском зеленом пантеоне.
Меж валунов, на каменистом склоне,
Я вспоминаю о себе самом.
Блестит вдали озерная вода.
Своих питомцев окликает стая.
Еще я жив, но «часть меня большая»
Уже перемещается сюда.
И давний вспоминается мне стих
На Комаровском кладбище зеленом:
«Что делать мне? — Уже за Флегетоном
Три четверти читателей моих».

Полевой сезон 1959 года начался для меня с описанной выше весновки с Михаилом Ивановым. В конце мая к нам закинули

вертолетом рабочих и техников, из Ленинграда прибыл второй геолог — Станислав Погребицкий, и начались поисковые работы на медно-никелевое оруденение, включавшие и магниторазведку, за которую отвечал я.

Не обошлось и без экзотики. Заместитель начальника экспедиции Петухов с первым же вертолетом прислал к нам нанятую им в Игарке на сезон повариху, шуструю чернявую девку с золотыми зубами и блатной татуировкой. Свою программу она объявила тут же у трала вертолета, откуда выгрузилась, держа в руках большую гитару, перевязанную огромным розовым бантом: «Буду со всеми, а начну с начальства». Вечером того же дня начались первые неприятности. Мы с Мишей и Стасом мирно выпивали в своей палатке, как вдруг раздался истошный женский крик: «Помогите, насилуют!» Мы выскочили наружу. Крик повторился. Ориентируясь на него, в уже полной темноте, мы вышли на взлетную площадку, куда днем приземлился вертолет. Посреди площадки лежала Шурка (так звали нашу новую повариху), одна, совершенно одетая, и орала благим матом. «Насилуют!» — снова крикнула она, увидев нас, и захохотала. Выяснилось, что она пьяна в стельку и встать на ноги не может. «Значит, померещилось, — заявила она нам в ответ на нашу негодующую реакцию. — Уж и помечтать девушке нельзя!»

Первым объектом ее устремлений стал Миша Иванов, бывший тогда начальником нашей партии. У нас в палатке стоял старый ламповый приемник, на стенке которого были наклеены какие-то цветные женские головки, с обертки из-под немецкого туалетного мыла. Каждый вечер Шурка повадилась приходить к нам, невыносимо надушенная. «Михаил Иванович, скажите, — это ваша жена? — кивала она на наклейки. — Какая красивая! А я, однако, вам больше подойду. Вы не смотрите, что я на вид такая худая — просто кость у меня тонкая, а с меня ведь не враз встанешь!» Потом она принималась закидывать ногу на ногу, и шелковая юбка, сползая, обнажала ее смуглое бедро с синей вытатуированной на нем надписью «добро пожаловать» и указывающей вверх стрелкой. Несколько дней подряд мы ее успешно выставляли, но потом Иванов не вынес натиска и сбежал вместе со Стасом в недельный маршрут, оставив за старшего меня.

Тут уж настала и для меня тяжелая жизнь. По ночам я наглухо законопачивался в палатке, хотя и переселил туда своего приятеля геофизика Володю Юрина, чтобы не оставаться одному. Шурка обозлилась. По утрам, направляясь к большой армейской палатке, где располагался наш камбуз, на завтрак, я слышал, как она, разливая кашу, держит речь перед нашими проходчиками

под их одобрительный смех: «Он что же думает, что если он образованный, то он могет от меня свой жидовский нос воротить? Не выйдет. Все равно я его уделаю!» Я разворачивался и шел обратно в палатку завтракать лежалым сухарем. На мое счастье, через пару дней нашлись добровольцы, закрывшие собой эту амбразуру, и даже, как выяснилось позднее, довольно многочисленные, но неприятности на этом не кончились.

«Александр Михайлович, — заявила она, явившись ко мне через пару дней, уже вполне серьезно, — вызывайте санрейс — мне свернули матку».

Ужас охватил меня при этих словах. Первой мыслью было срочно послать радиограмму в Игарку и вызвать санрейс. Это, однако, было делать боязно, потому что если вызов оказывался ложным, то меня ожидало строжайшее наказание. Слегка успокоившись и подумав, я все-таки решил, что если бы все было так, как говорит Шурка, то навряд ли она явилась бы ко мне подбоченясь и с папиросой в зубах. Оказалось, что она опять пошутила.

На следующий день, воспользовавшись правом старшего, я все-таки вызвал вертолет и приказал дрожащим голосом погрузить ее туда вместе с баулом и гитарой с бантом. Этим, однако, дело не кончилось — пока вертолетчики обедали у нас, она успела «признаться» одному из своих новоявленных хахалей, что у нее гонорея. Тот побледнел и кинулся в свою палатку. Когда настала пора отправлять вертолет, ко мне подошли девять (из двенадцати) наших мужчин и, переминаясь с ноги на ногу, заявили, пряча глаза: «Михалыч, отправляй нас тоже — значит, и у нас…» Всю бригаду загрузили в вертолет, выкинув из него ящики с образцами, и отправили в Игарку, сорвав все работы партии примерно на неделю. В Игарке, к счастью, выяснилось, что Шурка снова пошутила.

Тут же послали за Ивановым, и мы все наконец облегченно вздохнули. Я же все последующие годы, пока работал начальником партии, женщин больше в повара не брал…

Контингент наших техников и рабочих, набранных только на сезон еще в Питере, как уже я упоминал, состоял из людей случайных, и хотя, принимая на работу, требовали показать паспорт и с судимостями старались не брать, люди попадались всякие. На этом фоне выделялся Федор Васильевич Гусев, неизлечимый алкоголик, которого все называли Федя, невысокого роста, плотный, с седыми кавалерийскими усами и цепким неприятным взглядом пустых и неотвязных глаз. Пил он при каждом удобном случае. Выпив, становился агрессивен и назойлив. Я, понадеявшись на его фронтовое прошлое, назначил

его было завхозом, но он при первой же поездке в Игарку пропил все казенные деньги, да еще и продал нашим эвенкам-каюрам закупленный им для экспедиции фталазол, выдав его за противозачаточное средство. Ходил он в неизменном донельзя вытертом и лоснящемся пиджаке с орденом Красной Звезды. Всю войну, если верить ему, прошел «от звонка до звонка».

О карьере своей военной рассказывал так: «Был я сержантиком, был я лейтенантиком, был я и капитанишкой… Потом — опять сержантиком». Служил он поначалу в танковых частях, потом — в штрафбате. Говорить с интересом мог только о двух предметах, которые знал досконально, — о системах немецких танков и женских задницах. Вспоминая какую-нибудь свою давнюю знакомую в разговоре за столом, он вдруг заявлял: «Как же, помню, мы с ней были в хороших отношениях». Это означало, что он с ней спал. На мой недоуменный вопрос он удивленно возразил: «А вы что, считаете, что это плохие отношения?» Уважения ко мне он не испытывал решительно никакого, особенно после того, как, вспоминая каких-то своих фронтовых друзей, сказал: «Да какие они мне друзья — суки они, все меня продали потом. Я таких друзей полетанью мажу». Когда я спросил у него, что такое «полетань», он заорал мне в лицо, что не может быть в тайге начальником человек, который не знает элементарных вещей, — такой начальник всех погубит, и это впрямь вызвало довольно долгое скептическое отношение ко мне со стороны наших работяг.

Был и еще один, Семен Иванович Зайцев, убивший в разное время пять человек и отсидевший «по мокрому делу» в разных лагерях лет пятнадцать, а потом досрочно освободившийся по сложной зачетной системе. По вечерам он подсаживался ко мне и вздыхал: «Эх, Александр, тут же скука смертная! Тут же только мы с вами двое — интеллигентные люди, не с кем слова сказать!»

К вопросам жизни и смерти, впрочем, вообще относились довольно просто. Летом того же 59-го года к нам на Колю прислали огромного черного азербайджанца Ахмеда с его подругой Фаридой для промывки шлихов. Однажды вечером Фарида у костра поулыбалась мне несколько больше, чем, по мнению Ахмеда, это полагалось. На следующий день я вместе с его бригадой пошел с утра на шлихи вдоль берега Колю. Время было утреннее, прохладное, поэтому одет я был, как и все прочие, в ватник, а на спине болтался сзади полупустой рюкзак. Ахмед шел след в след по тропе за мной. Вдруг я почувствовал какое-то горячее прикосновение к левой лопатке. Ощущение было не столь болезненным, как неожиданным. Я обернулся и увидел Ахмеда, молча заносящего окровавленный нож для второго удара.

Поскольку в правой руке я нес лоток, то инстинктивно закрылся от удара свободной левой, поэтому нож пробил мне кисть левой руки между большим и указательным пальцами. Подбежавшие сзади схватили Ахмеда за руки и отняли нож. Меня пришлось перевязывать, разорвав для этого мою же безнадежно испачканную кровью рубаху. Первый удар был нацелен точно под левую лопатку. Спасло меня только то, что ватник и свободно висевший полупустой рюкзак уменьшили глубину вхождения ножа, а случившаяся пряжка на лямке рюкзака повела втыкающееся лезвие выше. Так у меня и остались теперь на память два шрама — на левой руке и левой лопатке.

Несмотря на несколько экзотических ситуаций, возникавших в нашей партии, в целом этот длинный полугодовой полевой сезон на реке Колю остался в моей памяти как самый интересный. Жили мы втроем в одной палатке, и по вечерам за чаем обычно велись долгие разговоры, заводилой которых неизменно был Стас Погребицкий, отличавшийся резким и острым умом, оригинальностью суждений и довольно сложным задиристым характером. Он тогда ходил в молодых геологических гениях и держал в страхе весь наш ученый совет, включая знаменитого первооткрывателя Норильского месторождения Николая Николаевича Урванцева. Истинную суть его докладов, содержавших непривычные для геологов физические и математические модели, понимал разве что только академик Коржинский в Москве.

У Стаса была довольно неприятная привычка: в полемике или споре долго и пристально смотреть своему противнику в глаза неподвижным и немигающим взглядом. Выходя на ученом совете НИИГА, он говорил: «Ну что мы все впустую обсуждаем условия минерализации на пальцах? Давайте нарисуем простейшую трехкомпонентную схему». От него в испуге шарахались.

«Вы тут все, — заявил он однажды со свойственной ему грубой прямотой, — малообразованные люди, и мне с вами обсуждать нечего».

Нас с Михаилом он тоже несколько раз «прикладывал», не стесняясь в выражениях. В том году он прилетел в поле позже нас, поскольку должен был на Ученом совете института защищать наш общий отчет по результатам полевых работ прошлого года, где соавторами были мы трос. Мы с Ивановым, помню, долго ждали от него телеграмму о результатах защиты и наконец получили такое сообщение: «Отчет защитил. По мнению рецензентов, вам следует заниматься палеодерьмологией».

Несмотря на молодость (было ему двадцать четыре), он уже был автором нескольких нашумевших статей.

В долгие темные вечера в палатке на Колю велись длинные научные и ненаучные споры, в которых последнее слово всегда было за ним. Послушав однажды мои стихи, он заявил в своей обычной манере: «Бросай немедленно геологию — все равно как геолог ты останешься говном». «Почему это?» — спросил я обиженно. — «Да потому, что стихи у тебя получаются хорошие, а две такие разные вещи человек хорошо делать не может».

Именно тогда я запомнил его фразу, взятую мною после на вооружение: «В науке лучше работать под заведомо ложную гипотезу, чем вообще под никакую». В 1999 году, читая методическое наставление Российского фонда фундаментальных исследований при Президиуме Академии наук, я неожиданно обнаружил там эту фразу со ссылкой на мою первую книгу воспоминаний: «Как пишет в своей книге один из грантодержателей профессор А. М. Городницкий, «лучше работать под заведомо ложную гипотезу, чем вообще под никакую»…»

Осенью и зимой 59–60-го годов, в Ленинграде, мы втроем — Стас, Михаил и я — нередко отправлялись после работы в многочисленные тогда различного рода питейные заведения, от «Щели» на Исаакиевской площади в здании «Астории» или забегаловки «У Петьки-кабатчика» на улице Печатников до ресторанов «Метрополь» и «Кавказский». Идейным вдохновителем этих загулов был все тот же Стас. Однажды, после посиделок в ресторане «Восточный», я вдруг вспомнил, что мне надо идти выступать со стихами в Доме Первой пятилетки, где тогда читали стихи поэты из объединения Семенова. Стас и Михаил тут же заявили, что стихи — это как раз то, чего им сейчас не хватает, и они должны обязательно идти вместе со мной. Михаил, посаженный мною в зрительный зал, начал тут же шуметь и требовать «немедленного выхода Городницкого», а отставший от нас Станислав заблудился и попал на другой этаж Дома культуры, где в точно таком же зале заканчивалась лекция по антирелигиозной пропаганде. «Так вот, — завершал свое выступление лектор, — теперь вы ясно видите, что Бога нет». «Неправда, — выкрикнул от дверей вошедший Стас, — Бог есть». Его тут же забрали в милицию, где он пытался объяснить, что забирать его никак нельзя, поскольку у него «двойное пролетарское происхождение — он сын крестьянки и двух рабочих».

Другой раз в Игарке, по окончании полевых работ, он в пьяном виде начал гоняться за начальником экспедиции Злобиным со стулом в руках. Вынужденный на следующий день написать объяснительную записку, он начал ее так: «В тот вечер,

выпив скверного коньяку…»

Вместе с тем работоспособности он был нечеловеческой. Мог сутками пропадать на обнажении или сидеть за микроскопом. Жадно потощал всю научную литературу, неизвестно где доставая оттиски статей, у нас не издававшихся. Неукротимый характер Стаса, широкий научный кругозор и безусловный талант исследователя предвещали ему блестящее будущее. Случилось, однако, иначе. В начале июля следующего, 60-го, года он погиб на реке Северной, неподалеку от того места, где стояли наши палатки на Колю.

В тот год мы с Ивановым остались в Ленинграде защищать отчет предыдущей экспедиции, а Станислав поехал на весновку с отрядом, чтобы осмотреть новые рудопроявления и наметить фронт разведочных работ. Помню, мы провожали его в мае в ресторане-поплавке на Петроградской, где немало было выпито шампанского и сказано заздравных тостов.

Станислав улетел в Игарку, откуда еще по снегу высадился с отрядом в район среднего течения притока Нижней Тунгуски — реки Северная (старое эвенкийское название этой реки — Тымера, что по-русски значит Опасная). Здесь, примерно на сто пятнадцатом километре выше устья реки, они встали лагерем, чтобы, как только сойдет снег, начать осматривать близкие медно-никелевые рудопроявления и вскрывать их канавами и шурфами. Начальником партии был Стас — самый молодой в ней по возрасту. А дальше произошло следующее. Когда сошел снег, надо было кому-то отправляться вниз по течению реки Северной, чтобы посмотреть выходы коренных пород вдоль берега. Погребицкий вызвал для этого из Туруханска вертолет, но тот не пришел. Его ждали день, Другой, третий. А время уходило. Наконец Стас «психанул», приказал всем продолжать разведочные выработки на старом месте, а сам, погрузившись в резиновый «клипербот» и взяв палатку и продукты на два-три дня, стал сплавляться по реке один, чем сразу нарушил одно из главных правил работы в тайге — никогда не ходить в одиночку. Приказать ему, однако, было некому — он был самый главный.

Река Северная в том месте, где стоял отряд Стаса, спокойно течет в пологих песчаных берегах и шириной она — метров около трехсот. А вот ниже, на сто первом километре от устья, где песчаники сменяются базальтами, она резко сужается и входит в глубокий базальтовый каньон с отвесными и скатанными — не зацепиться — стенами, и, пенясь, бурля, идет, набирая скорость, как лыжник на трамплине, к огромному порогу в нижней части ущелья с водосливом около десяти метров. Напротив водослива — отвесная скала, а под ним кипит, бешено крутясь,

стремительный поток. Еще за год перед этим нам пришлось наблюдать, как входят в это проклятое место деревья, смытые половодьем. Из водоворота они выскакивают на поверхность, как из лесопилки, — с обломанными ветвями и ободранной корой.

Станислав прекрасно знал, что место это на плаву непроходимо, и, конечно, не собирался этого делать. Что стряслось — так и осталось навсегда загадкой. Может быть, он, слишком близко подойдя на лодке к каньону, не успел выгрести к берегу? Одет он был, ввиду холодного времени, в меховую куртку и сапоги с длинными голенищами. Рюкзак и геологический молоток были привязаны к борту лодки, которую с одним пробитым отсеком выкинуло на мелководье на отмель тремя километрами ниже по течению. Станислав же бесследно исчез. Судя по всему, он остался в этом каменном мешке под водоворотом. Таким же именно образом, спустя пару лет, на этом же месте погиб турист из Новосибирска.

В день, когда все это случилось, я прилетел из Питера в Туруханск. И уже на другой день, поскольку поиски с самолетов и вертолетов ничего не дали, я в составе группы из трех человек, на двух резиновых лодках (в том числе и на его бывшей) отправился на поиски пропавшего без вести Стаса вдоль всей реки Северной — до самого ее устья. Не дай Бог никому искать погибшего товарища, с которым недавно смеялся в аэропорту, провожая его.

Медленно двигаясь вдоль берегов и обыскивая кусты, отмели, заросли речной травы и островки, мы перемешались к устью. На пути и сами попали два раза в тяжелые пороги и, пропоров свои надувные лодки и утопив рацию, надолго застряли без связи с базой. Только на шестые сутки, выйдя наконец к Нижней Тунгуске и встретив там катер новосибирской экспедиции, мы включились с помощью их радиостанции в приемное время в эфир на нужной частоте, и я услышал радиопереговоры между заместителем начальника нашей экспедиции Петуховым, находившимся в Туруханске, и начальником Ушаковым, находившимся в Курейке. Из разговора было ясно, что каждый из собеседников винит другого в том, что «пропала без вести группа Городницкого», и снимает с себя ответственность.

Стаса Погребицкого так и не нашли. Памяти его посвящены написанные тогда стихи, напечатанные в моей первой книге «Атланты», и песни «За белым металлом» и «Перекаты».

За долгие годы экспедиций на Крайнем Севере и в океане мне неоднократно приходилось терять товарищей, но эта ранняя гибель Стаса запомнилась мне на всю жизнь.

Первая песня, посвященная его памяти, стала потом чем-то вроде безымянного марша геологов, работавших на Крайнем

Севере:

В промозглой мгле — ледоход, ледолом.
По мерзлой земле мы идем за теплом:
За белым металлом, за синим углем.
За синим углем — да за длинным рублем.

Судьба второй песни, «Перекаты», тоже, конечно, безымянной, сложилась несколько иначе. В ней тоже речь шла о человеке, идущем по непроходимой реке:

Все перекаты да перекаты, —
Послать бы их по адресу!
На это место уж нету карты, —
Плыву вперед по абрису.

Однако наши туристы, народ молодой и жизнерадостный, быстро взяли ее на вооружение и разнесли по всей стране как лихую развеселую песню. В начале 60-х годов столь любимый мною Марк Бернес, выступая по телевидению, заявил: «Сейчас среди молодежи пользуется большой популярностью песня, где есть такие слова: «Люблю тебя я до поворота, а дальше — как получится». Я против такой любви».

Несколько лет назад, накануне Дня геолога (первое воскресенье апреля) меня пригласили выступить коллеги из Института геологии горючих ископаемых. Прибыл я к ним около часу дня, и, хотя день был рабочим, обнаружил, что трезвых сотрудников осталось не так уж много. Когда я попытался войти в зал, где должно было состояться выступление, навстречу мне, дохнув могучим перегаром и чуть не сбив меня с ног, вывалились два разгоряченных верзилы, торопившиеся продолжить праздник. Один из них, поддерживая приятеля, сказал: «Федя, может, останемся барда послушать?» «А чего их слушать, дерьмо современное? — удивился второй. — Давай лучше нашу споем». И они ушли по коридору, распевая: «Все перекаты да перекаты».

Несчастный тот сезон 60-го года выдался самым, пожалуй, тяжелым и драматичным. Более месяца потратив на безуспешные поиски Погребицкого, мы не успевали выполнить до наступления осенней непогоды запланированных поисково-разведочных работ. Кончался сентябрь, когда, завершив наконец работы, мы с помощью оленей перетащили два десятка ящиков с образцами найденной нами руды в центральный лагерь на реке Колю и, отпустив каюров с оленями, вызвали самолет. На вид образцы

были богаты никелем, — сплошной металл! Но окончательный ответ о его содержании мог дать только спектральный анализ. Шел мелкий, сухой по-зимнему снежок. Прилетевший на второй день пилот сказал: «У меня строгий приказ — брать только людей. Все имущество бросайте до следующего года. Циклон идет». Как это — бросить имущество, которое на нас числится? Ящики с бесценными образцами, содержащими, как нам казалось, промышленные запасы никеля? Ведь это значит похоронить только что открытое месторождение, возможно — новый Норильск.

Жажда подвига и безответственность бродили в наших незрелых умах. И мы с Ивановым заявили своим коллегам: «Ящик с образцами — семьдесят килограммов, и человек — столько же. Мы двое ставим вместо себя ящики и остаемся ждать следующего рейса. Кто с нами?» Охотников таких набралось вместе с нами семь человек, тем более что лёту до Туруханска было всего не более получаса, и пилот сказал, что постарается вернуться. Вернулся он, однако, только через месяц.

Этот месяц, проведенный в напрасном ожидании самолета, без продуктов, с вышедшей на второй день из строя рацией, в непроходимой замерзающей тайге, стал мне: хорошей школой на всю последующую жизнь. Первое, что я окончательно усвоил тогда, — это пустоту и лживость уже упомянутых мною наших детских иллюзий времен челюскинцев, бездумной уверенности в том, что «в нашей стране человеку не дадут погибнуть». Еще как дадут! Оказывается, авиаотряд в Туруханске связался с базой нашей экспедиции, где летчиков уверили, что продуктов у нас — минимум на два месяца, так что можно особенно не беспокоиться. А было их — на неделю. Но виновато было не начальство, а мы с Михаилом, забывшие о том, что никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя ставить во имя сомнительных открытий и легкомысленных амбиций под угрозу жизни людей, за которых отвечаешь.

Больше всего мучились наши курильщики. Сначала они разбирали полы палаток и искали под ними старые окурки, потом стали жарить на костре березовые листья и пытались их курить. Их нечеловеческие мучения навсегда отбили у меня охоту к курению. Лично у меня самые неприятные ощущения начались тогда, когда кончилась соль. А потом вообще все кончилось, и самое трудное было заставить себя и других каждый день расчищать площадку от снега в бесплодной надежде на прилет самолета. А снег все валил и валил…

Когда самолет все-таки сел, площадку уже давно никто не расчищал, а нас тащили волоком и долго потом откачивали в

Туруханске. Примерно через месяц после этого, уже в Ленинграде, мой товарищ застал меня дома за обедом накануне планируемого у него на следующий день дружеского застолья. «Еды готовь побольше, еды», — заявил он жене, вернувшись домой.

Самое обидное, что в образцах, таких богатых с виду, на которые мы с Михаилом возлагали самые радужные надежды и из-за которых, не задумываясь, поставили на каргу не только свои, но и чужие жизни, промышленных содержаний никеля не оказалось.

Так невесело кончилась для меня детская романтика быстрых и героических открытий. Итогом же месячного голодания в осенней тайге стала песня «Черный хлеб»:

Я, таежной глушью заверченный,
От метелей совсем ослеп.
Недоверчиво, недоверчиво
Я гляжу на черный хлеб.

Михаил Константинович Иванов, замечательный геолог и одаренный художник, умер в 1998 году, окончательно подорвав здоровье многолетними экспедициями, курением, приведшим к ампутации ног, и алкоголем, отвыкнуть от которого он так и не смог. Помню, в конце 60-х удалось показать пару раз его картины и рисунки по телевизору, однако потом все это как-то заглохло, да и сам он, занятый повседневной работой, уделить серьезное внимание своей живописи не мог. Михаил был человеком удивительно разносторонним, — до того как поступить в Ленинградский университет на геологический факультет, он успел закончить еще и музыкальную школу по классу фортепиано. Помню, во время очередного нашего загула втроем у кого-то в доме, где был рояль, он сел за него и, к великому нашему удивлению, начал играть Шопена. Потом, неожиданно оборвав игру, заявил: «Ведь когда-то я любил тонкие и красивые вещи. А потом подружился с Городницким, — и все!» У меня дома над письменным столом много лет висит карандашный портрет его работы, на котором он изобразил меня на описанной выше весновке в 1959 году, напоминая о нашей неразлучной когда-то троице.

Ностальгией позднею охвачен,
О своей задумавшись судьбе,
Вспоминаю реку Горбиачин,
Вспоминаю реку Кулюмбе,

Где когда-то мы сидели вместе
С экспедиционным багажом,
И скрипела банка желтой жести
Под тупым охотничьим ножом.
Комары над ухом пели тонко,
Перекат шумел невдалеке.
Плавилась китайская тушенка
В закопченном черном котелке.
На стене висит теперь кинжал сей,
Снятый с сыромятного ремня,
Я один на свете задержался
Из троих, сидевших у огня.
К темному прислушиваясь гуду.
Талым снегом спирт не разведу.
Никогда теперь уже не буду
В том незабываемом году,
Где в одежде латаной казенной,
Золоченом гнусе и пыли,
Мы шагали дружно к горизонту,
Небо отделяя от земли.

В последующие два года мне довелось руководить большой геофизической партией, которая работала на реке Сухарихе, неподалеку от Игарки, где были обнаружены медные и халькозин-борнитовые руды с редкометалльным оруденением, и надо было проследить рудные тела с помощью электроразведки для последующего разведочного бурения. Работы эти проводились по договору с Красноярским геологическим управлением, и были хотя и тяжелыми, но привязанными к одному месту, так что прежней «съемочной» экспедиционной экзотики в них уже не было, а были жесткий производственный план да постоянная боязнь, что заданная тобой под геофизическую аномалию скважина не вскроет рудного тела. Не имея тогда опыта работы, я с наивностью школяра верил в могущество геофизики, как выяснилось позднее, совершенно напрасно.

Дуракам, однако, везет. Несколько лет назад мы вместе с Юлием Кимом приехали на фестиваль авторской песни в Норильск, где я не был более тридцати лет. Меня как почетного гостя пригласили в Норильскую комплексную геологическую экспедицию, где торжественно вручили образец медистого песчаника и показали бережно хранящийся в фондах мой давний отчет о работах Сухарихинской геофизической партии за 1962 год. Оказалось, что одна из заданных мной много лет назад

скважин вскрыла рудное тело. Так я неожиданно для себя попал в число первооткрывателей Игарского месторождения медистых песчаников.

Экзотические события тем не менее все-таки случались. Неподалеку от нас, ниже по течению реки Сухарихи, стояла большая производственная разведочная партия Красноярского геолого-управления, в которой было около десятка геологов и шесть десятков буровиков, большей частью из бывших зеков, людей пьющих и отчаянных. Женщин у них в партии не было совсем, и поэтому, бывая у нас по-соседски в гостях, они, и прежде всего бригадир буровиков — огромного роста рыжий детина, которого все звали просто Федя, положили глаз на нашу лаборантку Нину Козлову, отличавшуюся высокой грудью, кокетливой улыбкой и пышными светлыми кудрями.

В конце августа во всех геологических партиях в те поры шумно и пьяно отмечали Всесоюзный день шахтера — собственного дня тогда у геологов еще не было. Как раз накануне основной отряд геофизиков из нашей партии отбыл на соседнюю речку Гравийку, чтобы начинать там новый полигон. В старом лагере, кроме меня, остались только старик-повар, один молоденький практикант и Нина Козлова, занимавшаяся вычерчиванием какой-то отчетной карты. Мы не знали, что к нашим соседям по случаю праздника завезли самолетом из Игарки десять ящиков спирта. Вечером того же дня до нас донеслись беспорядочная ружейная пальба, рев тракторов, и в небо над лесом одна за другой взлетело несколько ракет. «Гуляют ребята», — равнодушно, хотя и не без зависти, произнес старик-повар и, постукивая деревянной ногой, на которую сменил свою на каком-то лагерном лесоповале, отправился спать. Посреди ночи я неожиданно проснулся в своей маленькой холодной палатке от явственного рокота приближавшегося трактора. Выйдя из палатки и поеживаясь от предутреннего холода, я заметил в рассветных сумерках приближающийся трактор, к которому были прицеплены большие тракторные сани. На санях размахивала руками и орала что-то бессвязное пьяная орава. Увидев меня, все обрадовались и радостно — засвистели. «Саня, — заорал появившийся из кабины трактора Федя, — ты не бойся нас — мы тебя не тронем. Только Нинку нам выдай — и все. А то мужички мои без баб сильно оголодали».

И тут как назло из-за моего плеча вынырнула неизвестно откуда возникшая Нинка. До нее явно дошел смысл сказанного. Она побледнела и затряслась. «Беги ты в лес куда-нибудь», — с досадой шепнул я ей, хотя, сказать по правде, и не уверен был, что от той оравы удастся убежать. Трактор тем временем опять

неторопливо двинулся к нам. Что было делать? Выдать ее, а потом повеситься?

Я кинулся в свою палатку, где около спальника валялся старый трехлинейный карабин, и, схватив его, судорожно запихнул в пустой магазин случившуюся неполную обойму с четырьмя патронами. Другой обоймы нигде обнаружить не удалось. Махнув рукой, я выскочил из палатки навстречу приближающемуся тракторному гулу.

Трактор и сани были уже метрах в ста пятидесяти. Увидев меня с карабином, Федя снова остановил трактор и крикнул: «Ты смотри не балуй, а то мы тебя самого, жидяра, враз пришьем. А Нинка все одно наша будет». Трактор опять затарахтел и двинулся в мою сторону. Тогда, ошалев от страха, но вспомнив неожиданно давние уроки военного дела, я залег прямо перед палаткой и дрожащими пальцами поставил планку прицела на 150 метров, наведя ходившую ходуном мушку на лобовое стекло тракторной кабины. Что теперь делать, неужели стрелять? И тут опять некстати появилась проклятая Нинка. Ее зареванный вид с растекшейся с ресниц тушью был ужасен. Обезумев от страха, она кинулась ко мне и, обхватив руками, громко стала кричать, мешая целиться. Бабахнул выстрел, и пуля пошла куда-то вверх. Трактор тем не менее остановился. «Ах, ты так, гад?! — крикнул снова вылезший Федя. — Ну погоди. Пошли, ребя!» И вся ватага, человек пятнадцать, покинув сани, уверенно направилась в нашу сторону. «Беги», — яростно зашипел я на Нинку, и она, увидев вдруг мое перекошенное лицо, ойкнув, скрылась куда-то.

Я залег снова. «Стой — стрелять буду», — каким-то чужим казенным голосом неуверенно крикнул я идущим. «Только попробуй, сука», — широко осклабясь, ухмыльнулся Федя. И тут, когда до идущих, а шли они плотной кучей, нисколько меня не боясь, оставалось уже метров пятьдесят — не больше, я, вдруг успокоившись, старательно прицелился прямо в широкую Федину голову чуть пониже его неизменной, несмотря на лето, ушанки, и, задержав дыхание, как учили, плавно нажал на спуск. Федя упал. Я даже поначалу думал, что убил его, но, как оказалось потом, пуля только чуть оцарапала кожу на голове и сбила ушанку, а упал он от испуга. Тут же залегли и все остальные и, громко матерясь, начали отползать к саням. Они-то ведь не знали, что у меня осталось только два патрона! «Ну погоди! — заорал уже оправившийся Федя. — Мы сейчас к себе в лагерь за ружьями смотаемся и тебя, падла, изрешетим. А Нинка все одно наша будет!»

В редеющих уже утренних сумерках затарахтел отъезжающий трактор, волоча за собой сани с матерящимися пьяными

пассажирами.

Через полчаса, отыскав в кустах спрятавшуюся там Нинку, я немедленно отправил ее на Гравийку, в другой отряд, вместе с практикантом, напуганным не меньше меня, а мы с одноногим поваром остались в лагере.

Уже под вечер снова раздалось знакомое пыхтение трактора. Никакой вооруженной ружьями команды он, однако, не привез. «Саня, — радостно завопил «подстреленный» Федя, заблаговременно притормозив перед лагерем и выскочив из кабины, — не стреляй — мириться едем!» На тех же тракторных санях позвякивал ящик со спиртом, рядом стоял еще один с китайской свиной тушенкой «Великая стена». Вокруг ящиков сидели присмиревшие гуляки. По-видимому, бояться было нечего. «Прости, друг, — заявил, похмелившись, Федя, — черт попутал. Ты, главное, в голову не бери и шума из-за того не поднимай. Здесь у нас закон — тайга, медведь — хозяин, так что сами разберемся, понял?!»

Главной нашей утехой и отдыхом при работах на Сухарихе, впрочем, как и всегда при полевых работах на севере, была, конечно, баня. Не зря существуют старые геологические поговорки: «В Арктике грязь — стерильна» или «Хорошо себя чувствуешь после бани — особенно первые четыре месяца». Готовились к ней тщательнейшим образом. На берегу реки опытные умельцы складывали каменку из базальтовых валунов. При этом придирчиво разглядывали каждый камень — трещиноватых, «сырых» не брали. Камнями этими обкладывалась буржуйка, сверху заранее устанавливался деревянный каркас для палатки. Топилась буржуйка преимущественно березовыми дровами до такого состояния, чтобы каменная кладка раскалилась. После этого на каркас быстро натягивалась самая плотная брезентовая палатка, сверху еще и тент, чтобы тепло держалось. На раскаленную каменку плескалась первая шайка воды (чтобы дурной пар сошел), и баня была готова. Ставилась палатка у самой реки выходом к воде, так что можно было, распарившись до отказа и вытравив из своего измученного тела всю многодневную грязь и усталость вместе с волдырями от комаров и кровавыми расчесами от мошки, плюхнуться с первобытным радостным криком в ледяную речную воду, холод которой начинаешь ощущать только через минуту-другую, да и то как слабое и приятное покалывание, бодрящее и освежающее твое такое непривычно белое новорожденное тело.

Веники готовили заранее из молодого березняка. Их ошпаривали и вымачивали в душистом квасе, приготовленном из сухарных крошек. От этого над баней стоял свежий хлебный дух,

вызывавший здоровый аппетит. Спирт по случаю бани также разводился и настаивался заранее, обычно на клюкве или поспевающей уже бруснике, а запивали его ледяной брусничной водой.

Парились основательно, в два или три захода. Сначала березовым веником, не стегая им по телу, а медленно нагоняя жгучее облачко пара и проходя им с мазохистскими стонами от пяток вдоль всей спины до самой макушки. Потом, отдохнув в спасительной прохладе воды, возвращались назад и ожесточенно хлестались вениками до той норы, пока тела из белых не становились медно-красными с бронзовым отливом. Профессионалы часто использовали наряду с березовыми пихтовые веники, утверждая, что только пихтовые иголки дают необходимый эффект, а старый полярник и поэтому профессиональный радикулитчик Коля Тимофеев, перед тем как париться «начисто», обмазывал себя специально для этого привезенным медом, уверяя, что если париться с медом, то «все поры вывернутся наружу, как перчатка».

Бане, устраивавшейся перед выходным днем, предшествовали обычно специальные ловля рыбы и варка ухи, сначала из мелкой второсортной рыбы, а по второму разу, в том же бульоне, — из благородного хариуса — северной форели.

Поскольку партия наша на, Сухарихе состояла практически из одних мужиков, то единственную нашу даму, упомянутую уже Нинку, которая сильного пара не выносила и мылась поэтому значительно позже, отправляли на другой край лагеря, а сами вольготно разгуливали нагишом, справедливо полагая, что в дикой тайге женщинам взяться неоткуда. Именно так однажды, в конце августа 1962 года, мы и блаженствовали, остужаясь после пара в мелководной Сухарихе, когда из-за близкого речного поворота, не более пятидесяти метров от нас, неожиданно выскочили две резиновые лодки, на которых явственно пестрели женские косынки. Встать из воды мы уже не могли, поэтому пришлось лежа объяснять столь внезапно возникшим гостям сложность ситуации, которая усугублялась тем, что лодки их могли плыть только вниз по течению, а обратно за поворот — нет, так что мы были вынуждены, замерзая, ждать до тех пор, пока они пристанут к берегу и удалятся из зоны видимости.

Так появился в нашем лагере «тематический отряд» Татьяны Баженовой из Ленинградского нефтяного института в составе трех женщин и двух рабочих — контингент для севера довольно нетипичный. О самой Баженовой к тому времени в Туруханском крае ходили самые фантастические легенды. Говорили, например, что она на пари с геологами-мужчинами высосала без закуски

через соску две поллитры, и ни один мужчина не то что превзойти, по даже повторить этот подвиг не смог. Легенда утверждала также, что в прошлом году она прыгала, опять же на пари, на резиновой лодке с Большого Кулюмбинского порога и выиграла два ящика водки, которые подарила своим работягам. Рассказывали и всякие небылицы о ее полном бесстрашии по отношению к любому начальству и различного рода сексуальных подвигах. Сама героиня мифов оказалась худощавой и черноволосой, цыганистого типа женщиной с постоянной папиросой в углу сильно накрашенного рта и большой пиратской золотой серьгой в левом ухе. Затянута она была в редкие еще в то время американские джинсы, заправленные в резиновые сапоги, и тельняшку с глубоким вырезом. На шее болтался свободно повязанный красный прозрачный платок-«андалузка». На голове красовалась широкополая шляпа-сомбреро, а на правом бедре, на настоящем американском поясе-патронташе, отсвечивал черной вороненой сталью шестизарядный «кольт». Сопровождавшие девицы, явно подражая ей, обряжены были в аналогичные тельняшечки с «андалузками» и широкополые шляпы. Только вот на бедрах у них вместо «кольтов» висели простые охотничьи ножи.

Три розовые палатки пришельцев, к бурной радости нашею немногочисленного, но гостеприимного мужского коллектива, спустя полчаса были установлены внутри лагеря, между нашими — зелеными. Гостям была обеспечена баня, и развернулся могучий праздник, тем более что недостатка в спиртном не испытывали ни мы, ни гости. Польщенный явным вниманием столь легендарной личности, как Баженова, я по наивности и представить себе не мог, что визит ее к нам совсем не «попутный», как она нам объяснила, а попросту я поставлен в план ее очередных подвигов. Это меня в ту пору, правда, вряд ли могло бы смутить.

На следующее утро над нашим лагерем начал кружиться неожиданно прилетевший из Игарки самолет, улетевший затем обратно, и баженовские рабочие, вошедшие за ночь в большой дружеский контакте нашими, пояснили, что это, судя по всему, прилетал ее муж, тоже геолог, грузин, да еще и страшно ревнивый, хотя, понимающе вздохнув, добавили они, такой жене не позавидуешь. Сама Татьяна на эту воздушную инспекцию реагировала довольно равнодушно и тут же потащила меня в совместный маршрут.

На следующий день гости двинулись вниз к устью Сухарихи, где их должен был забрать катер, а вместе с ними отправился в Игарку и я, поскольку обещанный мне вертолет, как всегда, был

отменен. К вечеру пришли на берег Енисея, где катера не оказалось. Поэтому поставили там палатки, выбрав место потише, так как поднялся сильный ветер, и устроились на ночлег. Пытались развести костер, но его постоянно задувало порывами ветра, поэтому, согрев кое-как чайник, все расползлись по спальникам в ожидании утра.

Утро встретило нас настоящим штормом. Палатки, хотя и стоявшие в укрытии за кустами на второй грядовой террасе, вздувались, как паруса, на ослабевших веревках, угрожая их оборвать. Такие случаи бывали нередко. В 57-м году на Тянь-Шане, на Тахталыкской гряде, где я был на преддипломной практике, нас застал внезапно налетевший в сентябре шквал со снежным зарядом на высоте около трех тысяч, на перевале, где мы встали лагерем.

Мы сидели вчетвером в палатке, надежно закрепив ее на распорках и привязав опорные колья к таким глыбам, которые ничем, казалось, сдвинуть было нельзя, и, напившись кофе, играли в карты. На столе мягко светила керосиновая лампа, создавая иллюзию домашнего уюта. Снаружи, правда, бушевал ветер и мела налетевшая метель, но мы-то были внутри и чувствовали себя прекрасно. Вдруг палатка над нами напряглась и зазвенела, как натянутая струна, под необычно резким порывом ветра. С пушечным громом одновременно лопнули все четыре веревки, и наш еще минуту назад такой надежный дом, мелькнув, как ковер-самолет, и махнув нам крылом на прощание, улетел в ближайшую пропасть. Повалилась, погаснув, лампа. Тонко зазвенело разбитое стекло. И посреди пустынного горного перевала, в полной темноте, под снегом и воющим ветром, остались сидеть четыре идиота с картами в руках.

Здесь, в устье Сухарихи, ветер тоже гулял вовсю, грозя сорвать и унести кокетливо-розовые польские палатки Татьяниного отряда. Они выгодно отличались от обычных наших, имевших грязно-зеленый цвет, тем, что мы утром всегда просыпались в зеленых сумерках, и каждое пробуждение встречало нас пасмурным днем, а в розовой палатке каждый новый день был солнечным независимо от погоды. Вместе с тем эти изящные, психологически продуманные туристские сооружения не были рассчитаны на полярную осеннюю погоду и бились на привязи, подобно европейским птицам, застигнутым внезапной сибирской осенью при попытке улететь на юг.

Выбравшись из палатки, чтобы закрепить ее, мы увидели, что на Енисее гуляет настоящий шторм. Огромные серые волны, набегая из мутного снежного тумана, разбивались о прибрежные камни. В последующие годы мне много пришлось увидеть

штормов и даже ураганов в океане, в том числе — осенних тайфунов вблизи Курильских островов и ураганов в юго-восточной части Тихого океана, на полюсе относительной недоступности. Никогда, однако, даже когда мы в 62-м году терпели бедствие на паруснике «Крузенштерн» в Северной Атлантике у берегов Канады и крен достиг критической величины, шторм не казался таким грозным, как на Енисее. Может быть, дело в том, что на судне ты не предоставлен самому себе и разделяешь общую, пусть неминуемую судьбу, борешься вместе со всеми, действуешь по команде и никогда не чувствуешь себя одиноким? Здесь же ты оказываешься с грозной стихией один на один и можешь полагаться только на собственную твердость духа (если она у тебя есть) и незначительные физические силы.

Мне пять раз приходилось попадать в переплет на воде. Один раз в 57-м на осеннем Енисее, на моторке, когда заглох мотор и лодку начало заливать и топить, и все-таки, несмотря на наши жалкие потуги вычерпать воду, потопило, хотя и недалеко от берега, и мы «выруливали» вдвоем с мотористом Геной Седельниковым на пустой бочке из-под солярки.

Другой раз в том же году, уже на маленьком буксирном катере, который после хлипких байдарок показался мне непотопляемым дредноутом. Капитан и моторист, постоянно бившие себя в синие от татуировки груди и рассказывавшие чудовищные морские истории, видя мое детское любопытство, тут же предложили мне постоять на руле, объяснив нехитрое управление катером и повесив на шею бинокль, а сами пошли в кубрик допивать. Так я, польщенный доверием, и вел катер по хмурому сентябрьскому Енисею от Игарки до Туруханска, пока к концу суток не задремал за рулем и, перепутав спросонок белые бакены с красными и сойдя с фарватера, лихо посадил катер на мель, поломав перо руля. Сильной волной потерявший управление катер начало гулко бить о камни. Надо сказать, что реакция у экипажа, казалось бы, мертвецки спавшего в кубрике, уронив головы на стол и отпугивая редких комаров запахом перегара, оказалась моментальной. Услышав первый гулкий удар по железу, они с криком «полундра» выскочили из кубрика наверх, причем сапоги у них уже были сняты…

Два других случая связаны с байдарками типа «Салют», старыми, ободранными и без фартуков. В августе 69-го года в Кандалакшском заливе Белого моря, вблизи от Умбы, на стареньком рыболовном катере РБМ, на котором везли женщин и детей, отказал двигатель — полетел подшипник, и надо было срочно вызывать подмогу, поскольку отливным течением

перегруженный катер уносило в открытое штормующее морс. Быстро собрали разобранную и сложенную для отправки на базу байдарку, и мы вдвоем с ее владельцем отправились в два весла к ближайшей биостанции за помощью. Для увеличения плавучести в нос и корму положили надутые футбольные камеры. Поскольку фартуков, как я уже упоминал, не было, то первая же волна, залила байдарку, и последующие два с половиной часа мы гребли, сидя по пояс в воде температурой около девяти градусов. Это, однако, нас почти не волновало на фоне довольно актуальной проблемы — с одной стороны, держать все время носом на волну, чтобы не перевернуться, с другой — сохраняя это вынужденное направление, выгрести все-таки к берегу. Самое удивительное, что нам все это удалось, а радикулита или простуды мы в те годы еще не боялись.

Другой случай с байдаркой произошел уже значительно позже, на Волге, году в 74-м, когда после Грушинского фестиваля нас с Борисом Вахнюком пригласили принять участие в знаменитой «Жигулевской кругосветке». Она проходит по красивейшим волжским местам вокруг Жигулевской излучины, начинается в Самаре, откуда лодочный маршрут идет вниз по Волге до деревни Переволоки. В этом месте лодки на машине (или подводе) перевозятся по суше до реки Усы (потому и называется Переволоки — вроде нашего Вышнего Волочка), а потом — снова на лодках вниз по Усе, мимо Молодецкого Кургана в Жигулевском морс и дальше, через шлюзы Волжской ГЭС, снова на Волгу. Так что получается действительно кругосветка — уходишь из Самары вниз по Волге, а приплываешь обратно сверху. Именно здесь когда-то уходил от царской погони на быстрых стругах Стенька Разин и, перетащив свои легкие маневренные суда у Переволок по суше, неожиданно ударял противнику в тыл.

Нам с Вахнюком, как почетным гостям, были выделены две байдарки с напарницами. Моей напарницей оказалась высокая и статная девушка со спортивной фигурой (она была разрядницей по гандболу), большими и внимательными серыми глазами и длинными прямыми темно-русыми волосами. Сидела она обычно впереди, надев педали руля на свои узкие и тонкие ступни и, положив неподвижно перед собой весло, развлекала меня разговорами — поскольку двигались вниз по течению, грести в два весла было совершенно не нужно. Ввиду существенной разницы в возрасте, и, очевидно, большого пиетета с ее стороны, величала она меня по имени-отчеству. Погода первые два дня была тихой и солнечной. Пестрая флотилия, в состав которой входили два больших парусных яла и около двадцати байдарок,

неспешно перемещалась по зеркальной ласковой Волге, разбивая по вечерам шумные несенные биваки и оглашая тишину звоном гитар. Однажды мы поставили лагерь на острове посредине Волги, а утром, пробудившись, я вдруг увидел, что на Волге разыгрался настоящий шторм, почти такой же, как когда-то на Енисее.

Для меня, старого экспедиционного волка, привыкшего свято соблюдать технику безопасности, было совершенно очевидно, что двигаться на байдарках при такой погоде нельзя. К тому же на примерно восемьдесят участников «кругосветки», среди которых было немало детей от трех до десяти лет, оказалось всего шесть спасательных жилетов. Надо было дожидаться улучшения погоды, тем более что торопиться как будто было некуда, да и в продуктах тоже недостатка не было, хотя на сильно продуваемом острове было ветрено и сыро. Тем большим было мое удивление, когда за завтраком наши «молодые капитаны» сообщили мне, что мы собираемся немедленно двигаться дальше. Тут, взглянув еще раз на белые барашки на волжском неприветливом просторе, так напомнившем мне Енисей, где в такую же погоду лишь угадывался другой берег, я вдруг понял, что я, уже немолодой человек, — единственный взрослый среди этого безответственного детского сада, легкомысленных мальчишек и девчонок, понятия не имеющих о реальной опасности, и вся ответственность за них в этой ситуации лежит на мне. «Значит, так, — сказал я твердым начальническим тоном, перебивая нашего юного «капитана», — если уж надо двигаться, то байдарки разобрать и погрузить на ялы. А на ялах в два рейса перевезти всех на ближайший берег. Первым рейсом отправить женщин и детей». Наступило неловкое молчание. Все взоры устремились на меня. Наконец капитан, смущаясь и глядя в сторону, сказал: «Не волнуйтесь, Александр Моисеевич, вы пойдете на яле».

Кровь бросилась мне в голову, когда до меня дошел смысл сказанного. Байдарка моя, неразобранная и полностью снаряженная еще с вечера, лежала на берегу, вытащенная подальше на песок, чтобы не смыло. Схватив свой спальник, я кинулся к ней и начал вытягивать ее к воде. Когда я уложил рюкзак и спальник и начал разворачивать лодку поперек волны, чтобы забраться в нее, прибежала моя напарница и молча и ловко влезла на свое место, натянув на ноги рули и схватив свое весло. Первый же набежавший волжский вал окатил нас с головой теплой июльской водой, но мы уже развернули байдарку поперек волны и, не сговариваясь, дружно заработали в два весла, довольно быстро удаляясь от берега и не обращая внимания на заливающие нас волны. На секунду обернувшись, я увидел, что

еще две байдарки спускают на воду. По старой привычке я положил в байдарку волейбольный мяч, так что утонуть она вроде не должна была, а вот переворачиваться, даже в теплой воде, не хотелось.

На середине Волги волны гуляли вовсю, кидая байдарку из стороны в сторону, заливая нас с головой и слепя глаза. «Лево нос», «право нос», — все время командовал я напарнице, и она с удивительной четкостью выполняла команды. Вдруг, как мне показалось, в самом водовороте, по команде «право», она неожиданно отвернула нос байдарки влево. Набежавшая волна моментально опрокинула лодку набок, чуть не выдернув у меня из рук непослушное дюралевое весло, которое острой лопастью рассекло мне лоб. «Право, так твою мать!» — с трудом выплюнув воду и задыхаясь, испуганно заорал я, нечеловеческим усилием выровняв байдарку.

Она моментально и точно выполнила маневр, и больше до самого берега никаких ошибок не было. Ослепшие и измученные, вдоволь нахлебавшиеся воды, со стертыми до ссадин ладонями, мы с размаху воткнулись острым килем в песчаную отмель и из последних сил оттащили тяжелую, полную воды байдарку подальше от берега. «А я поняла, что ты тоже боишься, — сразу перейдя на ты, сказала моя спутница, отжимая воду из своих длинных темных волос. — Как ты меня послал!» — мечтательно добавила она, заблестев глазами, и негромко засмеялась.

Пятое мое купание на лодке в шторм было менее романтичным. Мы стояли на рейде в Обской губе в августе 1972 года на сухогрузе финской постройки типа «река-море», который перегоняли с караваном судов по трассе Северного морского пути из Архангельска в Николаевск-на-Амуре. Обская губа вблизи устья широка, как залив, да и погода в ней под осень переменчива. Мы ходили на мотоботе на берег, на ближайшее стойбище, закупать оленину, вернее, не закупать, а менять на спирт. Весь день мы пробыли на берегу и образно на рейд возвращались уже в полной темноте, да еще налетевший внезапно западный ветер развел немалую волну. Моторист наш впотьмах, хотя судовые огни были видны ясно, перепутал подветренный и наветренный борта, шлюпку стукнуло набежавшей волной о борт прежде, чем успели передать с нее конец, накренило, и следующая волна перевернула ее. Все мы оказались в воде, холода которой (а была она градусов пять-шесть самое большее) я, например, совершенно не почувствовал, так же, как и страха. Все бодро поплыли к борту, стараясь ухватиться на гребне волны за скользкие деревянные ступеньки выброшенного штормтрапа. И хотя были мы все в куртках и сапогах, никогда в жизни мне не

плавалось так легко. Нас извлекали по одному. Потом выловили и перевернутую шлюпку. Горячий душ и стакан спирта избавили меня от нервного шока и верной простуды.

Вернемся, однако, на берег Енисея в сентябрь 62-го года. К середине дня, сквозь вой ветра и глухие удары набегающих волн, мы неожиданно услышали негромкое, но явное тарахтение движка. Шторм тем не менее не утихал. «Неужели катер?» — обрадовались Татьянины девицы. Но это был не катер. Подлетая и снова пропадая среди свинцовых волн, с трудом борясь с ветром, со стороны Игарки к нашему берегу медленно перемещалась открытая дюралевая моторка, на которой съежились пол зелеными, насквозь промокшими плащами два человека. Отважиться в такую погоду плыть по Енисею на плоскодонной дюральке, которая моментально переворачивается при первом же отказе ненадежного подвесного мотора, мог только сумасшедший. Примерно так оно и было, поскольку это оказался уже упомянутый встревоженный муж, невысокого роста курчавый человек с нервным и измученным лицом, больше похожий не на грузина, а на еврея, уж не знаю как уговоривший своего моториста отправиться с ним. Прибывших переодели, отогрели и накормили. К вечеру шторм начал стихать, но катера все не было, поэтому деваться все равно до следующего утра было некуда.

Ближе к ночи развели костер и выпили спирта, но, несмотря на шумные разговоры и смех, вокруг костра возникла какая-то странная напряженность, усиливавшаяся мрачным молчанием старавшегося не смотреть в мою сторону Володи (так звали супруга) и вызывающим поведением подчеркнуто не отпускавшей меня от себя Татьяны. Все ждали неминуемой развязки. У Володи на ремне болталась кобура с наганом, у меня же вообще никакого оружия с собой не было. Да если бы и было, что толку? «Саня, спой что-нибудь», — попросила Татьяна, блеснув откровенно злым взглядом на мужа. Я, конечно, умом понимал остроту ситуации, но какой-то недобрый азарт вел меня, заставляя позабыть об осторожности и бездумно толкая на темное озорство. Пьяное бахвальство бродило в моей дурацкой голове. И я, вызывающе глядя на окружающих, громко запел услышанную незадолго перед этим в Москве отчаянную «женскую» песенку, написанную, как позже оказалось, Александром Дуловым:

Ой-ей-ей, я несчастная девчоночка,
Ой-ей-ей, вышла замуж без любви.
Ой-ей-ей, я нашла себе миленочка,
Ой-ей-ей, милый муж мой, не гневись.
Ах, зачем любила я.

Зачем стала целовать?
Хоть режь меня, хошь ешь меня.
Уйду к нему опять!

Мертвая тишина повисла вокруг костра, только головни негромко потрескивали. Володя поднял голову и без выражения посмотрел в мою сторону. «Может, пойдем лучше постреляем?» — спросил он тихо, ни к кому конкретно не обращаясь, но все сразу поняли, что речь идет обо мне. «А что — пошли. Патроны-то у тебя есть?» — откликнулся я, поднимаясь с места. Никто нас не отговаривал. Пьяный неостановимый азарт нес меня, как мутный поток. «Я облегчу твою задачу, — нахально улыбаясь, заявил я ему. — Сыграем в Вильгельма Телля. Спорим на две поллитры, что ты не собьешь у меня с головы из нагана с десяти шагов банку из-под тушенки». С этими словами я подхватил с земли опустошенную банку из желтой жести. Глаза у Володи вспыхнули. «А если промахнусь?» — так же тихо спросил он. «Тогда две поллитры с тебя», — засмеялся я.

Мы отошли метров за сто на полутемный берег. Я, пьяно покачиваясь, встал на прибрежную гальку и установил на темя пустую банку, придерживая ее левой рукой, подобно восточной женщине, несущей на голове кувшин. Володя, стоя в десяти шагах от меня и по-прежнему глядя в сторону, дрожащими пальцами расстегивал непослушную кобуру. Неподалеку за кустами все так же горел костер, и вокруг него продолжали неподвижно сидеть все, включая и Татьяну. Наконец Володя достал наган, поднял голову и навел дуло прямо мне в лоб, «Не будет стрелять, — подумал я, чувствуя, как неожиданный горячий пот начинает заливать мне глаза, больно пощипывая их, — пугает».

В этот момент грянул выстрел, и пуля обожгла мне ухо. Не успел я схватить воздух пересохшим ртом, как у меня под ногой от второго выстрела взорвалась галька, раскровянив мне щеку отлетевшим осколком. «Сволочь!», — крикнул я, но мой противник меня не услышал. Зажмурив глаза и вытянув руку с наганом вперед, он начал безостановочно нажимать на спусковой крючок офицерского самовзвода, пока не расстрелял весь барабан. Тогда он бросил пустой наган в камни, закрыв лицо руками, медленно опустился на корточки, потом лег ничком на холодную гальку и заплакал. Я продолжал оцепенело стоять в дурацкой позе, держа банку на голове. Его увели и уложили в палатку. Наутро по стихшему Енисею пришел ожидаемый катер, доставивший нас в Игарку. Еще целый день потом считал я себя героем, а не подлецом…

Много лет дома в Ленинграде, а потом в Москве я упорно продолжал хранить давно не нужное мне старое обмундирование из давних северных экспедиций. Мне жалко было расстаться с таким родным и надежным спальным мешком собачьего меха, с литыми сапогами с длинными голенищами, «летними» меховыми куртками и такими же непродуваемыми штанами. В самом углу на антресолях лежали аккуратно сложенные подсумки с десятью снаряженными обоймами к кавалерийскому карабину и большая россыпь «сэкономленных» патронов к нагану. Меня все время не покидало ощущение ностальгии по этим вещам, с которыми в юности связано было так много. Казалось, стоит снова обрядиться в «энцефалитный» костюм и сапоги с длинными голенищами, навесить на широкий офицерский пояс старый охотничий нож в черном кожаном чехле и горный компас в брезентовой кобуре — и снова станешь молодым, любопытным, ожидающим радостного события за каждым новым поворотом реки. Вещи, однако, понемногу обветшали. Меховые штаны и куртки были распороты для домашних ковриков, патроны утоплены, сапоги и ножи раздарены.

И все-таки что-то осталось. Потом тоже были экспедиции, по всем морям и океанам, на солнечные Гавайские острова, в далекую Новую Зеландию и в Бермудский треугольник, и на недоступное для человека океанское дно. Но эти экспедиции уже не вызывали у меня такой детской первозданной радости, как северные. Может быть, потому, что миновала молодость и притупилась острота восприятия нового. А может быть, потому еще, что именно Север, его суровые традиции, жесткая и непреложная система сложившихся там людских отношений, жизнь в маленьком, оторванном от нормальных условий мужском коллективе, где все надо делить поровну, где простителен страх, но непростительна ложь, заложили в моей неуверенной юношеской душе основу нравственных критериев человеческого общежития.

Дело, однако, не только в этом. В те давние 50-е годы экспедиции в Енисейское Заполярье открыли мне глаза еще и на другое. База нашей экспедиции в 1959–1960 годах располагалась в Курейке, где когда-то томился в ссылке Сталин. Над старой бревенчатой избой, в которой он жил, возвели огромный павильон из бетона со стеклянными стенами. От музея вниз к Енисею спускалась величественная лестница, окаймленная большими городскими фонарями. А над ней возвышалась гигантская статуя «великого вождя», хорошо видная издалека с Енисея. Пароходы, проплывающие мимо, должны были салютовать монументу гудками. Вид этого роскошного

мемориального комплекса посреди окружающей нищеты производил странное впечатление. Уже после нас статую с пьедестала скинули, мемориальную избу вытащили трактором из павильона и разобрали, а бетонный остов музея так и остался.

О пребывании Сталина в Куренке местные жители поведали нам немало баек. Выяснилось, что этот шустрый молодой грузин, переехавший сюда из Туруханска, где он смертельно поссорился со Свердловым, тут же завел шашни с некоторыми местными девицами. Хорошо помню, как к нам на базу приходили какие-то алкаши, которые били себя в грудь, уверяя, что они побочные дети генералиссимуса, и требуя на этом основании денег на опохмелку. Наряду с этими визитами «детей лейтенанта Шмидта», весьма, правда, недолгими, мне запомнилась услышанная там история, достоверность которой остается на совести рассказчиков, о том, что местные мужики, которым не понравилось, что «ссыльный грузинец» испортил их дочерей, решили этого вредного человека утопить. Дело было зимой, и схваченного соблазнителя повели топить в прорубь на Енисей. Но исторические беды русского народа с тем всегда и связаны, что начатое дело никогда не доводится до конца. То ли прорубь оказалась слишком далеко, то ли мужики опохмеляться спешили, — так или иначе, но до проруби ссыльного не довели, а бросили его посреди Енисея, — авось сам замерзнет, и пошли обратно допивать самогон. А напрасно! Ведь как написал в своем «Сандро из Чегема» Фазиль Искандер, если бы мальчик сказал отцу, куда все тот же спасшийся кавказец уже позднее погнал вьючных лошадей с награбленным им добром, то история нашей страны «могла бы пойти нижне-чегемским путем, но она пошла верхне-чегемским».

Я же, попав в Туруханский край, видел уже следы активной деятельности этого не утопленного вовремя вождя. Каждую весну в половодье мимо наших палаток по реке Сухарихе проплывали десятки человеческих черепов и костей из размытых весенним паводком безымянных захоронении выше по течению, где догнивали остатки бараков и сторожевых вышек на месте бывших лагерей. Как-то я, помню, проснулся, а совсем рядом с палаткой скалит зубы череп, застрявший на мелководье.

А неподалеку от Курейки, на том же левом берегу Енисея, ниже по течению, вблизи от поселка Ермаково, там, где к Енисею должна была выходить по замыслу «величайшего гения всех времен и народов» знаменитая «мертвая» железная дорога Салехард-Игарка, я видел ржавеющие в болотах десятки паровозов ИС («Иосиф Сталин»), завезенных сюда когда-то баржами из Красноярска. Дорогу эту строили на вечной мерзлоте,

заранее зная, что держаться она на ней не сможет. Но обреченное это строительство затеяно было не для того, чтобы поезда ходили, а для того, чтобы умертвить сотни тысяч людей, и цель была успешно достигнута.

В 1995 году в Норильске нам с Кимом показывали только что открытый музей истории Норильска, ставший, по существу, одним из первых музеев ГУЛАГа. В середине музея стоит огромный чугунный крест, который, если смотреть сбоку, имеет форму вопросительного знака. Мэр города объяснил нам, что это — проект памятника безвинно погибшим, который должны были бы поставить на центральной площади, да так и не решились. Людей сюда завозили летом, в навигацию, на пароходах. До следующего лета они должны были умереть от непосильной работы на лесоповале или в рудниках, цинги и холода. Тех, кто не умирал сам, расстреливали по весне и завозили новых. Самым страшным временем поэтому в Норильских и других северных лагерях была весна. Так в Туруханском крае и под Игаркой стала открываться для меня изнанка сталинской империи.

Что же до истоков авторской песни, то именно в этих северных экспедициях я впервые столкнулся со странными песнями, которые пели наши рабочие, по большей части из бывших зеков. Некоторые из них я слышал позднее в доме Серманов.

Так я услышал впервые великие песни, созданные безымянными авторами в беспросветных потемках лагерей ГУЛАГовской империи: «Ванинский порт», «Черные сухари» («А на дворе хорошая погода. В окошко светит месяц голубой. А мне сидеть еще четыре года. Душа болит — так хочется домой».), «Бежит речка да по песочку, бережочек моет», «Идут на север срока огромные, кого ни спросишь — у всех указ» и многое другие. Я не любил и до сих пор не люблю блатные песни, которыми иногда щеголяли мои приятели. Помню, как в 1967 году мы спорили об этом с Володей Высоцким в доме Евгения Клячкина в Питере. Я полностью согласен с Варламом Шаламовым в его оценке блатарей и не вижу никакой романтики в воровстве и бандитизме. Но песни зеков — это уже совсем другое.

Когда я вначале по наивности и неопытности интересовался, кто автор, мне с угрюмой усмешкой отвечали одно и то же: «Слова народные, автора скоро выпустят». И я перестал спрашивать. Песни эти пелись, конечно, не под гитару, а просто так, что называется, «а капелла» — вечером у костра или прямо у палатки. К одному поющему понемногу неторопливо присоединялись другие. Каждый пел как бы только для себя,

неспешно вдумываясь в поющиеся слова. Незримая общность объединяла поющих, и возникало подобие разговора и того странного точного взаимопонимания, которого я не встречал в других местах. Так я впервые понял, что песня может быть средством общения, выражением общего страдания, усталости, грусти.

Стихи здесь не котировались они считались проявлением слабости, сентиментальности. Песня — совсем другое дело. Песню можно было петь везде и всегда. В Арктике пели все: рабочие после тяжелой работы на лесоповале под комарами и в жару, летчики после утомительных дневных или ночных полетов со сложными посадками и дурной видимостью, геологи после изнурительного маршрута. Пели все, пристально глядя в желтое пламя вечернего костра. Песни были, конечно, разные, но тональность их, полное отсутствие бодрячества и фальши, точная психологическая правдивость иногда наивных, но всегда искренних слов, — были неизменны.

Именно там, на Севере, подражая этим услышанным песням, я начал уже всерьез придумывать какие-то нехитрые мотивы на собственные стихи и петь их у костра, не сообщая при этом своего авторства. Так были написаны «Снег», «Деревянные города», «Перекаты» и некоторые другие песни, также ставшие со временем безымянными. Песня «Снег» была написана после первого полевого сезона в Арктике в феврале 1958 года в Ленинграде. Посвящена она сестре Нины Королевой Лене Ошкадаровой, за которой я тогда вполне платонически ухаживал. Отсюда и «Петроградская сторона», и «кос твоих светлая прядь».

Помню, через пару дней после того, как она была написана, мы вместе с Леной Кумпан и Олегом Тарутиным ездили в Комарове кататься на лыжах. Я показал им эту песню, и она им понравилась. Через каждые полчаса мы сходили с лыжни и, встав в кружок, снова пели «Снег», пока они не выучили его наизусть. Песня эта стала очень быстро распространяться. Позднее ее включил в свой репертуар Иосиф Кобзон. Где-то году в 60-м ее опубликовала на своих страницах «Комсомольская правда», и я почти сразу же получил письмо из города Иваново от какой-то девушки, которая представилась как комсорг цеха и передовик производства и предложила завязать переписку. «Так приятно иметь талантливых друзей, — писала она, — и, может быть, со временем эта дружба перейдет в лю…» К письму была приложена ее маленькая паспортная фотография. «У меня нет под рукой другой, — извинялась девица, — но в следующий раз я обязательно пришлю свой снимок в купальнике». Больше всего мне запомнился конец письма: «Извини, дорогой Саша, что еще

не будучи с тобой знакома, я сразу обращаюсь к тебе на ты, но я считаю, что комсомольцы должны обо всем говорить друг другу прямо».

Несколько песен в те годы были написаны мною под прямым влиянием зековских песен. В их числе «Полночное солнце», «Мокрое царство», «Перелетные ангелы» и «На материк».

Судьба последней песни довольно примечательна. Я написал ее в Туруханском крае в 1960 году. Уже на следующий год во время полевых работ после какого-то сабантуя наши работяги, выпив сваренной ими бражки и выданного мною спирта, запели «старые лагерные» песни и, к моему удивлению и радости, спели «На материк». Я был молод, глуп и тщеславен и немедленно заявил о своем авторстве. Вот этого-то, оказывается, и нельзя было делать. Все, что было мне сказано в ответ, практически на русский язык не переводится, а то, что переводится, может быть сведено к лаконичной форме: «Еще раз скажешь, что твоя, — замочим». Угроза была вовсе нешуточной — народ в тех краях подбирался серьезный. «Да за такую песню, — кричали они мне, — надо всю жизнь страдать в зоне! Чтобы фраер с материка, да такую песню придумал? Наша песня, всегда была нашей, понял?» Нашлись даже очевидцы, которые «собственными ушами» слышали эту песню в 40-е в лагерях под Норильском.

Через много лет я снова встретился со своей песней в романе безвременно ушедшего из жизни магаданского писателя и геолога Олега Куваева «Территория». Действие романа происходит на крайнем северо-востоке, на Чукотке. В ней описывается, как из Чаунской губы, из Певека, под осень уходит «последний караван», жители собираются на берег прощаться с уходящим северным летом и поют эту песню, «написанную каким-то местным автором». В куваевском варианте изменена только одна строка: «На материк, на Магадан, идет последний караван».

Весной 92-го года любимый мною артист Зиновий Гердт исполнил песню «На материк» по российскому радио в программе «В нашу гавань заходили корабли», сообщив, что «автор песни сгинул в сталинских лагерях». Он тоже очень удивился, узнав о моем авторстве, несмотря на наше давнее знакомство.

В середине 80-х я приезжал в командировку на Кольский полуостров, в поселок Заполярный, на первую в мире скважину сверхглубокого бурения, начальником которой много лет был Давид Миронович Губерман, старший брат моего друга поэта Игоря Губермана. Там в местной гостинице я познакомился с молодыми специалистами, инженерами и врачами, работавшими здесь около года. Узнав, что я геолог и интересуюсь песнями, написанными на Севере, они неожиданно предложили мне

показать могилу «мужика, который написал песню «На материк»». Я очень удивился, но, конечно, немедленно согласился. На следующий день они подогнали к гостинице старый вездеход ГАЗ-47, и мы отправились в тундру. Примерно через час езды по трудной дороге мы прибыли в расположение бывшей «зоны» — несколько бараков, обнесенных уже сгнившим от сырых баренцевоморских ветров частоколом с покосившимися пулеметными вышками на углах. Эти «типовые архитектурные сооружения» мне доводилось встречать уже неоднократно в Туруханском крае и на Колыме. Неподалеку притулилось небольшое кладбище: два-три покосившихся креста и несколько безымянных камней. Подойдя к одному из таких камней, спутники мои сказали: «Ну вот, тут он и лежит. Здесь в зоне эту песню придумал, здесь его и прикончили». «За что?» — наивно спросил я. — «Как это — за что? За песню, конечно. Ну что ж, надо помянуть». С этими словами они начали разливать по кружкам привезенную с собой водку. Тут мне стало не по себе, — какие шутки, тут же реальный покойник лежит… «Подождите, — остановил их я, — а вы уверены, что здесь похоронен именно автор этой песни?» Они так разозлились, что даже перестали мне наливать и в свою очередь сердито спросили у меня: «Как, разве не Городницкий эту песню написал?» «Да вроде Городницкий», — смутился я. — «Ну вот видишь, — а ты сомневаешься. Шапку сними». Мы наполнили кружки и помянули безвременно погибшего автора. Потом сели в вездеход и уехали обратно в Заполярный. Моей фамилии, слава Богу, никто не спросил, а то могло стать одним безымянным камнем больше.

А несколько лет назад авторство этой песни было закреплено за мной как раз представителями того самого контингента, который когда-то его оспаривал. Я получил письмо из лагеря, расположенного в Ленинградской области, где-то под Лупой. Письмо было подписано «членами общества книголюбов». «Дорогой Александр Моисеевич, — было написано в письме, — мы любим ваши песни, особенно песню «От злой тоски», которую считаем своей». В последней части письма следовали стандартные пожелания творческих успехов и счастья в личной жизни. А в конце было написано главное: «А ежели что, — примем как родного».

Так проходили мои «северные университеты». Иногда по ночам я просыпаюсь от писка комаров или крика пролетающей над палаткой птицы. Едкий запах густого белого дыма от брошенного в разгорающийся костер сухого ягеля щекочет мои ноздри, и в ушах снова негромко звучат протяжные и горькие северные песни.

Ноют под вечер усталые кости,
Смотришь назад — и не видно ни зги.
Мы начинали не с кухонь московских, —
С тундры скорее и чахлой тайги.
…Здесь не бывало подзвучки гитарной, —
Климат не тот и закуска не та,
Но подпевали припев благодарно
Матом измученные уста.
И обращаясь к навязчивой теме
Тех позабытых и проклятых лет.
Должен делить я соавторство с теми.
Кто еще есть и кого уже нет.

Светила над снастями

«У каждого уважающего себя автора, — заявил как-то Юрий Визбор, — есть хотя бы одна пиратская песня. Ну, а что касается Городницкого, то всем известно, что он сам — старый пират».

Если бы в 61-м году кто-нибудь сказал мне, сухопутному геологу, кормившему комаров в Туруханском крае, что через «несколько месяцев я отправлюсь в плавание в Северную Атлантику на настоящем паруснике и навсегда после этого свяжу свою жизнь с океаном, я бы посчитал это глупой шуткой. Но еще в начале 61-го года в нашем отделе геофизики неожиданно появился новый сотрудник, Николай Николаевич Трубятчинский, уволенный в запас молодой худощавый, небольшого роста морской подполковник, жгучий и неимоверно энергичный брюнет с цыганскими усами. Он, как и многие другие офицеры, стал «жертвой Женевского соглашения», одним из нескольких десятков тысяч офицеров, попавших под хрущевское сокращение начала 60-х. Вернувшись в родной Ленинград из Калининграда, где он служил, Николай Николаевич пришел в райком партии, который должен был его трудоустроить. Там ему предложили должность директора Сенного рынка. Это безусловно блестящее предложение неразумный Николай Николаевич отверг, а поскольку по образованию был гидрограф с геофизическим уклоном, пришел в отдел геофизики нашего Института, где когда-то знали его отца, известного магнитолога, тоже Трубятчинского и тоже Николая Николаевича.

Отделом геофизики тогда руководила профессор Раиса Михайловна Деменицкая, женщина острого и нетривиального ума, необозримой честолюбивой фантазии и весьма неожиданных поступков, которая сама еще совсем недавно рассталась с морской формой Главсевморпути и нашивками капитана второго ранга. Маленький, энергичный и подвижный как черная ртуть подполковник ей понравился, а еще больше понравилась идея попробовать наземную геофизику на судах военной гидрографии.

И вот я в составе первой геофизической группы из девяти человек под доблестной командой Николая Николаевича Трубятчинского оказался на борту одного из крупнейших в мире парусников — экспедиционного океанографического судна «Крузенштерн», того самого, верхушки мачт которого были когда-то постоянно видны из окна нашей комнаты на Мойке. Именно это судно было выделено морским начальством для постановки опытных геофизических работ в океане. В декабре 1961 года оно отправлялось на полгода в Северную Атлантику для проведения

там океанографических исследований по программе военной гидрографии. Так, хотя и с некоторым опозданием, сбылась моя школьная мечта попасть наконец в океан.

Нет необходимости описывать длинную и нервную эпопею оформления визы для выезда в «капстраны», необходимой для загранплавания в Атлантике, эпопею для меня особенно трудную, поскольку я при всех своих анкетных недостатках оформлялся впервые, ни на что при этом особо не надеясь. Тем большей была нечаянная радость, когда я узнал, что меня «пропустили». Немало хлопот доставила мне и строжайшая медицинская комиссия и заполнение «медицинской книжки моряка», хотя я и был приятно польщен, когда врач-венеролог, бдительно осмотрев меня и проверив анализы, так же, как и другие, написал: «годен». Главным источником неприятностей за более чем тридцать лет прохождения разного рода медкомиссий для меня было (да и сейчас, конечно, осталось) артериальное давление, которое, даже если за полчаса до этого было нормальным, немедленно подскакивало при комиссионной проверке. Эффект этот, являющийся, видимо, следствием неизлечимой уже внутренней боязни «не быть как все», приобрел характер постоянного нервного синдрома, весьма типичного для моего поколения.

Но вот, так или иначе, все рогатки чистилища, выездные и медицинские комиссии пройдены, и в морозный декабрьский день мы подогнали свои грузовики с оборудованием на пирс Балтийска, где у самого выходного маяка стоял великолепный четырехмачтовый барк «Крузенштерн», готовящийся к трудному походу в штормовой зимней Атлантике.

Парусник «Крузенштерн» — один из трех крупнейших в мире немецких парусников со стальным корпусом, обшитым пробковым деревом, построенных в начале века специально для перевозки кофе и пряностей из Южной Америки в Европу. Дело в том, что кофе, чай и пряности быстро впитывают запах солярки, поэтому для их перевозки решено было построить гигантские парусники водоизмещением около семи тысяч тонн каждый. Два этих парусника, нынешние «Крузенштерн» и «Седов», были взяты в счет репараций после Второй мировой войны.

Судьба третьего парусника — «Памир», оставшегося в ФРГ, сложилась более трагично. Он был после войны превращен в учебное судно и много лет плавал во всех океанах. В 1957 году, недалеко от Азорских островов, имея на борту экипаж — девяносто шесть гардемаринов и двадцать офицеров, «Памир» был застигнут внезапным ураганом, неся в этот момент полное парусное вооружение. Тогда еще не было приема карт погоды по телетайпу, и штормовое предупреждение на судне вовремя

получено не было. Когда командир понял, что надвигается ураган, он приказал немедленно убрать паруса, но было уже поздно. Паруса, как говорят моряки, «обстенило», то есть прижало лобовым ветром к стеньгам. Небывалой силы шквал опрокинул парусник и перевернул его. Из всей команды чудом спаслись только два человека.

«Крузенштерн», спущенный на верфи в Бремерсхафене в 1929 году, первоначально назывался «Падуя», о чем извещала латинская надпись на старой корабельной рынде. Судно действительно было огромное для парусника — 115 метров в длину и 14 в ширину, водоизмещением 5784 тонны. Высота его мачт, изготовленных не из дерева, а стальных, достигала 56 метров от ватерлинии. Парусное вооружение состояло из 31 большого и малого паруса с общей площадью 3800 квадратных метров.

«Падуя», один из крупнейших парусников мира, относился к экстра-классу барков, которые получили название «винджаммеры» — выжиматели ветра. Сейчас это — последний винджаммер в мире.

«Крузенштерн» и «Седов» много лет постояли в Кронштадте, поскольку неясно было, на что их употребить. Тем более что на нашем флоте не было парусной команды, которая могла бы такие большие парусники освоить. Но, в 1959–1961 годах команду подготовили, оба парусника отремонтировали, отодрав в каютах переборки красного дерева и другие ненужные советским морякам излишества, и приспособили их в качестве военных океанографических судов для научных работ в океане. Нынешнее имя, в честь знаменитого русского мореплавателя, тоже немецкого происхождения, адмирала Ивана Федоровича (Иоганна-Теодора) Крузенштерна парусник получил в 1946 году. С 1961 года «Крузенштерн» начал новую жизнь как экспедиционное океанографическое судно военной гидрографии.

Главное достоинство «Крузенштерна», обеспечивающее его долголетие, — корпус. Известно, что срок средней «жизни» современного судна не превышает, как правило, двадцати лет. Причина этого — неостановимая коррозия стального корпуса, которой не в силах противостоять никакая покраска. У «Крузенштерна» же, как уверяли меня моряки, стальной корпус при постройке был плотно обшит пробковым деревом, не допускающим контакта морской воды со сталью. Поэтому уже более семи десятков лет он не только плавает в океане, но и до сих пор выигрывает призы на парусных гонках, вроде полученной им недавно «Голубой ленты Атлантики».

«Корабль к походу изготовить!» — рявкнул вдруг вслед за

оглушительным звонком хриплый бас из висящего рядом со мной на переборке небольшого мышино-серого цвета динамика, и я от неожиданности дернул головой, как кот, которому внезапно подули в ухо. Над нашими головами глухо застучали по палубе тяжелые матросские ботинки. Вот уже неделю жили мы на корабле, а все никак не могли привыкнуть к принудительной трансляции — все казалось, что каждая команда, объявленная дежурным офицером, относится именно к тебе, и надо сломя голову мчаться куда-то и что-то немедленно исполнять.

Экипаж экспедиционного океанографического судна «Крузенштерн» (или «ЭОС» — по военно-морской аббревиатуре) состоял из 102 матросов и 18 офицеров, не считая нас — девяти прикомандированных. О нас, однако, разговор ниже. Судно, хоть и парусное (а возможно, именно поэтому), было по военной табели определено как «корабль Первого ранга». Должность командира занимал капитан I ранга, должности его заместителей — капитаны II ранга, а командиры «боевых частей» были капитанами III ранга — так же, как на современном крейсере.

Главными людьми на «Крузенштерне» были боцмана — палубная команда, управлявшаяся с парусами. Командовал ими второй помощник — капитан III ранга Владимир Тимофеевич Роев, невысокий плотный человек, с курносым носом и озорными глазами, немного напоминавший обликом Фернанделя. Был он мастером спорта по яхтам, парусное дело любил фанатично и знал досконально. «Вот поймают меня в плен американцы, — пошучивал он в кают-компании, раскуривая трубку, — и начнут меня бить, пытать и выспрашивать про ракеты или подводные лодки, а я им — шиш. И скажут они, не добившись от меня показаний: «А ведь совсем неплохо держался этот русский!» А что я им могу сказать, когда кроме парусов ничего не знаю?»

Именно Роев подробно познакомил меня с названием и назначением каждого паруса и каждой детали рангоута. Как музыка из детских сказок, звучали произносимые им названия носовых косых парусов: «бом-кливер», «миддель-кливер», «кливер», «фор-стеньги-стаксель».

Вообще тайны звучных морских названий усваивались нами довольно просто: «Ударился? — Как называется?» Это относилось к высоким комингсам, о которые мы били ноги, спотыкаясь, к низким водонепроницаемым переборкам, о которые мы ударялись лбами, забывая вовремя пригибаться, к крутым и скользким трапам, где только оступись — и костей не соберешь, к фальшбортам и кнехтам, на которые не дай Бог сесть. Когда я впервые услышал по трансляции грозный приказ: «Городницкому — срочно прибыть на шкафут», — с ударением на «и» в слове

«прибыть», то долго бегал по судну в поисках помещения, где стоит шкаф. Оказалось, что шкафут — это носовая палуба между баком и спардеком, и никакого шкафа там нет.

«Пить чай на клотик» нас не посылали и «принести ведро пару» из машинного отделения тоже не требовали, поскольку прикомандированных штатских вообще поначалу на военном паруснике считали возмутительным недоразумением. Что же касается морских названий, то мне они понравились своим глубинным историческим смыслом и лаконизмом, идущим от древних немецких и голландских корней. Многие из этих названии привез из обучения в еще закладывающийся только комариный и болотистый Санкт-Питерс-Бурх молодой корабельный мастер Петр Алексеев. Сколько раз потом мне доводилось наблюдать, как чугунные кнехты, упорные и молчаливые, как солдаты, стойко держат наброшенные на них швартовы, как быстро закрепляется фал на нагеле, напоминающем вбитый гвоздь. А грозное слово «полундра» — короткий и выразительный перевод на русский выражения «фалл ундер» — бойся предмета, падающего сверху!

«Баковые — на бак, ютовые — на ют, — снова заклокотал над нашими головами бас в динамике. — По местам стоять, со швартов сниматься!» Смысл этой команды, услышанной мною впервые в декабре 61-го в Балтийске и много раз слышанной за последующую четверть века, всегда поражал меня своей значительностью. Действительно, а вдруг баковые, не дай Бог, пойдут по ошибке не на бак, а на ют, а ютовые — наоборот — на бак, и все перепутается?

Но тогда, в первый раз, нам было не до тонкостей командной лексики — мы накинули куртки и выскочили наружу.

На промерзших булыжниках заснеженного пирса стоял небольшой матросский оркестр, зябнувший в куцых шинелишках, и самоотверженно дул в трубы коченеющими губами. Рядом с оркестром, приложив руки к вискам, стояли несколько офицеров во главе с адмиралом, стараясь не реагировать на пронзительный ветер, залеплявший глаза снегом. Поодаль махали руками немногочисленные жены. На открытом мостике «Крузенштерна» так же торжественно, в полной парадной форме, стояли командир экспедиции Петр Сергеевич Митрофанов, командир «Крузенштерна» капитан I ранга Власов и другие офицеры. Таких торжественных и парадных проводов мне видеть раньше не приходилось, и сердце мое преисполнилось гордости — вот что значит настоящий флот, настоящее океанское плавание! Впечатление было такое, что мы на судне Колумба плывем открывать Америку.

Торжественность момента, однако, была несколько нарушена. Маленький буксир, отчаянно дымя, начал отводить корму нашего судна от пирса, но швартовая команда зазевалась и не успела сбросить с причального пала один из кормовых концов, который начал опасно натягиваться, угрожая лопнуть и зацепить крутящихся неподалеку накрашенных девиц, машущих матросам на борту. «Уберите детей от концов», — громко скомандовал по радио с мостика не разглядевший их старпом. «Раньше надо было, — весело и громогласно откликнулся в мегафон командир береговой команды, — теперь их от концов за уши не оттянешь». Наконец швартовы были отданы, и подталкиваемые двумя пыхтящими буксирами вдоль неширокого фарватера во льду, мы медленно двинулись от пирса мимо старой немецкой офицерской гостиницы с рестораном «Золотой Якорь», мимо старинного кирпичного маяка, установленного в порту Пиллау еще в прошлом веке, вдоль волнолома, к выходу из гавани, над которым висели свинцовые балтийские облака.

Жить мне довелось вдвоем с Николаем Николаевичем Трубятчинским, в тесной каютке, расположенной в твиндеке, в самой центральной части судна. Преимущество расположения нашей каюты сразу же стало мне очевидно, как только мы вышли из гавани и нас стало немилосердно качать штормовой балтийской волной.

Иллюминатора в каюте не было, его заменял так называемый «бычий глаз» — маленькое подслеповатое и почти не дававшее света отверстие в потолке, именуемом «подволоком». На располагавшейся над нашими головами палубе, называемой «шканцами», все время что-то громыхало, стучало и скрежетало. Убранство каюты было нехитрым — две койки с рундуками, шкафчик и небольшой стол, привинченный к полу («палубе»). На стенах («переборках») красовались вентиляционная труба и уже упомянутый динамик принудительной трансляции. Небогатая обстановка запомнилась мне хорошо, поскольку в этой первой своей каюте мне пришлось прожить более полугола. Однообразие ее серо-коричневого интерьера нарушалось только многочисленными и неистребимыми тараканами да нередкими визитами крыс.

Непрерывные шторма, которыми встретили нас Северное морс, а потом и зимняя Северная Атлантика, где мы попали в «ревущие сороковые», были для нас суровым «морским крещением». По старому морскому закону, в штормовую погоду, чтобы команда не укачивалась, на палубу поднималась из трюма бочка с солеными огурцами и личному составу раздавалась настоящая тарань в жестяных запаянных банках. Гирлянды этой

тарани висели у нас в каюте и в лаборатории. Небольшой перерыв в штормах наступил только тогда, когда мы вошли в Датские проливы.

Как сейчас вижу ясный декабрьский вечер, когда наш парусник медленно двигался Зундом, а вслед нам и навстречу — непрерывная, как автоколонна, вереница судов, украшенных флагами всех стран мира. Как тут не вспомнить героя «Баллады о трех котиколовах» Киплинга, героя, предсмертно плачущего о том, что не увидит огни, «по Зунду летящие в ночь». Мостик на «Крузенштерне» открытый — от ветра, дождя и снега не защищен. Прямо перед ним, на спардеке, расположен такой же открытый штурвал, у которого несут вахту три моряка во главе со старшиной первой статьи Овчуховым. На мостике стоит старший помощник, капитан III ранга Виктор Константинович Шишин. Рядом с ним — замполит. На берегу, плавно скользящем вдоль левого борта, над заснеженными холмами, вдруг открываются башни старинного замка с островерхими зелеными крышами. Это замок Кронберг, знаменитый Эльсинор, где жил когда-то героический и несчастливый датский принц. Сейчас в замке — наблюдательный пункт НАТО. «Овчухов, — слышу я с мостика голос замполита, — погляди-ка налево — видишь замок? Это Гамлета замок — ты Шекспира-то читал?» «Так точно, товарищ капитан второго ранга, — четко откликается Овчухов. — Только, товарищ капитан второго ранга, вопросик к вам имеется, разрешите обратиться?» «Обращайся», — снисходительно кивает замполит. — «Почему замок в Дании стоит? Гамлет-то ведь вроде англичанин?» «Эх, Овчухов, Овчухов, сокрушенно качает головой замполит, — серый ты человек. Политграмоту надо знать. Англичане-то в средние века, как и теперь, колонизаторы были, вот и наставили свои замки по всей Европе!»

Северная Атлантика встретила нас непрерывными зимними штормами. Почти две недели «Крузенштерн» и второй парусник — «Седов» с зарифленными парусами держались носом на волну. Укачались не только мы, но и большая часть экипажа, где было немало молодых моряков. Из-за сильной качки невозможно стало варить борщ на камбузе, и обед раздавали сухим пайком. Мне запомнился «военный совет», когда командование судна и экспедиции призвало «на ковер» нашего синоптика капитан-лейтенанта Гену Дегтярева, требуя от него рекомендаций, куда держать курс, чтобы уйти от циклонов. Убегать, однако, судя по представленной Дегтяревым карте, было некуда. В ответ на резкую брань со стороны начальника экспедиции он заявил: «Осмелюсь напомнить, товарищ капитан первого ранга, что по статистике Ллойда от кораблекрушений ежегодно гибнет

двадцать тысяч человек. Разрешите идти?»

Настоящий ураган прихватил нас уже у берегов Канады. Сила ветра превысила измеряемые пределы. На моих глазах от прибора, которым матрос измерял скорость ветра, оторвало крутящиеся «чашечки». Командир, не сходивший с мостика почти сутки, с лицом багровым, задубевшим от пронзительного ветра, уходил вниз, в медсанчасть, где была единственная ванна. Там, не раздеваясь, он спал в ней, поскольку спать в обычной койке не давала качка. Ударами волн смыло две шлюпки и порвало леера на правом борту. В вахтенном журнале от того времени сохранилась забавная запись, сделанная одним из молодых вахтенных офицеров: «02 часа 07 минут. Наблюдается резкое усиление ветра и высоты волны. Принимаю решение: разбудить командира экспедиции и спросить — что делать». Уже неподалеку от канадского берега стало ясно, что надо менять курс, чтобы парусник не вынесло на скалы. Для этого, однако, необходимо на какое-то время встать лагом к волне, что крайне рискованно, поскольку критический креп суд-, на — около пятидесяти градусов. Все хорошо помнили историю с «Памиром». Другого выхода между тем не было. Всем было приказано надеть спасательные жилеты и покинуть внутренние помещения судна. Офицеры надели чистое белье и парадную форму. Только мы, штатские идиоты, впервые попавшие в океан, радовались этой морской экзотике, напоминавшей рассказы Станюковича, наивно полагая, по своей глупости, что все идет как положено.

Самое интересное, что когда хриплый голос командира приказал по «спикеру» надеть спасательные жилеты, все немедленно перестали укачиваться. Наконец начали опасный поворот. Судно легло на левый борт, и крен достиг пятидесяти градусов. Десяток показавшихся бесконечными секунд — и судно со стоном и скрежетом выпрямилось. Не прошло и двух часов, как все снова стали укачиваться. Пожалуй, за все последующие годы плавании в океане мне ни разу не довелось попадать в такую критическую ситуацию, как в этом первом рейсе в январе 62-го года. Ураганный шторм прихватил нас в тот раз и на обратном пути, у самого входа в Английский канал, когда с левого борта уже был виден мерцающий маяк на мысе Лизард. Сильный, внезапно налетевший шквал не позволил убрать вовремя косые паруса в носовой части судна, и оно стало зарываться бушпритом в воду. Посылать туда людей было нельзя. Я видел, как все тот же Овчухов, широко расставив ноги и поддерживаемый двумя матросами за бока, расстреливал натянувшиеся фалы из автомата Калашникова, и паруса поочередно с пушечным громом улетали в ночь. Наконец, когда отстрелили последний парус — бом-кливер,

судно выпрямилось и перестало черпать воду.

Значительно позднее, плавая на других, более современных судах, я понял высокую степень их безопасности по сравнению с парусником. На них, однако, никогда не возникало странного ощущения полета, которое охватывает только на палубе парусника, бесшумно движущегося в океане, чуть накренясь на один борт. Пароходы, толкаемые винтом, рассекают воду, как плуг пашню — парусник же, перемещаемый как и волна, ветром, не режет воду, а движется вместе с ней. И вместо постоянной неприятной вибрации палубы и стука машин — полная тишина, нарушаемая только негромким шелестом волны о борт и скрипом снастей рангоута.

Удивительной и романтичной казалась мне и специальная вахта, существовавшая на «Крузенштерне» и упраздненная за ненадобностью на современных судах с их прекрасным обзором из ходовой рубки и радиолокацией.

На самой крайней верхней носовой палубе — полубаке, где висит медный корабельный колокол-рында, стоял вахтенный матрос — впередсмотрящий. Каждый час он должен был отбивать «склянки» — время до конца вахты, и докладывать на мостик обо всех опасностях, которые он видит по курсу судна. «Горизонт чист, ходовые огни горят ясно», — слышался время от времени над палубами его голос. Одна из первых песен, написанных в 1962 году на «Крузенштерне», так и называлась — «Впередсмотрящий»:

Маяк далекий в темноте погас.
Ползет туман, и близок шквал летящий.
Не отводи от горизонта глаз,
Впередсмотрящий, впередсмотрящий.

А чего стоили звучные команды, гремевшие по трансляции, когда судно выполняло какой-нибудь маневр: «Все наверх! На брасы, на правую, все реи бакштаг правого галса!»

Ставя и убирая паруса, моряки палубной команды с удивительной легкостью взбирались по вантам на реи и салинги, ловко и уверенно перемещаясь на огромной высоте. Глядя на них, казалось, что дело это совсем простое. Нам же, прикомандированным штатским, категорически запрещалось даже на метр отрываться от палубы. И все-таки — проплавать полгода на паруснике и ни разу не подняться на мачту было выше моих сил. Плавали мы в это время в Карибском море, погода была тихая, и я решился попробовать свои силы. Командирский мостик на «Крузенштерне» расположен около первого грота. Поэтому для

своих подвигов я выбрал второй грот, имея в виду, что вахтенные на мостике обычно смотрят вперед и назад не оглядываются.

Надев выпрошенный у боцманов страховой пояс с карабинчиком, я, оглядевшись по сторонам, начал понемногу подниматься по вантам и так довольно легко достиг марсовой площадки — метрах в двадцати пяти выше палубы. Этого, однако, мне показалось мало, и я решил добраться до салинга. От марсовой площадки вверх вели уже более узкие ванты, да и угол их был куда круче. Стараясь не смотреть вниз, я бодро двинулся дальше, но в какой-то момент, не удержавшись, все же бросил взгляд вниз и оцепенел. Где же судно? Подо мной расстилался необозримый синий океан, и только внизу у самого основания мачты желтела какая-то узкая полоска. Голова моя закружилась. Вдруг ощутивший себя в пустоте, как муха, висящая на зыбкой паутине, я дрожащими руками пристегнул карабин страхового пояса к вантине и ухватился за нее обеими руками. Дальше рассказывал старпом.

«Когда тебя снимали, — похохатывая, объяснял он, — то снимали втроем. Два моряка тебя страховали, чтобы ты с перепугу не свалился, а третий пальцы твои от вантин отжимал». Третьим был все тот же старшина Овчухов, человек страшной физической силы. На пари он не просто гнул руками подкову, а разрывал ее на части. Это он пытался мои пальцы от вантин оторвать! «Но ничего у него не вышло, — продолжал старпом, — ты только головой мотал и мычал, а вантины так и не отпускал. Пришлось Овчухову дать тебе легкий подзатыльник, чтобы ты отключился. Тут ты враз пальцы разжал, и тебя забрали». От «легкого» овчуховского подзатыльника месяца два у меня все не проходил кровоподтек на шее.

По вечерам на шканцах, на открытой палубе, крутили кино. Натягивался экран, и прямо под густой темнотой тропической ночи вспыхивал луч кинопроектора. Зрители сидели на «банках», поставленных на палубе. А над нами мерно, в такт легкой судовой качке, раскачивались над черными реями яркие, непривычно близкие южные созвездия. Под свежим впечатлением от моего неудачного путешествия на салинг, сидя на «банке» и глядя на качающиеся созвездия, я начал придумывать ту самую пиратскую песню, о которой позднее упоминал Визбор:

Моряк, забудь о стороне родной,
Когда сигнал «к атаке» донесется.
Поскрипывают мачты над волной,
На пенных гребнях вспыхивает солнце.
Земная неизвестна нам тоска

Под флагом со скрещенными костями,
И никогда мы не умрем, пока
Качаются светила над снастями.

Через пять лет, в 1967 году, когда готовилась к изданию в Ленинграде первая книжка моих стихов «Атланты», редактор справедливо указал мне на то, что строчка, использованная мной для рефрена — «И никогда мы не умрем, пока качаются светила над снастями», — синтаксически неверна. Песня, однако, уже пелась, и переделывать строчку было невозможно. Так она и осталась без изменений.

Помимо привыкания к трудностям морской жизни, много хлопот доставляло нам привыкание к жизни военно-морской, с ее жестким и часто тупым укладом, «боевой и политической подготовкой». Помню, в первые месяцы пребывания на судне я обратил внимание, как старательно матросы «драят медяшку». «Не проще ли было бы заменить все эти медные поручни хромированными или никелированными?» — спросил я у старпома Шишина.

«Нет, — ответил он, — матрос в море должен всегда быть занят. Все пиратские бунты оттого и происходили, что у людей появлялось свободное время». Он был прав. Когда, уже подружившись с нашими офицерами, я вдруг спрашивал, для чего нужно делать то или другое бессмысленное, на мой взгляд, дело, они с грустной улыбкой отвечали: «Чтобы служба медом не казалась». Они же объясняли мне, что если командир, отдав приказ, понимает, что приказал не то что надо, он свой приказ все равно отменять не должен, иначе подорвет свой командирский авторитет.

Виктор Константинович Шишин, тогдашний старпом на «Крузенштерне» в звании капитана третьего ранга, был одним из первых моих морских наставников. Он терпеливо и доходчиво объяснял мне основные правила корабельной жизни и устройство судна. Невысокого роста, плотный, с седоватым ежиком густых волос, узкой щеточкой усов и озорными глазами, он как будто одновременно успевал повсюду, кого-то распекал, чем-то командовал. «Старпом — это собака на корабле! — объяснял он мне. — Он должен все делать и всем командовать. Командир только в самый ответственный момент появляется на мостике, и то в белых перчатках». Мы с ним подружились. После возвращения я неоднократно бывал в его тесной квартирке в Кронштадте, где ютилась его семья. После 1966 года я потерял его из виду. Позднее мне рассказали, что он стал командиром

современного гидрографического судна и умер от неожиданного инфаркта в одном из рейсов.

Говорят, что умер мой старпом
В дальнем рейсе, в море Средиземном.
Пожелать такой кончины всем нам
Мог бы я во времени ином.
Говорят, что умер мой старпом.
От инфаркта умер, в одночасье.
Давние понятия о счастье
Сразу полетели кувырком.
Тот залив холодный подо льдом,
Дом казенный в стынущем Кронштадте,
Где когда-то пили на закате,
Нынче вспоминаются с трудом.
Не смотреть мне с ним на острова.
Спирт с водой не смешивать в стакане,
Не учить английские слова
Темной ночью в теплом океане.
Где поет о перемене мест
Парусов тугое оперенье
И мерцает над бушпритом крест.
Наклоненный для благословенья.

Командиром «Крузенштерна» тогда был Павел Васильевич Власов, старый и, по-видимому, опытный моряк, но «высших женских курсов» явно не кончавший, зато владевший, как говорили наши офицеры, «тремя языками: строевым, матерным и русским со словарем». Уже при возвращении в Балтийск, еще на рейде, к нам на борт прибыли таможенники для досмотра. Закончив свою работу, они пришли в кают-компанию на обед. Как раз в тот момент началась швартовка судна, и швартующий нас буксир, неудачно потянув за буксирный конец, чуть не вырвал носовой кнехт на полубаке. При этом с мостика по всей судовой трансляции раздался такой чудовищный мат Власова, что обедавшая таможенница поперхнулась супом и пришлось вызывать врача. Помню, он попросил меня заняться с ним английским языком, тем более что ночные вахты наши совпадали. Дело это оказалось трудным, поскольку английские слова отскакивали от его уха, как горох от стенки. Тем не менее одно слово, «эбаут», командир запомнил сразу. «В нем что-то родное звучит», — объяснял он мне. И во всех случаях при встречах с англичанами говорил «эбаут». Спросят его, бывало, например: «Какова длина вашего судна — метров сто?» Он отвечает: «Эбаут».

Гости довольны, кивают. «А сколько вы уже плаваете, в океане, месяца четыре?» «Эбаут», — отвечает он. И опять все в порядке.

Примерно год спустя, во время второго похода на «Крузенштерне», мы зашли на английскую военно-морскую базу в Гибралтар, и командующий базой контр-адмирал сэр Томас Бест пригласил командира экспедиции и командиров судов, среди которых был и Власов, на званый обед, где роль переводчика пришлось играть мне. Когда подали черепаховый суп и лакеи, стоявшие сзади, налили какую-то прозрачную жидкость из графинов в плоские бокалы, поставленные перед нами рядом с обычными рюмками и фужерами, Павел Васильевич, схватив своей крепкой волосатой рукой бокал, сказал: «Переведи — за мир и дружбу!» — и, крякнув, выпил. Адмирал начал что-то смущенно говорить по-английски. Смысл его слов, которые я переводить командиру не стал, состоял в том, что это не вино, а виноградный соус, который доливают в черепаховый суп.

В другой раз, в Центральной Атлантике, где вокруг судна все время сновали акулы, какой-то умник объяснил Власову, что капитан, который съест сердце акулы, становится бесстрашным на всю жизнь. Сразу же после этого началась настоящая кампания по ловле акул, к которой активно подключились наши офицеры. Наконец у какой-то отборной акулы было вынуто сердце, его то ли сварили, то ли поджарили, и вестовой на специальном блюде на глазах у всей команды понес его в командирский салон, куда были приглашены помощники и где на столе ожидала закуски бутылка «Столичной». Не прошло, однако, и пяти минут, как из салона выскочил командир с багровым лицом и кинулся к фальшборту. Зная, что его никогда не укачивает, я был немало удивлен его бурной реакцией на акулье сердце. Так ему и не удалось стать «бесстрашным капитаном».

Несколько раз он выручал меня из довольно критических ситуаций. Дело в том, что у меня почему-то с первых дней пребывания на «Крузенштерне» сразу же не сложились отношения с нашим замполитом.

У замполита были свои непреложные правила. Он считал, например, что рядовые моряки и старшины могут читать только балтийскую многотиражку «Страж Балтики», где все изложено специально для них. А вот центральные газеты — «Правду» или «Известия», они читать не должны, потому что могут кое-чего там и не понять. Поэтому центральные газеты должен нм комментировать и объяснять он сам. Что касается офицеров, то они могут читать и центральные газеты самостоятельно. А вот вольнодумные издания вроде «Литературной газеты» не имеет права читать уже никто, поскольку от них можно ждать разных

идеологических диверсий.

С самых первых дней, как только мы появились на «Крузенштерне», наш замполит почему-то начал подозревать во мне опасного вольнодумца.

Поводом для этого послужило мое явное сопротивление его приказу не появляться на верхней палубе без головного убора, а также покидать ее всякий раз, когда мы встречаемся с военными судами — «чтобы не нарушать строгого облика военного судна своим распущенным видом». Кроме того, я возражал, хотя и безуспешно, против необходимости сидеть каждый понедельник на занятиях по марксистской философии, наивно ссылаясь на законченный институтский курс этой науки. Конфликт с замполитом, чреватый для меня потерей загранвизы, еще обострился после тот, как по его приказу судовая трансляция с утра до ночи беспрерывно на полную громкость передавала одни и те же, безумно всем надоевшие за полгода плавания, песни с нескольких запертых пластинок. В начале книги я уже упоминал о совпадении его мнения о главном назначении радио с мнением моего покойного деда. Среди прочих была там одна особенно опостылевшая мне лирическая песня:

Девушки сидят на подоконнике.
Обнявшись, вполголоса поют.
Где-то их, наверно, ждут поклонники.
Ну и пусть немного подождут.

В конце песни говорится, что девушки ее «оборвут, не кончив, и со смехом побегут с ребятами в кино, и оставят песню грустным эхом биться в запотевшее окно». Песня эта, крутившаяся много раз на дню, обрыдла нам всем, но замполиту она нравилась, и просьбы ставить ее пореже успеха не имели.

В тот день, по случаю женского праздника 8 Марта, обед в кают-компании, где мы, штатские, сидели в самом конце офицерского стола, был праздничным. Павел Васильевич по такому случаю надел парадную тужурку с многочисленными орденами. Слева от него, как и положено, сидел замполит, справа — старпом. Подали борщ, и замполит налил себе полную тарелку. И тут, как назло, снова зазвучала эта несчастная песня. Я решил идти ва-банк. «Павел Васильевич, — громко спросил я через весь стол, — разрешите обратиться?» «В чем дело?» — спросил он подозрительно. — «Почему в День советских женщин у нас по радио поют такие идейно невыдержанные песни?» Офицеры, разговаривавшие за столом, отложили ложки и стали прислушиваться. Замполит, кося на меня недобрым глазом, тем

не менее набрал в рот полную ложку борща. Это-то его и подвело. «Ну, как же, — продолжал я, — вы послушайте, какие оскорбительные, пошлые слова про наших женщин звучат в этой песне!» «Какие?» — покосившись на замполита, снова спросил Власов. «А вот про них говорится, что они «оборвут, не кончив и со смехом»». Тут замполит от неожиданности и возмущения поперхнулся и весь свой борщ выдал на ордена парадной тужурки командира. Над столом повисла мертвая тишина. «За борт», — брезгливо отряхивая салфеткой ошметки капусты с лацканов, коротко бросил командир. «Его?» — с надеждой спросил оклемавшийся замполит. «Пластинку», — рявкнул Власов и, поднявшись, вышел из кают-компании.

Замполит, однако, был человек опытный и злопамятный. До этого он служил в Клайпеде на базе подводных лодок, где любил разбирать персональные дела, связанные с супружескими изменами. «Что же это происходит, — заявил он как-то на партийном собрании. — Офицеры плавают в море, другие моряки с ихними женами спят, а политработники стоят в стороне? Так не пойдет. Мы должны к этому вопросу подключиться». В случае со мной он тоже ждал своего часа и дождался. Поход наш уже перевалил за половину, когда московское радио вдруг передало мою песню «Снег» в исполнении артиста Юрия Пузырева. Примерно через день после этого ко мне явилась делегация от боцманской команды с просьбой написать «такую же хорошую песню про море, про то, как мы здесь всякие трудности переносим вдали от жен и подруг, но все-таки море любим больше». «Только, если можно, — сказал Овчухов, возглавлявший делегацию, — напишите попросту, по-матроссски, без всяких интеллигентских выкрутасов». И я на свою беду попробовал, написав шуточную матросскую песенку:

…Ах, не ревнуй меня к глазам лукавым,
А ты ревнуй меня к придонным травам.
Ах, не ревнуй меня к груди налитой,
А ты ревнуй меня к песне забытой.
Мне бы вовсе ее не слушать, —
Как услышу, дышать невмочь.
Снова песня источит душу
И из дома погонит прочь.

Морякам новая песня как будто понравилась. Во всяком случае, они ее тут же переписали и даже пару раз успели исполнить на баке вечерком под баян, на котором виртуозно играл старшина второй статьи, известный сердцеед Слава

Агуреев.

На следующий день, однако, начались неприятности. Распевавшие песню неожиданно получили по два наряда вне очереди, а сам текст песни у них был конфискован. Ко мне явился замполит и сказал: «Ну, когда мы в базу вернемся, с вами Особый отдел будет разбираться за ваши идеологические диверсии. А я все-таки хочу спросить, как это так — я дней и ночей не сплю, личный состав неустанно воспитываю в духе постоянной преданности и идейной чистоты, а вы взяли и мне его весь в один день морально разложили?» Я не на шутку испугался: «Чем же это я разложил?» «Вы что, и вправду не понимаете или ваньку валяете? Это ваши слова?» — И он сунул мне под нос отобранную у Агуреева тетрадку, где под мою диктовку был записан текст песни. — «Мои». «Ну вот, а еще отпираетесь, — сказал он с торжествующей улыбкой. — Вы тут ясно пишете, что у женщины есть грудь!» «Ну и что?» — не понял я. — «А то, что вы таким образом на секс намекаете. А для советского человека у женщины грудь в любви — не главное, главное — это моральный облик!» Сразу стало ясно, что общего языка мы с ним не найдем…

Дело однако было не в «сексуальной строчке». Главной крамолой для замполита были вовсе не тексты моих песен, а сам факт появления их на судне, который не вписывался в установленный нм жесткий регламент постоянного заполнения матросских ушей произведениями могучей советской песенной индустрии. Более всего его встревожило, что матросы эту песню (и другие мои песни) переписали, разучили и поют сами, даже не спросив у него на это разрешения. «Это что же, сегодня они ваши тексты переписывают, а завтра уже откровенно враждебные начнут петь!» За несколько дней перед этим он конфисковал у инженера из нашей группы Сергея Земскова большую бобину с песнями Булата Окуджавы и демонстративно кинул ее за борт. Судя по всему, он рад был бы то же самое немедленно сделать со мной. Так в масштабах нашего судна, как в капле воды, отобразилась ситуация с отношением бдительных партийных инстанций к авторской песне, в которой они сразу же уловили «чуждый голос».

В начале июня, когда «Крузенштерн» возвратился в Балтийск, замполит ухитрился внести историю со злополучной песней в свое политдонесение, которое попало на стол к тогдашнему начальнику политотдела Дважды Краснознаменного Балтийского флота контр-адмиралу товарищу Почипайло. Туда же шустрый замполит принес и отобранную у матросов магнитофонную пленку с записью той песни, с просьбой прослушать для определения меры пресечения для автора, «разложившего личный

состав». Начальник политотдела, как рассказывали мне потом случившиеся там офицеры, торопился в Калининград на футбол — команда балтийцев играла с каким-то сильным противником, но все-таки выслушать песню согласился. «Ну, что же, — сказал он потом, надевая фуражку, — ничего особенного, правильная песня. Она показывает, что моряк должен любить море больше, чем бабу». И, уже выходя в дверь, обернулся и твердо закончил: «Разрешить!» Это мудрое решение определило не только судьбу песни, которая не стоила обсуждения в столь высоких инстанциях, но и судьбу автора, дав ему возможность плавать в океане и дальше.

За последующие тридцать лет плаваний в океане мне немало довелось иметь дел с замполитами или «первыми помощниками», как их называют в гражданском флоте. Бывали среди них и порядочные люди. Но уж сама природа этой совершенно ненужной на судне должности такова, что в лучшем случае обязывает человека к безделью, а в худшем — к соглядатайству и доносительству. Отдельные представители славной этой профессии ухитрялись успешно сочетать первое со вторым. Когда судно находится в рейсе несколько месяцев подряд, хуже всего на нем тому, кому делать нечего. Я помню, как мучился один из наших «перпомов» на судне «Академик Келдыш», изнывая от вынужденного безделья. Стосковавшись по земле и оставленному им на берегу садовому участку, он устроил на аварийном мостике над ходовой рубкой настоящую оранжерею, которой мог бы позавидовать самый взыскательный садовод.

Одним из самых порядочных первых помощников, встретившихся мне, был Николай Григорьевич Тур, долгие годы плававший на «Дмитрии Менделееве». О его щепетильности и деликатности ходили анекдоты. В одном из рейсов накануне дня 8 Марта мы готовили стенгазету, чтобы вывесить ее наутро в кают-компании. Часов в 12 вечера выяснилось, что надо срочно что-то нарисовать. Беспокойный и настырный заместитель начальника рейса, бывший к тому же еще и представителем партбюро Института, настропалил Тура пойти и срочно поднять второго электромеханика — штатного судового художника. Перлом отправился к нему в каюту, но тут же вернулся, несколько сконфуженный. «Понимаете, я постучался к нему, а у него, оказывается, женщина. Я не решился их беспокоить», — смущенно объяснил он.

В первом моем плавании на борту «Крузенштерна» появилась еще одна песня «Прощание с городом», начинавшаяся словами:

Мне разлука с тобой знакома.

Как у времени ни проси.
Он горит у подъезда дома.
Неуютный огонь такси.
Чемодан мой несут родные,
И зеленый огонь погас,
И плывут твои мостовые.
Может, нынче в последний раз.

Песню эту я, по возвращении на берег, несколько раз где-то спел, а потом начисто про нее забыл. Прошло много лет. В 1999 году мне в руки попал недавно составленный сборник песен, которые пели наши солдаты в Афганистане во время несчастной афганской войны, и я с удивлением обнаружил там эту песню с пометкой «автор неизвестен».

Второй поход «Крузенштерна» зимой 62-го – 63-го годов был тоже нелегким. Новый 63-й встречали в океане. Поскольку на военном судне был строгий сухой закон, то, укрывшись в одной из дальних кают, раскачиваемой ночным штормом, пили спирт, разведенный наскоро в химической колбе. Свежеразведенный спирт, как всегда, попахивал резиной и дымился, растворяясь в опресненной воде. Прямо с мостика после вахты, сменившись в момент прихода Нового года, в «ноль» часов, к нам попал лейтенант Володя Георгиев, замерзший, с окоченевшими руками и красным от ледяного ветра лицом. Ему налили спирта, и он, расчувствовавшись, начал предлагать тост «за тех, кто на земле», за наших жен, «которым сейчас труднее, чем нам, потому что у нас тут соблазнов никаких нет, а у них — сплошные соблазны». Тост этот, однако, мужской поддержки не получил, и Георгиеву пригрозили, что ему больше не нальют, если он и далее будет нести чушь. В результате этого спора в первый день Новою года появилась песня «За тех, кто на земле».

В этом втором зимнем походе, в отличие от первого, когда мы проплавали полгода «без берега», заходы в иностранные порты все-таки были. Первым из них, и вообще в моей жизни, стал заход в порт Гамильтон, на Бермудские острова. Тогда мы еще мало что знали о зловещем Бермудском треугольнике и ничего особенно здесь не опасались. Наоборот, зеленые, залитые ласковым солнечным светом Бермудские острова, забитые респектабельными отдыхающими из всех стран мира, улыбающиеся женщины всех цветов и оттенков после месячного плавания в зимней штормовой Атлантике показались нам призрачным раем. К судну тут же подогнали два автобуса с девицами, однако наш бдительный замполит на борт их не

допустил. «Как вы так долго обходитесь без женщин?» — удивлялись журналисты местных газет. Вид нашего парусника настолько восхитил губернатора Бермуд, дядю английской королевы, что он специально вызвал из Лондона киносъемочную группу, чтобы снять «Крузенштерна».

Поскольку во втором походе район работ был поюжнее, то и погода была получше. Когда пересекли северный тропик, началась такая жара, что в каюте спать стало практически невозможно. Пришлось устраиваться на палубе, на шканцах или ботдеке. За несколько месяцев я привык, пробуждаясь, видеть над собой напряженные паруса и слышать успокаивающее негромкое поскрипывание рангоута. Так появилась песня «Паруса «Крузенштерна»»:

Расправлены вымпелы горло.
Не жди меня скоро, жена, —
Опять закипает у борта
Крутого посола волна.
Под северным солнцем неверным.
Под южных небес синевой —
Всегда паруса «Крузенштерна»
Шумят над моей головой.

И дома порою ночною,
Лишь только раскрою окно,
Опять на ветру надо мною
Тугое поет полотно.
И тесны домашние стены,
И душен домашний покой.
Когда паруса «Крузенштерна»
Шумят над моей головой.

Пусть чаек слепящие вспышки
Горят надо мной в вышине.
Мальчишки, мальчишки, мальчишки
Пусть вечно завидуют мне.
И старость отступит, наверно, —
Не властна она надо мной.
Когда паруса «Крузенштерна»
Шумят над моей головой.

Песня эта первоначально была придумана на мой собственный мотив, но примерно через год композитор Владимир Струненко, живший в Мариуполе, в давние времена не слишком

удачно переименованном в город Жданов, написал свою музыку на этот текст и послал песню на радиостанцию «Юность». За почти сорок лет песня «Паруса «Крузенштерна»», постоянно прописанная на судне, обошла вместе с ним немало морей и океанов. Побывав снова на «Крузенштерне» в 1996 и 1998 годах (теперь «Крузенштерн» — учебное судно Калининградской мореходной академии), я убедился в том, что ее неизменно поет уже не первое поколение плавающих на нем курсантов. Несколько лет назад вышла большая книга, посвященная славной истории этого парусника, и мне было приятно, когда составители попросили у меня для публикации автограф песни.

Я уже упоминал, что более трех месяцев во втором походе мы проработали в жарких тропических широтах Атлантики. Запасы пресной воды были скудными. Стопроцентная влажность и жара даже ночью не давали передышки. Горячий душ устраивался только раз в месяц (три человека под один рожок, не более чем на пять минут). Глаза, обожженные солнцем и разъеденные соленой водой, слезились от конъюнктивита. Постоянная солонина с томатной пастой и комбижиром корежила наши неопытные желудки. Все члены экипажа стосковались по твердой земле под ногами вместо валкой и скользкой палубы, по освежающему холоду вместо изнурительной тропической жары, по деревьям и снегу. И вот в самом начале апреля мы пришли в канадский порт Галифакс в Новой Шотландии. На заснеженном холмистом берегу стояли столь милые нашим стосковавшимся глазам березовые рощи, сменявшиеся сосняком. Я еще мало поездил по миру и наивно полагал, что березы растут только в России. Уже потом выяснилось, что растут они — но всему земному шару за редким исключением. Увиденный пейзаж настолько напомнил родное Подмосковье, что у всех защемило сердце. Тогда-то и появилась на судне грустная песенка «Над Канадой небо сине», начавшая сразу же существовать как бы отдельно:

Над Канадой, над Канадой
Солнце низкое садится.
Мне уснуть давно бы надо.
Только что-то мне не спится.
Нал Канадой небо сине.
Меж берез дожди косые, —
Хоть похоже на Россию,
Только все же — не Россия.

Примерно через год канадское радио в передаче на русском языке сообщило: «Как нам стало известно, в Советском Союзе

впервые написана песня о Канаде. По нашим сведениям, написал ее моряк с военного парусника «Крузенштерн»». После этого по радио прозвучал фрагмент записи этой песни. Уже значительно позднее, в 76-м году, во время 16-го рейса научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев», попав на заход в столицу Новой Зеландии Веллингтон, я услышал в гостях у новозеландского профессора Киблуайта песню на английском языке, записанную на пластинку, которая показалась мне странно знакомой. Она называлась «Заход солнца в Канаде» («Sunset in Canada») и представляла собой довольно точный английский перевод моей песни. Правда, исполняло ее женское трио под джаз так красиво, что опознать первоисточник было не просто. За минувшие десятилетия песня широко распространилась среди русской эмиграции в Канаде и пользуется там популярностью. Труднее было с публикацией этой песни у нас. В начале 70-х главный редактор одного из толстых журналов снял ее уже из набора как «явно эмигрантскую».

В декабре 2000 года на авторском вечере в городе Жуковский ко мне подошла женщина, в прошлом работавшая в горкоме комсомола, и рассказала, как в конце 70-х она, увлекаясь авторской песней, пела песню про Канаду на каком-то конкурсе, за что получила грозную отповедь начальства. Не успокоившись на этом, она выяснила фамилию автора и пыталась узаконить эту песню в своем репертуаре. «Не морочьте нам голову, — сказали ей в горкоме. — Городницкий — известный советский ученый, а песня написана типичным эмигрантом».

На песню эту написано немало пародий в разное время. Самая первая из них связана с печальным событием, случившимся в Северной Атлантике. Неподалеку от нас в 1963 году трагически погибла американская атомная подводная лодка «Трешер». Оказавшись вблизи от места, где это случилось, мы узнали об этом сначала по радио, а потом в районе появился целый американский флот, ведущий поиски. Из сообщений по радио наше начальство поняло также, что поскольку лодка атомная, то в результате бедствия могло раздавить атомный реактор, что создает радиоактивную угрозу. Надо было что-то срочно предпринимать. У нас на «Крузенштерне» где-то в боцманских кладовых гнили три положенных по штату старых и проржавевших от морского влажного воздуха радиометра. Они находились на попечении одного из боцманов, числившегося «военным химиком». Попытка включить их и померить радиацию ничего не дала — дозиметры были неисправны. Вот тут-то командир Власов вспомнил обо мне. Дело в том, что я, по военной специальности, приобретенной в институте, — инженер-

радиометрист. Меня немедленно вызвали на мостик, где Власов, демонстрируя знание сразу всех трех языков, которыми владел, приказал: «Исправить, измерить и доложить».

Нельзя не отметить в связи с этим, что когда я впервые попал на военное судно, то четкость команд и докладов об исполнении, все охватывающий и предусматривающий корабельный распорядок, грозные кары за малейшее отклонение от указаний создали у меня, новичка, обманчивую иллюзию, что уж на военном-то флоте в отличие от «гражданки» существует железный порядок. В 11 часов 15 минут, например, принудительная трансляция разносила по всем судовым помещениям такую команду: «Окончить корабельные работы — команде руки мыть», — чтобы никто не забыл вымыть руки, и только через десять минут после того: «Команде обедать».

Уже значительно позднее, отплавав на военных судах, я усвоил, что бардак там не меньше, а пожалуй, даже больше, чем на гражданских, поскольку правду начальству все докладывать, как правило, боятся и поэтому четко, по-военному приложив лапу к уху, рапортуют «есть», хотя и знают, что не только «нет», но даже и быть не может. Мне неоднократно приходилось быть свидетелем того, как утяжеленное погонами и золотым шитьем начальство назначало сроки подготовки для выхода судов, зная наперед, что они нереальны, и подчиненные это отлично знали, но все молчали, опасаясь за свои «звездочки». Приходилось только удивляться, как все-таки при таких порядках мы ухитрились выиграть прошедшую войну. Остается предполагать, что у противника, несмотря на его хваленую немецкую педантичность, порядка было еще меньше.

Вооружившись тестером и паяльником и призвав на помощь весь свой прошлый опыт по ремонту радиометров, почерпнутый в основном в студенческие годы и в экспедициях в горы, я к концу дня с трудом собрал из трех отсыревших и ржавых радиометров один. Командир на мостике явно волновался. Сначала он каждые полчаса посылал ко мне вестового (телефона у нас в лаборатории не было), нетерпеливо поторапливавшего меня, потом врубил милую его сердцу судовую трансляцию и начал прямым текстом громко объяснять, что он думает обо мне и моих ближайших родственниках. Руки у меня тряслись. Нервозная обстановка, страх перед грозным начальством и боязнь не справиться привели к тому, что я второпях неправильно припаял концы амперволтметра. Поэтому, когда я включил прибор, чтобы опробовать его, индикатор сразу же зашкалил, сигнализируя о сильнейшей радиации (более 100 рентген/час). Холодный пот прошиб меня. Я хорошо помнил описанную выше недавнюю

историю с испытанием атомной бомбы на Новой Земле, когда у нас под Игаркой вот так же точно зашкалило все радиометры. Сопевший за моей спиной вестовой испуганно охнул и помчался докладывать на мостик.

Не успел я опомниться, как по всему судну оглушительно загремели колокола громкого боя, возвещая боевую тревогу. Приказав наглухо задраить все водонепроницаемые переборки и почему-то раздать противогазы, которые в подобных ситуациях, как известие, не слишком эффективны, командир дал полный ход, уходя из опасного района атомного заражения. Через два часа был объявлен всеобщий аврал по дезактивации судна. Мыли и чистили все, безжалостно сжигая ветошь, которой тщательнейшим образом протиралось все оборудование и даже рангоут. Только к исходу суток аврал завершился, противогазы были сняты, и мне было предложено снова провести контрольные измерения. Вот тут-то я и обратил внимание на то, что стрелочный индикатор у меня включен наоборот. Когда я включил его правильно, перекинув минус и плюс, стало ясно, что тревога оказалась ложной. Я, однако, к этому времени уже хорошо усвоил военно-морские порядки и докладывать начальству не стал.

По возвращении в Ленинград я рассказал об этой трагикомической истории Нонне Слепаковой, и она тут же выдала на песню «Над Канадой» такую пародию:

Месяц на небо подвешен
Иностранно и картинно.
Где-то рядом гибнет «Трешер»,
Гибнет радиоактивно.
И нельзя назвать причину,
От которой вся кручина, —
Хоть похож я на мужчину.
Только все же — не мужчина.

В 1969 году, когда начались трения с коммунистическим Китаем и произошли вооруженные пограничные столкновения на острове Даманский, замечательную пародию написал известный московский пародист Александр Борисович Раскин:

Над Китаем небо сине,
Меж трибун вожди косые.
Хоть похоже на Россию,
Слава Богу — не Россия.

А самую короткую пародию совсем недавно придумал Леонид Сергеев: «Надька, надо, Надька, надо».

В походе 63-го года я подружился с капитан-лейтенантом Володей Мигучкиным, оказавшимся поклонником моих песен. Нередко, выпив изготовленного им самим с большим искусством «шила» (так называется разведенный спирт, настаиваемый обычно на каких-нибудь ингредиентах), он начинал неостановимо петь свою любимую песню: «На материк, на материк идет последний караван». Это служило привычным сигналом для всех, что Володя уже «в норме» и пора расходиться. Я, однако, по молодости и авторскому тщеславию, был весьма польщен такой явной привязанностью к моей песне и решил испытать ее пределы. «Володя, вот ты все говоришь, что песня эта гениальная, и что ты только за эту песню — друг мне до самой смерти». «Ну и что — друг, конечно», — зарычал Мигучкин, прервав на минуту пение. «А вот тебе завтра скажет начальство, что Городницкий — враг народа и ты лично должен его шлепнуть вот из этого пистолета — что ты будешь делать?» — расслабившись от «шила», легкомысленно спросил я и тут же пожалел об этом. Вопрос оказался жестоким. Мигучкин внезапно замолчал и, уставившись в угол, долго и мучительно морщил лоб, на котором выступил пот от непривычного напряжения. Потом, так же не глядя на меня, неожиданно трезвым голосом медленно и твердо сказал: «Если прикажут — конечно, шлепну. — И, виновато взглянув на меня и взмахнув отчаянно рукой, добавил: — Только запью потом!»

Уже по дороге из Атлантики домой «Крузенштерн» зашел в Гибралтар, и я впервые увидел знаменитые Геркулесовы Столбы, отделявшие когда-то для древних греков Средиземное море от «истинного Понта» — Атлантики. Как раз в это время самый молодой из наших офицеров, уже упомянутый романтичный и наивный лейтенант Георгиев, получил радиограмму от жены, где она просила простить ее и объявляла, что уходит к другому. Среди офицеров «Крузенштерна» воцарился настоящий траур. На самого Володю было страшно смотреть. По совету судового врача Виталия Ласкавого за ним приглядывали друзья, «чтобы чего не случилось». Неожиданная эта беда касалась каждого. У любого из 126 мужчин, находившихся на судне, оставались дома жена или подруга.

За более чем тридцатилетнее пребывание в экспедициях, в замкнутых мужских коллективах, на долгие месяцы оторванных от дома — на Крайнем Севере и потом в океане, — мне неоднократно приходилось быть свидетелем немалого числа сердечных драм, разыгрывавшихся в итоге «столь долгого

отсутствия» мужчин дома. По молодому недомыслию, полностью разделяя общее мнение окружавшей меня мужской среды, я привык относить это к ужасной изменчивой сущности женского характера, не дающей возможности им сохранить верность одному «отдельно взятому» мужчине. Это привело, в частности, к тому, что, плавая в океане, я написал немало стихов и песен «женоненавистнического» толка (к сожалению, как правило, не без оснований). Лишь значительно позднее я понял, что дело вовсе не в женщинах, а в существе любовных отношений, которые не допускают долгих разлук. «С любимыми не расставайтесь» — вот единственный надежный рецепт против измен.

Тогда же, стоя под Гибралтарской скалой и переживая по поводу злополучной радиограммы, мы вдруг вспомнили, что за много лет до нас и даже до нашей эры где-то здесь плавал легендарный Одиссей, который никак не мог вернуться на родную Итаку из-под стен разрушенной Трои, возможно, потому, что с навигацией у древних греков было еще хуже, чем у нас. И у него были все основания волноваться по поводу супружеской верности его подруги, дом которой осаждали многочисленные женихи. Он, правда, судя по данным мифологии, нисколько не волновался, а по возвращении попросту перебил всех мужчин, которых застал на территории своего дома. Мы были лишены этой приятной возможности, поэтому нам оставалось только переживать. Одиссей тем не менее стал близким мне героем, и в результате появилась песня, названная так же, как Гибралтарский пролив назывался у древних греков, «Геркулесовы Столбы», заканчивавшаяся довольно наивным призывом:

Ты не спеши меня забыть,
Ты подожди немного,
И вина сладкие не пей,
И женихам не верь.

Здесь же, в Гибралтаре, была написана еще одна, на этот раз уже «лихая» матросская песенка «Моряк, покрепче вяжи узлы», вполне в духе нашего тогдашнего настроения:

…Не верь подруге, а верь в вино —
Не жди от женщин добра:
Сегодня помнить им не дано
О том, что было вчера.
За длинный стол посади друзей
И песню громче запой, —
Еще от зависти лопнуть ей,

Когда придем мы домой.

Песню эту, как выяснилось уже через много лет, любил петь Высоцкий, и она сохранилась на записи в его исполнении.

На берегу мне поведали, что неподалеку от Гибралтара, в Испании, есть небольшое, но ухоженное кладбище, где на серых плитах надгробий латинскими буквами выведены русские имена, и мне вспомнились наши летчики и танкисты, погибшие на войне за «республиканскую Испанию» в 36-м году. Несчастная эта война, закончившаяся полным поражением и последующим истреблением в сталинских лагерях и тюрьмах многих ее советских участников, была очень популярна в годы моего довоенного детства. Мне было неполных четыре года, когда я, как и все, с гордостью носил «испанку» — высокую пилотку с кисточкой спереди — точно такую же, как героические бойцы республиканской Испании.

Возвратившись на судно, я написал песню «Испанская граница», где были такие строчки:

Каталонские лавры над бойцами шумят,
Где-то шепчут над ними магаданские ели.
Спят комбриги полегших понапрасну бригад.
Трубачи озорные постареть не успели.

Что делать, тогда, в начале 60-х и я, как и другие, еще наивно верил в «комиссаров в пыльных шлемах»!

Весной следующего, 64-го года, в марте, я летел через Москву в Арктику для участия в экспедиции на Северный полюс, на станцию СП-17. Самолет Полярной авиации должен был доставить нас из подмосковного аэропорта Захарково, где тогда базировались самолеты УПА, в Косистый, откуда нас забрасывали на льдину. Поскольку летел я на Полюс, то несмотря на теплый московский май, одет был соответственно — в унты, меховые брюки и выданный нам толстый водолазный свитер. Кроме того, нам, в обязательном порядке, выдавали револьвер, без которого нельзя было возить с собой секретные аэрофотоснимки, необходимые для работы, поэтому сзади у меня болтался офицерский наган-самовзвод в желтой кожаной кобуре. Сдать его в камеру хранения, положив в рюкзак, я побоялся — вдруг сопрут, а ездить с ним в московском метро тоже было не слишком удобно — меня дважды забирали в милицию и требовали документы.

Деваться мне было некуда, и во второй половине дня я приехал в гости к переводчику-испанисту Овадию Герцевичу

Савичу, жившему в большом писательском доме поблизости от метро «Аэропорт». Увидев мое экзотическое экспедиционное одеяние и кобуру, Савич вдруг припомнил, что когда их отправляли в Испанию в 36-м (а он был там вместе с Эренбургом и работал переводчиком в советском посольстве), то им тоже выдавали такие же свитера и наганы. Как раз в тот день в дом пришли несколько стариков из числа участников войны в Испании. Незадолго перед этим, в связи с годовщиной гражданской войны в Испании, всем ветеранам ее была выдана памятная медаль на красной треугольной планке. Собралось их с такими медалями у Савича всего четверо или пятеро — больные измученные старики, чудом выжившие в потемках ГУЛАГа. Пили присланное Савичу Пабло Нерудой настоящее испанское вино — малагу, в непрозрачной густоте которой, дробясь, поглощается солнечный луч. Я рассказал о кладбище в Испании, и Савич попросил меня показать песню, которую я и спел неуверенным голосом, робея перед седыми ветеранами испанской войны. Тем большими были мои смущение и растерянность, когда я увидел на их глазах слезы.

Несколько лет спустя, уже в 67-м году, я познакомился в Мурманске с талантливыми мурманскими поэтами Борисом Романовым (бывшим тогда капитаном на спасателе), Владимиром Семеновым, Григорием Остером (служившим тогда матросом на Северном флоте и ставшим впоследствии известным детским писателем), а также с веселым и общительным парнем — редактором мурманского книжного издательства Александром Тимофеевым. Он предложил мне дать в их издательство книжку стихов. Как раз незадолго до этого в Ленинграде вышел первый мой сборник «Атланты», и предложение это было для меня неожиданной удачей. «Нам давай все, что хочешь, — сказал мне Саша. — У нас все пройдет». И я сдуру дал «все, что хотел». Рукопись же, вопреки легкомысленным посулам Саши Тимофеева, пошла в Москву, в Госкомиздат, где попала к штатному рецензенту, некоему Толмачеву, написавшему зубодробительную разгромную рецензию, более напоминавшую донос, после чего издательство рукопись сразу же мне возвратило, а Тимофееву крепко досталось.

Несколько лет назад мне в руки попали копии «Справки о работе Мурманского книжного издательства», представленной в мурманский обком КПСС, и доносительской рецензии А. Толмачева. Вот что писал бдительный Толмачев в рецензии по поводу песни «Испанская граница» и стихотворения «На смерть О. Савича», которые он назвал «идейно порочными»:

«Поэт так пишет о наших добровольцах, погибших в Испании:

Но молчат комиссары в той земле ледяной.
Им в завьюженной тундре солнце жаркое снится,
И колымские ветры все поют надо мной
У испанской границы, у испанской границы.

В стихотворении «На смерть О. Г. Савича» читаем:

И в строй встают из сумеречной мглы
Читатели — комбриги и комэски,
Что ждут его сейчас в горах Уэски
И в ледяных постелях Колымы.
Пускай толкуют из конца в конец,
Кто должен быть теперь его наследник.
Ликуйте, палачи, убит последний
Республиканской армии боец.

Выходит, что наши добровольцы, вернувшись из Испании, нашли гибель на Колыме. Это же явная ложь. И поныне еще здравствуют многие участники боев в Испании. Их можно найти и среди наших прославленных военачальников. И на каком основании О. Савич называется «последним бойцом республиканской армии»?

В этих же стихах А. Городницкий пишет о русской поэзии:

Воспитанница каторжных систем.
Что ты несла на смерть своим поэтам?
Трусливое молчание при этом
И скорбное молчание затем.

В стихотворении, посвященном О. Савичу, А. Городницкий доходит до откровеннейшего кощунства, затаптывая в грязь своих клеветнических выдумок все святое».

Вот еще несколько характерных цитат из рецензии:

«Проникнуты духом нигилизма, безответственной демагогии и такие стихотворения А. Городницкого, как «Поэты», «Слова», «Памяти Ф. Вигдоровой», «Бывшие уголовники». Идейную направленность этих произведений, их смысловую тональность можно легко уловить даже из коротких отрывков…

Противопоставление себя окружающим, неприятие нашей действительности приводят А. Городницкого в такое состояние, что он начинает угрожать:

Слова, что брошены, взрываются не сразу.
И сколько их еще не взорвалось.

Сказано весьма знаменательно. Здесь целая идейная и творческая программа, сформулированная с предельной четкостью и ясностью. После такого признания идейные срывы в творчестве А. Городницкого уже невозможно посчитать случайными, стихийными».

Досталось там и морским песням «Моряк, покрепче вяжи узлы» и «Не ревнуй меня к девке зеленой»:

«Веет гнильцой не только от тех стихотворений А. Городницкого, в которых затрагиваются социальные и политические проблемы. В стихах «Так любят», например, автор воспевает похоть, выдавая ее за проявление истинной любви. Махровую пошлость находишь в песне «Не ревнуй меня к девке зеленой»».

«Маска, я тебя узнал», — грустно сказал я, прочитав эту рецензию, и вспомнил замполита с «Крузенштерна».

Что же касается «Справки», представленной главным редактором издательства Р. Соколовой в обком КПСС, то, судя по ней, моя отклоненная рукопись попала в неплохую компанию. Вот отрывок из «Справки»:

«Издательство вынуждено было отклонить четыре рукописи по идейным мотивам: две прозаических и две поэтических.

В повести, отвергнутой издательством (Ю. Визбор «На срок службы не влияет») неправильно рисуется жизнь военнослужащих Советской Армии. Служба в армии представляется автору чем-то вроде срока, который необходимо отбыть. — неважно, как служить и выполнять солдатские обязанности, на срок службы это не влияет.

Оторванные от жизни, безыдейные стихи представил издательству молодой североморец Григорий Остер. Автора нельзя упрекнуть в чисто литературной бездарности. Но незнание жизни, нежелание учиться у жизни и от нее идти к стихам приводит к тому, что произведения его проникнуты или пацифизмом, или отчаянием, располагаются где-то вне времени и пространства. В стихах Остера действуют абстрактные лица, абстрактные солдаты, гибнущие неизвестно во имя чего. Абстрактный заключенный, преодолевая немалые трудности, бежит из тюрьмы и обнаруживает, что тюрьма — везде. (Совсем как в упомянутом выше стихотворении о пожаре в Игарке. — А.Г.).

Покорность судьбе, противопоставление «благополучных»,

«избалованных зарплатами» горожан — людям «бродячих» профессий, морякам и геологам, звучит в стихах автора другого сборника, Александра Городницкого. Автор вольно и бездумно обращается с именем В. И. Ленина… В другом стихотворении поэт считает возможным заявить:

Можно верить в идеалы
Только круглым идиотам.

А стихотворение «Бывшие уголовники», обращаясь к этим своим «героям», отбывающим наказание, заканчивает словами:

Лестно будет и детям моим и жене,
Если руку дадите честному мне.

К чести руководителей издательства надо сказать, что они расторгли договоры с авторами этих произведении и вернули им рукописи. Это не обошлось без споров, и довольно бурных. Рукописи всех авторов защищал и отстаивал их в темплане редактор раздела художественной литературы А. Б. Тимофеев, не сумевший разобраться в их идейной несостоятельности».

Бедный, неисправимо порядочный и наивный Саша Тимофеев! Представляю, как ему досталось от партийного начальства. Ему действительно трудно дышалось в затхлой обстановке своего подхалимского издательства. И это не могло не сказаться на его подорванном здоровье. Саша ушел из жизни безвременно, в отличие от авторов приведенных выше доносов. Возможно, и не следовало столь подробно излагать эти скучные документы, но уж очень точно они отражают дух советской эпохи, о которой многие ностальгически вздыхают.

Уже в третьем походе «Крузенштерна» в Северную Атлантику, когда мы заходили в Касабланку и опять в Гибралтар, после долгого плавания в открытом океане без заходов, мне почему-то с особенной четкостью вспомнился вдруг Эрмитаж, куда любил меня водить отец. Я попробовал написать стихи об атлантах, тем более что мы совсем недавно отплыли от Геркулесовых Столбов:

Когда на сердце тяжесть
И холодно в груди,
К ступеням Эрмитажа
Ты в сумерки приди.
Где без питья и хлеба.

Забытые в веках,
Атланты держат небо
На каменных руках.

Написанные стихи, однако, мне не понравились — что-то мешало читать их с листа. Я их отложил, а потом и вовсе забыл про них. Где-то примерно через месяц, перебирая старые бумажки у себя в каюте, я натолкнулся на них и собирался было выкинуть, как вдруг неожиданно для себя стал мурлыкать первую строчку на внезапно появившуюся нехитрую мелодию. Так получилась песня «Атланты».

Это неуловимое, но всегда ощущаемое различие между стихами, которые можно только читать, и стихами, которые обязательно надо петь, а читать с листа нельзя, до сих пор является предметом спора о стиховой правомочности авторской песни. Мне и самому многое здесь неясно — можно ли считать стихами те, что обязательно надо петь, или нельзя? Яростные дискуссии вокруг песен Высоцкого, Галича и даже Окуджавы, которым ревнители «чистого стихосложения» решительно отказывают в литературной принадлежности, с течением времени не стихают. Мне же представляется, что главное все-таки не в форме записи, а в том, чтобы строчки эти хотелось бы потом читать или слушать, а что именно — читать с листа или слушать с голоса или магнитофонной кассеты — не так уж важно…

Что же касается «Атлантов», то песня эта, получившая широкое распространение, в 1967 году, без моего участия и неожиданно для меня, заняла первое место во Всесоюзном конкурсе, стала чем-то вроде моей визитной карточки, а также объектом многочисленных пародий. Много лет ее поют на самых разных слетах и фестивалях авторской песни, как правило, в заключение, и при этом нередко еще встают. Последнее не слишком радовало меня, поскольку в памяти моей живы еще партийные гимны, под которые все вставали. Но в августе 1991 года, в дни неудавшегося путча, когда у Белого Дома мы безоружные хором пели эту песню под дождем, ожидая танковой атаки, я понял, что она еще не состарилась и не ушла в «официоз».

В 65-м году, после возвращения из третьего похода на «Крузенштерне», молодежная редакция ленинградского телевидения, которой руководила тогда талантливая радиожурналистка Галина Позднякова, пригласила меня с морскими песнями для участия в передаче. По этому случаю с «Крузенштерна», стоявшего тогда в Кронштадте, были

откомандированы в Ленинград трое моряков — с гитарой и аккордеоном. Поселились они в квартире Нины Королевой, уезжавшей куда-то в это время, и по флотской привычке навели в квартире такую чистоту, что Нина после возвращения не узнала свой дом. «Нельзя ли их еще раз пригласить? — спрашивала она у меня. — Они мне вычистили до блеска все старые кастрюли и даже окна помыли!»

На телевидении же я впервые столкнулся с новыми для меня проблемами. «Вы — автор музыки? — строго спросила у меня дама — музыкальный редактор, прослушав запись песни «Над Канадой небо сине». — У вас там на шестом такте доминанта наступает на субдоминанту». Я очень испугался, поскольку не понял ни одного слова.

Миновало более трех десятков лет. Летом 1996 года, когда отмечалось 300-летие российского флота, мне вдруг позвонили из «Всероссийской молодежной лиги» и пригласили в Питер на торжественную встречу парусника «Крузенштерн», возвращавшегося с калининградскими курсантами на борту из кругосветного плавания. Трудно описать словами мои чувства и ностальгические эмоции, когда солнечным августовским утром я стоял в толпе встречающих на Английской набережной на Неве, куда (именно на то же место, где он стоял в мои школьные годы!) должен был пришвартоваться «Крузенштерн». Наконец над корпусами судоремонтного завода показались верхушки мачт, а сразу после этого из-за поворота — знакомый бушприт с наядой на форштевне.

Оркестр, ослепительно блестя медными трубами, грянул встречный марш. Почетный караул покачнул свои игрушечные карабины и сделал «равнение налево». Адмиралы, а их на этот раз набралось немало, неспешно потянули руки к золоту своих козырьков. Яростно защелкали затворы фотоаппаратов. Застрекотали телекамеры. Женщины вынули надушенные платки. На паруснике, корпус которого был теперь выкрашен в черный цвет с белыми полосами на фальшпортах, были подняты праздничные флаги расцвечивания. На реях мачт, широко расставив ноги, застыли курсанты в парадной черно-белой форме.

Сердце мое защемило, и в носу подозрительно защекотало. Я вспомнил наш первый зимний отход из Балтийска во вьюжном и морозном декабре 1961 года. На минуту показалось, что это не они, а я сам, моя глупая и наивная салажная юность, упрямо верящая в чудеса и приключения, возвращается из океана, открыв свою Америку. Господи, мы уже состарились, а прежние мои командиры, тогда еще молодые и веселые, давно уже отправились в бессрочный поход.

Командиров моих не припомню родной матерок, —
Бессловесны теперь, они в пятом плывут океане.

Давно нет в живых ни командира экспедиции Петра Сергеевича Митрофанова, ни капитана Павла Васильевича Власова, ни грозного старпома Виктора Степановича Шишина, ни судового врача Виталия Ивановича Ласкавого.

А это сверкающее свежей краской и манящее изяществом своих обводов судно так же молодо, как его нынешний экипаж, который тоже состарится быстрее, чем оно.

Протокол торжественной встречи судна завершался моим выступлением, которое было устроено на верхней палубе, где разместились и экипаж, и встречающие. Кроме того, громкоговорители-«колокольчики» были выведены на набережную, куда собралось довольно много народа поглазеть на диковинный парусник. Мы вместе с Мишей Кане, аккомпанировавшим мне на гитаре, стояли на краю спардека, спиной к фок-мачте. Перед нами, прямо на палубе, сидели загорелые мальчишки с синими «гюйсами». А за нашими спинами, над Николаевским мостом и Василеостровской набережной, ярко вспыхивали в косых лучах солнца белоснежные невские чайки.

Пусть чаек слепящие вспышки
Горят надо мной в вышине,
Мальчишки, мальчишки, мальчишки
Пусть вечно завидуют мне.

Не знаю, как они мне, а я им в этот момент завидовал. Вечером в офицерской кают-компании был учинен банкет для питерского и морского начальства. Много говорилось и еще больше пилось, и я с грустью смотрел на незнакомые лица и поневоле отметил, что из первого поколения «крузенштерновцев» не осталось уже никого. Помню, как поздно вечером я возвращался с борта «Крузенштерна» пешком через Николаевский мост на Васильевский и много раз оборачивался на его ярко иллюминованные мачты, горевшие на темном фоне ночных домов. Если перед смертью мне доведется вспоминать счастливые моменты в минувшей жизни, то этот я вспомню одним из первых.

Летом 1998 года я неожиданно снова попал на «Крузенштерн». В Лиссабоне состоялась Всемирная выставка «Океан, ЭКСПО-98». Мои друзья, связанные с Министерством рыбного хозяйства, пригласили меня вместе с женой в Лиссабон

на выставку. К этой выставке была приурочена всемирная регата парусных судов, в которой принимал участие и «Крузенштерн», выигравший первое место. По приглашению капитана Олега Константиновича Седова мы, в качестве почетных гостей, прошли на судне три дня от Лиссабона до испанского порта Виго.

Нынешний полностью переоборудованный «Крузенштерн» мало напоминает то старое и запущенное судно с малосильным двигателем и без рефрижераторных установок, на котором когда-то плавал я. Он перестроен, снабжен современным двигателем, новой навигационной техникой. Теперь на нем постоянно плавают даже «коммерческие пассажиры» — иностранные туристы (их называют «тренизы»), с удовольствием изучающие парусное дело и с энтузиазмом взбирающиеся на ванты и латающие старые паруса. За каждый день пребывания на судне и возможность нести флотскую службу они платят звонкой валютой, что позволило переоснастить судно и обеспечить его всем необходимым, не ожидая нищенских бюджетных подачек.

А в сентябре 2000 года судьба подарила мне еще одну встречу с «Крузенштерном». По приглашению оргкомитета Грушинского фестиваля я вместе с группой бардов попал в Германию в Бремерсхафен, где состоялся всемирный фестиваль парусных судов. Более захватывающего зрелища я в жизни не видел, — сотни сияющих свежей краской, по-праздничному нарядных парусников под флагами всех стран мира, атакуемые толпами туристов, теснились вдоль длинных причалов, вывесив разноцветные флаги расцвечивания. Только на второй день нам удалось разыскать «Крузенштерн», стоявший на отдаленном причале. Он только что вернулся, одержав очередную победу в парусной регате, где разыгралась неожиданная драма. Когда судно уже приближалось к финишу, намного опережая своих соперников, радист принял сообщение «SOS», — терпела бедствие небольшая яхта. Капитан Геннадий Коломенский без колебаний сошел с дистанции для спасения людей, после чего «Крузенштерн» вернулся на дистанцию и выиграл гонки! Следует заметить, что сигнал бедствия был принят не только русским парусником. Шедший за ним польский парусник «Дар молодежи» также услышал сигнал «SOS», однако никак на него не прореагировал, боясь упустить призовое место.

Вечером следующего дня мы устроили на «Крузенштерне» праздничный концерт для экипажа, состоящего в основном из курсантов. При этом не обошлось без курьезов. В битком набитом курсантами кубрике любимый публикой бард Леонид Сергеев, автор весьма популярных шуточных песен, пел известную песню о двух тараканах. Когда он дошел до строчки: «Один таракан, что

зовется Геннадий», в кубрике раздался взрыв смеха и аплодисментов, весьма озадачивший автора. Когда же он спел: «Второй таракан, что зовется Серега», аудитория устроила ему такие овации, что песню пришлось прервать. Я в то же время заметил, что сидевшие рядом со мной капитан и старпом покраснели и отвернулись. Оказалось, что первого зовут Геннадий Васильевич, а второго — Сергей Петрович.

Возвращаясь к давним временам первых походов на «Крузенштерне», нельзя не вспомнить еще одну колоритную фигуру — полковника Михаила Михайловича Казанского. Старый моряк, боевой офицер, командовавший ледовой службой на Балтике в годы блокады и разжалованный в качестве «стрелочника» после гибели вице-адмирала Дрозда, одаренный океанолог, человек неистребимого жизнелюбия и мальчишеского азарта — это он, будучи начальником гидрографической экспедиции, первым рискнул поддержать в 1961 году наше новое и во многом сомнительное начинание.

Плотная борцовская фигура в черной морской тужурке с четырьмя рядами боевых, а не за выслугу, орденов. Непокорный, не редеющий, а лишь поседевший, короткий ежик-вихор «под бокс». Не по возрасту озорные светлые глаза дворового хулигана. Он всегда был источником веселой и непобедимой энергии для окружающих. Мне довелось плавать с ним в 67-м году на Балтике, на учебном военном гидрографическом судне «Компас» и потом на Черном море, на судне «Горизонт». Каждое утро, пока мы стояли в Севастополе (Казанскому уже тогда было за пятьдесят), он переплывал корабельную бухту, вызывая зависть у молодых офицеров. Он в ту пору уже преподавал в Высшей военно-морской академии, где и я, с его подачи, одно время вел курс морской магнитометрии.

Помню, после первого занятия он и его друг капитан первого ранга Николай Иванович Егоров, доктор географических наук, тоже немало сил отдавший океанологии, подошли ко мне и сказали: «Надо бы отметить — все-таки первое занятие». «А где?» — спросил я. — «Ну как — где, мы люди флотские, привычные. Пойдем возьмем коньячку, лимончик и зайдем куда-нибудь в садик или в парадное». Мы отправились в ближайший гастроном у Черной речки и купили коньяк.

«Тут в садике холодно, — сказал Егоров, — пойдем лучше на проспект Смирнова, тут неподалеку, зайдем в кафе, возьмем кофе и с ним вместе выпьем». Кафе на проспекте Смирнова оказалось закрытым.

«Ну, тогда зайдем вот хоть в это парадное, — сказал на этот раз уже Казанский, — не на улице же пить». Мы зашли в

парадное.

«Да как-то неудобно здесь, — произнес Егоров, — прямо внизу у двери. Поднимемся хоть на второй этаж, что ли». Мы поднялись на второй этаж.

«Ну, теперь можно, — сказал Казанский, — только вот из горла как-то пить нехорошо. Что мы, алкаши, что ли? Давайте в любую квартиру позвоним — хоть стаканчик попросим». «А удобно?» — засомневался я. «Чего ж неудобного — два полковника, люди солидные — не может быть, чтобы стаканчик не дали», — с этими словами Казанский позвонил в дверь, она распахнулась… и мы очутились в квартире Егорова, где ожидал специально по этому случаю накрытый стол.

Жена Михаила Михайловича Казанского Александра Александровна в самом начале нашего знакомства сказала мне как-то: «Я хотела бы, чтобы вы и другие ученики Михаила Михайловича приходили к нему не только когда он вам нужен, но и потом». Не знаю, как другие, но всякий раз, бывая в Питере, я звонил ему и приходил в старый дом близ Среднего проспекта на Съездовской линии моего родного Васильевского, где в запущенной коммунальной квартире, в узкой комнате, напоминающей щель, с высоким окном, выходящим на шумную проезжую часть, жили, не желая замечать нищеты и невзгод, двое гордых и несгибаемых пожилых и заслуженных людей, всю свою жизнь отдавших другим. Теперь Михаила Михайловича не стало.

Походы на «Крузенштерне» переменили мою жизнь. Уже в 63-м году я «завязал» с сухопутными экспедициями и твердо связал свою работу с океаном. Этому немало способствовало и то, что сам Институт геологии Арктики тоже понемногу изживал свою сухопутную специфику и все больше переходил на шельфовые моря. Не случайно теперь старый тот институт свое существование прекратил, а на его месте возникла новая организация — Севморгеология, начало которой, по существу, положили наши первые плавания.

На письменном столе в моей московской никуда не плывущей квартире, окна которой выходят на шумный Ленинский проспект, пылится крашеный шаровой краской большой автономный компас со спиртовой картушкой, подаренный мне в базе подводных лодок Линахамааре на Кольском военными моряками и вселяющий обманчивую надежду, что плавание еще продолжается.

В дальнем ящике стола много лет бережно хранятся вместе со значками участника экспедиций на Северный Полюс военно-морской значок «За дальний поход», врученный мне, как и всем членам экипажа, еще в 62-м году, и особо ценимый мною

бронзовый жетон «За походы на «Крузенштерне»». На жетоне, слегка накренясь, летит вперед парусник, напрягая паруса. И я вспоминаю ласковое прикосновение горячей, пахнущей сосновой смолой палубы к босым ступням, созвездие Южного Креста, немного наклоненное над ночным океаном как бы для благословения, негромкие звуки баяна на юте, где курят отдыхающие после вахты матросы, мерцающие светила, раскачивающиеся над головой в черной сетке снастей, и соленые офицерские байки. И приходят на память предостерегающие слова старого римлянина: «Если парус теряет ветер, он становится обыкновенной тканью».

Жена французского посла

Летом 1966 года я отправился с геофизической группой из порта Находка на работы в Охотское море и Пенжинскую губу на борту старого гидрографического судна «Охотск», переоборудованного из бывшего минного заградителя. Это был старый угольный пароход, донельзя грязный, населенный полчищами крыс и тараканов, к которым приходилось привыкать так же, как когда-то в тундре к комарам.

Двухмесячные работы в осеннем Охотском море, с ею неожиданными ветрами и туманами, с сильными — более пяти узлов — приливо-отливными течениями в Пенжинской губе оказались нелегкими. Зато навсегда запомнились неповторимые по красоте скалистые охотоморские берега с их причудливыми очертаниями, живописные острова, привлекавшие некогда мореплавателей, путина в поселке Усть-Пенжина, где икру свежего посола ели из кастрюли столовыми ложками, нерпы и тюлени, высовывавшие любопытные морды у самого судна, особенно на стоянках, когда с палубы раздавались звуки музыки, огромные крабы, которых ловили прямо на рейде Магадана в Нагаевской бухте. Не зря это морс когда-то назвали Охотским. Не меньшее впечатление произвели на нас, новичков, попавших сюда впервые, и местные нравы.

Меня вместе с геофизиком Мишей Серяковым поселили в узкую, как щель, каюту, где были две койки, располагавшиеся одна над другой. Миша, как более молодой, влез на верхнюю койку, а мне досталась нижняя, чему я, однако, радовался недолго. Соседнюю каюту занимал третий механик, койка которого крепилась на одном кронштейне с моей. Поскольку переборки на судне были старые и расшатанные, любое движение койки соседа вызывало соответственное, как на качелях, движение моей. Первую неделю, пока мы следовали из Находки в Охотское море, все было относительно спокойно. Но в Охотском море третий механик, на мою беду, завел неожиданно бурный роман с судовой врачихой, разбитной шатенкой, изнывавшей от полного безделья. С вахты он сменялся в полночь, и где-то, начиная с половины первого, едва я успевал заснуть, меня будил ритмичный и громкий скрип и такое же ритмичное хождение вверх-вниз моего ветхого ложа. Я пытался предложить Михаилу поменяться, но он наотрез отказался, так что я вынужден был переместиться с тюфячком прямо на палубу.

Вторую половину экспедиции мне довелось проплавать на другом судне — «Румб», поменьше размерами, но более

современном. В конце августа мы зашли заправиться водой и топливом на остров Спафарьева, где располагался крабозавод, на котором работали несколько сот вербованных женщин. Было раннее утро, когда мы подошли к безлюдному пирсу. Двое заспанных работяг приняли наши швартовые. Я стоял на правом крыле мостика, неподалеку от командира, капитана III ранга Мишкина, когда мы заметили три странные, одинаковые с виду, но разной величины, как матрешки, фигуры, медленно двигавшиеся вдоль пирса к борту судна. Когда они приблизились, оказалось, что это женщины, одетые совершенно одинаково — в резиновые сапоги, ватники и теплые, серого цвета, головные платки. «Эй, командир, — неожиданно сильным и низким голосом крикнула самая высокая из них. — Я предзавкома местного. Девочки у нас тут целый месяц света белого не видят, на путине вкалывают, а мужиков нет. Так что я тебе предлагаю всех своих морячков уволить прямо сейчас до завтра, а мы по такому случаю выходной объявим».

Командир Мишкин был человеком решительным и настоящим боевым офицером, способным быстро принимать решения в критической обстановке. «Отдать носовой», — скомандовал он упавшим голосом. И мы пошли обратно в море без воды и топлива. «Да, Саня, — делился он со мной, — вовремя спохватились. Ты что, у меня весь экипаж двадцать два человека — на части же разорвут!» Я в ту пору плохо знал местные порядки и не сразу понял его тревогу. Уже позднее, на рейде Шикотана, я видел, как на старый пароход «Азия» сеткой с плашкоута грузили вдрабадан пьяных вербованных женщин, матерящихся и орущих пьяные песни, и только тут понял командира Мишкина.

В последующие годы мне приходилось несколько раз попадать на Сахалине и Курилах в путину на плавучие и наземные рыбозаводы, где я насмотрелся на каторжную работу по обработке рыбы, работу, которой мужчины не выдерживают, поэтому на нее берут только женщин. С красными, закоченевшими от ледяной воды руками, по двенадцать часов в день (такая смена) они должны отделять большим ножом голову рыбы от тушки, рискуя отрубить себе пальцы. А ночью — короткий сон в своей грязной казарме, не дающий отдыха. Развлечений — никаких: работа, работа, работа Смертельно усталые от постылого однообразного труда и дикого быта, за пару месяцев они способны потерять не только женственность, но вообще человеческий облик.

Вспоминается история, произошедшая значительно позднее, осенью 1977 года, когда группа бардов в составе агитбригады от любимого нами журнала «Химия и жизнь» приехала выступать на

Сахалин и Курильские острова. В «поющую часть» бригады входили Сергей и Татьяна Никитины. Виктор Берковский с женой, я и молодой тогда, но уже весьма популярный автор Александр Суханов, который на Дальний Восток попал впервые в жизни и местных порядков не знал. В Южно-Сахалинске нас пригласили с выступлениями на несколько дней на огромную плавбазу «Кронид Коренов», работавшую на путине у берегов Сахалина, — этакий плавучий рыбозавод, где днем и ночью шла переработка рыбы, получаемой с траулеров. Здесь на разделке рыбы трудились посменно несколько сот женщин.

Расселили нас на судне попарно — супружеским парам отвели по каюте, а нас с Сухановым и сопровождавшим нашу бригаду инструктором Сахалинского обкома комсомола поместили в изолятор судовой санчасти, благо он пустовал. В изоляторе дна иллюминатора выходили на прогулочную палубу. Поздним вечером, после успешного концерта для экипажа и работников плавбазы и не менее успешного банкета в каюте капитана, где красную икру мы поедали столовой ложкой, мы втроем вернулись в свой изолятор и стали устраиваться на ночлег. По-видимому, хорошо знакомый с местными нравами сахалинский инструктор запер на два оборота входную дверь, а ключ вынул и положил себе в карман. После этого он проверил, крепко ли закручены барашки на иллюминаторах и залег спать. Я, отягощенный большим количеством выпитого и съеденного, тут же последовал его примеру.

Проснулся я среди ночи от какого-то шепота и приглушенного хихиканья. Подняв голову, я увидел, что один из иллюминаторов открыт и из него торчат ноги Саши Суханова. «Держи!» — неожиданно заорал над моим ухом проснувшийся одновременно со мной комсомольский инструктор, вскочивший со своей койки, и ухватился за Сашину ногу. Я немедленно ухватился за другую. Оказалось, что пока мы спали, к иллюминатору подошли девицы и уговорили Сашу его открыть. Саша передал им гитару, и они, предупредив, чтобы он нас не будил и не шумел, стали понемногу его вытягивать наружу. Какое-то время мы и они тянули ничего не понимающего Суханова в разные стороны, но потом они от него отступились. Мы втянули Сашу назад, наш гид помахал перед его носом кулаком и дал ему несколько нехитрых наставлений в довольно энергичных выражениях, после чего иллюминатор был снова закручен и мы мирно проспали до утра…

В этой же поездке, где нам приходилось переезжать с острова на остров, наши московские барды впервые столкнулись с качкой.

Из кунаширского Южно-Курильска на остров Шикотан мы

должны были плыть пассажирским катером, следовавшим что-то около пяти часов через пролив. Помимо пассажиров, катер вез почту и какие-то грузы. Примерно на втором часу следования от плоской регулярной волны катер стало сильно качать, а еще через час большая часть пассажиров укачалась полностью. Более всех страдали женщины и дети. Из нашей компании не укачался один Берковский, хотя и ему явно было не по себе. Мы с ним вышли из кубрика подышать и встали к фальшборту, рядом с рулевой рубкой, в открытом окне которой маячила неподвижная и хмурая физиономия рулевого. «Эй, на руле, — крикнул крепившийся изо всех сил Берковский хриплым голосом старого морского волка, — сколько баллов шторм?» Рулевой презрительно скосил глаза в нашу сторону, потом сплюнул через голову Берковского за борт и скучающе ответил: «Какой шторм? Зыбь».

Возвращаясь к проблеме пребывания женщин на судах, хочу заметить, что сам факт их присутствия, да еще под хоть и гидрографическим, «вспомогательным», но все же военно-морским флагом, с позиций военного начальства был постоянным ЧП. За ними круглосуточно велось негласное наблюдение, жили они в отдельном отсеке (назывался он «змеюшник»), и общаться с ними можно было только на людях. Согласно бдительным указаниям замполита, зайдя к женщине в каюту (или если она вошла к тебе в каюту), закрывать дверь ни в коем случае было нельзя — не только, упаси Боже, на ключ, а даже просто плотно прикрывать. В противном случае замполит отсчитывал пять минут и записывал нарушителю «аморалку».

Несмотря на эти «антисанитарные» условия, корабельные романы все-таки случались. На судах экспедиции шепотом рассказывали легенду про одну настырную пару, которую, заподозрив в «аморалке», усиленно опекал замполит, не давая им уединиться. Но они его все же перехитрили — достав у мотористов «мастер» (дежурный ключ, открывающий замок в любой корабельной каюте), дожидались, когда замполит отправится в кино, и устраивались в его каюте.

Нельзя не признать, что присутствие женщин на кораблях, долгое время находящихся в плавании, представляет собой известную проблему. Мне за почти три десятилетия плавания на самых различных судах довелось быть свидетелем многочисленных драматических ситуаций, возникающих в длительных океанских рейсах, когда на сотню и более мужчин приходится всего несколько женщин, а «моральный кодекс строителей коммунизма» перестает срабатывать уже на третий день после выхода из родного порта. Помню, как сокрушаясь матерился старый боцман на «Охотске», глядя на живописные

курточки наших сотрудниц: «До чего флот довели, это же подумать только. Вот в старое-то время — императрица в Севастополе свой флот посетила и на флагманский корабль к Ушакову изволила лично ступить. Так потом боцман с целой командой все за ней мыли и чистили, поскольку хоть и императрица, а все ж таки баба. Так то царица была, а это что? Тьфу да и только…»

Иначе реагировали на появление женщин вербованные работяги, в основном из бывших зеков, которых везли в Пенжинскую губу на какую-то стройку. Жили они на «Охотске» в огромном трюме в районе носовой палубы, куда вел большой люк, плохо различимый в темноте. Поскольку женщин разместили в носовых каютах, хитроумные умельцы из вербованных сняли крышку люка и закрыли его брезентом, рассчитывая, что в вечерних сумерках какая-нибудь красотка ступит на этот обманчивый брезент и провалится прямо к ним в трюм, как в медвежью яму. Каково же было их разочарование, когда вместо женской добычи в один прекрасный вечер к ним провалился большой рыжий и толстый техник Лева Фишман!

Что касается офицеров, и корабельных, и гидрографов, то появление стайки молодых женщин на судах означало для них просвет в унылой и безрадостной службе, сплошь заполненной «боевой и политической подготовкой». Начались яростные ухаживания, несколько сдерживаемые необходимостью конспирации от всеведущих замполитов. Романы эти часто приводили к трагикомическим конфликтам. Например, на втором нашем судне «Румб» старпом — высокий и красивый капитан-лейтенант, оставивший во Владивостоке жену с двумя детьми, а на судне «официально» живший с судовой врачихой, вдруг увлекся одной из наших дам, хорошенькой и пухленькой чертежницей Ирочкой, обладательницей прекрасных наивных серых глаз и кукольных ресниц. Кипящая ревностью докторша однажды ночью, застав своего изменчивого старпома на месте преступления как раз в тот момент, когда он украдкой выводил Ирочку из своей каюты, кинулась на него и, явно использовав профессиональные хирургические навыки, так исполосовала ему лицо своими острыми наманикюренными ногтями, что старпом был уложен в лазарет и через несколько дней сдан в Магадан в больницу, откуда на судно уже не вернулся.

Позднее, плавая на гражданских академических судах, где женщин было уже гораздо больше, да и условия были более вольные, — я насмотрелся на множество авантюрных ситуаций, которые, как правило, кончались «бескровно».

Один из самых талантливых наших и молодых капитанов,

человек вполне интеллигентный и начитанный, прекрасный штурман, в каждом очередном рейсе заводил новую возлюбленную, как правило, из числа буфетчиц. Кончилось это тем, что жена его, живущая в Калининграде, которой доброжелатели все донесли, устроила скандал, да еще вполне по-советски — с помощью парткома. Припертый к стенке партией, женой и предприимчивой любовницей, несчастный капитан, спасая свою загранвизу и должность, вынужден был развестись и жениться на буфетчице, которую, конечно, тут же уволили с судна. В результате, став официальной женой, она потеряла возможность плавать с ним вместе и осталась, как все жены, на берегу, а он через полгода завел себе новую буфетчицу.

Обычно же, по неписаному закону, на академических судах на период рейсов, длящихся в среднем около четырех месяцев, романы возникали между экипажем — с одной стороны и «наукой» — с другой. Это в равной степени относилось к недолговечным любовным связям офицеров с дамами из науки и каютных номерных или буфетчиц с научными сотрудниками, то есть с «чужими». Романы эти, расцветая пышным цветом где-то к исходу первого месяца («Имей в виду, — поучал меня мой приятель, второй штурман на «Дмитрии Менделееве», — у нас женщин разбирают прямо на трапе!»), закапчивались обычно в последнем порту захода, где надлежало тратить накопленную за рейс валюту и приходила пора вспоминать о покупках, заказанных семьями, ожидающими на суше. Не все женщины, однако, мирились с этим — некоторые довольно ощутимо мстили своим коварным избранникам, обещавшим по возвращении «жениться». Так, в 77-м году на нашем судне «Академик Курчатов», вернувшемся из длинного океанского рейса, произошел конфликт между каютной номерной и вторым штурманом, добившимся ее благосклонности обещанием жениться и, как выяснилось, оказавшимся женатым. Месть оскорбленной подруги была чисто женской. В Калининграде к штурману на судно приехала встречавшая его жена. Не успела она еще толком обнять долгожданного мужа и взглянуть на привезенные зарубежные подарки, как в дверь каюты постучали. «Извините, — сказала вошедшая номерная, — я забыла здесь свои вещи». С этими словами она достала из-под подушки у штурмана свою комбинацию и ушла…

Помню, впервые столкнувшись с системой «корабельных романов» в третьем рейсе академического судна «Дмитрий Менделеев», в Северной Атлантике, я даже настрочил по этому поводу душещипательные стишки, которые переписывались в тетрадки нашими сентиментальными судовыми дамами:

Тускнеет море голубое.
Недолго петь теперь гитарам.
Все корабельные Любови
Кончаются за Гибралтаром.

Женщины «из науки» в океанских рейсах, как правило, расцветали. С одной стороны, они оказывались свободными от каждодневного унылого быта, порабощающего их на суше, — необходимости кормить и ублажать мужей, лечить и воспитывать детей, таскать огромные авоськи с продуктами, стоять во всевозможных очередях. С другой — будучи всегда в меньшинстве, они становились предметом поклонения и ухаживания почти всего мужского состава экспедиции, причем ухаживания эти, как правило, мало зависели от степени женской красоты. Интересную эволюцию довелось мне наблюдать за много лет плаваний. Почти всегда скромные и робкие девицы, впервые ступая на палубу судна, сильно страдали от качки. Но постепенно, обвыкнув в новой обстановке, приучаясь мало-помалу пить вино или курить, а также теряя понемногу первоначальную неприступность, они, как правило, укачиваться переставали. Вместе с тем по окончании рейса, вынужденные снова вернуться на берег в свои семьи и убогий советский быт, они были особенно несчастны, не понимая, почему вот только что они были в центре мужского внимания — и вдруг все неожиданно кончилось. Так девочка, взятая прихотливым режиссером из своего родного девятого «А» в кино чуть ли не на главную роль, плачет горькими слезами, потому что картина отснята и ей, уже привыкшей быть героиней, надо снова возвращаться в свою постылую прежнюю жизнь.

Суровым испытанием для несчастных наших женщин, привыкших к клиническому отсутствию в отечественных магазинах хороших товаров, в первую очередь одежды, галантереи и парфюмерии, и впервые попавших за рубеж, становилась первая встреча с западными (или восточными) магазинами с их фантастическим для советского человека изобилием.

Что же касается «корабельных» женщин, — каютных номерных, поваров, буфетчиц, то их контингент, как правило, формировался из сельских или провинциальных девчонок, соблазнившихся на «заграницу» и морскую экзотику. Большинство из них собирались поплавать «пару годиков», а потом, накопив деньжат, вернуться домой, выйти замуж, найти себе какую-нибудь «земную» профессию. Да и работа на судне

представлялась им поначалу несложной: действительно, чего там — полы мыть да пыль вытирать два раза в день. Однако проходили год за годом, и втянувшись в свою неблагодарную и совсем нелегкую работу, накупив на валютные гроши тряпок в заграничном порту и мечтая о новых, отвыкнув от сурового земного быта, на готовых корабельных харчах, спаиваемые и соблазняемые моряками, мало-помалу превращаясь из робких и застенчивых девушек в развращенных и циничных «морских волчиц», несчастные эти женщины уже не находили в себе сил вернуться назад на сушу. Тяжелая и грязная работа, многодневная качка, вино и мужчины, отсутствие реальных перспектив в завтрашнем дне преждевременно старили их, и они возвращались на сушу больными, разбитыми и одинокими.

Ни на одном из судов мира, кроме советских, не встретишь женщин в штате команды. Помню, как удивлялись иностранцы, попавшие на наши суда, присутствию на них женщин. Одно время мы по наивности даже гордились этим явным доказательством их равноправия в стране «развитого социализма». Только после долгих лет плаваний я понял, что это «равноправие» ничуть не лучше того, которое дает им право на тяжелую не женскую работу по рытью канав или укладке железнодорожных шпал, работу, от которой отказываются мужчины.

В охотоморском рейсе 1966 года главным портом захода был Магадан, печально известная «столица колымского края», еще носившая следы гулаговской империи и полная словоохотливых старожилов.

Своеобразным памятником эпохи «Дальстроя» осталось каменное здание школы № 1, где учился сын осужденной Е. С. Гинзбург Василий Аксенов. Напротив школы, на другой стороне площади, возвышается старое здание магаданского оперного театра, спасшего, по свидетельству журналиста А. М. Бирюкова, немало талантливых людей, на портике которого возвышаются четыре фигуры — «четыре непьющих человека в Магадане».

Гордостью Магадана в те поры было знаменитое магаданское пиво, к созданию которого приложил руку сам мудрый вождь мирового пролетариата. Дело в том, что в Магадан в первые же годы войны были высланы из Поволжья несколько семейств потомственных немецких пивоваров. А местная вода оказалась на удивление чистой и вкусной, что также немаловажно для настоящего пива. Оно пользовалось настолько большой популярностью, что, как говорили, вывозилось на экспорт. Впрочем и здесь мнения были разные. Все тот же А. М. Бирюков, например, считает, что заслуга в изготовлении прекрасного пива

принадлежала вовсе не немцам, а тогдашней директрисе завода Асе Брускиной, и что после отъезда семейства Брускиных «на материк» хорошего пива в Магадане не стало.

Другой гордостью этого города был некогда легендарный певец и автор песен эпохи 30-х годов Вадим Козин, осужденный в 1944 году «за антисоветскую агитацию и мужеложство» на 8 лет, а после отбытия срока осевший здесь насовсем. Он стал солистом упомянутого выше театра, хотя в спектаклях занят не был, а пел отдельно свои песни. По свидетельству очевидцев, голос у него отлично сохранился. В середине 50-х годов он объездил с концертной бригадой весь Дальний Восток. Бывал в Крыму и на Кавказе. (Кстати, его крымский концерт был записан для пластинки, вышедшей в США в середине 70-х годов.) Однако продолжалось это недолго. В 1959 году он снова был арестован — на этот раз за растление несовершеннолетних. И второй срок тоже отбывал в Магадане.

Мой упомянутый выше давний знакомый, один из старейших дальневосточных морских капитанов, Виталий Витольдович Радынский, навещавший его в Магадане, рассказывал, что Козин живет там в маленькой однокомнатной «секции», где с трудом умещаются многочисленные стеллажи с книгами и пианино с двумя старинными громоздкими магнитофонами «Днепр» по сторонам и висящими над инструментом микрофонами. По всей комнате — фигурки кошек из самого разного материала. Кошка с клубком ниток и на его экслибрисе.

А. М. Бирюков, многократно общавшийся с ним в те годы, вспоминает, что, отбыв второй срок, в 1963 году Козин, чтобы прожить, продал большинство книг из своей библиотеки. По свидетельству Бирюкова, Вадим Козин был «умница и книгочей невероятный». Тщательно собирал самые разные периодические издания, вплоть до провинциальных газет, пишущие об эстраде. Современных певцов не любил и называл хрипунами. Писал песни Козин лет до семидесяти пяти и, согласно составленному им списку, написал их около двухсот. Многие из них к концу жизни, уже в восемьдесят лет, он вспомнить не мог, а записи их утеряны. Умер Козин в Магадане в декабре 1994 года.

Уже в последние годы, в пору перестройки, вышли наконец пластинки Козина со знаменитыми в пору моего детства песнями, возвращающими нас во времена странного сочетания всеобщего произвола и страха и подлинно сентиментальных чувств и эмоций, как бы независимых от жестокой среды обитания. Не эта ли независимость, полностью противостоящая всевозможным «маршам энтузиастов» и другим бодреньким и весьма талантливо написанным Дунаевским и другими советскими композиторами и

поэтами песням, под которые надлежало маршировать, строить и любить, справедливо, хотя, возможно, и подсознательно воспринималась властями как неявная психологическая оппозиция, подлежавшая уничтожению?..

В октябре 66-го года, вернувшись из Магадана, я попал в состав группы «творческой молодежи Ленинграда», направленной от Ленинградского обкома ВЛКСМ на три недели в Польшу — Варшаву, Лодзь, Краков и Вроцлав.

В группу нашу входили человек пятнадцать, в том числе несколько актеров ленинградских театров, молодые литераторы, весьма популярный и еще молодой в те годы эстрадный композитор Александр Колкер со своей женой, тоже известной эстрадной певицей Марией Пахоменко, Феликс Нафтульев, письмо которого с воспоминанием об этой поездке, цитировалось выше, и мой близкий в то время приятель, — режиссер ленинградского театра имени Ленинского комсомола Анатолий Силин. Для меня эта поездка была первым открытием Польши, которую в ту пору я знал только по знаменитым фильмам Вайды, Мунка и Кавалеровича и стихам польских поэтов в переводах Слуцкого. С поездкой нам повезло: в Варшаве мы попали в «Повшехный театр» Адама Ханушкевича и другие современные и поэтому непривычные для нас театры. Во Вроцлаве познакомились и успели выпить вина со Збигневом Цибульским, буквально за неделю до его безвременной и трагической гибели, в Лодзи — посмотрели на киностудии более десятка недоступных для нас в Союзе фильмов, в том числе «Восемь с половиной» Феллини, «Дрожь» и «Птицы» Хичкока и многие другие, в Кракове — полюбовались на сокровища Вавельского королевского замка.

Польша не разочаровала моих «книжных» ожиданий — она оказалась именно такой, какой ее можно было себе представить — «самой маленькой из великих наций» — нищей, гордой до чванливости и непорабощенной страной. Я познакомился с прекрасным поэтом Витеславом Дабровским и его женой Иреной Левандовской, которые показали мне Варшаву. У Витеслава на левой руке не хватало двух пальцев, потерянных во время Варшавского восстания в 44-м году, когда ему было четырнадцать лет. Он пробирался по узким люкам из канализационных труб наверх там, где взрослый пролезть не мог, и кидал гранаты в немецкие танки. «Мы вас, советских, ненавидим, — говорил он мне, — но немцев мы ненавидим еще больше. Такова уж печальная участь нашей малой страны, зажатой между двумя этими хищными гигантами».

Помню, тогда он перевел на польский понравившуюся ему песню «Испанская граница», тут же, кстати запрещенную для

публикации и исполнения польской цензурой. В начале 80-х, уже в пору «Солидарности», Витеслав Дабровский неожиданно погиб при странных обстоятельствах. Именно Витек показал мне осенью 1966 года страшную тюрьму Павиак, где немцы уничтожали польских патриотов, памятник Мордухаю Анилевичу на месте безнадежного и героического восстания в Варшавском гетто, поднятого не из надежды спастись, а только для того, чтобы подороже продать свою жизнь, умереть с оружием в руках. С горечью рассказывал Витек о том, что прежде чем вступить в бой с немцами, еврейские повстанцы должны были перебить внутреннюю охрану юденрата, состоявшую тоже из евреев, продавшихся врагам только за то, что их убьют в последнюю очередь; о том, как подпольная польская организация «Армия Крайова», готовившая свое восстание против немцев, отказала «жидам» в помощи оружием; как, когда полыхало с четырех сторон подожженное немцами гетто, поляки с усмешкой говорили: «Клопы горят».

Усмехаться варшавянам было недолго. Через несколько месяцев генерал Бур-Комаровский поднял свое восстание «Армии Крайовой» против немцев, надеясь на помощь советских войск, уже стоявших на правом берегу Вислы в ожидании приказа Сталина штурмовать. Приказа, однако, не последовало. Великий полководец дал немцам подавить Варшавское восстание, как его участники дали тем же немцам уничтожить восставших евреев, и только после того Варшава была взята советскими войсками.

Поляки, живя в нужде и недостатке, первым делом восстановили древнюю часть разрушенной Варшавы — Старо Място, а социалистическое правительство установило памятник сражающейся Варшаве — летящая полуповерженная женщина, отбивающаяся мечом. «У нас в каждом монументе свои смысл, — говорил мне Витек. — Если стоит — значит, король или полководец, вот как Сигизмунд в Старом Мясте. Если сидит — значит, мудрец или ученый, — видел памятник Копернику? Ну, а если лежит — махнул он рукой в сторону монумента Варшавы, — значит, блядь».

И все-таки самое тяжелое и незабываемое впечатление на меня произвели лагеря уничтожения — Треблинка и Освенцим. Не берусь описывать увиденное, тем более что в Освенцим мы попали в День поминовения, когда повсюду горели поминальные свечи, — у входов в бараки, у ворот газовых камер, у каждой железной тележки, на которых вывозили когда-то трупы в крематорий. А эти горы детских туфелек, или кисточек для бритья, или женских волос, предназначенных для набивания тюфяков! «Арбайт махт фрай» («Труд освобождает»), — прочел я

на железных воротах лагеря и невольно вспомнил о наших лагерях, на воротах которых красовались сталинские слова, что труд в нашей стране «дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Там, в Польше, я написал песни про Освенцим и Треблинку. В Треблинке, где немцы убили и сожгли в печах более 800 000 евреев, я узнал, что уже в конце войны, когда в Треблинке вспыхнуло восстание и евреи, перебив охрану, разбежались, большая часть их была выдана немцам поляками, у которых они пытались найти убежище. Уходя, немцы все взорвали — печи, бараки, газовые камеры. И эти обломки вместе с сотнями местных валунов были поставлены «на попа» на склоне горы, образовав коллективный памятник почти миллиону замученных людей, тщетно предостерегая потомков. Тщетно, потому что еврейские погромы в Польше учинялись и после войны, уже в 1947 году. А через несколько лет, уже после смерти Сталина, правительство Гомулки насильно выдворило из страны почти всех евреев.

Характерно, что пришедший ему на смену Эдвард Терек заявил как-то на заседании политбюро ПОРП: «Мы напрасно выдворили из страны евреев. Теперь, в трудное время, не с кем посоветоваться и не на кого свалить вину». Кстати сказать, почти поголовное изгнание из Польши всех евреев ничуть не помешало уже в наши дни лидерам страны именно их обвинить в экономических трудностях, переживаемых сегодня.

Что же до написанных мною песен «Освенцим» и «Треблинка», то они для исполнения были запрещены. Тем не менее актер театра «Современник» Валентин Никулин, с которым я в те годы подружился, героически исполнял «Освенцим» на своих вечерах, чем вызвал нарекания начальства.

Уже в конце ноября, после возвращения из Польши, я попал в «не сезон» на две недели в Репино, в Дом творчества композиторов. Мне нужно было закончить работу над рукописью первой книжки стихов «Атланты», принятой к печати ленинградским отделением издательства «Советский писатель». Помню, как поразила меня поначалу «роскошь» просторных композиторских апартаментов — каждый занимал отдельный коттедж из трех комнат, с роялем в центральной. «А почему кровати сдвоенные?» — наивно спросил я у сестры-хозяйки, отпиравшей мой домик. «Это на случай, если к вам захочет приехать жена или соавтор», — ответила она. Действительно, в столовой я увидел объявление: «Желающие поставить на питание своих жен (или соавторов) должны внести заранее деньги из расчета пять рублей за сутки». Там же я однажды услышал, как пожилая официантка жаловалась: «Наши композиторы музыки не

любят. Они, как в столовую войдут, так сразу музыку по радио выключают. Да и как ее любить, когда они ее сами пишут?»

Соседний со мною домик занимал режиссер кинохроники Адольф Иосифович Минкин, симпатичный седой и грузный человек. Он страдал стенокардией и поэтому имел привычку заедать коньяк валидолом. Однажды ночью его прихватило всерьез, и я вызвал «скорую». Врач «скорой помощи», старая еврейка явно пенсионного возраста, сделала ему какие-то уколы и, вернув к жизни, села заполнять карточку. «Фамилия?» — строго спросила она. «Минкин», — ответил мой сосед слабым голосом. «Имя и отчество?» — «Адольф Иосифович». Докторша отложила ручку и долго с удивлением рассматривала больного, которого только что обследовала. «Молодой человек, — сказала она наконец, — вам что, мало чего-нибудь одного?!!»

Первая книжка моих стихов «Атланты» вышла весной 1967 года, в издательстве «Советский писатель». Вошли туда стихи, написанные в основном в экспедициях, и песни, значительная часть которых уже была к тому времени известна. Мне пришлось изрядно повоевать с редактором Александром Рубашкиным, показавшимся мне тогда придирчивым и недоброжелательным. Только через несколько лет, перечитав опубликованные в книжке стихи, я понял, что он был снисходительным и крайне доброжелательным ко мне, поскольку стихи-то по большей части были слабенькие и печатать их не следовало. Сейчас эта книга вызывает у меня легкое чувство стыда. Слава Богу, что тираж был маленький. Что же касается Рубашкина, то много лет спустя, в 1999 году, именно он, как член правления питерской писательской организации, одним из первых выступил с предложением выдвинуть мою кандидатуру на соискание только что учрежденной литературной премии имени Булата Окуджавы.

Помню, когда книжка была уже в работе, меня неожиданно пригласили выступать с песнями на ленинградское телевидение. Рубашкин, которому я не замедлил радостно похвастаться, к большому моему удивлению, крайне отрицательно прореагировал на это и стал уговаривать меня отказаться. «Понимаете, начнутся звонки, письма в редакцию, вдруг кому-то не понравится, а у вас — книжка в печати. Как бы чего не вышло. Подождите, пока книгу издадут, а там уж выступайте где хотите». И в этом он оказался прав.

Оформил книжку молодой талантливый художник Лев Авидон. Цензура несколько порезвилась над стихами, так что все слова типа «водка», «бог» и тому подобные из книжки были изъяты. Будучи в те поры человеком тщеславным и, пожалуй,

маломысленным, я сильно радовался выходу первой «книги стихов». Лишь значительно позднее понял, что радоваться было особенно нечему, поскольку, опубликовав посредственные стихи, я на много лет сильно испортил себе литературную репутацию.

В конце 1967 года я закончил кандидатскую диссертацию на тему «Магниторазведка и электроразведка при изучении морского дна», а так как в моем родном НИИ геологии Арктики Ученого совета по защите не было, то диссертация моя весной 1968 года была принята к защите на кафедре геофизических методов исследования земной коры геологического факультета МГУ, которой тогда руководил один из создателей отечественной разведочной геофизики Всеволод Владимирович Федынский. Кафедра эта была в то время ведущей в области геофизических методов, так что я сильно побаивался ее маститых сотрудников. Надо сказать, что дурную службу здесь сослужила моя песенная «популярность». Так, один из тогдашних профессоров кафедры Роман Филиппович Володарский, поинтересовавшись, зачем я появился на кафедре, сказал: «Это который песенки пишет? И вы что думаете, у него может быть хорошая работа? Наверняка барахло какое-нибудь».

Оппонировать диссертацию согласился известный геофизик профессор Огильви, представитель старинного ирландского рода, заброшенный в нашу страну прихотливой судьбой. Согласно легенде, какой-то предок профессора, еще в XVII веке бывший известным военачальником, совершил тяжкое злодеяние, за что был изгнан из Ирландии, а род его обречен на скитания по чужбине. С той поры уже триста лет потомки злосчастного фельдмаршала живут во всех странах мира, в том числе и у нас, но в Ирландии — нет никого. Александр Александрович Огильви, автор фундаментальной книги «Разведочная геофизика», внимательно прочитал мою диссертацию, и она ему понравилась. «Ваша диссертация весьма экзотична, — заявил он мне, — я берусь ее оппонировать». В тот же день на кафедре его молодые сотрудницы рассказали ему, что Городницкий «еще пишет песни и стихи». Он расстроился и сказал: «Не может быть, ведь я читал его работу — видно, что человек серьезный!»

Диссертация моя была по тем временам закрытой (и даже поначалу должна была защищаться в Ленинграде, в Военно-морской академии, но там очередь была большая), поэтому народу на заседании Ученого совета, кроме его «допущенных» членов, было мало. Тем не менее я заметил довольно большую группу студентов «закрытой» радиоактивной специальности, никакого отношения к теме диссертации не имевших. По окончании защиты я спросил их, почему они пришли, и староста

группы, очень красивая девушка, смутившись, ответила: «Мы надеялись, что в конце вы все-таки что-нибудь споете».

Защита диссертации первоначально планировалась на февраль 1968 года. Но как раз перед этим моя песня «Атланты» заняла первое место на Всесоюзном конкурсе, и мне неожиданно предложили принять участие в поездке во Францию на Зимние Олимпийские игры 1968 года в Гренобле. Я решил, что если Париж стоил мессы, то уж диссертации и подавно, и, не задумываясь, отложил защиту на май.

Во Франции мы пробыли три недели: четыре дня в Париже, а остальное время — в Гренобле. «По должности» (я входил в состав так называемой творческой группы при Олимпийской сборной, вместе с другими артистами и композиторами) мы должны были время от времени выступать перед нашими спортсменами в Олимпийской деревне и перед французской «общественностью». Поскольку сам я на гитаре играть тогда не умел (и сейчас не умею), в качестве специального аккомпаниатора был оформлен актер театра комедии Валерий Никитенко. Уже в поезде Ленинград — Москва выяснилось, что на гитаре он тоже играть совершенно не умеет. После признания Валерий слезно просил его «не выдавать», поскольку очень хочется в Париж. В результате на концертах во Франции мне подыгрывали гитаристы из грузинского ансамбля «Орэро», и надо сказать, что такого роскошного аккомпанемента своим скромным песням за все последующие годы я не помню.

Когда в августе 1991 года меня, как одного из защитников Белого Дома, пригласили для выступления на телевидении, я, отказываясь, говорил: «Меня нельзя на телевидение приглашать. Я ведь с одним из главных путчистов в свое время немало водки выпил». Это была чистая правда. Руководителем нашей делегации в 1968 году в Гренобле был Геннадий Янаев, бывший тогда председателем Комитета молодежных организаций. Они, вместе с другим нашим шефом Михаилом Ржановым, секретарем ЦК ВЛКСМ Белоруссии, привезли с собой во Францию целый ящик «Беловежской горькой», к которому регулярно прикладывались. Помню, похмельный Ржанов во время экскурсии в Лувр возмущался: «Что за музей? Поставили у самого входа какую-то каменную бабу — без головы и с крыльями. А пива нет нигде!» На следующий день, под вечер, они с Янаевым неожиданно ворвались к нам в номер в состоянии радостного возбуждения, усиленного «Беловежской горькой», и заявили: «Париж — город враждебной идеологии, и необходима постоянная бдительность. Поэтому, кто стриптиз еще не видел, разбились на боевые тройки — и на Пляс-Пигаль!»

По случаю Олимпийских игр в Гренобле была специально организована выставка работ Модильяни, на которой побывала наша делегация. И я услышал презрительную реплику наших похмельных начальников, — что-то о «бездарных буржуазных портретистах, малюющих косые рыла». Я страшно обозлился и неожиданно для себя самого, забыв о разнице наших положений и элементарной осторожности, начал кричать на них: «Скоты пьяные, зачем вы сюда приехали, водку пить? Модильяни — великий художник, друг Ахматовой! Как вы смеете, тупицы, так говорить о нем?» Я ожидал гневной реакции, но вожди наши вдруг притихли, и Янаев, миролюбиво улыбнувшись, сказал: «Саня, ну что ты лаешься? Ты лучше нам объясни, — может быть, и мы поймем».

В течение последующих двадцати минут я дрожащим от волнения голосом держал вдохновенную речь о творчестве Амедео Модильяни и его трагической жизни, оборвавшейся в тридцать шесть лет, положив в основу своего повествования, как сам я заметил в середине рассказа, не столько скупые факты биографии художника, сколько кинофильм «Монпарнас-19». Слушатели мои размякли, а услышав о том, что художник спился, Янаев решительно заявил: «Ты бы сразу так и сказал. Это, безусловно, наш человек, настоящий художник. Вот до чего, суки, талантов доводят в буржуазной стране». После этого выставка была рекомендована для обязательного посещения всем членам советской делегации.

68-й год запомнился мне еще одним весьма знаменательным событием. За несколько дней до отъезда во Францию, 30 января, в ленинградском Доме писателей состоялся литературный вечер, посвященный незадолго перед этим вышедшему из печати очередному литературному альманаху «Молодой Ленинград». На этом вечере выступали молодые поэты и прозаики, чьи стихи и рассказы были напечатаны в альманахе. Среди них были Татьяна Галушко, Сергей Довлатов, Елена Кумпан, Иосиф Бродский, Владимир Марамзин, Валерий Попов и я. И вот, пока я разгуливал по Греноблю, орал «шайбу, шайбу» нашим славным хоккеистам, проигрывавшим чехам, и любовался утренним Парижем с Монмартрского холма, в моем родном Питере разыгрался грандиозный скандал, связанный с упомянутым вечером.

Группка воинствующих черносотенцев из литобъединения «Россия» при Ленинградском обкоме ВЛКСМ, в составе председателя этого «патриотического объединения» некоего В. Щербакова и членов В. Смирнова и Н. Утехина, присутствовавшая на вечере, написала довольно обширный донос

в три весьма солидных организации сразу: в обком ВЛКСМ, Ленинградский обком партии и ЦК КПСС. В доносе выражалось «законное возмущение» услышанными на вечере идейно чуждыми стихами, а также «попустительством руководства ленинградской писательской организации антисоветской и сионистской пропаганде», которую пытались вести выступавшие. По мнению авторов этого мерзкого документа, «30 января в Ленинградском Доме писателя произошел хорошо подготовленный сионистский художественный митинг».

Выше я уже цитировал отрывки из доноса, касавшиеся Татьяны Галушко, Елены Кумпан, Якова Виньковецкого и Якова Гордина.

Про меня там было написано следующее:

«А. Городницкий сделал «открытие», что в русской истории, кроме резни, политических переворотов, черносотенных погромов, тюрем да суеверной экзотики, ничего не было».

Больше всего досталось Иосифу Бродскому:

«Заключил выступление известный по газетным фельетонам, выселявшийся из Ленинграда за тунеядство Иосиф Бродский. Он, как синагогальный еврей, творя молитву, воздевал руки к лицу, закрывал плачущие глаза ладонями. Почему ему было так скорбно? Да потому, как это следует из его же псалмов, что ему, видите ли, несправедливо исковеркали жизнь мы — русские люди, которых он иносказательно называет «собаками»». Последний псалом Иосифа Бродского прозвучал как призыв к кровной мести за все обиды и оскорбления, нанесенные русским народом еврейскому народу.

Подведя итоги, нужно сказать, что каждое выступление сопровождалось бурей суетливого восторга и оптимистическим громом аплодисментов, что, естественно, свидетельствует о полном единодушии присутствующих.

Мы убеждены, что паллиативными мерами невозможно бороться с давно распространяемыми сионистскими идеями. Поэтому мы требуем:

1. Ходатайствовать о привлечении к уголовной, партийной и административной ответственности организаторов и самых активных участников этого митинга.

2. Полного пересмотра состава руководства Комиссии по работе с молодежью ЛО СП РСФСР.

3. Пересмотра состава редколлегии альманаха «Молодой Ленинград», который не выражает интересы подлинных советских ленинградцев, а предоставляет страницы из выпуска в выпуск для сочинений вышеуказанных авторов и солидарных с ними «молодых литераторов»».

Почти все эти требования были неукоснительно выполнены.

Два небольших стихотворения Иосифа Бродского, напечатанных в злополучном номере «Молодого Ленинграда», на долгие годы так и остались его единственной публикацией на Родине.

В июне 1972 года он был насильственно отправлен во вторую, на этот раз уже бессрочную ссылку — не в деревню Норинское болотистого Копошского района Архангельской области, а за рубеж.

Татьяне Галушко было отказано в публикации уже сданной в издательство книги и возвращены подборки стихов из альманахов и журналов.

Мне также была возвращена из издательства рукопись второй книжки стихотворений и отказано в приеме в Союз писателей. Кроме того, наши имена были внесены в «черный список» ленинградского радио и телевидения, а, как выяснилось позднее, и в «черные списки» московских издательств и журналов…

Сразу же по возвращении из Франции меня вызвали в Ленинградский обком комсомола, к тогдашнему первому секретарю А. П. Тупикину. Поскольку именно Ленинградский обком комсомола санкционировал мою поездку, то им, по всей видимости, изрядно досталось за то, что послали «не того». От меня потребовали предъявления «крамольных» стихов и песен — должно быть, для представления в «компетентные инстанции», и я был подвергнут грозной проработке. В числе прочитанного мною на вечере были опубликованные позднее стихи «Петровские войны» и песня «Монолог маршала».

Надо сказать, что в конце 60-х годов идеологический нажим на молодых ленинградских авторов вообще заметно усилился. Короткая хрущевская оттепель сменилась устойчивыми брежневскими холодами. Мы, молодые ленинградские авторы, были зарегистрированы в Комиссии по работе с молодыми литераторами при ЛО ССП, функции которой были далеко не однозначны. Достаточно сказать, что секретарь этой комиссии в 60-е годы Е. В. Воеводин, который по своему положению практически осуществлял ее решения, предъявил во время инспирированного судилища над Бродским бездоказательные и клеветнические обвинения против него, что сыграло не последнюю роль в жестокой расправе над поэтом. Еще тогда, в 64-м, большая группа молодых ленинградских литераторов, и я в том числе, обратилась в эту комиссию с коллективным письмом, справедливо обвиняя Е. Воеводина в подлоге и лжесвидетельстве.

Стихи мои после скандального вечера в Доме писателей в Питере сразу же перестали печатать. Попадая наездами в Москву,

я несколько раз, по совету друзей, пытался пристроить свои стихи и песни в редакции московских литературных журналов, но и здесь эффект был нулевой. В августе 1968 года журнал «Юность» опубликовал зубодробительную рецензию на моих «Атлантов», которую написал шустрый ленинградский критик Владимир Соловьев. Статья называлась «Всадник, скачущий позади». Самое забавное, что редакцию после этого, как выяснилось позднее, завалили возмущенными письмами мои доброжелатели, и «Юность» неожиданно для меня напечатала подборку моих стихов. Это, однако, было исключением из общего правила. Я же, еще ничего не зная о «черном списке», о котором мне только в 1972 году по-дружески поведал заведующий отделом поэзии журнала «Москва» Анатолий Парпара, продолжал наивно посещать редакции.

В связи с этим вспоминаю, как во время очередного приезда в Москву я вместе с моим упомянутым выше приятелем Сергеем Артамоновым зашел в редакцию журнала «Знамя», размещавшуюся тогда в маленьком двухэтажном доме на Тверском бульваре, рядом с Литинститутом, в старинном здании которого некогда находился «МАССОЛИТ», воспетый Михаилом Булгаковым в «Мастере и Маргарите». Примерно за месяц до этого я отправил в редакцию подборку своих стихов и песен и хотел узнать результат. В маленькой комнате отдела поэзии, куда я робко постучался, я обнаружил худощавого со впалыми щеками желчного вида человека в очках, обликом своим немного напоминавшего изголодавшегося волка.

Услышав мою фамилию и кинув на меня цепкий изучающий взгляд, он презрительно усмехнулся, выудил худыми хваткими пальцами из пухлой папки листок с моей песней «Снег» и, брезгливо бросив его перед собой на пустую грязноватую поверхность большого дубового стола, начал читать мне длинную назидательную лекцию о бездарных графоманах, пытающихся пролезть в русскую литературу и отнимающих время у настоящих литераторов. Покорно вытерпев минут пять, я попытался попросить его вернуть мне стихи и прекратить на этом разговор. Мне это, однако, не удалось. Поправив дрожащей рукой очки и взрыхлив редкие вихры на узкой голове, с непонятной мне агрессивностью и злобой, зарумянившись от собственной речи, он продолжал обличать меня в корыстном желании любыми средствами пролезть в печатные издания, что вообще свойственно «таким как я», хотя виделись мы впервые. Наконец мне удалось выхватить из его рук злосчастный листок, и я, хлопнув дверью, выбежал на улицу. «Кто это?» — спросил я поджидавшего меня Сергея. «Ты что, разве не знаешь? — удивился он. — Это зав.

отделом поэзии в «Знамени», поэт Станислав Куняев». И добавил с уважением: «Ученик Слуцкого».

Поворотную роль в моей судьбе сыграл 1970 год, когда, после четырехлетнего перерыва, я снова попал в большую зарубежную океанологическую экспедицию в Северную Атлантику, на этот раз уже не на военном, а на научно-исследовательском судне Института океанологии им. П. П. Ширшова Академии наук СССР «Дмитрий Менделеев», и познакомился в этой экспедиции с Игорем Михайловичем Белоусовым, руководившим там геофизическим отрядом.

Попал я в этот рейс случайно, в состав магнитной группы, с подачи моего приятеля — магнитчика из Института океанологии Толи Шрейдера. Вместе с ним и другим геофизиком, Жорой Валяшко, мы довольно дружно проплавали все четыре месяца. Наш начальник, Игорь Михайлович, своей опекой нам особенно не досаждал и в магнитные дела не вникал, предоставляя полную свободу действий.

Не по годам грузный, любитель вкусно поесть и выпить, бывший, как выяснилось, морской офицер, переквалифицировавшийся в геоморфолога и защитивший кандидатскую диссертацию, Белоусов обладал совершенно уникальной доброжелательностью, сочетавшейся с не менее редким оптимизмом. Память у него была удивительная, особенно на диковинные экзотические географические названия, которых он знал множество. «Это что, — заявил он, когда я как-то раз выразил ему свое восхищение диапазоном его географических и литературных познаний. — Я тебя познакомлю с моей московской бандой, особенно с Эйдельманом и Смилгой — вот это люди!» Именно от него я услышал впервые историю о нестандартной «лицейской» дружбе, связывающей уже долгие годы выпускников их класса 110-й арбатской школы, и восторженные рассказы о его друзьях, из которых выделял он троих — историка Натана Эйдельмана, физика-теоретика Вольдемара Смилгу и хирурга и писателя Юлия Крелина…

После долгих лет плаваний на «Крузенштерне» и других судах военной гидрографии с их суровой мужской обстановкой и системой постоянных запретов, попав на комфортабельное академическое судно, которым командовал весьма колоритный и интеллигентный капитан Михаил Васильевич Соболевский, где официально выдавалось в тропиках сухое вино и регулярно устраивались разного рода вечера — от вечеров филармонической музыки в салоне начальника рейса, академика Бреховских, до еженедельных танцев на верхней палубе с участием многочисленных женщин, я несколько растерялся.

Вообще быт на академических судах поначалу показался мне довольно своеобразным. На день рождения, например, по выданной замполитом записке можно было приобрести в судовом ларьке вино, водку или коньяк. Помню, как торжественно и вполне открыто отмечали в марте 1971 года посреди океана мой день рождения. Приглашенная в числе гостей буфетчица Галя, сразу же с дня рождения отправившись мыть посуду, перебила довольно много тарелок. Празднование продолжалось почти сутки, так как на смену одним гостям, уходившим на вахту, немедленно являлись другие, сменившиеся с вахты.

В те годы дело с выпивкой на гражданских академических судах, где на борту часто находились и иностранные ученые, обстояло весьма вольно.

Помню, уже позднее, в 1982 году, в первом рейсе нового «Витязя» замполит, пришедший сюда с нефтеналивного флота, где строго-настрого запрещалось употребление спиртных напитков, никак не мог привыкнуть к тому, что пьянки с участием иностранцев на борту проводятся вполне официально и называются «научными контактами». Другой, сменивший его на этой должности, пришел на флот из МВД. В конце танцевальных вечеров он объявлял по трансляции: «Товарищи, танцы кончились, — все по камерам!»

Наиболее серьезные выпивки, как правило, были приурочены к выходу в рейс и возвращению в родной порт. Вспоминается в связи с этим один весьма характерный случай, когда судно «Академик Курчатов» вернулось в Калининград из очередного рейса. Руководитель одного из научных отрядов, видный специалист по гидрооптике океана, известный своей приверженностью к Бахусу не меньше, чем научными работами, крепко отметив накануне возвращение домой, мертвецки пьяный мирно почивал в своей каюте. Атмосфера и порядок в этой каюте, куда ни свежий воздух, ни дневной свет не попадали, так как даже иллюминатор был задраен на броняшку, были соответственными. Неожиданно распахнулась входная дверь, и в сопровождении дежурного по кораблю вошла группа калининградских пионеров во главе с роскошной пионервожатой, которых привели на экскурсию знакомиться с «флагманом советского научного флота». Дежурный повернул выключатель, и задохнувшиеся пионеры с ужасом уставились на объедки на столе и пустые бутылки, валявшиеся на полу вперемежку с предметами мужского туалета. «Михаил Николаевич, — отчаянно затряс дежурный за плечо полумертвого хозяина, — проснитесь. Пионеры очень хотят узнать, как распространяется свет в водной толще океана. Михаил Николаевич, вы слышите меня? Как

распространяется свет в океане?» Михаил Николаевич с усилием оторвал от подушки больную голову со спутанными волосами и, мученически приоткрыв глаза, пробормотал: «Очень фуево».

Кстати, в описываемом третьем рейсе наш «Дмитрий Менделеев» встретился с «Академиком Курчатовым». В нашем рейсе участвовала синоптик Нина Романова, муж которой Юра, тоже синоптик, находился в это время на «Курчатове» в составе аналогичного отряда. Плавать жене и мужу на одном судне категорически запрещалось, видимо, из опасения, что они могут вместе сбежать в каком-нибудь иностранном порту. Пока суда лежали в дрейфе.

Нину на глазах всей любопытствующей экспедиции возили на пару часов на шлюпке «на побывку» к мужу. Когда шлюпка возвращалась обратно, бедная путешественница сидела, опустив глаза и краснея. «Ну, как?» — кричали ей с борта подвыпившие моряки. Вечером того же дня в кают-компании были устроены танцы, и Нина, когда партнер пытался обнять ее потеснее, возмущенно отстраняясь, говорила: «Что вы, что вы, — я только что от мужа».

Поскольку женщин на научных судах всегда было значительно меньше, чем мужчин, то почти каждая из них с самого начала рейса становилась предметом ухаживаний. Помню, одна тихая и скромная научная сотрудница Ира по вечерам, когда спадала жара, как и многие, отправлялась на верхнюю палубу делать гимнастику. Выходила она, как правило, позднее всех и усердно делала множество разных упражнений. Наблюдавший ее упорные занятия вахтенный матрос Михаил Ночевный, видя, как она изнуряет себя упражнениями, однажды жалостливо спросил: «Что, еще не пристроилась?»

Еще одним, после магазинов, серьезным испытанием для наших закрепощенных домашним бытом и закомплексованных советских женщин в портах заходов явилось знакомство с западным сексом на экранах зарубежного кино. Это, как правило, производило на них оглушительное впечатление. Помню, одна из наших миловидных научных сотрудниц Наташа, видный геоморфолог, впервые посмотрев в Антверпене сексфильм «Глубокое горло», от волнения потеряла голос и целый месяц после этого говорила шепотом.

Справедливости ради следует сказать, что и на многих советских мужчин зрелище это производило с непривычки сильное впечатление. Помню, в 1974 году, в одиннадцатом рейсе «Дмитрия Менделеева», во время стоянки в Сиднее, часов в десять вечера, когда увольнение в город, разрешенное обычно только на «светлое время суток», уже закончилось, заместитель начальника

рейса, бывший одновременно представителем институтского партбюро на судне, и первый помощник потащили меня в качестве переводчика на берег смотреть сексфильм «Австралия после полуночи». И около двух часов, усадив меня в середине, изводили постоянными требованиями синхронного перевода, хотя события, происходившие на экране, ни в каком решительно переводе не нуждались. «А что он ей сейчас сказал? — ежеминутно интересовались мои наэлектризованные соседи. — А она ему?» Когда свет наконец зажегся, выяснилось, что в зале находится еще одна тройка с нашего судна: две буфетчицы из кают-компании в сопровождении судового механика. Увидев помполита, они тут же растворились в толпе.

Уже поздно вечером, когда мы возвратились на судно, в дверь моей каюты постучали. Вошли обе девицы, Таня и Галя, встретившиеся нам в кино, и поставили на столик бутылку «Столичной», которая сама по себе была на судне крайним дефицитом. Судя по румянцу на их лицах, перед этим они уже успели выпить. «Александр Михайлович, — заявила Галя, — мы вот с вами вместе в кино были. Но мы английского не знаем, поэтому не все поняли. Вы не могли бы нам кое-что перевести и объяснить?» «А почему же вы вдвоем пришли?» — неловко попытался пошутить я. «Как почему? — совершенно серьезно ответили они. — Там же все время — две женщины с мужчиной».

Несколько позднее, в 1977 году, в 24-м рейсе судна «Академик Курчатов», работавшего в Атлантике и заходившего на Канарские острова, в моем отряде произошло ЧП, — двое моих сотрудников сильно выпили во время увольнения в Лас-Пальмасе, за что и они, и я получили изрядный нагоняй. Уже на пути в Калининград мы зашли в шведский порт Гетеборг. Накануне, когда решался вопрос об увольнениях на берег, меня вызвал к себе в каюту замполит. Время было позднее. Судно раскачивалось и скрипело от внезапно налетевшего североморского шторма. «Мы вот тут посоветовались с партбюро и решили этих двоих, что в Лас-Пальмасе напились, дать тебе в тройку. Вот ты сам теперь с ними ходи и за них отвечай, поскольку ты у них начальник отряда». «Да что мне с ними делать? — возразил я. — Они же все свои деньги пропили». — «Ну и что?» — «Как что — мы ведь в Швецию заходим и хотели на какой-нибудь секс-фильм сходить». — «Это ты мне, первому помощнику, такое говоришь? Ты что, разве не знаешь, что ходить на секс-фильмы запрещено?» — «Запрещено! Сам-то небось ходил?» — «Я — другое дело, я — политработник! Мне потом с людьми надо беседовать, разоблачать там и все такое. Мне положено по работе». — «Ну, и мне положено. Я ведь, как ты знаешь, член Союза писателей. Это

ведь самый что ни на есть идеологический фронт. Мне потом дома тоже выступать придется и на всякие вопросы отвечать. Ты что думаешь, мне поверит кто-нибудь, что я секс-фильмов не видел?» Замполит задумался. «Пожалуй, ты прав, — вздохнул он, — тебе можно. Только всем подряд не рассказывай».

На следующий лень четыре боевых «тройки» отправились в Гетеборге на поиски главного секс-кинотеатра. Нашим Сусаниным был добрейший и милейший геофизик Саша Гольмшток, который не испытывал ни малейшего желания тратить деньги на секс-шоу, но, на беду свою, уже бывал ранее в Гетеборге и знал, где находится кино. Павший жертвой собственной доброты, он, так же, как и другие, покорно заплатил 15 крон (деньги весьма в нашем положении немалые) за входной билет. Уже минут через сорок, однако, он сильно затосковал от скуки и опрометчиво покинул зал, шепнув, что покурит пока на улице у выхода.

Когда мы примерно через час вышли, Саша находился в состоянии полной ярости, что ему, человеку спокойному и доброжелательному, обычно было не свойственно. Оказывается, за то время, что он нас ждал, почти все наши советские «тройки» подходили к кинотеатру, с большим вниманием изучая картинки у входа, поскольку денег на билеты у них не было. И каждый раз они натыкались на Гольмштока, который совершенно очевидно грубо нарушал инструкцию по поведению советских граждан в иностранном порту: во-первых, трется возле секс-кинотеатра и ни на шаг от него не отходит, а во-вторых — один, без своей «тройки». Попытка Саши, осознавшего свою ошибку, вернуться в зрительный зал оказалась бесплодной: надо было снова платить 15 крон, а уйти он не мог, так как действительно боялся отстать от своей «тройки».

Бывали и другие случаи. Так, в 1983 году в Копенгагене, в одном из аналогичных кинотеатров, когда наша «тройка» собиралась уже уходить, прямо рядом со мной, перегородив нам дорогу к выходу, плюхнулась на сиденье вместе со своим спутником только что заскочившая в зал здоровенная деваха, обдавшая нас густым духом спиртного. На второй минуте из их с кавалером оживленного диалога (а чего стесняться, — ведь кругом чурки нерусские, все равно ни черта не понимают), выяснилось, что они — члены экипажа теплохода «Абхазия», который пришел в порт с немецкими туристами на борту. Едва усевшись, соседка моя, используя все доступные ей богатства родного языка, начала энергично комментировать происходящее на экране. «Вася, да разве ж это французская любовь? — загудела она прямо над моим ухом. — Она ж его держит неправильно!

Подожди, вернемся на судно вечером, я тебе покажу, как это надо делать!»

Поддавший Вася блаженно хрюкнул в предвкушении обещанного. Мои спутники справа от меня тоже беспокойно заерзали. «Вася, глянь, — не унималась моя соседка. — Да разве ж это любовь втроем? Они же на него не так садятся! Нет уж, погоди. Я вот Люську из нижнего буфета к тебе в каюту приведу, мы тебе с ней устроим!» Это было слишком. Вася, кажется, уже был в полной отключке. Кивнув моим коллегам, мол, пора двигаться, я тихо сказал девице: «Простите, можно пройти?» Пьяная ухмылка на ее лице мгновенно сменилась выражением внезапного ужаса. Схватив в свои могучие объятия несчастного Васю, она моментально испарилась, оставив только легкий запах спиртного. Путь к выходу был свободен.

Все эти истории, однако, происходили позднее. Тогда же, в 1970 году, в первом рейсе на академическом судне, мой трусливый, хорошо отлаженный стереотип поведения забитого и запуганного советского гражданина за рубежом претерпевал острый кризис. Этому немало способствовал Игорь Белоусов, бывший, кстати сказать, в ту пору секретарем парткома Института океанологии. Именно он выступал инициатором многочисленных культурно-массовых мероприятий самого разного рода — от шахматного турнира (он был страстным шахматистом) до конкурса на лучшую песню об Атлантиде, о котором речь пойдет ниже.

В шахматном турнире Игорь, претендовавший на первое место, потерпел сокрушительное поражение от второго механика. Тогда он придумал неожиданный розыгрыш. Центром возникшего «заговора» стала синоптик Клара Войтова, самая красивая женщина на судне, похожая на таитянку, за которой весь рейс весьма активно и элегантно и, кажется, совершенно безуспешно ухаживал наш блестящий капитан.

Одним из главных украшений Клары были густые и длинные черные волосы, сыгравшие не последнюю роль в описываемой истории. Дело в том, что Клара немного играла в шахматы. Коварный план Белоусова состоял в том, чтобы заставить проиграть своего удачливого противника не кому-нибудь, а именно женщине, что особенно обидно для мужчины, да еще и моряка. С этой целью против второго механика выставили Клару, неожиданно пожелавшую принять участие в турнире. Клара явилась на игру в открытом ярком платье, глубоко обнажавшем полные обольстительные плечи и шоколадного цвета спину. Кажется, одного этого было достаточно для любого мужчины, чтобы сдаться немедленно. Ее роскошные волосы были собраны в

большой тугой узел сзади. Никто из окружающих не мог и подозревать, что под этой пышной прической скрывается портативное корабельное переговорное устройство, которое обычно используется при швартовке или для связи со шлюпкой у борта. В соседней каюте, за такой же шахматной доской, точно дублирующей положение фигур, сидел целый шахматный совет во главе с Белоусовым, обсуждавший каждый ход и дававший команду Кларе.

Поначалу все шло блестяще. Второй механик, высокий и серьезный мужчина, признанный лидер шахматного чемпионата, первокатегорник по шахматам, после нескольких же ходов вдруг начал понемногу проигрывать. И кому, какой-то смазливой девчонке. Чемпион начал нервничать и «зевнул» ладью. Огромное число болельщиков набилось в кают-компанию поглядеть на этот неслыханный поединок. Это-то и погубило весь замысел. Увидев такое большое количество мужчин, Клара по инстинктивной женской привычке стала поправлять прическу и нечаянно нажала на кнопку приемника. Связь прервалась, и покрасневший от напряжения второй механик сумел свести партию к ничьей.

Меня Игорь уговорил провести серию вечеров-концертов, посвященных авторской песне. После военных судов, на которых песни Окуджавы. Галича, Высоцкого и Кима были намертво запрещены, это казалось удивительным. Помогали мне в этих вечерах второй штурман Володя Черкас, прекрасный гитарист, и химик Галина Сычкова — исполнительница авторских песен.

Песни мои, которых Игорь прежде не слышал, ему понравились, и он стал постоянно интересоваться, не написал ли я чего-нибудь нового. Мы в это время, отработав в центральной части Атлантики, шли на заход на Малые Антилы, на остров Гваделупа…

Помню, в холодной и голодной мужской послевоенной школе, в пятом и шестом классах, мы все поголовно занимались собиранием марок. Теперь мальчишки марками так не увлекаются. Почему мы с такой страстью их тогда собирали? Не потому ли, что нас подсознательно манили, притягивали к себе сказочные, недоступные для нас края, изображенные на этих маленьких бумажных квадратиках? Ниагарский водопад, дирижабль, летящий над полюсом. Стройные и величественные африканские жирафы, антарктические пингвины и розовые фламинго. Наши неискушенные мальчишеские сердца переполнялись многокрасочным разнообразием и полнотой недоступного для нас мира. Помню, что по наиболее высокой таксе обмена среди опытных филателистов в то время шли марки серии «Французские доминионы», из которых самыми ценными

были марки «страны Гваделупа» (я тогда еще и не подозревал, что это остров в Западной Атлантике).

В рейсе в мои основные обязанности, помимо прочего, входило нести вахту на магнитометре, работавшем круглосуточно. Вахта моя ночью была с нуля до четырех часов утра. Примерно минут за пятнадцать до ее окончания мне в кормовую лабораторию, где стояла наша аппаратура (а оттуда ничего не видно — даже иллюминаторы задраены наглухо, поскольку работает аппаратура, охлаждаемая от перегрева кондиционерами), позвонили с мостика и голос вахтенного штурмана Володи Черкаса произнес: «Саня, хочешь на Гваделупу взглянуть? Выходи на палубу — остров на горизонте».

Я поднялся на мокрую от утренней росы кормовую палубу и заглянул вперед за надстройку. Плотные утренние сумерки одевали все пространство вокруг серым сырым фоном, не позволяя отличить воду от неба. И только далеко впереди с левого борта, на скорее угадываемой, чем различимой глазом границе двух этих необъятных стихий, едва заметно мерцала цепочка зыбких огней — остров на горизонте. Мне вспомнились нетопленая послевоенная школа на Мойке, крики балтийских чаек, круживших за высокими пыльными окнами нашего класса, над старыми кирпичными воротами «Новой Голландии», и бережно заложенные в тетрадку марки с трудно различимыми французскими названиями. Смешанное чувство радости и грусти охватило меня — радости от реального осуществления наивной школьной мечты и грусти от невозвратной утраты того головокружительного мальчишеского ожидания непременного чуда наутро. На следующий день я показал Игорю новую песню «Остров Гваделупа»:

Такие, брат, дела, такие, брат, дела, —
Давно уже вокруг смеются над тобою.
Горька и весела, пора твоя прошла,
И партию сдавать пора уже без боя.
На палубе ночной постой и помолчи.
Мечтать за сорок лет — по меньшей мере глупо.
Над темною водой огни горят в ночи, —
Там встретит поутру нас остров Гваделупа…

Поскольку песня Игорю понравилась, я тут же ее ему посвятил.

К вечеру следующего дня мы уже разгуливали по крутым улочкам города Пуанта-Питр. Шли мы вчетвером, впереди более подвижные и шустрые мы с Валяшко и Шрейдером, а сзади,

тяжело отдуваясь, Игорь Белоусов в парусиновом костюме и широкополой шляпе. Путь наш в городок пролегал через «веселые кварталы». У гостеприимно открытых дверей «домиков для любви» стояли или сидели в соблазнительных позах живописно раздетые мулатки и креолки всех мастей — от черного кофе до молока. Надо сказать, что на нас троих, глянув в нашу сторону опытным оценивающим глазом, они никакого внимания не обратили. Зато появление Игоря произвело на них самое внушительное впечатление, — клиент на вид солидный. «Эй, босс, — оживились они, — кам хиа». «Потом, потом», — смущенно промямлил Игорь и бросился догонять нас.

К середине второго дня неожиданно выяснилось, что на остров Гваделупа мы зашли незаконно, поскольку на нем находится французская военно-морская база. Местные власти прибыли на борт с требованием в течение двух часов покинуть порт. В противном случае судну грозил арест. Что было делать? Весь экипаж и научный состав, кроме вахтенных, был уволен в город до семи часов вечера, а на часах была половина первого дня. Вот тут кто-то подсказал капитану Соболевскому, что в городке Пуанта-Питр — всего один кинотеатр, и в кинотеатре этом идет один-единственный фильм «Я — лесбиянка», смотреть который замполит категорически запретил. Посыльный с судна, с трудом договорившись с контролерами, проник в зал. Примерно через полчаса все уволенные в город были уже на борту, и судно покинуло негостеприимную гавань.

Закончив второй этап работ, уже в апреле 1971 года, наше судно зашло в порт Дакар, столицу республики Сенегал. В первый же день захода мы вдвоем со Шрейдером отправились бродить по шумному африканскому городу, где за нами немедленно увязался черный мальчишка — чистильщик сапог. Сколько мы от него ни отбивались, он упрямо продолжал нас преследовать. Пока мы лакомились мороженым в кафе, он, незаметно подкравшись под столом, ухитрился начистить одну белую туфлю Анатолия черной ваксой и тут же стал требовать плату, угрожая позвать полицейского. С большим трудом мы от него отвязались. К концу дня мы купили по дешевке у какого-то подозрительного черного старика два тамтама, а вернувшись на борт, узнали, что купили мы их в районе, где живут прокаженные. Выбросить купленные тамтамы нам было жалко, поэтому мы ограничились тем, что помыли их горячей водой с раствором марганцовки. Судовой врач окончательно успокоил нас, заявив, что инкубационный период у проказы — около двадцати лет. Один из этих барабанов висит на стенке у меня дома уже тридцать лет, — можно считать, что пронесло.

На следующий день на судно прибыл советский посол в Сенегале, от которого мы узнали, что на третий день нашей стоянки в Дакаре приходится национальный праздник республики — День Независимости, в честь которого должны состояться военно-морской парад и спортивные празднества, включающие гонку пирог и другие соревнования.

В день праздника капитан приказал спустить судовой катер, на который в число избранных, за широкой спиной Белоусова, попал и я. Подняв красный государственный флаг, катер смело двинулся в самый центр гавани, где проходил парад военного флота республики Сенегал, состоявшего из нескольких списанных во Франции старых тральщиков и одного эсминца. На океанском берегу были установлены трибуны, на которых разместились правительство во главе с тогдашним президентом Сенегала Леопольдом Седаром Сенгором (кстати, известным французским поэтом и членом Французской академии), дипкорпус и множество приглашенных гостей. В честь праздника состоялась показательная высадка десанта на воду. Черные парашютисты бодро выпрыгивали из двух больших транспортных самолетов, неспешно пролетавших вдоль берега. Упав на воду, они ловко раскрывали свои надувные плотики и ожидали подбирающий их катер. Пара парашютистов, видно, плохо рассчитав, вместо моря засквозила в сторону суши, и главный распорядитель махнул рукой — этих можно не подбирать. Вот как раз в этот момент я и увидел жену французского посла.

Она стояла на центральной трибуне, неподалеку от президента Сенгора, рядом со своим мужем — Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Сенегале, под небольшим французским «триколором». Увидел я ее в подзорную трубу, данную мне капитаном, с расстояния минимум три кабельтова. Все, что я успел разглядеть, — это белое длинное платье и широкую белую шляпу, за которой развевался тонкий газовый шарф. Что касается нашего посла, стоявшего на той же трибуне, то он, увидев, что мы затесались почти в строй сенегальских военных кораблей, довольно выразительно погрозил нам кулаком. Лежа на животе, я с трудом выбрал руками маленький катерный якорь, и мы отправились восвояси.

Настроение, однако, было праздничным, и, вернувшись на судно, мы решили отметить День Независимости Сенегала.

Надо сказать, что на всех советских судах, попавших в тропическую зону океана, кроме военных, тогда выдавали сухое вино, которое называлось «тропическое довольствие». Еще Колумб по пути в Америку заметил, что в тропиках пресная вода в деревянных бочонках начинает гнить. И только смешанное с

водой бактерицидное сухое вино возвращает ей питьевые свойства. Вернувшись из Голландии, Петр Первый издал специальный указ, который предписывал выдачу всем членам экипажа судна, попавшего в тропическую зону океана, по стакану сухого вина в день. Указ этот, дошедший до наших дней, пытались, правда, отменить при Горбачеве, но ненадолго. И каждый раз, когда судно пересекало северный тропик, чего все члены экипажа ожидали с явным нетерпением, по сто раз спрашивая штурманов, скоро ли, звучала по «спикеру» Долгожданная команда, и все судовое население бежало в продуктовый ларек, где каждому совершенно бесплатно выдавалась бутылка вина на три дня. При этом на доску приказов и объявлений вывешивался приказ капитана, где было сказано следующее: «Категорически запрещается накапливать сухое вино с целью опьянения».

По случаю национального праздника Сенегала мы решили больше ничего не накапливать, тем более что кроме сухого вина у меня был спирт, а у Белоусова — коньяк.

Вечером того же дня, прикончив вместе с Игорем Белоусовым и другими коллегами бутылку терпкого непрозрачно-красного сенегальского вина, я придумал на свою голову озорную песню о жене французского посла, чей светлый образ некоторое время витал в моем нетрезвом воображении.

Мне не Тани снятся и не Гали,
Не поля родные и леса. —
В Сенегале, братцы, в Сенегале
Я такие видел чудеса!
Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы
Плеск волны, мерцание весла.
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла.

Песня немедленно распространилась по судну, а капитан со старпомом даже заключили пари на ящик коньяка, дойдет ли эта песня за месяц через всю страну от Калининграда, куда мы возвращались, до Владивостока, куда оба они после возвращения должны были вылететь к себе домой (судно было владивостокской приписки). Действительно, через месяц после прихода я получил от капитана Соболевского телеграмму из Владивостока с приглашением участвовать в распитии выигранного им коньяка, поскольку песня дошла.

Не могу не отметить, что все свои песни я до этого писал в связи с конкретными событиями, так как начисто лишен

творческого воображения и песни мои всегда были формой дневниковой записи. К примеру, песня «Снег» написана после экспедиции в Арктику, а песня про Канаду — после захода в Канаду. Песня про жену французского посла, пожалуй, единственное исключение, которое принесло мне немало неприятностей.

Неприятности эти начались не сразу, а примерно через год, но продолжались много лет. Из их длинного ряда вспомню только два эпизода.

Один из них датируется концом 82-го года, когда я уже жил в Москве и выступал накануне Нового года на вечере московских студентов в Концертном зале Библиотеки имени Ленина напротив Кремля. В числе многочисленных заявок на песни в записках чаще всего фигурировала песня «про жену французского посла». «Все равно мы ее знаем наизусть», — писали авторы записок. Обычно я эту песню на концертах не пел. Тут же, под влиянием многократных заявок, притупив обычную бдительность и расслабившись, я ее спел под бурные овации всего зала, и как немедленно выяснилось, — совершенно напрасно, поскольку, как известно, в нашей стране скорость стука значительно превышает скорость звука. Уже третьего января мне домой последовал звонок из Бюро пропаганды художественной литературы при МО СП СССР со строгой просьбой немедленно явиться к ним. Оказалось, что туда уже пришел донос на меня, составленный «группой сотрудников библиотеки».

В доносе отмечалось, что я в «правительственном зале» (почему он правительственный? Потому что напротив Кремля?) разлагал студенческую молодежь тем, что пел «откровенно сексуальную» песню, в которой «высмеивались и представлялись в неправильном свете жены советских дипломатических работников за рубежом». Услышав это обвинение, я не на шутку загрустил. «Так что вы там пели, — спросила меня строгим голосом старой девы самая пожилая дама, старший референт. — про жену советского посла?» «Не советского, а французского», — робко возразил я. — «Ах, французского? Ну это уже полегче. Ну-ка, спойте нам, пожалуйста». И я без всякого аккомпанемента и без особого удовольствия, осипшим от новогодних застолий голосом, спел им эту песню. Народ за столами заметно оживился. «Ну ладно, — сказала пожилая дама, и в ее металлическом голосе зазвучали смягчающие нотки. — Идите. Только больше этого, пожалуйста, не пойте».

Вторая, вернее первая, история, связанная с этой песней, произошла в родном моем Ленинграде в 1971 году, на следующий год после ее написания, когда мне понадобилось

снова оформлять визу за рубеж для следующего плавания. Самым главным документом, представляемым для оформления визы, как хорошо известно людям моего поколения, была характеристика, подписанная так называемым «треугольником», который значительно страшнее Бермудского (дирекция института, партком и местком). Характеристика эта составлялась по строго канонической форме. Чтобы проверяющий ее чиновник не тратил зря время на ее изучение, в правый верхний угол выносились главные сведения о представляемом.

Про меня, например, было написано так: «Характеристика. Составлена на: Городницкого Александра Моисеевича, беспартийного еврея 1933 года рождения». Ясно, что при таких беспросветных исходных данных дальше можно не читать, а сразу надо откладывать личное дело в сторону. (Кстати, после моего развода в 1971 году много лет, уже в Москве, из одной моей характеристики в другую неизменно перекочевывала фраза: «В 1971 году А. М. Городницкий разведен. Обстоятельства развода партбюро известны (!) и не могут являться препятствием для оформления за границу». Вот как, — все должно быть известно до самых личных деталей!)

Кроме того, в каждой характеристике обязательно должна была содержаться стандартная фраза: «Морально устойчив, политически грамотен, в быту скромен. Семья дружная». Если хоть что-нибудь из вышеперечисленного не указано или указано не строго в соответствии с упомянутыми выражениями, то характеристику можно было не подавать — все равно не пропустят.

Документы на каждого проходили несколько строжайших инстанций — сначала институт, потом характеристику утверждают на выездной комиссии райкома партии. Мне неоднократно приходилось бывать на этих комиссиях и робко отвечать на дурацкие вопросы тупых «теток в исполкомовской одежде», упоенных своей неограниченной властью. Помню, как-то в нашем Октябрьском районе, во время очередного оформления в загранрейс, меня представлял комиссии секретарь нашего парткома, мой приятель Володя Мельницкий. Когда я уже ответил довольно успешно на все вопросы о текущей политике и тому подобных вещах (знание которых было мне совершенно необходимо для магнитных измерений в море), Володя на вопрос, увлекается ли чем-нибудь его подзащитный кроме науки, видимо, решив мне польстить, заявил, что Городницкий пишет стихи и песни.

Лица членов высокой комиссии, явно склонявшейся к положительному решению, омрачились. Мне предложено было

выйти за дверь, а секретарю парткома остаться. Как он рассказал мне потом, его начали подробно расспрашивать, что именно я пишу, нет ли у меня помимо «общеизвестных» песен каких-нибудь песен «для себя», которые я пою в кругу близких друзей и которые «не соответствуют». «Да зачем он вообще эти самые песни пишет? — с сожалением спросил доброжелательный старичок с двумя колодками орденов. — Ведь вроде положительный человек, научный работник, и все вроде бы в порядке». Остальные также сокрушенно закрутили головами. Характеристику мне все-таки утвердили. «Они меня спросили, какие я твои песни знаю, — улыбнулся Мельницкий, — а я, как назло, только одну и помню — «От злой тоски не матерись» — так что я уж ничего нм цитировать не стал».

После райкомовского утверждения, изрядно отлежавшись, характеристики и все документы шли на тщательную проверку в КГБ и только после этого передавались в специальную выездную комиссию обкома партии. Вся эта процедура обычно занимала минимум четыре месяца. Интересно, что многочисленные и, как правило, высокооплачиваемые чиновники, явные и тайные, стоявшие (вернее, сидевшие) у этого длинного конвейера, обычно были более склонны не пропустить, чем пропустить. Дело в том, что ответственность они несли только в том случае, если вдруг ненароком пропускали не того, кого надо, и возникали какие-нибудь ЧП. За срыв же важных научных командировок, чрезвычайно дорогостоящих океанографических экспедиций и других работ за рубежом все эти инстанции никакой решительно ответственности не несли.

Я прекрасно помню, например, как в 1974 году наше судно «Дмитрий Менделеев», уже полностью снаряженное для выхода в экспедицию, около месяца простояло в порту, ожидая из Москвы «шифровку» с фамилиями участников экспедиции, «допущенных к рейсу». Сведения эти, видимо, были настолько секретными, что о том, чтобы передать их по телефону или телеграфу, не могло быть и речи. Убытки, понесенные в результате этого простоя, исчислялись сотнями тысяч рублей, не считая валюты, но это решительно никого не волновало: карман ведь не свой — государственный.

Так вот, на следующий год после появления злополучной песни «про жену французского посла», когда мне снова понадобилось оформлять документы в очередной рейс, меня вызвал к себе тогдашний секретарь партбюро, Борис Христофорович Егиазаров, известный геолог, профессор и доктор наук, седой и красивый невысокий армянин с орлиным носом и густыми бровями, обликом своим напоминавший графа

Калиостро. Когда я прибыл к нему в комнату партбюро, где он находился в одиночестве, он запер дверь на ключ, предварительно почему-то выглянув в коридор.

«У нас с тобой будет суровый мужской разговор, — объявил он мне. — У меня тут на подписи лежит твоя характеристика в рейс, так вот, ты мне прямо скажи, что у тебя с ней было». Удивленный и встревоженный этим неожиданным вопросом, я сел на стул и стал морщить лоб.

«Да нет, ты не том думаешь, — облегчил мои мучительные экскурсы в недавнее прошлое секретарь. — Я тебя не про всех твоих баб спрашиваю, партию это совершенно не интересует. Я спрашиваю конкретно про жену французского посла». Я облегченно вздохнул и с улыбкой, хотя, как оказалось, радоваться было рано, хорошо заученным тоном первого ученика сказал: «Борис Христофорович, ну что может быть у простого советского человека с женой буржуазного посла?»

«Ты мне лапшу на уши не вешай, — строго обрезал меня секретарь, — и политграмоту мне не читай — я ее сам кому хочешь прочитаю, мне за это деньги платят. Ты мне прямо говори — было или нет!» «Да с чего вы взяли, что у меня с ней что-то было?» — возмутился я. — «Как это с чего? Мне тут твою песню принесли, и я ее внимательно изучил. И понял, что такую песню просто так не напишешь, там такие есть строчки, что явно с натуры написано. Так что не крути мне голову и признавайся. Давай договоримся по-мужски: ты сознаешься и рассказываешь мне некоторые детали, а я тебе сразу же подписываю характеристику. Зря упираешься, зря — ведь ты уже в песне и так все рассказал, остается только чистосердечно подтвердить, тебе же легче будет. Имей в виду: если ты честно обо всем расскажешь, дальше меня это не пойдет, и характеристику я тебе подпишу, даю тебе честное слово. Пойми, Саня, я же тебе добра желаю. Скажу тебе честно, я бы и сам не устоял, — французская женщина, жена посла… Такой случай может только раз в жизни выпасть. Всякое бывает. Но советский человек, даже если раз оступился, должен сразу же покаяться. Потому что, раз ты сознался, значит, ты перед нами полностью разоружился и тебе опять можно доверять». «Перед кем это — перед вами?» — не понял я. — «Как это перед кем? Перед партией, конечно!» Тут я понял, что дело принимает вполне серьезный оборот, и не ошибся.

Целый час, не жалея сил, он пытался не мытьем, так катаньем вынуть из меня признание в любострастных действиях с женой французского посла. Я держался с мужеством обреченного. Собеседник мой измучил меня и изрядно измучился сам. Лоб у

него взмок от возбуждения. Он снял пиджак и повесил его на спинку своего секретарского стула. Снял галстук и швырнул на стол. «Ну хорошо, — сказал он, — в конце концов есть и другая сторона вопроса. Я ведь не только партийный секретарь, но еще и мужчина. Мне просто интересно знать — правда ли, что у французских женщин все не так, как у наших, а на порядок лучше? Да ты не сомневайся, я никому ничего не скажу!» Я уныло стоял на своем.

«Послушай, — потеряв терпение, закричал он, — мало того, что я просто мужчина, — я еще и армянин. Ты думаешь, если ты еврей, то ты мужчина? Армянин как мужчина — это еврей со знаком качества, понял? Ну какое же качество, если я не знаю, как устроены французские женщины? Да мне просто профессионально необходимо знать, правда ли, что во Франции женщины не такие, как наши табуретки, ну?» Я упорно молчал.

«Хорошо, — сказал он (по мере того, как волнение его нарастало, в его голосе все явственнее проступал кавказский акцент), — никому не веришь, да? Партии родной не веришь, мне как мужчине не веришь. Хорошо, смотри, раз ты такой недоверчивый». С этими словами он протянул руку к телефонной трубке и снял ее с рычагов. «Видишь, я снял трубку с телефона, — в таком положении она уже ничего не записывает. Сознавайся!» Я так испугался, что замолк, кажется, навеки.

Поняв, что толку от меня не добиться, он снова надел пиджак, повязал галстук и, глядя мимо меня куда-то в пространство, называя меня почему-то в третьем лице и явно подражая интонациям великого вождя, произнес: «Неоткровенен Городницкий перед партией, скрывает факты. Уходи. Ничего я тебе не подпишу!» Расстроенный, вышел я из партбюро и побрел по коридору. В конце коридора он неожиданно догнал меня, нагнулся к моему уху и прошептал: «Молодец, я бы тоже не сознался!» И подписал характеристику.

История со злополучной песней на этом, однако, не закончилась. Мой приятель Юрий Карякин, в 1973 году побывав во Вьетнаме, услышал, как там ее поют наши подвыпившие монтажники. Песню, как оказалось, быстро перевели на английский. В 1974 году в Новой Зеландии, в Веллингтоне, к нам на борт сел новозеландский ученый профессор Киблуайт (его тут же прозвали на судне «Белый Кибель»). На первом же дружеском застолье он спел эту песню по-английски и очень удивился, что я автор.

Одноклассник и приятель Игоря Белоусова физик и пушкинист Владимир Фридкин написал рассказ «Жена английского посла», к которому мы вернемся несколько позднее.

Другой наш общий приятель, известный писатель и врач Юлий Крелин, недавно опубликовал в литературном еженедельнике «Алфавит» целую статью, где подробно обсуждается, как следует правильно петь: «Как нага высокая нога» или «Как нога высокая нага».

В конце 1999 года мои коллеги в лаборатории принесли мне показать переводную американскую книжонку из числа многих продающихся сейчас на лотках в метро детективных и эротических повестей типа Эрики Янг. Автора я так и не запомнил. На протяжении всего повествования подробно живописуются любовные утехи героя и героини, которые в короткие промежутки отдыха ходят в гости. И вот в гостях ее бойфренд (его зовут Стив) ее удивляет. Он садится к фортепиано и начинает играть и петь какую-то песню на неизвестном языке. На недоуменные вопросы он отвечает примерно следующее: «У меня был друг — русский летчик. Его сбили во Вьетнаме, и с тех пор он остался жить в свободном мире и много ездил по всему свету. В этой песне, которую он сам придумал, описана история его бурного романа с женой французского посла в Сенегале. У них был с ней такой секс, после которого все женщины стали ему безразличны». Так, спустя много лет, через американскую бульварную литературу, ко мне неожиданно вернулась моя старая песня.

Пару лет назад мне довелось возвращаться с лыж из Подмосковья на электричке, набитой студентами-лыжниками, бодро распевавшими разные песни. Спели они в числе прочих и «Жену французского посла», но в довольно странной редакции. То ли они рифму мою не поняли, то ли молодежь у нас пошла такая, но последний куплет песни они поют так:

Дорогие братья и сестрицы,
Что такое сделалось со мной?
Все мне сон один и тот же снится.
Широкоэкранный и цветной.
И в жару, и в стужу, и в ненастье
Все сжигает он меня дотла.
В нем постель распахнутая, Настя
И жена французского посла.

Мой друг Игорь Белоусов, несмотря на внешнюю мягкость характера и доброжелательность, порой бывал непреклонен.

Помню, в самом конце рейса, уже по пути домой, мы зашли в Гибралтар, бывший в то время портом беспошлинной торговли, где все участники рейса обычно «отоваривали» свою убогую

валюту, выдаваемую формально для «культурного отдыха на берегу». Надо сказать, что нигде мне не было так стыдно за свою великую державу, как в жалких третьесортных лавчонках Гибралтара и Лас-Пальмаса, Сингапура и Токио, где пронырливые торговцы, по большей части индусы или поляки, ловко ориентируясь на советский спрос, держат специальные «русские» магазины, в которых по более дешевым ценам продают самую разнообразную третьесортицу — от джинсов из подгнившей ткани, бракованных зонтиков и презервативов до магнитофонов и видеосистем, через месяц или раньше выходящих из строя. Моряков и рыбаков наших это, однако, нисколько не волнует, так как все барахло приобретается здесь для немедленной перепродажи дома.

До сих пор помню чувство жгучего стыда, испытанного мною в 1968 году в Париже в каком-то «польском» магазине, куда нас привел гид и где «золотые чемпионки» Олимпийских игр, на глазах у откровенно потешавшихся над нами продавцов, жадно вырывали друг у друга из рук какие-то нейлоновые шубы и более интимные предметы женского туалета. А похмельные оравы матерящихся рыбаков с продубленными соленым ветром лицами и алчными глазами, торопливо волокущие к причалу огромные узлы и свертки с коврами и пальто-болоньями! Игорь в такие лавочки, как правило, не ходил, несмотря на откровенное неудовольствие его жены, и приобретал в основном памятные раритеты — маски, раковины и другую местную экзотику.

На этот раз мы собрались с ним на экскурсию в знаменитую карстовую пещеру Святого Михаила в Гибралтарской скале, где во время Второй мировой войны размещался британский госпиталь, а в последние годы, ввиду уникальной внутренней акустики, устроен всемирно известный филармонический зал. Игорь зашел за мной, и мы совсем уже было собрались идти, как вдруг ему на глаза попался листочек с первой строфой песни «Донской монастырь»-Я начал набрасывать ее накануне, но дальше все никак не получалось. Игорь взял листок со стола и прочел вслух:

> А в Донском монастыре зимнее убранство.
> Спит в Донском монастыре русское дворянство.

«А где продолжение?» — спросил он. «Да вот, вечером попробую что-нибудь придумать», — ответил я. «Зачем же вечером, лучше прямо сейчас», — с улыбкой заявил Игорь и с неожиданной для его грузного тела быстротой выскочил из каюты. Не успел я опомниться, как в замочной скважине щелкнул

ключ, запирающий дверь снаружи. «Ты что, с ума сошел? — возмутился я. — Время увольнения пропадает!» — «А ты его зря и не трать! Садись и быстренько пиши. Как докончишь, сразу звонишь мне, и мы немедленно идем на берег». Ни брань, ни увещевания мои на него никакого действия не оказали. В увольнение, однако, хотелось, и я скрепя сердце сел за стол. Не знаю уж как по части художественного уровня, но во всяком случае формально примерно через полчаса песня была дописана, и Игорь, ознакомившись с текстом, милостиво взял меня на берег.

Во время этого захода в Гибралтар руководитель наших гравиметристов Владимир Александрович Тулин, в те поры еще изрядно выпивавший, за немалые деньги купил в какой-то лавке древностей большой старинный и тяжелый двуручный рыцарский меч (как его уверил продавец — меч Дон Кихота). Довольный и раскрасневшийся, он приволок его на судно, но Игорь тут же сильно охладил его восторги по поводу этой замечательной покупки, напомнив счастливому владельцу «меча Дон Кихота», что ввоз холодного оружия в нашу страну таможенными властями категорически запрещен. «Да ты что, это же музейная вещь», — слабо сопротивлялся Тулин. «Ничего себе музейная, — смеялся Белоусов, — по башке стукнешь — и все. Холодное оружие это, вот что».

На бедного Тулина было жалко смотреть. Вернуть меч обратно он, конечно, не мог. Поэтому, когда «Дмитрий Менделеев» подходил к родному Калининграду, он попытался спрятать свое сокровище под диван в каюте. «Ну уж это последнее дело, — донимал его Игорь. — Первое, что делает любой таможенник, войдя в каюту, — он немедленно заглядывает под диван». (Это, кстати, общеизвестная истина. Аналогичная история несколько лет спустя произошла с Булатом Окуджавой, но уже в поезде.) Затравленный Тулин, цепляясь огромным мечом за комингсы и узкие ступеньки крутых трапов, потащил его прятать в свою гравиметрическую лабораторию, в один из длинных аппаратурных ящиков. «Молодец, это ты талантливо придумал, — похвалил его Игорь. — Это же намеренное укрытие контрабанды. Минимум пять лет без взаимности!» Убитый Тулин, гремя ржавым куском железа на все судно, обреченно поволок его обратно в каюту. Нет необходимости упоминать, что таможенники, озабоченные «товарными вещами», порнографией и «антисоветской» литературой, на злосчастный меч даже и не взглянули…

Третий рейс «Дмитрия Менделеева» и дружба с Игорем Белоусовым определили перемену в моей дальнейшей жизни. Втянувшись мало-помалу в строгий уклад корабельной жизни с ее

четко расписанным временным режимом, непререкаемой иерархией, столь отличной от суши, полным отсутствием бытовых проблем, постоянным знанием того, где находишься и куда плывешь (недаром каждое утро вахтенный штурман объявлял по судовой трансляции координаты судна и погоду; как ни странно, это очень успокаивает нервы), я полюбил ее и начал болезненно переживать долгие перерывы между плаваниями с неустройством и неопределенностью сухопутной жизни, с ее неожиданными невзгодами, которым, в отличие от морских, всегда приходится противостоять в одиночку.

Более всего я не любил (и до сих пор не люблю) неприглядный вид корабельных помещений на другой день после долгожданного возвращения в родной порт, — покинутые замусоренные каюты, торопливо убегающие на берег люди, безвозвратное разрушение еще совсем недавно спаянного общей жизнью недолгого братства. Каждый раз при этом ощутимо кончался какой-то кусочек жизни, уже неповторимый. Зато каким праздником казалось начало любого рейса, сулившего каждый раз новые открытия в окружающем мире и в себе самом. Проплавав 35 лет в океане, я не помню ни одного неудачного рейса. Как мудро сказал известный морской геолог академик А. П. Лисицын: «Каждая экспедиция обречена на успех».

Вернемся, однако, к Игорю Белоусову. Именно он подкинул мне идею перебраться на работу в Москву, в Институт океанологии, тем более что для переезда в Москву к тому времени у меня были и весьма серьезные личные причины. Игорь в ту пору был секретарем парткома института, фигурой в административной иерархии весьма значительной, и без особого труда договорился с директором института Андреем Сергеевичем Мониным. Справедливости ради следует отметить, что согласие Монина на мой перевод в Институт океанологии было связано вовсе не с моими научными заслугами, а прежде всего с песенной популярностью, так как сам Монин любил и прекрасно знал поэзию.

После «менделеевского» рейса случались, однако, события и менее радостные.

Осенью 71-го года у меня на работе в Ленинграде раздался телефонный звонок. «С вами говорит сотрудник Комитета государственной безопасности Сергеев, — сказал голос в трубке. — Прошу вас зайти в удобное для вас время в районный отдел, в комнату номер пять, для беседы». Радости от этого звонка, будучи достойным сыном своей страны, я не испытал никакой и в назначенное время явился в пыльную комнату в бесконечных коридорах Октябрьского райисполкома на углу

Садовой и Майорова, где двое неприметной наружности людей в штатском со скучающим видом играли в шахматы. Один из них, по-видимому, Сергеев, уединился со мной в одной из комнат и, явно получая удовлетворение от моего плохо скрытого волнения, начал длинную серию многочисленных вопросов, обнаруживая довольно большие познания в моей скромной биографии. Понять, что ему нужно, было совершенно невозможно. Потом он, как бы вскользь, спросил меня, что я думаю о своем коллеге по институту Никите Стожарове, с которым в предыдущем рейсе мы жили в одной каюте и у которого были какие-то трудности при оформлении визы из-за тетки в Финляндии. Минут через тридцать он очень вежливо попрощался и отпустил меня. Я наивно обрадовался, что на этом все и кончилось.

Однако примерно через неделю тот же Сергеев (если это была его действительная фамилия) позвонил и снова предложил встретиться. «У нас в помещении неудобно, — сказал он, — давайте встретимся неподалеку, на Садовой, у ворот Юсуповского сада». В условленное время у ворот вместе с Сергеевым меня ждал еще один человек, назвавшийся Владимиром Николаевичем. Вопросы, заданные мне на этот раз, касались уже моих литературных дел: где я печатаюсь, не жалуюсь ли, что меня притесняют и не принимают в Союз писателей. «Имейте в виду, мы можем вам оказать весьма эффективную помощь, — сказал Владимир Николаевич, — нам нужны талантливые литераторы. Вы ведь небось считаете, что мы люди неначитанные. Так вот, смею вас уверить, что у нас в Комитете такая библиотека современной литературы, которой может позавидовать даже Публичка. И все книги современных поэтов и прозаиков у нас тоже есть, и читаем мы их довольно внимательно».

После этого он неожиданно спросил, знаком ли я с поэтом Николаем Брауном. Я не сразу понял вопрос и вспомнил, что года два назад звонил Николаю Леопольдовичу Брауну по его домашнему телефону. Он тогда взялся рецензировать для издательства «Советский писатель» рукопись моей книжки стихов и действительно Дал весьма положительную рецензию, хотя знакомы мы с ним почти не были. Моих собеседников, как выяснилось, интересовал не сам Николай Браун, а его сын, входивший, судя по их словам, в какой-то «антисоветский кружок».

Закончив разговор о Брауне. Владимир Николаевич, который, очевидно, был главным чином, сказал, мельком глянув на меня: «Вы должны помочь нашим органам знать как можно больше о той среде литераторов и научных работников, в которой вы живете и работаете. Поэтому в условленное время и в

условленных местах вы будете впредь рассказывать мне и другим нашим сотрудникам обо всех разговорах, свидетелем которых вы окажетесь. Нас интересует конкретно — кто и что сказал, понятно?»

Ужас охватил меня. Я понял наконец, что меня попросту вербуют в стукачи. «Но почему же именно я? У меня много своей работы, я не могу», — робко промямлил я. «Партия учит нас опираться в получении информации только на достойных, заслуживающих доверия людей, — сурово отрезал Владимир Николаевич. — Вы что, себя таковым не считаете? Значит, у вас есть что скрывать? И потом, что значит «не могу»? Вы что же, отказываетесь помогать нашим славным органам в борьбе против шпионажа и идеологических диверсий?» «Да нет, что вы! — испугался я. — Если бы я узнал о каком-то шпионском замысле или диверсии, я сам бы немедленно пришел к вам, я счел бы своим гражданским долгом…» «Вот и считайте своим гражданским долгом и приходите к нам, — усмехнулся моим детским трепыханиям Владимир Николаевич. — И потом, почему обязательно надо сообщать о людях только плохое? Можно ведь и хорошее — нас интересует все!» «Нет, нет, я не могу, я не справлюсь», — трясущимися губами лепетал я. «Превосходно справитесь, — подхватил Сергеев. — Значит так, вот вам мой телефон, через пару дней позвоните. Если сами не позвоните, я вам позвоню». И не слушая больше моего трусливого отнекивания, они покинули меня.

Я остался сидеть на садовой скамейке. Вокруг меня с веселыми криками бегали дети. Неподалеку раздавались звуки оркестра. На солнечных вечерних дорожках ярко вспыхивали первые осенние кленовые листья. Я же сидел убитый. Жизнь кончилась. Не ранее чем минут через двадцать я справился с внезапным сердцебиением и уныло поплелся домой. Несколько ночей подряд я не мог уснуть, а забывшись беспокойной дремотой, просыпался от страшных видений. То мне снилось, что я стал осведомителем, а все вокруг смотрят на меня с презрением и показывают пальцем. То наоборот, за мной приезжал «воронок», и три дюжих охранника волокли меня по каменному полу, ударяя лицом о ступеньки. Сергееву я звонить не стал. Примерно через неделю он позвонил сам и елейным голосом передал привез от Владимира Николаевича. Еще через два дня он позвонил снова и осведомился, не пора ли нам встретиться.

«Нет, — дрожащим голосом сказал я ему. — Если вы в чем-то обвиняете меня, то арестуйте, а так мы больше встречаться не будем». «Ну что вы, Александр Моисеевич, — рассмеялся он в трубку. — За что же вас арестовывать? А вот если вы все-таки не

хотите с нами встречаться больше, то пеняйте потом на себя».

Через неделю он звонил еще и спрашивал, что передать Владимиру Николаевичу. Я снова отказался встретиться. «Дело ваше, — спокойно сказал Сергеев, — но мы с вами еще встретимся». На этом звонки прекратились, только я еще примерно полгода шарахался от телефонной трубки.

Самое удивительное, что спустя несколько дней после нашей последней встречи из моей головы начисто выветрилась память о внешнем облике и Сергеева, и Владимира Николаевича: как они выглядели, во что были одеты. Хотя во время самой этой встречи мне казалось, что я их запомню навсегда. Обтекаемость их внешности, полное отсутствие каких-то особых примет, за что бы зацепиться глазу, по прошествии времени стали внушать мысль как бы о некоей нереальности этого события или принадлежности их к потустороннему миру.

И еще одно — разговаривая со мной, они почти никогда не смотрели в глаза, всегда куда-то в сторону. Может быть, именно поэтому и лица их мне совершенно не запомнились. Память же об этой истории осталась как дурной сон на всю жизнь. Помню, когда я прочитал рассказ Фазиля Искандера, в котором от лица героя излагалось, как его вербовали в стукачи, меня поразило удивительное сходство с моей собственной историей. Видимо, стереотипы вербовки, рекомендованные в этом ведомстве, были примерно одинаковыми…

Визу в загранрейсы в 1971 году мне все-таки закрыли и снова открыли только после переезда в Москву, спустя три года. Формально причину лишения визы в отделе кадров объясняли недавним разводом. Приятель же мой, попавший как-то в компанию с подвыпившими гебешниками, «курировавшими» наш институт, на вопрос обо мне в ответ услышал: «За ним много чего есть».

Нельзя не вспомнить, кстати, что Игорь Белоусов в это время, еще до моего перехода в его институт, приложил поистине героические усилия, чтобы помочь мне получить отобранную визу и взять с собой в 6-й рейс «Дмитрия Менделеева» к берегам далекой Океании. С его подачи директор института Монин написал специальное письмо в выездную комиссию Ленинградского обкома партии, на которое высокая комиссия даже не сочла нужным ответить. Игорь, однако, на этом не успокоился и отправился к всемогущему Ивану Дмитриевичу Папанину, всемирно прославленному полярнику, дважды Герою Советского Союза, доктору географических наук и прочая, и прочая, и прочая, руководившему тогда Отделом морских экспедиционных исследований Академии наук. Папанин был

многолетним другом отца Игоря, известного полярного капитана Михаила Прокопьевича Белоусова, командовавшего в 30-е годы ледоколом «Иосиф Сталин».

Пробившись к Папанину на прием, Игорь подробно живописал все мои достоинства, рассказал историю с неудачей монинского письма и попросил Ивана Дмитриевича позвонить по «вертушке» в Ленинград и договориться с обкомом.

Надо отдать должное Ивану Дмитриевичу Папанину. Несмотря на свою наигранную за многие годы простоватость и нарочитый «матросский матерок» (хотя в молодости на флоте он в основном не плавал, а работал в ЧК), человек он был в высшей степени умный и непростой, величайший политик и дипломат. За дела заведомо безнадежные не брался никогда. Поэтому, дав Игорю полностью выговориться, он широко улыбнулся, топорща маленькую щеточку седых усов над верхней губой, и заявил: «Игорь, я отца твоего любил и тебя люблю. Пошел на…» «Да нет, вы не поняли», — продолжал горячиться Игорь. «Ты что, плохо меня слышишь? — удивился Иван Дмитриевич. — Так я тебе еще раз повторяю: я отца твоего, покойника, любил и тебя люблю. Пошел на…» И Игорь пошел, куда его послали, а «Дмитрий Менделеев» пошел в свой шестой рейс без меня.

Немало стараний приложил по возвращении в Москву Игорь и к тому, чтобы подружить меня со своей «бандой». С самого начала он чуть не испортил все дело, так как пытался с восторженными комментариями напевать своим язвительным друзьям Смилге и Крелину мои песни, не имея ни голоса, ни слуха. Как они сами признавались позднее, песни эти вызвали у них откровенное отвращение. Судьбе же было угодно, чтобы мы по-настоящему познакомились уже у Игорева гроба.

Игорь Михайлович Белоусов, моряк и ученый, фантазер и мечтатель, сибарит и добряк, любивший вкусную еду и шахматы, но более всего на свете — своих друзей, один из немногих на Земле людей, умевший по-детски радоваться их успехам, в июне 1972 года умер от разрыва сердца. Скончался он в больнице у своего друга Юлия Крелина, у него на руках, в возрасте сорока двух лет, всего за две недели до начала организованной им Полярной экспедиции в Ледовитый океан на перегонных судах, куда мы все с ним вместе собирались.

Последнее время он усиленно занимался гимнастикой, бегал по утрам; стараясь сбросить вес. Помню, примерно за пару недель до смерти, когда я уже работал в его институте, он подошел ко мне и показал свою только что сделанную для обмена партийных билетов фотографию, заявив: «Смотри, какой должна быть партийная харя!»

Мой приятель Леша Сузюмов, работавший с Игорем раньше, узнав, что он согласился стать секретарем парткома института, спросил у него: «Игорь Михайлович, зачем вам это надо?» Игорь ответил: «Кто-то ведь должен защищать институт от этой райкомовской сволочи».

Мы везли гроб с телом Игоря из Люблино, где в здании института, помещавшегося тогда в Дурасовском дворце, состоялась гражданская панихида, в крематорий Донского монастыря. Длинная вереница автомашин, возглавляемая «гаишной» машиной с сиреной и мигалкой, которую специально выделил Люблинский райком, тянулась по ухабистой дороге через Текстильщики. От тряски погребального автобуса крышка гроба все время съезжала, открывая ноги Игоря в огромных штиблетах на толстой микропористой подошве. Сидевшие вокруг гроба друзья не скрывали слез. Урну с прахом Игоря захоронили на Новодевичьем, в могиле отца. Его квартира в Доме Полярника на Суворовском бульваре, еще недавно шумная и многолюдная, опустела. Вдове Игоря пришлось переезжать в другую, меньшую квартиру, а в его прежнюю квартиру вселился популярный автор детективного жанра Юлиан Семенов. Докторская диссертация Игоря, о которой было немало разговоров, так и осталась незащищенной.

Более десяти лет спустя, уже в тридцать первом рейсе все того же судна «Дмитрий Менделеев», мы открыли по данным геомагнитной съемки в Центральной котловине Индийского океана, между разломами Индира и Индрани, новый разлом. Я предложил назвать его разломом Игоря Белоусова и именно так и поименовал в своих статьях. Дальше, однако, дело не пошло. Высокие инстанции это предложение не поддержали: с какой стати? — не академик, не герой — простой кандидат наук. Так и не оставил Игорь своего имени на любимой им географической карте, о чем мечтал когда-то в юности. Осталась только память в сердцах его пока живущих друзей да еще, пожалуй, любимые им строчки из песни, ему посвященной:

Пусть годы с головы дерут за прядью прядь.
Пусть грустно оттого, что без толку влюбляться:
Не страшно потерять уменье удивлять —
Страшнее потерять уменье удивляться.

Под водою лежит Атлантида

Все началось с песни. Наше научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев», завершавшее свой третий экспедиционный рейс, неторопливо покачивалось на солнечной плоской зыби Северной Атлантики примерно в трехстах милях к западу от Гибралтара. В связи с успешным ходом научных работ было решено торжественно отметить Международный женский праздник, день 8 Марта 1970 года, тем более что на судне было немало женщин — и в экипаже, и в научном составе. К празднику готовились заблаговременно. В числе прочих мероприятий, по инициативе все того же неугомонного выдумщика и мечтателя Игоря Михайловича Белоусова, ко дню женского праздника должны были подводиться итоги объявленного им примерно за месяц перед этим конкурса на лучшую песню об Атлантиде. Почему именно об Атлантиде? Потому ли, что она женского рода, или оттого, что плавали мы как раз в тех местах, где Платон когда-то поместил свою легендарную страну? Конкурс этот приобрел неожиданную популярность — недостатка в пишущих людях на судне не оказалось. А когда капитан Михаил Васильевич Соболевский, сам писавший стихи и лично принимавший участие в конкурсе, заявил, что в качестве первого приза победителю будет вручена бутылка коньяка, за перо взялись поголовно все.

Я как «профессиональный литератор» к конкурсу допущен не был и стал председателем авторитетного жюри. Однако общий вирус графомании, овладевший судном, не миновал и меня, и я тоже попытался сочинить песню об Атлантиде, естественно, «вне конкурса». Правда, были у меня поползновения тайно предложить эту песню в качестве безвозмездного дара уже упомянутой выше смуглой красавице Кларе, главной «секс-бомбе» на судне, писавшей стихи и тоже принимавшей участие в конкурсе, но она эту идею с негодованием отвергла. Так песня и осталась невостребованной. Привожу ее текст, поскольку именно от нее начался отсчет последующих событий:

Атлантических волн паутина
И страницы прочитанных книг.
Под водою лежит Атлантида —
Голубого огня материк.
А над ней — пароходы и ветер.
Стаи рыб проплывают над ней.
Разве сказки нужны только детям?

Сказки взрослым гораздо нужней.
«Не найти и за тысячу лет нам, —
Объясняют ученые мне, —
Ту страну, что пропала бесследно
В океанской ночной глубине.
Мы напрасно прожектором светим
В этом царстве подводных теней.
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней».
Век двадцатый, войною палимый, —
Смерть прикинется теплым дождем…
Кто нам скажет, откуда пришли мы?
Кто нам скажет, куда мы уйдем?
Кто сегодня нам сможет ответить,
Сколько жить нам столетий и дней?..
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.
И хотя я скажу себе тихо:
«Не бывало ее никогда».
Если спросят: «Была Атлантида?» —
Я отвечу уверенно: «Да!»
Пусть поверят историям этим.
Атлантида — ведь дело не в ней…
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

В результате конкурса первое место с вожделенной бутылкой не было присуждено никому. Второе разделили капитан и Игорь Белоусов. По итогам конкурса был устроен большой праздничный вечер на вертолетной палубе, расцвеченной разноцветными фонариками. После концерта претендентов и торжественного вручения призов начались танцы. Судя по навигационной карте, судно в это время лежало в дрейфе в районе подковообразно изогнутой системы больших подводных гор, цепочкой протянувшихся между Гибралтаром и Азорскими островами. Она так и называлась — «Подкова» («Хосшу» по-английски). Где-то неподалеку под ночной водой таилась самая большая гора этой системы, названная «Ампер» — в честь выдающегося французского физика.

Мы с Игорем отошли на корму с фужерами вина в руках. Прямо перед нами, под кормовыми подзорами, над невидимой в черных глубинах подводной горой, дробилась на волне желтая лунная дорожка. «А что ты думаешь, — вдруг спросил Игорь,

махнув рукой в сторону лунной ряби за кормой, — может быть, она где-нибудь здесь?»

В июле 1972 года Игорь Белоусов, как я уже говорил, неожиданно умер от разрыва сердца, едва перевалив за возраст 42 года.

А еще через год советское научное судно «Академик Петровский» проводило в районе горы Ампер пробное подводное фотографирование дна, при испытании новой аппаратуры. Сотрудником нашего Института В. И. Маракуевым была сделана серия подводных снимков вершины горы, отстоящей от уровня океана всего на 100 метров. На некоторых снимках под слоем светлого песка неожиданно обнаружились странного вида вертикальные гряды, напоминавшие стены древнего города. Самое удивительное состояло в том, что гряды эти располагались под прямым углом друг к другу. Ведь как известно, природа прямых углов не любит. Снимки попали в журналы. Страницы испанских, голландских и французских газет запестрели захватывающими заголовками: «Русские нашли Атлантиду», «Новое открытие древней тайны».

Писатель Глеб Голубев даже написал увлекательный рассказ о поисках Атлантиды на горе Ампер. В этом рассказе отважные французские акванавты, «поверив русским», опускаются на вершину горы в обитаемом подводном аппарате, но терпят бедствие — аппарат запутывается в электрических кабелях, проложенных здесь жадными до сенсаций телекомпаниями.

Так снова ожила древняя легенда об Атлантиде в Атлантическом океане. «Знаешь, Саня, если ты найдешь Атлантиду, не проси там политического убежища», — напутствовал меня замечательный наш историк и писатель Натан Яковлевич Эйдельман. Было это в Герценовском музее в мае 1984 года на одном из литературных вечеров, которые он вел. Я как раз собирался в океанографическую экспедицию в Северную Атлантику на борту нашего научного судна «Академик Мстислав Келдыш». В задачи экспедиции входило, в частности, обследование вершины подводной горы Ампер, где незадолго до этого были обнаружены упомянутые выше странные сооружения. Самого Эйдельмана, приглашенного в эту экспедицию, за рубеж в очередной раз не пустили. «Мы с Пушкиным — оба невыездные», — грустно говаривал он. «В окрестностях Атлантиды» — так называется последняя книга стихов Иосифа Бродского, вышедшая из печати уже после его неожиданного и безвременного ухода. «Никто не знает флага той страны», — пишет Александр Кушнер в стихотворении, посвященном Атлантиде. На протяжении более чем двух тысячелетий миф о

бесследно исчезнувшей в волнах океана легендарной стране продолжает волновать воображение поэтов, писателей, журналистов, ученых и фантазеров. Ей посвящено огромное количество (более 5 тысяч) научных или псевдонаучных работ и художественных произведений. Бальмонт создал поэму «Город Золотых Ворот», посвященную Атлантиде. «Наутилус» в знаменитом романе Жюля Верна проходит над развалинами Атлантиды. Конан Дойл пишет о ней в своей фантастической повести «Маракотова бездна». Гибель Атлантиды описана Алексеем Толстым в «Аэлите» и Александром Беляевым в повести «Последний человек из Атлантиды». Французский писатель Пьер Бенуа написал роман «Атлантида», где поместил ее в Сахаре. Роман этот был в свое время весьма популярен на Западе. Атлантиде посвящены десятки кинофильмов, опер и драматических произведений. В чем же секрет бессмертия этого мифа?

С океаном связано множество легенд. И чем дальше люди проникают в океан, тем более убеждаются в том, что даже у самых невероятных мифов и легенд имелись вполне реальные основания. Например, гигантские морские драконы, удивительно похоже описываемые в сказках разных народов, некогда действительно существовали. Одного из таких огромных змеев в начале 70-х выловило японское рыболовное судно в Тихом океане неподалеку от Японии. К сожалению, капитан, более всего озабоченный уловом рыбы, приказал выбросить его за борт — и бесценная находка навсегда пропала для науки. Всемирный потоп на Земле происходил неоднократно. Страшная Сцилла, безжалостно губившая мореходов, не что иное, как остров Сицилия. Мне несколько раз пришлось побывать в Сицилийском проливе, где даже на современных судах трудно устоять против внезапных и сильных течений, влекущих корабли на скалы. А каково было небольшим парусно-весельным суденышкам древних греков? Есть основания считать, что легендарный остров Буян, воспетый Пушкиным, — это Кипр. Здесь действительно правил в средние века венецианский герцог Гвидо, считавшийся побочным сыном турецкого султана (царя Салтана). Можно только гадать, как эта средиземноморская легенда попала на заметенную снегом Псковщину к Арине Родионовне.

Одни из легенд, связанных с океаном, возникли в глубокой древности и давно развеялись. Другие — порождение нашего времени. Чего стоит, например, леденящий сердце миф о зловещем «Бермудском треугольнике», этом, говоря словами Высоцкого, «незажившем пупе Земли», который до сих пор будоражит воображение доверчивых читателей!

И есть, пожалуй, всего одна легенда, которая, возникнув в глубокой древности, не только сохранилась до наших дней, но интерес к ней по-прежнему не ослабевает, — это легенда об Атлантиде.

Впервые об Атлантиде поведал древнегреческий философ Платон (428(7)–348(7) гг. до н. э.), ученик знаменитого Сократа.

Предание о ней он изложил в двух диалогах — «Тимей» и «Критий». При этом утверждал, что воспользовался сведениями об Атлантиде, взятыми у афинского законодателя и государственного деятеля Солона, его прадеда по материнской линии. Солон почитался в Древней Греции как «мудрейший из семи мудрых».

Около десяти лет Солон путешествовал по странам Средиземноморья и побывал в Египте, где был с почетом принят в древней столице Саисе. При посещении храма богини Нейт жрецы сообщили ему, что девять тысяч лет назад в Афинах существовало могучее государство, и в то же время в Атлантическом океане, за Геркулесовыми Столбами располагался большой остров. На острове Атлантида, как рассказывали жрецы Солону, существовало некогда грозное государство, представляющее союз царей, нм принадлежала власть над многими островами и странами. В те времена атланты владели всей Северной Африкой вплоть до Египта и Европой до Апеннинского полуострова.

Этот союз, собрав все свои силы, напал на древнеегипетское государство и Афины. Началась длительная война, которую, по-видимому, можно считать первой в истории мировой войной. В этой войне между народами, живущими по ту и эту сторону Геркулесовых Столбов, Афины то воевали во главе эллинов, то противостояли врагам в одиночку и наконец добились победы. Впоследствии, как рассказано в «Тимее», происходили страшные землетрясения и потопы, в результате которых «в один день и бедственную ночь» древний город — Праафины — «разом провалился в землю», и остров Атлантида тоже исчез, погрузившись в море. «Поэтому и тамошнее море оказывается теперь несудоходным и неисследуемым; плаванию препятствует множество окаменелой грязи, которую оставил за собой осевший остров».

В другом диалоге, «Критий», в роли рассказчика выступает Критий-младший, которому Платон приходился внучатым племянником. Здесь подробно описывается мифологическая история создания государства Атлантиды богом морей Посейдоном и дается детальная картина главного города. Судя по описанию, это был крупнейший порт древнего мира, снабженный сложной системой каналов. В его огромной гавани размещалось

более 1200 кораблей. Акрополь города, где располагался храм Посейдона и царский дворец, был окружен тремя концентрическими рвами, наполненными водой и представлявшими собой внутренние гавани. Центральный остров с царским акрополем был обведен каменными стенами. Соединявшие их мосты имели башни и ворота. Сам Критий в диалоге «Критий» заявляет: «Записи эти (Солона) находились у моего деда и до сей поры находятся у меня…»

Обращает на себя внимание важная деталь: камень для стен был трех цветов — белого, черного и красного — и добывался на месте. Как отмечал ученый и писатель Н. Ф. Жиров в своей книге «Атлантида», вышедшей в 1961 г., подобный камень встречается на Азорских островах — это вулканические туфы, хорошо поддающиеся обработке.

Замечательная особенность главного города Атлантиды — его геометрически правильная круговая планировка. Улицы города были расположены радиально по направлению стран света и имели закругленные углы перекрестков, а стены и каналы образовывали концентрические окружности. Жиров считал, что традиция строительства городов по кольцевой системе была скорее всего связана в древности с культом Солнца.

Но ведь древние, как правило, использовали при возведении городов естественные черты природного ландшафта. План столицы Атлантиды очень напоминает форму древнего кратера. Об этом говорит и наличие на острове трехцветного вулканического туфа, и источников с холодной и горячей водой, то есть термальных источников, характерных для вулканов.

Интересно приведенное в «Критии» описание природы Атлантиды, где, в частности, рассказывается о таинственном дереве, которое давало «и питье, и пищу, и мазь». Многие комментаторы Платона считают, что это дерево более всего соответствует кокосовой пальме, дающей кокосовое молоко, пищу (сам орех) и масло (мазь). Значит, некоторые острова этого огромного архипелага должны были располагаться южнее 25° с.ш., где растет кокосовая пальма, то есть в Атлантике.

Первым критиком Платона выступил его ученик — знаменитый философ Аристотель. Дело в том, что общественное и государственное устройство, описанное в «Тимее», уж слишком напоминает идеальное государство, проповедуемое Платоном. Аристотель считал, что описание Праафинского государства и Атлантиды, а также история их войны попросту выдуманы Платоном для того, чтобы обосновать свои философские взгляды и превознести афинян, якобы победивших атлантов.

Судя по сведениям, приведенным в «Тимее», Атлантида

состояла по крайней мере из двух островов. Один, на котором располагалась древняя метрополия, был небольшим и круглым с диаметром около 12 миль, а второй, на котором стоял «Царский город», был прямоугольным и большим по размеру. Около 9600 лет до н. э. Атлантида погибла «за один день и одну ночь», погрузившись в морскую пучину. Дата эта (так же, впрочем, как и описанные Платоном большие размеры второго острова) скорее всего нереальна. Известно, например, что первая крупная земледельческая цивилизация, шумерская, возникла значительно позднее, — в 4 тысячелетии до н. э. Письменность в ней была изобретена только между 2700 и 2300 г. до н. э., а в Египте — ненамного раньше. Обитатели же Атлантиды умеют читать и писать, да еще записывают свои законы на колонне из медного сплава, близкого к латуни, — орихалка. По имеющимся сведениям, в богатых медью странах Двуречья и Ближнего Востока бронзовый век начался не ранее середины III тысячелетия до н. э. Невероятно, чтобы за 7 тысяч лет до этого бронза или латунь были известны в Атлантиде. Такие же анахронизмы отмечаются и в описании архитектуры. Вместе с тем нет никакой прямой достоверной информации о местоположении Атлантиды, а также о времени ее гибели. Несмотря на это, многие александрийские ученые по свидетельству Аммиана Марцеллина (330–400 гг. н. э.) считали гибель Атлантиды историческим фактом.

С одной стороны, никаких источников, послуживших основанием для легенды об Атлантиде, так до сих пор и не нашли — ни записей, которые цитирует Платой, ни следов самой Атлантиды. Это более чем странно, учитывая, что в течение долгого времени Атлантида якобы граничила с древним Египтом и Афинами. Ведь даже недалеко от Перми в раскопках нашли египетские скарабеи, служившие разменной монетой в древности. Впрочем, может быть, эти следы будут обнаружены, ведь лишь сравнительно недавно археологи узнали об огромном Хеттском государстве, о котором ничего не было известно.

Некоторые находки впрочем как будто были, хотя достоверность их требует подтверждений. Так, по свидетельству Пауля Шлимана, внука знаменитого Генриха Шлимана, открывшего Трою, он своими глазами видел в Париже в сохраняемой в тайне частной коллекции деда вазу древнего происхождения, найденную Генрихом Шлиманом в Трое, на которой имелась надпись финикийскими буквами: «От царя Хроноса из Атлантиды». Ваза эта, как уверял Пауль, была завещана ему дедом. Если верить Паулю, то он, повинуясь завещанию деда, разбил эту вазу и обнаружил на ее дне

четырехугольную бело-серебряную металлическую пластину, очевидно, монету, с замысловатыми фигурками, письменами и знаками, непохожими на обычно встречающиеся иероглифы и письмена. Они были на одной стороне. С обратной стороны была сделана надпись древнефиникийским шрифтом: «Выдан в храме Прозрачных стен». Из чего же сделана эта монета, — из легендарного орихалка?

Пауль Шлиман пишет: «Каким образом этот металлический предмет попал в вазу? Ее горлышко слишком узко, чтобы можно было вложить его сверху. Если ваза сделана в Атлантиде, то монета должна происходить оттуда же. В результате исследований я установил, что надпись нанесли после чеканки фигурок на передней стороне пластинки. Каким образом — остается для меня загадкой.

Кроме того, я нашел в коллекции другие предметы, которые, судя по данным моего дедушки, тоже должны были происходить из Атлантиды. Среди них был перстень из того же удивительного металла и монеты. Были там также необыкновенный слон из окаменелой кости, древняя ваза и др. В вазе был план, с помощью которого египетский капитан вел поиски Атлантиды. Об остальных предметах я ничего не скажу, выполняя пожелание моего дедушки.

Ваза с головой совы, древняя ваза, ваза из бронзы и перстень имели финикийские надписи, но на слоне и монетах их не было.

Я выехал в Египет и начал раскопки в саисских развалинах. Долгое время они были безрезультатными. Но вот однажды я познакомился с египетским стрелком, который показал мне коллекцию монет, найденную в усыпальнице жреца времен первой династии. Кто сумел бы описать мое изумление, когда в этой коллекции я узнал две монеты, почти не отличающиеся от монеты в троянской вазе? Разве это не успех? Таким образом я имел монету из троянской вазы, которая, если мой дедушка был прав, происходила из Атлантиды, а также две другие подобные монеты из саркофага жреца саисского храма, в котором хранились сведения об Атлантиде, переданные жрецами Салону. Для проверки я обратился к двум известным французским специалистам-геологам, с которыми мы изучили западное побережье Африки. Мы уточнили, что все побережье покрыто породами вулканического происхождения. На протяжении многих миль возникало впечатление, что какой-то материк был словно оторван от побережья в результате вулканической деятельности. Здесь я нашел скульптурное изображение головы ребенка из того же металла, что и перстень и монеты, которое было вдавлено в твердый слой старого вулканического пепла.

Я выехал в Париж, чтобы отыскать владельца коллекции из Центральной Америки, о которой упоминал мой дедушка. Он согласился разбить свою вазу для моих исследований. Внутри я нашел монету такой же величины и формы и из того же самого металла, что и предыдущие, которые я уже имел. Они различались лишь расположением иероглифов!»

Пауль Шлиман заявил также, что дед завещал ему ряд важных Документов, указывающих на реальность существования Атлантиды. Он пишет: «Там были и другие записи и важные доказательства, однако оставалось в силе недвусмысленное требование сохранить все это в тайне, пока я полностью не выполню инструкции своего дедушки и не закончу исследований».

Даже если все это — мистификация, и прямых следов Атлантиды все-таки нет, существуют некоторые интересные косвенные соображения. К их числу прежде всего относится загадка древнего населения Канарских островов — гуанчей (кстати, слово это берберское и означает «уроженцы»).

Когда к началу XV века испанцы впервые прибыли на Канарские острова, они обнаружили там многочисленное местное население. Почти столетие продолжалась яростная и непримиримая борьба аборигенов с безжалостными испанскими захватчиками. Она была неравной: гуанчи не знали ни металлического, ни огнестрельного оружия, однако для захвата маленьких Канарских островов испанцам пришлось потратить не меньше времени, чем для покорения огромного южноамериканского материка. В результате через 150 лет после начала завоевания островов на них не осталось ни одного чистокровного гуанча.

На острове Гран-Канария, где мне удалось побывать дважды, еще можно увидеть те немногие следы, которые остались от этого удивительного народа. Сохранились захоронения в форме пирамид, сложенных из больших необработанных камней или каменных насыпей, напоминающих невысокие терриконы.

Как попали на Канарские острова люди, до сих пор загадка. Дело в том, что гуанчи не были знакомы с мореплаванием, не имели лодок и плотов и даже не умели плавать. Состояли они из нескольких этнических групп. Основное население — высокие сильные люди ростом более двух метров, с голубыми глазами и светлыми волосами. Этот тип очень сходен с древнейшим типом разумного человека в Европе — кроманьонцами, которые появились в Европе и Северной Африке около 30 тыс. лет назад. Меньшую часть населения составляли черноволосые низкорослые люди, близкие к средиземноморским народам. Были также

представители монголоидной и негроидной рас.

По мнению многих атлантологов, гуанчи, возможно, являются потомками атлантов, а Канарские острова — последними остатками Атлантиды.

Ну а как же все-таки быть с Платоном? Мог ли он выдумать Атлантиду?

Натан Эйдельман считал, что родовые отношения у древних греков были священными, и вряд ли Платон мог позволить себе приписать явные небылицы такому уважаемому предку, как Солон.

Что же касается хронологической точности греческой истории, то Геродот нередко путал хронологию событий, отдаленных от него всего на сто лет. Сейчас благодаря работам наших историков, археологов, лингвистов, мы знаем историю древнего мира гораздо лучше, чем древние греки или римляне. И все же историки пока не могут дать исчерпывающего ответа на вопрос об Атлантиде.

Но, может быть, его способна дать геология? Нужно выяснить, был ли в послеледниковое время в Северной Атлантике микроконтинент или большой архипелаг, который опустился затем в океан. И тогда следы Атлантиды могут быть обнаружены на подводных горах.

В последние годы получила распространение гипотеза, будто Атлантида находилась не в Атлантике, а в Восточном Средиземноморье, на одном из островов неподалеку от Крита. Этому посвящена изданная в 1983 году книга А. Галанопулоса и Э. Бекона «Атлантида. За легендой — истина». Действительно, в Эгейском море, неподалеку от Крита, существовал в древности остров, остатки которого известны под названием Тира. Подводные исследования, проведенные здесь совсем недавно акванавтами под руководством знаменитого Жака Ива Кусто, обнаружили под водой обломки затонувших внезапно судов и целые залежи старинных амфор и других предметов. По данным археологов и морских геологов, древний город на острове мог погибнуть в результате чудовищного извержения вулкана Санторин около 1500 года до нашей эры. Именно с этим извержением связывается в греческой мифологии так называемый Дсвкалионов потоп. Галанопулос считает, что Атлантида — это Крито-Минойская держава и что катастрофа случилась не за 9000 лет до посещения Солоном Египта, а всего за 900 лет. В итоге извержения остров Санторин раскололся на части и погрузился в море.

Как же быть в этом случае со знаменитыми Геркулесовыми Столбами? Ведь у Платона ясно сказано, что Атлантида

располагалась по ту сторону Геркулесовых Столбов, то есть в Атлантическом океане! Может быть, на Санторине погибла не Атлантида, а противостоящее ей Праафинское государство, а Атлантиду нужно искать все-таки в Атлантике, в районе горы Ампер?

Первая попытка проникнуть в тайны горы Ампер и загадочных подводных фотоснимков была предпринята в 1982 году — в первый испытательный рейс нового «Витязя», где мне довелось руководить геологическими работами. Тогда нам не повезло с погодой: Атлантический океан встретил нас затяжными мартовскими штормами. Волна в районе горы Ампер была не ниже шести-семи баллов. И прогноз ничего хорошего не сулил.

Прямо на вершину горы, на тот участок, где, судя по подводным фотографиям, располагаются таинственные стены, был опущен на стальном тросе водолазный колокол с тремя акванавтами.

Группой акванавтов руководил Николай Ризенков. Операция была рискованная, шторм на поверхности гулял вовсю. Когда колокол достиг вершины горы, его начало трясти и бить о выступы скал. Выбрав подходящий момент, Николай вышел на платформу и решительно прыгнул прямо на скалу. От сильного очередного удара оборвался свинцовый балластный груз и ударился о скалу, чудом не прихлопнув Николая. Зато от стенки рядом с акванавтом откололось несколько кусков породы. Не растерявшись, он схватил один из них и устремился обратно в колокол.

Когда, закончив рейс, «Витязь» возвратился в Новороссийск, судно осадили многочисленные журналисты. По указанию Новороссийского горсовета в день нашего возвращения во всех кинотеатрах города шел один и тот же фильм «Вожди Атлантиды». И, конечно, в центре внимания был уникальный камень, извлеченный из глубин. Еще бы, кусок Атлантиды! Его многократно снимали фото- и телекамеры, просили разрешения «подержать». Все наши скромные попытки охладить энтузиазм журналистов успеха не имели. Наиболее шустрые представители газет и телевидения, немедленно объединившись в коллектив, предложили мне обменять этот образец на ящик коньяку, после чего распилить камень, чтобы каждой редакции досталось бы «по кусочку Атлантиды». Я, конечно, с негодованием отверг это недостойное предложение и, гордясь своей неподкупностью, с возмущением сообщил об этом начальнику рейса. «Ну и дурень, — недовольно сказал он. — Ты что, не мог им любой другой камень подсунуть? Им-то ведь все равно».

Решить вопрос, рукотворные ли это стены на вершине горы

Ампер или это природа так искусно их возвела, мы пока не могли. Гораздо важнее другое — геологическое, и особенно петрохимическое, исследование образца с вершины горы показало, что базальт такого типа мог образоваться только при застывании лавы на воздухе, а не под водой, то есть на поверхности океана. Значит, гора Ампер в начале своего существования была вулканическим островом! Весь вопрос в том, когда и почему этот остров утонул. В августе того же года по пути в экспедицию к берегам Кубы над горой Ампер появилось другое наше судно «Рифт» с тем же подводным аппаратом «Аргус» на борту. Задачи «Аргуса» были далеки от поисков Атлантиды, ему нужно было только сделать пробное погружение на каком-нибудь мелком месте, чтобы провести проверку технических систем, а на пути как раз подводная гора Ампер.

«На вершине подводной горы… видимость достигала 40 метров. Здесь начали встречаться первые стены с ярко выраженной кладкой. Когда мы подвсплыли над грунтом на 25–35 метров, то нам открылась панорама развалин города, так как стены уж очень похоже имитировали остатки комнат, улиц, площадей». Это отрывок из письма командира подводного аппарата «Аргус» Виталия Булыги, присланного им в Институт океанологии после его погружения на горе Ампер.

Наш «Витязь» снова вернулся на Ампер уже летом 1984 года. На этот раз в задачи работ входило детальное изучение геолого-геоморфологического строения горы, ее происхождения и развития, в том числе исследование стен на ее вершине.

На этот раз погода была получше. Мы вышли по эхолоту на вершину горы и, выбрав плоское место, поставили буй. Вокруг нас крутилось множество рыболовецких судов — здесь на мелководье много рыбы. Нам они изрядно мешали. Дело не только в том, что эти суда все время ходят взад и вперед, волоча за собой рыболовецкие тралы и мешая съемке, — обрывки рыбацких сетей и переметов создают нешуточную угрозу для подводного аппарата. Решено было ночью сделать съемку рельефа дна и подводное фотографирование, а дневное время использовать для погружений подводного обитаемого аппарата «Аргус» и водолазного колокола. Прежде всего надо было найти участок со «стенами». С помощью буксируемого аппарата «Звук» была сделана детальная фотопанорама вершины горы, на которой снова отчетливо проявились узкие вертикальные гряды, как бы сложенные из отдельных блоков. Может быть, это все-таки не гряды, а стены? Чтобы ответить на этот вопрос, надо погрузиться в воду. Никакие телевизионные осмотры и фотографии сверху ничего толком об этом не скажут — смотреть надо не сверху, а

сбоку.

Составили списки подводных наблюдателей. В них кроме геологов вошли и оба корреспондента, присутствовавшие на борту, — Леонид Почивалов, представлявший «Литературную газету», и Александр Игошин из «Известий». Поскольку подводная фотокамера может проводить фотографирование только очень близких объектов, а человеческий глаз видит дальше, то наблюдателей просили зарисовывать все, что они увидят. Ведь в прошлые века именно рисунки ученых и натуралистов служили главными документами. Ни у Крашенинникова на Камчатке, ни у Миклухо-Маклая в Океании фотоаппаратов не было, зато как они рисовали! Решено было каждый день после погружений собирать научно-технический совет для обсуждения результатов.

В первый же день я погружался в качестве наблюдателя вместе с тем самым Виталием Булыгой, который написал процитированное выше письмо. На участок со «стенами», однако, выйти не удалось. Сильное течение сносило аппарат под водой, не давая удержаться на курсе. Дно оказалось испещренным ущельями и трещинами. Повсюду обрывки сетей и переметов, опасных для нас, так что экипаж в постоянном напряжении: только раз попадись — и привет. Перед иллюминаторами скользят целые косяки рыб, однако нам не до них. Огромная акула решила нас атаковать, — с трудом от нее отделались. И тут мне как будто вдруг повезло, — мы нашли, как мне показалось, амфору. Булыга долго и старательно маневрировал, чтобы ухватить ее манипулятором. Каждый раз при включении винтов вихрем взметалась придонная муть, и мы упускали находку из виду. Наконец мы ухватили этот заросший ракушками явно рукотворный предмет и торжественно погрузили его в бункер, сообщив об этом на поверхность. После всплытия все население «Витязя» сбежалось смотреть на нашу находку. Однако под слоем ракушек обнаружилась старая алюминиевая кастрюля, явно не из Атлантиды.

Погружения продолжались. Вся вершина обследовалась шаг за шагом, но пилоты, пожимая плечами, никак не могли определить, где они видели «развалины города». Только на четвертый день были обнаружены «стены», «комнаты» и что-то вроде арки. В этот день стала вдруг портиться погода, сильный ветер начал разгонять волну, и последнее контрольное погружение было предложено снова сделать мне. Это было четвертое погружение за день, однако пилоты согласились «еще поработать». Мотобот, раскачиваясь и подлетая на сильной волне, помчался к всплывшему «Аргусу», рубку которого почти захлестывала волна. Это момент для аппарата неприятный.

Поэтому, сменяя предыдущего наблюдателя, я постарался не оставлять люк надолго открытым. Торопясь, я раньше времени захлопнул тяжелую крышку люка и довольно сильно прищемил руку, хотя в первый момент даже не почувствовал этого. «Ну, что? — спросил я у Булыги. — Нашли?» «Да кто его знает, вроде похоже», — ответил он. Мы связываемся по подводному телефону с «Витязем» и просим засечь наши координаты. Сильное течение сносит нас в сторону от вершины. Надо торопиться. Срочное погружение. «Аргус» стремительно идет вниз. Привожу дальше отрывки из надиктованных мною под водой на магнитофон наблюдений.

«Аппарат лег на грунт в 13 часов 20 минут на глубине 110 метров на южном склоне горы Ампер. Видимость примерно 50 метров, поэтому можно работать без светильников. В поле зрения скальные выходы, хорошо видные на фоне белого песка и образующие прямоугольные гряды высотой около полутора метров, отдаленно напоминающие развалины домов. Всплываем над грунтом на 3–4 м и ложимся на курс 90 вверх по склону. На глубине 90 метров перед нами возникает вертикальная стенка высотой два метра и шириной около метра. Поверхность ее заросла красными водорослями — литатамниями. На стенке видны как бы следы «кирпичной кладки», очень напоминающие породу, образующуюся при застывании излившихся базальтов. Стенка упирается в скалу. Хорошо бы посмотреть ее контакт со скалой! Тогда будет ясно, рукотворная это кладка или же по трещине в старой скале внедрилась новая порция расплавленной базальтовой лавы и застыла, образовав «стенку». В последнем случае край скалы должен носить следы обжига расплавленной лавой. Пилот подводит аппарат вплотную так, что наша «механическая рука» царапает скалу. Но вся эта часть наглухо закрыта сросшимися глыбами, покрытыми густыми водорослями, и контакт не виден.

Неожиданно прямо перед «Аргусом» возникает из зеленых сумерек тонкая нить, пересекающая наш курс. На ней борода водорослей. Лежащий рядом со мной Булыга настораживается, его мышцы напрягаются: перемет! Аппарат взмывает вверх, и опасная снасть остается под нами.

Двигаясь тем же курсом на глубине около 90 метров, снова выходим на стенку высотой около двух метров и шириной полтора метра с отчетливыми следами «кладки». У ее подножия на песке целая колония морских ежей. Поверхность стенки, сплошь заросшая водорослями, плоская, как будто обработанная какими-то орудиями. Так же, как и в предыдущем случае, она упирается в сильно разрушенную скалу, но контакт завален

камнями, и все попытки расчистить его оказываются безуспешными. Подходим к стенке вплотную. Ее верхний край разбит на правильные кубики, с гранью около 15 сантиметров. С большим трудом, раскачивая аппарат из стороны в сторону, Булыга берет манипулятором два образца «кубиков» и кидает их в бункер.

Движемся дальше вдоль склона над грядой, ограниченной двумя параллельными стенками. Внутренняя поверхность стен покрыта прямоугольными трещинами. Впечатление такое, что плывешь на «речном трамвае» по родной Мойке. В конце «канала» между стенами — пещера с полуразрушенным навесом из крупных глыб. Все вокруг засыпано галечником и окатанными глыбами. На стенах растут ярко-зеленые водоросли, напоминающие хвойные растения. Слева от нас — стена высотой около 20 метров, с большими расселинами. У ее подножья виден прямоугольник, засыпанный песком, посреди которого лежит круглая базальтовая глыба, похожая на «жертвенник». В конце сходящегося ущелья между стенами зияет пещера.

На поверхности дна под слоем песка просматриваются следы прямоугольных гряд. Перед нами по курсу возникает новая гряда. В глубоких расселинах, рассекающих ее верхний край, видны обрывки сетей и переметы. Как поется у Высоцкого: «Там хорошо, но нам туда не надо». Всплываем над грядой. Ее вершина напоминает сильно разрушенную башню. В верхней части «башни» к скале прилепился крупный осьминог. Подходим к нему вплотную и делаем фотоснимок. При вспышке света он дергается, как от удара. За грядой, внизу, на дне, овальное углубление в скале диаметром около тридцати метров, похожее на цирк. Рядом с ним — целый ярус рыбацких сетей. Да, здесь нужно быть начеку!

На глубине около 80 метров обнаруживается стенка со следами «кладки», аналогичная вышеописанной. Она упирается в скалу, в которой видна пещера. Вдоль стены к пещере ведут как бы ступени, засыпанные песком. Ширина ступеней около двух метров. Делаем несколько фотоснимков. Сильно разрушенный «свод» над пещерой отдаленно напоминает кладку радиально расходящихся камней. Неужели это сделала природа?»

Последнее заседание научно-технического совета, происходившее на «Витязе», раскачивающемся над вершиной горы Ампер, было таким же бурным, как океан. Небольшой конференц-зал судна был набит до отказа. После долгого обсуждения геологи сошлись на том, что найденные стены все же нерукотворные. Даже Леонид Почивалов, который, несмотря на седину, яростно, с детской настойчивостью, защищал идею

Атлантиды, вынужден был отступить перед бесстрастными доводами геологов. «Я так понимаю, что сегодня выносится смертный приговор Атлантиде», — горько заявил он. «Ничего подобного, — ответил я. — Речь идет только о стенах на горе Ампер».

Тщательное изучение поверхности горы Ампер показало, что глубокие трещины, разбившие этот старый, давно погасший вулкан, ориентированы в двух направлениях: на северо-восток и на юго-восток. Такое же простирание имеют и найденные «стены», вероятнее всего связанные с этими трещинами. Дело в том, что по трещинам, разбившим старую, уже остывшую породу, при возобновлении вулканической активности могут внедряться новые порции расплавленной лавы. Достигнув поверхности, они застывают, отражая прямые линии вмещающих их трещин. Такие похожие на стенки формы внедрения называются дайками. Возможно, что именно с такими двумя взаимно перпендикулярными системами базальтовых даек мы и имеем дело. Дайки эти, секущие склоны и вершину горы Ампер, сложены более молодыми базальтами, которые меньше поддаются разрушительному действию выветривания, чем старые породы, слагающие вершину. Поэтому в результате выветривания более древние базальты в промежутках между «стенками» разрушились, и между ними образовались углубления, столь похожие на «комнаты».

Ну, а как же «кирпичная кладка»? Скорее, это не что иное, как система небольших параллельных трещин на поверхности базальтовых гряд, иногда засыпанных белым песком, что создает зрительное ощущение «кладки». Это так называемая «отдельность». Подобное я видел не впервые — когда-то в молодости мне пришлось немало поработать в северо-западной части Сибирской платформы, на знаменитых сибирских базальтовых траппах. При выветривании базальтовые образования могут принимать самые причудливые формы, напоминающие башни и стены. Вспомним хотя бы известные всем Красноярские столбы! И все-таки…

Уже стемнело, когда «Витязь» покинул гору Ампер и направился к ее недалекой соседке — горе Жозефин. Из предыдущих исследований, проведенных немецким судном «Метеор», было известно, что это тоже подводный потухший вулкан, образовавшийся где-то около 13 млн. лет назад.

Вершина этой горы на глубине около 150 метров от уровня моря также была детально изучена. Как уже упоминалось, обе горы входят в большую цепь подводных гор Подкова, тянущуюся на сотни километров вдоль зоны гигантских трещин, — так

называемой Азоро-Гибралтарской зоны. Выяснилось, что Жозефин, как и остальные горы из системы Хосшу, с плоскими срезанными эрозией вершинами, тоже была когда-то островом.

Значит, между Азорами и Гибралтарским проливом существовала в древности огромная цепь островов, которые затем погрузились в пучину океана?

Через полтора месяца после нашего возвращения состоялось заседание ученого совета Института океанологии, на котором докладывались результаты рейса.

Присутствующим продемонстрировали многочисленные (более нескольких сотен) подводные фотографии вершин и склонов подводных гор, образцы горных пород, детальные карты геофизических полей и многие другие материалы. Мое сообщение о естественном происхождении стен было выслушано с большим вниманием, но поддержки не вызвало. Председатель Совета, тогдашний директор института А. С. Монин неодобрительно заметил: «Рано делать окончательные выводы. Городницкий осторожничает, — говорит одно, а рисует другое. Вы на рисунки его поглядите. С этим еще надо разбираться».

Так или иначе, анализ собранных данных дал возможность с уверенностью утверждать, что обе изученные подводные горы были прежде островами и только позднее погрузились под воду. Кроме того, выяснилось, что океанская литосфера Африканской плиты пододвигается под литосферу Евразиатской плиты. Из-за этого сжатия возникают глубокие трещины, рассекающие кору. С этим же могут быть связаны вспышки землетрясений, одно из которых в 1735 году полностью разрушило Лиссабон. А на Азорских островах и в наши дни продолжаются извержения вулканов. А раскалывание океанской литосферы вполне могло вызвать быстрые и катастрофические погружения ее отдельных участков с образовавшимися на ней островами. Не так ли ушли под воду вулканические острова Ампер и Жозефин?

Примерно в это же время писатель Леонид Почивалов опубликовал в «Литературной газете» большую статью, в которой подробно описал наши работы на горе Ампер и свое погружение в «Аргусе» на загадочные стены. Он не оставлял надежду найти там Атлантиду. Вскоре я случайно встретился с известным сторонником летающих тарелок и экстрасенсов Феликсом Юрьевичем Зигелем. «Послушайте, — сказал он мне, — как вы относитесь к тому, что на вашей горе Ампер нашли недавно кусок мрамора? Об этом сообщалось в газетах». «Ну что же, — ответил я, — ничего удивительного. Мы сами дважды находили там куски песчаника и мраморизованного известняка. Их рыбаки привязывают к сетям вместо грузил, вот они и падают на дно».

«Скучный вы человек, — расстроился Зигель. — Неинтересно с вами разговаривать».

И все-таки где же искать Атлантиду?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться снова к геологии океанского дна. Когда в геологии господствовали представления о неизменности положения земных континентов — у них и сейчас еще немало именитых сторонников, «фиксистов», — легче жилось и атлантологам, ибо предполагалось, что океанские впадины возникли в результате опусканий отдельных блоков литосферы. Веский козырь! Но если могли быть резкие опускания целых континентов, то как будто легко объяснимы причины гибели Атлантиды.

Увы! Сегодняшние многочисленные факты указывают на то, что в океане нет погруженных участков континентальной коры. Это на первый взгляд противоречит существованию Атлантиды. Но не надо торопиться. Ну что ж, континенты действительно не могут погружаться. А архипелаги? Проведенные нами исследования убедительно показали, что подводные горы Ампер и Жозефин были когда-то островами. И весь подводный хребет, в состав которого они входят, тоже, возможно, был когда-то на поверхности. А если были острова, то на них могли жить люди. Весь вопрос в том, когда и почему это острова погрузились в океанские волны. Попробуем посмотреть на эту загадку с позиций современной науки.

Когда я прикинул, с какой скоростью погружались в воду эти бывшие острова Ампер и Жозефин, то неожиданно оказалось, что скорость была очень велика. Такие же следы быстрого погружения обнаружены американскими геологами, изучавшими несколько лет назад плосковершинную гору Атлантис, тоже входящую в систему Подкова. Еще 12 тысяч лет назад гора Атлантис была островом.

Значит, острова, входящие в систему Подкова, затонули катастрофически быстро, что никак не могло случиться при простом утолщении океанской литосферы! Что же заставило их столь внезапно погрузиться? Вспомним, что в описании Платона (если ему, конечно, верить) говорится, что гибель Атлантиды произошла «в один бедственный день и в одну бедственную ночь»!

Платон пишет, что катастрофа произошла одновременно на всем Средиземноморье. Можно предположить, что при извержении вулкана Санторин в Эгейском море на востоке погибло Праафинское государство и эллинское войско. А на западе, по ту сторону Геркулесовых Столбов, от той же катастрофы раскололся и погрузился в воду огромный архипелаг,

протянувшийся от Азорских островов до Гибралтара, и вместе с ним Атлантида.

Значит, чтобы решить загадку Атлантиды, надо продолжить изучение подводных гор Азоро-Гибралтарской системы, прежде всего выяснить, была ли эта огромная горная страна на поверхности океана. А если была, то когда погрузилась? Вопрос очень важный. Ведь если погружение совпадает с эпохой человеческой цивилизации, и особенно со временем извержения вулкана Санторин, то именно здесь могла погибнуть Атлантида!

Надо сказать, что А. Галанопулос и Э. Бекон, приводя данные о геологии Атлантического океана и Средиземного моря, опирались на устаревшие «фиксистские» представления о формировании океанов, отвергнутые современной наукой. Так, например, глубоко ошибочны выводы авторов, что в Атлантическом океане якобы нет затонувших островов, — их к настоящему времени найдено несколько десятков. Неверно также утверждение, что «с точки зрения геофизики Атлантида не могла находиться в Атлантическом океане». Будучи профессором геофизики, я со всей ответственностью заявляю, что именно с точки зрения геофизики Атлантида могла находиться в Северной Атлантике в районе утонувших островов Хосшу, где проходит граница между Африканской и Евразиатской плитами, в зоне которой обнаружены гигантские трещины, а также огромные тепловые аномалии, свидетельствующие о высокой тектонической активности.

Что же касается времени гибели легендарной Атлантиды, то оно действительно совпадает со временем извержения вулкана Санторин — около 1500 лет до н. э. Только само это чудовищное извержение, уничтожившее крито-минойскую культуру, по моему мнению, было не причиной, а следствием катастрофического столкновения плит по линии закрывшегося палеоокеана Тетис, последним остатком которого является Средиземное море.

Сторонники средиземноморского варианта существования Атлантиды считают, что древние были неважными мореходами и географами, например, путали Геркулесовы Столбы с Сицилийским проливом, а в Атлантике практически не бывали. Это слабый довод. Даже в «Одиссее» у Гомера Одиссей и его спутники наблюдают «Пляски богини Эос», то есть полярное сияние, которое можно видеть только в Северной Атлантике, да и то поднявшись до 50° северной широты. Значит, не такими уж плохими мореходами были древние греки.

Мы уже упоминали о кокосовых пальмах, деревьях, дающих питье и мазь, описанных в «Критии», которые в Средиземноморье, как известно, не растут. Да и слоны на островах Эгейского моря

не обитают. Обращает на себя внимание также, что в первой части «Крития» описано Праафинское государство с огромным Акрополем, которое также было разрушено, «когда одновременно с землетрясением разразился неимоверный потоп».

Эйдельман призывал меня верить Платону, и я рискую это сделать. Гем более что и геологические данные, полученные нашей экспедицией, не противоречат предположению о гибели целой цепи островов, огромной горной страны между Гибралтарским проливом и Азорским архипелагом.

Что же касается времени этого гигантского катаклизма, равного которому не знала человеческая история, то оно косвенно может быть определено по совокупности легенд и мифов древних народов, в той или иной степени отразивших эту катастрофу, захватившую все страны Средиземноморья и архипелаги «по ту сторону Геркулесовых Столбов».

Прежде всего это Девкалионов потоп, опустошивший все побережье Восточного Средиземноморья от Сирии до Апеннинского полуострова. О нем неоднократно упоминается в древнейших записях на глиняных табличках. Этот потоп древние эллины связывают с именем царя Девкалиона, родившегося в 1573 г. до н. э. и начавшего свое правление в 1541 г. до н. э. Как свидетельствует Гельвеций, Девкалионов потоп произошел в 1511 г. до н. э. Примерно такую же дату, 1516 г. до н. э., называет Сет Кальвиций. А по мнению А. Стажериса, Девкалионов потоп датируется временем около 1529 г. до н. э. Как мы видим, даты эти, достаточно близкие, примерно соответствуют тому времени, когда на востоке началось гигантское землетрясение, вызвавшее катастрофический взрыв Санторина и волны цунами, обрушившиеся на берега Средиземного моря. Историк Великовский, используя вышеупомянутую геохронологию, сделал вывод о том, что Девкалионов потоп совпал по времени с исходом евреев из Египта, описанным в Библии и датируемым примерно 1495 г. до н. э.

Историки указывают на возможную связь приведенного в Библии описания «десяти казней египетских» с катастрофическими землетрясениями и вулканическим извержением. Так, «превращение воды в кровь» вероятнее всего явилось следствием замутнения воды в результате оползней, вызванных землетрясениями. Мне неоднократно приходилось видеть, как оползни и ливневые дожди, размывающие железистые красноцветные песчаники и глины, окрашивают в кровавый цвет ручьи и реки. Образовавшиеся застойные воды в жару приводят к размножению паразитов, возникновению моровой язвы скота и всевозможных эпидемий. Сильные грозы при крупных

извержениях сопровождаются градами и ливнями, а часто и смерчами. В результате этого могут быть «дожди из лягушек», «кровавые» дожди из красного песка, и т. д. Да и сама «тьма египетская», очевидно, — результат действия туч вулканического пепла, закрывшего солнце после взрыва вулкана Санторин на несколько дней.

Обращает на себя внимание тот немаловажный факт, что Моисей вел свой народ, ориентируясь днем на столб дыма, а ночью — на столб огня. Это же прямое описание гигантского длительного извержения вулкана, каким и было в действительности извержение вулкана Санторин! Наконец, заслуживает особого интереса легенда о гибели в морской пучине фараонова войска, посланного вдогонку за беглецами. Как упоминают А. Галанопулос и Э. Бекон, комментаторы Библии давно предполагают, что израильтяне шли не по берегу Красного моря, а по берегу озера Стрибонис — средиземноморской лагуны, расположенной к востоку от дельты Нила, между городами Романи и Эль-Ариш. Древнее написание слов «Красное море» и «Море тростников» («Ям-Суф») одинаково. Эту лагуну, называемую ранее озером Стрибонис, упоминает Геродот. Судя по описанию древнего географа Страбона, длина лагуны — 200 стадий, ширина — 50 стадий. Лагуна эта отделена от Средиземного моря узкой песчаной косой и связана с ним проливом Экрегма (по-арамейски — щель).

В книге Исход описано, что когда Моисей воздел руки, глядя на морские воды, преградившие ему путь, то «Господь… сделал море сушею, и расступились воды». Далее написано (гл. 14, стих 22): «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, и воды же были им стеною по правую и по левую стороны». Это описание позволяет предположить, что неожиданный отлив моря возник в результате сильного землетрясения и извержения вулкана Санторин, вызвавшего волны цунами. Сама волна цунами обычно приходит примерно через полчаса после отлива. За это время толпа беглецов могла пробежать по внезапно образовавшемуся перешейку. Далее в Библии сказано: «Погнались египтяне и вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его». В этот момент пришла огромная волна и утопила войско фараона.

Многократные свидетельства о характере действия цунами документально подтверждают достоверность его описания, приведенного в книге Исход.

Таким образом, вероятнее всего, такие важные в начале человеческой истории события, как гибель Атлантиды на западе и Праафинского государства (крито-минойской культуры) на

востоке, оборвавшие первую в истории мировую войну, а также исход евреев из Египта, могут быть связаны с уникальной по своим масштабам геологической катастрофой в северо-восточной Атлантике и Средиземном море, вызванной столкновением между Африканской и Евразиатской литосферными плитами. Нам удалось предложить непротиворечивую геолого-геофизическую модель этой катастрофы. Материалы геофизических исследований, проведенных нами, показывают, что Платону все-таки следует верить и Атлантиду надо искать за Геркулесовыми Столбами в Атлантическом океане, на вершинах обнаруженной нами затонувшей горной страны.

В последние годы мне неоднократно довелось выступать со статьями на страницах разных журналов, а также по радио и телевидению, демонстрируя сделанные мной рисунки. После одной из моих лекций в Израиле, вызвавшей полемику с религиозными ортодоксами, присутствовавший на лекции экстрасенс затребовал эти рисунки для определения — рукотворные на них изображены сооружения или нет, но так и запропал. Что же касается религиозных ортодоксов в Израиле, то они выступили с резкой критикой моих построений, заявив, что нельзя Божье чудо пытаться объяснить с позиций прагматичной науки. «Неужели вы думаете, — возразил я им, — что Бог хуже нас знает строение Земли? А если Он его знает, то почему бы Ему не устроить свое чудо так, чтобы люди могли найти ему разумное научное объяснение?»

Несколько лет назад в мой родной Питер прибыл из Греции известный археолог профессор Папамаринопулос, заинтересовавшийся нашими данными. Я для встречи с ним ездил в Питер и делал специальный доклад для его группы. Вдохновившись услышанным, профессор попросил срочно выслать ему в Грецию все имеющиеся данные наших работ, твердо пообещав пробить финансирование международной экспедиции под эгидой фонда «НАТО во имя мира». Получив необходимые материалы, профессор, однако, также исчез.

Год назад в моем кабинете появился молодой и энергичный историк Вячеслав Кудрявцев, директор созданного им «Института метаистории». Согласно его гипотезе, Атлантиду следовало искать в Северной Атлантике, однако прежде всего на южной оконечности Британских островов на Кельтском шельфе, в районе банки Литл-Сол, геоморфологическая структура которой, по мнению Кудрявцева, напоминает погребенное осадками русло древней реки. Если это действительно устье древней реки, то нынешняя банка являлась местом, благоприятным для древнего города. Гибель Атлантиды Кудрявцев связывает с

катастрофическим таянием Скандинавских ледников и прорывом Гольфстрима на север. Эта точка зрения находит частичное подтверждение в географических описаниях, содержащихся в упомянутых диалогах Платона, писавшего, что Атлантида состояла из двух частей — островного государства (архипелаг Хосшу?) и плоской прибрежной равнины значительных размеров (южный склон Британских островов?).

Согласно имеющимся геологическим данным, в конце ледникового периода значительная часть Западной Европы ушла под воду в результате повышения уровня Мирового океана, однако погружение это было медленным и происходило постепенно в течение нескольких тысяч лет, а не «в один ужасный день и одну ночь». Впрочем, у Платона это изложено так: «Потом были землетрясения и потопы необычайной разрушительной силы, и в один ужасный день и одну ночь все ваши воины были поглощены землей, и остров Атлантида тоже был поглощен морем и исчез…» («Тимей»). То есть землетрясения и потопы упоминаются здесь во множественном числе и явно проходят на протяжении более длительных промежутков времени. Вячеслав Кудрявцев, исследовав карту дна Кельтского шельфа, установил интересные совпадения с описаниями Платона. Кельтский шельф неглубок и имеет некоторое подобие берега, в середине которого обнаружен холм, называемый банкой Литл-Сол. Глубина дна здесь всего 57 метров на фоне окружающих опущенных участков дна с глубинами 130–160 метров. При этом именно здесь в сторону берега выходит широкое углубление, напоминающее погребенное русло древней реки. Совсем так, как описано у Платона: «Город, находящийся на холме с обрывом в сторону моря, и плоская равнина, окруженная с трех сторон горами».

В нашем институте, не без моей помощи, составили проект поисковых работ. Были найдены спонсоры, и планировалась в 1998 году экспедиция на судне нашего института. Предполагалось вначале обследовать район банки Литл-Сол у британского побережья, а затем район подводных гор, примыкающий к горе Ампер. Однако в августе грянул экономический кризис, и отечественные спонсоры развели руками.

Так миф об Атлантиде и остался мифом, не получив пока реального подтверждения. И все-таки…

История с Атлантидой невольно наводит на размышления о роли в нашей повседневной жизни реального и фантастического, о соотношении между ними. Запомнив со школьных лет фразу Ромена Роллана: «Лучше жалеть о том, что пошел, чем о том, что не пошел», — я всегда охотно поддавался искушению разного

рода мифов и легенд, стараясь с одной стороны отыскать в них реальную основу, с другой — лишний раз убедиться в ограниченности и стереотипности догматичного нашего мышления в рамках «диалектического материализма». Мучительно деля небольшое отпущенное мне жизненное время между наукой и литературой, я, в силу извечной своей слабохарактерности и дуализма, никогда не мог решительно отказаться от чего-нибудь одного во имя другого.

В наше время поток информации поглощает человека с его несовершенными возможностями целиком. Век Ломоносовых и Леонардо прошел безвозвратно. Чтобы добиться успеха в какой-то отрасли, необходимо день за днем сосредоточенно работать только в этом направлении, стать профессионалом. Я не верю в идеальную картинку, нарисованную «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи»: «Сидят папаши, каждый — хитр: землю попашет, попишет стихи». Так не бывает. Толстой пахал изредка и по прихоти, а никто из хлебопашцев великим писателем не стал. Дело еще более осложняется, когда речь идет о современной науке, забирающей серьезного научного работника круглосуточно с потрохами. На вопрос, что для меня наука, а что поэзия, я обычно в шутку отвечаю, что это отношение можно сравнить с отношением к жене и любовнице. Сразу же возникает второй вопрос: кто из них жена, а кто любовница? Тут все существенно осложняется. Как сказал поэт Давид Самойлов, графоман отличается от настоящего поэта только результатом труда. Вдохновение и все прочие переживания у него — такие же, ничуть не хуже. Когда пытаешься реализовать или сформулировать интересную идею в науке, испытываешь такой же азарт, такой же завод, как и тогда, когда пишешь стихи.

И все же между наукой и искусством есть непреодолимое глубинное различие. Ведь наука — это, в общем, лишь обнаружение некоего факта природы, поиск уже существующего, пусть даже очень глубоко спрятанного, хотя и здесь очень важен примат созидания, творчества. Открытие Коперником гелиоцентрической системы или Эйнштейном теории относительности — сродни творениям Данте или Бетховена. С другой стороны, самолет, радио, книгопечатание не существовали в природе, их надо было создать. Научный процесс близок к поэтическому, только он проистекает не из воспаленного воображения автора, а требует определенной суммы знаний. Нельзя ничего открыть или создать, не зная физики, математики, геологии. В этом смысле наука более, казалось бы, защищена от шарлатанов и невежд, чем поэзия, где порой невежество выдастся за самобытность.

И все-таки, если бы не было, например, Эйнштейна, теорию относительности открыл бы кто-нибудь другой, ибо развитие человеческой мысли настойчиво подталкивало к этому открытию, ревизуя законы ньютоновской механики. Если бы Беккерель не обнаружил на фотопленке следы тяжелых частиц и не было Склодовской-Кюри или Оппенгеймера, все эти изобретения или открытия сделали бы другие. Не будь Лобачевского, другой вывел бы правила неэвклидовой геометрии. Потому что это заложено в самой природе, как металл в руде. Научные открытия, даже самые великие, быстро устаревают; взяв их на вооружение, человечество теряет к ним интерес. В то же время, сколько бы ни прошло веков, ничто не заменит фаюмской живописи, никто не напишет за Пушкина ни одной строки, и никто не сочинит за Державина, как туча стремится «по наклонению небес». Так что единственная неповторимая реализация личности в истории человечества возможна только в искусстве, а не в науке.

И отношения с властями предержащими у ученого сложнее, чем у поэта. Проблема «поэт и царь» довольно проста. Царю от поэта нужно прежде всего восхваление. Недаром говорилось, что «соцреализм — это восхваление начальства методами, доступными его пониманию».

А вот от ученого властям нужны прежде всего все более современные орудия убийства. Даже Леонардо да Винчи вынужден был наниматься военным инженером. А дело Оппенгеймера в США или героическая борьба Андрея Дмитриевича Сахарова — отца водородной бомбы — за права человека? В науке и нравственные проблемы, и общественный резонанс подчас гораздо серьезнее и трагичнее.

Я и сам, много лет гордясь тем, что «для власти, для ливреи» не написал ни одной верноподданнической строчки, совершенно не считал зазорным сначала усердно искать для той же власти уран, а позднее — разрабатывать систему магнитной маскировки подводных лодок, никогда практически не задумываясь, как будут использованы результаты моих работ.

С большим запозданием я понял, что для настоящего ученого, помимо таланта, знаний и упорства в работе, постоянного, как у спортсмена, поддерживания формы, необходима принципиальность и высокая нравственная позиция, чтобы здесь, так же как в искусстве, «гений и злодейство» были несовместны.

Теперь, когда я думаю о тайне гибели Атлантиды, мне все чаще приходят снова на память позабытые строки старой песенки:

И хотя я скажу себе тихо:
«Не бывало ее никогда».

Если спросят: «Была Атлантида?» —
Я отвечу уверенно: «Да!»
Пусть поверят историям этим.
Атлантида — ведь дело не в ней…
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

Глава 3
Меж Москвой и Ленинградом

А на Арбате падает снежок

Переезд в Москву был для меня мучительным. Даже когда меняешь что-нибудь одно — работу, семью или место, где живешь, долго не можешь привыкнуть к новому. Мне же пришлось поменять все сразу. Из родного своего Института геологии Арктики, где я к тому времени руководил лабораторией морской геофизики, я попал в Институт океанологии на должность старшего научного сотрудника не в научный отдел, где мест не было, а в административную группу «Координационного центра стран — членов СЭВ».

Игорь Белоусов рассчитывал через полгода перевести меня к себе — в отдел геофизики и тектоники океанического дна, но его внезапная смерть поломала эти планы. Ни о какой геологии и геофизике в Координационном центре не могло быть и речи. В обязанности мои входили обслуживание приезжающих из соцстран ученых, а также составление и переписывание бесконечных бумажек и мертворожденных планов совместных работ и совещаний. Эта бессмысленная бумажная служба с первых же дней вызвала у меня непреодолимое отвращение. Профессор Глеб Борисович Удинцев, руководивший в то время отделом геофизики и тектоники океанического дна, как оказалось, весьма неприязненно относился к Игорю и ясно дал мне понять, что на перевод мой в его отдел я рассчитывать не могу. Что было делать? Уезжать не солоно хлебавши обратно в Ленинград? Я и в самом деле начал всерьез подумывать об этом и даже договорился с дирекцией своего бывшего института о возвращении. Однако осенью 72-го года я познакомился с Олегом Георгиевичем Сорохтиным, готовившим тогда к защите докторскую диссертацию и увлекавшимся идеями тектоники литосферных плит, который согласился взять меня на работу в свою группу. С большим трудом, благодаря активной поддержке Сорохтина и благорасположению грозного директора Монина, мне удалось наконец расстаться с Координационным центром и перейти в группу тектоники литосферных плит, преобразованную позднее в лабораторию.

Олегу Сорохтину я обязан не только служебным переводом, но и многим другим. Человек, фанатично увлеченный современной геологической концепцией формирования и эволюции нашей планеты, геофизик с широким кругозором и дерзкой поэтической фантазией, он сумел обратить в свою, тогда еще довольно крамольную веру, своих ближайших сотрудников, в том числе и меня. До встречи с ним я считал себя специалистом

по магнитному полю, и мне этого вполне хватало. В дебри глобальной геологии и тектоники я не вникал, считая это излишним. «Чем вы занимаетесь?» — спросил он у меня при первой встрече, и узнав что магнитным полем, скептически улыбнулся: «У американцев, да и у всех других зарубежных ученых, нет такого понятия — магнитчик, сейсмик, электроразведчик. Есть одно понятие — геофизик. Ведь Земля — физическое тело, и чтобы изучать ее, надо свободно владеть не одним, а несколькими геофизическими методами сразу. Иначе ничего не выйдет».

Сам Олег, сейсмик по образованию да еще с «аппаратурным» уклоном, довольно свободно разбирался в физике Земли, теории геофизических полей, геологии и геохимии, не говоря уже о магнитном и гравитационном полях, сейсмике, тепловом потоке и так далее. Именно Сорохтин сделал меня убежденным сторонником новой глобальной теории — тектоники литосферных плит, основывающейся на идеях дрейфа континентов.

Надо сказать, что в начале 70-х годов, концепция эта, уже получившая всеобщее признание на Западе, у нас считалась еретической. Вся «старая гвардия» отечественной геологической науки во главе с членом-корреспондентом В. В. Белоусовым, возглавлявшим Международный геофизический комитет, Академия наук, Министерство геологии. Московский государственный университет стеной встали против этого «буржуазного направления». В свете этого нельзя не отдать должное Андрею Сергеевичу Монину, который, будучи одним из ведущих ученых в области математики и физики, не только сам активно включился в разработку математической модели конвекции, приводящей к дрейфу континентов, но и не побоялся организовать у себя в институте специальную лабораторию «тектоники плит». В то время это было все равно что поднять красный флаг на броненосце «Потемкин». Вот в эту лабораторию мне и повезло попасть.

Нельзя не отметить при этом, что характер у Монина был крутой, вспыльчивый. Трудясь помногу сам, он требовал такой же отдачи от других, поэтому работать с ним, а тем более под его началом, было совсем не просто. Я помню, как, тяжело отдуваясь и хватаясь за сердце, выходил из директорского кабинета его заместитель по Южному отделению в Геленджике Яков Петрович Маловицкий. «Саня, — сказал он мне, вытирая платком пот со лба, — с Мониным же невозможно работать! Он требует от своих сотрудников мировых открытий, и при этом — каждый день!»

Сам Яков Петрович, один из ведущих ученых в области

морской геологии и геофизики, прекрасный организатор, позже ушел из нашего института и стал большим начальником в Министерстве нефтяной промышленности — генеральным директором объединения «Союзморгео», находящегося в Мурманске. Помню, как, сидя у меня на кухне в Москве, он вызывал по телефону такси, чтобы доехать до аэропорта: «Саня, мне главное — до аэропорта добраться и в Мурманск улететь. А там я уже начальник, понял?»

В те поры для морских ведомств в Министерствах геологии и нефти была введена морская форма, но с какими-то довольно странными геологическими и совершенно не морскими атрибутами вроде молоточков и буровых вышек на рукавах и петлицах. Несмотря на огромное количество «золота», форма эта на непосвященных производила неоднозначное впечатление.

Вспоминаю, как мы вместе с Маловицким несколько лет спустя в гостях у нашего общего приятеля Сергея Александровича Ушакова отмечали присвоение хозяину дома профессорского звания. Кончилось спиртное, и я предложил сходить в ближайший магазин за бутылкой коньяка. «Я с тобой, — заявил Маловицкий, натягивая на свои необъятные плечи расшитый золотом мундир штатского адмирала с депутатским значком на лацкане. — Мне без очереди дадут». С этими словами он нахлобучил на голову гигантскую фуражку с золоченым «крабом», обнимавшим изображение буровой вышки, и мы отправились. Очередь в винном отделе действительно оказалась большой. «Девушка, — бутылку коньяка», — сиплым начальственным тоном произнес Яков Петрович, успешно растолкав своей грузной позолоченной фигурой толпу алкашей у прилавка. Неопрятного вида продавщица с испитым лицом окинула хмурым похмельным взглядом непонятную форму и неожиданно изрекла: «Гражданин, мы в спецодежде не обслуживаем!»

Что же касается тектоники литосферных плит, то ее идеи увлекли меня своей ясностью и удивительной согласованностью как с законами физики, так и с многочисленными геологическими фактами, до этого казавшимися грудой разрозненных сведений, никак между собой не связанных. Планета наша, представлявшаяся до этого неодушевленной неорганикой, оказалась подобием живого организма.

С увлеченностью, сильно подхлестнутой почти годовым отрывом от науки, я взялся за работу. Приходилось в сорок лет переучиваться заново, осваивая азы физики Земли, гравиметрии, геотермии, тектоники, вулканизма, палеомагнетизма и так далее. Снова вспомнились мне слова безвременно погибшего Стаса Погребинского: «Лучше работать под заведомо ложную идею, чем

вообще под никакую».

Одной из наиболее характерных особенностей моих собратьев-геофизиков, да, видимо, и моей, взращенной в нас за долгие годы, было скупердяйское дрожание над полученными экспериментальными данными или какой-нибудь третьесортной идейкой. Общение с Олегом полностью изменило эти мещанские представления. Он щедро расшвыривал идеи, которых у него было всегда великое множество, как будто совершенно не заботясь о собственном авторстве.

Именно он впервые открыл мне глаза на то, что любой собранный экспериментальный материал — карта, разрез, результаты лабораторных анализов, — не одухотворенный ведущей идеей, мертв. Наше стремление участвовать во все новых съемках в океане он поддерживал далеко не всегда. «Надо ли тратить свои силы на получение нового материала, когда так много не обработанного и не обдуманного старого?» Когда я, споря с ним, говорил о практической пользе, о полезных ископаемых, он отмахивался: «Нет ничего более практичного, чем хорошая теория».

Забегая вперед, должен сказать, что немалую роль в становлении моего еще не оперившегося тогда научного самосознания сыграл другой замечательный ученый — Лев Павлович Зоненшайн, один из ведущих тектонистов мира, с которым мне посчастливилось работать вместе во второй половине 70-х годов.

В истории науки, как и в истории искусства, время от времени вдруг вспыхивают, озаряя окружающих, имена людей, которые, кажется, самим Богом были призваны к яростному познанию окружающего мира, жизнь которых была подвижнически посвящена любимому делу. «Одна, но пламенная страсть», — как писал Лермонтов.

Именно Лермонтов почему-то и вспоминается мне, когда я думаю о Льве Павловиче Зоненшайне, хотя он ушел из жизни уже за шестьдесят, и никто его, казалось бы, не травил и не убивал. Вспоминается потому, видимо, что поэтическая легкость его геологического таланта и те потенциальные творческие возможности, которые были в нем сокрыты, заставляют нас, его современников, только горестно разводить руками после его безвременной кончины. Сколько бы он мог еще сделать, открыть! Какие карты построить, какие книги написать! Подобное горестное ощущение возникло у меня в свое время после внезапного известия о гибели Высоцкого.

Познакомились мы с ним в 1975 году, когда он пришел к нам в отдел из Министерства геологии. Тогда наш директор Монин

собирал группу ученых для развития идей теории тектоники литосферных плит, в ту пору, как я упоминал, революционной и в нашей стране — полузапрещенной. К этому времени Лев Павлович уже был широко известен как один из ведущих отечественных геологов, крупный специалист по тектонике Монголии и ряда восточных областей Союза. Мне посчастливилось вместе с ним и, конечно, под его идейным руководством составлять реконструкции положения континентов и океанов в фанерозое (время явной жизни на Земле) — от 570 миллионов лет тому назад до нашего времени.

Институт наш тогда ютился еще в Люблино, в старом запущенном дворце конца XVIII века, некогда принадлежавшем вельможе павловских времен графу Дурасову. Став в свое время командором ордена мальтийских рыцарей, Павел I пожаловал звание мальтийского рыцаря графу Дурасову, и тот построил свой дворец в форме мальтийского креста. Места во дворце, несмотря на его былое великолепие, было мало. Поэтому работали мы дома у Зоненшайна, на тесной кухне маленькой двухкомнатной квартиры в «хрущевской» пятиэтажке неподалеку от метро Каховская.

В те годы компьютеров у нас не было и в помине, поэтому все построения проводились вручную на старом школьном глобусе, который под конец был так обшарпан, что на нем было уже невозможно различать широты. Сами континенты при этом выпиливались лобзиком из пластинок плексигласа. Чтобы придать им кривизну, в соответствии с поверхностью глобуса, плексовые пластинки приходилось долго нагревать над паром, обжигая себе руки.

Надо сказать, что для «изготовления континентов» кроме непослушного плекса мы старались использовать все, что попадалось под руку, — от раскуроченных кухонных кастрюль до консервных банок. Только через пару лет, с появлением компьютерных программ, мы стали работать цивилизованно — на ЭВМ.

С первого дня работы Лев поразил меня глубиной своих поистине энциклопедических знаний в геологии, причем не только по самым разным регионам нашей страны или Центральной Азии, где он работал, но и по любой области мира. Это был буквально живой банк геологических данных, подобно тому как Натан Эйдельман был примерно таким же банком данных исторических. Наряду с уникальной памятью, всех, кто с ним работал, поражала его нечеловеческая работоспособность. Будучи «жаворонком», он поднимался с рассветом и работать был готов, кажется, круглосуточно. «Тянуть» с ним в паре было

невероятно трудно, тем более что он и от партнеров своих требовал такой же преданности работе и результативности. Кстати, и ходил он весьма лихо. Как-то в Геленджике мы вместе отправились на прогулку в горы, и я с большим трудом поспевал за ним, хотя и сам за много лет геологических экспедиций привык к длительным пешим переходам.

Самое для меня удивительное, что при всей своей постоянной занятости Лев Павлович ухитрялся каким-то непонятным образом прочитывать последние литературные новинки и быть в курсе всех сколько-нибудь заметных событий в искусстве и общественной жизни, хотя, конечно, и не без активной помощи его жены Ирины. С этой точки зрения он был не ученым сухарем, озабоченным лишь доскональными знаниями в своей области, а по-настоящему культурным человеком. При этом он обладал безошибочным вкусом в литературе, живописи и театре, остро и болезненно реагировал на любую фальшь и был несгибаем, когда речь заходила о любой форме идейного компромисса с собственной совестью. В августе 91-го он не мог не быть на баррикадах у Белого Дома.

В итоге нашей совместной работы в 1976 году мы с Зоненшайном построили серию карт — реконструкций взаимного расположения континентов и океанов на поверхности нашей планеты от раннего кембрия до наших дней. Получилось пять древних глобусов с интервалами около 100 миллионов лет, по которым можно было проследить дрейф континентов, раскрытие и закрытие древних океанов. Составленные реконструкции позволили, в частности, сделать вывод о том, что все складчатые пояса и горные хребты возникли по большей части из-за столкновения материков при закрытии древних океанов. Удалось также показать, что образование и распад гигантского сверхконтинента Пангеи в истории нашей планеты происходили неоднократно со средним интервалом около 800 миллионов лет. В том же году наши реконструкции были опубликованы в журналах «Природа» и «Геотектоника», а позднее в издательстве «Наука» вышла наша совместная книга «Реконструкции материков в фанерозое».

Как я уже упоминал, новая глобальная теория была поначалу в штыки принята нашей официальной наукой. Сталинский колхозный строй не мог не породить Лысенко. И не только в одной биологии. Идеологическое обоснование существовавшего долгие годы тоталитарного режима требовало жесткого единоверия во всех областях науки — от математики до истории. Аналогичная ситуация сложилась и в геологии. Возрождение теории дрейфа континентов на основе тектоники литосферных

плит, предложенной впервые великим немецким ученым Альфредом Вегенером, вызвало резкую критику со стороны Академии наук и главных чиновников от науки. Ее, так же как некогда кибернетику, сразу же объявили «буржуазной лженаукой». Приверженцам этой теории в те годы не давали защищать диссертации, выбрасывали их статьи из научных изданий, старались не пускать за рубеж на международные конференции.

Сейчас это кажется странным, — факты есть факты, при чем тут идеология? А при том, что новые идеи полностью подрывали основы старой «фиксистской» теории о неподвижности континентов и океанов, на базе которой в нашей стране уже была создана картина размещения полезных ископаемых — угля, нефти, алмазов, металлов и так далее. За все это уже были получены звания, должности и премии. Зачем же пересматривать? Взорвать такое крепкое здание «советской геологической науки» было очень нелегко.

Сразу же после выхода нашей с Зоненшайном книги «Реконструкции материков в фанерозое» один из ревностных охранителей старой «фиксистской» теории настрочил на нас объемистый донос с политической подоплекой и послал его в Президиум Академии наук. В этой замечательной бумаге авторы книги обвинялись в «низкопоклонстве перед буржуазной наукой и попытке обмануть простых советских людей». Подчеркивалось также нерусское звучание наших фамилий. Вот отрывок из этого вопиюще безграмотного документа:

«Эти ваши ученые отстаивают и доказывают реакционное воззрение господ мобилистов». (Далее — цитата из Ленина.) «Авторов не устраивает марксизм-ленинизм, и они ищут опору в других теориях. Это очевидно из их отбора палеополюсов. Видимо, эта теория господ Городницкого и Зоненшайна больше устраивает, но она не устраивает всех советских людей, всех людей труда».

Донос был всерьез направлен к нам в институт с визой академика-секретаря нашего отделения Л. М. Бреховских, и мы с Зоненшайном вынуждены были писать подробную объяснительную записку.

Вспоминаю, как несколько лет спустя мы вместе с Л. П. Зоненшайном и нашим общим другом и коллегой М. И. Кузьминым (сейчас он академик и директор Института земной коры в Иркутске), принимали участие в работе Всесоюзной школы по морской геологии в Геленджике. Жили мы втроем в тесном номере гостиницы, когда выяснилось, что в Тбилиси в эти самые дни тоже проходит какая-то важная

тектоническая конференция, где Лев Павлович должен делать доклад. Он тут же собрался и поехал на аэродром, и мы с Михаилом остались вдвоем.

Как раз на следующий день состоялось пленарное заседание, посвященное проблемам глобальной тектоники, на котором были поставлены доклады именитых московских ученых, в которых резко осуждалась теория тектоники литосферных плит. Соответственно этому приняло разгромный характер и обсуждение докладов в прениях. Мы с Михаилом, будучи тогда еще кандидатами, пытались защищаться, однако успеха у научной аудитории не имели, — не та весовая категория. Отсутствие нашего лидера — Зоненшайна сыграло свою роковую роль. Расстроенные, мы пошли вечером в гости, где с помощью крепких напитков попытались снять нервный стресс и укрепить свое красноречие.

Когда поздно ночью мы возвратились к себе в гостиницу и зажгли свет в номере, мы обнаружили там Льва Павловича, который уже спал, утомленный трудным перелетом туда и обратно. Мы с Михаилом, конечно, тут же его разбудили и наперебой начали энергично объяснять, как нас сегодня разгромили на заседании и как нехорошо поступил Зоненшайн, предательски покинувший нас одних на растерзание научным противникам. Лева, сев на кровати, внимательно слушал наш весьма эмоциональный, но сбивчивый рассказ, испуганно хлопая спросонок своими красивыми длинными ресницами, пока взгляд его не упал на недопитую бутылку «Столичной», торчавшую у Кузьмина из кармана пиджака. «А вы все пьете, негодяи, — неожиданно закричал он на нас, — всю тектонику плит пропили!» Сам Лев Павлович, как я заметил, пил крайне мало, да и то по необходимости.

Одной из главных черт Зоненшайна была его изначальная доброжелательность. К нему мог обратиться любой геолог из самой глубокой провинции за консультацией и за помощью, и он ни разу не отказал никому, несмотря на постоянную загруженность работой. Сколько диссертаций помог он написать! Обращает на себя внимание, что большая часть книг и статей Л. П. Зоненшайна написаны в соавторстве, ибо он был крайне щепетилен, пользуясь чужим трудом или материалами. Однако всегда главным автором был он.

Будучи однолюбом в науке, он буквально жил работой, занимавшей всю его жизнь без остатка, как будто чувствовал, что времени ему отпущено мало. Даже прикованный к постели неизлечимой болезнью, и здесь в России, и в США, куда поехал на послеоперационное лечение, он до самого последнего момента

старался работать, не давая себе пощады. Бездельников не любил, утверждая, что они делятся на две категории: одни просто ничего не делают, а другие при этом создают видимость кипучей деятельности.

Справедливости ради следует сказать, что его собственный научный путь был весьма тернистым. Мягкий, отзывчивый в быту, в научных спорах он был непримирим, чем нажил себе немало недоброжелателей. Вместе с тем, мне еще в 1985 году довелось самому убедиться в его абсолютном научном авторитете среди зарубежных ученых. В том году в Праге состоялась очередная Ассамблея Всемирной ассоциации магнитологов, где у Льва Павловича были запланированы несколько докладов, в том числе и наш совместный доклад о реконструкциях материков в докембрии.

В Ассамблее принимали участие множество знаменитых ученых из разных стран мира, имена которых были известны мне только по их работам. «Надо бы подойти к ним, представиться», — волновался я. «Не надо, — спокойно отрезал Зоненшайн, — сами придут». Он оказался прав, — они все явились на его доклад и толпились вокруг, задавая вопросы и наперебой предлагая сотрудничество. К сожалению, как это нередко у нас бывает, его зарубежный научный рейтинг значительно опередил его широкое признание в отечественных научных кругах. Высокие слова в его адрес и научные почести несколько запоздали.

И еще одно неоценимое достоинство было для него характерно, — он был блестящим научным оппонентом. От его беспощадной критики рассыпались в один миг с большим трудом возведенные и, казалось бы, несокрушимые научные зиккураты. Мне неоднократно приходилось с ним спорить, и каждый раз он виртуозно клал меня на лопатки, как олимпийский чемпион неумелого новичка. В то же время, если работа выдерживала его критику, с ней можно было смело выходить на любой уровень, — другие оппоненты были уже не страшны.

Лев Павлович оставил после себя немало монографий, посвященных геодинамике Земли, ее геологической истории. Одна из его последних книг «Тектоника СССР» вышла в США незадолго до его смерти. Когда-то, в 1981 году, в день его рождения, я написал на своей книжечке стихов, подаренной ему:

Не суждено нам умереть
В век общего веселья:
Меня по пьянке будут петь,
Тебя — читать с похмелья.

С горестным чувством вспоминаю я теперь эти строки, когда перелистываю его книги и думаю о тех, что так и не написаны.

Но вернемся в начало 70-х.

В самом начале моей работы в Институте океанологии, в конце июля 1972 года, сразу же после неожиданной смерти Игоря Белоусова, я попал в организованную им экспедицию по морям Ледовитого океана. Идея Игоря состояла в том, чтобы пройти по всей трассе Великого Северного морского пути на речных судах, караван которых ежегодно перегоняли из Архангельска в дальневосточные моря. Было договорено, что специальный геофизический отряд будет вести попутные работы на борту одного из перегоняемых судов. В состав отряда, который Игорь должен был возглавить сам, он планировал включить своих друзей — Валю Смилгу и Натана Эйдельмана. В полярный рейс, однако, нам пришлось отправиться уже без него.

По-архангельски холодным августовским днем мы вшестером погрузились на борт транспортного суденышка типа «река-море», построенного в Финляндии. Его надлежало перегнать в составе каравана таких же судов из Архангельска в Николаевск-на-Амуре. Перегоном судов по трассе Северного морского пути занималась тогда «Экспедиция Спецморпроводок Севморпути», находившаяся в Ленинграде. Перегон этот требовал от экипажей особенной выучки и сноровки. С одной стороны, капитанам и штурманам надо было разбираться в сложной речной навигации, непривычной для моряков. С другой — на речных судах, не рассчитанных на морские шторма и ледовую обстановку, необходимо было пройти по трассе вдоль всего побережья Ледовитого океана, где и ледокольным пароходам со специальной ледовой обшивкой плавать далеко не безопасно.

Народ в перегонной экспедиции, возглавляемой старым полярником Наяновым, подбирался довольно лихой. Капитаном на нашем теплоходе был Владимир Малышев, примерно за год до этого плававший по перегонной трассе вместе с писателем Виктором Конецким, посвятившим этому рейсу свою повесть «Соленый лед».

Кстати, о Викторе Конецком. В течение многих лет в самых разных городах я неизменно получал на концертах записки об общности моих песен «по духу» с рассказами и повестями Конецкого. Ревниво относясь к писателям-маринистам, особенно современным, я выделял из них Георгия Владимова с его замечательным романом «Три минуты молчания» и, конечно же, Виктора Конецкого, бесконечные сочные байки героев которого

питались могучим корабельным фольклором, хорошо изученным мною за три десятка лет плаваний на разных судах. В Доме творчества писателей в Пицунде в 1987 году я увидел его впервые. Небольшого роста, худой, немногословный и мрачноватый, в потертом пиджачке, он нисколько не походил на матерого морского волка, прошедшего все моря и океаны, чтобы «сосчитать, сколько хвостов у кошек в Занзибаре».

Помню, однажды в обеденное время в столовой он скромно сидел за своим столиком и поедал второе, когда по обширному залу писательской столовой, стены которой были густо заляпаны какими-то псевдогрузинскими пейзажами и жанровыми сценами, прокатился всеобщий женский вздох. Причиной его оказался грузный величественного вида человек в ослепительной белой морской тужурке с двумя рядами золотых пуговиц, широчайшими золотыми же нашивками на рукавах и при высоченной в белом чехле адмиральской фуражке с гигантским «крабом».

Звяканье ложек и разговоры за столами враз стихли. Все писатели и их жены как завороженные уставились на высокого (буквально) гостя, который подчеркнуто неторопливо, явно довольный произведенным эффектом, подошел к своему столу и невозмутимо, ни на кого не глядя, сел. «Виктор Викторович, адмирал», — громко шепнул я Конецкому. Тот прекратил расправляться с котлетой и, держа вилку в руке, молча и зло уставился на пришельца. Потом, бесшумно положив вилку, неожиданно вскочил с места и быстрыми и мелкими шажками пошел к «адмиральскому» столику, не отрывая пристальных глаз от сияющей золотом белой тужурки. Стоя, Конецкий оказался ростом не выше сидящего адмирала и напоминал маленький торпедный катер, атакующий огромный транспорт противника. Не дойдя нескольких шагов до его столика, он круто развернулся на обратный курс и, проходя мимо меня, презрительно бросил на ходу свистящим шепотом: «Адмирал, дерьма-то, — речной директор!» И ушел успокоенный доедать свою котлету.

Группу нашу вместо Игоря возглавлял начальник отдела кадров института Владимир Михайлович с весьма нетипичной в те времена для начальника отдела кадров фамилией Гринберг. «Не только единственный в стране начальник отдела кадров с такой фамилией, но и единственный Гринберг, который по паспорту осетин», — говаривал он. Натан Эйдельман в рейс пойти не смог, и единственным из Игоревых друзей, принявшим участие в экспедиции, оказался Смилга.

Помню, как прибыв в Архангельск, где нас, приехавших раньше, несколько дней не селили в гостиницу «Двина», он

заявился прямо к директору гостиницы в старом ватнике и шляпе, заросший седоватой щетиной. «Смотрите, до какого состояния довели интеллигентного человека», — заявил он ошарашенному директору, после чего нас всех немедленно поселили в «люкс». Используя его опыт, примерно такую же операцию мы провели и по окончании экспедиции, уже в Хабаровске, ухитрившись выбить номер в интуристовской гостинице для «академика Гринберга».

Двухмесячный рейс из Архангельска в Николаевск-на-Амуре, несмотря на все трудности и даже опасности, связанные с ним, особенно ледовую проводку в проливе Вилькицкого, где наше утлое суденышко затирало льдами, вспоминается до сих пор как один из самых интересных и стоит любого из зарубежных рейсов. Плоские берега Баренцева и Карского морей, скалистые берега Охотоморья, пронзительные желтые закаты острова Вайгач и безмолвная цветомузыка полярного сияния в Чукотском море.

Пушечный гром ломающихся льдин, их визжащий, надрывающий сердце скрежет о тоненькие борта, когда мы все в спасательных жилетах, с пластырями и брусьями наготове, чтобы заделать пробоину, стоим на расписанных постах и ждем — авось пронесет. А бесконечная работа по обкалыванию льда с палубы, чтобы судно не перевернулось в шторм! А вечно окровавленные ладони, которые не спасти от ржавой стали швартового троса никакими брезентовыми рукавицами! Поскольку экипаж на судне был только половинного состава, то нас всех использовали на общесудовых авралах и работах.

По мере нашего движения на восток пришлось заходить на острова Колгуев и Вайгач, в Андерму на Диксон и другие точки побережья, отстаиваясь то от шторма, то от ледовых полей. Около двух недель наше суденышко «Морской-10» простояло вместе с другими судами на рейде у острова Вайгач, ожидая улучшения ледовой обстановки в проливах Новой Земли. Была короткая полоса ненадежного северного лета — середина августа. На Вайгаче цвела тундра.

Неожиданное для сурового и безжизненного северного ландшафта с его черно-белой графикой буйство красок недолгого цветения хрупких, но непобедимых полярных трав и ягеля так поразило меня, что я, кажется, впервые в жизни испытал острое чувство зависти к художникам. Только их талант позволяет запечатлеть и увековечить этот странный и неповторимый миг, когда под лучом полярного солнца вдруг вспыхивают желтыми, золотыми и алыми Цветами недолговечные ковры летней тундры.

Когда я теперь думаю о красотах многочисленных островов, на которых мне посчастливилось побывать, я вспоминаю не знаменитый пляж Вайкики на Гавайях, не похожий на летящую

бабочку остров Гваделупа и не сказочный остров Маврикий — «ключ от Индийского океана», а цветущую тундру на арктическом острове Вайгач.

Во время этой стоянки я «на нервной почве» написал стихи «Тени тундры», к которым актер ленинградского театра Ленинского Комсомола Юрий Хохликов придумал мелодию. Получилась песня.

Навсегда врезались в память и скалистые отвесные берега Берингова пролива, разделяющего два сумрачных материка — Евразию и Америку. Прямо над нашим судном, как мне показалось, проплыл в сумеречном тумане на нависшей над водой скале огромный черный каменный крест, который водружен здесь в память Семена Дежнева «со товарищи». До сих пор помню неуловимую смену красок волн в проливе, где свинцово-стальные воды Ледовитого океана понемногу сменяются зелеными тихоокеанскими.

Неповторимая красота цветущей тундры стала, однако, не единственным воспоминанием об острове Вайгач. Мы нашли там гниющие остатки обгорелых бревен, мотки ржавой колючей проволоки и разбитые взрывами базальтовые глыбы. Местные жители, ненцы, которых переселили сюда с Новой Земли, где в 50-е годы был организован полигон для испытаний атомной бомбы, рассказали нам, что здесь в 30-е годы был огромный концлагерь. Заключенные, обреченные на верную погибель, подняли восстание. Согласно легенде, когда об этом доложили Сталину с предложением послать карательный отряд, он сказал: «Зачем посылать людей? Лучше испытать новые бомбометатели наших бомбардировщиков». Бомбометатели испытали, уничтожив все живое на острове, включая охрану.

В этом рейсе нам повезло. Мы ухитрились за одну навигацию, без аварий и вынужденной зимовки во льдах, проскочить всю трассу Северного морского пути, что, как оказалось, бывает нечасто. В самом тяжелом в ледовом отношении месте — проливе Вилькицкого, между полуостровом Таймыр и Северной Землей, нас проводил атомный ледокол «Ленин», тогдашний флагман ледокольного флота. Своим мощным корпусом он пробивал узкий фарватер в массивном ледовом поле, который буквально через несколько минут полностью забивался глыбами ломаного льда. Поэтому надо было идти сразу же за ним. Это, однако, тоже не безопасно. Стоя на правом крыле мостика во время проводки, я хорошо видел, как из-под мощных винтов ледокола вылетают, бешено вращаясь, гигантские ледяные глыбы и несутся к нам, гонимые кильватерной струей. Один удар такой ледяной чушки — и наш тоненький борт, совершенно не рассчитанный на льды,

пробьет насквозь.

Неподалеку от меня в ходовой рубке стоят бледные рулевой и капитан, руки которого судорожно сжимают ручки машинного телеграфа — то «малый вперед», то «стоп». Страшно идти навстречу этим стремительным ледовым глыбам! А с ледокола командир проводки по радио громовым голосом на весь караван прямым российским текстом говорит все, что он думает о самом капитане, о его ближайших родственниках, обо всех, кто с ним на одном борту. «Полный вперед! — гремит его приказ во всех динамиках. — Ты что здесь, зимовать собрался?» Действительно, всего несколько минут нерешительности — и недолгий фарватер снова заполняется льдом. Ледоколу надо возвращаться и начинать все сначала. А за нашей кормой густо дымят и нетерпеливо сигналят другие суда каравана, которые начинает затирать сходящимися ледяными полями. И идти опасно, и останавливаться нельзя!

В полярной экспедиции мы проводили попутные гидромагнитные и сейсмоакустические работы, а также эхолотный промер. Вольдемара Петровича Смилгу, которого сразу же полюбила наша весьма разношерстная команда, наполовину набранная из алиментщиков и алкашей, списанных с других судов, посадили на вахту на эхолот. К своим служебным обязанностям он относился весьма философски.

Помню, как-то я поднялся в эхолотную во время его вахты и обнаружил, что эхолот выключен, а вахтенного нет. Возмущенный, я помчался вниз и обнаружил Смилгу в его каюте, где он возлежал небритый на сколоченном для него топчане в окружении таких же небритых и неряшливо одетых личностей из команды, благоговейно внимавших его словам. «Так вот, все вы теперь ясно видите, что каждый из нас — всего лишь мышь перед лицом Господа», — услышал я его тихий и как бы потусторонний голос, когда распахивал дверь. «Валька, скотина, ты что же делаешь? — заорал я, ворвавшись в каюту. — Эхолот же стоит. Марш на вахту!» В этот миг я внезапно почувствовал, что какая-то сила, сдавив мне горло воротом моей куртки, отрывает меня от палубы. «Заткнись, сука, — услышал я яростный шепот огромного моториста, схватившего меня сзади за ворот гигантской волосатой лапищей. — Не мешай — человек мыслит!»

Каюта моя находилась рядом с каютой старшего механика, молодого парня, который заочно учился в каком-то техническом вузе. Смилга, как доктор физ-мат. наук, взялся готовить его к экзаменам по физике и математике. Поскольку переборка была тонкой и весьма звукопроницаемой, я оказывался невольным слушателем этих почти ежевечерних занятий. Начинались они,

как и полагается, с проверки «домашнего задания», которая длилась, однако, не дольше, чем минут пятнадцать. Затем раздавалось характерное звяканье и бульканье, после чего разговор, заметно оживляясь, обретал тематику, бесконечно далекую как от физики, так и от математики. Когда Смилга вынужден был вылететь из Тикси в Москву (поскольку его отпуск кончился и ему надо было срочно возвращаться на работу), место репетитора занял другой наш коллега — Саша Иоффе, кандидат физ-мат. наук, в прошлом ученик Смилги. Он был немало удивлен, что за месяц ежедневных занятий пройдено так мало.

Капитан наш, Малышев, любил учинять многочисленные учебные тревоги — особенно водяную и противопожарную. Тогда мне это казалось капитанской блажью, но теперь, по здравом размышлении, я полагаю, что он был прав. Смилга, согласно аварийному расписанию, состоял при нем вестовым. По его собственному утверждению, при сигнале тревоги он должен был птицей взлетать на капитанский мостик и «преданно смотреть капитану в глаза», что он исправно и делал. Почему-то однажды во время пожарной тревоги он оказался на корме, где был «условный пожар в районе фекальной цистерны» и куда, согласно расписанию, устремился я с топором. Смилга утверждает, что, увидев мои «безумно выкаченные глаза» и топор в руках, он кинулся бежать, уверенный, что я гонюсь за ним.

Но наибольшую славу Смилге в экспедиции принес шахматный матч. Заняв безусловное первое место в корабельном шахматном турнире, он взялся на пари (в заклад были поставлены две поллитры) играть одновременно партии на двух досках против наиболее сильных шахматистов — капитана и первого помощника. По условиям пари, проигравший должен был также влезть под стол в кают-компании, лаять по-собачьи и громко кричать: «Прости, дяденька, я дурак, больше не буду!»

Главной особенностью этого необычного турнира было то, что Смилга должен был играть, не глядя на обе шахматные доски, сидя к ним спиной, да еще и с завязанными глазами. Смотреть собрались все участники экспедиции. Противники Вольдемара Петровича поначалу были почти уверены в своей победе. Однако, к всеобщему удивлению, медленно, но верно, держа в уме расположение фигур на двух досках сразу, Смилга прижимал и того, и другого.

Сначала сдался первый помощник. Капитан еще какое-то время безуспешно пытался свести дело к ничьей, но Смилга, развязавшийся со второй доской, неумолимо принудил и его к сдаче в безнадежном положении. Выполняя суровые условия поединка, капитан безропотно влез под стол и кричал, что

положено. Перпом же, выставив проигранную водку, лезть под стол отказывался, ссылаясь на то, что он подорвет этим свой партийный авторитет. «Лезь, сука. — заорал, побагровев, уже побывавший под столом капитан. — утоплю!» Пришлось и первому помощнику карабкаться на четвереньках под стол и лаять по-собачьи.

Провожая нас в полярную экспедицию, друзья и приятели наказывали нам привезти в качестве сувенира одну весьма своеобразную костяную часть тела моржа, которую, как они были уверены, легко можно выменять в любом стойбище за водку. Нигде, однако, куда бы мы ни заходили, сделать нам этого не удавалось. Помню, как раз в проливе Вилькицкого, во время очередной ледовой проводки, когда мы все стояли, расписанные по водяной тревоге, радист принес мне такую радиограмму от моего приятеля Олега Николаева из Геленджика: «Привез вам Арктике суровой мечтаю получить моржовый». Замерзший и злой, я тут же заскочил в радиорубку и отправил ему ответ: «Пока что нам не до моржа живем за собственный дрожа».

Больше всего расстраивался отсутствием моржовых сувениров Смилга, пообещавший непременно привезти хотя бы один такой экспонат в свой Курчатовский институт. Уже на рейде, неподалеку от Тикси, где мы должны были его высаживать, в самый разгар прощальной вечеринки, вышедший на палубу Смилга вдруг заметил какого-то любопытного моржа, высунувшего свою усатую морду неподалеку от судна. Вольдемар Петрович немедленно кинулся в каюту, схватил поллитру и выбежал на палубу. Находясь, по-видимому, в состоянии некоторого аффекта, он начал, размахивая руками и показывая бутылку моржу, предлагать ему взаимовыгодный обмен. Заинтересованный морж подплыл уже почти к самому борту. Но тут из морских глубин неожиданно вынырнула его разгневанная подруга. Дав супругу мощный подзатыльник, она решительно увлекла его за собой в глубину, негодующе фыркнув напоследок в сторону Смилги.

Ведомый ледоколами через ледовые поля, изрядно поредевший караван (часть судов отстала в попутных портах из-за аварий, а часть ушла на Обь и на Енисей) упорно двигался на восток. Не по этому ли мрачному маршруту возили когда-то безвинно осужденных на Колыму и Чукотку? Размышляя об этом, я написал песенку «На восток», которая особенно понравилась Смилге. Взяв ее на вооружение на борту нашего судна «Морской-10», он уже не расставался с ней на берегу. Особенно ему понравился припев: «А птицы все на юг, а люди все на юг — мы одни лишь на восток». По уверениям его жены, как только он

начинал петь «про птиц», следовало срочно забирать его из-за стола.

Выйдя в Берингово море, где нам уже не угрожали льды, мы зашли для отдыха и мелкого ремонта в бухту Натальи. Согласно лоции, в этой бухте располагались крабозавод и рыбозавод. Уже войдя в бухту, мы заметили многочисленные костры на берегу. В бинокль можно было разглядеть, что местное население, как оказалось, почти сплошь состоящее из женщин, радостно приветствует приближение трех наших судов. Как раз в этот момент пришел по радио приказ начальника экспедиции:

«Во изменение первого приказа в бухту Натальи не заходить, заходить в бухту Святого Павла. Шлюпок не спускать». Осторожное начальство решило избежать контактов судовых экипажей с вербованными женщинами. Так мы и остались без крабов и без рыбы. По этому поводу была написана грустная песенка про бухту Натальи.

Уже на последнем этапе перегона, после захода в Петропавловск-Камчатский, где милиция забрала нашего моториста, учинившего пьяную драку в ресторане «Вулкан», когда мы пересекали Охотское море, направляясь к устью Амура, неожиданно пришло штормовое предупреждение. Надвигался осенний тайфун, как обычно носивший одно из нежных женских имен. Деваться нам было некуда. Под защиту берега мы убежать не успевали, так как находились в самой середине моря. В то же время судно наше «река-море» никак не рассчитано было на борьбу с океанскими тайфунами. Оставалось вставать «носом на волну» и ждать своей участи. Ко мне пришел Володя Гринберг, держа в руках заветную поллитровку: «Вот, для дня рождения берег, да боюсь, что не придется. Давай сейчас разопьем, а то жалко, если пропадет».

В довершение всех неприятностей на втором судне такого же типа, следовавшем за нами, отказал двигатель. Надо было брать его на буксир в самый разгар шторма. Был объявлен аврал. Надо сказать, что трехчасовая возня с подачей в шторм буксирного конца (который через полчаса лопнул, и все пришлось начинать сначала), небезопасная и грязная работа на захлестываемой волнами палубе полностью отвлекли нас от печальных и панических мыслей. Еще через два часа починили наконец двигатель на втором судне, и мы благополучно отштормовали, пока тайфун не пронесся дальше. Помню, как поразила меня после этого повесть Георгия Владимова «Три минуты молчания», где описывается аналогичная ситуация: в критическом положении вдруг оказывается, что другому еще хуже и надо срочно ему помочь, забываешь на время о своей беде, и становится легче.

По возвращении в Москву осенью 72-го мне снова пришлось приступить к постылым бумажным делам в Координационном центре. Помню, как раз в это время в Москве состоялось совещание руководителей морских институтов стран — членов СЭВ. Мне было поручено встречать и опекать представителя ГДР доктора Оскара Мильке — высокого и статного арийца с голубыми глазами и густыми, слегка тронутыми сединой волосами. На банкете, посвященном окончанию совещания, который состоялся в столовой Дома ученых на Кропоткинской, мы оказались с ним за столом рядом.

Во главе стола сидел замдиректора, пожилой вальяжный красавец Андрей Аркадьевич Аксенов, время от времени провозглашавший разного рода официальные тосты. Мы же с доктором Мильке сидели довольно далеко, и надо было как-то общаться. Общение это было несколько затруднено тем, что ни по-русски, ни по-английски уважаемый доктор как будто не понимал, а мои познания в немецком языке, который я учил когда-то в школе, ограничивались фразой из учебника пятого класса «Анна унд Марта баден». Тем не менее по мере роста числа тостов, провозглашенных Аксеновым, языковой барьер понемногу начал разрушаться.

Я попал за банкетный стол прямо с работы, голодный. Поэтому, когда подали бифштекс, то по извечной своей привычке совершенно автоматически съел сначала гарнир, оставив мясо «для кайфа» на потом. Вдруг я заметил, что доктор Мильке с удивлением смотрит на мои действия и спрашивает: «Варум?» На обломках немецкого, английского и русского языков я начал объяснять ему, что я ленинградец, что детство мое пришлось на голодные военные годы и что поэтому мясо для меня на всю жизнь — деликатес, который я оставляю на потом. Он, видимо, отлично все понял. Наполнив не рюмки, а фужеры водкой из новой бутылки, он вдруг хлопнул меня по плечу со всей арийской мощью и радостно закричал на весь стол, явно передразнивая мои беспомощные англо-немецко-русские слова:

«Ин зис кейс вир зинд бразерс дас ист фюр руссише — земляки. Потому что. — продолжил он уже на русском языке, — я как раз есть воевал ленинградский фронт!»

Переезд в Москву осложнил и мои литературные дела. В конце 71-го года в Ленинграде, в издательстве «Лениздат» вышла вторая книжка моих стихов, «Новая Голландия», во многом благодаря помощи и поддержке Нины Александровны Чечулиной, работавшей тогда редактором в отделе поэзии. В начале 72-го года я сдал в Ленинградское отделение издательства «Советский

писатель» рукопись третьей книжки. К этому времени я снова подал документы на прием в Союз писателей.

Помню, как давший мне рекомендацию известный ленинградский поэт Вадим Шефнер сказал, горестно вздохнув: «Саша, у вас плохие рекомендации. С такими рекомендациями в Союз могут не принять». «Почему?» — удивился я. — «Ну, как же — рекомендации трех евреев». — «Почему трех?» — «Всех трех, — продолжал Шефнер. — Слуцкий, Самойлов и я». — «Но ведь вы же — не еврей!» — «Да, да, конечно, — я швед. Но кто это знает? Фамилия-то — Шефнер». Светловолосый и голубоглазый Вадим Сергеевич Шефнер вел свой род от шведского полковника, взятого когда-то в плен в битве под Полтавой.

Дед Вадима Сергеевича — Алексей Карлович Шефнер, командуя транспортом «Маньчжур», стал участником основания Владивостока. В 1860 году с этого транспорта в бухте Золотой Рог был высажен отряд солдат во главе с прапорщиком Комаровым, основавший порт. Имя Шефнера носит северный входной мыс в бухту Находка. Сам Вадим Сергеевич еще в 1967 году, когда в Ленинграде вышла первая книжечка моих стихов и песен «Атланты», написал о ней весьма сочувственную заметку в «Ленинградской правде», чем немало поддержал меня.

В Союз писателей меня все-таки приняли осенью 72-го года, уже после переезда в Москву. В связи с этим меня вызвал к себе генерал КГБ Ильин, возглавлявший тогда московскую писательскую организацию, и предупредил, что меня поставят здесь на учет только в том случае, если дам подписку, что никаких жилищных претензий к московской писательской организации иметь не буду. «Мы вас сюда не звали и жилье вам давать не обязаны», — заявил он.

ЦДЛ. Сложный круг воспоминаний связывает меня с этой короткой трехбуквенной аббревиатурой, практически никогда не требовавшей расшифровки и разворота в несклепистое и мало понятное название «Центральный Дом литераторов». Каких литераторов? Оказывается, только тех, кто мог предъявить при входе членский билет Союза писателей СССР, ярко-красную (чтобы не усомнились в партийной принадлежности) книжицу с золотым орденом Ленина, напоминающую «гебешное» удостоверение. Значит, и не литераторов это дом, а только тех, кто «в законе» — членов ССП. Совсем другое дело ЦДЛ — символ бурной и таинственной литературной жизни 60-х годов, подлинный ее центр, манивший нас, провинциальных питерских юнцов, своей недоступностью.

Помню отчетливо, хотя прошло немало лет, как был потрясен я, робкий неофит, обманным путем с большими сложностями

проведенный в первый раз в шумное, витающее в густых облаках табачного дыма, кафе с цветными стенами, исписанными многочисленными шаржами и автографами литературных знаменитостей. Какими небожителями казались мне вальяжно сидевшие за столиками этой современной «Бродячей собаки» ее законные обитатели, как жадно вдыхал я губительный и нетрезвый воздух «истинной поэзии». Тщеславное сознание своей пусть случайной и недолгой причастности к этому недоступному для простых смертных храму литературы кружило голову и застилало таза, перед которыми на низкой сводчатой стене чернела надпись: «Здесь однажды ел тушенку и увидел Евтушенку».

И как не закружиться голове? Живые (тогда еще живые) классики, известные до этого только по портретам, сидели совсем рядом и под звон рюмок обсуждали свои таинственные литературные дела. В те годы первый этаж цедеэла, духовным центром которого оставались кафе и ресторан, на самом деле был постоянно действующим литературным клубом. Его завсегдатаи как бы поселились здесь на многие годы, сбежав от семенных неурядиц и домашнего неустройства. Здесь обсуждали стихи и прозу, заключали и расторгали договора, сколачивали и развивали коалиции, женились и разводились.

Многие знаменитые, но, как правило, безденежные посетители, такие, например, как Светлов или Самойлов, пользовались в ресторане неограниченным питейным кредитом. За столики садились только «к своим», не смешиваясь с «чужими». Это разделение по столикам и компаниям задолго до нынешних баталий заложило основы неизбежного раскола писательского союза.

А сколько доносов было рождено здесь из пьяной откровенности подвыпивших собеседников и собственных проницательных домыслов! Никак не меньше, чем стихов или рассказов. Поговаривали, что многие столики в ресторане оборудованы подслушивающими устройствами, однако я в этом сомневаюсь — гораздо дешевле и эффективней было использовать обширный штат литературных стукачей, буквально наводнявших эти стены. Если опубликовать подробности многолетней работы тайной службы ЦДЛ, это могло бы стать основой целой серии остросюжетных детективов.

На фоне бесшабашной с виду и драматичной по существу цедеэловской жизни возникали и ломались чьи-то литературные и не только литературные судьбы. Достаточно вспомнить трагическую гибель талантливого поэта Юрия Смирнова принятого за пьяного во время сердечного приступа,

выброшенного за двери и замерзшего на решетке запертого выхода на улице Воровского.

С цедеэловским рестораном связано немало баск и легенд, в том числе и смешных. Ныне покойный писатель Борис Ласкин рассказывал мне, как в начале 80-х он зашел днем в ресторан пообедать. Народу было немного, но в углу за большим столом гуляла какая-то компания, оглашая высокие резные стены зала весьма затейливой неформальной лексикой (как выяснилось позднее, друзья провожали за рубеж Юза Алешковского). Некоторое время Ласкин пытался не обращать на них внимания, но когда лексика стала уж слишком неформальной и громкой, позвал метрдотеля и сказал: «Послушайте, что происходит? Я, писатель Ласкин, пришел в свой клуб отдохнуть и пообедать после напряженной творческой работы. Я устал, почему я должен терпеть этот пьяный мат?» Мэтр подошел к размявшейся компании и пытался их урезонить. Как только он удалился, из-за веселого стола выскочил Юз Алешковский и нетвердыми мелкими шажками засеменил к столику Ласкина. Подойдя к нему вплотную, он оказался ростом ниже, чем сидящий гигант Ласкин, служивший когда-то в кавалерии. Это, однако, Алешковского нисколько не смутило. Он долго, засунув руки в карманы, раскачивался, глядя на Ласкина белыми от презрения глазами, и наконец произнес с издевкой: «И что это ты такое написал, что ты так устал?»

Что касается второго этажа с его зрительным залом, то он связан для меня прежде всего с поэтическими выступлениями Тарковского, Окуджавы, но более всего с авторскими вечерами любимого мною Давида Самойлова, на которые собиралась, кажется, вся Москва. Его неповторимый глуховатый, но иногда неожиданно звонкий голос, по-пушкински прозрачные строки, насыщенные музыкальной гармонией, создавали удивительное силовое поле, завораживающее слушателей. Каждый его вечер в ЦДЛ превращался в настоящий поэтический праздник, столь редкий в этом зале, помнившем и дружное холуйское поношение Пастернака, и погромные речи Осташвили.

Нынче такие праздники стали редкостью. Понемногу сходит на нет и шумный литературный клуб в ресторане и кафе, — «иных уж нет, а те далече». Теперь под сводами алсуфьевского дворца и в новом здании, выходящем на улицу Герцена, гуляют преуспевающие дельцы из «новых русских», рэкетиры и гости из южных республик, занятых братоубийственной войной дома и рыночной колонизацией Москвы. Вечера поэзии, ранее собиравшие большие аудитории, нынче оттеснены в малый зал, в то время как большой отдан на откуп под коммерческие

мероприятия. Писатели стали чужими в своем бывшем доме. Куда понесут дальше утлый каменный кораблик бурные шторма нашего времени? Останется ли он Центральным Домом литераторов? Бог весть.

Тогда, в начале 70-х, мы с женой пристрастились постоянно ходить на вечера в мемориальный музей А. С. Пушкина на Кропоткинской улице и в мемориальный музей А. И. Герцена на Сивцевом Вражке, благо оба эти музея были недалеко от нашего дома. В те годы музеем А. С. Пушкина на Кропоткинской руководил Александр Зиновьевич Крейн. Вместе со своим заместителем — Анной Соломоновной Фрумкиной, они организовали регулярный цикл литературных вечеров и научных чтений, так или иначе связанных с пушкинской тематикой. Здесь выступали с докладами Н. Эйдельман, В. Непомнящий, В. Вацура и другие ведущие пушкинисты. Читали Пушкина многочисленные актеры, — Дмитрий Журавлев, Яков Смоленский, Александр Кутепов, Михаил Козаков, Василий Лановой, Антонина Кузнецова и другие. Устраивались музыкальные вечера, а также литературные — с участием Давида Самойлова и других поэтов. Небольшой зал в ветхом старом московском особняке, рассчитанный человек на сто — не более, как правило, набивался битком, что вызывало постоянную тревогу А. З. Крейна и пожарных. За годы здесь сложилась своя постоянная аудитория. На стене маленького зрительного зала, амфитеатром спускавшегося к крошечной сцене, висел большой, нарисованный пером автопортрет юного Пушкина, который освещался прожекторным лучом. Казалось, что светлый образ юного гения постоянно витает над сидящими в зале.

Не успел я переехать в Москву, как в Ленинграде тут же выкинули из планов издательства мою третью книжку. «Вы теперь москвич — вот там и печатайтесь». В Москве меня, однако, никто печатать не собирался. Единственным журналом, взявшим у меня стихи, оказался научно-популярный журнал «Химия и жизнь», бывший в те годы одним из наиболее либеральных и независимых изданий. Молодой и дружный коллектив его редакторов и сотрудников ухитрился превратить его в один из самых «читаемых» и популярных журналов в плане не только научном, но и литературном, за что позднее поплатился. Несмотря на гонения, в самые черные брежневские времена Владимир Станцо, ставший впоследствии главным редактором журнала и рано ушедший из жизни, Вера Черникова и другие сотрудники сделали этот журнал настоящим оплотом авторской песни.

Они упорно печатали подборки стихов и песен молодых авторов, организовывали их выступления у себя в редакции и во

время поездок по стране. Одним из самых ярких путешествий стала наша описанная выше совместная поездка с Никитиными, Берковским и Сухановым в 1977 году на Сахалин и Курилы.

Вспоминается забавный случай, произошедший в марте 1983 года на моем юбилейном вечере в ДК имени Горбунова, прозванного каэспешниками «Горбушкой». Володя Станцо и Вера Черникова, пришедшие поздравлять меня с пятидесятилетием от журнала «Химия и жизнь», поднялись на сцену и, после недолгой заздравной речи, надели мне, стоящему перед рампой, на шею две огромные вырезанные из пенопласта буквы «Х» и «Ж», символизирующие название журнала и скрепленные такими же пенопластовыми цепями. Буква «Х» оказалась спереди, а «Ж» — сзади. И в этот момент я внезапно увидел, что обе буквы только что покрашены, и красная краска с буквы «Х» вот-вот испачкает мои праздничные брюки. Я тут же, позабыв, что стою перед рампой лицом к залу, схватил обеими руками букву «Х» и стал поднимать ее, приводя в горизонтальное положение, чем вызвал бурный смех и аплодисменты в зале.

Володя Станцо умер несколько лет назад от рака. Когда я вспоминаю его юное, несмотря на неизменную трубку и возраст, мальчишеское лицо, его глуховатый голос, я всякий раз ощущаю зияющую пустоту от невозможности увидеть и услышать его. Он был настоящим подвижником в журналистике и немало сделал для поддержки авторской песни, которую, несмотря на отсутствие слуха, беззаветно любил.

Вернемся, однако, в начало 70-х. Хождение по другим редакциям в ту пору не принесло мне ничего, кроме унижений и гадкого чувства устойчивого отвращения к себе и своим жалким стихам. Лучом света в этом темном царстве оказалась хорошенькая девушка, работавшая тогда в отделе поэзии журнала «Знамя», взявшая у меня пару стихотворений, написанных в арктическом перегонном рейсе, — еще мало в то время известная Наталья Иванова.

Только через полгода после переезда в Москву, когда мои друзья, актеры театра «Современник» Людмила Иванова и Валентин Никулин познакомили меня с редактором отдела поэзии издательства «Советский писатель» Виктором Сергеевичем Фогельсоном, который работал с такими поэтами, как Слуцкий, Самойлов и другие, мне удалось отдать в редакцию «Советского писателя» рукопись новой книги. Ей, однако, суждено было пролежать там, как упоминалось, двенадцать лет. Сам Фогельсон, денно и нощно занятый работой и отягощенный многочисленными рукописями, относился ко мне хотя и снисходительно, но безо всякого энтузиазма. «Может быть, мне

пойти на прием к заведующему редакцией?» — робко спрашивал я у него. «К Егору-то? Ни в коем случае, — решительно обрывал он меня. — Во-первых, он Окуджаву терпеть не может, а ты тоже песни пишешь. А во-вторых, он только нос твой увидит — и вообще тебя никогда печатать не будет».

Попав в Москву, я много лет подряд как член московской писательской организации регулярно получал письменное приглашение сдать стихи в «День поэзии» и исправно, каждый год, отвозил их, как было указано, секретарю объединения поэтов, наивно надеясь хоть раз увидеть их напечатанными. Простодушные надежды эти оказались напрасными. Позднее умные люди объяснили мне, что посылать или отдавать стихи «просто так» — бесполезно. Надо давать их в руки «своим людям» в редколлегии с твердым наказом следить на всех этапах прохождения, чтобы не выкинули. Уровень стихов при этом роли не играет. Несколько избалованный отсталой ленинградской этикой и «художественным цензом», я был изрядно обескуражен этим открытием. Подборки моих стихов в то время по старой памяти продолжали печатать только ленинградские журналы.

Уже в конце 70-х годов, когда моя рукопись давно и безнадежно пылилась в одном из шкафов на третьем этаже издательства «Советский писатель», где помещался отдел русской советской поэзии, кто-то из доброжелателей посоветовал мне отнести новую кишу стихов в издательство «Современник». Заведующий отделом поэзии, на стол которого я положил мою папку, даже не раскрыл ее. «У вас, — заявил он, — мы стихи для публикаций брать не будем». «Не имеете права, — возмутился я, — я член Союза». «Оставляйте, дело ваше, — промолвил он скучным голосом. — Все равно толку не будет».

Он был прав. Дав рукописи отлежаться положенное время, он позвонил одному из московских поэтов, известному в те поры своими антисемитскими высказываниями. «Саша, — сказал он, — тут надо одного еврея завалить. Нужна крепкая отрицательная рецензия. Возьмешься?» «Возьмусь, пожалуй, — ответил тот. — А как фамилия?» Услышав фамилию, Саша писать требуемую рецензию все-таки отказался. Не потому, однако, что питал повышенное уважение к моей писанине, а скорее убоявшись, что это станет известно в кругу общих знакомых.

Редактора это нисколько не смутило. Дав рукописи полежать еще, он без труда нашел другого желающего. Интересуясь судьбой своих стихов и ничего в те поры не зная об активной работе редактора, я попросил было знакомого поэта, написавшего положительную внутреннюю рецензию на рукопись моей книжки в издательстве «Советский писатель», узнать, как обстоят мои

дела в «Современнике» и по возможности помочь, взяв стихи на рецензию. «А ты какую рецензию писать собираешься? — ухмыльнулся редактор. — Положительную? Нет, нам это не подойдет»..

Наконец уже в январе 1984 года я получил очень вежливое письмо на бланке издательства «Современник»:

«Уважаемый Александр Моисеевич!

Редакция русской советской поэзии направила рукопись Ваших стихов «След в океане» рецензенту издательства члену СП СССР А. Николаеву.

В редакции внимательно познакомились со стихами, содержавшимися в рукописи, и в целом согласились с рецензентом: к сожалению, многие произведения не выдерживают издательского конкурса. Критерии «Современника», предъявляемые им к издающимся книгам, весьма жестки, они еще более возросли после постановлений Ноябрьского и Июньского пленумов ЦК КПСС.

Возвращаем Вам Вашу рукопись «След в океане» с рецензией А. Николаева и редакторским заключением.

С уважением,

заведующий редакцией русской советской поэзии

Л. Дубаев».

Именно в 70-е годы, практически лишенный возможности печатать свои стихи и песни, ощущая острую необходимость в постоянном контакте с аудиторией, я начал чаще выступать с песнями и стихами. Здесь, в связи с переездом в Москву, тоже возникли некоторые проблемы.

Не научившись смолоду играть на гитаре, я все годы постоянно испытывал трудности с аккомпанементом.

В Ленинграде в последние годы мне довольно успешно аккомпанировал мой давний друг — исполнитель авторских песен Михаил Кане. В Москве же я оказался без аккомпаниатора. Правда, на самых ответственных концертах мне время от времени помогал своей великолепной гитарой Сергей Никитин, но ведь у него свои выступления! Поэтому первые годы после переезда в Москву мне приходилось перебиваться случайной помощью самых разных гитаристов.

Одна дама в Питере в то время неодобрительно сказала в мой адрес: «Известно, что в каждом городе Советского Союза у Городницкого по бабе и по аккомпаниатору».

В 1977 году я на весеннем слете московского КСП познакомился с одаренным музыкантом и исполнителем Михаилом Столяром, с которым мне довелось выступать немало лет. Он не только превосходно владел гитарой, но и давал

примитивным и часто банальным мелодиям моих песен неожиданную и подчас виртуозную музыкальную аранжировку.

Некоторые музыкальные разработки аккомпанемента, сделанные им для таких песен, как например, «Меж Москвой и Ленинградом», «В городе Понта-Дельгада», «Романс Чарноты» или «Воздухоплавательный Парк», как мне кажется, представляют интерес сами по себе.

В последние годы мне помогает своей гитарой Александр Костромин. Стоя рядом с ним на сцене, я всегда чувствую себя защищенным, несмотря на полное отсутствие у меня вокальных данных.

В начале 70-х годов меня как-то пригласили выступать в Московский педагогический институт имени Крупской. Аудитория сплошь состояла из девиц, весьма, кстати, привлекательных. Роскошного вида ведущая вышла на сцену и торжественно объявила: «Дорогие друзья, у нас в гостях поэт Городецкий». Раздались жидкие хлопки. Что мне было делать? Выйдя на сцену, я сказал: «К сожалению, я должен вас расстроить, — поэт Городецкий умер. Давайте почтим его память вставанием». Все огорченно поднялись со своих мест, полагая, что вечер отменяется. «Садитесь, пожалуйста, — продолжил я. — Дело в том, что умер он, прожив восемьдесят три года, уже стариком. Был одним из организаторов знаменитого «Цеха поэтов» в начале века, известным акмеистом, современником Блока и Гумилева. А моя фамилия — Городницкий, и я жив». Обрадованная аудитория долго хлопала, И вечер вошел в колею.

Большого труда стоило мне, особенно в первый год после переезда, притерпеться к самой Москве после такого, как оказалось, тихого и провинциального Ленинграда. Жили мы в узкой комнатушке, в коммуналке, на седьмом этаже старого дома на улице Вахтангова, где помешалось Щукинское театральное училище. Дом наш выходил торцом на шумный Калининский проспект — «вставную челюсть Москвы». Шумный, многолюдный, вечно грохочущий город, в самой середине которого я неожиданно оказался, неотступно тяготил своим постоянным присутствием. Раздражало поначалу решительно все — горбатые и кривые улочки с разношерстными ломами, выводящие путника неизвестно куда, и почему-то бегущая сломя голову толпа на улицах, и московский неряшливый говор, и сами хамоватые и шумные москвичи, так непохожие на вежливых и немногословных ленинградцев.

После просторной Невы, Финского залива и многочисленных ленинградских каналов казалось совершенно противоестественным, как такой гигантский город может жить

без воды — с одной только грязной и узкой Москва-рекой. Особенно остро это ощущалось в невыносимо жаркие летние дни, когда в центре города нечем было дышать от бензиновой гари и приходилось искать спасения в жалких, заросших тиной переделкинских прудах или грязных речушках, где воды по пояс.

Дело было, однако, не только в этом. К моему удивлению, сам темп работы и жизни в Москве оказался гораздо интенсивнее, нежели в Ленинграде. Немалого труда стоило приспособиться к этому. Ностальгическая печаль грызла меня, почти не отпуская. Не реже раза в месяц я старался под тем или иным предлогом попасть в Ленинград, где уже на перроне Московского вокзала жадно хватал ртом его сырой и дымный канцерогенный воздух. Поистине «и дым Отечества нам сладок и приятен».

Время, однако, шло, и постепенно, приезжая в родной Питер, я понемногу начинал замечать то, чего раньше, изнутри, мне видно не было. Мои земляки-ленинградцы оказались в массе беднее одеты, выглядели хмурыми и замученными, стройные улицы и гранитные набережные — донельзя забитыми грязью и мусором. Любимые с детства гордые фасады дворцов с их осыпавшейся штукатуркой и потрескавшейся старой краской напоминали изношенную одежду промотавшегося дворянина.

Пожалуй, ни в одном другом городе Союза не встречал я таких по-нищенски жалких новостроек, как в Купчино или на Гражданке. С болью признавался себе, что «губернаторская власть — хуже царской». За редким исключением почти все — наука, литература, театры — все ветшало, становилось второсортным, обрастало трудно смываемым налетом российской провинциальности. Оставалась, пожалуй, незыблемой одна великая архитектура, одухотворенная великим прошлым.

В эти годы трудного привыкания к Москве, когда не слишком ладились дела на работе, не писались и не печатались стихи, единственной отдушиной, помогавшей жить, были наши друзья и знакомые. В лом наш, находившийся неподалеку от Центрального Дома литераторов, да и вообще в самом центре Москвы, почти каждый вечер забредали какие-нибудь гости, не оставляя ни времени, ни места для печальных размышлений. «Макромир — ужасен, но микромир — прекрасен», — как любил говаривать Натан Эйдельман.

В тесной нашей комнатушке пересекались три круга приятельского общения. К первому относились друзья и знакомые, объединенные домом поэта Давида Самойлова в Опалихе — от Фазиля Искандера, бывшего вместе с Самойловым свидетелями при моей второй женитьбе, и Лидии и Эдуарда Графовых до Володи Лукина, одного из нынешних лидеров

партии «Яблоко». Второй круг состоял в основном из питомцев 110-й школы, друзей и однокашников Игоря Белоусова. Больше всего мы подружились с тремя его близкими друзьями — уже упомянутыми Валей Смилгой, Натаном Эйдельманом и Юлием Крелиным. Третий круг, пересекавшийся с первым и вторым, формировался из «поющих» приятелей — Виктора Берковского, Сергея и Татьяны Никитиных, Юры Визбора и других бардов.

При этом был еще четвертый круг, связанный с домом писательницы Лидии Борисовны Либединской.

С ее квартирой в старом доме в Лаврушинском переулке и с дачей в Переделкино связаны для меня воспоминания о многих замечательных людях, бывавших там — от Михаила Аркадьевича Светлова и художника Иосифа Ильича Игина, оставившего замечательную галерею портретов-шаржей целого поколения поэтов и писателей, прежде всего своего друга — Светлова, до Александра Иванова и чтецов Александра Кутепова и Якова Смоленского. Не рискую писать об этом подробно, поскольку сама Лидия Борисовна гораздо лучше меня написала о своих гостях в книге «Зеленая лампа» и других книгах. Замечу только, что сама она многие годы обладала и обладает удивительным талантом притяжения к себе самых интересных людей, собиравшихся за ее столом. Не случайно у нее в доме хранится скатерть с автографами, отразившими целую эпоху нашей литературы.

Сама Лидия Борисовна, приходящаяся внучатой племянницей Льву Николаевичу Толстому, вместе с безусловным литературным талантом и голубой дворянской кровью унаследовала еще решительный нордический характер, который время от времени проявлялся в самых разных ситуациях. Однажды она побила сумочкой милицейского чина, пытавшегося не пустить ее на Новодевичье кладбище, где похоронен ее муж — классик советской литературы Юрий Николаевич Либединский. Скандал с трудом удалось замять благодаря активному вмешательству генерала Ильина, благоволившего к Лидии Борисовне.

В другой раз в ресторане Центрального Дома литераторов в обеденное время к ней подошел упомянутый выше Станислав Куняев, ставший к тому времени одним из признанных лидеров литературной черной сотни и главным редактором журнала «Наш современник». «Лидия Борисовна, — обратился он к ней, — нам бы надо с вами обязательно поговорить. Мы должны быть вместе, — ведь у вас такие предки!» По свидетельству очевидцев, Либединская, не поворачиваясь к нему и не отрываясь от супа, сказала: «Не о чем нам с вами говорить. Мои предки таких, как вы, на конюшне пороли».

Пожалуй, единственный раз выражение ее лица показалось растерянным, когда она пришла в фотоателье сниматься для поездки за рубеж. Фотограф сказал ей: «Слушайте, почему у вас такое испуганное выражение лица? Вы ведь едете туда, а не оттуда».

Позднее мне довелось прогуливаться вместе с Лидией Борисовной по старым кварталам Иерусалима, и я видел, как окружали ее кидавшиеся к ней наперебой арабские торговцы, сразу распознавшие в ней серьезного клиента. «Теша перемещается по Иерусалиму со средней скоростью пятьдесят шекелей в час», — шутил ее зять, поэт Игорь Губерман, живущий в Израиле.

Из многочисленных гостей Лидии Борисовны запомнилась мне «Лидочка» Бать, ровесница века, рассказавшая когда-то забавную историю, как ее и других гимназисток в конце октября 17-го года юнкера пригласили на осенний танцевальный бал в Зимний дворец. В самый разгар бала за окнами вдруг началась пальба. Дежурный офицер, извинившись перед девушками, объяснил, что танцы временно прекращаются, и проводил их в какую-то комнату, успокоив, что все скоро кончится и он за ними вернется. В этой дворцовой комнате они просидели всю ночь.

Только под утро распахнулась дверь, и в комнату ворвались матросы, перепоясанные крест-накрест пулеметными лентами. Гимназисток они не тронули, более того, даже выделили двух красногвардейцев, которые проводили их по домам, поскольку время было неспокойное. Когда Лидочка подошла к воротам своего дома, то увидела мамашу, стоявшую у ворот с бледным лицом в окружении сочувствующих соседей. «Лидочка, что случилось? — негодующе спросила мать. — Ты, девочка из порядочной семьи, не ночевала дома!» «Мама, революция», — ответила Лидочка, на что мать строго отрезала: «Чтобы это было в последний раз!»

Прошли десятилетия. За знаменитым столом Лидин Борисовны сменилось уже несколько поколений известнейших писателей, художников и артистов. Михаил Светлов, Александр Фадеев, Маргарита Алигер, Дмитрий Журавлев, Анатолий Рыбаков, Даниил Гранин, Давид Самойлов, Александр Иванов, Зиновий Паперный, Елена Николаевская, Натан Эйдельман, Евгений Рейн, Борис Жутовский… Дом однако все тот же, — поражающий своей щедростью и незыблемостью, а главное — неизменной энергией и обаянием хозяйки, семейный клан которой, включая внуков и правнуков, насчитывает более 40 человек. Сама же Лидия Борисовна все так же молода и красива, как на юной фотографии с задорно вздернутым носиком,

украшающей обложку новою издания «Зеленой лампы».

Одна из дочерей Либединской, Тата, была давней подругой и однокашницей моей жены. Еще в конце 60-х годов мы познакомили Тату с нашим московским приятелем, уже упомянутым Игорем Губерманом, за которого она вскоре вышла замуж. Знакомство это, насколько помню, состоялось во время совместной поездки для купания на Канал имени Москвы, где Игорь на глазах Таты самоотверженно кидался в воду со всех бетонных конструкций на берегу, нисколько не стесняясь своего купального костюма, преобразованного с помощью английских булавок в плавки из обычных трусов. Об Игоре, ставшем теперь известным поэтом, надо рассказать отдельно.

Впервые я встретился с Игорем Губерманом осенью 62-го года, в квартире общих знакомых, в огромном доме на Большой Бронной улице, где жила со своим мужем переводчица Галя Андреева, наша давняя приятельница. Некрасивое на первый взгляд лицо Игоря с крупным изогнутым носом и ярко выраженными семитскими чертами уже через полчаса общения с его обладателем казалось обаятельным и прекрасным. Завораживающие, постоянно чему-то смеющиеся глаза, не признающая никаких преград контактность и шутливый, независимо от степени серьезности или даже трагизма темы, стиль разговора сразу же подкупали любого собеседника. О собеседницах нечего и говорить. Однако более всего при первом же знакомстве поразили меня стихи Игоря короткие, ни на что не похожие, шуточные, как поначалу мне показалось, четверостишия или восьмистишия. Выяснилось, что некоторые из них я уже слышал раньше, но думал, что они «народные». Например, такие:

Из комсомольского актива
Ушел в пассив еще один —
В кармане для презерватива
Теперь ношу валокордин.

Сам Игорь любит вспоминать о том, что свои знаменитые четверостишия он якобы начал писать всерьез в середине 60-х в Ленинграде, гостя в моем тогдашнем доме на проспекте Космонавтов. Семейство мое жило на даче. Игорь с утра до поздней ночи мотался по друзьям и знакомым, где часто оставался и на ночлег. Поэтому мы с ним переписывались короткими стихотворными записками. Уходя утром на работу, я, например, оставлял ему такое послание:

Подожди меня с работы.

В доме есть паштет и шпроты.
Весь коньяк не выпей сам, —
Я вернусь к восьми часам.

Вернувшись к указанному времени, я не застал Игоря, но в ответ на мою записку он оставил сразу четыре. Первая была подсунута под открытую мною для него банку шпрот:

Взмахнула смерть бесшумным взмахом крыл, —
Сальери шпроты Моцарту открыл.

Вторая обнаружилась под пустой банкой из-под паштета:

Милый Саша, тет-а-тет, —
На фига тебе паштет?

Третья была прижата к подоконнику опустошенной бутылкой коньяка:

Мне надоело в Ленинграде.
Хочу к жене, устал от б…..
Хозяин, половой маньяк.
Задернув шторы, пьет коньяк.

Наконец, четвертая лежала на тахте:

Поваливши на лежанку.
Здесь еврей имел славянку.
Днем подобные славянки
Для арабов строят танки.

Стихи эти и шутки вполне соответствовали духу наших тогдашних развлечений. Весьма характерен в этом отношении диалог, который нередко цитировал Игорь, вспоминая те времена. Дело в том, что Губерман тогда собирал в Ленинграде материал для своей научно-популярной книги «Чудеса и трагедии черного ящика», в связи с чем постоянно навещал разных ученых, и у некоторых, ввиду своей уникальной контактности, нередко оставался ночевать после изрядного застолья. Наутро с одним из них, в состоянии клинического похмелья, состоялся якобы такой разговор.

«Скажите, коллега, — обратился Игорь к хозяину, осторожно вглядываясь в его измученное лицо. — Что бы вы сейчас предпочли, — хорошую девочку или двести граммов водки?» «Простите, коллега, — ответил хозяин. — Могу ли я быть с вами вполне откровенным?» «Конечно», — вежливо улыбнулся Игорь. — «Тогда хотя бы — сто пятьдесят».

Если же говорить серьезно, то поэзия Игоря Губермана — явление во многом уникальное. В его емких четверостишиях, которые он сам называл «дацзыбао», удивительным образом сочетаются лаконизм японской танки, трагически-веселое Зазеркалье обериутов и афористичная сочность русской частушки.

Стихотворчество для него прежде всего игра, скоморошина, где под веселой, нарочито смеющейся личиной можно спрятать умное и горькое лицо. Традиция эта «горьким словом моим посмеюся», ставшая классической в отечественной прозе — от Гоголя до Зощенко, и нашедшая яркое отображение в авторской песне 60-х годов — от Галича до Высоцкого и Кима, достаточно редко появлялась в книжной поэзии со времен Козьмы Пруткова и разгромленных Сталиным обериутов.

Далеко не каждый человек обладает чувством юмора. Стихи Губермана могут служить своеобразным тестом, разделяющим людей на две противоположные категории. Сам поэт так пишет об этом:

Из нас любой, пока не умер он,
Себя слагает по частям
Из интеллекта, секса, юмора
И отношения к властям.

Возможно, именно поэтому острые, легко запоминающиеся четверостишия практически не оставляют читателей или слушателей равнодушными — или их активно принимают, или так же активно не принимают. Помню, как более двадцати лет назад один из лучших наших поэтов, Давид Самойлов, бывший фронтовик и человек весьма смелый, выгнал Игоря со своего поэтического семинара, расценив прочитанные им стихи как провокацию. Этому немало способствовал присутствовавший на семинаре знаменитый диссидент и литератор Анатолий Якобсон, который, услышав первое же прочитанное Игорем четверостишие, закричал: «Давид Самойлович, гоните его в шею, — это провокатор!» Справедливости ради следует сказать, что именно Давид Самойлов прописал потом опального Игоря Губермана в своем доме в Пярну после его возвращения из заключения в начале 80-х годов.

Родившись в Москве в 1936 году и закончив технический вуз, Игорь Губерман сменил много профессий — от журналиста до «химика»-электрика. Он автор нескольких научно-популярных книг, получивших известность в 70-е годы. Но, пожалуй, главным в его литературном творчестве были и остаются эти самые «дацзыбао», которые он с необычайной легкостью придумывал всегда и везде. Много лет он разбрасывал их вокруг себя, дарил близким и полузнакомым людям, совершенно не заботясь о дальнейшей судьбе и даже просто сохранности своих стихов и вряд ли видя в них предмет серьезной литературы. Эти короткие, смешные и едкие четверостишия, постоянно сопровождая автора

в его нелегком жизненном пути и чем-то заменяя ему дневник, давали вполне реальную психологическую возможность не принимать всерьез окружающий уродливый социальный мир, где властвовали человеконенавистнические и откровенно лживые законы.

Шутовской колпак с бубенчиками, чей звон иногда оказывался погребальным, по самим условиям этой придуманной им игры, позволял выламываться из жестких рамок унылой и фальшивой действительности «страны развитого социализма».

У меня до сих пор лежит на полке его упомянутая выше научно-популярная книга «Чудеса и трагедии Черного ящика», сплошь исписанная от руки его четверостишиями. Например:

> За все на еврея найдется судья —
> За живость, за ум, за сутулость.
> За то, что еврейка стреляла в вождя.
> За то, что она промахнулась.

Игра эта, однако, оказалась далеко не безопасной. Не будучи нигде напечатаны, его стихи ходили в списках или в изустном переложении по всей нашей огромной стране в течение «застойных» лет — как своеобразное проявление современного фольклора. Мне, например, в 70-е годы неоднократно читали самые разные «дацзыбао» Игоря то в Киеве, то в Челябинске, то в Петропавловске-Камчатском. Острая и беспощадная политическая сатира его легко запоминающихся строк не могла не обратить на себя самое пристальное внимание «литературоведов в штатском».

Характерной особенностью стихов Игоря Губермана, вызвавшей особенно резкую реакцию всех охранительных учреждений, явилось то, что в них впервые получило свой голос русское еврейство, еще с послевоенного времени и «дела врачей» обреченное на вынужденное молчание. Утвержденный еще Сталиным государственный антисемитизм, хотя, конечно, и ханжески отрицаемый властями, начало которому было положено печально известной борьбой с «космополитами», особо пышным цветом расцвел в годы брежневского правления. Если раньше били «космополитов», то теперь «сионистов», понимая под этими терминами, придуманными для «отмазки» от западной прессы, все тех же евреев. Именно эта многолетняя пропаганда, нагнетавшая истерию «борьбы с сионизмом», создала реальную базу для разнузданного параноического антисемитизма нынешних организаций типа «РНЕ», «Памяти» и их «литературных» вдохновителей.

И все-таки, при всем том, стихи Игоря Губермана — явление

прежде всего российской поэзии. В строках его, казалось бы, самых саркастических стихов без труда просматривается наивная неистребимая любовь к неласковой своей Родине, невозможность существования вне ее.

Еще в конце 60-х, наблюдая начало эмиграции евреев из страны, он с горечью заметил:

Евреи продолжают разъезжаться
Под свист и улюлюканье народа,
И скоро вся семья цветущих наций
Останется семьею без урода.

Принявший участие в диссидентском движении 70-х годов, Губерман, видимо, отчетливо сознавал, чем рискует. Не зря написал он в то время:

Когда страна — одна семья.
Все по любви живут и ладят.
Скажи мне, кто твой друг, и я
Скажу, когда тебя посадят.

Будучи человеком азартным и страстным, в силу своей неистребимой доброжелательности и контактности, чрезвычайно доверчивый к мало знакомым людям, еще и став на свою беду при этом собирателем икон, он быстро оказался жертвой сфабрикованного в 1979 году уголовного дела. На самом деле КГБ пыталось, оказав давление на Губермана, получить от него показания на известного диссидента, ученого-математика, редактора подпольного журнала «Евреи в СССР» Виктора Бреловского, но Игорь, вопреки чаяниям обрабатывавших его гебешников, не «раскололся», за что и поплатился. Стараниями следствия, которое контролировалось КГБ, были найдены два отбывавших наказание уголовника, которые за обещание скостить срок показали, что якобы продавали Губерману заведомо краденые иконы. Я присутствовал на суде в подмосковном городе Дмитрове и видел, как героически вел себя Игорь. Исход суда был предопределен наперед. Игорь получил пять лет лагерей. Выходя из зала суда, он с улыбкой сказал своему расстроенному адвокату: «Спасибо. Вы меня почти убедили в моей невиновности».

Именно в заключении проявились мужественность и стойкость характера Игоря Губермана, столь отличного от его улыбчивого веселого облика. В нечеловечески трудных условиях

принудработ и карцеров он ухитрился написать десятки новых «дацзыбао» (хотя прекрасно сознавал, что будет, если их обнаружат при «шмоне») и собрать материал для первой книги автобиографической прозы «Прогулки вокруг барака».

Вот что пишет по этому поводу сам автор в предисловии к одному из зарубежных изданий своих стихов: «Сохранить стихи эти мне хотелось не только из-за естественного для автора заблуждения относительно их качества, но и от яростного желания доказать, что никогда и никому не удастся довести человека до заданного состояния опущенности, безволия, апатии и покорного прозябания в дозволенных рамках. Очень многие, часто совсем неожиданные люди помогали мне, никогда не спрашивая, что они прячут».

Отбыв срок наказания и вернувшись в Москву в 1984 году, Игорь Губерман пытался вновь заняться литературным трудом, писал сценарии научно-популярных фильмов, начал работу над книгой прозы о семье художника Бруни. Въезд в Москву для него был воспрещен, и он жил в Малоярославце, «на сто первом километре».

Длилось это, однако, недолго. Время от времени ему неизменно напоминали, что он «под колпаком». А через три года вызвали и объявили, что Министерство внутренних дел приняло решение о его выезде. Вновь, уже в который раз, сработала тупая и неумолимая машина, выбрасывающая российских литераторов за рубеж.

Уже перед своим отъездом, наблюдая еще не оперившуюся, робкую, трудно рождающуюся нашу демократию, Игорь посвятил ей напутственные слова:

Весело и отважно,
Зла сокрушая рать.
Рыцарю очень важно
Шпоры не обосрать.

Теперь Игорь Губерман живет в Израиле.

Живется ему там по-разному, о чем подробнее будет рассказано ниже. Не без грусти написал он мне в одном из писем:

Варясь в густой еврейской каше,
Я остаюсь угрюм и тих.
Кругом кишат сплошные наши,
Но мало подлинно своих.

Прочитав эти строки, я вдруг вспомнил, как в конце 60-х в моем родном Питере, где-то на Таврической улице около двенадцати ночи Игорь, выйдя вместе со мной из гостей, прыгал по тротуару на одной ноге, громко распевая песню:

Норильск не порт и не курорт —
Это лагерь, стеной огороженный.
Там бьют жидов у кромки льдов,
А потом заедают мороженым.

Пение это внезапно было прервано милицейским свистом. Подошедший постовой потребовал от нас штраф за то, что мы нарушаем покой граждан после нуля часов, но услышав, что речь идет о жидах, сказал: «Ладно, пойте, только потихоньку». Наши лица он в темноте не разглядел.

В последние годы у Губермана за рубежом и в России вышло немало книг стихов и прозы, из которой наиболее интересной представляется уже упомянутая книга «Прогулки вокруг барака», поражающая трагизмом своей жестокой документальности и неистребимым оптимизмом автора.

И хотя Игорь теперь — гражданин Израиля, его лучшие стихи остались в России. Чаще всего как безымянный народный фольклор, без имени их автора. Грустные и смешные, добрые и непримиримые, полные горьких раздумий и жизнелюбия, они могут жить подлинной жизнью только внутри российской действительности, их породившей.

Летом 1973 года, в Коктебеле, мне довелось познакомиться с вдовой Максимилиана Волошина — Марией Степановной, незадолго до ее смерти. Мы с ней несколько раз поднимались на гору к могиле Волошина, и она рассказывала еще не опубликованные в те годы истории о его несостоявшейся дуэли с Гумилевым, о письме, которое он написал во врангелевскую контрразведку, чтобы вызволить арестованного Мандельштама. По просьбе благоволившей ко мне Марии Степановны мне даже посчастливилось петь свои песни в высокой мастерской Волошина для небольшого круга пожилых людей, еще помнивших недолгий «серебряный век» российской поэзии. При этом на гитаре мне аккомпанировал Виктор Фогельсон.

Помнится, тем же летом поэт Юрий Ряшенцев познакомил меня с заместителем директора Центрального Дома работников искусств Петром Семеновичем Фрединым, невысоким бодрым старичком с густым бобриком коротко стриженых седых волос и энергичной походкой. Выяснилось, что Петр Семенович, которому

в то время исполнилось уже восемьдесят четыре года, — личность в известной степени легендарная. Еще до революции он был одним из известнейших одесских шансонье, пел на свадьбе у Бени Крика («Ну, таки, не у Бени Крика, а у Мойши Япончика, но вы ведь понимаете, что это одно и то же лицо!»), вел дружбу с Ядовым — автором знаменитой «Мурки» и был всеобщим любимцем одесситов.

Юра представил меня ему как одного из ведущих современных бардов. «Это вот вы один из тех, которые современные? — прищурившись, спросил Петр Семенович, скептически оглядев меня. — Что, они все такие же паршивенькие? Нет, нет, молодой человек, вы, пожалуйста, не обижайтесь, я думаю, что вы не хуже тех других, которых я не видел. Но ведь, если разобраться, что вы можете? Вас что, кто-нибудь знает или любит? Вас уважает кто-нибудь, как уважали меня в старое время? Думаю, что нет. Вот когда я в Одессе ехал со свадьбы Бени Крика, то меня везли на фаэтоне с зажженными фонарями, а на подножках слева и справа стояли налетчики в черных масках и с наганами, чтобы меня, не дай Бог, никто не обидел. Так меня уважали, потому что я был народный певец. Вы можете на это пожаловаться?»

Я упрашивал Петра Семеновича спеть что-нибудь из своего репертуара. Он долго отнекивался, но наконец сдался и спел пару своих старых песен. Одна из них была посвящена любовной теме. Автор описывал свою любовь к весьма толстой даме, с которой у него ничего не вышло, а потом он полюбил тощую. На фоне довольно пошлого и банального текста мне в память запали две поистине замечательные строчки:

Целовал без всякой злости
Эти кожи, эти кости.

В конце 30-х Петр Семенович был посажен, как и многие, по ложному доносу и около пятнадцати лет отсидел в Колымских лагерях. Только его несокрушимый оптимизм и твердый характер да оказавшееся богатырским здоровье помогли ему выжить в этих нечеловеческих условиях.

«На допросах меня били палкой по голове, — рассказывал он, — и требовали, чтобы я сознался, что я — резидент итальянской разведки. Я сначала никак не мог понять, что такое — резидент. Я думал, что резиденция — это дом такой, дворец, где живет высокий гость. А меня все били и кричали, чтобы я не валял дурака и сознавался. И знаете, у них таки были к тому основания». «Какие основания? — спросил я. — Вы что, были в

Италии?» — «Да нет, конечно, не был». — «Может быть, у вас какие-нибудь родственники в Италии?» — «Не морочьте мне голову, неужели я, по-вашему, похож на человека, у которого могут быть родственники в Италии?» «Так какие же основания у них были?» — удивился я. — «Дело в том, что когда я в двадцать первом году был в Житомире, то целые сутки жил в гостинице с названием «Италия»»…

История прижизненной реабилитации Петра Семеновича была не менее трогательной. «Меня вызвал к себе очень симпатичный молодой полковник КГБ, — улыбаясь, продолжал он свое повествование, — и сказал: «Петр Семенович, выяснилось, что мы зря продержали вас пятнадцать лет в лагерях. Только я очень вас прошу, не держите за это на советскую власть». — «И что вы ему ответили?» — «Я ему ответил: товарищ полковник, ну как я могу держать на советскую власть? При какой другой власти бедный местечковый еврей мог бы стать резидентом итальянской разведки?»

Осенью 73-го года мне снова открыли визу в загранрейсы, и началась полоса почти ежегодных океанских экспедиций в самые разные районы Мирового океана. В последующие десять лет мне довелось плавать во всех океанах, высаживаться на берега многочисленных островов от Северной Атлантики до Антарктиды, опускаться на океанское дно в обитаемых подводных аппаратах.

Больше всего мне пришлось ходить в те годы все на том же «Дмитрии Менделееве», где теперь меня внесли в список «ветеранов судна». В 1973–1976 годах мне довелось четырежды побывать в Австралии, и дважды — в Новой Зеландии.

Первое же знакомство с Австралией, так непохожей на европейские страны, сразу показывает, что вы попали на другой материк, почти на другую планету. Все — вверх ногами: жаркий север и холодный юг. Солнце светит с севера. Единственное хищное существо на всем континенте (не считая крокодилов) — дикая собака динго, да и та завезена европейцами. Помню, как поразило нас, когда мы обнаружили, что в городе Сиднее существует пивопровод. Поворачиваешь кран, и прямо в твоем доме из крана течет превосходное пиво! Не забывай только платить по счетчику.

При первом же заходе в Австралию, в порт Аделаида, нам, как и положено, раздали паспорта перед увольнением. Прибывший на судно советский консул, однако, сказал, что паспорта с собой брать не надо. «Как не надо? — не понял перпом, — а как же я смогу удостоверить, что я — это я?» «Очень

просто — скажете», — улыбнулся консул. Нас, советских людей, страшно поразило, что, оказывается, можно жить без паспортов и, как выяснилось, довольно неплохо. В Австралии удивляло многое. Удивляли черные страусы эму и кенгуру, свободно разгуливающие в эвкалиптовых парках в пригородах Мельбурна и Аделаиды. Удивила в воскресный день демонстрация женщин в Сиднее, во главе которой две здоровенные девахи несли транспарант: «Свободу лесбийской любви». «У вас что, запрещена лесбийская любовь?» — недоуменно спросил я у нашего австралийского коллеги. «Нет, конечно», — ответил он. — «Чего же они требуют, в таком случае?» — «Заключения законных браков».

В первое же увольнение в Сиднее мы с моим приятелем Олегом Николаевым, страстным собирателем морских раковин, отправились на роскошный городской пляж с тонким жемчужным песком и, несколько удивленные тем, что никто не купается при такой теплой воде, немедленно бросились в нее. Мы уже доплыли до буйков, когда заметили, что по берегу бежит какой-то человек, который машет нам руками и кричит: «Шакс, шакс!» Оказалось, что купание в этот день настрого запрещено, — близко к берегу подошли акулы. Когда до нас дошел смысл его криков, мы изо всех сил устремились к берегу. Надо сказать, что, несмотря на испуг, плыли мы довольно медленно, так как выгребали только одной рукой. Второй каждый оберегал самое дорогое и уязвимое место.

С Олегом Николаевым, напоминавшим обликом известного киноактера Моргунова, могучим с виду грузным здоровяком, несколько лет спустя безвременно ушедшим из жизни после мучительной тяжелой болезни, я жил тогда в одной каюте на самой нижней палубе в кормовой части судна, где ютился судовой «пролетариат». Отсек этот назывался «на дне». Олег, имевший явную склонность к выпивке, почти каждый день придумывал очередные поводы для этого, пока я наконец не взбунтовался, наотрез отказавшись от такой жизни. Тем временем «Дмитрий Менделеев» вплотную подошел к Антарктическому материку, и начались высадки на шлюпках на припайный лед.

Вернувшись на судно после очередной шлюпочной экспедиции, Олег приволок в каюту изумрудно-зеленый, пахнущий свежестью кусок антарктического льда и, накрошив его в литровую банку, начал наливать в нее спирт. «Что ты делаешь? — возмутился я. — Опять пить? Не буду!» «Саня, — взмолился Олег, — но ведь мы настоящим антарктическим льдом спирт разведем. Такого напитка никто еще не пробовал!» Спорить было бесполезно.

В связи с этим вспоминается история, поведанная мне одним из участников первой советской антарктической экспедиции. На дизель-электроходе «Обь», направлявшемся к антарктическим берегам, один из участников экспедиции долго и безуспешно ухаживал за одной из судовых девиц, упорно уклонявшейся от его настойчивых притязаний. Наконец, когда судно пришло в Антарктиду и научный состав высаживался, он уговорил ее съездить на берег и там неожиданно объявил своей неприступной избраннице, что если она прямо сейчас в наскоро поставленной палатке отдастся ему, то будет первой в истории человечества женщиной, которая занималась любовью в Антарктиде. Это обеспечило ему немедленный успех.

Но вернемся в Австралию. Через два дня, рано утром, я проснулся от запаха цветов, струящегося в открытый иллюминатор. Наше судно медленно втягивалось в бухту порта Хобарт на острове Тасмания. Нигде и никогда более не видел я такой первозданной природы, эндемичного, как у Конан Дойла, мира и счастливых людей, совершенно непричастных к нашим европейским проблемам, не говоря уже, конечно, о российских.

Не меньшее впечатление оставила и Новая Зеландия, небольшая и чистенькая «овечья» страна, благословенные задворки беспокойного мира. Помню, как сокрушалась приехавшая на судно молоденькая жена нашего пресс-атташе: «Я думала, Володя меня действительно за границу везет. А здесь такая скукота — прямо как у нас. Одно название, что Новая Зеландия».

Местные корреспонденты, побывавшие на «Менделееве», писали, что, судя по всему, в России плохо с белой мукой, так как русские на борту вынуждены питаться черным хлебом. Одновременно представители советского посольства бережно грузили в свои «холдены» и «форды» буханки «черняшки», чтобы потом порадовать своих домочадцев…

На переходе из Австралии в Новую Зеландию у нашего судна сломался баллер рулевого управления, и нам пришлось почти три недели простоять в Веллингтоне, ожидая, пока запасные детали доставят из Германии. Лишенные местных денег, мы все дни этого вынужденного отдыха проводили на океанских пляжах под Веллингтоном, где купались и собирали раковины галиотисов с яркой перламутровой изнанкой. Во время этой стоянки мне довелось подружиться с коренной новозеландкой Джуди Холловей, яркой и статной каштановолосой вдовушкой, прапрадед которой, баронет сэр Джон Холловей, судя по ее уверениям, был старпомом у Джеймса Кука на бриге «Дискавери». Это, кстати, ничуть не помешало ей оказаться убежденной левой

коммунисткой. Результатом наших эмоциональных политических дискуссий стала написанная мною в Веллингтоне песня «Новая Зеландия».

Хорошо помню наш выход из Веллингтона второго марта, когда в воздухе закружились первые желтые листья и в Новой Зеландии началась осень. Накануне на судне был устроен прощальный вечер. Взволнованная предстоящим расставанием и раскрасневшаяся от вина Джуди, скинув мешавшие ей туфли на высоких каблуках, танцевала в нашей кают-компании босиком, не обращая внимания на недовольные взгляды первого помощника.

В том же 74-м году, в 12-м рейсе «Дмитрия Менделеева», я впервые попал в Токио, один из крупнейших городов мира, поразивший меня своей принадлежностью уже, пожалуй, не к двадцатому, а к двадцать первому веку. Я долго вспоминал, где я мог видеть этот гигантский мегаполис, рассчитанный не столько на людей, сколько на автомобили, и вдруг узнал его. Видел я его на экране в фильме Андрея Тарковского «Солярис», снятом по фантастической повести Станислава Лема, где изображается город будущего.

В 76-м году, уже в 16-м рейсе «Дмитрия Менделеева», снова заходившего и в Австралию, и в Новую Зеландию, мне посчастливилось попасть на острова Тасманова моря Норфолк и Лорд-Хау, а также Антарктические острова Кемпбелл и Маккуори. На острове Маккуори, где живут пингвины и морские слоны, нам не повезло. У самого берега, не защищенного от открытой океанской волны, неожиданно перевернулась резиновая лодка, доставлявшая нас на берег (мотобот не мог подойти к береговым камням вплотную), и мы вместе с руководителем геоморфологов Александром Васильевичем Живаго оказались в воде.

С непостижимой скоростью, вскочив на ноги, мы побежали от следующего океанского вала. Бодрость наша подстегивалась тем, что температура воды была около девяти градусов. На берегу нам на помощь пришли австралийские полярники, приложившие все усилия, чтобы не дать нам простудиться. В ответ на их заботы мы пригласили их на судно. Оттуда они уехали уже далеко за полночь, лихо распевая песни, размахивая подаренным им красным флагом и сильно рискуя не отыскать в темноте свой родной остров.

Случались в этом рейсе истории и трагические. На острове Норфолк 1 января неожиданно утонул во время прибрежного купания тридцатидвухлетний моторист с нашего судна Юрий Пересторонин. Мне впервые пришлось наблюдать мрачный и торжественный погребальный обряд морских похорон в открытом океане, при котором, после недолгой прощальной панихиды,

тело, зашитое в саван, с привязанным к ногам колосником опускают в море. Теплоход делает круг с долгим прощальным гудком, и в воду бросают венки.

Помню, перед выходом в 16-й рейс в 1976 году, когда «Дмитрий Менделеев», полностью снаряженный для экспедиции, стоял у причала во Владивостоке, стало известно, что в город каким-то агитпоездом прибыла бригада писателей из Москвы, в составе которой был Аркадий Стругацкий, один из знаменитых братьев, книгами которых зачитывалось наше, да и не только наше, поколение. Поскольку я с ним был знаком, судовая общественность тут же решила с моей помощью привезти его на судно для встречи. Я выяснил, что живет он в гостинице «Владивосток», и, созвонившись, договорился о его приезде на следующий день, благо судно стояло почти напротив.

В указанное время народ собрался в кают-компании, однако писатель не прибыл. Я поехал в гостиницу и с сожалением констатировал, что прибыть он уже не в состоянии, так как с утра его перехватили и напоили. На следующий день я сам с утра поехал за ним. Выяснилось, что на первом этаже гостиницы размещается бар, мимо которого ни один из приехавших писателей пройти утром не способен. Ценой неимоверных усилий мне удалось протащить Аркадия с помощью его друга Марьяна Ткачева мимо бара к выходу, мотивируя наши действия тем, что в каюте капитана уже накрыт стол.

Вечером того же дня мы вместе со Стругацким должны были выступать во владивостокском Доме ученых. Зал был набит битком. Мы с Аркадием сидели на сцене вместе с устроительницей Евгенией Александровной, женой тогдашнего президента Дальневосточного научного центра Андрея Петровича Капицы. Стругацкого встретили бурными аплодисментами. Как раз было время, когда знаменитые романы братьев Стругацких «Сказка о тройке», «Улитка на склоне» и другие были у нас под запретом и публиковались либо за рубежом, либо в провинциальных журналах по недосмотру местных властей (например, в журнале «Байкал»). Аудитория слушала его, затаив дыхание, пришла масса записок. В одной из них был вопрос: «Уважаемый Аркадий Натанович, где можно прочесть полностью Ваш роман «Обитаемый остров»?» «Как где? — удивился ободренный безусловным успехом и раскрасневшийся Стругацкий. — Журнал «Грани», издательство «Посев», Мюнхен, — очень рекомендую». В зале наступила тишина. Вопросов больше не последовало. Часть людей из первых рядов, боязливо озираясь, начала пробираться к выходу. «Слушай, что ты говоришь? — шепнул я Стругацкому, видя, как занервничала

наша ведущая. — Ты что — с ума сошел?» «А пусть они не задают дурацких вопросов», — с безмятежной улыбкой ответил он.

В последующие годы мне довелось быть в приятельстве с Аркадием Натановичем до самой его безвременной смерти, и я никогда не переставал удивляться его таланту художника и философа, моментально схватывающего и связывающего вместе самые разные стороны мироздания. Его внезапный уход из жизни — огромная потеря не только для отечественной, но и для мировой литературы. Все называют братьев Стругацких писателями-фантастами, однако они прежде всего художники, воплотившие в условной ситуации фантастических романов то, что не смогли бы опубликовать в реалистической фабуле. В этом они сродни Бредбери и Кларку или, например, Окуджаве, который вряд ли может считаться «историческим писателем». Просто их герои вынуждены перемещаться во времени назад или вперед. Отсюда и острая социальная актуальность их романов в нашей чуткой к любой «крамоле» читательской аудитории, и гонения на них.

Жил Аркадий неподалеку от меня, на Юго-Западе, напротив магазина «Польская мода» и странного вида пивного бара «Ракушка», унылого сооружения из грязно-серого, распавшегося на блоки бетона, более напоминающего бомбоубежище или общественный туалет. Теперь, проходя мимо этого опустевшего и заброшенного бывшего бара, я вспоминаю, как в повести Стругацкого «Хромая судьба» один из фантастических посетителей продал там автору «Партитуру труб Страшного Суда», и сердце мое сжимается холодом.

Помню, с каким увлечением работал он над сценарием фильма «Сталкер», вдохновленный возможностью сотрудничать с гениальным Андреем Тарковским, которого высоко ценил. Он же повел нас на премьеру этого фильма, рассказав по дороге драматическую историю о том, что после съемок первого варианта фильма «Пикник на обочине» вся отснятая пленка оказалась бракованной. Пришлось все начинать сначала, а деньги на съемки уже были потрачены. Тогда и решено было делать новый сценарий «Сталкера», по новой идее Тарковского, пленившей Аркадия.

Что же касается его литературных вкусов, то были они довольно нестандартными. Где-то в конце 70-х в Москву приехал Александр Кушнер, и я, пригласив его домой, решил позвать и Аркадия, чтобы познакомить моего любимого поэта с не менее любимым писателем. Из этого, однако, ничего не получилось. Оба сидели надутые и мрачные, явно не понравившись друг другу. Послушав стихи Кушнера, Стругацкий заявил, что его любимый

поэт Андрей Вознесенский, а Кушнер сказал, что не любит фантастики и литературой ее не считает. Оба ушли, почему-то обиженные на меня.

В 78-м – 79-м годах, в 21-м и 23-м рейсах «Дмитрия Менделеева», мне довелось много плавать в северной части Тихого океана — от Токио до Сан-Франциско и дважды заходить на Гавайские острова. Забавный случай произошел с нами в Гонолулу в 1978 году. Тройка наша во главе с начальником магнитного отряда Иваном Ивановичем Беляевым, страстным фотографом, отправилась под вечер поглазеть на «местный колорит».

Надо сказать, что выходы в город в одной тройке с Иваном Ивановичем всегда отличались от обычных. Фанатичный фото- и кинолюбитель, Иван Иванович постоянно таскал с собой минимум два фотоаппарата — для слайдов и для черно-белой пленки, киноаппарат и, кроме того, всевозможные насадные объективы и разного рода штативы и экспонометры. Объемистое это имущество грузилось в специальный саквояж, который носили все по очереди. Сам Иван Иванович, обвешанный тремя аппаратами, два из которых он постоянно держал в руках, шустро перебирая своими худыми ногами в белых тропических шортах, обычно стремительно вырывался вперед, стараясь углядеть какой-нибудь живописный кадр. Мы с моим приятелем Лешей Сузюмовым еле за ним поспевали. Так было и на этот раз.

Уже стало темнеть, когда мы добрались до припортовой части Гонолулу — так называемого «Китайского города», где располагались многочисленные секс-шопы, кинотеатры, ночные бары со «стрип-шоу» и другие сомнительные заведения. Иван Иванович, как обычно, шел впереди. Вдруг из ближайшей подворотни выскочило какое-то лохматое существо, как оказалось женщина, либо пьяная, либо «под кайфом», и с криком «секс-секс» бросилось на Ивана Ивановича, намертво вцепившись худыми пальцами в самое его мужское сердце. От неожиданности, а возможно и от боли, Иван Иванович вскрикнул. Руки его, однако, были заняты фотоаппаратами, и он оказался совершенно беззащитен.

Женщина, не отпуская, потащила его за собой в калитку — и он пошел (а что он мог еще сделать?). Мы бросились за ним. «О'кей», — заулыбалась женщина, увидев нас и радуясь большому заработку. «Аппараты возьмите!» — страдальческим голосом крикнул Иван Иванович. Мы с Алексеем подхватили у него аппараты, и он начал отчаянно отдираться обеими освободившимися руками. Поняв, что добыча буквально

ускользает из рук, женщина в свою очередь яростно закричала. На ее крик немедленно появились еще два или три таких же лохматых видения. Выдернув из ее цепких рук Ивана Ивановича, мы позорно бежали до самого судна, лишь пару раз остановившись, чтобы перевести дух. Примерно неделю лечил он кровоподтеки и царапины, ставшие результатом этого внезапного нападения.

В том же 21-м рейсе мне впервые посчастливилось принять участие в одном из первых погружений на океанское дно в обитаемом подводном аппарате «Пайсис», незадолго до этого построенного по заявке нашего института в Канаде. В свое первое погружение я попал случайно — «дуриком». Прибывшие на борт «Дмитрия Менделеева» лихие наши подводные пилоты, уже набравшие немалый опыт погружений на «Пайсисах» на озере Байкал, любили петь песни под гитару, в том числе и мои. Толя Сагалевич и сам писал песни. Подружившись со мной, они начали требовать, чтобы я написал для них «Песню подводного пилота». В ответ я им объяснил, что умею писать только «с натуры». «Возьмете в погружение — напишу, а нет — так ничего не получится».

Это было время, когда специализированных судов-носителей подводных аппаратов еще не было, и «Пайсис» опускался прямо с борта «Дмитрия Менделеева». Мне с большим трудом удалось попасть в число научных наблюдателей. Уже опытные подводные пилоты Александр Подражанский, Анатолий Сагалевич и Владимир Кузин относились к нам, новичкам, покровительственно и несколько насмешливо. Еще бы — у них за плечами были многочисленные погружения у берегов Канады и на Байкале. Об этом писали все газеты. Они были настоящими героями, подводными «волками», а мы — робкими «чечако». Тогда погружения на «Пайсисах» в океане только начинались. Аппараты, не имевшие специальных помещений на судах, стояли просто на верхней палубе, что не улучшало их состояния. Иногда поэтому возникали отказы разных систем.

Инструктируя нас, пилоты строго предупреждали, что в обязанности подводного наблюдателя входит прежде всего следить за неполадками в электросети (короткое замыкание может привести к пожару — так уже погиб один американский экипаж), за герметичностью обитаемого отсека (водяная тревога) и за системой очистки отсека от углекислого газа. Обо всех нарушениях надо срочно докладывать командиру. Мы должны также научиться управлять аппаратом, чтобы «в случае, если два других члена экипажа выйдут из строя, обеспечить его всплытие». Мой главный наставник Саша Подражанский после очередного

сеанса обучения управлению аппаратом, в процессе которого он показывал «как надо отжимать пальцы трупа от рычагов управления, чтобы получить к ним доступ в случае аварии», когда мы оба полностью одурели от невыносимой духоты в отсеке стоявшего на солнцепеке «Пайсиса», сказал: «Ну, это-то вряд ли понадобится: в случае чего, ты первый загнешься». И улыбнулся: «Ну что, нагнал на тебя страху? Пойдем лучше выпьем».

«Во время первого погружения, — говорят пилоты, — от наблюдателя проку мало он обалдевает». Действительно, в это время находишься в состоянии, «близком к эйфории». Я как-то спросил одного из наших солидных ученых, первый раз в жизни участвовавшего в погружении, о его впечатлениях. «Понимаешь, — ответил он мне, — когда задраили люк и аппарат стал погружаться, и все вокруг как-то странно заскрипело и закачалось, я подумал: «Господи, и зачем я сюда залез, чего мне в жизни не хватало?»» «Молодец, что не врешь, — засмеялся я, — со мной в первый момент было то же самое».

Запомнив предостережения пилотов, во время первого погружения на «Пайсисе» в Тихом океане, на атолле Хермит, я старался ни в косм случае не показывать своего волнения и в то же время внимательно следить за всем, что грозит аварийной ситуацией.

И вот люк задраен. Командир Подражанский включает микрофон подводного телефона: ««Менделеев», я «Пайсис». Прошу разрешить погружение». В ответ слышится: ««Пайсис», я «Менделеев». Погружение разрешаю». Солнечный свет в иллюминаторе начинает гаснуть. Аппарат поскрипывает. Вплотную приникаю к стеклу иллюминатора. Мелкие пузыри воздуха стремительно проносятся кверху. Рядом с ними медленно перемещаются вверх большие белые хлопья, похожие на снег. «Саша, почему они всплывают?» — спросил я у командира. И он насмешливо ответил: «Это планктон. Не он всплывает, а мы погружаемся».

Помнится, мы уже лети на грунт на склоне океанского вулкана на глубине 400 метров, и я только начал, про все позабыв, увлеченно диктовать на магнитофон первые наблюдения, как вдруг мне на спину что-то капнуло. Я поднял голову, и в лицо мне брызнула вода. Вглядевшись, я, несмотря на жару, похолодел: от крышки люка в верхней части отсека медленно змеились струйки.

«Саша, вода», — окликнул я командира, мне казалось, спокойным, но, как выяснилось, сдавленным голосом. «Не бери в голову», — ответил он, не оборачиваясь и не отрывая рук от рычагов управления. Оказалось, что при погружении подводный

аппарат попадает из теплых верхних слоев океанской воды в нижние — холодные. Из-за охлаждения внутри обитаемого отсека образуется конденсированная вода. Новичков об этом не всегда предупреждают — то ли по забывчивости, то ли чтобы испытать их «на прочность».

Мое первое погружение положило начало новой жизни, дав старт удивительной серии подводных погружений в разных океанах на всех видах подводных аппаратов — «Пайсисе», «Аргусе» и, наконец, «Мире». Но об этом — позже.

Следует сказать, что обещанную песню подводного пилота я после первого же погружения написал, пораженный сходством планктона со снежными хлопьями:

Не пиши тревожных писем мне,
Не зови немедленно назад:
В океанской темной глубине
Нас несет подводный аппарат.
Я плыву беззвучно, как во сне.
Надо мною — ни буев, ни вех.
За окном планктон идет, как снег, —
Это значит, мы всплываем вверх.

Пилотам песня понравилась, и они взяли ее на вооружение, дружно распевая на всех своих многочисленных вечеринках. А вот директору института Монину она пришлась не по душе. «Это трусливая песня, — со свойственной ему безапелляционностью заявил он, прослушав ее. — Они радуются тому, что всплывают. А настоящие подводники должны радоваться, когда погружаются». Не знаю, как «настоящие подводники», а я каждый раз радовался очередному всплытию не меньше, чем погружению. Судя по тому, что и у самих пилотов любимый тост гласит: «Чтобы число всплытий равнялось числу погружений», они тоже ближе к моему, а не к директорскому мнению.

В 77-м году на другом судне, «Академик Курчатов», мы отправились в геолого-геофизическую экспедицию с Ю. П. Непрочновым в Северную Атлантику и юго-восточную часть Тихого океана для изучения глубинных разломов океанского дна. В этом трудном рейсе нам впервые удалось получить сведения о строении одной из самых больших трещин в океанской коре — разломе Элтанин, расположенном в юго-восточной части Тихого океана, на полюсе относительной недоступности, где шторм девять баллов — нормальная погода.

По пути мы заходили на солнечные Азорские острова. До сих пор помню маленький городок Понта-Дельгада на зеленом

острове Сен-Мигел, прилепившийся на склоне одного из величественных вулканов, гниющую воду в порту Кальяо у берега Перу, над которой с криками кружатся сотни пеликанов, маленький безлюдный остров Кокос в Тихом океане, сплошь заросший «дождевым лесом» и усеянный кокосовыми орехами. Более всего запомнился, однако, Панамский канал, соединяющий два великих океана, по которому судно наше двигалось много часов, перепрыгивая снизу вверх, по водяным ступенькам шлюзов.

В связи с этим вспоминается история, рассказанная мне когда-то Игорем Белоусовым о его первом прохождении Панамского канала. Они со Смилгой набрали «изысканных напитков» и устроились в какие Белоусова перед большим квадратным окном, чтобы посмотреть на Панамский канал. Поскольку судно еще стояло в заливе, в ожидании своей очереди входить в канал, они решили для начала выпить по стаканчику. Когда они снова посмотрели в окно, то опять увидели океан. Выяснилось, что канал давно прошли.

Уже на обратном пути судно зашло в Лас-Пальмас и в шведский порт Гетеборг. Здесь, в порту, у причала стоит старинный памятник погибшим морякам — бронзовая позеленевшая от времени фигура женщины. Подняв фонарь в правой руке, она мучительно и безнадежно всматривается в морскую даль.

Огромное, незабываемое впечатление после описанных плаваний осталось у меня от коралловых атоллов в Океании и Полинезии. В те годы добыча кораллов на безлюдных коралловых островах Тихого океана еще не была запрещена, поэтому каждое такое посещение превращалось в настоящую добычу кораллов и раковин. После захода на коралловые атоллы на судне долго нечем было дышать — во всех лабораториях и даже каютах стояла нестерпимая вонь гниющих кораллов, упорно обороняемых их владельцами. Не случайно возникла судовая пословица: «Свой коралл не пахнет».

Судовое начальство, как правило, боролось с кораллами на судне. Создавались специальные комиссии, которые, обнаружив кораллы в служебных помещениях, беспощадно выбрасывали их за борт. Обнаружить их было сравнительно нетрудно — по отвратительному запаху гниения. У нас в магнитной лаборатории тоже отгнивали кораллы в полиэтиленовых баках с морской водой, спрятанных в шкафах. Вытянув из двери лаборатории, я неожиданно увидел, что по судовому коридору в нашу сторону направляется комиссия. Что было делать? Решение надо было принимать немедленно. Достав с полки бутылку с бензином, я пролил ее перед входом в лабораторию. Зажимая носы от резкого

запаха бензина и браня мою неосторожность, комиссия торопливо проследовала мимо наших дверей, уподобившись стае сбитых со следа ищеек.

Дело, однако, не только в кораллах. Когда плывешь, медленно перебирая ластами и опустив лицо в маске в прозрачную воду, над коралловыми рифами, тебя охватывает ощущение непередаваемого счастья от созерцания солнечного и многокрасочного мира, медленно скользящего под тобой, как земля под летящим ангелом. Красными, зелеными, голубыми цветами мерцают коралловые рощи, между которыми порхают серебряные стайки рыб. Ярко-малиновыми, лиловыми и синими бархатными красками вспыхивают распахнутые тридакны. Лучи ослепительного солнца, преломляясь в бирюзе прозрачной воды, вдруг выхватывают из мягких сумерек то ползущего бочком краба в розовом панцире, то лунно-молочную устричную раковину, то белоснежный коралловый песок.

При добыче кораллов плавать приходилось в кедах, тренировочном костюме и перчатках, потому что от коралловых царапин остаются долго не заживающие ранки. На руке висит на веревке фомка для отламывания кораллов. При этом постоянно надо следить, нет ли поблизости акул. Помню, как на атолле Хермит в Южно-Гвинейском море, подплыв к краю кораллового рифа, я сдуру сунул фомку в какое-то отверстие. Оттуда немедленно высунулась отвратительная змеиная морда с кривыми зубами и горящими зелеными глазами. Мурена! От страха я так растерялся, что пару секунд тупо и неподвижно смотрел на нее, как кролик на удава. Потом, опомнившись, рванулся прочь со скоростью атакующего торпедного катера. К счастью, мурена меня не преследовала.

Не менее опасны и тридакны, столь красивые с виду. Стоит только дотронуться до этого моллюска, и массивные белоснежные створки раковины захлопнутся, а разжать их невозможно даже ломом. Это не раз приводило к гибели аквалангистов, попавшихся в гигантские подводные капканы.

Что касается акул, то они доставляли нам больше всего неприятностей. Дело в том, что измерения магнитного поля в океане, которыми я обычно занимался в экспедициях, производятся прибором, датчик которого буксируется на немагнитном кабеле за судном, на расстоянии не меньше трехсот метров (чтобы избежать влияния железного судового корпуса). Герметичная гондола с датчиком, которую первоначально красили в яркие белые или красные цвета, напоминает большую рыбу. Акулы поэтому часто их атакуют и откусывают. Если учесть, что каждый прибор стоит очень дорого и чаще всего

изготовляется в институте ценой большого труда, в количестве двух-трех экспериментальных макетов, легко понять наше расстройство при каждом таком случае.

Не раз и не два я предъявлял «аварийной комиссии» обрывки немагнитного буксировочного кабеля с обломками акульих зубов, чтобы списать дорогой откушенный ею магнитометр. Команда надо мной подшучивала. В судовой стенгазете была даже помещена карикатура, на которой я был изображен с обрывком кабеля в руках. Ниже красовалась такая подпись:

Спасу нет от произвола
Посреди нейтральных вод:
Съел магнитную гондолу
Немагнитный кашалот.

Наконец в каких-то японских статьях я прочел, что акула в воде не видит черных и темно-зеленых предметов. Помню, как потешались надо мной мои коллеги, когда я, сидя на кормовой палубе, упорно перекрашивал наши красивые бело-красные гондолы в грязно-зеленый цвет. Как ни странно, это помогло. Атаки акул на нашу аппаратуру прекратились.

Забавная история произошла в 23-м рейсе «Дмитрия Менделеева» в 79-м году во время нашего захода в Сан-Франциско, где заранее по радио на борт была приглашена группа ведущих американских ученых из геологической службы США. Не успели мы пришвартоваться к причалу, как на борт явился встревоженный консул и объявил нам, что резко возросла напряженность между СССР и США, что мы «накануне второго кубинского кризиса», и что лучше всего нам как можно скорее убраться отсюда подобру-поздорову, пока нас не интернировали. Попытки нашего начальника Ю. П. Непрочнова объяснить, что мы планируем прием для американских ученых, вызвали только раздражение: «Какие там ученые! Никто к вам не приедет. Смотрите, чтобы вас бомбами не закидали!» Непрочное загрустил, однако к приему мы, на всякий случай, приготовились, хотя и не очень надеялись. Тем не менее ровно в восемь вечера перед самым бортом затормозило более десятка машин, и вся американская группа прибыла к нам в полном составе.

Глава геологической службы, высокий и стройный седой геофизик с мировым именем, провозгласив первый официальный тост за гостей, заявил, поднявшись над столом, на чистом русском языке: «Этот слюнтяй Картер и его убогая администрация пытались нам запретить общаться с вами из-за каких-то своих очередных политических махинаций. В связи с этим считаю своим

долгом заявить вам, что мы — прежде всего люди науки. Поэтому мы срать хотели (я правильно сказал по-русски?) на наше правительство. Надеюсь, вы точно так же относитесь к своему», — закончил он, обращаясь к Непрочнову. Тот, скромно промолчав, вежливо улыбнулся, и все дружно выпили…

В июне 1982 года я защитил докторскую диссертацию на тему «Строение океанской литосферы и формирование подводных гор».

Хотя счет на защите диссертации был «сухим», не обошлось без трудностей. Так, один из старейших геологов доктор наук Дивдериани, встретив меня в лифте за несколько дней до защиты, критически оглядел мою затертую джинсовую куртку и сказал: «Надеюсь, вы не вздумаете в таком виде выходить на докторскую защиту. А не то вам черных шаров накидают за неуважение к Ученому совету». Пришлось надевать не только костюм, но и не любимый мною галстук.

Кстати, о галстуке. Я действительно почему-то всю жизнь старался его избегать. Сравнительно недавно, в июне 1999 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где президент Ельцин вручал мне премию имени Булата Окуджавы, я оказался, пожалуй, единственным из всех присутствующих мужчин без галстука.

Примерно за год до этого, в апреле 1998 года на общем собрании Российской академии естественных паук в актовом зале МГУ мне вручали Синий крест Академии наук, и я по этому случаю был в костюме с галстуком и академическим значком. Вечером того же дня мне пришлось выступать на литературном вечере в Доме композиторов, где я получил такую записку: «Я видел Вас при Хрущеве, я видел Вас при Брежневе и Горбачеве, но впервые вижу Вас при галстуке».

Накануне защиты мы долго беседовали с Левой Зоненшайном. Поскольку главным предметом работы было строение литосферы, то, естественно, обсуждали, что такое литосфера. После долгого обсуждения согласились на том, что корректного геологического определения этот термин не имеет. Тем не менее самым первым из заданных мне после доклада вопросов был вопрос коварного Левы: «Что такое литосфера в вашем понимании?» Он же на банкете после защиты, поднимая первый бокал, заявил: «Хорошо быть эстрадником. Городницкий привык все время стоять на сцене с микрофоном. Другой бы стеснялся, отвечая на вопросы, а этого нахала ничем не собьешь. Да и кто захочет быть Дантесом?»

На самой защите ко мне подсел профессор Боренблатт, один из крупнейших физиков-теоретиков, член Академии наук США,

«злой мальчик» нашего Ученого совета, известный своими уничтожающими выступлениями, и, саркастически улыбаясь, шепнул: «Я бы, конечно, с удовольствием кинул вам черный шар. Но если в урне окажется только один бюллетень против, то всем сразу станет ясно, что это мой, и моя дочь просто выгонит меня из дому. Она, видите ли, ваша поклонница. Поэтому я вынужден голосовать «за»».

Он же, когда зачитывали отзыв виднейшего нашего магнитолога Аркадия Моисеевича Карасика, в котором справедливо отмечались многочисленные стилистические погрешности текста, ядовито сказал председателю Ученого совета Монину: «Обратите внимание, Андрей Сергеевич, как один инородец упрекает другого в плохом знании русского языка».

Сам Аркадий Моисеевич Карасик, талантливейший ученый, один из первых отечественных магнитологов, положивший начало российской школе морской магнитометрии, несколько лет спустя скончался от внезапно обнаружившегося у него рака желудка. Его научные таланты, уникальная начитанность и каторжная работоспособность сочетались с блестящим и тонким остроумием. Недаром именно он был всегда бессменным тамадой и автором многочисленных капустников на геологических конференциях и симпозиумах, прежде всего на традиционных Школах по морской геологии и геофизике, проводившихся в осеннее время в Геленджике в Южном Отделении нашего института. Мы с ним не раз схватывались в научной полемике, и он, как правило, одерживал верх, подчас уличая меня в недостаточном знании предмета спора.

До последних дней он был главным координатором всех морских магнитных работ в нашей стране. Уже после его смерти мне рассказали, что, узнав о своем диагнозе, он обратился к Галине Николаевне Петровой, возглавлявшей комитет по геомагнетизму при Президиуме Академии наук, и попросил, чтобы Рабочую группу по геомагнитным исследованиям океанов после него возглавил я.

Когда-то давно, еще в Ленинграде, где мы с ним жили в одном кооперативном геологическом доме на проспекте Космонавтов и у него только что родился сын, я написал ему поздравительные шуточные стихи, которые заканчивались так:

…Он китов собой украсит.
Все мы — кильки рядом с ним.
А фамилия «Карасик» —
Это просто псевдоним.

Миновало почти двадцать лет, в течение которых мне довелось тщательно заниматься природой земного магнитного поля и даже написать несколько книг на эту тему, одна из которых вышла в 1996 году в США. Не могу не признаться в связи с этим, что природу геомагнитного поля, казавшуюся мне в молодости простой и понятной, постичь мне так и не удается.

В последние годы мне приходится регулярно читать лекции о геомагнитном поле для геофизиков старших курсов на Геологическом факультете в МГУ и Международном университете в Дубне. Свою первую лекцию я обычно начинаю с вопроса к студентам, — как устроено магнитное поле Земли. Многие тянут руки и охотно объясняют мне общеизвестную модель магнитного динамо, описанную в учебниках. Я после этого подробно разъясняю некорректность этой устаревшей модели, противоречащей теории конвективных течений в глубинах нашей планеты. «А как же устроено магнитное поле Земли, профессор?» — робко спрашивают студенты. «Не знаю», — честно отвечаю я, вызывая, как правило, оживление в аудитории. К сожалению, такова участь многих понятий в современной науке.

Завершая экскурс в науки о Земле, не могу не вспомнить еще одного замечательного человека, одного из крупнейших мировых ученых, академика Александра Леонидовича Яншина, с которым познакомился впервые в 1974 году, на Камчатке, где Яншин руководил очередным конгрессом по вулканологии.

Там, помнится, произошел забавный инцидент. В конце конгресса была организована уникальная экскурсия — облет камчатских вулканов на небольшом самолете ЯК-40. Поскольку мест в самолете было немного, то в него допускали только видных ученых — академиков, профессоров, докторов наук. Меня, в ту пору скромного кандидата наук, протащил за собой наш директор — Андрей Сергеевич Монин, сунув мне в руки свой фотоаппарат и поручив снимать вулканы из окошка самолета. Все как будто складывалось поначалу неплохо, — я как раз занял последнее свободное место. И вдруг, когда уже задраивали дверь, на аэродром приехал еще какой-то академик. Стало ясно, что мне надо выходить. И тут, когда я сконфуженно встал со своего места, жена Яншина, красавица Фидан, неизменно всюду его сопровождавшая, громко заявила, обращаясь к нему: «Саша, ты как хочешь, а я без Городницкого не полечу». В итоге я остался в самолете, а академик — на аэродроме.

Родившийся в 1911 году, упорный и талантливый самоучка, человек с удивительной волей и работоспособностью, Яншин стал ученым с мировым именем, пройдя через все жизненные испытания. А их было немало. Еще молодым, в

тридцатипятилетнем возрасте, он упал в глубокий шурф шахты и чудом остался жив, хотя и оказался покалеченным. Ему грозила инвалидность, но он ее осилил. В течение многих лет он боролся с диабетом, что не помешало ему постоянно работать в дальних экспедициях на Южном Урале, в Средней Азии и в Сибири, завести молодую и красивую жену, стать академиком, вице-президентом Академии наук СССР, признанным многолетним лидером советской геологической школы, видным тектонистом. Он одним из первых признал новую теорию тектоники литосферных плит. Его энергия и сила характера поражали: уже в преклонном возрасте, с плохим зрением, передвигаясь только с помощью палки, нуждаясь в постоянных уколах, он смело отправлялся в поездки в Китай, Индию, Америку или еще на какой-нибудь край света.

Помню, в начале 1982 года, незадолго до защиты докторской я приезжал со своей работой к нему в Академгородок Новосибирска, где он был тогда директором Геологического института. «А почему не в стихах?» — спросил он меня, когда открыл объемистый том моей диссертации. Мне сразу вспомнились знаменитые трактаты Салернской медицины, написанные в стихах. Уже позднее я узнал, что в средние века научные работы во многих университетах Европы должны были представляться для защиты в стихотворной форме.

В 1991 году, когда в Свердловске вышел мой первый однотомник стихов и песен «Перелетные ангелы», я послал его Яншину по почте. В то время, став вице-президентом Академии наук, он уже жил в Москве, но попасть к нему на личный прием было не просто. Примерно через неделю я получил от него большое письмо с благодарственными словами и подробным обсуждением прочитанных стихов. «Дорогой Саша, — писал он, — я не спал всю ночь, читая Вашу книгу, и поэтому счел необходимым написать Вам это письмо». Я был взволнован и растроган этим поступком настоящего русского интеллигента, каким он, в действительности, и был.

Александр Леонидович Яншин умер на рубеже тысячелетий, в конце 1999 года. На его похороны в осеннюю Москву съехались геологи со всей России и из всех бывших республик СССР. Была долгая и торжественная панихида в старом дворце Президиума РАН, потом похороны на Введенском кладбище, потом многолюдный официальный поминальный обед в новом здании Президиума РАН. Когда я наблюдал величавый и неспешный ход траурной церемонии, мне на память невольно приходили похороны британской королевы Виктории на рубеже XX века, красочно описанные у Голсуорси. С уходом Яншина кончилась

целая эпоха. Он, так же как Дмитрий Сергеевич Лихачев, был одним из последних, реликтовых представителей вымершей русской интеллигенции, оказавшейся невостребованной в век циничных прагматиков и пиарщиков.

В ноябре 1983 года, снова вместе с Ю. П. Непрочновым, я попал в новый рейс «Дмитрия Менделеева», следовавшего через три океана, из Калининграда во Владивосток, по маршруту Копенгаген — Монтевидео — остров Маврикий — Коломбо — Сингапур — Владивосток. Новый, 84-й год мы встречали в Уругвае. Помню, как в десятом классе и на первом курсе Горного института мы охотно распевали весьма популярную в то время песенку про сказочный Уругвай:

Я иду по Уругваю.
Ночь хоть выколи глаза.
Слышны крики попугаев
И мартышек голоса.

Когда судно выходило из порта Монтевидео по мутным водам залива в устье Ла-Платы, я обратил внимание на большой черный крест, торчащий прямо из воды. Штурман объяснил мне, что это не крест, а верхушка мачты печально знаменитого в годы Второй мировой войны немецкого «карманного линкора» «Адмирал граф Шпее», наводившего когда-то ужас на всю Атлантику, нападая на беззащитные гражданские суда. Линкор был потоплен здесь в 39-м году после долгого и кровопролитного морского боя. Мне снова вспомнились послевоенный голодный Ленинград, холодные стены нашего нетопленого класса и лихая мальчишеская песенка про недоступный и таинственный Уругвай. Так появилась, как продолжение этой, песня «Я иду по Уругваю»…

Обогнув Мыс Доброй Надежды, по пути, проложенному когда-то Баурджедом и Васко да Гамой, мы вышли в непривычно ласковый и сказочно-голубой Индийский океан, так непохожий на суровую штормовую Атлантику и неспокойный Тихий океан. Потом, конечно, начались такие же шторма, как и в других океанах. Но именно под влиянием этого первого впечатления в одну из тихих лунных ночей сама собой написалась на вахте песенка «Индийский океан».

На Цейлоне в мою каюту вселился шумный и жизнерадостный кинорежиссер Савва Кулиш, автор знаменитого «Мертвого сезона», грузноватый неистребимый весельчак с запорожскими усами. Его появление на борту (он собирал материал для нового фильма) сразу же внесло заметное

разнообразие в наш унылый и скупой быт, не только для женщин, наперебой старавшихся обратить на себя его внимание, но и для мужчин. Большой любитель разного рода розыгрышей, это он пустил по судну слух, что дубленки, накупленные всеми, без исключения, участниками экспедиции еще в Монтевидео, обязательно надо проветривать и сушить на солнце, иначе они сгниют. Надо было видеть, как население «Дмитрия Менделеева» наперебой начало вывешивать свои шубы на всех палубах, в результате чего судно стало напоминать плавучий комиссионный магазин.

Именно Савва организовал и поставил грандиозное шоу в связи с праздником 8 Марта. Помню, уже поздно ночью, изрядно выпив, мы вышли с ним на крыло капитанского мостика подышать. В черной тропической влажной ночи с левого борта ярко вспыхивали береговые огни наплывавшего на нас Сингапура. «Саня, ночь-то какая! — мечтательно вздохнул Савва. — Были бы крылья — полетели бы сейчас под этими звездами на таинственный берег!» «Тройками?» — скептически спросил я. Савва махнул рукой и пошел в каюту.

Дружба наша, завязавшаяся в экспедиции, продолжалась много лет. Савва стал одним из главных мэтров отечественного кинематографа и воспитал целое поколение учеников. В последние годы, несмотря на безденежье и трудности нынешней поры, им поставлены замечательный, на мой взгляд, фильм «Железный занавес» и телесериал «Прости-прощай, двадцатый век», в состав которого вошли несколько талантливых фильмов: «Холокост», «Вождь и толпа» и других, весьма актуальных в нашей измученной сегодняшней стране, беременной неонацизмом. К сожалению, этот прекрасный, одаренный человек ушел из жизни в июне 2001-го. Ему было только 64 года…

Осенью того же 84-го года в Москве вышла наконец третья книжка моих стихов «Берег» в издательстве «Советский писатель», где рукопись пролежала около 12 лет. Выходу ее в немалой степени помог занявший пост главного редактора Игорь Михайлович Бузылев, спустя несколько лет безвременно скончавшийся от рака. Мы успели с ним подружиться, но дружба эта была, к сожалению, недолгой.

Познакомились мы с ним на вечере издательства, куда меня пригласили выступать с песнями. За столом выяснилось, что «От злой тоски не матерись» — его любимая песня, и он никак не мог поверить, что я ее автор. Книгу поставили в план, но она подверглась строжайшей цензуре: на дворе стоял 84-й год. Помню, как мой редактор Виктор Фогельсон, критически

перечитывая стихотворение «Пасынки России», где упоминался среди прочих «пасынков» художник Левитан, заявил: «Левитана надо убрать, — слишком много евреев». «То есть как?» — растерялся я. — «Очень просто, — ты еврей, я тоже, а тут еще и Левитан. В общем, так, — поскольку тебя и меня заменить невозможно, придется убирать Левитана». Так вместо «художника Левитана» в строке возник «архитектор Монферран».

Возвращаясь мысленно назад, думаю, что долгие годы, которые рукопись лежала в издательстве, пошли ей на пользу, дав возможность убрать многие слабые стихи и заменить их более зрелыми. Пока я был молод, мне казалось, что у меня хватит стихов на десяток книг. Гораздо позднее я осознал, что с трудом могу набрать их в лучшем случае на одну очень небольшую книжку.

С января 1979 года мы с женой начали ездить в зимнее время в Дом творчества писателей в Малеевке, бывшей помещичьей усадьбе, располагавшейся неподалеку от Рузы.

Основал эту усадьбу в конце XIX века весьма состоятельный человек, вложивший все свое состояние в издательскую деятельность, Вукол Михайлович Лавров. Будучи издателем одного из самых влиятельных журналов того времени «Русская мысль», он в то же время приобрел широкую литературную известность, переведя на русский язык таких классиков польской литературы как Г. Сенкевич, Э. Ожешко, Б. Прус. В гостях у Лаврова в Малеевской усадьбе нередко бывали В. Дорошевич и Д. Мамин-Сибиряк.

Здесь же неподалеку на даче жили в начале XX века В. Гиляровский и главный редактор «Русской мысли» профессор В. Гольцев, ставший одним из основателей кадетской партии. Тесно связана Малеевка также с творчеством А. П. Чехова. Многие исследователи считают, что история «Дома с мезонином» прямо навеяна пребыванием писателя в Малеевке. В малеевских архивах сохранилась частично изданная переписка Чехова с Лавровым и Гольцевым, где кроме литературных проблем нередко обсуждаются вопросы, связанные с освоением малеевских угодий.

После революции бывшее имение В. М. Лаврова получило «охранную грамоту» от новой власти, и здесь в 20-е годы разместилась писательская коммуна, преобразованная позднее в Дом творчества писателей. В 30-е годы дом этот стал своеобразным писательским клубом. О нем вспоминают в своих книгах Фраерман, Паустовский, Миндлин, Гайдар. Здесь работали Михаил Пришвин, Корнелий Зелинский, Мариэтта Шагинян, Самуил Маршак, Юрий Нагибин, Чингиз Айтматов и многие другие, любили отдыхать великая актриса Фаина Раневская,

выдающийся астрофизик Иосиф Шкловский.

Для меня, связанного с необходимостью ежедневно ходить в институт, этот месяц зимнего отпуска в Малеевке, с одной стороны, был единственной возможностью систематической литературной работы, для которой в рабочие дни не оставалось ни времени, ни сил, с другой — позволял целыми днями ходить на лыжах, к чему я пристрастился еще на Крайнем Севере. После суматошной Москвы с ее бешеным ритмом жизни, напоминающим танец с саблями из балета «Гаянэ», неспешное малеевское существование с четким распорядком дня, похожим на корабельный, заснеженные поля и березовые леса вокруг, а главное — тишина, господствующая здесь, все казалось бы, располагало к отдыху, спокойному чтению и несуетной работе. Оглядываясь назад, с удивлением замечаю, что эти «малеевские сидения» продолжались более двенадцати лет, и многое за последние годы написано там.

Когда мы с женой впервые появились в Малеевке, здесь, уже тоже, конечно, были свои старожилы, от Александра Галича, Фазиля Искандера, Юрия Карякина и Виктора Конецкого до Сергея Острового. С последним связано немало баек и легенд, часть которых упоминается в повести Аркадия Стругацкого «Хромая судьба». Мне в самые первые дни показали два варианта «Лыжни Острового». Одна из них входила в лежащую пустую железную бочку без дна и так же плавно выходила из нее другая — странным образом раздваивалась у березки, так, что одна лыжа проходила с одной стороны дерева, а другая — с другой. Помню, в самый первый наш приезд, немало заинтересовавшись этим удивительным человеком, о котором ходит столько баек, я попросил сразили Искандера показать мне Сергея Острового. Мы с ним в это время играли на биллиарде в старой биллиардной комнате главного корпуса. «Опознать его очень просто, — улыбнулся Фазиль. — У этого человека нет спины, а голова растет прямо из задницы». И хотя я скептически отнесся к такой сомнительной примете, но тут же опознал Острового, как только тот вошел в столовую.

Легенды о Сергее Островом чаще всего основывались на его действительных репликах и поступках. Однажды я сам был свидетелем, как он, разговаривая из единственного в Доме творчества телефона-автомата, около которого, как правило, собиралась очередь, оглянулся на ожидающих и закричал в трубку: «Ну ладно, заканчиваю, — ты ведь знаешь, что краткость — моя сестра». В беседе с приятелем он сказал как-то: «Только что закончил большую поэму. Знаешь, как называется? «Цыгане». Ну, что ты на меня так смотришь? У Пушкина есть? У меня

лучше». Однажды, войдя в столовую, он победоносно огляделся и, ни к кому не обращаясь, громко заявил: «Ну все, — завершил очередной цикл лирических стихов. Закрыл тему». Как-то приехала его навестить жена, и после ее отъезда кто-то из соседей по столу сказал: «Какая у вас жена симпатичная». «Это что, — откликнулся довольный Островой, — вы бы на нее голую поглядели!»

К числу малеевских легенд относилась также история с Виктором Конецким и Юрием Карякиным, которые в конце 70-х, вырвавшись в Москву, загуляли в ресторане ЦДЛ. Изловившая их там жена Карякина Ирина впихнула обоих в такси и сунула водителю три червонца (немалые по тем временам деньги) со строгим наказом — не останавливаться до самой Малеевки. Не успели они отъехать от улицы Герцена, как Юрий Федорович Карякин обратился к шоферу: «Слушай, шеф, отсюда до Малеевки — четвертной. Тебе никакой выгоды. Давай так договоримся: два червонца тебе, а один нам, и высади нас на первом перекрестке». Водитель, однако, оказался принципиальным и дверцы не открыл.

Каждый писатель, как правило, приезжал в Малеевку с большим объемом работы и устраивался здесь основательно, по-домашнему. Юрий Карякин, например, привозил с собой турецкую феску, которую неизменно надевал дома, и огромный, тогда еще в диковинку, заварной чайник с яркими расписными узорами. В зимнее время он щеголял в огромных валенках, отпускал бороду и видом своим напоминал лесника. Из тех времен запомнился весьма характерный диалог двух поэтов, встретившихся на тропинке перед главным корпусом: «Ну что, Вася, все пьешь?» — «Да ты что, — давно завязал. Гоню нетленку».

С горечью вспоминаю прекрасного писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, с которым впервые познакомился в Малеевке, уже полюбив его повести «Сашка» и «Отпуск по ранению». В его талантливой прозе, так же как и в прозе Виктора Некрасова и Василя Быкова, снова ожила жесткая правда Великой Отечественной войны. Он, помнится, сильно пил, часто был в подавленном настроении. Уже позднее я узнал, что он покончил с собой во время драматических событий в октябре 1993 года.

В конце 70-х годов традиционными были походы через речку Вертушинку в поселок напротив Малеевского дома, где располагалась дача Гали Балтер, вдовы писателя Бориса Балтера, похороненного на малеевском кладбище. В ее доме регулярно собирались писатели, поэты и художники, из которых мне более других запомнился Борис Биргер, выставлявший там свои работы.

Само место, где располагалась Малеевка, неподалеку от Москва-реки, считалось почему-то не очень полезным для

здоровья, особенно для сердечников и гипертоников. Поговаривали о том, что дело в заболоченных подзолистых почвах, в еловых и осиновых лесах, растущих в округе. Так или иначе, помню, что именно в Малеевке мне все время снились какие-то странные, часто тягостные сны.

Округа Малеевской усадьбы в те поры была еще относительно безлюдной. В зимнее время любители лыжных прогулок обычно отправлялись разными маршрутами, — либо по «малому кругу» через Воронцово поле, длительностью примерно в два часа, либо по «большому кругу», включавшему путь вдоль высоковольтной линии и выход к Москва-реке. Оба маршрута за долгие годы были выучены нами наизусть. В лыжных прогулках участвовали, как правило, все. Помню, как неторопливо и величаво передвигался на лыжах, не сгибая колени, Фазиль Искандер, высоко подняв голову в горской папахе и гордо поворачивая ее то влево, то вправо. Теперь незаселенных лесов вокруг Малеевского дома почти не осталось, — со всех сторон путь лыжникам перегородили обнесенные забором участки настоящих и будущих дач. Как тут не вспомнить с грустной улыбкой знаменитую «Лыжню Острового»?

Прошли годы. Вымерли и разъехались многие знаменитые завсегдатаи Малеевского Дома творчества. Да и сам этот дом, некогда роскошный и ухоженный, обветшал и обнищал, приходя постепенно в полную негодность.

В главном здании малеевского дома, перестроенном из старинного барского особняка в стиле «русского классицизма», с камероновскими фирменными вензелями над главной лестницей, поначалу размещались роскошные старинные мебельные гарнитуры, среди которых выделялся своей массивностью огромных размеров буфет темного дуба. С течением времени, однако, вся эта старинная мебель мало-помалу разворовывалась и исчезала бесследно. Писались многочисленные жалобы в правление Литфонда, одного директора сменял другой, но воровство неизменно продолжалось. В конце концов исчез и гигантский буфет, непонятно как вывезенный. Возможно, стараясь замести следы расхищения, правление Литфонда затеяло чрезвычайно дорогостоящий капитальный ремонт в здании, в итоге которого были полностью уничтожены следы старинного интерьера.

Стены столового зала и вестибюля оказались украшенными бездарными барельефами, изображавшими то якобы писателя, сидящего на скамейке с дурацким вдохновенным видом, то уродливых женщин, несущих на голове сосуд. Более десятка сделанных по специальному заказу безумно дорогих и аляповатых

люстр и настенных мозаик завершили эту безрадостную картину.

Второй гордостью Малеевки была уникальная библиотека, собиравшаяся еще с дореволюционных времен, где можно было найти почти все, что нужно для работы. В последний год нашего приезда и ее тоже начали понемногу расхищать, несмотря на яростное сопротивление заведующей, Людмилы Федоровны Галенкиной — немолодой и больной женщины, отдавшей созданию и хранению библиотеки более сорока лет, а теперь бескорыстно и безнадежно борющейся с хитрым и всемогущим руководством. Сейчас, в век «рыночных отношений», Малеевке приходит конец, — ворочавший когда-то огромными неподконтрольными деньгами, а нынче «неожиданно обнищавший» Литфонд сдает ее в аренду «крутым бизнесменам» и, скорее всего, продаст за бесценок каким-нибудь удачливым предпринимателям. А жаль — целая эпоха несчастной нашей литературы связана с этим местом.

Хрустальная люстра в большой и безлюдной столовой,
Раскрытая книга над аляповатым карнизом.
Дом творчества был здесь — какое нелепое слово, —
Оно постепенно становится анахронизмом.

Не пишет никто здесь теперь ни романы, ни стансы,
За нас перед вечностью слово пытаясь замолвить.
Из пишущей братии в доме сегодня остался
Лишь с орденом Ленина гипсовый Серафимович.

Мне жалко советской распавшейся литературы.
Окошек пустых обветшалого этого лома.
Своих сочинений, что в школе написаны сдуру,
Героев Фадеева или же «Тихого Дона».

Печальные боги минувшей поры исполинском.
Которые голову с юных морочили лет нам!
«Титло литератора, — сказывал как-то Белинский, —
Важней, чем мундиры и блеск мишуры эполетной».

Никто их сегодня не знает уже и не ценит.
Умолкли машинки, стучавшие здесь вечерами.
И стол заседаний темнеет на брошенной сцене.
Как пыльное капище в древнем языческом храме.

Спасибо, что петь разрешили

«Авторская песня, самодеятельная песня. Поющие поэты, барды и менестрели» — какие только названия не находили для того странного на первый взгляд творческого направления, которое, возникнув в конце 50-х годов, на исходе короткой и ненадежной хрущевской оттепели, начало набирать неожиданно силу в 60-е.

Раньше в советском обществе все было просто и понятно: композитор писал музыку для песни, поэт придумывал на эту музыку стихи. Так создавалась песня, которая потом в исполнении профессионального певца (или певицы, или, что еще лучше, хора) звучала с эстрады, кино- или телеэкрана, по радио или с пластинки, а народ радостно эту песню подхватывал. При этом официальное песенное искусство, превратившееся к тому времени в могучую социалистическую индустрию, предусматривало для потребляющей массы довольно широкий ассортимент — от «В буднях великих строек» или «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин» до «Ясной ночкою весенней при луне» или «Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить».

Партия и правительство всегда зорко следили, чтобы в голодной и бесправной стране все время звучали бодрые песни. Кропотливым трудом нескольких поколений большого отряда композиторов и поэтов был создан своего рода огромный цитатник на все случаи жизни. В стране, еще не дожившей до «развитого социализма», в песенной области уже настойчиво осуществлялся «коммунистический» принцип распределения — «каждому по потребностям». И все это — при обязательном преобладании в музыкальной и словесной доминанте маршевого ритма. Вся страна должна была неуклонно маршировать, как единая колонна. «Шаг влево и шаг вправо» расценивались как попытка к бегству.

Любые, порой самые, казалось бы, невинные отступления от нормы вызывали немедленную грозную реакцию. Так, еще с начала 30-х годов были объявлены «буржуазно-мещанскими» и практически запрещены лирические песни Оскара Строка в исполнении Лещенко, по которым сейчас вспоминают эту эпоху; в 40–50-е осуждению подвергся Марк Бернес — за «излишне» задушевную интонацию.

В середине 60-х официальное «песенное пространство» было занято, с одной стороны, псевдонародной «русской песней», наиболее ярко представленной любимицей Политбюро Людмилой

Зыкиной, с другой — «советской лирической песней», где успешно подвизался обаятельный Иосиф Кобзон. Настоящее предприятие организовали Александра Пахмутова со своими соавторами Гребенниковым и Добронравовым, буквально оккупировав всю конъюнктурную тематику — от целины до космоса. Кстати, про Александру Пахмутову, которая была невелика ростом, рассказывали, что на одном из правительственных банкетов, сидя за высоким столом, она подняла бокал и заявила: «Предлагаю выпить за нашу славную коммунистическую партию! А за партию надо пить стоя». И вдруг исчезла под столом. Оказалось, что она просто встала на ноги.

И вот весь этот гигантский государственный, отлаженный десятилетиями песенный конвейер, где все роли были четко расписаны и закреплены, начал давать сбои, а потом и вовсе затормозился где-то к середине 60-х.

Вместо предусмотренных Музгизом, худсоветами и Главлитом песен, тиражирование которых не только не сократилось, но даже возросло, на тесных московских и ленинградских кухнях блочных «хрущевских» домов, у дымных костров геологических экспедиций и в только возникших тогда студенческих строительных отрядах «технари», студенты, рабочие, интеллигенция стали распевать какие-то странные песни под гитару: «Неистов и упрям, гори, огонь, гори», «Из окон корочкой несет поджаристой», а альпинисты — «Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой». При этом все смешалось — запели вчерашние слушатели, не обращая внимания на свои вокальные данные. И совсем не то, что пели вчера Так неожиданно песня стала средством общения людей.

Исчезла «цеховая» монополия. В противовес официозному песенному искусству возникло второе песенное направление, основанное на несложном гитарном сопровождении. Главным в авторской песне была не музыка, которая, как правило, достаточно проста, а стихи.

Само слово «авторская песня», кажется, придумал Владимир Высоцкий, чтобы подчеркнуть, что в этой песне все делает один и тот же человек: сам придумывает стихи и мелодию, сам поет. В 1963 году Алла Гербер опубликовала в «Юности» статью, в которой авторы этих песен назывались «бардами и менестрелями», и слово «барды» осталось, хотя оно и не очень точно. Что же касается официальной прессы, и прежде всего комсомольской печати, которая приняла новое направление в штыки, то она сразу же присвоила этой песне снисходительное название «самодеятельная», решительно отказав этим унижающим термином авторам в какой бы то ни было

профессиональности. Как будто можно назвать Булата Окуджаву или Новеллу Матвееву «самодеятельными поэтами», а Владимира Высоцкого или Юлия Кима «самодеятельными исполнителями».

Основоположником авторской песни обычно считают Булата Окуджаву, и для 60-х годов это, пожалуй, верно. Но если мы заглянем подальше, в нашу раннюю историю и даже в античные времена, то немедленно убедимся, что авторская песня существовала всегда. Задолго до появления печатных станков и даже письменности. Именно она легла в основу всех форм современной литературы. Возможно, самым древним автором, упомянутым в литературе, а значит, и первым основоположником авторской песни, был библейский царь Давид. При этом изустное творчество неизменно было связано со струнным инструментом — арфа, гусли, саз, гитара. Музыкальное сопровождение древних авторов было, видимо, несложным. Нехитрое струнное звучание не претендовало на оригинальную мелодию, а скорее создавало музыкальный фон для повествования, силовое поле, заставляющее слушателей быть внимательными.

Что касается нашей отечественной истории, то одним из прародителей авторской песни можно считать легендарного Бояна или не менее легендарного Садко. Вот уж этот-то, по-видимому, был и впрямь самодеятельным автором, так как по основной своей профессии работал в системе Внешторга древнего Новгорода, а песни сочинял явно «идейно невыдержанные», что и привело, если верить былинам, однажды к тому, что реакционная боярская администрация вытолкала его с пира взашей.

В последнее время появилось немало работ, авторы которых связывают литературные истоки авторской песни с русским романсом, с именами Михаила Кузмина, Александра Вертинского, Аполлона Григорьева, Дениса Давыдова и других русских поэтов.

В воспоминаниях знаменитой подруги Пушкина Анны Петровны Керн есть фраза: «Пушкин, прогуливаясь со мной по окрестностям Тригорского, напевал мне свои стихи на собственные мелодии своим сильным и звучным голосом».

Согласно разысканиям замечательного литератора Валентина Дмитриевича Берестова, народная песня, записанная рукой Пушкина в его старой тетради, которую он вел в Михайловском, и услышанная им, как считали прежде, от Арины Родионовны, на самом деле не услышана, а сочинена им самим. Вот текст этой песни:

Как за церковью, за немецкою.
Добрый молодец Богу молится.

— Как не дай. Боже, хорошу жену, —
Хорошу жену в честный пир зовут.
Меня, молодца, не примолвили.
Молоду жену — в новы саночки,
Меня, молодца, — на запяточки.
Молоду жену — на широкий двор.
Меня, молодца, — за воротички.

Интересно, что когда Берестов впервые показал мне этот текст и спросил, на какой бы мотив я стал его петь, я немедленно запел эти строчки на нехитрую мелодию. «Правильно, — засмеялся Берестов, — я тоже запел их так же, значит, мелодия — единственно верная».

В песне этой, по мнению Валентина Дмитриевича, с удивительной пророческой точностью отразилась печальная история, записанная в пушкинском дневнике 26 января 1834 года: «В прошедший вторник зван я был в Аничков. Приехал в мундире. Мне сказали, что гости во фраках. Я уехал, оставя Наталью Николаевну, и, переодевшись, отправился на вечер к С. В. Салтыкову. Государь был недоволен и несколько раз принимался говорить обо мне».

Позднее, в 1836 году, Наталья Николаевна 15 ноября была приглашена в Аничков дворец без мужа, как раз после нашумевшей в свете истории с анонимными письмами, — позвали на потеху свету жену без мужа.

Что касается «немецкой церкви», то, как справедливо заметил В. Д. Берестов, в Питере до сих пор называют так лютеранскую церковь святого апостола Петра на Невском, за которой расположена набережная Мойки и дом 12 с последней квартирой Пушкина.

Песня явно написана Пушкиным по мотивам народной песни, записанной Киреевским:

Мою жену / часто в гости зовут.
Мою жену / во колясочке везут.
Меня, мужа, / на веревочке ведут.

В письме между 28 и 30 сентября 1832 года Пушкин пишет Наталье Николаевне: «Знаешь русскую песню:

«Не дай Бог хорошей жены —
Хорошу жену часто в пир зовут».

В то же время, как подчеркивает Берестов, ни одной народной песни про то, как жену зовут в честной пир без мужа, до сих пор не найдено. Это подтверждают и фольклористы. И если песня действительно написана поэтом в 1824 году в Михайловском, то он сам напророчил себе и женитьбу на первой красавице, и унизительное в его лета камер-юнкерство, и балы в Аничковом, откуда его выставили «за воротички», и даже свой последний адрес за «немецкой церковью». Если же песня написана в 1836 году, то совершенно очевидны причины, побудившие Пушкина зашифровать ее под народную. Тем более что из первых изданий пушкинского дневника эпизоды с балами в Аничковом были исключены.

Вот и получается, что основоположником авторской песни в России был сам Пушкин.

Если все это так, если авторская песня возникла еще в ранней истории человечества, возможно, еще до существования письменности, как же получилось, что она вновь появилась в нашей стране в середине XX века? Ну, средние века — это понятно: из-за низкого уровня письменности, отсутствия радио, телевидения, печати единственной формой песенного общения было изустное. Но теперь-то все это есть!

В том-то и дело, что в 60-е и 70-е годы, которые теперь называют «эпохой застоя», все эти могучие средства, находящиеся под строгим контролем государства и партийной бюрократии, для настоящего искусства оказались наглухо закрыты. И народ, со свойственной ему изобретательностью, снова вернулся к средневековым формам общения. Правда, не совсем. С появлением и развитием магнитофонной техники в нашей стране, наряду с «Самиздатом», появился «Магнитофониздат».

Так что сам факт появления авторской песни в затхлые брежневские времена, после того как «наш дорогой Никита Сергеевич» успел напоследок изрядно погромить изобразительное искусство и печатную поэзию, уже был крамольным. Он свидетельствовал о большом непорядке в «датском королевстве». И это было сразу же правильно понято ревнивыми хранителями идейной чистоты нашего искусства, исходившими из принципа, метко сформулированного в одной из сатирических песен Юлия Кима:

> А как у нас по линии искусства?
> — Рады стараться, — Боже, ЦеКа храни!

Действительно, с самого момента своего появления авторская песня постоянно запрещалась и многократно предавалась

анафеме с высоких трибун и в печати.

Следует отметить однако, что и в наше время жанр этот возник не на пустом месте, а во многом унаследовал традиции романса, как классического, так и городского. Уже упоминалось, что предтечей авторской песни в кино стал Марк Бернес, а в эстраде — Оскар Строк, Вадим Козин и Петр Лещенко.

Что же касается конца 50-х, то важным событием для Москвы, послужившим стимулом для появления авторской песни в СССР, явился приезд в 1956 году знаменитого французского киноактера и шансонье Ива Монтана. Исполнявшиеся им песни сразу же буквально облетели всю страну и вызвали массу подражаний.

И все-таки главную роль в возникновении авторской песни в наши дни сыграла знаменитая российская песенная ментальность.

Помню, еще в годы войны я видел фильм «Военная тайна», посвященный изобретению знаменитой «Катюши». Там старый и опытный немецкий разведчик, наставляя молодого шпиона, которого должны под видом русского закинуть в наш тыл, говорит ему: «Русские — натуры хитрые и ленивые, — любят пить и петь». Не знаю, как по части питья, но уж пение на Руси всегда было в моде. Рассказывают, что кто-то из друзей Сергея Есенина, возможно, Анатолий Мариенгоф, однажды сказал ему за столом: «Сережа, зачем ты песни пишешь? Пиши лучше стихи. Стихи у тебя замечательные, а песни — пошлые». На что Есенин, поставив на стол стакан с недопитой водкой, заявил: «В России, чтобы тебя знали, надо песни писать. А то так Пастернаком и помрешь».

Как уже говорилось, возникновение в 60-е годы нового песенного жанра на границе литературы и музыки, начало эпохи авторской песни, как правило, связывают прежде всего с именем Булата Окуджавы, наиболее значительного поэта из авторов «первого поколения». Его творчество произвело подлинную революцию в песне и стихах, уничтожив «железный занавес» между ними, что не раз приводило в ярость ревнителей «чистой поэзии» и «чистой песни». Дело, однако, не только в этом. А еще и в том, что его песни привили молодежи, и не только молодежи, новый (или утраченный задолго до нас старый) тип самосознания — любовь и уважение к Личности.

Не менее важным событием в 60-е явилось рождение такого крупного мастера авторской песни, как Александр Галич. Само превращение преуспевающего драматурга и киносценариста, пьеса которого «Вас вызывает Таймыр» обошла сцены всех театров СССР, в автора ярких, обличительных, уничтожающих песен представлялось удивительным. До этого он тоже порой писал песни, но были они совсем другими, такими, например, как песня

на музыку В. П. Соловьева-Седого «До свиданья, мама, не горюй», под которую все мы когда-то бодро маршировали. И вдруг… Горькая, едкая сатира, галерея зощенковских персонажей — от Клима Петровича Коломийцева, выступающего на митинге по указке и шпаргалке парткома («Как мать, говорю, и как женщина, требую их к ответу»), до незадачливых героев песен про «Товарища Парамонову» и «О прибавочной стоимости».

В отличие от лирических песенных монологов Булата Окуджавы, песни Александра Галича, почти всегда персонифицированные, имели острый драматургический театральный сюжет. Сочный язык улиц противостоял в них издевательски подчеркнутой канцелярской, безжизненной речи тупой аппаратной олигархии. Именно поэтому многие считают Галича предтечей Владимира Высоцкого. Наконец, горькие, патетические, высокие в своем трагизме песни: «Мы похоронены где-то под Нарвой», «Уходят друзья», «Памяти Пастернака», «Облака». Именно это «второе искусство» сделало Александра Галича уникальным, неповторимым поэтом… и оно же привело к необратимому крушению его житейского благополучия, исключению из Союза советских писателей, изгнанию из страны и трагической смерти на чужбине в 1977 году. Только сейчас песни его, долгие годы уничтожавшиеся как крамольные, вернулись на родину, но вернулись, увы, с большим запозданием.

Несколько позднее, примерно с середины 60-х, в «интеллигентскую» авторскую песню бурно ворвался хриплый и громкий голос Владимира Высоцкого. На первых порах нарочито надрывная манера его исполнения, «блатная» тематика ранних песен, полуцыганская нарочитая аффектация и примитивные мелодии создавали впечатление чего-то вторичного, узнаваемого. Но стихи… Я помню, как поразили меня неожиданно своей удивительной поэтической точностью строки одной из его «блатных» песен: «Казалось мне, кругом — сплошная ночь, тем более что так оно и было».

Поэт Александр Кушнер как-то написал:

> Попробуйте Пушкина в сороковые
> Представить живущим, попробуйте Блока
> Представить в попутчиках…

Действительно, мы не можем представить себе теперь старого, маститого Высоцкого, как не могли бы вообразить старого Пушкина, обласканного царем. В жизни и внезапной смерти больших поэтов есть недоступные нашему пониманию

роковые закономерности.

И кончилось время, и в небе затмилась
Звезда, и в истории треснуло что-то.

Строки эти (тоже Александра Кушнера) вспомнились мне не случайно. Высоцкий неожиданно ушел из жизни на самом взлете своего огромного поэтического таланта и навсегда остался молодым. «Прерванный полет» — написала Марина Влади.

Более двух десятилетий бьет нам в сердце отторгнутый от автора хриплый и яростный голос, то негодующий, то беспощадно смеющийся, призывая каждого к ответу за то, что произошло, и за то, что происходит сейчас. Он подобен бессмертной душе, что отделилась от бренного тела и живет отдельно. Непримиримый к любой лжи и фальши, он будит нашу задремавшую и траченую временем совесть, обращаясь к ней на жестком языке городских дворов и окраин, напоминая об утерянном братстве военной и послевоенной поры, возвращая к бескомпромиссной мальчишеской эпохе разделения мира на друзей и врагов.

Голос этот обращается как бы к каждому из слушающих песню. От него не спрячешься за чужую спину.

Но дело, конечно, не только и не столько в памятном всей стране голосе Высоцкого-актера, а прежде всего в неповторимом голосе Высоцкого-поэта, его предельном — на разрыв связок — нерве. Недаром именно такое название получила одна из первых вышедших уже посмертно книг его стихов.

Когда думаешь о характерных особенностях того странного жанра, от которого много лет весьма старательно и успешно отпихивались как поэты, так и композиторы «в законе», и который получил не слишком точное название «авторской песни» (как будто бывают песни без авторов), и вспоминаешь о наследии безвременно ушедших из жизни ведущих его художников — Окуджавы, Галича и, конечно, Высоцкого, можно попытаться сформулировать, в чем ж с неповторимая индивидуальность каждого из них, столь непохожих один на другого. Мне представляется, что она прежде всего в личности автора, в его особенной интонации, подделать которую невозможно.

Высоцкий был истинно народным поэтом, он свободно, как воздухом, дышал всем многообразием безграничных богатств российской словесности — от сказочного фольклора и высокого штиля до мусорного и сочного языка улицы. В его песенных стихах нет ни одной натужной искусственной строки. Все поется, как говорится, — легко и естественно, будь это сложнейшие диалоги персонажей с их яркой сленговой речью или изысканные

дактилические и четырехсложные рифмы, свидетельствующие о высоком поэтическом мастерстве автора:

Я ему — ну вот я весь, —
Ты же меня спас в порту.
Только тут загвоздка есть. —
Русский я по паспорту.

Или:

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть.
Но что-то кони мне попались привередливые,
И дожить не успел, мне допеть не успеть.

Становление поэта происходило стремительно, как будто он догадывался о своем раннем уходе. В коротких песенных текстах (а песня длинной быть не может) он с мастерством истинного художника ухитрялся отобразить целую эпоху: от трагичных и героических лет войны («Штрафные батальоны», «Звезды», «В госпитале») до сегодняшних дней («История болезни», «Мишка Шифман», «Разговор у телевизора»).

Впервые я встретился с Владимиром Высоцким в январе 1965 года за сценой Центрального лектория в Политехническом музее в Москве, где мы вместе выступали в каком-то альманахе. Когда я подошел к нему, он, как мне показалось, хмуро взглянул на меня и неожиданно спросил: «Вы что, еврей, что ли?» «Да, ну и что?» — ощетинился я, неприятно пораженный таким приемом. Тут он вдруг улыбнулся и, протянув мне руку, произнес: «Очень приятно, я имею прямое отношение к этой нации».

Несколько лет назад мне позвонили из музея Высоцкого: «Мы отыскали магнитофонную запись вашей встречи с Владимиром Семеновичем в шестьдесят пятом году в Ленинграде на квартире у Евгения Клячкина. К сожалению, на записи есть только песни, а от разговора одни обрывки. Не можете ли вы вспомнить, о чем с ним беседовали?»

Действительно, в те далекие времена, в век громоздких и старых катушечных магнитофонов, магнитофонная пленка была большим дефицитом. Ее бережно экономили и включали магнитофон в застольях и компаниях только на песни, а когда начинался «треп», выключали. Нельзя не вспомнить в связи с этим, что в те поры в Москве, попав в дом к одному из известнейших тогда собирателей авторских песен

(«магнитофонщику»), я обратил внимание, что пленку он не экономит. Магнитофон у него не выключался весь вечер и записывал не только песни, но и все застольные разговоры. Это послужило поводом к подозрению, что хозяин дома стукач и работает на КГБ.

«Да нет, не помню, конечно, — столько лет прошло», — ответил я. — «Как же так, вы с самим Высоцким разговаривали и не помните о чем?»

Кое-что на самом деле запомнилось. Весной 65-го года, несмотря на яростное сопротивление ленинградского обкома партии и его тогдашнего босса Василия Сергеевича Толстикова, театр на Таганке приехал на гастроли в Ленинград. Спектакли игрались на сцене Дома культуры имени Первой Пятилетки на углу улицы Декабристов и Крюкова канала.

Привезли они свои уже знаменитые постановки «Добрый человек из Сезуана», «Живые и павшие» и премьеру «Жизнь Галилея», где главную роль играл Высоцкий. Мне его исполнение не понравилось. Я представлял себе Галилея маститым средневековым ученым с благородной сединой, величественным европейским обликом и неторопливыми движениями, а увидел на сцене совершенно непохожего курносого молодого парня, не очень даже загримированного, который хриплым полублатным голосом «прихватывал» инквизиторов.

Обо всем этом я и заявил беззастенчиво Володе, с которым встретился на следующий день в доме у Жени Клячкина. Значительно позднее я понял, что актер Высоцкий тем и отличался от большинства других актеров, что черты своей неповторимой личности вкладывал в сценические образы. Поэтому-то Галилей-Высоцкий, Гамлет-Высоцкий и Жеглов-Высоцкий это — Высоцкий-Галилей, Высоцкий-Гамлет и Высоцкий-Жеглов. Но уже тогда я это подсознательно почувствовал, поскольку через несколько дней написал две песни, посвященные Высоцкому в роли Галилея, — «Галилей» и «Антигалилей».

…Ах, поэты и мудрецы,
Мы моральный несем убыток
В час, когда святые отцы
Волокут нас к станкам для пыток.
Отрекись глупцам вопреки, —
Кто из умных тебя осудит?
Отрекись, Галилей, отрекись,
Нам от этого легче будет.

Разговор за столом коснулся также и блатного уклона песен Высоцкого в то время («Рецидивист», «Я был душой дурного общества», «Уголовный кодекс» и других). Я, как уже говорил, разделяю позицию почитаемого мною Шаламова, что вся так называемая романтика блатного мира — вещь дутая и фальшивая, что блатари на самом деле — нелюди, и попенял Володе, что он во всю силу своего таланта умножает романтику блатарей своими песнями. Он, смеясь, вяло отшучивался.

Это было время, когда люди, набившие оскомину на приторно сладкой лживой лирике советских песенников, охотно распевали блатные и полублатные песни, в которых им слышался хоть какой-то воздух свободы, пусть и воровской. Время показало, однако, что Высоцкий был прав, интуитивно, сразу же найдя верный тон и имидж для своих ранних песен в стране, где восемнадцать миллионов погибли в лагерях, — не зря гимном народа стала его знаменитая «Банька».

Блатной стиль разговора, блатная надрывная канва его первых песен сразу сделали их автора народным героем, хулиганом, бунтарем. Если хулиган Маяковского, покрасовавшись перед девушкой, довольно быстро стал правофланговым запевалой, ассенизатором и водовозом при властях, то Высоцкий остался независимым до самой смерти, не соблазнившись ни на «ласку» первых лиц страны, ни на «сладкую» зарубежную жизнь с Мариной Влади.

Как поэт он фактически создал новый язык, смело введя в литературу все многообразие диалектов и сленгов улицы и подворотен. Ввел просто и грубо, не сюсюкая, как некоторые псевдоноваторы, над каждым словечком, а естественно разговаривая о сложнейших вещах. Не случайно поэтому его сразу же записали «в свои» и окопные фронтовики, и лагерные зеки, что столько легенд возникло вокруг его имени и биографии. Голос и облик Владимира Высоцкого вошли в плоть и кровь народа, стали его неотъемлемой частью раз и навсегда.

Характерно, что в галерее песенных персонажей Высоцкого главную роль играют вовсе не воры и бандиты как таковые, а скорее герои, бесстрашно принимающие бой и выигрывающие в сложных обстоятельствах. Здесь и летчики, и пехотинцы, и альпинисты, и подводники, и спортсмены, и золотоискатели, и даже милиционеры (знаменитый Жеглов). И все это — точное психологическое воплощение русского народного сознания.

Помню, на той же встрече у Жени мы договорились снова встретиться назавтра, чтобы посидеть и попеть друг другу новые песни (в театре в тот день был выходной), однако минут через пятнадцать Володе позвонила какая-то «Нинка», и он назначил ей

свидание на то же самое время. «Ребята, извините, — смущенно пояснил он нам, — никак не могу такой случай упустить». И, махнув рукой, сокрушенно добавил, уходя: «Ну, и дела же с этой Нинкою!»

В ту пору мне пришлось выступать вместе с Володей в Ленинграде в помещении какого-то Дома пионеров. Я выступал в первом отделении, Высоцкий — во втором. Зал был переполнен. В конце вечера Володю много раз вызывали петь «на бис». Он несколько раз вышел, но зал не успокаивался. Минут пять упорно и ритмично хлопали, топали ногами. Мы стояли за занавесом у края сцены. Зал продолжал шуметь. «Ну выйди, спой», — сказал я Володе. Он неожиданно круто обернулся ко мне, и меня испугало его лицо, вдруг осунувшееся, постаревшее, с желтой кожей и запавшими глазами-«Ну ладно, эти не понимают, — яростно прохрипел он мне, — но ты-то свой, ты должен понять. Да я сдохну, если еще одну спою!» Как же выкладывался он уже тогда, сжигая свои силы без остатка!

Осенью 68-го года, во время служебной командировки в Москву, я позвонил ему домой. «Хорошо, что дозвонился, — обрадовался он. — У нас как раз сегодня премьера в театре — «Десять дней, которые потрясли мир». Билет, правда, я тебе дать не могу, потому что все билеты отдали для делегатов XXI съезда, но это неважно, я тебя все равно проведу. Значит, слушан. Мы стоим, одетые матросами, с винтовками, как перед Смольным, у входа в театр — вместо контролеров, и все входящие накалывают свои билеты нам на штыки. Понял? Возьми любую бумажку и наколи мне на штык. Я стою у самых левых дверей. Только не перепутай, — там у нас сегодня все стоят мордатые».

Когда я накалывал пустую бумажку на штык его «трехлинейки», он подмигнул мне и шепнул: «После спектакля не убегай — поедем ко мне». Это был, по существу, единственный раз, когда мы просидели с ним у него дома всю ночь. Жил он тогда со своей женой Людмилой в районе Черемушек, недалеко от Ленинского проспекта. Пели песни, разговаривали. Помню, уже тогда он отказывался от налитой рюмки, а когда я начал подначивать его, чтобы он все-таки выпил, грустно сказал: «Погоди, Саня, и ты еще доживешь до того, что будешь отказываться».

Каким только гонениям не подвергался Владимир Высоцкий при жизни! В июне 68-го года, когда официальная пресса начала активно атаковать авторскую песню, газета «Советская Россия», во все годы бывшая верным оплотом реакции и оставшаяся им поныне, опубликовала статью «О чем поет Высоцкий». Авторами статьи были преподаватель саратовского института культуры

Г. Мушта и корреспондент газеты А. Бондарюк.

«Во имя чего поет Высоцкий? — грозно вопрошали авторы и сами себе отвечали: — От имени и во имя алкоголиков, штрафников, преступников, людей порочных и неполноценных. Это распоясавшиеся хулиганы, похваляющиеся своей безнаказанностью… У него, например, не находится добрых слов о миллионах советских людей, отдавших свои жизни за Родину. Странно, но факт остается фактом: герои Отечественной войны, судя по одной из песен Высоцкого, — бывшие преступники, которые «не кричали «ура»», но явились чуть ли не главной силой, и не будь их — нам не удалось бы победить врага».

Далее авторы, со свойственной им невежественностью, инкриминировали Высоцкому цитаты из песен Визбора и Кукина. Какая разница, в самом деле? Раз приказано, то все равно — ату его! «Идет охота на волков, идет охота». Вот что пишут они о поэте:

«В погоне за сомнительной славой он не останавливается перед издевкой над советскими людьми, их патриотической гордостью». И затем: «Все это совсем не так наивно, как может показаться на первый взгляд: ржавчина не вдруг поражает металл, а исподволь, незаметно. И человек не вдруг начинает воспринимать и высказывать чуждые взгляды. Сначала это просто сочувствие преступникам, на том основании, что они тоже люди. Сначала — вроде шутя о милиции, которая «заламывает руки» и «с размаху бросает болезного», а потом возникает недовольство законом, правосудием».

И наконец, прямой донос: «Привлекательными кажутся многим поначалу и песни Высоцкого. Но вдумайтесь в текст, и вы поймете, какой внутренний смысл таится за их внешностью».

Высоцкий мужественно переносил все издевательства и травлю, хотя именно это во многом подточило его сердце и приблизило безвременную гибель. На потоки клеветы он ответил гордыми строчками:

Вы не бойтесь — я не уехал,
И не надейтесь — я не уеду.

О внезапной смерти Высоцкого я узнал в Литве, в Друскенинкае, из передачи Би-Би-Си. Признаться, поначалу не поверил, — слишком много ходило о Высоцком самых фантастических слухов, — наутро пошел звонить в Москву. Оказалось — правда.

Потрясенный этой неожиданной смертью, я написал стихи, посвященные его памяти:

Погиб поэт. Так умирает Гамлет,
Опробованный ядом и клинком.
Погиб поэт, а мы вот живы, — нам ли
Судить о нем как встарь — обиняком?
Его словами мелкими не троньте, —
Что ваши сплетни суетные все!
Судьба поэта — умирать на фронте.
Вздыхая о нейтральной полосе.
Где нынче вы, его единоверцы.
Любимые и верные друзья?
Погиб поэт, не выдержало сердце, —
Ему и было выдержать нельзя.
Толкуют громко плуты и невежды
Над лопнувшей гитарною струной.
Погиб поэт, и нет уже надежды.
Что это просто слух очередной.
Теперь от популярности дурацкой
Ушел он за иные рубежи:
Тревожным сном он спит в могиле братской.
Где русская поэзия лежит.
Своей былинной не растратив силы.
Умолк певец, набравши в рот воды,
И голос потерявшая Россия
Не замечает собственной беды.
А на дворе — осенние капели,
И наших судеб тлеющая нить.
Но сколько песен все бы мы ни пели,
Его нам одного — не заменить.

В конце сентября, после возвращения в столицу, я отправился на Ваганьково кладбище, на могилу Володи. Был сухой и ясный сентябрьский день. На дорожках кладбища жгли сухие листья. Ослепительно блестел купол кладбищенской часовни. У могилы, заваленной цветами, теснилась неизменная толпа. Я впервые в жизни попал на Ваганьково, и, может, быть, именно поэтому мне показалось удивительным, что неподалеку от могилы Высоцкого оказалась могила другого русского поэта, так же, как и он, безвременно и трагически ушедшего из жизни, совершенно, казалось бы, непохожего на Володю и чем-то неуловимо похожего — Сергея Есенина. Теперь рядом с ними лежит и Булат Окуджава.

Белый аист московский на белое небо взлетел.
Черный аист московский на черную землю спустился.

Через несколько дней мне неожиданно позвонил из Южно-Сахалинска мой однокашник по Ленинградскому Горному институту бывший фронтовик Вадим Головинский. Слышно было очень плохо. «Саша, — кричал Вадим сквозь треск и шум, — я здесь никому не верю. Скажи, это правда про Володю Высоцкого?» «Правда», — сказал я. — «Да нет, я не про то, что умер. Правда ли, что его убили?» «С чего ты взял? — удивился я. — Нет, он сам умер». «Ты точно знаешь?» — снова спросил Головинский. «Точно, — ответил я. — А с чего ты решил, что убили?» — «Ну как же, — должны были убить!»

Внезапная смерть Высоцкого, его многолюдные стихийные, никем, по существу, не санкционированные похороны, всенародный плач по опальному и непризнанному поэту в самую пик-фазу глухого застойного времени, в Москве, наводненной по случаю Олимпийских игр гебешниками и милицией, показали всему миру, что у народа, бесправного и угнетенного, отравленного страхом и лживыми фарисейскими лозунгами, есть неубиенная душа. Идут годы, но не иссякает поток многочисленных стихотворных и прозаических посвящений Владимиру Высоцкому — неувядающий венок поэту.

Говорить о наследии Высоцкого сложно. Огромный масштаб его поэтического таланта и личности, неповторимая органика слияния его хриплого голоса с жестким существом песен обрекают на заведомую неудачу все бесплодные попытки подражателей. Такой голос подделать невозможно. Он был и остается единственным.

Теперь, спустя годы со дня смерти Высоцкого, его, можно сказать, канонизировали. Все, что он написал, без разбора превратили в ширпотреб. Поставили ему безвкусные памятники. Ежегодно в музее его имени проводятся научные конференции, материалы которых публикуются в томах «Мир Высоцкого» (это, не в пример прочему, отрадное явление, — Высоцкого надо изучать). Травившая его при жизни пресса изрядно постаралась, чтобы превратить его жизнь в «житие» и изобразить Высоцкого законопослушным благонамеренным патриотом. На этот раз его противники атакуют поэта с другой стороны, пытаясь опошлить его творчество и облик в глазах потомков через беспредельную канонизацию. Хочется надеяться, что после своей безвременной смерти Владимир Высоцкий вынесет и это испытание, как мужественно выносил при жизни запреты и непризнание. Его яростные песни, по которым историки будут опознавать нашу эпоху, останутся жить и в наступившем тысячелетии.

Не случайно именно ему принадлежат слова: «Без народа, для которого я пишу, я не существую».

Юлий Ким. Упоминание этого имени сразу же вызывает улыбку. Действительно, в авторской песне, стремительно взлетевшей в 60-е годы, Юлий Ким — явление уникальное и исключительное. Его недостаточно «читать с листа» или слышать голос на магнитофонной кассете или пластинке — его обязательно надо видеть. Этот удивительный человек один воплотил в себе целый театр — с автором, музыкантом, режиссером и многочисленным и талантливым актерским коллективом. В его яркой разнообразной труппе есть пьеро и арлекины, герои и героини, карикатурные и отвратительные персонажи — бюрократы, «аппаратчики», пьяницы, подхалимы; есть уже знакомые нам по сказкам и старинным книгам герои классических произведений, получивших в песнях Кима вторую жизнь. Рыболовы и пираты, гусары и кавалергарды, школяры и комедианты, неунывающий и непримиримый Тиль и грустный Петрушка, романтичный мошенник Остап Бендер и хамоватый гегемон Присыпкин — в каждого из них перевоплощается на сцене этот небольшой, заряженный гремучей песенной ртутью человек с гитарой в руках. Несмотря на все их многообразие, в каждом из героев виден неповторимый почерк, яркая индивидуальность создавшего их автора — Юлия Кима.

Много лет назад, когда я еще не был знаком с Кимом, я услышал его ранние песни в исполнении Юрия Визбора на одном из концертов в Ленинграде. Представляя песни Кима со сцены, Визбор сказал: «Юлий Ким окончил МГПИ имени Ленина в Москве. Работает школьным учителем на Камчатке. И чем хуже ему приходится, тем более веселые песни он пишет. Так что веселых песен у него много».

Именно тогда впервые прозвучали для меня его жизнерадостные, искрящиеся крутой и влажной морской солью песни «Рыба-кит», «Подо мной глубина», «И все ж, друзья, не поминайте лихом — поднимаю паруса». Честно говоря, они немало укрепили во мне, в те поры еще сухопутном геологе, желание обязательно когда-нибудь попасть в океан. Ах, эта наивная юная романтика, кажущееся ощущение свободы на берегу безбрежного и неведомого океана, 60-е годы с их надеждами и верой в завтрашний счастливый день, томительный запах прибрежных водорослей и йода!

Герои первых песен Кима — рыбаки и китобои, беззаботные школяры, распевающие лихие и совершенно антипедагогичные песенки, вроде «Бей баклуши, бей баклуши, а уроки — не учи»; свирепые, но благородные корсары устрашающего вида — «Через лоб повязка, через череп — шрам. Это не жизнь, а сказка —

говорю я вам». Искристое веселье, безбрежное, как океан и щедрое, как встающее из него камчатское солнце. «Железные» законы равенства и братства: «Подношу к свету последнюю галету и делю на семь персон», или: «Все, что море дарит нам, делим пополам».

Примерно тогда же появились сразу завоевавшие всенародную популярность песни из цикла «1812 год». Кто не распевал лихую песенку лейб-гусаров, предлагающих в порыве верноподданнических чувств заменить царя, или тонко стилизованную под народную знаменитую песню бомбардиров «Генерал-аншеф Раевский сам сидит на взгорье»? Казалось, Ким так и останется автором задорных мальчишеских песен и театральных стилизаций. Жизнь, однако, судила иначе.

Вслед за короткой и ненадежной хрущевской оттепелью началась длительная пора брежневских заморозков. Волею обстоятельств, а также в силу прямоты души и непримиримости ко лжи, после возвращения в Москву, Юлий Ким оказался близок к узкому кругу тех самоотверженных интеллигентов, которых раньше называли диссидентами, а сейчас — предтечами перестройки. Его выгнали с работы, запретили преподавать. Оставшийся практически без средств к существованию, с также лишенной работы женой и маленькой дочерью на руках, он пытался писать песни для театральных постановок, но само имя его, попавшее в «черные списки», отпугивало режиссеров. Тогда-то и появился «автор песен Ю. Михайлов».

Имя это быстро прижилось на экранах кино и телевидения. Чего стоят, например, тут же подхваченные зрителями песни из кинофильма «Бумбараш» или телевизионного фильма «Обыкновенное чудо». Немногие, однако, знают, что сценический псевдоним «Ю. Михайлов» был взят Юлием Кимом не просто «для пущей важности» (как написано на конверте его первой пластинки), а не от хорошей жизни.

Театральные, телевизионные и «киношные» песни Ю. Михайлова сослужили их автору полезную службу, дали ему необходимую профессиональному литератору школу и навсегда связали с любимым им театром. Это во многом определило особенности развития его поэтического таланта в последующие годы. Для многих «прикладных» песен их театральный сюжетный смысл, стилизация под «другую обстановку» были только камуфляжем. Булат Окуджава как-то сказал, что он никогда не писал исторических романов, что «Путешествие дилетантов» или «Свидание с Бонапартом» — не более чем перенесение его сегодняшних проблем и героев в другие времена. Что-то подобное происходило и с «театральными» песнями Кима. Диапазон их

звучания, их подтекст нередко гораздо шире того сценического действа, для которого они были написаны. Достаточно вспомнить романс захватившего власть «гегемона» Присыпкина, в строчках которого тонко пародируется фонетика «основателя Советского государства»: «Я в бою с мировой буржуазией заслужил себе личную жизнь», или знаменитый марш бюрократов, вызывавший в самые глухие годы застоя бурные овации всего зала: «Поступью железной, дружно как стена, мы шагаем вслед за, невзирая на»…

Юлий как-то рассказывал мне, что после того как он написал песни к телевизионному фильму «Короли и капуста» по О. Генри, они принимались телевизионным худсоветом. У Кима один из героев поет по сюжету песенку, где есть строчки:

Куда ты скачешь, мальчик.
Скажи ты мне, куда?
Везде одно и то же —
Бардак и суета,
Да что за беда.
Да что за беда,
Да что за беда, ей-богу?
Поеду понемногу
Куда-нибудь туда.

«Стоп!» — закричал председатель худсовета. — Это куда же туда?» И песню запретили. Пришлось автору менять выражение «куда-нибудь туда» на «туда — куда-нибудь». Так — прошло.

До сих пор, услышав неожиданно хорошую песню в телефильме или в радиоспектакле, особенно стилизованную под другие времена, я думаю: «Наверное, Ким». Он обладает удивительным музыкальным слухом к звучанию слов в их родном контексте, чутким ухом пересмешника. И все это при абсолютно современной естественности изложения. Один из лучших примеров такой «стилизации» — замечательная трагикомическая песня, в которой излагается печальная (но со счастливым концом) история незадачливого российского драматурга Василия Васильевича Капниста, пострадавшего от гневного самодержца Павла. В песне с редким мастерством и изяществом на фоне напряженного развития сюжета сочетаются обиходный язык XX века с «высоким литературным штилем» XVIII:

Василь Васильевич Капнист метался на перине —
Опять все тот же страшный сон, какой уж был в четверг:
Де, он восходит на Олимп, но, подошед к вершине,
Василь Кирилыч цоп его за жопу — и низверг!

Или:

> Да! Испарился царский гнев уже в четвертом акте.
> Где змей порока пойман был и не сумел уползть.
> «Сие мерзавцу поделом!» — царь молвил и в антракте
> Послал гонца вернуть творца, обернутого в полсть.

А в страшном облике самого курносого «ценителя искусств», «белеющего жуткой тенью», как не опознать других самодержавных вершителей судеб многострадальной нашей литературы — от Сталина и Жданова до Хрущева и Демичева? «Вот как было в прожни годы, когда не было свободы» — этой саркастической строчкой кончается песня.

Создавая песни для фильмов и спектаклей («Недоросль», «Точка, точка, запятая», «Красная Шапочка» — всего и не перечислишь), Юлий Ким успешно сотрудничал с известными композиторами — Владимиром Дашкевичем, Геннадием Гладковым и другими. Для меня, однако, всегда оставалось загадкой, как они пишут мелодии, — ведь все его песни уже содержат музыкальную пружину.

В ту пору смутного безвременья, которой, казалось, не будет конца, Юлий Ким писал не только за «Ю. Михайлова», но и за себя. Это были горькие песни, где улыбчивые театральные маски были сброшены. Такие, например, как «Четырнадцати лет пацан попал в тюрьму», посвященная его тестю Петру Якиру, или беспощадная по своей точности песня, где отражена попытка брежневско-сусловской администрации незаметно, шаг за шагом, снова втащить на опустевший пьедестал статую «величайшего гения всех времен и народов»:

> А как у нас по линии марксизма? —
> Ленин — гений. Сталин покамест нет.

Именно колючие песни Кима в те времена, вместе с песнями Галича, легли в основу «Магнитофониздата», крамольного не менее, чем «Самиздат».

Прошли годы, а число веселых песен у Юлия Кима не уменьшилось. Хотя на смену официальным гонениям пришло как будто достойное признание. (Хорошо, что при жизни, это у нас бывает редко — достаточно вспомнить Высоцкого или Галича.) Вышли многочисленные диски с его песнями и книги со стихами,

прозой и пьесами. Пьесу «Ной и его сыновья» поставил Московский драматический театр имени Станиславского. Ставятся и другие спектакли по его пьесам.

Сам автор, не мыслящий жизни без театра, успешно работал с новым театром-студией «Третье направление», инсценирующим авторские песни, его пьесы и инсценировки теперь регулярно идут во многих российских театрах. Пьесу «Бумбараш» поставил театр Олега Табакова. Совсем недавно Елена Камбурова сделала превосходный моноспектакль по его песням. Времена изменились, а Ким — нет. Острота и непримиримость его сатиры остаются прежними. Он и в ненадежную для России пору кажущейся вседозволенности и гласности ухитряется писать такие песни, от которых у бывалых слушателей и сейчас холодок по спине пробегает.

Так, в самом начале «эпохи гласности», когда А. Д. Сахаров еще был в ссылке в Горьком, Ким написал веселую «детскую» песенку про Машу, не верящую в бодрые речи «прозревших» бюрократов и постоянно твердящую: «Да, а бедный чижик, он все сидит в клетке, не поет, не скачет — плачет».

Несколько позднее появилась «бодрая» песенка о возможной завтрашней судьбе энтузиастов перестройки:

> Встанешь с видом молодецким,
> обличишь неправый суд —
> и поедешь со Жванецким
> отбывать чего дадут.

Насчет Жванецкого не скажу, но в целом нынешнее развитие событий делает эту песню вполне актуальной.

Уже в пору перестройки приобрели широкую известность созданные Кимом сатирические песни «Открытое письмо Пленуму Союза писателей РСФСР», печально известному своими откровенно антисемитскими декларациями, и «Письмо Великого московского князя литовской княгине», где высмеивались бесплодные потуги центрального правительства удержать Литву от отделения.

Песни эти лишний раз показали, что уничтожающая сила смеха во много раз сильнее десятков серьезных обличительных статей. Приведу только один пример: песня «Открытое письмо…» кончается такими строчками:

> А вам скажу, ревнители России,
> Вы приглядитесь к лидерам своим:
> Ваш Михалков дружил со Львом Кассилем,

А Бондарев по бабке — караим.

Не прошло и месяца со дня первого исполнения этой песни, как Наум Коржавин позвонил по телефону из США одному из своих московских друзей и спросил, правда ли, что Юрий Бондарев по бабке — караим…

Когда думаешь о том, что отличает авторскую песню от других форм поэзии, то приходит в голову, что автору песен для того, чтобы его слушали (ведь могут и не захотеть слушать!), совершенно недостаточно быть только одаренным поэтом и музыкантом или исполнителем. Надо еще обязательно быть личностью. Интересной для окружающих. Чтобы позиция того, кто поет, была небезразлична для других. Чтобы ему верили. Так вот, Юлий Ким — личность. Как Александр Галич, как Булат Окуджава, как Владимир Высоцкий. И это очень важно для нас — его современников.

Поэтическая основа авторской песни многогранна. Песни Окуджавы и Новеллы Матвеевой — это лирические монологи с серьезной, как правило, драматической интонацией разговора. Песни Галича, Высоцкого и Кима — это прежде всего театр.

Что же отличает песенный театр Кима от театра Галича и Высоцкого? В первую очередь смех с его многообразными оттенками, точно прописанными автором. Почти все герои его песен вызывают улыбки. Вот только улыбки эти разные. От сочувственной доброй сердечной улыбки, которую рождают незадачливый герой песни «Сенсация», схваченный инквизиторами Галилей или наивные, но героические персонажи песни «Мы с ним пошли на дело неумело», до презрительной ухмылки, которой только и могут быть удостоены тупоголовые начальники, вплоть до «верхнего эшелона», палачи, сексоты, воинствующие бюрократы и мещане, подхалимы и алкаши.

Но Юлий Ким — не только мастер сатиры. Он автор многих «серьезных», глубоко лирических и даже трагических песен. И в них его поэтический почерк отличается точным ощущением внутренней гармонии слов, безошибочным вкусом, моцартовски легким мастерством.

Диапазон этих песен также широк: от грустной песенки безнадежно одинокого Петрушки и лирического гимна пушкинскому лицею до трагического «Реквиема», от которого сжимается горло («Не собирай посылки, мама»). И в этой последней песне опять почти неуловимая и точная по своему вкусу стилизация под народную «зековскую» песню, которая только одна и может позволить себе роскошь обойтись без

рифмы.

Диапазон литературных возможностей этого человека порой кажется безграничным. Одна из его наиболее значительных работ в театре — музыкальное представление в двух частях «Московские кухни». Здесь в свойственной художнику лукаво-улыбчивой манере излагается совсем не смешная, драматичная и героическая история «освободительного движения» московской интеллигенции, возникшего в начале 60-х и беспощадно подавленного брежневско-андроповской системой к концу 70-х. Со своими героями, своими отступниками, своими палачами и злодеями.

Это, по существу, первое значительное театральное произведение, посвященное диссидентам. Его прекрасно реализовал театр-студия «Третье направление». Действие, которое начинается с улыбки, кончается героическим реквиемом памяти павших и, к сожалению, недостаточно широко до сих пор известных героев этой эпохи «недавнего прошлого», которое грозит нам повторением в «недалеком будущем».

Глядя на Кима сейчас, в начале нового века, трудно поверить, что ему уже за шестьдесят: он так же непроницаемо молод внешне. В нем все тот же электрический заряд энергии и таланта, все то же силовое поле солнечной улыбки и разящего как молния смеха, он до сих пор остается «шестидесятником». Судьба в последние годы подбросила Киму тяжелые испытания, но об этом — позже.

Когда-то, много лет назад, от имени одного из своих литературных героев Юлий Ким написал песню с таким припевом: «Белеет мой парус, такой одинокий, на фоне стальных кораблей». Пожелаем этому парусу попутного ветра в наши грозящие штормовыми прогнозами дни, — он указывает нам верный курс…

Нельзя себе представить эпоху «поющих шестидесятых» и без Михаила Анчарова, о котором в последнее время незаслуженно забыли.

Теперь, когда прошла мода на пение под гитару на московских кухнях и у таежных костров, когда сам собой умер запретный еще недавно «Магнитофониздат», а пластинки с песнями Галича, Кима и Высоцкого заполнили прилавки магазинов, авторская песня во многом стала уже историей. И настало время оглянуться назад и послушать, как по-новому звучат старые песни.

«Старая песенка — новый звук», как пророчески написал когда-то еще молодой в ту пору, а ныне ушедший из жизни

Михаил Анчаров. Шумная волна неслыханной прежде популярности авторской песни миновала, уступив место другим модным увлечениям, миновала, оставив несколько имен, в числе которых и его имя…

С Анчаровым и с его песнями я впервые познакомился в 1963 году во время очередной командировки в Москву. Через каких-то знакомых я случайно попал на одно из частых в те поры песенных сборищ в непривычно просторную квартиру потомков Григория Ивановича Петровского, председателя большевистской фракции Государственной думы, в печально известный «Дом на набережной», населенный зловещими тенями убивавших и убиенных.

«Ну где этот ваш мальчик из Ленинграда?» — услышал я голос в передней, и в комнату шагнул плотный, как борец, черноволосый, коротко стриженый мужчина с правильными чертами лица и внимательными, часто моргающими глазами.

Из всех его песен тогда я знал только приписываемую ему, ставшую уже народной «От Москвы до Шанси», а в этот вечер впервые услышал «МАЗы», «Органист», «Тихо капает вода — кап, кап» и многие другие. Яростная экспрессия этих песен на фоне мужественного облика их автора, опаленного пороховым дымом великой войны (я подумал, что он и моргает часто оттого, что глаза были раньше обожжены), и его рассказов о парашютно-десантных войсках, где он вроде бы служил, произвели на меня сильнейшее впечатление.

Справедливости ради следует заметить, что вопрос о том, где и как он служил, оказался не простым. Несколько лет назад, когда в журнале «Ап-Арт» была опубликована моя статья об Анчарове, у меня дома раздался телефонный звонок, и сердитый мужской голос заявил: «Вот вы так хорошо пишете об Анчарове. А вам известно, что он всю жизнь был сексотом КГБ, дав подписку еще в военные годы в СМЕРШе, и доносил на однокашников в Суриковском училище?» «Нет, — ответил я, несколько смешавшись, — но как бы то ни было на самом деле, я ведь пишу о нем как об авторе».

У Анчарова была удивительно обаятельная, уже утраченная ныне, «цыганская» темпераментная манера исполнения. В сочетании с сильным низким, «подлинно мужским» голосом она придавала особый колорит его песням. Да и гитара в его руках была старинная, инкрустированная, как мне тогда показалось, каким-то серебром и перламутром, чуть не из прошлого века. Мы подружились, и он дал мне прочесть рукопись только что написанной и еще не опубликованной своей повести «Теория невероятности», которую никто тогда не хотел печатать. Первые

же ее строки вызвали у меня скептическую улыбку недоумения. Повесть начиналась так:

«Недавно я влюбился. Я совсем юный — мне сорок лет».

«Вот старый хрен, — подумал я (мне тогда было неполных тридцать), — он еще влюбляется! В его-то возрасте! И не стыдно ему об этом писать!» Повесть, однако, захватила меня почти так же, как песни. Была в ней какая-то стихийная сила личности яркой, мятущейся и нестандартной, не вписывающейся в привычный мне стереотипный уклад.

Сам Анчаров только начинал тогда свое литературное поприще, считал себя прежде всего художником, жил в писательском доме в Лаврушинском переулке, в квартире своей тогдашней жены Джои Афиногеновой, был, как выяснилось, скор на выпивку и кулак и писал песни.

Живописные его работы также обнаруживали в нем несомненный талант, но при этом как бы некоторое отсутствие профессионализма. Он был тогда подобен витязю на распутье — короткая оттепель конца 50-х опьяняла его, бывшего фронтовика, множеством неожиданно открывшихся ему дорог и возможностей. Чем заняться всерьез? Песнями? Живописью? Литературой? Все удавалось ему. В то время он часто выступал с песнями, и выступления эти неизменно сопровождались шумным успехом.

Помню, после очередного его успешного концерта в Ленинграде мы с друзьями провожали его на «Красную Стрелу». Концерт кончился рано, было что-то около восьми вечера, и поскольку в провожающей компании было много актеров, решено было зайти в ресторан ВТО, в Дом актера, располагавшийся почти рядом с Московским вокзалом на Невском, что внушало уверенность и отъезжающему, и его провожатым в невозможности опоздания. Тем большим было наше удивление, когда, прибыв наконец на Московский вокзал (а пеший путь к нему оказался трудным, так как Анчаров, пришедший в состояние полной эйфории, почему-то пытался свою только что купленную в Питере кепку засунуть в каждую из встречных урн, и приходилось ее подолгу оттуда извлекать), мы неожиданно установили, что давно ушла не только «Стрела», а вообще все поезда на Москву.

Поскольку Михаил упорно настаивал на немедленном отъезде, всей компании пришлось перебазироваться на Витебский вокзал, откуда около трех часов ночи отправлялся какой-то пассажирский поезд «Москва — Бутырки», следовавший через Новгород и прибывавший в Москву, на Савеловский вокзал, где-то к концу суток.

Засыпающего на ходу и ставшего сразу грузным и неподъемным Анчарова с трудом водрузили в общий вагон, среди

чьих-то бесчисленных мешков и кошелок. Кепку его вручили сидевшей напротив бабке с твердым наказом — беречь ее до конца пути и вручить хозяину только когда он протрезвеет. Так полностью вырубившийся за время погрузки бард был отправлен в столицу. Проснувшись с больной головой в середине следующего дня где-то в районе Твери, он долго озирался, пытаясь понять, где находится и куда едет.

«Где я?» — тоскливо спросил он, и упомянутая выше бабка охотно откликнулась: «А в поезде, милок! К Твери подъезжаем!» — «А товарищи мои где?» — «Известно где — погрузили тебя и ушли, а чемоданчик твой — вот он. И кепочка твоя цела, так что не сумлевайся». И радостная бабка вручила похмельному пассажиру до неузнаваемости измятую и перепачканную сажей окурков «питерскую» кепку…

В последующие годы Михаилу Анчарову как будто удалось добиться литературного признания. Одна за другой были напечатаны и «Теория невероятности», и последовавшие за нею другие повести. Он стал модным писателем. Ему начали наперебой заказывать сценарии телефильмов. Инсценировки по его произведениям охотно ставили московские театры. Песни были заброшены Анчаров полностью ушел в прозу и драматургию.

И тут судьба сыграла с ним злую шутку. За первым длинным сериалом телефильма «День за днем», куда вошла отчасти его биография и где органично звучали песни, последовал следующий бесконечный телесериал, где были уже «труба пониже и дым пожиже». Герои сценариев Анчарова, вызывавшие ранее полное доверие, начали вдруг говорить ходульные фразы и в псевдонародном стиле воспевать и романтизировать свой коммунальный рай, а соседи по кухне превратились в воинствующих резонеров, воплотивших в себе высоты «общественной нравственности» и безапелляционно обучающих смыслу жизни сомневающихся и ненадежных интеллигентов. Так безусловный талант художника начал разубоживаться, необратимо разъедаемый вкрадчивой отравой брежневской конъюнктуры.

Вспыхнувший на какое-то время интерес к писателю Анчарову утих, и о нем мало-помалу забыли, хотя он продолжал жить и писать.

Прошли годы. Взошли на литературном небосводе другие имена. Настала долгожданная пора гласности. И стало ясно, что, может быть, именно песни, написанные Михаилом Анчаровым в 50-е и 60-е годы, в самом начале его, казалось бы, такой успешной литературной карьеры, одни только и воплотили в

полной мере творческий и личностный талант художника, еще не зависевший в то время от железных тисков худсоветов и издательств.

Михаил Анчаров относится к тому выбитому временем поколению последнего военного призыва, о котором он сам сказал в одной из своих песен: «Мы почти не встречали целых домов — лишь руины встречали и стройки». Свои первые песни под гитару он написал еще в конце 30-х — задолго до эпохи «бардов и менестрелей», так что его тоже можно считать одним из основоположников этого жанра. И в песнях его, по-мужски жестких, поражающих прямотой разговора, живет сложная и трагическая послевоенная эпоха, где юношеский романтизм и фанатичная вера рано повзрослевших на войне юнцов сталкиваются с беспощадной повседневностью быта, начисто лишенного романтического камуфляжа: «Мне тыща лет. Романтика подохла. Кузьма Иваныч пляшет у окна».

Тема этого постоянного противоборства образует главную доминанту большинства песен Анчарова — «Рынок», «Баллада об относительности возраста», «Аэлита» — и достигает высокого драматизма в одной из лучших его песен — «МАЗы», вошедшей в первый диск.

Стихи анчаровских песен сочны, насыщены точными деталями: «Словно масляные губы, улыбается еда», «И трупы синие торчат, вцепившись в камыши». И в то же время фольклорно напевны, полны воздуха.

Не случайно некоторые из них стали безымянными и народными. Страшная эпоха шпиономании, искалечившая не одно поколение, постоянно приучавшая людей к тому, что они со всех сторон окружены врагами, и вселившая в их души маниакальный страх, доживший до сегодняшних дней, с удивительной художественной точностью воплотилась в «Песне про психа из больницы имени Ганнушкина, который не отдавал санитарам свою пограничную фуражку»:

Скоро выйдет на бугор
Диверсант — бандит и вор.
У него патронов много —
Он убьет меня в упор.
…Пыль садится на висок,
Шрам повис наискосок.
Молодая жизнь уходит
Черной струйкою в песок.
Грохот рыжего огня.
Топот чалого коня…

Приходи скорее, доктор!
Может, вылечишь меня…

В строках анчаровских песен живет грозное дыхание минувшей войны, ее горькая и жестокая романтика. Особенно ярко это проявляется в песне «Цыган-Маша», где мелкий уголовник, погибнув в штрафбате, превращается в героя:

Ты жизнь свою убого
Сложил из пустяков.
Не чересчур ли много
Вас было, штрафников?!
Босявка косопузый.
Военною порой
Ты помер, как Карузо,
Ты помер, как герой!

Любимый герои песен, повестей и пьес Анчарова, в котором легко угадываются биографические черты автора. — пожилой и бывалый человек фронтового поколения. В героя этого влюбляется молоденькая девчушка, безошибочно угадывая в нем подлинного мужчину и беря на веру его духовные ценности. Помню, в одной из пьес Анчарова, поставленной театром имени Ермоловой, герой приводит свою юную подругу в бывшую свою школу на вечер встречи, где объявляют вальс: «Танцуют только выпускники сорок первого года!» «Почему же никто не танцует?» — удивляется она…

Жаль только, что духовные ценности воспетого Анчаровым поколения сильно потускнели в наши дни, да и девчонки стали умны и недоверчивы!

Михаил Анчаров — художник. И может быть, именно поэтому так живописно и красочно отобразился в его песнях мир детства и юности автора — мир московских предместий, где во дворах «забивают козла», «белье танцует на ветру весенний танец липси» и звучат, щемя сердце, «мещанские вальсы» в микромире нашего городского обитания. Как у каждого подлинного художника, у Анчарова есть родина, это Благуша — голодная и воровская дальняя окраина тогдашней Москвы, превратившаяся в его песнях в сказочную страну детства («Только в лунную ночь на Благуше повстречал я в снегу красоту»).

И это неистребимое детское ощущение обязательной потребности в красоте и надежды на счастье, которое должно наступить завтра, сохранившееся на всю жизнь со сладкой поры

первого освоения велосипеда («Король велосипеда»), окрашивает даже самые трагические песни Анчарова в светлые тона: «Уходит мирная пехота на вечный поиск живой воды». Эта упрямая надежда несмотря ни на что не может оставить равнодушными слушателей безоговорочно верящих автору, который:

Душу продал
За бульвар осенний.
За трамвайный
Гулкий ветерок.
Ой вы, сени,
Сени мои, сени,
Тоскливая радость
Горлу поперек.

Песни Михаила Анчарова не умозрительны, не «книжны», они написаны не «человеком со стороны». Автор темпераментно и яростно живет в самой гуще несчастной нашей городской жизни, внутри ее радостей и страданий, любви и ненависти. Это определяет и подлинность языка его песен. И в то же время их населяет столь не свойственная дворовому бытию мечта, «чтоб летящие к звездам московские тройки мне морозную пыль уронили в лицо».

Чтобы Земля,
Как сад благословенный,
Произвела
Людей, а не скотов,
Чтоб шар земной
Промчался по Вселенной,
Пугая звезды
Запахом цветов.

Все это обеспечивает незаслуженно забытым песням Михаила Анчарова долгое существование. В одной из его старых песен есть такие слова: «Мы бескровной войны чемпионы». Если знаменитый «гамбургский счет» Виктора Шкловского применить к авторской песне, то можно с уверенностью сказать, что одним из чемпионов этой бескровной борьбы за людские души и сердца, борьбы, которая все еще продолжается, был и остается Михаил Анчаров.

В те же 60-е песни неожиданно начали писать и поэты, ранее писавшие только стихи. Это, видимо, было следствием

потребности более полного самовыражения, непосредственного авторского контакта с аудиторией. Наиболее ярко это выразилось в песнях Новеллы Матвеевой, создавшей в них удивительный акварельный гриновский мир добрых и грустных сказок («Страна Дельфиния», «Капитаны») или нежной и глубокой лирики («Окраины», «Любви моей ты боялся зря»). Негромкая, завораживающая задушевная интонация ее песен — полная противоположность громовому звучанию Высоцкого или Галича — была как кислород в безвоздушном пространстве той эпохи, порождала в поющих надежду на алые паруса на хмуром и пасмурном горизонте.

Помнится, в 1974 году, впервые попав на борту научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев» в Австралию, в Мельбурн, и сойдя на берег, я обратил внимание на небольшой остров, темневший на горизонте напротив порта. Я спросил у своего спутника, как он называется. «Остров Кенгуру», — ответил он. Я вздрогнул от неожиданности, поскольку всерьез полагал, что имя это, как и «Страна Дельфиния» — сказочная выдумка из любимой мною песни Новеллы Матвеевой. Так удивился бы человек, которому вдруг показали реальный Лисс или Зурбаган.

Оглядываясь назад, не могу не признаться, что именно подобные сине-зеленым акварелям, пахнущие морской солью и солнцем, нагревшим палубные доски, песни Новеллы Матвеевой заставили меня в свое время навсегда связать свою судьбу с океаном. Мне нестерпимо захотелось увидеть и ощутить наяву так ярко нарисованный ею шумный и многокрасочный мир:

> Двумя клинками сшиблись два теченья,
> Пустился в пляску ящик от сигар,
> И как король в пурпурном облаченье
> При свете топки красный кочегар,

те неизвестные страны, где:

> …по прибрежью дружною парою
> Ходят рядком какаду с кукобаррою.
> А за утесами там носом к носу мы
> Можем столкнуться порой с утконосами.

Я не случайно вспомнил о Лиссе и Зурбагане, потому что когда я перечитываю стихи и слушаю песни Новеллы Матвеевой, то мне на память прежде всего приходит Александр Грин, всемогущий и беспомощный сказочник, так же, как и Новелла

Матвеева, не избалованный реальной жизнью.

Когда я, в начале 60-х, впервые услышал ее солнечные сказочные песни, я почему-то решил, что такие песни может писать только очень счастливый человек, некое зеленоглазое подобие Фрези Грант. Попав в первый раз в дом к Новелле Матвеевой и увидев чудовищный быт ее огромной неприютной коммуналки на Беговой улице с окнами, выходящими на железнодорожное полотно и Ваганьково кладбище, я был потрясен. Каким могучим воображением художника, каким человеческим мужеством и оптимизмом должен обладать автор, придумавший свой сказочный мир в такой обстановке!

В одной из своих знаменитых песен, где она полемизирует с Киплингом, Новелла Матвеева написала:

Властью песен стать людьми
Могут даже змеи,
Властью песен из людей
Можно делать змей.

Бог дал ей гораздо большее — властью ее песен люди остаются людьми, постоянно помня о таинственном и прекрасном мире, окружающем нас. Для того, чтобы увидеть его и ощутить, совсем необязательно путешествовать в далекие страны, — достаточно просто забрести на окраину:

…Эти окраины
Были оправлены
Вышками вырезными,
Кружевными кранами.

Из-за угла как вор
Выглянул бледный двор, —
Там на ветру волшебном
Танцевал бумажный сор.

Самобытность и оригинальность талантов ведущих мастеров авторской песни 60-х годов состоит прежде всего в том, что ни один из них не похож на другого, каждый — неповторим. Если Галич, Высоцкий и Ким — ближе к театру, а Окуджава к литературе, то Новелла Матвеева, на мой взгляд, ближе всех к живописи. Судите сами:

В закатных тучах красные прорывы.

Большая чайка, плаваний сестра,
Из красных волн выхватывает рыбу.
Как головню из красного костра.

Или:

Видишь — как будто ломтик от каравая.
Лодочка отломилась от корабля.

Таких примеров — множество.

Сама Новелла Матвеева в одном из интервью заявила, что относит себя прежде всего к композиторам. Возможно, она права, поскольку ее мелодии поражают своей музыкальной оригинальностью и отсутствием банальных ходов и подделок, а также неповторимой органикой гармонического слияния стихов и мелодии:

Ах, эти трубы сделали трубочкой губы,
Чтобы прохожим выболтать тайны домов.

Говоря о мелодиях Новеллы Матвеевой, нельзя не обратить внимания на то, что в мелодическом строе, как и в стихах, ей чужда внешняя аффектация. Негромкие и задушевные мотивы, так же, как и прозрачные многоплановые метафоры ее стихов, рассчитаны на умного и тонко чувствующего слушателя.

В отличие от любимого мною в юности и уже упомянутого выше Киплинга, лирический мир Новеллы Матвеевой, неизменно закутанный в блоковский «цветной туман», — не жесткий и враждебный, который надо завоевывать с карабином в руке, а теплый и добрый, которому надо открыться и довериться. Не случайна поэтому ее принципиальная полемика с Киплингом:

Так нужна ли миру Киплингова лира?

Казалось бы, после великих образцов женской лирики бессмертного «серебряного века» трудно поразить слушателей чем-нибудь новым, особенно в нашу суетную, прагматичную и политизированную эпоху с ее разнузданным рыночным сексом, эпоху, к высокой лирике совсем не располагающую. Однако, думается мне, песня «Девушка из харчевни», наряду с упомянутыми вершинами русской женской поэзии, останется в

памяти следующих поколений в числе лучших лирических стихов нашего столетия:

И если ты уходил к другой,
Или просто был неизвестно где.
Мне было довольно того, что твой
Плащ висел на гвозде.

Сейчас, когда потеряли недавнюю грозную актуальность еще вчера запретные песенные строки ведущих авторов «Магнитофониздата», по которым, возможно, будут восстанавливать в будущем историю минувших десятилетий, в человеческой памяти оживают негромкие внешне мелодии и слова, обращенные к вечным ценностям — любви, красоте, радости открытий.

Эти ценности — непреходящи и не зависят от курса валют и политической ситуации. Послушайте снова песни Новеллы Матвеевой, прочтите ее насыщенные утренним светом стихи, войдите опять в это сказочное Зазеркалье, где дружно живут фокусники и пожарные, капитаны и погонщики мулов, юнги и цыганки, «люди, кони и медведи». Научитесь удивляться сходству кобуры револьвера и апельсиновой кожуры, тому, что «водопады стоят веретенами». И вас снова охватит неповторимое детское счастье первооткрывателей, подаренное этим замечательным поэтом.

Что касается меня, то я испытываю острую ностальгию, когда зрительно представляю ее строчки:

Перевернутый бочонок.
На бочонке первый снег.
Куда-то влево уплывают острова.

И мое поношенное сердце снова сжимает наивная надежда все-таки ступить снова, как прежде, на судовую палубу, подрагивающую от ударов волн и работы машин, мальчишеская мечта о таинственных островах, ставших теперь еще более недоступными и далекими, чем в юности. А может быть, наоборот, доступными и близкими? Стоит только поставить песню Новеллы Матвеевой и протянуть руку…

Важным самостоятельным направлением в авторской песне 60-х стало туристско-альпинистское. Это не случайно. Техническая и гуманитарная интеллигенция, инженеры и

студенты рвались в трудные походы на неприступные вершины и в тайгу, чтобы хотя бы на время уйти от сложных проблем и фальши городской жизни, почувствовать себя настоящими мужчинами, прикоснуться к истинным, неискаженным ценностям человеческих отношений — любви, дружбе, испытанным трудными условиями и опасностями.

Возможно, поэтому крупным песенным центром в Москве в те времена стал Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина, где учились тогда Ада Якушева, Юрий Визбор, Юлий Ким, Юрий Ряшенцев и другие широко известные позднее поэты и авторы песен.

Именно там еще с конца 50-х годов зазвучали, сначала в альпинистских и горнолыжных компаниях, а потом уже и по всей стране, песни Юрия Визбора, рождая снежную лавину подражаний.

Популярность этого человека при жизни, оборвавшейся в 1984 году, когда Юрию едва исполнилось пятьдесят, поистине была фантастической, и вовсе не потому только, что Визбор был еще и талантливым киноактером, сыгравшим, в частности, роль Бормана в «Семнадцати мгновениях весны». Его песни «Лыжи у печки стоят», «По судну «Кострома» стучит вода», «Серега Санин», «На плато Расвумчорр не приходит весна», «Мы стояли с пилотом ледовой проводки», «Волейбол на Сретенке» и многие другие создали подлинную романтику этой совсем не романтичной эпохи.

Визбор — певец мужества в трудных условиях, истинной доблести, несмотря ни на что, столь не модного в наш прагматичный век мужского рыцарства. Атрибуты его героя — скала над ледяной пропастью — «вот это для мужчин — рюкзак и ледоруб», кабина взлетающего самолета — «пошел на взлет наш самолет», отсек подводной лодки — «наша серая подлодка в себя вобрала якоря», завьюженный перевал, где «бульдозеру нужно мужское плечо». Когда слушаешь эти песни сейчас, в начале нового века, сердцем овладевает острая ностальгия по собственной юности.

Я был знаком и дружил с Юрой более двадцати лет, с 1961 года. До сих пор помню распахнутые по-летнему окна в доме на Неглинной улице — угол Кузнецкого моста, где в огромной коммунальной квартире, на одной лестничной площадке с Управлением культуры, жили такие молодые тогда Юра и Ада, сразу одарившие меня счастливым игом своих песен. Начинались 60-е годы — время надежд, горячих споров, стихов и песен. И, пожалуй, комната Юры и Ады, где кипели яростные дискуссии, беспрерывно звенела гитара, собирались друзья и друзья друзей,

была одним из песенных центров столицы и всей нашей страны. Во всяком случае, такой она казалась тогда мне — ленинградцу.

С первой же встречи Визбор поразил меня богатством и многогранностью своей натуры. Автор песен, журналист, литератор, спортсмен, художник, обаятельнейший и талантливый собеседник, он повсюду сразу же становился центром компании, ее энергетическим источником. Как всем по-настоящему талантливым людям, ему была свойственна творческая щедрость и нечастая способность искренне радоваться удачам своих собратьев по песням.

Именно от него я услышал впервые песни Юлия Кима, Геннадия Шпаликова и многих других, в ту пору еще не известных мне авторов. До сих пор многие песни, и не только Юрины, я слышу как бы его голосом. В том числе и свои ранние.

Мне кажется, что феномен личности и песенного творчества Юрия Визбора достоин самого серьезного изучения. Многообразие талантов буквально разрывало его на части. Блестящий журналист, впервые придумавший «репортажи с гитарой в руках», одаренный прозаик, незаурядный художник, талантливый и обаятельный артист во всех своих проявлениях — от киноэкрана до застольной беседы, альпинист и горнолыжник, всю полноту своей не умещавшейся в рамках одного жанра натуры он более всего реализовал в своих песнях.

Он не был диссидентом, хотя некоторые его песни вроде «Технолога Петухова» или «Что ж вы ботик потопили?» и запрещались. Он был членом КПСС, но именно партийные власти, когда он умер, отказали ему в официальной панихиде. Он не писал политизированной сатиры. Темы его песен вечны: любовь, разлука, измена, трудности настоящей «мужской жизни», горы, лыжи, стоящие у печки, ледоколы во льду, север, океан. Песни его «для всех». Они не вызывают сложных «неконтролируемых ассоциаций», не требуют высокой интеллектуальной подготовки. Но именно эти, казалось бы, нехитрые и тривиальные ценности оказались наиболее Долговечными и привлекательными, перешагнув через рубеж тысячелетий из 60-х годов в наше сумрачное смутное время с разгулом стяжательства, насилия и наркоты.

Я хорошо помню Грушинские фестивали самодеятельной песни на Волге, под Самарой, собиравшие тогда более ста тысяч человек. Стотысячная толпа сидела на горе, у подножья которой на волжской протоке была оборудована сцена-плот в форме гитары. Грифом гитары был трап, по которому на сцену поднимались выступающие. Паруса яхт с другой стороны плота образовывали задник этой плавучей сцены. Конкурсные концерты

длились, как правило, до глубокой ночи. А после этого — еще концерт членов жюри, в которое входили, конечно, тоже авторы песен: Сергей и Татьяна Никитины, Виктор Берковский, Дмитрий Сухарев, Александр Дулов и другие. Восхождение каждого из них по трапу на плот-гитару сопровождалось дружными аплодисментами. Но когда на сцену поднимался Юрий Визбор, вся гора, погруженная в темноту, вспыхивала тысячами фонариков и взрывалась ураганом аплодисментов. И ураган этот долго не стихал. Таких оваций стотысячной аудитории, самой большой в нашей стране, а может быть, и на всей планете, не знал никто.

На этих фестивалях, где мы с Юрой попеременно возглавляли жюри, не обходилось порой без курьезных историй. Как раз в то время вышел телефильм «Семнадцать мгновений весны», где Визбор сыграл роль Бормана и немало гордился, когда его опознавали на улице.

Я помню по-июльски жаркий день фестиваля. Мы с Юрой в одних плавках идем по тропке к берегу, а вслед нам и навстречу в таких же купальных нарядах друг за другом гуськом движутся сотни молодых людей. Прямо за нами идет стайка молоденьких девушек, и вдруг одна из них, самая хорошенькая, на которую Визбор скосил глаза, говорит подруге: «Смотри, Маша, как мужик на Бормана похож». «Да что ты, Нина, — отвечает вторая, — ну нисколечко не похож!» Юра расстроился, покраснел и буркнул сердито: «Саня, ну что за идиотка! Это я-то не похож на Бормана!»

Придя на берег и искупавшись, мы сели в тенек, и Юра взял в руки гитару. Вокруг сразу же образовался молчаливый кружок слушателей. А надо сказать, что как раз в это самое время на поляне фестиваля вовсю работало «предварительное жюри», проводя отбор авторов и исполнителей на заключительный конкурсный концерт. Мы с Юрой, как почетные гости и руководители «Большого жюри», от этой изнурительной работы были освобождены. Послушав пару Юриных песен, один из присутствующих произнес: «Парень, а чего ты здесь просто так поешь? Ты иди покажись в жюри — тебя обязательно на конкурс пропустят».

Кажется, тогда на берегу Волги мы с Юрой и сочинили вместе шуточную песню с придуманным им припевом: «Омск, Томск, Москва, Чита, Челябинск».

В другой раз нам была выдана байдарка, на которой мы вдвоем катались по живописным волжским протокам. День был воскресный, и все островки были усеяны загорающими телами. Мы никак не могли наладиться вместе грести, и Юра, старый «ас» гребного спорта (каковым он себя считал), все время угнетал

меня едкими замечаниями. Вдруг мы заметили, что с соседнего уединенного островочка усиленно машут две загорающие там девицы. «Меня опознали, — самодовольно улыбнулся Визбор, — давай подгребем».

Подплыв поближе, мы обнаружили двух совершенно незнакомых, весьма привлекательных, но уже сильно навеселе бабенок, одна из которых громко заявила: «Зинка, себе я оставлю этого толстого. А ты с чернявым забирай вторую поллитру и греби вон на тот островок». Услышав это, мы с Юрой, не сговариваясь, «рванули» в два весла от берега. Уже почти на середине Волги Визбор сказал: «А ведь неплохо гребем. Чего я к тебе придирался?»

На каждом Грушинском фестивале традиционно устраивались футбольные матчи: «Сборная Куйбышева» против «Сборной гостей». В этих матчах Юра принимал обязательное участие, играя, как правило, в нападении. «Смотри, сам Визбор играет». Но однажды, получив удачный пас, Юра стремительно помчался по правому краю и, легко миновав защиту, напрямую вышел к воротам. Тут уж было не до почтения. «Лысого держи, лысого!», — заревела толпа.

Никогда не забуду, как однажды, уже после большого конкурсного концерта, окончившегося в четвертом часу утра, сонное и донельзя усталое жюри во главе со мной пыталось распределить места победителям. Юре из исполнителей больше всех понравился дуэт «Кляксы» из Челябинска, которому он предлагал дать первое место. Против этого, однако, выступили Александр Дулов и Сергей Никитин.

Все длительные мои попытки добиться согласия между ними ни к чему не привели. Пришлось ставить вопрос на голосование. В результате Юрино предложение было «завалено» большинством в два голоса. И тут-то выяснилось, что эти два голоса принадлежат жене Дулова — Маше, которая представляла в жюри журнал «Турист», и Татьяне Никитиной — жене Сергея. Обозлившийся Визбор по своему обыкновению «завелся», покраснел и сказал: «Ну, погодите, я на следующий фестиваль привезу всех своих трех жен и буду иметь перевес в один голос».

Характер Юрия не был простым. Он любил первенствовать и никакого соперничества решительно не признавал. Когда на общем концерте кому-то другому (как ему казалось) хлопали больше, он краснел и сердился, хотя старался не подавать виду. Правда, случалось это нечасто.

В те годы, когда сам я еще редко выступал со своими песнями, он в своих концертах довольно часто их пел. Один из его биографов — Ролан Шипов — отмечает, что по частоте

исполнения у него на втором месте были песни Ады Якушевой, а на третьем — мои. По этой причине некоторые из моих старых песен — «Кожаные куртки», «Деревянные города», да и некоторые другие — часто приписывали Визбору.

В связи с этим вспоминается история, произошедшая со мной в начале 77-го года на борту научно-исследовательского судна «Академик Курчатов», пересекавшего Атлантический океан: Мне в каюту неожиданно позвонил начальник радиостанции и сказал: «Ну-ка иди скорей в радиорубку — тут тебя Би-би-си передает…» Не слишком обрадовавшись этой новости, я в радиорубку все же пошел. Когда я туда вошел, то увидел, что там уже сидят капитан, первый помощник и еще один член экспедиции «в штатском», которого в команде называли «Федя — лохматое ухо». Из динамика несся мой голос, поющий песню.

Все присутствующие обратили на меня свои безучастные взоры — так смотрят на дорогого покойника. Сесть никто не предложил. Наконец песня кончилась, и диктор произнес: «Радиостанция Би-би-си закончила очередную передачу из цикла «Русский магнитофониздат»: поэты-певцы, преследуемые советским правительством…» Взгляд первого помощника, устремленный на меня, приобрел большевистскую жесткость и непримиримость к врагам рейха. «Вы только что прослушали, — продолжал диктор, — песню Юрия Визбора «Чистые пруды» в исполнении автора…» Я сказал: «Слышали? До свиданья». И ушел.

Помню, году в 67-м Юрий Визбор приехал в Ленинград в командировку от журнала «Кругозор» вместе со своим приятелем — талантливым фоторепортером Виктором Сакком. Появился первый очерк о ленинградских бардах — в том числе и обо мне. Сохранилась гибкая пластиночка, где Визбор сам исполняет мою «Канаду», сообщив перед этим слушателям, что делает это вместо автора потому, что «Городницкий, как всегда, между двумя экспедициями, и его огрубевшие руки плохо справляются с гитарой». Справедливости ради надо отметить, что мои «огрубевшие руки» до сих пор с гитарой справляются плохо…

Радиограмму о смерти Юры в сентябре 1984 года я получил на борту «Витязя», который в это время стоял в порту греческого города Пирей, и наша бортовая радиостанция работала только на прием. Это неожиданное трагическое известие было ударом не только для меня, но и почти для всех участников экспедиции. Вечером того же дня мы собрались, тесно набившись в мою довольно-таки просторную каюту — научные сотрудники, моряки, водолазы, механики. Всю ночь пели Юрины песни — их знали все. За переборкой мерно поскрипывали швартовые концы, гудели

суда в ночном порту. В распахнутом окне над темными Афинами тускло светила одинокая звезда Парфенона.

Только на третий день, когда вышли в морс, заработал передатчик. Мы послали радиограммы соболезнования и отдали Юре последние почести, имитировав обряд морских похорон, — бросили в море венок, и пароход сделал прощальный круг вокруг него с протяжным гудком… Наблюдая эту невеселую картину, я подумал: «Ему бы это понравилось».

Юра любил море. И не только море: суровую и непокорную Арктику, неприступные и постоянно манящие горы, необъятные просторы пятого океана. Его привлекала не только экзотика, хотя и это было. В первую очередь его привлекали люди, вступающие в единоборство со стихией и с собой, проявления их душевных качеств на границе человеческих возможностей.

С песнями Юрия Визбора вошла в нашу жизнь действительная мужская романтика, понятие о деле, достойном настоящих мужчин, и, наконец, столь не модное сейчас рыцарство. Именно поэтому его песни уносят с собой подводники и альпинисты, полярники и космонавты. Именно в этом секрет неистребимой привязанности молодежи к Юриным песням.

Я вспоминаю, как на вечере в киноконцертном зале «Россия» в сентябре 1994 года, посвященном его шестидесятилетнему юбилею, до которого он так и не дожил, зал, рассчитанный на две тысячи человек, не мог вместить и половины желающих. Мне довелось вести этот вечер, и я был поражен абсолютным преобладанием юных лиц в зале.

Прошло более шестнадцати лет со времени его ухода, а песни Юрия Визбора, не в пример песням других канувших в прошлое авторов, все поют и поют, и интерес к ним не ослабевает. И поют их не только на вечерах в киноконцертном зале «Россия» в день его рождения 20 июня, которые стали традиционными, но и просто по стране, — в туристских походах, в экспедициях, на фестивалях. Визбор был и остается самым «поющимся» автором из всех «шестидесятников», — в этом его удивительный феномен.

Сегодня его поет уже новое поколение молодежи. И это внушает надежду на будущее в нашу тревожную пору, пораженную, как проказой, рыночной коррозией человеческих душ, политическими и межнациональными разборками. Это значит, что те действительные ценности, о которых пел Юрий Визбор, не потускнели и не девальвировались со временем и снова манят молодых.

В одной из его давних песен, написанной еще в молодые годы, есть такие строчки:

Спокойно, дружище, спокойно, —
У нас еще все впереди.

Они поистине оказались пророческими. Песням Юрия Визбора, у которых все еще впереди, суждена долгая и славная жизнь. Они никогда не состарятся, пока существуют горы и океан, пока девчонка, заслонившись рукой от вечернего света, с любопытством смотрит на встречный ледокол, пока остаются на земле бескорыстная дружба и светлая любовь, мужская доблесть и радостное чувство удивления красотой окружающего мира.

Нам с годами ближе
Станут эти песни.
Каждая их строчка
Будет дорога.
Снова чьи-то лыжи
Греются у печки,
На плато полночном
Снежная пурга.

Что же, неужели
Прожит век недлинный?
С этим примириться
Все же не могу.
Как мы песни пели
В доме на Неглинной
И на летнем чистом
Волжском берегу!

Мы болезни лечим,
Мы не верим в бредни,
В суматохе буден
Тянем день за днем.
Но тому не легче.
Кто уйдет последним, —
Ведь заплакать будет
Некому о нем.

Нас не вспомнят в «Избранном»
Мы писали плохо.
Нет печальней участи
Первых петухов.
Вместе с Юрой Визбором
Кончилась эпоха —

Время нашей юности,
Песен и стихов.

Нам с годами ближе,
Станут эти песни,
Каждая их строчка
Будет дорога.
Снова чьи-то лыжи
Греются у печки,
На плато полночном
Снежная пурга.

Юра любил морс. На мой пятидесятилетий юбилей в давнем 1983 году он принес мне в подарок сине-белый военно-морской флаг, на котором было написано «Старшему матросу А. Городницкому от матроса Ю. Визбора». Я спросил у него: «Юра, а почему же старшему?» «А я тебя моложе, — ответил он, — на полгода. Дольше проживу». И засмеялся. Таким вечно молодым он и остается…

Какие только песенные открытия не совершались нами в 60-е годы! Казалось иногда, что, придя в гости, на день рождения или просто так, люди только для того и собирались, чтобы не поговорить, не потанцевать, а именно — попеть. Каждая новая песня, «авторская», была радостью. Здесь и тонкие лирические песни Ады Якушевой («Синие сугробы» или «В речке Каменной»), и знаменитое «Бабье лето» Игоря Кохановского, об авторстве которого я узнал только через много лет, когда мы с ним оказались соседями по дому.

Что касается моего родного Питера, то там в это время, как уже рассказывалось выше, инженеры и учителя дружно распевали лихие куплеты песен Глеба Горбовского.

Несколько позднее начали придумывать песни на свои стихи и прочие ленинградские поэты и прозаики: Виктор Соснора, Сергей Вольф, Ирена Сергеева и другие.

Молодой и много обещавший в те поры драматург и поэт Борис Голлер успешно писал песни для своих драматургических героев:

В аэродромном клубе
Смеется он и пьет.
Меня убили в небе,
А он — второй пилот.
Меня убили в небе,
А он — второй пилот, —
Он без меня сегодня
Машину поведет.

О лирических песнях Нонны Слепаковой, появившихся примерно в то же время, мы уже вспоминали.

Сейчас, по прошествии лет, когда все это стремительно становится историей, хотелось бы все-таки восстановить справедливость, напомнив, в частности, что авторские песни рождались в ту пору не только на московских кухнях, но и на ленинградских, и заметный вклад в это внесли питерские поэты.

В это же самое время ленинградские студенты и туристы

пели в турпоходах и просто дома песни механика Валентина Вихорева («Лето уходит на юг»), молодого физика Бориса Полоскина («Ты идешь то тайгой, то болотами»), инженера-строителя Евгения Клячкина («Ни страны, ни погоста» на стихи Бродского) и многие другие…

Я вспоминаю, как в 1965 году в переполненном зале Дворца культуры имени С. М. Кирова на Васильевском острове, где проходил заключительный концерт 1-го Ленинградского конкурса самодеятельной песни, на сцену вышел молодой человек с пышноволосой курчавой головой и, смущенно улыбаясь, представился как «тренер по фигурному катанию». Потом он взял гитару и запел:

А я еду, а я еду за туманом,
За туманом и за запахом тайги.

Так сразу, одним махом, вошел в авторскую песню Юрий Кукин, без которого нельзя теперь представить ни авторскую песню незабвенных шестидесятых, ни нашу тогдашнюю ленинградскую жизнь. Песни его с удивительной быстротой стали распространяться по всей стране. Эта популярность не была сродни шумной эстрадной популярности некоторых современных бардов, покоряющих многотысячные дворцы спорта. Песни Кукина негромко пелись у дымных костров геологических экспедиций, в тайге и среди болот, где он кормил комаров наравне со всеми. Так они обрели свою подлинность, доверительность разговора, задушевную интонацию, мягкий, едва ощутимый юмор.

Лирический герой Юрия Кукина далек от «суперменства», он не кичится своей страстью к путешествиям и тяготам экспедиционной жизни, в нем нет ничего показного. Наоборот, он как бы просит извинения за органическую неспособность жить атрибутами мещанского уюта, наблюдать восходы с закатами из окна и «колера» — на выставках. Для него «берег не место для встречи, а скорее — начало пути». Несмотря на внешнюю мягкость разговора, полное отсутствие поучающего назидательного тона, восклицательных знаков в строке, эта жизненная позиция Кукина — чрезвычайно тверда.

Он обладает несомненной поэтической одаренностью, и хотя стихи в его песнях не всегда равноценны, они часто поражают своей удивительной точностью и образностью:

И что кролик — всего только кролик,
А король, он и голый — король.

Или:

Горы головы в землю упрятали,
Обхватив их руками дорог.

Любимые герои песен Кукина — сказочник, канатоходец, волшебник, и, наконец, клоун — персонажи, несущие людям добро и улыбку, избавляющие их от грусти и уныния:

Если же внезапно истинную грусть
Как-нибудь случайным жестом обнаружу.
Я подпрыгну вверх, и я перевернусь.
И тогда опять вам буду нужен.

За обликом клоуна в этой, одной из лучших песен Юрия Кукина легко угадывается сам автор с его бескорыстной добротой и грустной улыбкой. Песни его, приглашающие собеседника путешествовать во времени и пространстве, зовущие в реальный мир тайги и нереальный мир сказок, которые переплетаются, — подобие золотого ключика, открывающего добрую волшебную страну, «рай забытого детского сна». В этом секрет их долговечности и жизнеспособности, их неистребимой романтики в наш прагматический век.

В последние годы Юрий Кукин кабально много выступает и мало пишет. Это плохо, потому что он должен писать. Это хорошо, потому что, как он сам признается, он не может писать не от души, а «по заказу». Но пока существуют люди, молодые и старые, видящие мир «закутанным в цветной туман» и готовые ехать за этим туманом, песни Юрия Кукина будут жить.

В этот период, где-то в середине 60-х, у авторской песни стало закладываться и другое направление — появилась целая плеяда молодых самодеятельных композиторов, как правило, начисто лишенных музыкального образования, которые стали придумывать под гитару мелодии на полюбившиеся им стихи. Так в рамках «авторской песни» возникло еще одно альтернативное направление — «второе искусство» в песенной музыке.

Наиболее яркие представители этого направления — профессор Московского института стали и сплавов Виктор Берковский, автор знаменитой в те годы песни «Гренада» на стихи Михаила Светлова, «поющие физики» Сергей и Татьяна

Никитины, создавшие целую песенную антологию русской и мировой поэзии, доктор химических наук Александр Дулов, автор прекрасных песен на стихи Николая Гумилева, Мориса Карема, Александра Кушнера и Других поэтов, и еще некоторые авторы.

Несмотря на жестокую (и, как правило, необъективную) критику со стороны «композиторов в законе», песни, созданные этими представителями технической интеллигенции, быстро запоминались, подхватывались и в короткое время становились известными по всей стране, хотя никаких записей ни на радио, ни на фирме «Мелодия» в те поры не было и даже быть не могло.

В Питере признанным лидером среди самодеятельных композиторов стал инженер-строитель Евгений Клячкин, о котором более подробно будет рассказано в другой главе.

В Ленинграде авторская песня в конце 50-х — начале 60-х годов появилась и развивалась как бы отдельно от Москвы. Одним из основных ее истоков, кроме уже перечисленных, были «геологические» (именно геологические, а не туристские) песни, изустно передававшиеся в многочисленных экспедициях ленинградских геологических организаций — таких, как Всесоюзный геологический институт, мой родной Горный институт. Институт геологии Арктики. И другие.

Общественный интерес к этой песне в Питере стал заметно проявляться уже в начале 60-х. Мало-помалу сложился круг активных любителей этого жанра, который весной 1965 года провел 1-й городской конкурс самодеятельной песни. Мне вместе с Окуджавой довелось участвовать в работе жюри этого конкурса. Именно там, как уже упоминалось, впервые и заявил о себе совершенно неизвестный до того Юрий Кукин, вызвавший бурные аплодисменты всего зала.

Рождение авторской песни в Ленинграде связано с клубом «Восток», который нашел себе пристанище в Доме культуры работников пищевой промышленности, разместившемся в старинном дворянском особняке, неподалеку от «Пяти углов» на улице Правды, дом 10. Запущенный этот особняк, выстроенный в ложноклассическом стиле, с украшенными лепниной флигелями, охватывавшими с двух сторон небольшой дворик, в центре которого чернела тяжеловесная и чужеродная здесь статуя Ильича в широких мешковатых брюках (сейчас ее убрали), на долгие годы и даже десятилетия стал крупнейшим центром авторской песни в стране.

Иногда я думаю: почему это началось именно в ДК Пищевой промышленности? Не потому ли, что духовная пища в брежневскую удушливую эпоху была не менее нужна, чем хлеб?

Основу клуба составила группа молодых ленинградских

авторов, в число которых вошли Евгений Клячкин, Борис Полоскин, Валентин Вихорев, Валерий Сачковский, Юрий Кукин, Валентин Глазанов, исполнители авторских песен Виталий Сейнов и Михаил Кане и некоторые другие. К ним примкнули первые активисты клуба — Наталья Смирнова, Ирина Кострец, Вера Бордюк. Назван был клуб «Восток» — по имени первого космического корабля, на котором Юрий Гагарин поднялся с Земли в космос.

Интересно, что этот первый песенный клуб, родившийся в декабре 1961 года, вовсе не был «клубом самодеятельной песни» в общепринятом его понимании — он объединял прежде всего авторов и исполнителей, а не только любителей этого жанра. И не только ленинградцев — участие в концертах и в работе клуба принимали приезжавший часто сюда из Москвы вместе с Театром на Таганке и отдельно от него Владимир Высоцкий, быстро подружившиеся с клубом Михаил Анчаров, Ада Якушева и Юрий Визбор.

Сюда приехал на одно из своих первых выступлений Сергей Никитин, тогда студент 1-го курса МГУ. Первый председатель клуба Ирина Кострец вспоминает: «Я тогда работала в архитектурной мастерской Ленинградского института проектирования городов, которая располагалась в Нарышкинском бастионе Петропавловской крепости. Был на редкость морозный зимний день. Мороз доходил до −40. Сережа зашел ко мне на работу за ключом от квартиры в ушанке с завязанными ушами, страшно замерзший. На обратном пути где-то у Петропавловского собора его нагнала машина, и шофер спросил: «Ты Никитин? Садись — подвезу». Этот парнишка был со мной летом в колхозе, и я обучила его «Желтому цыпленку». Он был рад познакомиться с автором. Позже на одном из концертов во Дворце молодежи Сергей вспоминал, что популярность пришла к нему, когда совершенно неизвестный человек в Ленинграде подвез его, узнав в нем Сергея Никитина».

В «Востоке» проходили первые выступления Александра Дулова. Именно здесь он познакомился с Олегом Тарутиным, что привело к созданию прекрасных песен на стихи Олега: «Телепатия» и «Неандерталец». Так что можно считать, что в середине 60-х ленинградский клуб «Восток» стал основным центром авторской и самодеятельной песни.

Примерно в то же время на Петроградской стороне в ДК Ленсовета образовался второй песенный клуб «Меридиан», которым долгие годы руководила Анна Яшунская.

Интересно, что наряду с авторской песней клуб «Восток» стал в то же время базой для развития джазовой музыки, также до

этого находившейся под строгим запретом. Как свидетельствует Ирина Кострицц, в 1966–1967 годах гордостью «Востока» стала первая джазовая секция, возглавляемая влюбленным в джаз энергичным Стасом Домбровским. В Малом зале регулярно проходили репетиции джазовой группы, в которой играл знаменитый Роман Кунцман, названный в ту пору третьим саксофонистом мира. Здесь же устраивались джазовые прослушивания. До сих пор в джазовой филармонии Давида Голощекина хранятся материалы о Джазовых вечерах в «Востоке» тех времен.

Вспоминая о клубе «Восток» тех лет, я никак не могу понять — что же притягивало сюда молодых авторов? Здесь не было никакой студии, или, как сейчас говорят, «творческой мастерской», возглавляемой каким-либо знаменитым мэтром, способным отечески погладить по голове или преподать уроки поэтического и музыкального мастерства. Не было также и средств массовой информации, которые могли бы помочь начинающим авторам завоевать аудиторию. Была только тесная комната, милостиво выделенная клубу администрацией, в которой можно собираться вечерами, читать стихи, петь песни, спорить, курить, разговаривать.

«Восток» оказался единственным местом в городе, где можно было послушать песни самодеятельных авторов. Поначалу встречи устраивались в молодежном кафе «Восток», на первом этаже особняка, в первый понедельник каждого месяца, но число желающих сразу же оказалось во много раз больше числа посадочных мест, а эпизодические концерты в Малом зале Дома культуры также не спасали положения.

Тогда, с осени 1965 года, под яростным натиском любителей песни и совета кафе «Восток», администрация ДК начала проведение цикла абонементных концертов под общим названием «Молодость, песня, гитара» в Большом зале ДК, вмещавшем около 900 человек, хотя и этого вскоре стало мало. Так начались знаменитые абонементные концерты клуба «Восток», пользующиеся неизменным успехом вот уже более тридцати лет.

Вечера эти не были обычными концертами. Скорее это были дискуссионные клубы, где яростно обсуждались и сами исполнявшиеся песни, и все многочисленные, в том числе и острейшие, проблемы, с ними связанные. Наряду с авторами и исполнителями песен, из которых сразу же выделился своим мощным голосом Виталий Сейнов, здесь многократно выступали ведущие питерские поэты — Леонид Агеев, Олег Тарутин, Глеб Горбовский, Майя Борисова, Нонна Слепакова, Вячеслав Лейкин и другие. Нередко на понравившиеся стихи барды писали песни.

Так, кстати, была написана песня Евгения Клячкина на стихи Нонны Слепаковой «Медведь отыскал человечка».

Слава Лейкин, поэт и геолог, сочинил стихи, на которые Александр Дулов написал известную песню. В ней искусно пародировались мои северные «мужественные» песни:

…Все равно мы с пути не свернули.
Мы упрямо идем к своей цели.
Правда, трое из нас утонули,
А четвертого, толстого, съели.

Часто гостями клуба становились и артисты, приехавшие в Ленинград на гастроли. Например, по инициативе одного из авторов. Валентина Глазанова, на сцене «Востока» не раз выступали актеры театра «Современник», и в первую очередь Валентин Никулин, раньше всех среди своих коллег начавший исполнять авторскую песню, и Людмила Иванова, сама широко известная как автор песен. Часто бывали здесь и ленинградские артисты, прежде всего из ТЮЗа (Виктор Федоров, Александр Хочинский) и театра Ленинского комсомола (Юрий Хохликов, Владимир Тыкке).

Выступали здесь и именитые московские поэты Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Римма Казакова.

Первыми ведущими этих вечеров в «Востоке» стали литературовед, доктор филологических наук, работавший тогда в Пушкинском Доме АН СССР, Юрий Андреевич Андреев и кандидат искусствоведения, музыковед Владимир Аронович Фрумкин. Это был удивительный дуэт двух людей, совершенно противоположных друг другу во всем — от внешности и темперамента до художественных и политических взглядов. Они всегда находились в постоянной взаимной оппозиции и, может быть, именно это обеспечивало неизменный успех проводившихся вечеров и остроту разворачивающихся дискуссий.

О популярности вечеров, ставших традиционными, говорит то, что число заявок на ежегодные абонементы на них значительно превышало число мест в зале. Например, как вспоминает Ира Кострец, Ленинградский университет просил 400 мест — дали 4, а вузам поменьше — по 2 места.

Знакомство с новыми авторами и обсуждение их песен проходило в кафе по первым понедельникам каждого месяца. Помню, как радовался Юрий Кукин, услышав впервые «Пластилиновую ворону» Григория Гладкова.

В 23 часа кафе закрывалось, и желающие продолжить вечер,

как правило, шли к расположенному неподалеку ТЮЗу, устраивая на его ступенях концерт под открытым небом. Надо сказать, что милиционеры довольно лояльно относились к этим ночным мероприятиям и даже подтягивались послушать песни.

Летом 1967 года на Карельском перешейке, в Лемболово, был организован выездной концерт клуба, в котором, несмотря на яростные атаки комаров, приняло участие несколько тысяч человек. Этот первый фестиваль длился два дня. На нем выступали Ада Якушева с маленькой дочерью Татьяной, Сергеи Никитин, Юрий Кукин и многие другие.

В 1967 году «Голос Америки» посвятил кафе «Восток» специальную передачу. Начиналась она словами: «В самом центре всегда мокрого и грустного Ленинграда примостилось кафе «Восток», в котором собираются авторы…» Услышав эту передачу, власти спохватились, однако закрывать клуб было уже поздно.

Надо сказать при этом, что тогдашние вечера клуба «Восток» были первым и далеко не безопасным опытом песенной и разговорной гласности после десятилетий сталинской немоты. Гласности, которая все это время, начиная с основания клуба, постоянно находилась под неусыпным оком ленинградского КГБ, а также Дзержинского райкома партии и горкома. Неслучайно руководителей клуба время от времени вызывали в соответствующие инстанции и делали грозную накачку или вербовали в стукачи. Для штатных сотрудников КГБ и райкома партии на каждом вечере бронировались места. Та же Ира Кострич вспоминает, как зимой на Домбае во время вечерней прогулки вдруг услышала за спиной свой собственный голос, объявлявший выступление автора Леонида Кособокова. Рядом с ней оказались ребята-москвичи, студенты Института международных отношений, с портативным магнитофоном. После знакомства они признались, что пленку им дали переписать их друзья из ленинградского «Большого дома» на Литейном.

Я хорошо помню, как дважды отменялись в «Востоке» концерты Окуджавы и Высоцкого, как директор Дома культуры Александр Павлович, пожилой запуганный насмерть еврей с боевыми орденами, носивший славную фамилию Ландау, принимал валидол после каждого вызова в райком и жаловался, что у него грозят отобрать партбилет.

Понятно, что в Ленинграде, так же как и в Москве, авторская песня, начиная с Окуджавы, была сразу же встречена враждебно: «губернаторская власть — хуже царской». Против нее объединились, как это ни кажется теперь странным, и партийные идеологи, и творческая интеллигенция — прежде всего композиторы и музыковеды, такие, например, как один из самых

интересных комментаторов классической музыки Энтелис.

К ним довольно скоро присоединились и литераторы. Все они дружно предали авторскую песню анафеме, решительно отказав ей в праве на существование. При этом партийные и послушно подпевавшие им комсомольские идеологи утверждали, что песни эти развращают молодежь, в то время как блюстители профессиональности убедительно доказывали, что это — дешевая и недолговечная форма массового искусства, где нет ни поэзии, ни музыки.

Так, в одном из своих выступлений в клубе «Восток», запечатленном на кинопленку в фильме «Срочно требуется песня», о котором речь пойдет ниже, музыковед Энтелис сравнивал авторские песни с модным в то время шлягером «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» и утверждал, что не пройдет и года, как все эти песни будут полностью забыты. Мне неоднократно приходилось видеть этот фильм, ставший теперь историческим, на разного рода песенных вечерах, в частности на праздновании двадцатипятилетия клуба «Восток» в Ленинграде, и каждый раз зал встречал реплику Энтелиса смехом и аплодисментами.

И все-таки это были первые «полуоткрытые» дискуссии. «Полуоткрытые» потому, с одной стороны, что они во многом контролировались и режиссировались «властями предержащими» и «композиторами в законе», а с другой — вовлекали в разговор широкие слои ленинградской молодежи и, прежде всего, технической и творческой интеллигенции, которой уже в те времена зажать рот было не всегда просто.

Память об этих вечерах, ставших теперь достоянием истории, сохранили магнитофонные записи, сделанные на допотопных, тяжелых и громоздких бобинных магнитофонах несколькими бескорыстными энтузиастами. Старейший из них — Николай Федорович Курчев, благодаря которому эти материалы сохранились для потомства.

Интересной особенностью первых вечеров-концертов «Востока», начавшихся в 1965 году, было то, что в этих концертах-дискуссиях принимали участие одновременно и самодеятельные авторы песен, и профессиональные поэты, композиторы и исполнители — такие, например, как композиторы Андрей Петров, Микаэл Таривердиев, Ян Френкель, Александр Колкер, поэты-песенники Лев Куклин, Ким Рыжов и другие. Участие профессионалов было необходимым условием для получения разрешений на эти концерты.

На первом вечере профессионалов представляли один из ведущих композиторов Андрей Петров, весьма известный и

популярный в ту пору, и поэт-песенник Лев Куклин, песни которого «Голубые города» и некоторые другие были тогда на слуху у молодежи. Самодеятельные авторы были представлены гостем из Москвы Александром Дуловым и ленинградцами Борисом Полоскиным, Евгением Клячкиным, Валентином Вихоревым, Виталием Сейновым и Валерием Сачковским. Александр Дулов пел ставшую к тому времени уже знаменитой среди моих коллег-геологов песню на стихи Игоря Жданова «Сырая тяжесть сапога», а также песни на стихи Виктора Сосноры, Юнны Мориц, Александра Кушнера, Олега Тарутина. Закончил он под бурные аплодисменты всего зала песней, которая уже тогда пользовалась всеобщей любовью — «Хромой король», на слова бельгийского поэта Мориса Карема:

Железный шлем, деревянный костыль —
Король с войны возвращался домой.
Солдаты пели, глотая пыль,
И пел с ними вместе король хромой.

За ним выступал Евгений Клячкин, который спел «Сигаретой опиши колечко», «Этот город — он на вид угрюм», «На Театральной площади» и другие.

Все участники вечера, сидевшие в зале, получили опросные анкетки, где спрашивали их мнения о лучшей песне на вечере, кто больше понравился и каковы пожелания. Абсолютное большинство зрителей решительно высказалось в пользу первого отделения, в пользу самодеятельной песни.

Вот отрывки из анкет.

«Пусть больше поют самодеятельные авторы — Петрова мы слышим и по радио».

«Товарищи, где ваше чувство меры? Две половины вашего концерта не стыкуются. Публика смеется над вами. Нельзя путать настоящие песни с большим подтекстом с песнями эстрады».

«В дальнейшем не сочетать эстраду с самодеятельными песнями и их исполнителями. Сравнение — увы — не в пользу эстрады. Ей не хватает искренности и непосредственности».

«Зачем Петров пишет столь хорошую музыку на столь плохие стихи?»

Были и такие пожелания:

«В принудительном порядке отправить профессиональных поэтов и композиторов в турпоходы».

И прочая, и прочая, и прочая…

После первого концерта было проведено еще несколько «комплексных» вечеров, где одно отделение занимали

самодеятельные авторы, а второе — «профессионалы». Так, 10 ноября 1965 года в первом отделении абонементного концерта выступал один из ведущих ленинградских эстрадных композиторов Александр Колкер с очень популярными в то время профессиональными исполнителями Марией Пахоменко и Александром Серебровым, а во втором отделении — автор этих строк, как известно, никогда вокальными талантами не отличавшийся. На гитаре мне аккомпанировал Валентин Вихорев.

Часть моих песен в этом концерте пел молодой артист-исполнитель Илья Резник, ставший позже весьма популярным и преуспевающим автором, немало песен написавшим для Аллы Пугачевой. Тогда это был высокий, застенчивый и красивый юноша, очень похожий на молодого Блока. На этом концерте он пел песни «За белым металлом», «Палаточные города», «Черный хлеб», «Бермудские острова», «Над Канадой».

Много лет спустя, после долгого перерыва, уже в наши дни, я неожиданно встретился с ним в Ленинграде на перроне Московского вокзала по дороге в Москву. Мы стояли возле вагона «Красной Стрелы», когда рядом с нами величественно проплыла высокая солидная фигура в бобровой шубе и такой же шапке. «Познакомься, — сказал я жене, — это один из столпов современной эстрады». Илья с высоты своего великолепного роста скептически оглядел мою затертую нейлоновую куртку и милостиво протянул два толстых пальца. «Да, — произнес он, снисходительно улыбнувшись. — Еду в Москву встречать Аллочку из Италии. А ведь представляете, с чего я начал? — неожиданно обратился он к моей жене. — Я пел когда-то песни вашего мужа!» И, лучезарно улыбаясь, величественно проследовал дальше. Как раз в эту минуту двое провожатых доставили в наш вагон Юлия Кима, насквозь продрогшего в своей короткой не по-зимнему курточке и кепке и, судя по запаху, уже изрядно согревшегося по дороге к вокзалу. Как не похож был этот маленький замерзший человек на монументального Илью Резника! «Вот, полюбуйся, — сказал я жене, — два полюса современной песни».

Но вернемся в 1965 год. Песню «Чистые пруды» на упомянутом концерте исполнял Евгений Клячкин. Надо вообще сказать, что еще с тех давних лет между ленинградскими авторами установились самые дружеские отношения. Все члены этой небольшой группы — Вихорев, Клячкин, Полоскин, Глазанов, Кукин, я — с удовольствием распевали песни друг друга, радовались успехам товарищей. Я ощущал это в первую очередь, так как практически ни петь, ни играть не умел и постоянно пользовался услугами моих доброжелательных коллег. Среди нашей компании сразу же установилась обстановка

откровенности, подразумевавшей полное отсутствие каких бы то ни было проявлений зависти и недоброжелательства при самой резкой и нелицеприятной критике в глаза.

Летом того же 1965 года, на Всесоюзном слете в Бресте, посвященном героям и жертвам Великой Отечественной войны, был устроен фестиваль самодеятельной песни, председателем жюри которого был маршал Конев. «Жюрил» он довольно своеобразно. К примеру, выслушав одну из песен, он снял свою высокую маршальскую фуражку, утяжеленную золотым шитьем, вытер платком пот на лысом яйцеобразном черепе и негромко, как бы с некоторым удивлением, сказал в микрофон: «Хорошая песня — без похабщины». Песня немедленно заняла первое место.

Что касается нас, ленинградцев, то мы вышли все четверо — Вихорев, Клячкин, Полоскин и я — и заявили, что соревноваться друг с другом не хотим, а набранные каждым из нас очки просим суммировать для ленинградской команды. Это обеспечило первенство Ленинграду по самодеятельной песне.

Интересно, что дружба эта и взаимное доброжелательство, столь нетипичное для пишущих людей, сохранились потом на долгие годы, несмотря на то, что жизнь нас развела. Помню, как радовались мы все, спустя уже много лет, когда Юрий Кукин, долго молчавший, вдруг разразился новой песней «Ни горя, ни досады». Все это казалось вполне естественным, и только переселившись в Москву, где отношения между ведущими бардами оказались совсем не простыми, я понял цену этой ленинградской дружбе.

Вспоминаю, как Валя Вихорев сказал однажды: «Прости, старик, я тут твою мелодию использовал. Не возражаешь?» Речь шла о мелодии песни «Геркулесовы Столбы», частично взятой за основу в песне Вихорева «На Соловецких островах». Так же, примерно, поступил и Юрий Кукин, взяв полюбившуюся ему мелодию «Атлантов» для своей песни «Солдат Киплинга». Так же, без зазрения совести, поступил и я, приспособив мелодию песни Юрия Кукина «Мой маленький гном» для своей новой песни «Над Владивостоком». А может быть, все дело в том, что этим мелодиям нашим, вместе взятым, была грош цена в базарный день, и мы все это четко сознавали?

Кстати, о Вихореве. Я дружу с ним и с его песнями вот уже более трех десятилетий. Многие из них стали как бы частью моей прошлой жизни. Если считать (а я именно так и считаю), что особенностью авторской песни, отличающей ее от песен вообще и от стихов, является нерасторжимый сплав мелодии и текста, формирующий неповторимую для каждого автора интонацию, то лучшие песни Валентина Вихорева убедительно это

демонстрируют. У него свой, ни на кого не похожий, мелодический строй. Вихорев по натуре — лирик и созерцатель. И эта интонация сразу же, с первой строки его песни заставляет верить автору. О любви не кричат. Вихорев — однолюб, из всех времен года он любит осень. Когда я слушаю некоторые его песни, например любимую мною песню про август («У августа, мой друг…»), близкую по своему построению к классическому сонету, мне на память невольно приходят строки гениального Тютчева: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора».

Поэтическая одаренность Валентина Вихорева порой позволяет ему по-новому видеть самые обыденные вещи: «Налетает дождь, словно конница, выбивая дробь по земле», или: «Как след подраненного лета, брусника спелая во мху». В современной авторской песне Вихорев — один из немногих лирических пейзажистов, это его экологическая ниша, никем другим не занятая.

Что же касается того давнего вечера с моим первым выступлением в «Востоке», когда Клячкин и Резник распевали мои песни, а Клячкин еще и аккомпанировал мне на гитаре вместе с Вихоревым, то от него остались только выцветшие любительские фотографии да несовершенные записи на старых пленках.

Помню, что «Пиратскую» («Пират, забудь о стороне родной») и «Атлантов» пели вместе со мной все присутствующие на сцене авторы — Клячкин, Полоскин и Вихорев.

Дискуссия «по поводу творчества представленных аудитории профессионального композитора Александра Колкера и самодеятельного автора Александра Городницкого» развернулась острая. И опять, несмотря на старания В. Фрумкина и Ю. Андреева, пытавшихся установить «дипломатический» стиль разговора, аудитория решительно высказалась в пользу самодеятельной песни.

На этом эксперимент с совместным выступлением в одном концерте «самодеятельных» и «профессиональных» авторов закончился.

В последующих концертах пели уже в основном самодеятельные авторы, вместе с которыми охотно и успешно выступали ленинградские поэты Олег Тарутин, Леонид Агеев и другие. А вот композиторы уже не отважились. Приехал как-то, правда, из Москвы только вошедший в моду Микаэл Таривердиев, но узнав, что ему придется выступать «вместе с самодеятельностью», оскорбился и наотрез отказался участвовать в концерте, оставив вместо себя молодую исполнительницу Елену

Камбурову, которая пела песни Окуджавы в музыкальной аранжировке Таривердиева, сильно их исказившей.

И все-таки продолжались концерты и дискуссии, а приезжавшие в гости и с выступлениями москвичи Александр Дулов, Юрий Визбор и Ада Якушева завидовали: «Вот нам бы такой клуб!»

На одном из концертов в декабре 1966 года после выступления Александра Дулова и Олега Тарутина развернулась острая дискуссия о «профессионализации» авторских песен.

К этому времени в Союзе композиторов состоялось несколько вечеров, посвященных проблеме самодеятельной песни. В декабре 1966 года первый вечер-диспут прошел во Всесоюзном Доме композиторов в Москве. Выступали там Александр Дулов, Юлий Ким, Сергей Никитин с квартетом и Юрий Кукин.

В ленинградском отделении Союза композиторов тоже был устроен вечер, вызвавший ожесточенную дискуссию. Из самодеятельных авторов в нем принимали участие Евгений Клячкин и я. Несколько композиторов выступили на этом вечере с уничтожающей критикой прослушанного. «Все это — торжество вопиющей музыкальной безграмотности», — заявил один. Другой (Александр Колкер) сказал: «Когда я слышу песни Городницкого, то ощущаю немедленную потребность спуститься вниз в буфет и чего-нибудь выпить, потому что трезвый человек такие песни слушать не может!»

На упомянутом же очередном абонементном концерте в «Востоке» по предложению Фрумкина был проведен такой эксперимент: одна и та же «авторская» песня звучала сначала в исполнении автора в сопровождении гитары, а затем — в обработке профессионального композитора и в исполнении профессионального инструментального ансамбля.

Начали с популярной песни Юрия Визбора «Серега Санин». Сначала прозвучала песня в исполнении Визбора под гитару, в записи на бытовой магнитофон, а потом — она же, но в обработке профессионального московского композитора Кирилла Акимова, в сопровождении инструментального ансамбля и в студийной записи. Композитор, из самых, видимо, лучших побуждений, предпослал песне героическое музыкальное вступление, типичное для эстрадных песен, потом перешел на ритм вальса, а потом, в самых драматических местах, акцентировал трагизм текста замедлением ритма. При этом песню, хотя под инструментальный ансамбль, пел сам Юрий Визбор. Однако, где-то уже в начале песни, когда он стал петь сильно растянутый композитором припев да еще в заунывном сопровождении аккордеона, в зале раздались шум, хлопки и откровенный смех.

«Ну вот, — сказал Владимир Фрумкин, — а теперь послушайте, что пишет журнал «Музыкальная жизнь» номер шестнадцать в статье за подписью Е. Надеинского о самодеятельных песнях. А пишет он следующее: «Пожалуй, это еще не песни, это — полуфабрикаты. Песнями некоторые из них становятся под руками Кирилла Акимова и в исполнении Елены Камбуровой»».

В развернувшейся после дискуссии первое слово предоставлено было мне. Сохранилась магнитофонная запись моего выступления, сделанная Николаем Федоровичем Курчевым:

«Мне кажется, что для настоящего профессионального композитора так называемая самодеятельная песня не страшна. Ее могут бояться только композиторы с дурным вкусом не чувствующие поэзии, ограниченные или грешащие бездарностью в самом существе своего творчества. Самодеятельная песня представляет опасность в первую очередь для бездарных «текстовиков» (есть у нас такая весьма доходная профессия) и композиторов-конъюнктурщиков, у которых «все на продажу». Я считаю, что для них честнее было бы полностью отрицать право на существование для самодеятельных песен, чем так их аранжировать. Потому что такая аранжировка полностью убивает хорошие песни. Без нее эти песни, пусть руганые-переруганые, могли бы жить, а вот после нее — нет.

Неделю назад я попал в Ленинградский Дворец пионеров на диспут «Что поют?» Там я оказался случайным слушателем. Обычно ведь мы привыкли, что распинаемся на сцене, а композиторы сидят в зале, брезгливо морщатся, а потом высказывают все то сугубо негативное, что они о нас думают, или пишут бранные статьи. Тут же оказалось наоборот. На сцене присутствовали композиторы Прицкер и Зарицкий и поэт Леонид Хаустов, автор песенных текстов.

Там же были два весьма упитанных и одетых в концертные фраки исполнителя, которые с бодрыми улыбками исполняли «туристскую» песню «Что у вас, ребята, в рюкзаках?» Это было, пожалуй, самым лучшим из того, что там прозвучало, — остальное еще хуже и еще бодрее. Пионеры сначала были как-то совершенно подавлены услышанным. Тогда я вышел и сказал, что, по-моему, плохие песни, в том числе и те, что сейчас прозвучали, не могут быть профессиональными, даже если их авторы являются членами Союза композиторов и Союза писателей.

Слова эти подействовали на зал как сигнальная ракета. Сразу же, перебивая друг друга, стали вставать мальчики и девочки и говорить очень правильные вещи. Растерявшийся композитор

Юрий Зарицкий вначале пытался кричать на зал, но его быстро перестали слушать, и диспут пришлось прекратить. Мне думается, что фальшь официозной эстрадной песни сегодня чувствуют все, и, может быть, дети еще яснее, чем взрослые, потому что дети всегда чувствительнее к неправде.

А что касается услышанной аранжировки, то это очень хитрый ход, чтобы убить авторскую песню прямо в зародыше. Тут надо быть бдительными».

Спор этот затянулся на многие годы. Некоторые из участников первых вечеров в «Востоке» — такие талантливые авторы, как Юрий Кукин и Александр Дольский, — ушли на профессиональную эстраду и связали себя с концертно-гастрольной деятельностью. Все они — великолепные исполнители с редким сценическим обаянием. Для их песен не нужна дополнительная аранжировка или улучшение вокала. Но выиграло ли от этого их творчество? Думаю, что писать нм стало труднее, что наиболее явно видно на примере Юрия Кукина.

Тот же вечер, о котором я сейчас вспоминаю, завершился спором другого характера, возникшим между Юрием Андреевым и Владимиром Фрумкиным после того, как Александр Дулов спел свою песню на стихи Евгения Евтушенко «Бабий Яр». Юрий Андреев заявил, что он не согласен со стихами Евтушенко, который почему-то выделяет из числа жертв Бабьего Яра одних только евреев, и что Дулов, передавший в мелодии этой песни национальный еврейский колорит, усиливает неправильный акцент стихотворения.

Вот как ответил на это сам Дулов: «Я беру на себя полную ответственность за то, что взял эти слова Евтушенко. Ни в какой другой редакции брать не хочу: именно эта, и именно об этом я делал свою песню. Почему я делал эту песню? Потому что против фашизма, я думаю, не надо агитировать — это абсолютно всем ясно! Фашизм много всем зла хотел принести, но испокон веку вообще-то нет даже таких слов, которые говорили бы о ненависти к украинскому народу, к русскому народу, однако существует такое слово — «антисемитизм». И фашизм взял курс именно на уничтожение евреев. Даже в романе Кузнецова, который сделан гораздо мягче в этом отношении, чем стихи Евтушенко, четко и твердо показано, каким был основной лозунг фашистов, когда они приходили. Уничтожать кого? Не русских, не украинцев, а в первую очередь евреев! Поэтому необходимо выделять именно эту тему из всего остального, что делает фашизм».

С грустью я вспоминаю эти слова тридцать пять лет спустя, когда слегка замаскированный государственный антисемитизм 60-х годов сменился порожденным им откровенным

черносотенным разгулом российского национал-социализма.

Несмотря на резкую критику и официальные гонения (а возможно, и благодаря им), выступления бардов пользовались в то время в Питере большой популярностью.

Как-то мне позвонили из Дворца культуры Первой Пятилетки и предложили выступить вместе с другими ленинградскими бардами на концерте авторской песни. Я согласился, хотя и был удивлен, что пригласили накануне концерта. Приехав во Дворец культуры, я увидел публику, прямо говоря, нетипичную для концертов авторской песни, — модные молодые люди, роскошно разодетые секс-бомбы, никаких штормовок и других признаков «своих». Зайдя за кулисы, где уже сидели Кукин, Полоскин и Клячкин, я узнал, что на самом деле должен был состояться очередной концерт джаза под управлением Иосифа Вайнштейна, на который публика и собралась, но Вайнштейн заболел, и дирекция, не захотевшая отменить концерт, решила заменить джаз чем-нибудь не менее популярным. А поскольку наиболее популярной, как объяснили директору клуба в Управлении культуры, была авторская песня, он решил выйти из положения с помощью бардов, о чем публика предупреждена не была, и мы, кстати, тоже.

Далее произошло следующее. Первым вышел на сцену улыбающийся Борис Полоскин, весьма популярный в ту пору среди питерской молодежи. Не успел он запеть свою коронную песню «Проходит жизнь, проходит жизнь, как ветерок по полю ржи», как в зале раздались свист и крики. Вторую песню ему просто не дали петь, прогнав со сцены. Вторым вышел Юрий Кукин. Он попытался было начать «Ты что, мой друг, свистишь», но при этом действительно раздался такой оглушительный свист, что бедный Юра тоже ретировался. В зале кричали и топали ногами. Клячкин на сцену выходить отказался.

Что было делать? Концерт явно срывался. Тогда я вышел на сцену и поднял руку. Поскольку вышел я один, без инструмента и аккомпаниатора (играть мне должен был Женя Клячкин), то зал решил, что я либо из публики, либо от администрации. Шум понемногу стих. «Дорогие друзья, — сказал я, — насколько я понимаю, дирекция Дворца самым бессовестным образом обманула вас. Вы пришли на джазовый концерт, заплатили деньги, а вам вместо этого подсунули каких-то безголосых певцов, которые и на гитаре-то толком играть не могут, верно?» «Правильно! — закричали в зале. — Врежь им!» «Так вот, — продолжал я, — мы полностью разделяем ваше возмущение. Нам, ленинградским бардам, сказали, что мы будем выступать перед аудиторией, понимающей песенную поэзию. А если бы мы знали,

что в зале будут такие скоты, как вы, мы бы рта не раскрыли».

С этими словами я ушел. Что началось в зале! Рев и топот ног. На сцену полетели какие-то огрызки. Не менее пяти минут продолжались свист и топот, которые затем неожиданно перешли в скандирующие хлопки. Аудитории плюнули в морду, и она поняла — что-то не так. Вызывали на сцену. Когда я вышел снова, в зале воцарилась мертвая тишина. Я позвал Клячкина, и мы спели «Над Канадой небо сине». Зал взорвался аплодисментами. Потом мы спели «Снег», «От злой тоски». То же самое. После меня снова вышел Кукин. На этот раз его провожали овациями. Вечер прошел «на ура».

В 1967 году студия «Ленфильм» решила снять фильм об авторской песне. Режиссером фильма был Слава Чаплин, живущий ныне в Израиле. Съемки шли прямо на концертах клуба «Восток». Снимали выступающих, реакцию зала, реплики. Чаплин делал множество дублей, иногда съемки затягивались до глубокой ночи. Помню такой забавный эпизод. Что-то около часу ночи мы вместе со Славой вышли из клуба после того, как все наконец было отснято, полные усталости и нервного возбуждения. «Сейчас бы выпить надо! — заявил Чаплин. — Давай добудем где-нибудь поллитру и поедем ко мне».

По пустынному Владимирскому мела январская метель. «А где добудем?» — спросил я. «Ну, это просто, — сказал Чаплин, — надо подойти к любой стоянке такси». Мы отправились на угол Марата и Разъезжей, где, не в пример нынешним временам, гостеприимно горели зеленые фонарики и водители дремали в машинах в ожидании седоков. «Недавно последнюю отдали, — сказали нам. — Дуйте на Московский — там у носильщиков всегда бывает». На Московский вокзал мы добрались, когда стрелки вокзальных часов показывали два. Метель усиливалась. «Да нет, ребята, все уже разошлось, — сочувственно сказал нам грузный бригадир с блестящей бляхой на фартуке. — Ну, уж если очень надо, шагайте на Гончарную, дом три, здесь недалеко. Позвоните в ворота и спросите дворничиху тетю Пашу».

Дом 3 на Гончарной оказался сразу же за углом вокзала. Минут двадцать мы безуспешно стучали и звонили в заиндевелый звонок у наглухо запертых ворот. Я несколько раз уговаривал Славу бросить эту дурацкую затею, но он был упорен. Наконец за воротами раздалось лязганье железных запоров и кряхтение, открылась дверца, и из нее выглянула пожилая заспанная бабка в платке, ватнике и огромных подшитых валенках. ««Московская» — пять, «Столичная» — восемь», — лаконично заявила она в ответ на Славины просьбы. Через две минуты нам были вручены две поллитры, и снова залязгали железные засовы, закрывая ворота.

Не успели мы отойти от ворот, как услышали неожиданно, что засовы снова заскрипели. «Мальчики, — закричала высунувшаяся тетя Паша, — а девочек не надо? Недорого возьму — по трешке!» Эта сказочная несоразмерность рыночных цен конца 60-х, так же, как и адрес «Гончарная, 3», запомнились мне навсегда…

Снятый фильм был назван «Срочно требуется песня». На экране были показаны баталии между «профессионалами» и самодеятельными авторами, резкая критика в адрес самодеятельной песни, с которой выступали композиторы и музыковеды, в том числе уже упомянутый Энгелис.

В этом поистине историческом фильме можно увидеть и услышать молоденького Владимира Высоцкого, поющего свою знаменитую песню «Но парус, — порвали парус! Каюсь, каюсь, каюсь» и комментирующего уровень текстов «профессиональной» эстрадной песни: «Есть, например, песня, которая начинается так: «На тебе сошелся клином белый свет». Строчка эта повторяется три раза. И два автора текста!» Совсем юный Булат Окуджава поет «Надежды маленький оркестрик» и тут же заявляет, что песен больше писать не намерен. Молодой улыбающийся Владимир Фрумкин полемизирует на сцене с таким же молодым Юрием Андреевым.

Что касается меня и Евгения Клячкина, то нас из ленты вырезали по личному указанию тогдашнего ленинградского партийного босса Василия Сергеевича Толстикова. Фрумкин же, по явному недосмотру Толстикова, остался.

Позднее Василий Сергеевич Толстиков был направлен послом в Китай, где, по слухам, «принял французского посла… за английского и имел с ним продолжительную беседу». Рассказывают, что впервые прибыв в Пекин, он якобы спросил, выйдя на трап самолета, у сопровождавшего его переводчика: «Почему эти жиды сощурились?» Но это уже совсем другая история. Я же вспоминаю слова Иосифа Бродского: «Свобода — это когда забываешь имя и отчество диктатора». Справедливости ради, следует признаться, что я до сих пор отчетливо помню все имена-отчества диктаторов, и не только всесоюзных — Никита Сергеевич, Леонид Ильич или Юрий Владимирович, но и областных — Фрол Романович, Василий Сергеевич или Григорий Васильевич…

В связи с этим вспоминаются заметки одного из старейших ленинградских писателей Израиля Моисеевича Меттера, опубликованные в статье Я. Горди на «Дело Бродского», о процессе над Иосифом Бродским.

После ареста в феврале 1964 года Бродский содержался под стражей в одиночной камере предварительного заключения

Дзержинского райотделения милиции. Заместителем начальника этого райотдела, как пишет Меттер, был капитан Анатолий Алексеев — «на редкость интеллигентный, образованный молодой человек, азартный книгочей», который, по возможности, старался облегчить Бродскому его пребывание в одиночке. Вот что пишет И. М. Меттер дальше:

«…В том, как мне все это рассказывал Анатолий, я ощущал некую его сдержанность, вроде бы хотел сообщить что-то еще, но не решался. Перед самым уходом решился. Сказал, не глядя мне в глаза:

— Не советую вам встревать в это дело. Оно безнадежное.

— То есть как безнадежное! Откуда это может быть известно до решения суда?! — взъерошился я. — Не сталинские же времена!

— Да оно уже решенное. Василий Сергеевич распорядился, суд проштампует — и вся игра.

— А кто он такой, этот Василий Сергеевич? — наивность моя была безбрежна.

— Ну, вы даете! — грустно качнул головой Анатолий. — Василий Сергеевич Толстиков. Первый секретарь обкома…»

В 1968 году официальная пресса начала массированное наступление на авторскую песню. Сигналом для нее, своеобразным «залпом «Авроры»», послужила упомянутая выше статья в газете «Советская Россия», направленная против Высоцкого. Вслед за ней последовали другие статьи и заметки. Сурен Кочарян выступил в газете «Правда» с целым «подвалом», где писал об авторах самодеятельных песен:

««С гитарою под полою» или на плече самодеятельные певцы перекочевали из узкого круга своих сотоварищей на сцены клубов и дворцов культуры. Они не только выступают, но (о, ужас! — А.Г.) устраивают состязания, присуждают друг другу премии. Некоторые из них выезжают на гастроли. Иных, говорят, невозможно заполучить, или же — только «по блату» и за солидное вознаграждение… Они называют себя бардами, труверами, менестрелями… но право же, нельзя так уж свободно жонглировать такими глубоко содержательными понятиями. И те, и другие, и третьи выражали думы и чаяния своих народов, являясь их живой памятью, передавая лучшее следующим поколениям, выставляя отрицательное на осмеяние и осуждение. Они умели вглядываться в жизнь, отличать в ней зерна от плевел, умели владеть стихом, инструментом, голосом для песни. Они беспрерывно, хотя и самодеятельно, оттачивали свое мастерство, потому и преуспели в этом».

Во всем вышеперечисленном: народности, таланте, умении

владеть «стихом, инструментом и голосом для песни» — бардам первого поколения Окуджаве, Галичу, Высоцкому и другим было решительно отказано.

«Музыка здесь и не ночевала, — писал далее Кочарян. — Бренчанье, иного слова и не подберешь, на гитаре — на двух, трех аккордах. Почти полное отсутствие голоса. Песня проговаривается хриплым речитативом, а не поется. Манера исполнения рассчитана на «ошеломление» слушателя необычной формой, разухабистой, как у коверных рыжих в дореволюционном цирке. Порой все это напоминает «певцов» в пригородных поездах, что одно время расплодились по железным дорогам. Песни эти, до удивления похожие друг на друга, отличаются между собой лишь степенью убожества мысли, вариациями махрово-блатных выражений. Характерно полное отсутствие воображения, фантазии. Если же они и присутствуют, то весьма дурного тона».

Привычно восприняв выступления печати как команду, клубы и дворцы культуры отказались предоставлять свои помещения для «бардов и менестрелей». Пошли запреты на конкурсы и фестивали. Наконец, чтобы поставить последнюю точку в безоговорочном разгроме «самодеятельной песни» и окончательно решить этот вопрос, газета «Известия» заказала большую зубодробительную статью одному из ведущих советских композиторов — многократному лауреату Ленинских и Государственных премий, депутату Верховного Совета СССР, автору популярнейших в народе песен Василию Павловичу Соловьеву-Седому, жившему тогда на своей даче в Комарово.

Активисты клуба «Восток» прознали об этом и решили обязательно встретиться с Соловьевым-Седым и постараться отговорить его писать эту статью. Всеобщим решением отговаривать должен был я.

Встреча состоялась в жаркий июльский день в Комарове, на литфондовской даче, где раньше жила Анна Андреевна Ахматова, а в тот год — ленинградский поэт Лев Друзкин с женой, позднее выехавшие в ФРГ. Василия Павловича, дача которого была неподалеку, уговорили прийти туда для разговора о самодеятельной песне. Помимо хозяев и меня в кабинете было еще несколько человек, в том числе Володя Фрумкин и ленинградский драматург Аль. По случаю предстоящего разговора на стол было выставлено сухое вино. Все ждали именитого гостя.

Наконец, тяжело отдуваясь, появился покрасневший от жары Соловьев-Седой, в летнем полотняном костюме и тюбетейке. На присутствующих он даже не взглянул, а бросив взгляд на стол,

произнес: «Водки нет — разговора не будет», и вытирая платком со лба обильный пот, развернулся на выход. Его с трудом уговорили обождать. Побежали за водкой.

Так или иначе, разговор все-таки состоялся. Вели его в основном Фрумкин, Соловьев-Седой и я. В течение без малого трех часов я рассказывал Соловьеву-Седому об авторской песне, пел, как мог, фрагменты из песен Анчарова, Кима, Визбора, Высоцкого, Горбовского, Новеллы Матвеевой и других, рассказывал о клубе «Восток», пытался объяснить, что именем композитора хотят воспользоваться для удушения движения самодеятельной песни. Он внимательно слушал и проявил даже неожиданный для меня интерес, много спрашивал, удивлялся, что до сих пор плохо знает об этом направлении.

Когда же я упомянул имя Александра Галича, он неожиданно сказал: «Ну, про Сашу ты мне ничего не говори — это мой автор. Мы с ним работаем». «Как?» — удивился теперь я. «Да ты что, разве не знаешь?» — спросил Василий Павлович. Оказалось, что песня Соловьева-Седого «Протрубили трубачи тревогу», которую еще в институте мы распевали по команде старшины на строевой подготовке, написана на слова Александра Галича.

Встреча наша оказалась бесполезной. Несмотря на заверения Соловьева-Седого в поддержке авторской песни, 15 ноября 1968 года все в той же газете «Советская Россия» появилась его статья «Модно — не значит современно», направленная против нее. Однако «закрыть» авторскую песню не удалось.

Что же касается ленинградского клуба «Восток», то он с годами стал превращаться в концертный зал авторской песни. Уехал навсегда в США Владимир Фрумкин. Разбрелись кто куда авторы первого поколения. Одни «завязали» с песнями, другие, наоборот, стали эстрадными выступальщиками. Отбыл в Израиль Евгений Клячкин. Пришли бурные времена перестройки, не располагающие к пению. Но осталась память о недолгом ренессансе 60-х и собственной наивной молодости.

И еще одно интересное и уникальное по природе своей явление. Начиная с середины 60-х годов вокруг авторской песни начало развиваться движение «клубов самодеятельной песни». Многочисленные любители авторской песни, люди разных возрастов, специальностей, в самых разных концах Советского Союза стали объединяться в такие клубы, пели песни своих любимых авторов, пытались сочинять сами, устраивали песенные фестивали.

Оглядываясь назад, нельзя не заметить, что именно вторая половина 60-х и 70-е годы, прежде всего в Москве, были временем максимального взлета авторской песни, подхваченной мощной

волной движения самодеятельной песни, быстро распространившегося по всей огромной стране. Именно в это время резко усилившаяся бездуховность и фальшь брежневской эпохи, отразившаяся прежде всего в стремительной деградации песенного искусства и нашей официальной эстрады, заставила молодежь, особенно чуткую ко всякой неправде и двоедушию, искать для самовыражения собственные слова и мелодии.

Довольно быстро сообразившее это партийное руководство во главе с серыми кардиналами Сусловым и Гришиным к концу 70-х начало открыто расправляться с этим движением, увидев полную невозможность формализовать его через комсомол и направить в «нужное русло».

Именно тогда в 1968 году на берегу Волги, неподалеку от Самары, зажглись первые костры ежегодного фестиваля самодеятельной песни, посвященного памяти Валерия Грушина, куйбышевского студента, который погиб, спасая детей на таежной реке, зазвенели гитары, зазвучали голоса молодых авторов.

Лето за летом в первую субботу и воскресенье июля за одну ночь, как в сказке, возникал шумный палаточный город, вмещавший иногда более ста тысяч жителей, и снова исчезал до следующего года. Но исчезал не бесследно: оставались в памяти песни, услышанные здесь, оставалась память в душе каждого, кто посидел у одного из этих бесчисленных костров, хлебнул пахнущего дымом чая из закопченной кружки, увидел десятки микрофонов, привязанных к удилищам, протянутым над головами поближе к поющему.

Именно этот, никем особо не афишируемый, а потом и попросту запрещенный песенный праздник стягивал сюда, в самое сердце России, десятки тысяч юношей и девушек из разных областей страны — от Бреста до Петропавловска-Камчатского.

Фестивали, как правило, завершались знаменитой «Жигулевской кругосветкой», о которой я уже упоминал, — десятидневным плаванием по Волге, Усе и Жигулевскому морю на ялах и байдарках. Здесь любители авторских песен как бы наяву приобщались к суровой романтике того, о чем пели: к необъятному простору воды, к суровым волжским штормам, не уступающим морским, к скупому палаточному уюту и товариществу впервые встретившихся людей, объединенных песней, и наконец, к главному — к плывущей слева и справа любимой своей многострадальной родной земле, израненной карьерами и каменоломнями, потравленной лихими лесозаготовителями, замусоренной промышленными отходами.

Так в самую глухую пору брежневского застоя, задолго до перестройки и гласности, появился новый социум, сплоченный

песнями.

Начиная с 70-го года в течение многих лет мне довелось быть председателем жюри этого знаменитого фестиваля.

Хорошо помню, как всего за несколько лет число участников этого никем не санкционированного и не организуемого фестиваля стихийно выросло от нескольких сотен человек до более чем двухсот тысяч. И обкомом партии, и комсомолом предпринимались самые отчаянные попытки «оседлать» эту многотысячную молодежную стихию, сделать фестиваль «идейно выдержанным». Справедливости ради надо сказать, что я и сам, как председатель жюри, приложил к этому руку, не без оснований опасаясь провокаций, которые дали бы начальству законные основания закрыть фестиваль. Как только его ни называли — и туристской песни, и патриотической песни! Пристегивали к спортивным и общественным мероприятиям и планам идеологической работы. Ничего не помогло.

Упрямый дух вольнолюбия десятков тысяч поющих у костров, песенный «социализм на зеленой горе» упрямо пробивался через официально утвержденную тематику конкурсов, как трава через асфальт.

К началу 70-х годов клубы самодеятельной песни возникли уже в 196 крупнейших городах Союза, объединив более двух миллионов человек.

Сейчас, когда возникло великое множество различных партий и «неформальных объединений», я думаю о том, что именно клубы самодеятельной песни в беспросветное, казалось бы, застойное время — в 70-е годы, когда Суслов «над страною простер совиные крыла», образовали первое «неформальное объединение». Песни, вокруг которых объединились люди, были не самоцелью, а лишь условным опознавательным знаком «свой — чужой», как на современных реактивных истребителях. «Ты любишь эти песни? Значит, мы любим одно и то же. Тогда иди к нам. У нас общие друзья, а следовательно, общие враги». Как правильно написал Юрий Визбор в одной из своих песен:

> Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги —
> Значит; есть, наверно, и друзья.

Повсюду — в институтах, на заводах, в городских районах создавались поющие «кусты», входившие в состав городских, районных и республиканских клубов. Места многочисленных фестивалей сохранялись в глубочайшей тайне, чтобы не пришли «хвосты». И хотя ничего «крамольного» в движении самодеятельной песни не было, оно все время находилось под

неусыпным оком КГБ, которое, в частности, неоднократно бесцеремонно вмешивалось в работу жюри и составление концертной программы Грушинских фестивалей. Подсчитывали, например, «число людей еврейской национальности» в оргкомитете фестиваля и среди участников. Бдительно слушали у ночных костров, не запоет ли кто-нибудь сдуру запрещенные песни Галича или Кима.

Помню, какой скандал возник, когда после одного из фестивалей, уже на городском концерте, почетные гости и члены жюри Татьяна и Сергей Никитины спели свою знаменитую песню на стихи Давида Самойлова «Смерть Ивана». Ревнителям идейной чистоты в штатском не понравились строчки: «Может, так проживем, безо всяких царей? Что хошь твори, что хошь говори!» «Это что же такое, кто разрешил петь?» — возмутились «инстанции». Все мои попытки возражать, ссылаясь на то, что эти стихи многократно опубликованы в книгах Самойлова, успеха не возымели.

Времена, впрочем, были крутые. Примерно в ту же пору в Саратове, где выступала с гастролями Елена Камбурова, бдительные партийные власти обратили внимание на «идейно не выдержанные» строчки в одной из исполненных ею песен:

Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

В Москву немедленно был отправлен донос, и выступления Камбуровой надолго запретили.

Особенно лютыми были две атаки на авторскую песню и клубы КСП: первая началась в 1968 году сразу же после знаменитого фестиваля КСП в Новосибирске, где выступил Александр Галич. Неприятностей тогда хватило не только организаторам, но и всем песенным клубам страны. Поводом для второй атаки, после которой партийные власти перешли к прямому запрещению деятельности клубов самодеятельной песни и фестивалей, послужил в 1981 году юбилейный XV фестиваль московского КСП, плотно обложенный стукачами, после чего сам клуб был распущен.

Говорят, что всемогущему в то время товарищу Гришину доложили, что КСП представляет собой серьезную опасность — «он может, передавая сообщение по цепочке, тайно вывести под Москву и собрать в условленном месте за несколько часов до десяти тысяч человек». «Нам такие клубы не нужны», — грозно заявил партийный лидер.

Припомнили и то, что на поляне, где проходил загородный

концерт московского фестиваля, красовался плакат «Слава КСП», и многое другое. Сразу же были запрещены и другие клубы, а заодно и все фестивали, начиная с Грушинского. У меня дома до сих пор хранится фотография пустой поляны на берегу Волги, посредине которой на вбитом колу прикреплена надпись «Фестиваль отменен». Стихийно прибывших на берег Волги энтузиастов, пытавшихся собраться здесь «нелегально», вылавливала милиция и отправляла обратно. Запреты эти сняты были лишь с приходом гласности.

С середины 90-х годов, в пору перестройки, авторская песня как будто потеряла свое былое значение. Из некогда крамольного направления она стала как бы искусством ретро. Кому нужно теперь тихое звучание гитары, когда под электронный рев певцы современного «тяжелого рока» громко выкрикивают со сцен под одобрительный гул приплясывающей толпы куда более политически острые строки.

Несмотря на продолжающийся интерес, фестивали самодеятельной песни, теперь вполне разрешенные, как правило, не открывают ничего интересного по части новых авторов и превращаются в песенные «тусовки». На радио и телевидение под маркой «авторской песни» хлынул поток откровенной пошлости и бездарщины.

В последние годы в серии своих интервью, в том числе во время выступлений в США, в штате Вермонт, где он читал лекции в университете об авторской песне, Булат Окуджава неоднократно подчеркивал, что авторская песня 60-х годов умерла раз и навсегда, что родилась она «на московских кухнях» и была своеобразным творческим протестом московской пишущей интеллигенции, сродни тогда же возникшему и раздавленному позднее Андроповым диссидентскому движению.

Это можно считать справедливым только в том случае, если свести все движение авторской и самодеятельной песни лишь к творчеству ведущей «московской группы» — Окуджавы, Галича, Кима, Анчарова и в известной степени Высоцкого. Но несмотря на их определяющий вклад в развитие авторской песни в 60-е годы, одно их творчество не в состоянии исчерпать все многообразие массового песенного движения, вдруг родившегося на рубеже 50-х и 60-х.

Булат Окуджава прав, если брать в расчет всего-то неширокий круг московской интеллигенции, однако кроме интеллигенции был еще многомиллионный обманутый и угнетенный народ, который начал обретать свой собственный голос.

Не только на московских кухнях родилась авторская песня, а

в «чистом поле» на тяжелой подневольной работе, и в дальнем изнурительном походе, на Воркуте и Колыме, в свинцовых потемках ГУЛАГа, где остались безымянными песни сгинувших авторов — «Идут на север срока огромные» или «Черные сухари». Так что не на кухнях ей и кончаться.

На эти размышления навели меня события у Белого Дома в дни августовского путча 1991 года. Все знают, что в эти трагические, полные тревоги и надежды дни и ночи на баррикадах у Белого Дома звучали молодежные рок-ансамбли, подбадривая усталых, промокших и практически безоружных его защитников. Это сразу же было подхвачено телевидением и радио, об этом писали газеты. Все помнят, конечно, многочасовой «концерт победителей», транслировавшийся на всю страну, тогда еще единую.

Гораздо менее известно другое: в самое тяжелое время, девятнадцатого, и особенно вечером и ночью двадцатого числа, когда возводились баррикады и одно тревожное известие спешило сменить другое, стоя под дождем в темноте, люди пели «авторские песни» 60-х годов. Это не было концертом. Пели люди у Горбатого моста, передавая по цепочке камни из развороченной мостовой и складывая из них баррикаду, пели под проливным дождем, плотно, плечом к плечу прижатые в толпе под балконом Белого Дома, когда Руцкой объявил о возможности близкого штурма и попросил отойти от стен — на случай, если полетят стекла.

Туда пришли ребята из московского Центра авторской песни, прихватив с собой несколько гитар и спальные мешки. Они пели всю ночь, и песни подхватывали окружающие.

Что пели? Ну конечно, «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» — песню, как бы специально для этого написанную. Действительно, если меня не подводит память, Булат Окуджава написал эту песню для спектакля «Глоток свободы» — о декабристах, так же героически стоявших когда-то на Сенатской площади. Пели «Атлантов». И сам я до хрипоты много раз их пел, и меня самого поражало, что старые слова обретают новый смысл. Пели Визбора «Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?» — и эта песня оказалась кстати. Пели Кукина и Долину, Анчарова и Якушеву, Новеллу Матвееву и Галича, и какие-то неизвестные мне песни молодых авторов.

Пели не для кого-нибудь, а для себя. Чтобы согреться. Чтобы развеять тревогу. Чтобы убедиться, что вокруг свои. Самое интересное, что пели в основном не «старики» моего поколения, которых там было не слишком много, а молодые. Это была их

Сенатская площадь, их бой. А песни звучали «наши» — из 60-х годов.

Вспоминаю, что около семи вечера двадцатого августа, когда я стоял в цепи у Горбатого моста и передавал из рук в руки камни для баррикады, а по радио в очередной раз объявили об опасности штурма, ко мне подошел какой-то паренек и внимательно посмотрев на меня, сказал: «Александр Моисеевич, это вы? Можно я встану рядом с вами?» Большего комплимента как автор я не получал в жизни.

Дело, конечно, не только в том, что эти песни пели молодые на баррикадах, в «живом кольце», окружившем Белый Дом, а в том, что на этих песнях они выросли, что песни помогли сформироваться тому мировоззрению, которое их на эти баррикады привело. Они пришли взяться за руки вокруг Белого Дома, реализуя слова своих любимых песен. И это, пожалуй, самое главное.

Кстати, примерно через месяц после событий у Белого Дома, в сентябре 1991 года меня вызвали в Министерство внутренних дел и торжественно вручили мне именной фотоаппарат и грамоту, подписанную одним из главарей путча министром внутренних дел Пуго, к этому времени уже застрелившимся. Оказывается, в июне 1991 года я принимал участие в Питере в благотворительном концерте в пользу семей военнослужащих МВД, погибших в «горячих точках». Пока подписывались бумаги и утверждались подарки, власть поменялась.

Говоря об авторской песне, нельзя не коснуться ставшего уже традиционным пренебрежительного к ней отношения не только со стороны многих профессиональных композиторов, но и многих ведущих поэтов. В одной из своих статей любимый мною Александр Кушнер написал о том, что авторская песня — «это особый вид массовой культуры, к поэзии, за редким исключением, отношения не имеющий». И далее: «Люди, пропевающие свою жизнь, заменяют мышление пением, — философ сказал бы, что они не существуют».

Помню, как-то в конце 70-х я присутствовал на поэтическом вечере Давида Самойлова в Останкино. Отвечая на вопрос о художественной значимости авторской песни, он сказал, поморщившись: «Настоящая поэзия не нуждается в гитарной подпорке».

Такое пренебрежительное отношение к бардам, как правило, характерно и для других профессиональных поэтов. Считается почему-то, что если стихи читаются с листа, то они «настоящие», а если их надо петь, то это уже и не стихи, а неизвестно что.

Несмотря на огромную популярность посмертно

опубликованных песен Галича и Высоцкого и их безусловное поэтическое новаторство, ревнители истинной поэзии все так же пожимают плечами, как это делали их предки еще во времена Аполлона Григорьева. Я же решительно не понимаю, чем поэтическая строка, которая поется, хуже той, которую можно только читать. Что потеряли и потеряли ли вообще что-нибудь, став песнями, такие стихи, как «Выхожу один я на дорогу» и «Парус» Лермонтова, «Гренада» Светлова, «Повремени, певец разлук» Самойлова, «Мы под Колпино скопом стоим» Межирова, «Пилигримы» Бродского?

Когда я беру в руки книги стихов Окуджавы, Галича или Кима, мне действительно трудно читать их, не воспроизводя в памяти мелодию, ну и что из этого? Ведь то же самое происходит с пушкинскими, лермонтовскими или тютчевскими стихами, положенными на музыку, и нисколько не делает их хуже.

Есть и другая позиция, наиболее четко выраженная в статье Дмитрия Сухарева «Введение в субъективную бардистику», опубликованной в журнале «Знамя» № 10 за 2000 год и представляющей собой журнальный вариант предисловия к составленной им антологии авторской песни.

Согласно ей, песня только тогда «истинно авторская», когда бард (читай — композитор) придумывает мелодию на уже готовые стихи профессионального поэта.

При этом приводятся примеры всем известных песен на стихи Иосифа Бродского, Александра Величанского, Редьярда Киплинга, Юнны Мориц. Продолжая этот список, мы тут же вспомним и самого Сухарева. Тех же, кто придумывает сразу и стихи, и мелодию, Дмитрий Сухарев называет «дилетантами».

Он пишет: «Вряд ли нужно доказывать, что начальная пора авторской песни действительно прошла под знаком возвышенного дилетантизма. Это касается всех, включая классиков жанра. Пальцы одной руки загну, вспоминая писавших крепкие стихи, пальцы другой оставлю для авторов достойной музыки, один палец подожму на ноге, дабы не забыть того, который выделялся умением работать на сцене». Этим заявлением Сухарев сразу отказывает авторской песне в принадлежности к литературному ряду и предлагает судить ее по законам эстрады, где «умение работать на сцене» не менее важно, чем уровень поэзии поющихся стихов. Вот уж не знаю, умел ли «работать на сцене» один из лучших поэтов серебряного века Михаил Кузмин.

Кстати сказать, Дмитрий Сухарев и не скрывает, что, по его мнению, авторская песня вообще не литературный жанр: «Наверное, каждый согласится с утверждением, что это один из музыкальных жанров современной русской культуры». Не

каждый, — я, например, не соглашусь. Это расплывчатое определение мне не нравится. Гораздо лучше четкая формулировка В. Альтшуллера: «Музыкальное интонирование русской поэтической речи».

Согласно Сухареву, отказавшему «триединым авторам» в профессионализме, в число «дилетантов» автоматически попадают такие поэты, как Булат Окуджава, Александр Галич, Новелла Матвеева, Владимир Высоцкий, Юлий Ким. Впрочем, трудно спорить о поэзии с автором статьи, который и самого Тютчева не жалует. Цитируя полюбившуюся ему матерную частушку: «Теща бл…ща / Блинищи пекла. / Уронила сковородищу — / Пи…ищу сожгла», — он заключает: «Это вам уже не Тютчев, а поэзия сама». Да уж, — это и впрямь не Тютчев!

Заочно полемизируя с Булатом Окуджавой, (не так уж сложно полемизировать с оппонентом, который не может возразить), Дмитрий Сухарев пишет: «Евгений Рейн считает Высоцкого посредственным стихотворцем, а для Окуджавы Высоцкий — «явление». Боюсь, что ближе к истине Евгений Рейн». И далее: «Булат Окуджава выводил авторскую песню из поэзии Дениса Давыдова и Аполлона Григорьева. Чаще ее выводят из «Бригантины» и «Глобуса». Обе песни — самодеятельность самого, я бы сказал, среднего Пошиба».

Ну, что тут скажешь! Обе эти песни, — и «Бригантина», и «Глобус», для меня, более сорока лет проведшего в экспедициях, одни из самых любимых. И, в отличие от сурового Дмитрия Антоновича, я никак не могу считать «самодеятельными поэтами» Павла Когана, Михаила Светлова и Михаила Львовского, автора знаменитой песни «На Тихорецкую состав отправится».

«Это сейчас, в последние годы, — продолжает Сухарев, — авторская песня мощно прирастает великой поэзией, а тогда было иначе». Примеров этой «великой поэзии» в авторской песне, пришедшей на смену «дилетанту Окуджаве», Дмитрий Антонович почему-то не приводит.

В чем же специфика песенных стихов? Мне кажется, что стихотворная основа песни должна обладать главными достоинствами стихотворения и в то же время не выносит некоторых его черт. Например, стихотворение может быть длинным. Читатель может отложить книгу, чтобы потом вернуться к ней. Песня растянутой быть не может. Она должна быть краткой, чтобы восприниматься на слух. Вспомним, как безжалостно и точно обрубил народ стихи Рылеева про Ермака. Песня гораздо короче «Думы», да и то ее редко допевают до конца, чаще вянут где-то на середине. Так же неумолимо народ сократил и «Коробейников» Некрасова.

Или другой пример — песне противопоказана излишняя, метафорическая усложненность, многоступенчатая система тонких ассоциативных связей. Многие стихи Пастернака, Мандельштама, Ходасевича петь просто невозможно. Песня должна быть внешне проста, подчеркиваю, — проста, но не примитивна, чтобы восприниматься с первого же прослушивания. Иначе ее не поймут, а следовательно, не услышат. Кроме того, в песне, за исключением, пожалуй, старинных баллад, не прививаются излишне конкретные черты и детали. Обратимся снова к Некрасову, одному из наиболее «поющихся» поэтов XIX века. В знаменитой песне «Что ты жадно глядишь на дорогу» оказалась выброшенной, например, такая замечательная строфа:

Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник,
И свекровь в три погибели гнуть.

Как ярко и зримо написано, а вот не поется! Я долго не мог с этим примириться и лишь значительно позднее понял, в чем дело: в этих строках уже деталь, конкретизация образа, а песня сохраняет только общие черты. Из нее уходит все, что касается конкретного персонажа, героини, ее личной судьбы, не созвучной тем, кто поет.

Потому что народная песня (а авторская песня по духу своему сродни именно ей, а не эстрадной) нужна людям совсем не для того, чтобы только слушать ее на концертах, а для того, чтобы петь самим. Она с самого начала, может быть, бессознательно, рассчитана на соавторство того, кто ее сложил, и тех, кто ее поет.

Последнее обстоятельство предъявляет к стихам песни еще одно обязательное условие: язык песни должен быть естественным, как дыхание, легким и удобным, привычным для поющих. Вот уж чем в совершенстве владел Высоцкий — органикой современного разговорного языка, его ритмом, его внутренней музыкой! Любое препятствие на этом пути немедленно размывается, как берег рекой. Достаточно вспомнить пример с известной песней на стихи Демьяна Бедного:

Как родная мать меня
Провожала,
Как тут вся моя родня
Набежала.

И рифма на месте, и вроде бы складно, да вот не так, и сразу же возникла единственная для дыхания строка: «Как родная меня мать». Для российского уха подсознательно привычнее, когда слово «мать» стоит в конце.

Наконец, последнее: стихи могут писаться от лица вымышленного героя, маскироваться костюмами или обстановкой эпохи, в песнях же вынь да положь самого автора: что он любит, что ненавидит, отчего страдает, кто он такой. Тут уж не спрячешься за «фигурой умолчания» или красивой, но бессмысленной фразой, позицию подавай, чтобы сразу было видно, свой ты или чужой. Поэтому так важно, чтобы автор сам был личностью, такой, как Галич, Окуджава, Высоцкий, Ким, чтобы ему было что сказать людям, и чтобы ему обязательно поверили.

Вот и получается, что к песенным стихам, да, пожалуй, и к их авторам, должен быть предъявлен еще более жесткий уровень требований, чем к «обычным», привычно читаемым с листа. И планку эту ни в коем случае снижать нельзя. Оппоненты авторской песни часто ссылаются на то, что по радио и телевидению звучат бездарные тексты песен под гитару, рекламируемые как «авторская песня». Но ведь и книжные магазины до отказа заполнены рифмованной макулатурой, к поэзии никакого отношения не имеющей.

Вместе с тем, когда я думаю о том, что происходит с авторской песней в России сегодня, мне невольно приходят на память строки Давида Самойлова:

> Вот и все. Смежили очи гении,
> И когда умолкли небеса,
> Словно в опустевшем помещении.
> Стали слышны наши голоса.
> Тянем, тянем слово залежалое.
> Говорим и вяло, и темно.
> Как нас чествуют и как нас жалуют!
> Нету их. И все разрешено.

Действительно, странный литературно-песенный жанр невозвратно уходит из сегодняшней жизни и становится историей.

Казалось бы, на первый взгляд, все как раз наоборот, — массовыми тиражами выпущены посмертно диски и книги столь одиозных некогда Галича, Высоцкого, Окуджавы и других авторов первого поколения. Телевидение и радио охотно предоставляют эфир представителям «авторской песни». Вышедшая из подполья

многотысячная армия «каэспэшников», уже не боясь строгих партийных и гебешных запретов, регулярно собирает свои шумные фестивали по всей с гране — от Курска до Челябинска и Норильска. Снова полны концертные залы в Москве, Петербурге и других городах. Главный в нашей стране фестиваль авторской песни памяти Валерия Грушина, также запрещавшийся ранее, собрал в прошлом году на берегу Волги под Самарой более двухсот пятидесяти тысяч участников. Вышло даже учебное пособие по авторской песне для средней школы. И все же что-то неуловимо изменилось.

Как писали когда-то Ильф и Петров, — автомобиль вначале изобрел пешеход, но про это быстро забыли. Рождение авторской песни связано было прежде всего с исполнением стихов под гитарный аккомпанемент, ее главными характерными чертами были поэтическая строка и доверительная задушевная интонация, сразу отличавшие ее от лживой и пошловатой официальной эстрады. Вот этого-то теперь почти и не осталось.

С перемещением «авторской песни» от кухонных застолий и таежных костров на концертные эстрады на смену тихоголосым авторам, не слишком умело владеющим гитарой, быстро пришли солисты, дуэты и ансамбли, с профессиональными голосами и инструментами. То, что по инерции и недомыслию сегодня еще называют авторской песней, давно уже, по существу, срасталось с эстрадой, отличаясь от нее, пожалуй, только более низким исполнительским уровнем, и интегрируется в беспощадную рыночную систему шоу-бизнеса.

В течение ряда лет мне довелось постоянно принимать участие в работе жюри самых разных конкурсов и фестивалей самодеятельной песни, и я не мог не обратить внимания, как необратимо меняется состав их участников. Все больше исполнителей и ансамблей, часто очень хороших. Все меньше поэтов, придумывающих мелодии на свои стихи, а уж хороших и того меньше. Не из кого выбирать. И дело не только и не столько в их физическом отсутствии, — вряд ли Россия оскудела талантами, — сколько в невостребованности.

Прежде всего изменилась сама эпоха, невозвратно уйдя вперед от наивных 60-х. Страна стала другой. Исчезла столь привлекательная запретность яростных обличительных песен Галича и Высоцкого, да и сами герои и антигерои этих песен переместились во вчера и стали предметом истории. Не потому ли так быстро забыли Галича?

Мутный и бурный поток «рыночных» отношений, циничный прагматизм, пропаганда секса и порнографии, хлынувшие в наше общество, не могли не сместить нравственных критериев среди

молодежи. Кому интересны теперь возвышенные чувства лирических героев Окуджавы с их рыцарским преклонением перед «Ее Величеством Женщиной», по-гриновски сказочное акварельное Зазеркалье Новеллы Матвеевой, бесшабашные лейб-гусары Юлия Кима, суровый романтический мир песен Визбора? Не проще ли отправиться на дискотеку или «словить кайф» другим способом?

Люди теперь приходят на концерты отдыхать и развлекаться, устав от безответственной болтовни политиков и пустых надежд.

Наиболее показателен в этом отношении уже упомянутый Грушинский фестиваль, реально отражающий сегодняшнее состояние «авторской песни» в России. Главным событием, основой фестиваля, является «итоговый» ночной концерт. Сцена — плот в форме большой гитары, ярко освещенной прожекторами и озвученной громогласными репродукторами. Огромная аудитория — около двух сотен тысяч зрителей, или, точнее, болельщиков, сидят в темноте на гигантском склоне горы, невидимые для поющих. Они активно включаются в действие не только аплодисментами, но чаще ревом и свистом, нередко подогретыми горячительными напитками.

Это уже не концерт авторской песни, это супер-шоу, живущее по закону толпы, где ценят только умеющих ошарашить, оглушить или рассмешить. Сентиментальным и застенчивым авторам здесь не место. Непризнанные и отвергнутые торопливыми жюри, они ютятся возле своих палаток. «Гора — это святое», — безапелляционно говорят организаторы фестиваля. Составители концертной программы вольно или невольно вынуждены идти на поводу у «горы», попсовые вкусы которой оставляют желать лучшего. Вот и получается, что поэтам, авторам на главном фестивале «авторской песни» делать нечего. Они могут показать «мэтрам» свои песни и стихи только на творческих мастерских, для которых всегда не хватает места и времени.

То, что раздается сегодня с телевизионных экранов и многочисленных эстрад под громкие звуки гитар под эгидой «авторской песни», — уже другая культура. Можно спорить, лучше она или хуже, но она другая и к литературе никакого отношения не имеет.

Поэзия — дело тихое и интимное. Она так же отличается от эстрады, как любовь от секса. Можно прекрасно петь и оркестровать песни, но никакие децибелы, никакая аранжировка и режиссура не искупят убогости текста, как поэтической, так и смысловой. Совсем не гитарный аккомпанемент, а именно поэтическая строка является, по моему мнению, главной отличительной особенностью авторской песни. Она может звучать

и под фортепиано (Вертинский, Кузмин), и под другие инструменты. Да и ведущие авторы поколения, положившего начало этому жанру, — прежде всего талантливые поэты.

Справедливости ради следует заметить, что в самое последнее время отмечается все же появление среди молодых авторов одаренных профессиональных поэтов, что внушает некоторую надежду на будущее. Так, в 2000 году на фестивале «Петербургский аккорд» появилась целая группа молодых поющих поэтов. Среди них Александр Левин, Ольга Макеева, Ксения Полтева и другие. Ксения Полтева, например, стала лауреатом и в Питере, и на Грушинском фестивале. Так что не следует преувеличивать нынешний кризис авторской песни — время покажет. Лично я думаю, что, как не раз было в многовековой истории народной песни, за падением последует новый взлет.

Театральная сюита

«Театр», — неизменный трепет охватывает меня при этом слове, возвращая в довоенные детские времена. Где-то году в 36-м родители впервые взяли меня, трехлетнего, в Мариинский театр на оперу «Сказка о царе Салтане». До сих пор помню свой восторженный страх и ощущение причастности к таинству, когда в полутемном еще зале, где опущен тяжелый занавес перед недоступной глазу сценой, раздаются негромкие и поэтому тоже таинственные звуки настраиваемых инструментов. И хотя я наизусть, конечно, знал к тому времени пушкинскую сказку, сердце сладко сжималось в предощущении грядущего чуда и праздничных и в то же время пугающих неожиданностей. Да и сам театр бывшей «Императорской оперы» с зеленым бархатом и тускло мерцающей позолотой лож, величественными, как гофмейстеры, капельдинерами, мягкими ковровыми дорожками, по которым не идешь, а неслышно и медленно, словно во сне, летишь, ослепительно зеркальным паркетом и высокими дверями фойе, раз и навсегда запечатлелся в моем воображении как храм всемогущего Бога, дворец самого высокого правителя на Земле — искусства.

До этого я бывал уже с отцом в Эрмитаже, Зимнем дворце и в Царском, но те дворцы были пустые, сами как бы из прошлого, никем, кроме музейных экспонатов, не населенные, и в их огромных зеркалах отражались только лица случайных посетителей. Этот же дворец был живой, до отказа набитый праздничной публикой (тогда еще в театры старались одеться понаряднее), наполненный музыкой и светом, с огнистым пыланием электрических свечей в тяжелых старинных люстрах. Я ощущал себя Золушкой на балу. Помню свои долгие и безутешные слезы, когда в первую же блокадную зиму Мариинский был разрушен прямым попаданием бомбы. Глядя на черные руины под снегом, я навсегда, как мне казалось, прощался с этим сказочным миром.

В 45-м году, уже после возвращения из сибирской эвакуации, я снова попал с отцом в только что восстановленный Мариинский на оперу «Князь Игорь». И то же восторженно-религиозное чувство охватило меня. Так же незыблемо, как и перед войной, висели тяжелые портьеры занавеса, невозмутимо мерцало золото, таинственно звучали приглушенные скрипки. И я понял, что все спасено, что жизнь вернулась. До сих пор более всех других опер люблю «Князя Игоря». И не столько за половецкие пляски, сколько за то незабываемое ощущение возвращения к настоящей

жизни после голода и неистребимого холода блокады, бесконечных болезней и унизительных тягот омской эвакуации и главного страха — не вернуться в Ленинград. Вероятно, именно с этого времени мне больше всего в театре нравится недолгий и таинственный момент перед началом спектакля.

В классе шестом — седьмом, начав посещать абонементные концерты в Ленинградской филармонии и привязавшись к симфонической музыке, я несколько охладел к «прикладной» музыке оперы с ее вычурными и замедленными страстями, тем более что к этому времени сильно увлекся драматическим театром, чему немало способствовало мое открытие Большого Драматического на Фонтанке с еще молодой тогда труппой. Однако понятие «театр» неизменно вызывает у меня зрительный образ Мариинского оперного. Тогда он назывался «театром оперы и балета имени Сергея Мироновича Кирова». Потому, вероятно, что злодейски убиенный ленинградский наместник весьма благоволил к балеринам.

Мое нищее мальчишеское воображение поражал в те годы и Другой «академический» театр — театр драмы имени А. С. Пушкина, или Александринский, как называли его по старинке. Здание театра было возведено специально для Императорской драмы еще в середине прошлого века знаменитым Карло Джакомо Росси (в годы борьбы с космополитизмом и иностранщиной его именовали Карлом Ивановичем). Здесь, в отличие от зеленого бархата Мариинки, царил пурпур с золотом. При взгляде с балкона галерки дух захватывало от высоты. Да и труппу возглавляли артисты, чьим фамилиям предшествовали длинные перечни титулов и званий — «заслуженный, народный, орденоносец, лауреат Сталинской премии» и прочая, и прочая, и прочая. Но и без всяких титулов публика бурными овациями встречала появление на сцене «живьем» известных всей стране актеров, лица которых до мельчайшей черточки изучили мы на экранах нетопленых кинотеатров, в сотый раз с неизменным волнением пересматривая «Александра Невского», «Петра Первого» или «Ивана Грозного».

Оглядываясь назад и ностальгически вспоминая эти старые фильмы, с удивлением и горечью обнаруживаю, что именно они, в гораздо большей степени, чем все остальное, подсознательно заложили в податливые души моего поколения цепкие семена имперского сознания, чьи живучие корни нелегко вырвать и теперь. Да и как не заложить! Такие замечательные художники, как Эйзенштейн и Пудовкин, такие замечательные актеры, как Черкасов и Симонов! Кроме уже упомянутых Симонова и Черкасова на сцене «Александринки» блистали в те поры такие

звезды, как Толубеев, Скоробогатов, Корчагина-Александровская, Меркурьев, Александр Борисов и многие другие.

Странно, но факт: в те времена — начало и середина 50-х годов — вспоминаемые большинством из нас чаще всего с неприязнью и страхом, в условиях, казалось бы, полнейшей несвободы и гонений, существовали и в Москве, и в Ленинграде прекрасные, в высшей степени профессиональные, театры старой школы, о которых люди моего возраста вспоминают теперь, вздыхая.

Покойный отец моей второй жены Анатолий Миронович Наль был в Москве известным театральным режиссером. Студент-филолог Туркестанского университета, он занимался в литературно-театральной студии А. А. Рустайкиса, режиссера 1-й студии МХАТ, сподвижника самого Станиславского. В университете существовали объединения молодых поэтов, в том числе кружки А. Ширяевцева, В. Вольпина, Б. Лавренева. Кипение споров, страстей, выступления «зеленых» Есенина и Рукавишникова неудержимая устремленность в Москву, где молодым виделись настоящая жизнь и центр притяжения их поэтической одержимости.

Одно лишь объявление о предстоящем в Политехническом выступлении Блока сорвало с места юного филолога. Тайком от родителей в 1921 году, через всю голодную страну, через тылы Гражданской войны, он приехал из Ташкента в Москву на перекладных, в теплушке, без копейки денег и без вещей, но с тетрадкой стихов, и прямиком направился к Брюсову. Тот принял его «с улицы», заинтересовавшись, видимо, не столько стихами, сколько свежими новостями из забытого Богом Туркестана. Он, однако, помог молодому поэту, посоветовав пойти в Дом Герцена во Всероссийский Союз Поэтов, членом которого Наль позднее стал. Войдя в Цех поэтов, он познакомился с Вячеславом Ивановым, Георгием Чуйковым, на долгие годы крепко подружился с молодым Павлом Антокольским.

Вскоре Анатолий Наль был принят в Третью студию МХАТ, где учился у Евгения Багратионовича Вахтангова и Михаила Чехова, и стал актером, а позднее режиссером Вахтанговского театра. По вечерам, когда кончались спектакли и репетиции, поэты и актеры собирались в кафе «Домино», читали стихи и бойко продавали самодельные рукописные книжечки, соперничая с друзьями из кафе напротив, знаменитого «Стойла Пегаса», где собирались имажинисты. Театр и поэзия были неразрывны: Яхонтов репетировал «Незнакомку» Блока, пушкинские «Пир во время чумы» и «Разговор книгопродавца и поэта». Первый вариант «Принцессы Турандот» репетировали по Шиллеру —

текст шел в стихах. Анатолий Наль был занят как актер во всех поэтических постановках, играл первого Дании в «Принцессе Турандот». Он вспоминал, как незадолго до отъезда Вячеслава Иванова они хотели организовать в студии встречу с ним, но студийцы не собрались, полагая, что еще успеют с ним встретиться. Не успели.

Тогда же, в начале 20-х, Анатолий Наль успешно дебютировал как поэт. Его первая книга стихов «Элегии и стансы» вышла в Москве в издательстве «Академия» в 1924 году с предисловием Михаила Кузмина. Эти несколько слов напутствия знаменитого поэта начинающему весьма знаменательны. В них ключ к оценке поэзии как таковой, безотносительно к имени и возрасту дебютанта, разговор о самом духе поэзии, о главном в любом даровании. Короткое предисловие Михаила Кузмина — своеобразное литературное наставление для молодых, преподанное истинным художником:

«Среди многочисленных стихотворных сборников книга Анатолия Наля не единственная, но одна из очень немногих, относящихся к области настоящей поэзии. У автора чувствуется эмоциональный импульс к творчеству. Стихи его менее всего, хотя бы и блестящие, упражнения в стихосложении. У него уже намечается и индивидуальная окраска поэтических эмоций, диктующая своеобразный выбор формы. В голосе его чувствуются отголоски Александра Блока, но большее беспокойство, капризность и женственность, поддерживаемые постоянными перебойками ритма, уже свои. Лирическое дыхание его пока коротко, но в каждой отдельной пьесе можно наблюдать, это дыхание шире и глубже данного стихотворения, как бы не умещается в нем, что, конечно, делает стихи менее законченными, но как-то объединяет их и служит лучшим доказательством поэтического дарования. Это не застыло, движется, живет. От всего, что живет, мы вправе ожидать Дальнейшей жизни. Только мертвые буквы бесплодны и не относятся к вечно живой области искусства. В авторе же «Элегий и стансов» мы имеем дело с живым человеком, с живым чувством, с живой поэзией. Какие листья распустятся, в какую сторону потянутся ветки — неизвестно, но возможность их существования, соки в стволе — несомненны. Это тонкое дерево, а не срезанная и отдельная тросточка, вот что вызывает мои надежды и истинный привет».

Вторая книжка стихов «Поэт», изданная Государственным издательством художественной литературы, появилась в 1928 году. Стихи, вошедшие в нее, автор читал летом 1931 года Максимилиану Волошину в Коктебеле. Волошин подарил

Анатолию Налю несколько своих последних акварелей — они до сих пор висят у нас в доме. На одной из них он написал: «Дорогому Анатолию Мироновичу — мастеру стиха». Как завещание оставил умирающий Волошин на одной из этих акварелей автограф своего трагического стихотворения «Доблесть поэта»:

> Во дни революции быть человеком, а не гражданином,
> Помнить, что знамена, партии и программы
> То же, что скорбный лист для врача сумасшедшего дома.
> Быть изгоем при всех царях и народоустройствах.
> Совесть народа — поэт: в государстве нет места поэту.

В 30-е годы вышли антологии Еврейской и Армянской поэзии, где опубликованы стихи Перетца Маркиша, Самуила Галкина и Егуши Чаренца в переводах Наля. Все эти поэты погибли в годы сталинского террора, и все это время Анатолий Миронович поддерживал отношения с их семьями, что было далеко не безопасно.

Первой женой Анатолия Мироновича была известная в тридцатые годы актриса Анна Орочко, которая была значительно старше его, что однако не помешало ей оставить мужа и выйти снова замуж за еще более молодою человека. После этого Анатолий Миронович женился вторично на актрисе Нине Ивановне Сундаревой, которая была моложе его на шестнадцать лет.

Когда в 1949 году началась кампания по «борьбе с космополитизмом», Анатолий Миронович оставил Москву и «затерялся в глубинке». В это время он уже поддерживал связь с братом, с 34-го года сидевшим в Соловках. В последующие годы Наль был художественным руководителем русского театра в Армении, театра Тихоокеанского флота в Совгавани. По возвращении в Москву он стал зачинателем первого телевизионного театра, преподавал в Щукинском театральном училище. В числе его учеников известные актеры нескольких поколений — от Владимира Этуша и Якова Смоленского до Елены Соловей.

Моя жена Анна родилась в сентябре 1942 года в Омске, куда тогда переехал в эвакуацию из Москвы Вахтанговский театр. У нас лома в Москве на стене красуются молодые портреты моего покойного тестя и тещи работы Николая Павловича Акимова, с которым они когда-то дружили. С ними соседствуют рисунки Михаила Чехова, карандашные наброски задников к вахтанговской постановке «Сирано де Бержерака» работы

знаменитого театрального художника Рындина, акварельные рисунки Юрия Александровича Завадского и еще какие-то театральные картинки.

Вернемся, однако, в послевоенный Питер.

В Театре Комедии, располагавшемся прямо напротив Александрийского, на другой стороне Невского, сразу за Елисеевским магазином, царствовал неподражаемый режиссер и художник Николай Павлович Акимов.

В акимовском театре тогда ставили Ибсена, Пристли и Ануя. До шварцевской «Тени» было еще не близко. Труппу украшали такие замечательные мастера старого поколения, как Вениаминов и Колесов, Панков и Юнгер, Дмитриев, Зарубина и молодой Олег Борисов.

Однако главной любовью моих школьных и студенческих лет неизменно оставался Большой драматический театр имени Горького на Фонтанке — БДТ, который позднее возглавил Г. А. Товстоногов. Его незабвенная старая гвардия: Полицеймако, Казико, Лариков, Ольхина, Шарко, Стржельчик, Копелян, Трофимов, Луспекаев, Лебедев, Гай, позднее Басилашвили, Юрский, Смоктуновский, Лавров и многие другие.

Пьесы, конечно, ставились тогда всякие — от вполне конъюнктурных типа «Русский вопрос» и «Четвертый» Константина Симонова или лавреневского «Разлома» до «Цены» или «Воспоминания о четырех понедельниках» Артура Миллера, и, наконец, любимого мною «Эзопа» Фидейгеру. Но какие неизменно блестящие сценические образы, какая мертвая тишина в переполненном зале! До сих пор с замиранием сердца вспоминаю неподражаемые рокочущие нотки великолепного баса Полицеймако в роли Эзопа.

С тех пор минуло много лет, однако и сегодня я не могу преодолеть мистического чувства зрительского преклонения перед актером, стоящим на подмостках. Приятельские и даже дружеские отношения здесь нисколько не помогают. Сколько ни пей вместе водки и ни хлопай друг друга по плечу, как снисходительно ни взирай на жалкое похмельное состояние своего приятеля, стоит ему выйти на сцену и, борясь с мучительной головной болью, приготовиться к первой реплике — и тонкая линия рампы непреодолимой границей тут же разделяет вас. Она оставляет тебя внизу, в темном переполненном зале, где все лица неразличимо одинаковы, а лик твоею недавнего собутыльника и друга, который только что сетовал тебе на измену жены и безденежье, выхватывается вдруг из мрака лучом прожектора, пущенным нетвердой рукой осветителя, и причисляется к лику святых.

И голос, прекрасный громовой его голос, безвозвратно утратив хнычущие застольные нотки, неспешно разворачивается где-то в ночном поднебесье балконов, чтобы через минуту грянуть выстрелом прямо тебе в сердце. Олег Даль и Владимир Высоцкий, Валентин Никулин и Михаил Козаков, Ефим Копелян и Владимир Рецептер, да мало ли кто еще. Дело не в их именах, и даже не в них самих, а в Боге, одарившем их уникальным даром и, подобно осветителю, выхватившем их лица из житейской темноты.

Нет, не зря бытует старый театральный анекдот, связанный, как и множество других, с именем замечательной актрисы ушедшей эпохи Александры Александровны Яблочкиной. «Александра Александровна, вы слышали? Наша молодая актриса Леночка замуж выходит». — «Какое счастье! За кого же, за актера?» — «Нет, не за актера». — «Тогда за режиссера?» — «Нет, и не за режиссера». — «Ну, тогда хотя бы за рабочего сцены или осветителя?» — «Нет, Александра Александровна». — «Какой ужас! Неужели из публики?!»

В незыблемости этой старой театральной иерархии я убедился на собственном примере.

В 1980 году в Москве, где я уже к тому времени прочно обосновался, торжественно отмечалось восьмидесятилетие старого вахтанговца, замечательного актера и педагога, заслуженного артиста СССР Дмитрия Николаевича Журавлева, особо прославившегося своим уникальным чтением пушкинских стихов. У каждого талантливого чтеца — свой Пушкин. Пушкин Журавлева — восторженный, влюбчивый, солнечный романтический юноша, постоянно поражающийся и радующийся праздничности и многообразию окружающего мира. Дмитрий Николаевич много лет дружил с отцом моей жены, соседствуя с его семьей в старом доме на улице Вахтангова, где размещается Щукинское театральное училище. Унаследовав эту дружбу, мы также подружились с его дочерьми — Машей и Натальей.

Юбилейный вечер, на который нас с женой, конечно, пригласили, проходил в мемориальном музее А. С. Пушкина в Хрущевском переулке. Узнав, что меня включили в список выступающих, я заблаговременно написал подобающую этому торжественному событию поздравительную оду, которую и зачитал со сцены под одобрительные аплодисменты небольшого переполненного зала. По окончании официальных поздравлений и концерта нас пригласили за сцену на небольшое застолье, где присутствовали старые и именитые вахтанговские актеры. Мы примостились в конце стола, и я был немало польщен этим приглашением в «круг избранных», наивно приписывая это своей поэтической известности. Длилось это, однако, недолго. «А кто

этот молодой человек?» — неожиданно и громко спросил, указав на меня пальцем, возглавлявший стол Владимир Этуш. «Это зять Анатолия Мироновича», — ответили ему. «А, ну тогда ничего, — милостиво улыбнулся Этуш, — пусть сидит».

Что же касается красот архитектуры и внешнего убранства театров, то за многие десятилетия я твердо усвоил, во всяком случае для драматических театров: чем беднее интерьер зала и сцены, тем, вероятно, лучше труппа. Хотя и не могу отделаться от ощущения, что на фоне профессиональных старорежимных театров многие ультрасовременные производят впечатление пусть даже талантливой, но самодеятельности.

Знакомство мое с актерской жизнью началось где-то, кажется, в конце 50-х годов, когда я подружился с молодыми актерами ленинградского ТЮЗа, руководимого тогда Зиновием Яковлевичем Корогодским, — Виктором Федоровым и Александром Хочинским. Виктор прекрасно владел гитарой, и они вместе с Сашей делали концертную программу из «бардовских» песен, куда включили несколько моих. Я, пожалуй, впервые тогда услышал свои песни со стороны в профессиональном исполнении.

Надо сказать, что за долгие годы у меня сложилось твердое предубеждение против исполнения авторской песни профессиональными солистами эстрады или певцами. Даже при их искреннем желании спеть как можно лучше и ближе к авторскому варианту из этого, как правило, ничего решительно не получается. Мешают либо безвкусная и трескучая «профессиональная» инструментальная и вокальная аранжировка, либо совершенно неуместная мимика и жестикуляция, либо, наконец, желание «оттенить» голосом наиболее «эмоциональные» места в песне.

Слов, которые они поют, солисты эти как бы не слышат (о рифмах и ритме уже и говорить не приходится). Слышат они только свой собственный любимый голос. Им ничего не стоит поэтому пропустить слово или переставить его. «Какая разница? — искренне удивляются они. — Это ведь не так уж важно». И главное даже не в текстовых ошибках и неряшливости, а в неистребимой интонационной фальши эстрадного исполнения, генетически укоренившейся в нашей советской эстраде за десятилетия лжи и притворства.

Мне, например, неоднократно довелось быть свидетелем, как вполне незаурядный и неглупый артист Ленконцерта Альфред Тальковский, с сильным и красивым голосом, всей душой любящий Высоцкого, Галича и Окуджаву, сидя за столом или у костра, пел их песни хорошо и точно, безо всякой аффектации.

Стоило ему, однако, надеть концертные туфли и костюм и выйти на сцену, как он преображался. Грудь у него выгибалась колесом, руки сами расходились в стороны вверх на «патетических» строчках, а лицо и голос неостановимо начинали «изображать». Сколько он с собой ни воевал, этого «синдрома сцены» преодолеть не мог. Что же говорить о других? Справедливости ради следует заметить, что в последние годы, после того как он сам начал писать песни и стал постоянным участником разного рода песенных фестивалей, он и чужие песни поет более естественно.

Помню, как при первом нашем знакомстве в начале 60-х буквально плакала Новелла Матвеева, жалуясь на то, что не в состоянии запретить петь свои песни вполне одаренной эстрадной артистке Кире Смирновой. Мне самому, кстати сказать, песни Новеллы Матвеевой в исполнении Киры Смирновой поначалу нравились, а авторское исполнение — не очень. Но буквально на второй раз, прослушав песни в исполнении Новеллы, я уже не мог их воспринимать ни в чьем другом исполнении.

Да и сам я, услышав впервые в 62-м году в Северной Атлантике во время плавания на «Крузенштерне» по радио свой «Снег» в прекрасном профессиональном исполнении весьма популярного тогда Иосифа Кобзона, поначалу расстроился, хотя и был, видимо, не прав. Во всяком случае, по прошествии почти сорока лет, я снова услышал эту песню в его записи, и она мне понравилась.

Другое дело — драматические актеры. Воспитанные на звучащей литературе, они генетически способны понимать и чувствовать каждую строку поющихся стихов. Отсюда их бережное отношение к слову и его звучанию. Кроме того, они приучены петь под гитару, что тоже немаловажно. Наконец, драма, в отличие от эстрады с ее ширпотребом на случайную и невзыскательную публику, учит мере скупого, но точного сценического рисунка без фальшивой аффектации и перебора. Артисты драмы, в отличие от эстрадных, приученных петь что попало, как правило, обладают литературным вкусом, и поют только то, что им самим нравится. Поэтому я люблю, когда поют драматические актеры.

В свете этого представляется неслучайным тот факт, что многие профессиональные драматические артисты сами стали литераторами и авторами песен. Не говоря уже о Владимире Высоцком, в их число вошли такие известные актеры, как Леонид Филатов, Владимир Рецептер, Вениамин Смехов, Людмила Иванова, Михаил Козаков и многие другие. Это «перетекание» из

одной смежной области искусства в другую еще раз показало, что многие, подчас неожиданные, открытия совершаются в наши дни на стыке не только смежных наук, но и творческих профессий. Еще в Ленинграде в конце 60-х, подружившись с Владимиром Рецептером, я отчетливо замечал, как его знаменитый в те поры моноспектакль по «Гамлету» буквально подталкивал его к собственным стихам:

И кончился Шекспир, который классика,
И начался Шекспир, который жизнь.

Помню, в начале 70-х Володя пригласил меня на свою премьеру пушкинского «Разговора книгопродавца с поэтом». Усадив меня на заранее указанное место в десятом ряду, он весь спектакль с текстами от книгопродавца к поэту обращался ко мне. Я краснел и вздрагивал. Мне казалось, что на меня оборачиваются.

Подружившись в конце 50-х с Федоровым и Хочинским, я довольно быстро перезнакомился со всей их актерской компанией, куда входили молодые актеры и актрисы из ТЮЗа, Ленинградского драматического и театра Ленинского Комсомола. Собирались чаще всего на Литейном, где в большой питерской коммуналке в огромной комнате с высоким потолком и узким пыльным окном, выходящим на шумный вечерний проспект, жил мой приятель военный моряк Рид Левант, умерший в начале 70-х от сердечной болезни. Дом у него был открыт в любое, кажется, время суток. Разношерстная и многолюдная компания собиралась где-то после десяти вечера, когда заканчивались театральные спектакли, а сами посиделки, сопровождавшиеся обычно столь дешевыми тогда напитками и самой нехитрой закуской, длились глубоко за полночь, благо капитальные, не в пример нынешним, стены дореволюционного «доходного» петербургского дома обеспечивали хорошую звукоизоляцию.

Усталые актеры приходили сюда прямо из театра, хотя уже и разгримированные, но еще полные нервного напряжения и взволнованные своей удачей или провалом. Здесь они как бы снимали это стрессовое состояние рюмкой водки, смешным театральным анекдотом или песней под гитару.

Уже значительно позднее, когда мне самому пришлось помногу выступать, я на собственном опыте вполне оценил эту потребность в нервной разрядке после изнурительного авторского вечера. Ведь когда стоишь на ярко освещенной сцене, независимо оттого, читаешь свои стихи или играешь роль, ты одинаково беззащитен и беспощадно высвечен со всеми своими внешними

изъянами перед сотнями посторонних людей. Сумеешь ли ты найти ту единственную неуловимую интонацию доверительного разговора, чтобы они стали твоими собеседниками, единомышленниками, прониклись твоими чувствами? А ведь актеру еще труднее, чем автору. Последний отвечает только за себя, а актер еще и за своего сценического героя, режиссера и драматурга.

В этих вечерних, а точнее, ночных застольях, несовместимых со стереотипом жизни совслужащего, каковым я тогда был, меня поражала и привлекала внутренняя свобода молодых актеров, их кажущаяся независимость от унизительной нищеты быта и других тягот несвободной нашей жизни. Обращала на себя внимание прежде всего их удивительная контактность, способность моментально адаптироваться в любой, даже самой непривычной обстановке, чисто профессиональное умение вписываться практически в любую незнакомую им компанию, постоянное чувство уверенности в себе и юмор, несмотря ни на что. Я смотрел на них с восхищением и завистью, словно домашний гусь вслед диким. Если выпивки и закуски было много, они были неторопливы, вальяжны и трезвы. В противном случае могли моментально запьянеть от единственной рюмки и радостно завладеть доставшейся им за столом «площадкой».

Звонкое застольное вдохновение открывало в них порой такие глубины актерского и режиссерского таланта, не скованного законами сцены и заученного текста, о которых, возможно, и не подозревали их худруки и зрители. Именно поэтому я так люблю актерские «капустники», самодеятельные спектакли по случаю юбилеев или других театральных событий, которые делаются «для своих». Что же касается театральных «баек», то это особая форма высочайшего чисто застольного искусства, для сцены, к сожалению, недоступного. Я неоднократно был свидетелем сценического воспроизведения подобных «баек», однако из этого, как правило, ничего не получалось.

Другое дело — застольная импровизация, где каждая история не просто рассказывается как анекдот, но обязательно при этом играется с использованием всех могучих средств режиссерского и актерского таланта, КПД которых усиливается пьяным вдохновением.

Чего стоили, например, серии знаменитых «баек» об Александре Александровне Яблочкиной или о том, как заика сдает вступительные экзамены в театральный институт!

Поначалу в театральных компаниях меня неизменно шокировало, что за столом привычно матерятся все, включая

женщин. И это несмотря на то, что я к тому времени уже успел отработать несколько полевых сезонов на Крайнем Севере, где без мата — все равно что в Англии без английского. Но там понятно — тайга, север, грубые мужики, а тут… Дело порой доходило до того, что, оглядываясь на меня, некоторые актрисы несколько смиряли свою лихую лексику. Надо заметить, однако, что привычка экстравагантно одеваться и выражаться конкретно «по-русски» вместе с внешне раскованной манерой поведения не снижали уровня, к моей тогдашней досаде, их недоступности.

Помню, поздним летним вечером, спускаясь по ступенькам в подземный переход на станции метро «Невский проспект», я неожиданно встретил поднимавшихся мне навстречу двух знакомых актрис Ленинградского драматического театра — Женю Власову и Аллу Михайлову. Одна из них несла в правой руке тяжелый мужской портфель, а другая в левой мужскую шляпу. А между ними, крепко подхваченный под мышки, волочился носками ботинок по ступеням, уронив на грудь лысую голову с редкими прямыми волосами, какой-то маленький человечек. Увидев меня, мои приятельницы радостно всплеснули руками, отпустив свою ношу, и человечек упал, негромко и глухо ударившись лысиной о ступеньку. «Что вы делаете?» — испуганно заорал я. «Как что? — широко улыбнувшись и дохнув на меня коньячным перегаром, ответили они. — Роланчика в Москву провожаем». Они перевернули вверх лицом неподвижно лежавшего на ступеньках человека, и я с ужасом узнал в нем Ролана Быкова.

В середине 60-х из Москвы в Ленинград приехал близкий приятель Елены Кумпан молодой режиссер Анатолий Силин, поначалу, как и мы, получивший геологическое образование, а затем бросивший геологию и пошедший осветителем к Б. И. Равенских в Московский театр драмы имени А. С. Пушкина (он его называл театром имени Дантеса). Высокого роста, шумный и контактный, с живыми насмешливыми глазами и огромной черной бородой, заглушающий всех своим громовым голосом, он сразу же стал душой литературных и театральных компаний. Недаром наш общий друг поэт Игорь Губерман написал о нем в одном из своих знаменитых «дацзыбао»:

Ученого красят извилины,
Кладбище красят призраки,
А Силина делают Силиным
Вторичные половые признаки:

Надо признать, что своей прямотой и веселым

сквернословием он внес струю свежего мусорного московского ветра в наши «бомонные» «петербургские» сборища с их филармоническими беседами и церемонными «ахами» об утраченном серебряном веке. Взятый на договора режиссером в Ленинградский театр Ленинского Комсомола, Анатолий довольно быстро стал своим не только в самых разнообразных театральных и околотеатральных кругах, но и в обкоме комсомола.

Рассказчиком он был обаятельнейшим и в любом застолье вызывал всеобщий смех, искусно изображая очередной персонаж. Талант перевоплощения, острый язык, резкие и независимые суждения, смелость и напористость в отношении женщин и начальства — все это вместе с явными признаками режиссерского таланта и умения работать с актерами, казалось бы, сулило ему большое будущее. Именно он неоднократно пытался поставить прекрасную драму Бориса Голлера «Десять минут или вся жизнь», еще запретную тогда замятинскую «Блоху» и многое другое.

Ему дали комнатку в актерском общежитии во дворе театра Ленинского Комсомола на Петроградской, в старой двухэтажной кирпичной хибаре, где жили актерские семьи. Часто бывая у него, я вплотную познакомился с нищим и трудным актерским бытом, с Действительными драмами актерской повседневной жизни. Комнатушка у Толи была маленькая, сплошь завешанная театральными афишами, и производила впечатление театральной кассы. Центром ее была огромная самодельная тахта, над которой красовалась снятая с высоковольтной передачи надпись «Не влезай — убьет». Окошко выходило на заросший тиной канал и Кронверк Петропавловской крепости. Часто по ночам в окно стучали алкаши и просили стаканчик. В комнате все время витал неистребимый запах жареного лука или рыбы, — в зависимости от того, что готовилось на общей кухне. Фанерная дверь обеспечивала полное проникновение всех звуков снаружи, отчего мы становились невольными свидетелями всех соседских «разборок».

В соседней комнатушке проживал атлетически сложенный красавец-актер Женя Агафонов, каждое утро с завидной педантичностью занимавшийся гимнастикой. Иногда в это же самое время к нему являлась его подруга, сбежав от мужа или с репетиции. Времени у нее обычно было в обрез, и она довольно энергично пыталась отвлечь приятеля от его зарядки, что, как правило, успеха не имело. Через фанерную перегородку явственно доносился ее яростный мат вперемежку с методичным голосом Евгения, продолжавшего невозмутимо отжиматься от пола: «двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь».

Именно там я впервые увидел оборотную сторону медали,

воочию убедился в тяготах актерской профессии. Изнурительная работа «на износ», чтобы прокормить себя и семью (кинопроба, репетиция, концерт, спектакль, утренник, запись на радио, озвучивание на телевидении и т. д. и т. п.). И все это — за гроши. И все это на постоянном пределе физического и нервного напряжения, усиленного унизительным бесправием актера, не имеющего «имени», его полной зависимостью от режиссерского и начальственного произвола.

От этого, впрочем, не застрахован никто из актеров, даже самый именитый. Мне рассказывали о том, как один из самых замечательных наших актеров, уже упомянутый Ролан Быков, всю жизнь мечтавший сыграть Пушкина и даже внешне не лишенный сходства с ним, получил наконец такое предложение от Олега Ефремова, ставившего во МХАТе спектакль «Медная бабушка». Все, кто видел репетиции, вспоминали, что Быков Пушкина играл гениально. Однако уже на приемке спектакля всесильная тогда Екатерина Фурцева, министр культуры, неожиданно играть Быкову Пушкина категорически запретила. «Что вы, Олег Николаевич, — возмущенно заявила она Ефремову, — разве можно, чтобы великого русского поэта играл комический актер?» Спектакль был задержан, Ролан Быков с горя запил, а роль Пушкина пришлось играть самому Олегу Ефремову.

С Толей Силиным в середине 60-х мы довольно близко подружились. В 1966 году во время экспедиции в Охотском море, плавая на старом и ржавом гидрографическом судне «Охотск», я даже написал поэму, посвященную Силину. Несмотря на невысокие поэтические достоинства этой поэмы, названной «Театральная сюита», в ней довольно точно отражен тогдашний быт актеров «Лейкома».

Помню, незадолго перед этим Толя поведал мне историю одного из своих многочисленных романов, случившегося на этот раз в Академгородке возле Новосибирска во время театральных гастролей, с романтической ночевкой подлодкой на берегу Обского моря. Вдохновленный этим рассказом, я почти документально описал это в песне «Академгородок», вошедшей в упомянутую поэму. Где-то через год, выступая с авторским концертом в Академгородке, куда меня пригласил еще не разогнанный в те поры знаменитый клуб «Под интегралом», я вдруг вспомнил, что ведь у меня есть песня, посвященная Академгородку, и тут же ничтоже сумняшеся спел ее. По окончании концерта в числе прочих желающих получить автограф ко мне подошел небольшого роста человек, скромно дожидавшийся своей очереди. На мой вопрос, что бы он хотел, он ответил: «Вы вот тут песню пели про Академгородок. Так вот, я ее

муж». Лицо у меня, видимо, вытянулось, потому что он тут же торопливо добавил: «Да нет, вы не поняли. Иночка сейчас в Новосибирске, она не смогла прийти на концерт. Но она будет так рада, что ей посвящена песня».

В связи с этим вспоминается еще одна история, к театру уже отношения не имеющая. В ненастную штормовую ноябрьскую ночь 76-го года наше судно «Дмитрий Менделеев» стояло носом на волну, пережидая очередной тайфун в северо-западной части Тихого океана, неподалеку от возвышенности Шатского. В нашей кормовой магнитной лаборатории собрался небольшой мужской коллектив по поводу чьего-то дня рождения. Пили так называемое «шило» — разведенный спирт, пели песни под мерный скрип расшатанных переборок и тяжкие удары волн.

«Саня, подари мне свою книжку «Атланты»», — уже не в первый раз, положив мне на плечо тяжелую волосатую руку и дыхнув в лицо едким трубочным дымом, смешанным с запахом перегара, настойчиво попросил меня один из океанологов, высокого роста человек с курчавыми черными волосами и такими же черными усами. «Да ты что, давно уже ни одной не осталось», — ответил я. — «Все небось бабам раздарил?» — «Ну почему обязательно бабам?» — «Нет, ну вот скажи честно, если ты бабе книжку стихов подарил, значит, у тебя с ней что-то было?» — «С чего это ты взял?» — «Да просто я тут пару лет назад твою книжку у одной дамы из нашего института видел, Оксана ее зовут. С ней-то У тебя было что-нибудь?» Я неопределенно хмыкнул, и вся подвыпившая мужская компания одобрительно заржала. «А откуда ты ее знаешь?» «А это моя жена», — ответил он. И увидев мое моментально позеленевшее лицо, спокойно добавил: «Да ты не волнуйся, — я с ней уже развелся год назад». С тех пор я на всю жизнь закаялся признаваться в лирических посвящениях.

В то время в Ленинграде Г. А. Товстоногов на сцене театра Ленинского Комсомола блестяще поставил спектакль «Зримая песня», куда наряду с несколькими песнями Булата Окуджавы вошла и одна моя, «Под стенами Бреста», которую исполняли актеры Юрий Хохликов и Виктор Костецкий. Несколько позже они вдвоем сделали целую концертную программу по моим песням. Юра Хохликов и сам писал, причем довольно интересно. Я до сих пор, например, помню его прекрасную песню «Там по утрам грачиные базары».

Толя Силин, окрыленный успехом товстоноговской постановки и модой на авторскую песню, решил поставить в конце 1967 года на сцене Дворца культуры Ленсовета на Петроградской спектакль по моим песням силами актеров театра

Ленинского Комсомола. В спектакле были заняты многие ведущие артисты театра. «Меня» играл Виктор Костецкий. Автором и режиссером-постановщиком спектакля, конечно же, был сам Силин. Полностью доверившись ему, я не был ни на одной репетиции, вполне удовлетворенный его насмешливыми громовыми заявлениями: «Да что ты в этом смыслишь? Только испортишь мне все».

В день спектакля огромный зрительный зал Дворца был набит битком. Меня Силин запихнул в директорскую ложу, дав распорядителям строгий наказ — до конца действа на сцену не выпускать. А на сцене творилось что-то невообразимое. Спектакль состоял из трех актов. В начале первого акта на вращающемся кругу перед задниками, изображавшими Крайний Север, тундру и тайгу, выезжала, сидя за столом с непрерывно звонящим телефоном, здоровенная деваха Люня Елисеева, игравшая мою секретаршу, отвечающую на постоянные телефонные звонки. Звонили исключительно мужчины: «Срочно по делу», «Старый друг из Игарки», «Летчик Полярной авиации, мы с ним летали вместе и даже падали», «Геологи из Норильска». «Нет его, нет, — отвечала всем секретарша. — Как где? В очередной экспедиции, в Арктике».

В начале второго акта декорациями служили разного рода западные рекламы с обнаженными женщинами, мигающие разноцветными лампочками, а по телефону звонили уже не мужские, а женские голоса. «Как кто спрашивает? Старая знакомая», «Давняя подруга», «Я по работе, вы ничего такого не думайте», «Я только на один день приехала, мне надо обязательно с ним встретиться». «Нет его, нет, — по-прежнему терпеливо отвечала Елисеева. — Как где? В очередном плавании, конечно».

В третьем акте раздавались бесчисленные звонки от представителей организаций и клубов с приглашением выступить, а усталая секретарша раздраженно отвечала: «Да нет же его, нет, не звоните! Нет, не в экспедиции, нет, не в плавании. Как где? На каком-нибудь концерте поет, конечно, что он еще теперь делает?»

Мои многочисленные экспедиционные «байки», рассказанные в дружеском застолье, Силин безжалостно вынес на сцену. В истории с песней «Ах, не ревнуй меня к девке зеленой» угнетавший меня перед этим замполит, которого играл прекрасный актер Сергей Иванов, после получения от адмирала разрешения на эту песню, сам выстраивал матросов и лично дирижировал ее исполнением. На фоне колючей проволоки и сторожевых вышек Юрий Хохликов отлично пел запрещенную

тогда «Испанскую границу». Исполнение лихой песни «Моряк, покрепче вяжи узлы» сопровождалось умопомрачительным твистом, который откалывали четыре тщательно отобранных Силиным девицы в черных колготках и туго обтягивающих тельняшках. Уж этот-то номер Толя поставил с большим знанием дела. Недаром он любил цитировать фразу, сказанную как-то его наставником Б. И. Равенских: «Если я не пересплю с актрисой, играющей Джульетту, откуда я знаю, как должен вести себя Ромео?»

Я за пару дней перед спектаклем все-таки пробился на одну из его репетиций. Он обучал молоденькую студентку театрального института, которая должна была читать в микрофон из-за сцены разного рода рекламные объявления, живописующие, по замыслу режиссера, растленную западную жизнь на Бермудских островах, перед исполнением моей песни «Бермудские острова». Актрисе никак не давалась фраза: «Лучшие в мире женщины — на Бермудских островах». По мнению режиссера, она звучала недостаточно чувственно. Наконец он нашел выход. «Послушайте, на каком вы курсе?» — спросил он у студентки. «На третьем», — ответила она. — «Тогда уже можно: понимаете, вы должны кончать в микрофон». Артистка моментально все поняла, и больше повторов не потребовалось.

В целом же весь спектакль великолепно провалился. Исполнение артистами каждой очередной песни зал встречал дружным свистом и топотом и требовал «самого». Меня, однако, держали крепко. Надо отдать должное профессиональному мужеству актеров, которые в такой «антисанитарной» обстановке ухитрились доиграть спектакль до конца. По окончании спектакля я на ватных подгибающихся ногах, держась то за сердце, то за опущенный занавес, выбрался на сцену и чужим дрожащим голосом заявил, что ко всему увиденному никакого отношения не имею. Я испытывал жгучий непреодолимый стыд и перед зрителями, вынужденными Два с половиной часа смотреть этот лихой и беспардонный винегрет, и перед усталыми актерами, репетировавшими по вечерам в недолгое свое свободное время, и перед собратьями по меру, не слишком, видимо, поверившими моим горячим заверениям в непричастности.

После спектакля тем не менее было организовано обязательное, как мне объяснили, в таких случаях застолье, сначала в театре, а потом, уже в середине ночи, в большой квартире на Невском, угол Литейного, где, кажется, тогда жила молодая актриса Алла Балтер. Помню, мы лихо с одного разворота прямо с Невского въехали во двор дома на чьей-то

«Волге». Наутро, однако, когда мы пытались выехать со двора, то с удивлением убедились в том, что расстояние между тумбами перед аркой ворот меньше, чем ширина бампера. С тех пор минуло много лет, но я до сих пор не могу найти объяснения этому странному факту. Так или иначе, история эта на всю жизнь отбила мне охоту делаться героем театральных постановок.

Что же касается Толи Силина, то за годы его работы в Ленинграде, несмотря на грандиозные замыслы и интересные заявки, ему так ничего серьезного поставить и не удалось. Вернувшись в Москву, он руководил молодежными студиями, преподавал в Щукинском. Ученики его обожали. Именно для его антивоенных спектаклей, поставленных в конце 60-х в МАИ, я написал песни «Американских подводников» и «Американских пилотов», позднее взятые на вооружение нашими подводниками и летчиками. Толя вступил в партию и вместо театральных спектаклей начал ставить разного рода комсомольские и партийные фестивали, парады и съезды. Уже в 80-е годы за постановку то ли Всемирного фестиваля молодежи, то ли Олимпийских игр в Москве, он стал лауреатом Государственной премии. Одно время он увлекался идеен уличных театров и даже писал об этом.

Переехав в 1972 году в Москву, я практически перестал постоянно общаться с питерской актерской компанией, вызывающей теперь острые ностальгические воспоминания. С годами она распалась, — люди состарились, разъехались, стали понемногу умирать. Ушел из жизни Сергей Иванов. Саша Хочинский, ставший одним из ведущих актеров Питера, да и не только Питера (чего стоит, например, его замечательная актерская работа в любимом мною фильме «Бумбараш» с песнями Юлия Кима и Владимира Дашкевича, где он прекрасно играет цыгана и замечательно поет в дуэте с Валерием Золотухиным!), выступал в 1993 году на моем юбилейном вечере в Ленинградском концертном зале и пел песню, собственного сочинения, написанную на мои стихи «Не разбирай баррикады у Белого Дома». В марте 1998 года мы должны были с ним вместе выступать в том же зале на вечере, посвященном юбилею Александра Володина, но Саша на вечер не пришел. Несколько часов спустя выяснилось, что он внезапно умер, упав на улице, от неожиданного сердечного приступа. В 1999 году после тяжелой болезни скончался Юрий Хохликов. В июне 1999 года на праздничном банкете в Георгиевском зале Кремля ко мне подошли Эммануил Виторган и его жена Алла Балтер, уже много лет живущие и работающие в Москве. А совсем недавно, уже в 2000 году, я с горечью узнал из теленовостей, что и Аллы не

стало. А с Женей Власовой я неожиданно встретился в декабре 2000 года, выступая в Нью-Йорке на Брайтон-Бич вместе с труппой тамошнего театра «Канотье», состоящей из российских эмигрантов. Оказалось, что она вместе с мужем, тоже актером, перебралась в США и работает в этом театре.

Где-то с середины 60-х я впервые начал писать песни для театра. Начало этому положил молодой в те поры ленинградский режиссер Владимир Воробьев, поставивший в театре Ленинскою Комсомола спектакль по повести Онджея Брихта «Дансинг в ставке Гитлера», опубликованной незадолго перед этим в журнале «Иностранная литература». Сложность моей задачи в этом спектакле состояла в том, что я должен был писать «рыбу» на заданные довольно сложные ритмические мотивы современных западных песен, в основном в стиле «рок». С большим трудом и напряжением я слепил какие-то тексты, по десятку раз прокручивая на магнитофоне записи мелодий, и понял, что занятие это мне не по силам. Песни, однако, были написаны, и спектакль с большим успехом шел целый сезон, собирая аншлаг, пока в один прекрасный день не выяснилось, что «социалистический» писатель Онджей Брихт стал невозвращенцем и живет теперь на «враждебном Западе». Спектакль, конечно, тут же сняли.

Вообще с авторами пьес мне стало не везти с самого начала. Ранним летом 1968 года весьма популярный когда-то Андрей Петрович Тутышкин (кто не помнит знаменитую «Волгу-Волгу»?), незадолго перед этим назначенный главным режиссером театра Ленинского Комсомола, решил поставить спектакль по повести молодого писателя Владимира Войновича «Два товарища», напечатанной в «Новом мире», еще сохранявшем свою «Твардовскую» независимость. Мне были заказаны песни к спектаклю. Помню жаркий июльский день и огромный, но душный кабинет главного режиссера, куда я явился показать Андрею Петровичу только что написанную для будущего спектакля песню «Друзья и враги». В это время знаменитая и недолгая «Пражская весна», разбудоражившая весь «соцлагерь», уже не давала покоя Суслову и другим высокопоставленным идеологам.

Выслушав мою песню, Тутышкин, бывший, как выяснилось, хроническим сердечником, немедленно проглотил таблетку нитроглицерина, вытер вспотевшую лысину большим фуляровым платком и, с неожиданной для своего большого и грузного тела быстротой выскочив из-за старинного, еще «департаментского» стола с резными дубовыми украшениями, начал махать на меня платком и выкрикивать тонким женским голосом: «Вы что, совсем

рехнулись? Что вы мне тут понаписали? Хотите, чтобы у нас было как в Чехословакии? Не позволю!» Песня, естественно, была тут же забракована, я как автор — тоже. До вторжения наших танков в Чехословакию оставалось чуть более месяца.

Где-то примерно в то же время Владимир Воробьев, ставший впоследствии главным режиссером Ленинградского театра Музкомедии, предложил мне написать песню к планировавшейся им тогда постановке спектакля «Бег» по обожаемому мною Булгакову. Я тут же с большой радостью написал песню «Романс Чарноты», которая, однако, в спектакль тоже не попала. И не только в спектакль. Даже будучи уже через много лет, в 1984 году, опубликована в моей третьей книге стихов «Берег», вышедшей в Москве в издательстве «Советский писатель», песня эта была «исправлена» недремлющей цензурой. Тоскующий по утраченной России Чарнота поет:

Не лучше ли с «Чекой»
Мне было бы спознаться, —
К родной земле щекой
В последний раз прижаться?

Бдительный редактор переделал «крамольные» строки так:

Не лучше ли с чекой
Гранатною спознаться?

Тогда же, в конце 60-х, я написал пару песен для спектакля по пьесе Алексея Толстого «Заговор императрицы» о Распутине, которую должен был ставить главный режиссер Ленинградского драматического театра Я. Хамармер. Надо ли повторяться — песни мои в спектакль не вошли…

В 1972 году на студии «Ленфильм» был запланирован кинофильм о Петре I, приуроченный к трехсотлетию со дня его рождения. Поначалу предполагалось отмечать это событие как всенародный праздник. Еще бы — великий преобразователь Земли Русской, основатель города! Мне была заказана песня для исторического кинофильма, которую, по замыслу режиссера, поют строители петровского флота — крепостные мужики. Прочитав сценарий, я тут же написал песню, однако режиссеру она не понравилась. «Унылая песня, упадническая, — заявил он. — Такая песня не годится, придется написать другую. Чтобы попусту время не тратить и бумагу не изводить, послушай внимательно, что мне надо, а еще лучше — запиши. Значит,

так, — первые титры фильма идут на фоне мачт. За кадром — стук топора. Устье Невы. Начало восемнадцатого века. Ты должен написать песню строителей Российского флота, то есть, как ты сам должен понять, русскую народную песню начала восемнадцатого века. Песня эта у меня главная, идет через весь фильм, поэтому в ней надо точно отобразить все, что мне нужно. Вот это обязательно запиши, а то забудешь.

Во-первых, в песне надо отразить технологию строительства парусного флота. Как — это уже твои проблемы. Во-вторых — заявил режиссер, критически оглядев меня, — флот, строили православные мужики, а не басурманы вроде тебя. Значит, что-то надо сказать и про это: мягко, но положительно. В-третьих, строили-то ведь крепостные. Значит, надо показать тяжкий гнет крепостничества во всей его неприглядности. А в-четвертых — самое главное. Я вот тут твой первый вариант послушал — он унылый, да и другие твои песни какие-то минорные. Честно говоря, я не уверен, что ты вообще с этой задачей справишься. Так вот, песня должна быть не минорная, а лихая, озорная, хулиганская, чтобы каждому сразу стало ясно, что придумали ее настоящие живые мужики в восемнадцатом веке, а не дохлый интеллигент в двадцатом, понял? Но это еще не все. Через озорство и разухабистость песни на полном серьезе должны просматриваться национальное самосознание и гордость народа, впервые выходящего на морской простор. Да, чуть не забыл! Ведь была война со Швецией, — тоже не забудь отобразить!»

Я ушел от требовательного режиссера в унылом настроении, будучи совершенно уверен, что такого числа поставленных им условий в одной короткой песне мне никак не выполнить. Песня ведь должна быть короткой, а чтобы набить ее таким количеством информации, никаких мегабайт не хватит. Мало-помалу, однако, сам увлекшись собственной стилизацией, я все-таки слепил «Русскую народную песню начала восемнадцатого века» с лихим припевом:

Православный глянь-ка
С берега народ.
Погляди, как Ванька
По морю плывет,

Но тут, как назло, документы о всенародном праздновании трехсотлетия со дня рождения Петра Великого попали на утверждение к «самому» товарищу Л. И. Брежневу. «Поставили меня в неловкое положение, — прошепелявил генсек, удивленно подняв кустистые брови. — Не доложили, что Петр, оказывается,

был царь. Ну, а раз царь, значит, тиран, эксплуататор». И всенародный праздник отменили, а заодно — и фильм. Вместо него к славной годовщине была экранизирована известная оперетта «Табачный капитан». А песня так и осталась с той поры на долгие годы как беспризорная и невостребованная «русская народная песня начала восемнадцатого века».

Прошли годы и даже десятилетия. Поменялась власть. И весной 1996 года меня неожиданно срочно вызвали из Москвы в мой родной Питер в связи с празднованием трехсотлетия основания Российского флота. Как раз к этому времени питерская фирма «Мелодия» выпустила приуроченную к этой торжественной дате аудиокассету моих морских песен под названием «Моряк, покрепче вяжи узлы», где была записана и эта песня. И не просто записана под гитару. Творческой фантазией и стараниями талантливого звукорежиссера Виктора Динова и моего друга и неизменного питерского аккомпаниатора Михаила Кане песня эта превратилась в настоящий музыкальный спектакль. В ней лихо звучали и балалайки, и флейта, и барабан. Стреляла настоящая пушка. Явственно слышался звук открываемой бутылки. А в конце песни, где речь шла уже о «национальной гордости народа, впервые выходящего на морской простор», грозно и победно громыхали медные трубы.

Главное торжественное заседание и праздничный концерт после военно-морского парада на Неве происходили в самом большом в Питере киноконцертном зале «Октябрьский» на Лиговке, неподалеку от Московского вокзала. Зал, вмещавший около четырех тысяч человек, был набит битком. Первым с приветственным словом выступил тогдашний премьер Черномырдин. Вторым — главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Громов. Третьим — петербургский губернатор Яковлев. Четвертым на сцену выпихнули меня. Выяснилось, что за триста лет я оказался единственным автором русской народной песни, посвященной строительству русского флота.

А дальше было вот что. Стоя на огромной сцене, мы с Михаилом Кане, державшим в руках гитару, старательно пели в отключенные микрофоны. А в десятках мощных динамиков оглушительно гремела на весь зал фонограмма записи с описанным выше многочисленным музыкальным и пушечным сопровождением. Кроме того, по указанию главного режиссера всего праздничного действа, во время исполнения песни за нашими спинами на гигантском белом заднике сцены, как на экране, демонстрировались с выключенным звуком кадры из старого кинофильма «Петр Первый», где русские берут на абордаж шведский фрегат при Гангуте. Эффект был потрясающий.

В целом же, оглядываясь назад, я с удивлением замечаю, что на протяжении многих лет, сколько раз ни пытался я писать песни для театра и кино, никогда из этого ничего не получалось. Как правило, все песни безоговорочно отвергались заказчиками, тем более что я, не в пример опытным авторам, не заботясь о предварительном заключении договора, писал обычно песни, полаюсь на достаточность устной договоренности с режиссером и радуясь самой возможности работать для театра.

Кроме того, в отличие от таких блестящих авторов, работающих для театра и кино, как, например, Юлий Ким, с его чутким музыкальным ухом пересмешника и завидным талантом буквально перевоплощаться в сценического героя, я всегда писал песни, сколько ни старался этого избежать, как бы от себя, но поставленного в ситуацию героя. А это совсем не одно и то же. В результате у меня набралось за эти годы столько песен, не вошедших в разные спектакли, что из них можно составить целый концерт. И все-таки я благодарен всем режиссерам, заказавшим когда-то мне песни и отказавшимся от них, за саму возможность прикоснуться к волшебному миру театра, ощутить свою причастность к нему.

Кажется, единственным театром, действительно использовавшим написанные мною песни для спектакля, не считая Владивостокского ТЮЗа, режиссер которого Александр Белинский взял в свое время несколько моих песен для своей постановки, стал Ленинградский молодежный театр на Фонтанке. Возник он в 1980 году на основе театральной студии, существовавшей при Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта. Возглавил его руководитель студии, весьма талантливый режиссер со сложным и неуживчивым характером Владимир Малыщицкий.

Знакомство мое с этим театром началось в том же 1980 году, когда я случайно, благодаря моей тогдашней знакомой Алле Михайловне Решкиной, попал на спектакль по упомянутой выше повести Вячеслава Кондратьева «Отпуск по ранению», поставленный Малыщицким. Мне понравились и сам спектакль, и скупая строгая обстановка театрального зала с подмостками посередине наподобие шекспировского «Глобуса», и нищенский реквизит, и молодые вдохновенные актеры, среди которых выделялась яркой индивидуальностью Нина Усатова. Наконец, сам Малыщицкий, вечно воюющий с кем-то и чем-то молодой режиссер с фанатичным блеском запавших глаз и желтым от постоянного недосыпания лицом; Все это произвело на меня сильное впечатление, и я стал ходить на все спектакли Молодежного театра.

Владимир Малыщицкий впервые, и очень удачно, поставил пьесу моего друга Бориса Голлера «Сто братьев Бестужевых», тем более что пьесу эту, как и все пьесы Голлера, ставить нелегко. Мне они неизменно нравились в авторском чтении, в основном за счет литературных достоинств, а вот сценического зрительного ряда, сюжетной пружины в них часто недоставало. Перед режиссером в этой пьесе о декабристах, где герои много разговаривали, но мало действовали, стояла сложная задача. Он, например, заставил актеров, играющих заговорщиков, вдруг стремительно перебегать после реплики от одного края небольшой сцены до другого, чтобы повысить динамику действия.

Поэтому, когда я получил от Малыщицкого предложение написать песни для его нового спектакля по повести любимого мною исторического писателя Юрия Давыдова «На скаковом поле возле бойни», посвященной трагической судьбе народовольцев, казненных в Одессе в конце прошлого века, то немедленно согласился. Инсценировку по повести, получившую название «Если иначе нельзя», сделал мой давний приятель по литобъединению Глеба Семенова, талантливый ленинградский литератор Яков Гордин. Главный герой пьесы, вполне реальная личность, Дмитрий Лизогуб, знатный потомственный украинский дворянин, погибает на виселице вместе с другими членами партии «Народная воля» за то, что отдает им свое огромное состояние. Вешает его палач Иван Фролов, тот самый, который незадолго перед этим повесил Софью Перовскую и Андрея Желябова. А утверждает («конфирмует») смертный приговор старый друг родителей Лизогуба, герой Севастополя и Плевны, генерал-губернатор Одессы — Э. И. Тотлебен.

Мне довелось написать семь песен для этого спектакля, три из которых поются от лица Лизогуба. Только через год, когда спектакль уже был поставлен, я узнал, прочитав биографию Дмитрия Лизогуба, что он и в самом деле писал песни. Среди написанного мною от лица Лизогуба была песня «О губернаторской власти», весьма актуальная в 1981 году для Ленинграда, где самовластно правил тогда печально известный Григорий Васильевич Романов — вдохновитель и организатор бездарного и преступного строительства ленинградской дамбы. Во время спектакля Малыщицкий посадил группы актеров в разные места зрительного зала, и когда на сцене звучал припев:

Губернаторская власть — хуже царской,
Губернаторская власть — хуже царской.
Губернаторская власть — хуже царской, —
До царя далёко, до Бога высоко, —

он как бы подхватывался в зале. Эффект был большой — и зрители, и актеры прекрасно понимали, о чем идет речь. Еще живой тогда Г. С. Семенов, придя на спектакль, недовольно заметил, что не следует дразнить власти и провоцировать их на репрессии. Времена действительно были суровые: охотники за ведьмами в каждой, даже самой невинной строке старались найти потаенный смысл.

Помню, за год перед этим я написал песню «Наводнение» для ленинградского телефильма «Ночь в сентябре», где излагается какая-то вполне заурядная детективная история на фоне ленинградского наводнения. Песню должен был петь Саша Хочинский, игравший в этом фильме главную роль. Худсовет объединения «Экран», однако, песню «зарубил» с такой формулой обвинения: «Вызывает неконтролируемые ассоциации».

Так или иначе, спектакль «Если иначе нельзя» с моими зонтами вполне благополучно просуществовал два театральных сезона. Песня же о губернаторской власти получила довольно большой резонанс в некоторых наших советских губерниях, возможно, из-за «неконтролируемых ассоциаций». К примеру, несколько лет назад на концерте в Харькове мне прислали записку с просьбой «спеть песню про Харьковскую область». Имелась в виду, как выяснилось, «Песня о губернаторской власти». Все мои попытки объяснить, что речь в песне идет не о Харьковской области, а об Одесской губернии конца прошлого века, вызывали понимающий смех.

После премьеры спектакля был устроен импровизированный банкет, на котором к нам с Юрием Давыдовым обратился случившийся там курд, приведенный на спектакль Юрием Андреевичем Андреевым и оказавшийся слушателем Высшей комсомольской школы, о истинном назначении которой, как центра подготовки террористов для «развивающихся стран», я еще тогда ничего не знал. «Спасибо вам, — крепко пожимая нам руки, говорил он на вполне сносном русском языке. — Для вас это история, а для нас — сегодняшний день. Мы теперь знаем, как и что надо делать с угнетателями».

Поздно ночью мы возвращались из театра в одном такси с Борисом Голлером. «Вот для кого попало песни пишешь, — с неожиданной обидой заявил он, — а вот нет чтобы для моих гениальных пьес что-нибудь написать!» «Да нет, что ты, — смутился я, — давай попробуем». «Старик, — оживился он, — у меня сейчас как раз Корогодский пьесу о декабристах ставит. Только не о них самих, а о братьях, кадетах там, гардемаринах

разных, которые на Сенатскую выйти не смогли, а были рядом. Я и пьесу так назвал — «Вокруг площади». Ты меня понял?» Вдохновленный этим ночным разговором, я на следующий же день придумал песню «Около площади», которую Корогодский «на дух» не принял, возможно, также из-за «неконтролируемых ассоциаций».

В связи с этим вспоминается другая история, связанная с Корогодским, относящаяся уже к году 84-му, когда, оказавшись в Питере вместе с моим другом историком Натаном Эйдельманом, я попал за компанию с ним в ТЮЗ на премьеру пьесы Семена Злотникова «Два пуделя». Сюжет пьесы я не упомню, так как собачки, выведенные на сцену, были самые настоящие, живые, и публику более всего волновало, задерут они ногу или нет. По завершении премьеры за широкой спиной Эйдельмана я попал в кабинет главного режиссера, где Зиновий Яковлевич Корогодский в честь именитого московского историка широким жестом извлек из шкафа бутылку армянского коньяка. «Не хочет Городницкий с нами работать, — разливая коньяк по рюмкам, с деланной обидой пожаловался он Эйдельману. — Ни разу для нас ничего не написал». — А что вы сейчас ставите?» — поинтересовался я. — «Как что? Новый спектакль о народовольцах и убийстве Александра Второго».

«Послушайте, — вскинулся вдруг Эйдельман, — да ведь у него же есть превосходная песня специально для вас. Ну-ка, Саня, спой». И я сдуру прямо в кабинете спел незадолго перед этим написанную песню «Ах, зачем вы убили Александра Второго?». Корогодский преобразился. Улыбка на его лице сменилась выражением сильнейшей тревоги. «Это провокация, — неожиданно закричал он, заламывая руки. — У меня вот тут, — стал он тыкать острым пальцем в угол, — и тут, и сверху, всюду подслушивающие устройства! Меня подсиживают все время, меня снять хотят, и ты туда же?» Коньяк со стола немедленно исчез, и недовольный Эйдельман заявил мне: «Больше тебя с собой в приличное общество брать не буду». Вскоре после этого Корогодского действительно «подсидели», но уже не из-за песен.

Что же касается Молодежного театра, то взбодренные успехом спектакля «Если иначе нельзя» Владимир Малыщицкий и его тогдашний завлит Саша Ласкин решили сделать спектакль с зонтами по нашумевшему в то вполне застойное время роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Следует сказать, что включить спектакль в репертуарный план театра тогда было непросто. Тот же Ю. А. Андреев, бывший членом театрального худсовета, неожиданно заявил, что роман Айтматова — антисоветский, и ставить его на сцене нельзя. Я в ту

пору этим романом был очень увлечен и тут же принялся писать песни для нового спектакля. Всего были написаны три — «Песня о Буранном полустанке», «Песня манкурта» и «Песня о дороге», которая по режиссерской идее должна была стать заглавной. Все как будто шло хорошо. Песни, одобренные режиссером и завлитом, уже были записаны на фонограмму для звучания в спектакле, определен был день премьеры, и по всему городу были расклеены афиши нового спектакля с указанием «Песни Александра Городницкого».

Однако буквально за неделю до премьеры Малыщицкий и Ласкин начали прятаться от меня, афиши в городе были спешно заменены другими, уже без моей фамилии, а песни из спектакля были выброшены без каких бы то ни было внятных объяснений. Театр кивал на цензуру, цензура — на театр. Поскольку были сняты все песни, а не только «Песня о дороге», которую можно было упрекнуть в «идейной невыдержанности», причины этого так и остались для меня загадкой. Саму же «Песню о дороге», действительно долгое время нигде не публиковали. Начиналась она такими строчками:

Небеса ли виной или местная власть, —
От какой, непонятно, причины.
Мы, куда бы ни шли, нам туда не попасть
Ни при жизни, ни после кончины.
Для чего ты пришел в этот мир, человек,
Если горек твой хлеб и недолог твой век
Между дел ежедневных и тягот?
Бесконечна колючками крытая степь.
Пересечь ее всю никому не успеть.
Ни за день, ни за месяц, ни за год.

Услышав ее как-то случайно в застолье, тогдашний замдиректора по режиму нашего Института океанологии, Виктор Иванович Волокитин, полковник КГБ, дружески похлопав меня по плечу, сказал с улыбкой: «Правильно, Саня, песню твою запретили, — она с душком».

Вообще с замами по режиму мне везло почти так же, как и с авторами пьес. Буквально через год новый наш «режимник», тоже, конечно, полковник, — коренастый и плотный, с густыми вьющимися волосами, низким лбом римлянина и густым румянцем постоянно пьющего человека, вызвал меня к себе в кабинет. Закрыв за мной тяжелую бронированную дверь, он достал из такого же бронированного сейфа толстую папку с какой-то перепиской. На одной из бумаг в правом верхнем углу

красовался гриф «совершенно секретно». Рядом с папкой он неожиданно положил извлеченный из того же сейфа уже знакомый мне номер красочного журнала «Наука в СССР», печатавшегося на четырех языках и рассчитанного на заграницу.

Как раз в этом номере были опубликованы две мои научно-популярные статьи и стихи. В числе опубликованных было стихотворение «След в океане».

«Вот, полюбуйтесь, это ведь ваши стихи?» — сунул он мне под нос раскрытый журнал. На открытой странице жирным красным карандашом были подчеркнуты несколько строк:

Ученые немало лет
Гадают за закрытой дверью,
Как обнаружить этот след,
Чтоб лодку выследить, как зверя.
Среди безбрежной синевы
Их ожидают неудачи.
Поскольку нет следа, увы,
И нет решения задачи.

«Так вот, — внушительно произнес мой собеседник, налюбовавшись моим недоумением и похлопав короткопалой рукой по папке с документами. — Из-за этой вашей публикации уже полгода ведется специальная переписка между ВПК, КГБ и Академией наук. Поскольку вы являетесь сотрудником Института океанологии, то прочитавший ваши стихи по этим строчкам может догадаться, что в нашем Институте ведутся закрытые работы по обнаружению подводных лодок по их турбулентному следу. А это уже — разглашение государственной тайны. Понимаете, какие последствия это должно иметь для вас?»

Я побледнел. «Однако, — продолжал полковник, — тщательная проверка вашего досье показала, что вы к таким работам никогда доступа не имели и ознакомиться с этими строго режимными материалами не могли. Как же вы ухитрились так точно сформулировать задачу, да еще в стихах?» «Это просто случайное совпадение, — залепетал я. — Вот ведь Жюль Верн еще в девятнадцатом веке сколько всего разного напридумывал наперед и очень точно». «Ну что же, — без тени улыбки произнес мой собеседник, — мы и товарища Жюля Верна привлекли бы к ответу, попади он к нам. В общем, так. Решено в отношении вас ограничиться пока профилактической беседой. А вы идите, но впредь на скользкие и опасные темы стихи не пишите».

Неудачи с песнями к спектаклям продолжали преследовать меня до самого последнего времени. Уже в «перестроечную пору»,

в 87-м, меня изловил в Ленинграде мой старый знакомый артист театра Ленинского Комсомола Владимир Тыкке, ставший впоследствии руководителем этого театра, переименованного теперь в «Балтийский Дом».

«Как здорово, что я тебя нашел, — обрадовался он. — Ты можешь завтра приехать к нам в театр? Очень срочное дело. Мы тут одну пьесу ставим современную, прямо по факту. Пьеса уже готова, ставить должен я. Ты можешь срочно написать песню для нее?» Я пожал плечами. «Да нет, говорю тебе, это уже верняк, нынче не старые времена. Я сам ставлю, понял? Да и дело-то благородное. Действительно, засудили невинного человека, — он партийную мафию в своем городе разоблачил во главе с самим секретарем горкома. Его, конечно, посадили, из партии исключили, жена от него ушла. Об этом Юрий Щекочихин в «Литературке» вот такую статью написал! А в пьесе действие происходит в вагоне поезда, идущего в Москву, в котором едет выпущенный из лагеря герой. И оказывается, что в этом же вагоне едет все городское начальство, а главное, засудивший его прокурор, которых вызывают в Москву на разбирательство. Возьмешься? Только вот очень срочно надо, буквально на той неделе. Послезавтра обязательно позвоню».

Через день для спектакля «Следствие» была написана песня «Что снится ночью прокурору»:

Что снится ночью прокурору?
Что снится ночью прокурору,
Когда полуночную штору
Качает слабым ветерком?
Не выносить из дома сору.
Не выносить из дома сору,
Не выносить из дома сору
Ему советует горком…

До Тыкке, однако, я так и не дозвонился, — он исчез бесследно.

Не лучше обстояли дела и с песнями, которые я пытался писать для радиоспектаклей.

Помню, в 1983 году меня попросили написать песню для радиоспектакля по любимому мною роману Стивенсона «Черная стрела». Действие там, если помните, происходит в XVI веке в Англии, — знаменитая война «Алой и Белой Розы» за английский престол. Я принес песню на радио. Они ее послушали и говорят: «Значит, так, — для вашего же блага: вы нам эту песню не приносили, и мы ее не слышали». «Почему?» — удивился я. —

«Вы что, сами не понимаете? Тут же прямой намек на Леонида Ильича, который уже в преклонном возрасте и болен. Забирайте вашу песню и уходите».

Прошло пятнадцать лет. Строй поменялся, — демократия и все такое. Снова ставят радиоспектакль по Стивенсону, уже другие совершенно люди на другой студии. «Мы слышали, что у вас есть песня к спектаклю. Не дадите нам?» — «Могу дать. Только ее уже однажды запрещали, как «идеологически невыдержанную»». — «Ну, что вы, сейчас другие времена, — свобода слова, и все можно. Приносите». Принес. Они ее послушали и говорят: «Вы что, с ума сошли? Что вы нам принесли? Действительно, Борис Николаевич уже немолод, и со здоровьем проблемы. Но мало того. У вас в песне еще и прямой намек на Чеченскую войну». — «Да ведь это Англия, шестнадцатый век! При чем тут Борис Николаевич?» «Вы нас, видимо, за дураков принимаете, — обиделись они. — Забирайте вашу песню и уходите». Так эта песня и не вошла никуда, хотя речь там, действительно, идет только о войне «Алой и Белой Розы»:

…Повсюду запах гари.
Покинуты дома.
Король наш старый Гарри
Совсем сошел с ума.
Не даст тебе Создатель
Дожить до старых лет, —
Бросай соху, приятель.
Берись за арбалет!
Стрела летит, как птица,
Повсюду лязг и стон…
Не дай вам Бог родиться
При Генрихе Шестом!

В 1967 году в Ленинграде начались впервые гастроли знаменитого тогда театра «Современник». К этому времени относится мое первое знакомство с актерами этого театра, переживавшего пору своего расцвета, прежде всего с Валентином Никулиным и Людмилой Ивановой.

Людмила Иванова, прекрасная характерная актриса, как я уже говорил, сама писала песни, пользовавшиеся в конце 60-х годов довольно широкой популярностью. Некоторые из них, например «Ты живешь в другом городе» и «Ниточка», вошли в эстрадные программы. Их пели Гелена Великанова и другие популярные эстрадные артистки. Муж Людмилы Валерий Миляев,

физик и доктор наук, тоже писал песни, часто весьма недурные, например песню о Дон Кихоте, где были такие понравившиеся мне строчки:

> Он тихо едет мимо стен и кровель, слабо освещенных.
> Как много есть неотомщенных, а отомщенных нет совсем.

Одна из его песен, «Весеннее танго», теперь вошла в первый диск проекта «Песни нашего века».

Во время гастролей «Современника» в Ленинграде мы часто собирались после спектаклей в доме нашего общего приятеля, тоже физика и доктора наук, известного Ленинграде кот автора песен Валентина Глазанова, жившего тогда на Выборгской стороне неподалеку от кинотеатра «Гигант» и площади Калинина, где в 45-м году вешали пленных немцев. Дом его, несмотря на многочисленную семью, был открыт всем входящим в любое время дня и ночи. Там все время спали, пили или пели заезжие московские артисты и пришлые барды. Немалая заслуга в этом жены Валентина, Натальи, отличавшейся редким гостеприимством и сердобольностью. Валентин Никулин, Олег Даль, Людмила Иванова и многие другие актеры часто по нескольку дней жили здесь как дома, особенно в периоды психологического или финансового кризиса.

Сам Валентин, фанатично влюбленный в театр, написал немало песен, посвященных Олегу Далю, Валентину Никулину и другим своим тогдашним друзьям. Кстати, именно ему я и обязан своим знакомством с ними. Было это незадолго перед трагической гибелью Олега Даля, уже и тогда пившего безудержно.

Из актеров «Современника» более других еще с конца 60-х я подружился с Валентином Никулиным, запомнившимся мне по страшной роли Смердякова в фильме «Братья Карамазовы». Его вечно худое и часто небритое лицо хронического язвенника буквально преображалось, когда он читал стихи. А знал он их великое множество — от Вильяма Шекспира и Бориса Пастернака до Антонио Мачадо в прекрасных переводах Эренбурга. Пел он тоже своеобразно, под фортепьяно, немного под Вертинского, с большими, иногда затянутыми паузами и порой с излишней аффектацией, но всегда — превосходно. Именно он впервые спел со сцены «запретную» песню, написанную мною в 1966 году в Польше в Освенциме:

> И лежат под камнями москали и поляки,

А евреи — так вовсе нигде не лежат.

Как-то Валентин несколько дней прожил у меня в Ленинграде, снимаясь на «Ленфильме» в кинокартине «Баллада о Беринге и его друзьях». Играл он ученого-ботаника, участвующего в многострадальной беринговской экспедиции, и поэтому более месяца не Должен был бриться. В результате оброс весьма неопрятной худой и рыжей бородой, что вместе с редкими торчащими изо рта зубами и седоватой шевелюрой вид ему придавало весьма страхолюдный. Как раз в это время он узнал, что мать моего тогдашнего аккомпаниатора Олега Шмойлова работает районным прокурором, и воспылал чисто актерской идеей поехать вместе с ней на очередной допрос в «Кресты», чтобы взглянуть на эту печально известную тюрьму.

Посидев какое-то время в показанной ему камере, он соскучился и решил выйти покурить в коридор. Однако, как только вышел из камеры, где находились его спутники, тут же начисто забыл ее номер. Некоторое время он безуспешно пытался стучать в совершенно одинаковые железные двери с «намордниками», пока появившийся откуда-то тюремный надзиратель, увидев его типично уголовный облик, не цыкнул на него: «Ну, ты, курва, я тебе еще вчера сказал парашу вынести, марш в камеру!» И влепил увесистую оплеуху. Мать Олега около двух часов искала пропавшего Никулина по всем «Крестам». Выйдя наконец из тюремных ворот, он, втянув голову, без оглядки бежал до самого метро.

В 1987 году в Доме творчества писателей в Пицунде я познакомился со сценаристом Семеном Лунгиным, широко известным по сценарию к знаменитому фильму Отара Иоселиани «Жил певчий дрозд», и его женой — переводчицей Лилей Лунгиной, учившейся когда-то в одном классе с Давидом Самойловым. Незадолго до этого в Москве вышла из печати повесть замечательной шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони — дочь разбойника» в переводе Лилии Лунгиной, и Семен решил сделать на основе повести либретто музыкального спектакля для Центрального детского театра в Москве. Мне, по договору с театром, с подачи Лунгина, были заказаны тексты песен для спектакля. Для создания музыки к песням была приглашена специальная дама-композитор. Я прочел детскую повесть в превосходном переводе Лунгиной, и она мне чрезвычайно понравилась. В феврале 1988 года, сидя в Малеевке и внимательно изучив книжку Астрид Линдгрен и сценарий Семена Лунгина, я тут же написал пять песен к этому спектаклю.

Увы, и им не суждено было прозвучать со сцены. Спектакль этот, уже включенный в годовой план театра, так и не состоялся, а песни пополнили и без того уже объемистый список моих невостребованных театральных песен, став для меня теперь своеобразной памятью о замечательной супружеской паре Лунгиных. Впрочем, одна из написанных тогда песен, «Марш серых гномов», приобрела самостоятельно некоторую популярность.

Дело в том, что действие сказочной повести происходит в сказочном скандинавском лесу. Ну, а раз лес сказочный, то там обитают разного рода неприятные и даже страшные существа. Но самый опасный вид нечисти — это так называемые серые гномы. Они не имеют ничего общего с добрыми и мудрыми толкиеновскими гномами. Это совсем другая популяция. Днем они незаметно прячутся где-то в кустах и оживают только ночью, а тогда собираются в большие стаи и подкарауливают одиноких путников в самых глухих участках леса, чтобы напасть на них всем скопом. А дальше происходит вот что. Если ты их не боишься, они остаются маленькими, серыми и безвредными. Но, если ты их начинаешь бояться (а они это чувствуют на расстоянии), то сразу вырастают пропорционально твоему страху и становятся агрессивными, — могут зацарапать, закусать, выпить кровь. И, с одной стороны, надо как бы их не бояться, и тогда все обойдется, а с другой — как же их не бояться, если ты один, их много, а лес глухой и безлюдный? В их мрачном марше нечаянным образом отразились некоторые нотки, созвучные нашим «национал-патриотам»:

Мы — борцы-энтузиасты,
Человек — наш враг, и баста!
Словно волки мы зубасты,
Ядовиты, как оса.
За отечество радея,
Изведем его, злодея,
Наша главная идея:
Бей людей — спасай леса!
Гномы, гномы, гномы, гномы
Не дадим житья чужому!
Уведем его от дому
И возьмем на абордаж!
Если ты не пахнешь серой,
Значит, ты не нашей веры.
Если с виду ты не серый,
Это значит, ты не наш!

Недаром на одном из концертов я получил такую записку: «Подожди, жидяра, мы власть возьмем и тебя за ноги повесим. Серые гномы».

В середине 90-х годов Михаил Столяр познакомил меня с замечательным артистом Юрием Никулиным. Оказалось, что песня про «Жену французского посла» очень ему нравится, и он пригласил меня к себе на Цветной бульвар, в старое здание Московского цирка, директором которого он тогда был. По этому поводу была организована телевизионная съемка студией РЕН-ТИ-ВИ, и мы вдвоем с Никулиным, прямо в его кабинете, под гитару Столяра лихо исполнили эту песню перед телекамерами, предварительно подкрепив свои силы рюмкой коньяка.

Не успели мы допеть песню, как в кабинете раздался резкий телефонный звонок. Никулин снял трубку со стоящего на столе аппарата в форме собаки, и по мере того как он слушал, лицо его все больше мрачнело. «Как из посольства? — переспросил он. — Какие неприятности?.. Ну вот, — обратился он ко мне, — уже настучали. Сейчас забирать приедут». Я не сразу догадался, что это розыгрыш. Он подарил мне на память свою знаменитую книжку анекдотов, из которой тут же рассказал один: «Саня, знаешь, какая разница между киллером и еврейской мамой? С киллером можно договориться». Через пару лет и его не стало.

В апреле 2000 года я приехал в Питер на вечер, посвященный 65-летнему юбилею моего давнего друга Владимира Рецептера, на котором он попросил меня быть ведущим. Вечер проходил на Фонтанке, неподалеку от Аничкова дворца, в старинном особняке, где теперь размещается так называемый Пушкинский центр. Присутствовал весь состав БДТ. Было по-праздничному шумно, зачитывались правительственные телеграммы, был разыгран капустник. Сам Володя читал смешной отрывок из своей прозы «Прощай, БДТ», где описывались приключения труппы на первых гастролях в Японии, связанные с приобретением японских ковров.

Уже на фуршете за столом рядом со мной оказалась шумная и энергичная худощавая женщина со следами былой красоты на потраченном гримом лице. Когда она заговорила, попросив налить ей водки, я тут же понял, что это Нина Ольхина, немедленно опознав ее неповторимый серебряный голос, запомнившийся мне на долгие годы. Моя любимая актриса из старого БДТ, в которую я был по-мальчишески влюблен много лет, еще с 7-го класса. Господи, как она была хороша в 47-м году в тунике Клеи в пьесе Фигейроду «Лиса и виноград», когда

закидывала назад голову с тяжелой кладкой золотых волос, демонстрируя онемевшему залу свою беломраморную шею, и, педалируя низкие ноты страстной любовницы, говорила: «Ксанф, ступай и выпей море!»

Я никогда прежде не видел ее вблизи, только с галерки, доступной на скудную студенческую стипендию, жадно прижав к глазам взятый в гардеробе жалкий театральный биноклик, никогда не дававший нужной резкости.

Нина Ольхина, снившаяся мне по ночам в неожиданных юношеских снах. Нина Ольхина, чей голос озвучивал для меня мои первые стихи, и они обманчиво казались лучше, чем были на самом деле. Нина Ольхина, к которой я за все годы, даже в горняцкой форме с золочеными вензелями контр-погон, так и не осмелился подойти с букетиком бледных ленинградских цветочков, справедливо полагая, что она — небожительница, а я — «из публики…»

И сладкая ностальгия по первой школьной театральной любви и утраченной жизни влажной и теплой болью охватила мое сердце.

Глава 4
Только все же не Россия…

Путешествие к теплому морю

У меня дома в Москве над письменным столом висит, занимая всю стену, большая цветная карта Израиля, подаренная мне в декабре 1990 года в Иерусалиме составившим ее известным американским геофизиком Джоном Холлом. Сам Джон Холл, белокурый англосакс огромного роста со светлыми глазами, женившись на израильтянке, переселился в Израиль и даже сделал обрезание. Уже много лет он работает в Геологической службе Израиля и строит на компьютерах морские и сухопутные карты. В своем иерусалимском доме, где я побывал в гостях, он оборудовал настоящую картографическую лабораторию, где работает один или с двумя помощниками, используя могучую компьютерную технику. Карта же, подаренная мне, создана на основе цветной аэрофотосъемки, проведенной с американскою спутника «Landsat» с высоты около 930 километров в светлое время суток — между 9 утра и 6 часами вечера — в 1987 году. Детали ее уточнены по данным еще одной космической съемки, на этот раз уже с французского спутника. В результате получилась роскошная трехцветная карта Израиля, яркая и радостная, как сама новенькая Обетованная земля, только что сотворенная Богом.

Когда я начинаю рассматривать карту глазами геолога, уже не как яркую цветную картинку, а как геоморфологический ландшафт, в глаза сразу же бросается длинная линия, протягивающаяся с севера на юг по восточной ее части и как бы отделяющая Израиль от его арабских соседей.

Беря свое начало на севере неподалеку от вершины Хермона, линия эта отчетливо прослеживается вдоль реки Иордан, далее тянется через чудотворное озеро Кинерет, снабжающее весь Израиль пресной водой, затем снова идет по Иордану и вдоль Мертвого моря. Еще дальше на юг она тянется через пустыню Негев, где отчетливо обозначается огромными скальными обрывами, привлекающими внимание экскурсантов. Помню, как поразились мы с моим приятелем — геологом Михаилом Рыбаковым, только переехавшим в 90-м году в Израиль из Питера, когда, выйдя из экскурсионного автобуса на пути из Беер Шевы в Эйлат, увидели над собой гигантский багряно-черный обрыв, протянувшийся от горизонта до горизонта и кажущийся непреодолимой границей, созданной Богом.

Еще дальше к югу эта грозная граница становится невидимой, ныряя в вечно теплые воды Красного моря под коралловые рифы Эйлата.

Я неоднократно бывал в Израиле, и мне не раз довелось проехать вдоль этой гигантской трещины в земной коре, и, казалось бы, игрушечная по размеру страна — несколько часов езды на автомашине, показалась мне огромной. По поводу величины Израиля обычно рассказывают анекдот: «Завтра с утра поедем смотреть страну». — «А что мы будем делать после обеда?» Но недаром говорится, что Израиль кажется маленьким снаружи и большим изнутри. Если ехать вдоль описанной границы с севера на юг, то на протяжении нескольких часов полностью меняется ландшафт — от снежной вершины Хермона и лесистой Галилеи на севере до лунного пейзажа долины Мертвого моря и желто-красной пустыни Негев на юге. А когда ныряешь с маской на красноморские коралловые рифы в Эйлатской бухте, обретаешь полную уверенность, что проехал уже добрую половину земного шара и находишься где-нибудь в Океании. Может быть, и вправду Бог, как на пробном полигоне, сначала создал все виды земных ландшафтов здесь, а уже потом распространил их на всю планету?

А может быть — дело не только в природных ландшафтах, но и в многообразии и живописности местного населения? Так, в Нахарии с ее нидерландским каналом и чистенькими, как в Германии, улочками — это Северная Европа, в Кесарии — Рим и Афины, в Яффе и Акка — неряшливый и многоцветный Восток, в Эйлате — Вайкики-Бич, в Тель-Авиве — Южная Европа, а в Иерусалиме — все вместе…

Помню, как, впервые увидев в лучах заходящего солнца неожиданно открывшийся нам на перевале дороги Иерусалим, так гениальна описанный никогда не бывавшим здесь Михаилом Булгаковым, я сказал сыну, который вез меня к себе в Рамот из аэропорта Бен-Гурион: «Какой странный город. Я ведь видел другие великие города — Рим, Париж, Афины, Лондон, Токио, но этот ни на что не похож». «На что он должен быть похож? — удивился сын. — Он ведь их всех древнее. Это они могут быть похожи».

Мы с женой приехали в первый раз в Израиль в ноябре 1990 года в гости к моему сыну от первого брака, переселившемуся сюда из Ленинграда в 1987 году. До сих пор явственно вспоминаю ощущение странного волнения, когда самолет польской авиакомпании «Лот» Накренился на правое крыло, закладывая предпосадочный вираж, и в разрыве желтых облаков, беременных солнцем, замелькали белые постройки на берегу ослепительно синего моря, непривычного нашим глазам. Сидевшая перед нами пожилая чета — кавказские евреи, эмигрировавшие из Тбилиси и больше похожие на старых грузинских князей, нахмурили седые

брови и прижали к глазам платки. Грузная многодетная мамаша из Черновцов начала громко всхлипывать, закрывая лицо руками. Чувства эти нетрудно понять. Помимо торжественности момента первого свидания с землей предков, для эмигрантов из Союза, летевших с нами, прибытие в Израиль означало тогда окончание тех унижений и прямого грабежа, которым они подвергались у себя дома и по пути.

Еще в Москве, в Шереметьево-2, откуда мы вылетали через Варшаву в Тель-Авив, мы, поначалу не разобравшись, по ошибке встали в хвост длиннющей очереди в таможенный контроль, которую, как выяснилось, занимают за несколько дней до вылета те, кто выезжает на постоянное жительство. Все их вещи тщательно обыскивались и перетряхивались, и отбиралось все, что можно отобрать. Это, однако, не было последним испытанием. Вздохнувшие с облегчением эмигранты, с надеждой всматривавшиеся в окно самолета, еще не знали, что и тот жалкий багаж, который прошел таможенный досмотр, будет по пути ограблен.

Грабили все: рабочие «Аэрофлота» при погрузке в Москве, грузчики и сотрудники польского «Лота» при пересадке в Варшаве. Грабили не тайком по мелочам, а явно, разрезая ножом кожаные чемоданы или воруя их целиком, намеренно уродуя те вещи, которые не украли, откровенно наслаждаясь своей безнаказанностью. Да и как не грабить? Во-первых, евреи, а во-вторых — люди совершенно беззащитные, ничьи граждане, вроде военнопленных, — с грабителей спрашивать некому. Мне рассказывали, что людям, лишившимся багажа, не во что было одеться по прилете. Местные общины поэтому собирали им поношенную одежду.

В самолете тем временем замигали сигнальные лампы, призывая пассажиров занять свои места и пристегнуть ремни. Шумная ватага израильских школьников в голубых спортивных костюмах с могендовидом на спине, возвращавшаяся с каникул из Бельгии, неожиданно присмирела и притихла. Битые два часа перелета от Варшавы они шумели и веселились, никакого внимания не обращая на укоризненные взоры окружающих. Девчонки мазали губы только что купленной помадой и примеряли кофточки ужасающих расцветок, мальчишки орали и пили пиво. Здесь же они враз подобрались и умолкли. Когда самолет пошел на посадку, они не сговариваясь, но довольно дружно запели гимн.

Вообще дети, пожалуй, главное, что поражает в Израиле. В этой стране ты постоянно живешь в их окружении, поскольку Израиль — прежде всего страна детей, и, как думается поначалу,

весьма распущенных. Так показалось в первое время и мне, когда я видел бойкие стайки школьников, вольготно лежащих на полу в залах музея или с неимоверным шумом вылетающих на улицу из школы (конечно, не в религиозных кварталах). Наша приятельница, хрупкая девушка небольшого роста, работавшая учительницей, рассказала, как на своем первом уроке в иерусалимской школе она, войдя в класс, увидела, что на учительском столе развалился здоровенный верзила-старшеклассник. При виде вошедшей учительницы он даже не шевельнулся, хотя звонок уже прозвенел. «Встань немедленно, — урок начинается», — строго сказала учительница. «Не смеши меня», — ответил он, не меняя позы.

Призывы к строгости и наказаниям здесь сочувствия у окружающих не вызывают. Детей как-то не принято строго карать за провинности. Может быть, именно поэтому они всегда ощущают себя хозяевами положения и этим отличаются от наших затурканных и затетешканных маленьких москвичей.

Что-то подобное я видел потом и в США. В Нью-Йорке специальные помощники полицейских на улице останавливают уличный транспорт во время перехода детей, и дети переходят через дорогу, совершенно не торопясь, явно продлевая удовольствие власти над взрослыми. Мне рассказывали, что американские родители не могут отшлепать своего отпрыска, поскольку тот имеет право в этом случае вызвать полицию, и не в меру ретивого отца будут судить за насилие над личностью.

Детям здесь с малолетства внушается уважение к личности каждого, чувство собственного достоинства, и эффект это дает удивительный.

Как я уже упоминал, в первый раз мы приехали с женой в Израиль по гостевой визе, но Игорь Губерман организовал для меня несколько выступлений в Иерусалиме, Тель-Авиве и других городах, на которые приходили давние друзья и знакомые. Встречи с ними возвращали нас назад, в те времена, когда они уезжали из СССР, перемещаясь как бы в небытие, поскольку расставались мы тогда без всякой надежды увидеться в будущем. Нет возможности подробно воспроизвести все эти грустнее и радостные минуты встреч и воспоминаний. Мы-то состарились, а они как будто остались молодыми, такими же, как много лет назад, когда уезжали, как будто жили мы в разных системах времени.

Поражал однако общий тон ностальгических воспоминаний, нашедший отражение в разговорах друзей или в вопросах, которые содержались в многочисленных записках, полученных на выступлениях от совершенно незнакомых люден: «Ну, как там у

нас?» Удивительные люди! Покинув свою злополучную Родину, оказавшуюся для них безжалостной мачехой и сделавшую их людьми второго сорта, отлученные ею от гражданства и ограбленные напоследок, официально объявленные в свое время врагами и отщепенцами, они упорно продолжают любить ее, не помня причиненного им зла. Помнят только, как прекрасно было когда-то «у них» в Харькове, Ленинграде, Москве. В то же время, когда в ответ на упомянутый вопрос узнают, что обстановка в России не улучшается, несколько успокаиваются.

Поневоле вспоминается грустный анекдот о том, как двое русских угнали самолет и, уже благополучно миновав границу, летят над Западной Европой и размышляют, то ли нм здесь приземлиться, то ли прямо в США лететь. И один вдруг спрашивает другого: «Петя, а может, мы зря все это сделали?» — «Как это зря? — возмущается второй. — Жить же нельзя в этой нищете и беспределе. А за границей житье — первый сорт». «Все так, — говорит первый, — да только, говорят, там за рубежом такая болезнь есть, ностальгия называется». — «А это что за болезнь? Никогда не слышал». — «Ну скучать будешь, тосковать все время по березкам родным, по русской речи». — «Вася, ты что, с ума сошел? Мы что, евреи, что ли?»

На первом же концерте в Иерусалиме в перерыве ко мне подошел седой человек с советскими орденскими колодками на пиджаке и, утирая глаза платком, сказал: «Я старый полярный летчик. Почти полвека летал в Арктике, с немцами там воевал. Вашу песню про полярных летчиков много лет знаю, думал — народная. Можно я к вам после концерта подойду про Арктику поговорить? А то ведь тут не с кем». После этого он сокрушенно покрутил головой и грустно добавил: «И кому нужна в Израиле полярная авиация?»

В пустыне Негев, в городе Арад, я неожиданно встретился со своим давним начальником — бравым когда-то морским подполковником Николаем Николаевичем Трубятчинским, под началом которого я проплавал немало лет в Атлантике на военном паруснике «Крузенштерн». Николай Николаевич происходит из заслуженного морского рода.

Сюда перебрался из Мурманска, где руководил крупной морской геофизической экспедицией, вслед за своей еврейской женой. Женщиной энергичной и лишенной комплексов. Теперь бывший моряк сидит, вздыхая, у окна, за которым пылает в закате пустыня Негев, и вспоминает прошлое. После встречи с ним появилась песня:

Подполковник Трубятчинский, бывший сосед по каюте,

С кем делили сухарь и крутые встречали шторма.
Не качаться нам впредь в корабельном суровом уюте.
Где скрипят переборки и к небу взлетает корма.
Опрокинем стакан, чтобы сердце зазря не болело.
Не кляните судьбу, обо всем не судите с плеча!
В Зазеркалье у вас все читается справа налево, —
В иудейской пустыне нашли вы последний причал.
Подполковник Трубятчинский, — в прошлом надежда России!
Он сидит у окна, и в тазах его черных — тоска.
Позади океан, ядовитой пропитанный синью.
Впереди океан обожженного солнцем песка.
Подполковник Трубятчинский, что вам мои утешенья!
Где бы ни были мы и какое б ни пили вино,
Мы — один экипаж, все мы жертвы кораблекрушенья,
Наше старое судно ушло невозвратно на дно.
Подполковник Трубятчинский, моря соленого житель,
Как попасть вы смогли в этот город безводный Арад?
Надевайте погоны, цепляйте медали на китель,
И — равненье на флаг, — наступает последний парад!..
Возвращение в рай, а скорее — изгнанье из рая,
Где ночные метели и вышки покинутых зон…
Подтянувши ремень, обживает он остров Израиль, —
Наших новых времен, наших новых морей Робинзон.

Встречаясь с аудиторией в разных городах — Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Беер Шеве, я все время испытывал то же ощущение, что и приезжавший в Израиль незадолго до меня Юлий Ким, который, внимательно посмотрев со сцены в зал, заявил: «Мне кажется, что я уже перед вами однажды выступал».

Забавная история произошла на одном из первых вечеров в Иерусалиме, в Русском культурном центре, где большой по израильским масштабам (на четыреста человек) зал был набит до отказа. Игорь Губерман, открывая вечер, неожиданно представил меня так: «Ну, вы все, конечно, знаете его песни и стихи, раз пришли сюда его слушать. А вот я вам сейчас скажу о нем то, что вы наверняка не знаете. Так вот запомните, — это первый в мире еврей, который погружался в океане на глубину пять километров». Невероятный шум поднялся в зале. Я мог уже ничего не петь и не читать, — вечер был все равно обречен на успех.

На следующий день иерусалимские русскоязычные газеты поместили мои наспех снятые портреты, снабженные подписями

«Наш Гагарин», «Гость страны» и еще что-то несусветное в этом роде. Я разозлился и выразил Игорю свой энергичный протест, на что он со своей обычной непробиваемой улыбкой заявил: «Чего ты шумишь? Ты лучше проверь». Вернувшись в Москву, я и на самом деле занялся проверкой. К тому времени еще не так много людей погружались на глубоководное дно океана в батискафах, так что имена их было установить нетрудно.

Благополучно миновав знаменитые имена Пикара и Жака Ива Кусто, которые, конечно, были вне подозрений, я споткнулся было об одного канадца с подозрительной фамилией Фишер, но он на мое счастье оказался немцем. Я уже почти выходил в финал и вдруг вспомнил, что при самом первом моем погружении на «Пайсисе» в Тихом океане на атолле Хермиг в 1978 году командиром аппарата был Саша Подражанский, который, как и я, Александр Моисеевич. Сердце мое заколотилось. Я помчался в отдел кадров своего института и не помню уже под каким предлогом выпросил его личное дело. Ура! Оказалось, что мама у него русская. Так что Губерман, как ни странно, оказался прав. На банкете по поводу моего пятидесятилетия директор института поднял тост за меня с такими словами: «Во всем мире не более пятидесяти человек, которые побывали на дне океана». Сидевший рядом писатель Фазиль Искандер мрачно добавил: «Не считая утопленников».

В тот первый приезд мы с женой, купив на заработанные выступлениями деньги билеты на автобусные туры по стране, объехали буквально весь Израиль от севера с таинственным юродом Каббалы Цфатом до пляжей Эйлата. Помимо разнообразия природы на маленькой территории этой древней и одновременно новорожденной страны меня тогда удивило разнообразие облика ее населения. Привыкший за долгое время жизни к российско-обывательскому стереотипу «еврейской внешности», уже в первые дни в Иерусалиме, выйдя на центральную улицу Яфф, я поразился многообразию лиц и одежды шумной и жизнерадостной толпы, до отказа наполнившей узкие тротуары, спешащей куда-то на автобусах и автомашинах. Здесь можно было увидеть всех — от ортодоксальных хасидов в их круглых меховых «форменных» шапках и черных чулках, как на картинах Рембрандта, и арабов в ярких бурнусах до современных хипарей в заношенных донельзя шортах.

«Володя, — растерянно обратился я к сыну, откровенно потешавшемуся над моим замешательством, — это что, все евреи?» «Конечно», — засмеялся он. — «Нет, погоди, ну, эти-то в черных лапсердаках, понятно, но вот эти здоровые и белобрысые, в ковбойках?» — «Евреи». — «Ну ладно, допустим, но уж эти

восточные красотки из «Тысячи и одной ночи», типично гаремные женщины?» — «А это тайманки — еврейки из Йемена». — «Ну, вот эти-то наконец негры», — обрадовался я, увидев на противоположной стороне улицы нескольких здоровенных парней шоколадного цвета с курносыми приплюснутыми африканскими носами, обряженных в хаки и алые береты, с американскими автоматами «М-16» через плечо. — «Ничего подобного, — видишь, у одного из них кипа на голове? Это африканские евреи, — фалашим по-нашему». За этим последовала небольшая лекция о том, что знаменитая царица Савская, возглавлявшая когда-то «правительственную делегацию» к легендарному царю Соломону, возвратилась к себе в родную Эфиопию слегка беременной от израильского царя, что и дало начало чернокожим евреям.

Действительно, Израиль — страна эмигрантов, маленькое подобие США. В Тель-Авивском университете, где мне довелось читать лекции на геологическом факультете, есть большой музей еврейской диаспоры. Там, в частности, выставлены макеты еврейских синагог в разных странах мира. Разглядывая их, можно удивляться их несходству, тому, как отличается бревенчатая литовская синагога от классической пагоды китайских евреев. Возвратившись на «Землю обетованную», беглецы принесли сюда с собой обычаи и привычки всех народов, среди которых они жили веками. Отсюда бесконечное разнообразие облика городков и поселков на небольшой территории Израиля, уже упомянутое мной.

Многообразие и бесконечность этого удивительного микроконтинента, столь отличного от других стран, подчеркивается прежде всего сердцем его — Иерусалимом, где сразу, независимо от конфессионной принадлежности, любой человек физически ощущает, что находится в центре Вселенной, в Святой Земле. Как получилось так, что начала и главные святыни трех основных человеческих религий сосредоточились на этой крохотной территории, где рядом со «Стеной плача» у руин разрушенного Храма с одной стороны Голгофа и Гроб Господень, а с другой — золотой купол мечети над гробницей Омара? Здесь поневоле убеждаешься в удивительном триединстве человеческой истории и культуры.

Своеобразие Израиля, его островная эндемичность, не только в ландшафтах, неповторимом концентрате раритетов и святынь человечества. Это еще и удивительная, непривычная для нашего менталитета атмосфера доброжелательства. Услышав русскую речь, в автобусе или на улице, прохожие запросто обращаются к вам с вопросами: «Давно приехали? А как с работой, уже устроились? Как это в гости? Вы что, всерьез собираетесь

возвращаться туда? Это же безумие! Хаим, объясни нм, что они самоубийцы. Конечно, трудно, конечно, чужой язык, но ведь здесь можно жить». И все это несмотря на нехватку рабочих мест и жилья, на растущую конкуренцию и недостаток средств.

Весьма характерная в этом отношении история произошла в Иерусалиме. Игорь Губерман вез меня куда-то на своей машине японской марки «Daihatsu». («Имей в виду, — шутил он, — машина у меня с типично еврейским названием: Дай Кацу!») На одном из перекрестков он посадил «голосовавшего» молоденького солдата, видимо, добиравшегося домой на «шабат». Подхватив свой вещмешок и автомат «Узи», солдатик расположился на заднем сиденье, а мы с Игорем продолжили прерванный разговор. «Извините, — обратился Игорь к пареньку на иврите, — мы с другом будем говорить по-русски, потому что он не знает иврита». Солдат кивнул, однако через некоторое время начал задавать Игорю вопросы, в которых, как я понял, речь шла обо мне.

Разговор, судя по тону, явно обострялся. Игорь пытался что-то объяснить пареньку, а тот отказывался понимать. Наконец солдат сказал Игорю что-то откровенно резкое, и Игорь неожиданно начал хохотать так громко, что чуть не выпустил из рук руль. «Ты что, с ума сошел? — буркнул я. — Что случилось?» «Погоди, я тебе объясню, — ответил Игорь, утирая слезу. — Он, видишь ли, спросил меня, олим ли ты, а я сказал, что нет, ты турист. Тогда он спросил меня, почему я не сделал тебе вызов насовсем. Я ответил, что ты не хочешь, что есть много проблем. Тогда он спросил, правда ли, что я твой друг. Я сказал, что правда. Тогда он снова спросил, неужели могут быть проблемы, которые мешают спасти друга. Я пытался ему что-то объяснить, а он в ответ на это заявил, что никакой я тебе не друг, что я плохой еврей. Я должен немедленно остановить машину, и он сам напишет тебе вызов».

Новый тип отношений между людьми безусловно оказывает влияние на упорное нежелание правительства и кнесетта вводить смертную казнь даже для террористов, убивающих женщин и детей. Об этом прекрасно осведомлены арабские террористы из «Хамаза» и других бандитских организаций, которые хладнокровно режут детей, женщин и стариков, сознавая свою безнаказанность. Введения смертной казни требуют в основном выходцы из России, но дух ненависти, столь характерный для нашей распавшейся державы, еще не возобладал в маленькой окруженной врагами стране. Хотелось бы надеяться, что и не возобладает.

Удивительны для «совков» и порядки в израильской армии,

где нет, например, приказа «Вперед». Есть только приказ «За мной». Командир не может послать солдата перед собой на смерть, он должен идти первым. Неразумно? Конечно, неразумно, — в Израиле в войнах гибнет больше всего младших офицеров. Однако солдат знает, что командир никогда его не подставит, и верит ему. Или другой пункт устава, — если ты окружен и находишься в безвыходном положении, то должен сдаться в плен. В плену же, если тебе угрожают пытками или смертью, немедленно выдавай все известные тебе военные тайны. Помни, что самое дорогое — жизнь. Чудовищно, на наш взгляд, не правда ли? А как же наши герои-мученики, брошенные Сталиным на произвол судьбы? А Гастелло и Матросов? А те сотни рядовых, которых по приказу посылали вперед на минные поля, чтобы расчистить дорогу танкам?

И еще один непонятный нам пункт устава для полевого командира: ни при каких обстоятельствах нельзя бросать раненых. Если на территории, захваченной или обстреливаемой противником, остался хотя бы один раненый и командир роты понимает, что вызволить его можно, только положив две трети роты, он обязан это сделать. Глупо? Уж, конечно, глупо, — у нас бы так никогда не поступили. Зато каждый солдат уверен, что его никогда не бросят, что бы с ним ни случилось, что вся страна в трудный час придет к нему на помощь, как и он к ней. Может быть, поэтому армия здесь действительно народная, и к солдатам все относятся как к собственным детям.

Служба в армии в Израиле, в отличие от нас, считается почетной. На особо опасные военные специальности — летчики, танкисты, десантники, — большой конкурс и тщательный отбор. Вспоминаю разговор с тем же Игорем, сын которого Миля в 91-м году достиг призывного возраста. «Знаешь, — делился со мной своими тревогами Игорь, — Милька такой рослый и здоровый, что ему могут предложить служить в «коммандос» (специальные подразделения для особо опасных десантных операций. — А.Г.). Мы с Татой очень переживаем». «Зря переживаете, — успокоил я его, — ты разве не знаешь, что для единственного сына в семье в таком случае нужно согласие родителей?» — «Да, знаю, конечно, ну и что из этого? Неужели ты всерьез полагаешь, что я могу не дать согласия? Это же позор. Как я буду соседям в глаза смотреть?»

В израильской армии воинская повинность распространяется не только на юношей, но и на девушек. Последние, впрочем, идут в армию весьма охотно, поскольку сразу после службы, как правило, выходят замуж. Не служат в армии только религиозные ортодоксы, которые вообще не признают государства Израиль, так

как, по их вероучению, государство это может создать только мессия, а его приход еще не настал. Но это нисколько не мешает им принимать от не признаваемого ими государства разного рода блага и привилегии.

Поражает израильская армия не только необычными правилами ее устава, но и внешним видом солдат. Постоянно перемещаясь по стране рейсовыми автобусами, я поначалу удивлялся тому, что в конце недели они буквально набиты юношами и девушками в военной форме и с оружием. При этом, несмотря на обязательное наличие у каждого солдата автомата или скорострельной винтовки, внешний вид их не только не казался устрашающим, но наоборот — вызывал сочувствие и жалость. Прежде всего полное отсутствие облика бравых вояк, что привело бы в священное негодование любого нашего сержанта. Форма на всех мятая и заношенная, сапоги не чищены, худые впалые щеки мальчишек заросли щетиной, да у половины еще и кипа на голове. Рядом с автоматом почти всегда битком набитый вещмешок (позже мне объяснили, что солдаты едут домой на «шабат» и везут в вещмешках вещи в стирку). Помимо неказистого внешнего облика я удивлялся постоянному усталому виду солдат, — стоило им сесть в автобус, они тут же засыпали.

Спит солдат по соседству — ни выправки нету, ни стати.
Замусолена куртка, прикрыла затылок кипа.
Не увидишь такого, пожалуй, у нас и в стройбате.
Спит усталый солдат, и судьба его дремлет, слепа.

Кто сегодня предскажет, что может назавтра случиться
С этим мальчиком спящим, что так на бойца не похож?
Может, будущей ночью воткнется ему под ключицу
Мусульманский кривой, для убийства наточенный нож?

Тонкошеий, небритый, с загаром спаленною кожей.
Автоматный ремень в полудетском его кулаке.
Я не знаю иврита, он русского тоже, и все же
Как нетрудно мне с ним говорить на одном языке!

Почему так легко понимать мне его? Потому ли,
Что в тылу он не станет искать безопасных путей?
Что меня не сразит центробежною смертною пулей?
Что саперной лопаткой моих не порубит детей?

Мчит автобус ночной по дороге меж горных селений,
И во сне улыбаясь звезды заоконной лучу.

Спит солдат на сиденье, усталые сдвинув колени,
Автомат, словно скрипку, прижав подбородком к плечу.

Только позднее, познакомившись с армейской учебной программой «курса молодого бойца», я перестал удивляться их изнуренному виду. Армия здесь не для парадов или устрашения безоружных, а для реальной обороны и защиты от агрессии. Служат в ней, кстати, не только евреи, но и другие граждане Израиля. В долине Израэль, например, мне показывали деревни друзов, которые тоже служат в армии, а неподалеку от Иерусалима — поселения выходцев из Сибири: старые российские семьи Карякиных и Дубровиных еще в начале века приняли иудаизм и переселились сюда. Армия поэтому здесь во многом интернациональная и начисто лишена дедовщины и расизма.

Кстати сказать, хотя солдаты по уставу никогда не расстаются с оружием, еще практически ни разу не было какой-нибудь пальбы «по пьянке» или подобных инцидентов. Солдат обучают выживанию в пустыне, плаванию под водой с тростинкой, бесшумному передвижению. Результаты воин при соотношении численности населения Израиля и его противников говорят сами за себя.

На берегу Мертвого моря над высоким неприступным скальным обрывом белеют руины древней израильской крепости Масада. Туристов сюда доставляют по подвесной канатной дороге. Эту крепость более двух тысяч лет назад, во время несчастной Иудейской войны, когда вся Иудея уже лежала в развалинах и сгорел Второй храм, разрушенный римлянами, восемьсот ее защитников более двух лет обороняли от обложивших ее со всех сторон римлян, с негодованием отвергая все предложения о сдаче. Когда кончились все запасы и осаждающим удалось лишить крепость воды, ее защитники, убив своих жен и детей, по очереди затем умертвили друг друга, предпочтя смерть позорному плену. На это место теперь привозят новобранцев принимать присягу.

Отношение к солдатам вполне отражается в истории, которая случилась во время моего первого приезда в Израиль. Группа арабских террористов захватила в заложники трех израильских солдат и потребовала в обмен на них выпустить из израильских тюрем триста заключенных террористов, — по сто человек за каждого солдата. Премьер-министр согласился, что и послужило поводом для скандального разбирательства в кнессете. Отвечая на справедливые обвинения оппозиции, Шамир сказал: «Да, вы совершенно правы, условия обмена крайне невыгодные. Но ко

мне пришли три матери, и я просто не мог смотреть им в глаза». Так сказал лидер правых, сам прославившийся когда-то участием в дерзких террористических операциях во время войны за независимость.

На самом деле оппозиция права, — ничего хорошего в таком обмене нет, система обмена заложников вдохновляет террористов на новые акции. При этом страдают не только евреи, но и живущие в Израиле арабы, которым экстремисты, засланные извне, обученные в СССР или в арабских странах соответствующими спецслужбами, не дают спокойно жить и работать, хотя уровень жизни арабов в Израиле гораздо выше, чем в сопредельных странах.

В нашей печати до сих пор обходится упорным молчанием тот жесточайший террор, которому подвергают боевики «Хамаза» и других террористических организаций своих живущих в Израиле соплеменников за отказ участвовать в интифаде. Вырезаются целые семьи, как это принято на Востоке. После такой наглядной агитации соседи или родственники пострадавших уже согласны на все. Такую же ситуацию я видел в 82-м году на Кипре. Накануне подписания очередного соглашения о мире и согласии между греческими и турецкими киприотами из Турции срочно прибывали «активисты», начиналась резня среди турецкого (прежде всего) населения, и статус-кво сохранялось, несмотря на многолетние усилия высоких международных организаций.

Что же касается российской печати, то в первый мой приезд, в 90-м году, она еще следовала привычным курсом клеветнической лжи в адрес Израиля, унаследованным от сталинско-брежневской эпохи. Уже возвращаясь в Москву в декабре, я открыл в самолете свежий номер «Правды» и прочел сообщение под заголовком «Очередная расправа израильских оккупантов»: «По решению израильского суда трое юношей из сектора Газа приговорены к пожизненному тюремному заключению за подрывную деятельность. Решение это вызвало протест общественности».

А на деле было вот как. Три арабских террориста, вооруженные ножами, вошли в утренний час в рейсовый автобус неподалеку от Тель-Авива и хладнокровно начали резать детей и женщин. Погибли трое детей и беременная женщина, ранены еще трое. Остановил эту резню водитель, у которого оказался пистолет. Он разоружил бандитов и сдал их полицейскому патрулю. Вместо казни суд приговорил убийц к тюремному заключению, что и вызвало «протест общественности», требовавшей смерти для убийц, но таковы уж законы Израиля.

Кстати, именно этим мифам, создаваемым многолетними усилиями нашей советской печати, я обязан некоторой неожиданностью первого впечатления от реального Израиля. Мое поколение до сих пор недооценивает смертельную силу того яда замедленного действия, которое ему вливали в сознание десятилетиями. К тому же до этого почти за тридцать лет плаваний и поездок я побывал в самых разных странах, и «заграницей» с ее роскошным на наш взгляд сервисом и магазинами меня не удивишь. Поэтому до первой поездки мне была совершенно непонятна та эйфория, в которую впадали именно после поездки в Израиль Булат Окуджава, Юлий Ким и многие другие деятели нашей культуры, также вполне искушенные заграницей. Все они до Израиля тоже побывали в более богатых странах, так что это не шок от прилавков.

Первый миф — это уже упомянутый плод усилий нашей официальной пропаганды, изображавшей государство Израиль этаким лагерем сионистских бандитов и захватчиков, занятых исключительно угнетением и истреблением арабов, а в свободное от этого время — подготовкой к завоеванию и порабощению мира. А второй, тоже не без участия нашей славной прессы, — что Израиль, дескать, это захолустное провинциальное государство, огромное местечко, где все — бездуховные мещане и обыватели касриловского типа, а всемогущие религиозники заставляют всех надевать кипу и выполнять другие бессмысленные ветхозаветные обеты. Даже название уничижительное придумали: «Израиловка». Оказалось, что Израиль — демократическое и вполне современное государство, которое в условиях сложнейших проблем — военных, экономических, политических, старается ни на шаг не отступать от принципов нравственности и демократии.

С религиозниками дело обстоит сложнее. В Израиле существуют две основные противоборствующие политические силы — блок умеренно правых партий Ликуд и блок Маарах, объединяющий левую рабочую партию Авада и ее союзников. Каждая из этих партий имеет в кнессете чуть менее половины голосов. Остальные несколько процентов приходятся на долю религиозных организаций. Получается — кого они поддержат, тот и получит необходимый перевес при голосовании. Поэтому с религиозниками заигрывают и правые, и левые, — каждое правительство старается перетянуть их на свою сторону, и они довольно ловко этим пользуются.

Как раз в ноябре 90-го года кнессет, под давлением ортодоксальных сторонников иудаизма, принял закон, запрещающий продажу свинины. Закон, мягко говоря, мало разумный, особенно в условиях притока малоимущих эмигрантов

и связанных с этим проблем. На следующий день после публикации этого закона в газетах мой приятель, живущий в Тель-Авиве, спросил у продавца в мясной лавке: «Что, теперь не будет в продаже свинины?» «О чем вы говорите? — удивился тот. — Мы, слава Богу, живем в свободной стране! Просто она станет на пару шекелей дороже».

В Израиле я встретился со своим давним приятелем по Питеру Сашей Радовским, который живет теперь в Хайфе и работает в «Технионе». Не виделись мы много лет. В свое время, еще в Ленинграде, Саша неожиданно для всех своих друзей вдруг крестился и стал истовым христианином. Теперь же он, как оказалось, вернулся к «истинной вере» и с тем же энтузиазмом истово выполняет все сложные ежеминутные предначертания иудаизма. В первый же вечер он с восторгом и убежденностью неофита решил и меня обратить в истинную веру с помощью страстной проповеди, подкрепленной бутылкой израильской водки «Стопка». «Ведь ты океанолог, — говорил он мне, — ты погружался на большие глубины в океане. Почему ты не хочешь познать самые большие глубины духа?»

Агрессивность ортодоксов проявляется не только в самом Израиле, но и в диаспоре. Несколько лет назад в Москве мне довелось принять участие в Первом конгрессе русских евреев, проходившем в гостинице «Редиссон-Славянская». Не успел я войти в вестибюль, как ко мне подскочили шустрые молодые люди и, спросив меня, евреи ли я, после утвердительного ответа начали энергично надевать на меня «тфили» (одна из религиозных молитвенных принадлежностей). Когда я стал протестовать, они тут же принялись укорять меня, что я якобы «отрекаюсь от еврейства, поскольку не уважаю религиозные обряды». Все мои робкие попытки объяснить им, что национальная принадлежность это одно, а религия — другое, успеха не имели.

Да и на самом конгрессе бросалось в глаза явное преобладание раввинов, особенно среди державших речи. У неопытных русских евреев складывалось впечатление, что еврейство и иудаизм — одно и то же, и что путь к культуре родного народа лежит только через религию. Это опасное заблуждение ловко используется организаторами разного рода религиозных школ в Москве, соблазняющих детей и родителей широкой учебной программой и экономическими благами. На деле же это приводит к необратимому вовлечению детей в религиозный фанатизм и отторжению их от родителей.

На этом конгрессе я был поначалу введен в состав комиссии по культуре, но после моего интервью для радио и телевидения,

где я попытался протестовать против засилья религиозников, меня из культкомиссии тут же вывели.

А вот чем Израиль действительно отличается от всех виденных ранее стран, в том числе и более богатых, так это тем, что несмотря на безработицу, постоянную угрозу терактов, нехватку жилья и другие проблемы, он выглядит страной счастливых людей. И еще — это, пожалуй, единственное место в мире, где не чувствуешь себя за рубежом, поскольку каждый третий (а возможно, и второй) говорит по-русски. Этакий аксеновский остров Крым.

Недаром переехавший недавно в Израиль Юлий Ким написал такие строчки на мотив известной песни:

> С гулькин нос страна моя родная.
> Мало в ней лесов, полей и рек.
> Я другой такой страны не знаю,
> Где так счастлив русский человек.

Кстати, знаменитая советская ментальность, надолго пережившая Советский Союз, до сих пор весьма ощутима и в израильском обществе. Возможно, это связано с русской эмиграцией. Здесь, как нигде, считаются с мнением «общественности», да и сам интерес к общественной жизни крайне высок. Я практически ощутил это на себе во время моего второго посещения Израиля в 1992 году, когда ездил с выступлениями по стране в самый разгар муниципальных выборов.

Поскольку залы, в которых я должен был выступать в каждом городе, предоставляли обычно городская администрация или профсоюзы, то они решили использовать мои концерты для предвыборной агитации, благо народу на них собиралось много. Каждый раз перед концертом на сцену поднимался улыбающийся кандидат в мэры от одной из соперничающих партий, говорил о том, как он ценит меня, с трудом читая мое имя, впервые им услышанное, по бумажке, и затем по-русски или на иврите минимум полчаса яростно агитировал собравшихся голосовать за него и за его партию. Так как иврита я не знал, то не всегда понимал, кто из них от какой партии. Как мне потом объяснили, я трижды невольно поддерживал кандидата от Авады и дважды от Ликуда. Что же касается содержания речей, то, насколько я мог судить, они были совершенно советскими по форме и существу и содержали такие же безответственные обещания, как предвыборные речи наших кандидатов в Думу.

В целом же в Израиле весьма популярны идеи социализма,

реализовавшиеся в кибуцах, где иногда, как мне говорили, можно встретить даже портреты усатого «Вождя всех народов». В этом тоже — немалая родственная связь с Россией. Думается, не случайно идеи коммунизма зародились в еврейской среде, а идеи сионизма — в России.

Замечательный израильский поэт Иегуда Амихай, принимавший участие в войне за независимость 1948 года, рассказал как-то историю, как после очередной захлебнувшейся атаки вскочил, подняв знамя, «русский» майор, из поверженного Берлина через всю Европу добравшийся до Эрец-Исраэль. Он повернулся к бойцам, взмахнул флагом и на чистом русском языке (иврита он не знал) закричал: «За Родину, за Сталина!» И рванулся в атаку. Так была взята Беер-Шева.

Еще одна черта местной жизни, — чудовищный бюрократизм чиновников, сильно смахивающий на советский, который быстро излечивает от радостной эйфории всех, кто с ним сталкивается, в первую очередь — вновь приехавших.

Ну а приезжающих на гастроли из России артистов и авторов быстро избавляет от эйфории шустрое племя менеджеров, в розлив торгующих здесь российским искусством вперемежку с другими ходкими товарами и стремящихся на каждом шагу обмануть и обобрать. Довелось с ними столкнуться и мне. Одни, обманывая, скандалят и даже угрожают (Булат Окуджава рассказывал, что его менеджеры, с которыми у него возник конфликт, угрожали ему пистолетом), другие льстят и заискивают, но надувают почти все.

Все это, однако — мусор, плавающий, как ему и положено, на поверхности.

Если вспомнить, что Израиль — страна эмигрантов, вполне можно оценить, как много сделано за сорок лет сто существования, да еще во враждебном окружении, на пустом месте. На пустом — в буквальном смысле, поскольку вокруг лежит пустыня, и все деревья которые там сегодня растут, не только сады и плантации, но и леса, все это посажено, — от стройных кедров и эвкалиптов до пальмовых рощ.

Заселявшие эти земли в течение многих веков арабы, будучи скотоводами, о деревьях не заботились. По их мнению, если дерево не приносит плодов, оно должно быть срублено. И сейчас, когда едешь по стране, глаз безошибочно различает голую выжженную пустошь вокруг арабских деревушек и густую обильную зелень в Местах израильских поселений.

У израильтян все время находится повод для посадки деревьев: по дереву за каждого еврея, погибшего при Холокосте (так в Израиле называют массовое уничтожение евреев

гитлеровцами в годы Второй мировой войны), по дереву за каждого еврея, живущего в диаспоре, по три за каждую жертву террористов. Выжженные беспощадным солнцем библейские пустыни на тазах превращаются в сад.

И это при том, что в стране, где нет больших рек, постоянно возникают трудности с водой для орошения. В октябре и ноябре, когда мы были там, более месяца не выпадали дожди, и уровень озера Кинерет, откуда черпает воду весь Израиль, упал необычно низко.

Система орошения поэтому устроена так, чтобы ни одна капля воды не пропала даром, ни одна — буквально: на каждой банановой пальме стоит компьютерное устройство, управляющее капельным орошением. В кибуце неподалеку от реки Иордан, кстати, узкой и грязной, нам показывали цех по изготовлению этих компьютеров, которые поставляются во многие страны мира. В результате в Израиле — в условиях пустыни — чуть ли не самая высокая в мире продуктивность сельского хозяйства.

Пожалуй, главная проблема здесь — безработица, особенно в последнее время, когда в эту маленькую страну хлынул поток эмигрантов, в первую очередь из России. Но и устроившись на работу, советскому человеку не так-то просто на ней удержаться. Вот приезжает в Израиль российский еврей, языка он не знает, специальность у него такая, которая никому не нужна. Куда он пойдет? Разве что на стройку простым рабочим. Там обычно на самой неквалифицированной и низкооплачиваемой работе трудятся арабы, но предприниматель с радостью увольняет араба и берет «русского». Во-первых, он сам еврей и рад помочь «олиму» (так в Израиле называют недавно приехавших), во-вторых, араба он побаивается, в-третьих — «русскому» можно платить еще меньше, чем арабу, — для нищего эмигранта и это деньги.

Но дня через два-три хозяин вынужден увольнять «русского» и снова нанимать того же араба. Араб, конечно, может его неожиданно зарезать, зато он работает безотказно с семи утра до трех-четырех часов дня без перекуров и отдыха. Все израильтяне работают в таком режиме — не просто присутствуют на работе, а вкалывают так, как мы уже просто не в состоянии. При этом совершенно неважно таскаешь ты кирпичи на стройке или сидишь за компьютером в фирме — все рабочее время тратится только на работу — лишний раз покурить не выйдешь. И нет вроде бы никакого цербера, который фиксировал бы твои перекуры, а вот не выйдешь и все!

Помню, особенно это меня удивило в Тель-Авивском университете, где мне довелось читать лекции по геофизике океанского дна. Меня поразила абсолютная тишина в

немноголюдных рабочих кабинетах, где все сосредоточенно склонились над компьютерами. Никакой толкотни в курилках или столовой, никаких собраний в рабочее время, и самое главное — никто не топчется в коридоре у кабинета начальства, чтобы подписать какую-нибудь нужную бумагу.

Мой друг профессор математики Виктор Браиловский, возглавлявший в свое время в СССР самиздатовский журнал «Евреи в СССР» и отсидевший за это срок в лагерях, который даже под постоянной слежкой КГБ ухитрялся в Москве у себя на квартире проводить научные семинары, с утра садится в своем кабинете за компьютер и отрывается только на лекции. Понаблюдав за ним пару дней, я окончательно понял, что в таком режиме работать бы не смог. Так что нашему человеку везде тяжело. Кстати, все научные доклады и их обсуждение ведутся только на английском языке. Забавно, что после моего доклада, на котором почти все присутствующие, приехавшие из бывшего Союза, прекрасно понимали по-русски, все старательно начали говорить по-английски.

Приезжая, эмигранты селятся большей частью среди своих приехавших ранее земляков, и в результате складываются целые кварталы и даже города, напоминающие о странах, из которых прибыли их обитатели. Отсюда уже упомянутое разнообразие облика людей и улиц, культуры и жизненных укладов. На этой крошечной территории снова моделируются, развиваются и мирно сосуществуют самые разные стили жизни.

Это впечатление мира в миниатюре, средоточия всех человеческих культур, усиливается еще больше при обращении к израильским древностям. Словно вся мировая история, все религии и культуры начались отсюда и потом, век за веком, снова встречались и переплетались здесь.

Вот, например, знаменитая Стена Плача в Иерусалиме — «Котель», как его называют, — подлинная стена Второго храма, построенного после возвращения евреев из вавилонского плена и разрушенного римлянами. Рядом с ней — мечеть, возведенная над гробницей Омара — одной из главных мусульманских святынь. Неподалеку — могила знаменитого царя Давида (у арабов Дауда), которого почитают все — и евреи, и христиане, и мусульмане. Над ней, на втором этаже — помещение, где происходила Тайная вечеря.

Иисус собрал своих учеников в субботу, да еще в праздничную, не где-нибудь, а именно здесь — над могилой святого праотца. Рядом дворик, где Иисуса бичевали, надели на него терновый венец, и прямо от этого дворика — крестный путь на Голгофу, где одна на другой лепятся церкви всех христианских

конфессий — поближе к Гробу Господню.

А на противоположном склоне — уже за стенами Старого города, поставленными в XVI веке Сулейманом Великолепным, — храм над могилой Богоматери и напротив него храм Марии Магдалины, стоящий в Гефсиманском саду, где легионеры арестовали Христа и где сразу вспоминается «Моление о чаше». В самом храме хранятся мощи причисленной к лику святых мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны, вдовы Великого князя Сергея Александровича, разорванного в Москве на куски бомбой Каляева. Большевики в 18-м году, изводя под корень царскую семью, сбросили Елизавету Федоровну в Алапаевске в шурф шахты. Так наша трагическая история переплетается здесь с мировой.

Всего несколько остановок автобуса отделяет это место от шотландского монастыря, где похоронено львиное сердце короля Ричарда. А другой вождь крестоносцев — Готфрид Бульонский, конная статуя которого красуется на площади Брюсселя, похоронен прямо под ступенькой лестницы, ведущей в храм Гроба Господня. Еще дальше — монастырь Креста, основанный Шота Руставели, который прожил в нем свои последние годы. Называется он так потому, что поставлен на месте, где срублено было дерево, пошедшее на крест для распятия. А вот и портрет великого автора «Витязя в тигровой шкуре», приписанный им снизу к одной из икон, нм же написанных.

Так что недаром Палестину называют Святой Землей. Древнееврейские, христианские, эллинские, римские, мусульманские древности, вся мировая история вплоть до Бонапарта с его полулегендарными деяниями в Яффе и Акка, завязались здесь когда-то в единый узел, наглядно воплощая физическую модель расширяющейся Вселенной. Одна эпоха сменяется другой, но все связано. Весь Иерусалим выстроен из бело-розового камня, — и стена Второго Храма, и римские и эллинские храмы, и мечети, и городская стена, воздвигнутая Сулейманом Великолепным, и современные кварталы. (Последнее обстоятельство связано с тем, что во времена английского владычества уже после Второй мировой войны, англичане разрешали ставить здесь дома только из этого камня.) Вот она — истинная колыбель человечества, формой своей напоминающая ковчег.

Древняя культура на этой земле причудливо переплетается с современной. Израиль — страна художников. Иудейская религия запрещает создавать изображения людей и животных (это позволительно только Богу), поэтому в современной живописи и скульптуре преобладает абстрактный стиль. Пожалуй, ни в одной

стране мира не видел я такого количества выставок, вернисажей, садовых скульптур, зданий и разного рода сооружений, украшенных фресками и живописью.

Здесь в Иерусалиме уже много лет живет замечательный художник Лев Сыркин. С ним и его женой Лорой, родной сестрой поэтессы Елены Иоффе, вместе с которой я занимался когда-то в литературной студии Дворца пионеров в Ленинграде, нас связывает многолетняя дружба. Сама Лена тоже живет в Израиле довольно давно, выпустила несколько поэтических книг, обзавелась детьми и внуками. Помню, в первый свой приезд в ноябре 90-го года я позвонил ей по найденному мной телефону и радостно закричал в трубку: «Ленка, привет! Ты помнишь, как мы с тобой целовались в параднике в сорок седьмом году?» «Ты, что, с ума сошел? — возмущенно ответила она. — Там же рядом твоя жена!».

Семья Сыркиных выезжала из Москвы в 72-м, когда Лев Сыркин был уже известным художником-монументалистом, одним из авторов мозаики киноконцертного зала «Октябрь» на Новом Арбате. Выезжали трудно, с тремя маленькими детьми, полностью пройдя через чистилище унижений и препон, создаваемых тогда властями. У Льва вышла сейчас в Израиле книжка воспоминаний на русском языке, посвященная этой горестной эпопее с публичным исключением из Союза художников и другими мытарствами. Книга называется: «Я вам не должен». Первые годы в Израиле им пришлось нелегко. Когда Лева посетовал на трудную жизнь одному из наших общих приятелей Саше Радовскому, уже обустроившемуся в Хайфе, тот пожал плечами: «Настоящий художник должен жить среди трудностей».

Сейчас Лев Сыркин — один из ведущих художников Израиля, человек, уважаемый всей страной и пользующийся широким международным признанием. Он — член Итальянской Академии художеств. В 1998 году он был объявлен «Человеком года». Он получает многочисленные заказы от государства и частных фирм. Мы видели его превосходные мозаики и смелые скульптурные композиции в Иерусалиме и других городах. Мне особенно понравились мозаики на химическом заводе, стоящем на Мертвом море. На этом заводе производят поташ, используя в качестве сырья супер-соленую мертвоморскую воду. На завод мы ездили вместе с автором на специальную экскурсию. Здесь находятся две огромных мозаики Сыркина. Одна украшает стену в гигантском зале, где размещается заводская столовая.

Нельзя попутно не отметить, что этот химический завод поражает не только мозаиками и панно, которые у нас украшали

бы стены правительственных резиденций или музеев, но и оранжереями, чистым воздухом, обилием фонтанов и стерильной чистотой внутри и снаружи, в том числе, конечно, и в празднично убранной столовой, где питаются все вместе — от директора до разнорабочего. Различить их, кстати, нелегко, поскольку все одеты в одинаковую синюю униформу. Вторая мозаика занимает стену первого этажа в здании, где размещается заводоуправление. Я помню, уже настало время уезжать, а Лева все стоял, обернувшись от входных дверей, и смотрел на свое детище, освещенное багровыми лучами заходящего солнца.

В северном Израиле, неподалеку от Хайфы, есть живописный поселок Эн-Хот. Там живут и работают несколько десятков художников, в том числе мой старый знакомец по Питеру Евгений Абезгауз. Этакий постоянный Дом творчества.

В целом же творческая судьба художников в Израиле складывается по-разному. Говорят, что их там слишком много. Так, один из моих давних приятелей по Питеру, замечательный художник, неоднократно подвергавшийся непризнанию и гонениям в 70-е годы в СССР, приехав в Израиль, долгое время не мог начать зарабатывать на жизнь и выставлять свои работы. Семью, однако, надо было кормить. Тогда он решился на отчаянный шаг. Кто-то из приятелей сказал ему, что в биологическом институте в Тель-Авиве принимают мужскую сперму и платят за порцию 50 долларов. Наш герой тут же поехал в институт и занял очередь. Но поскольку ждать пришлось долго, он решил пока зайти к своему приятелю, жившему напротив. Услышав его историю, приятель налил ему полстакана водки и заставил выпить. Потом достал из кармана 50 долларов и положил на стол. «Бери, — сказал он, — и уходи отсюда. Чтобы я тебя в этой очереди больше не видел». «Ну зачем же? — заартачился художник. — Я хочу честно заработать свои деньги». — «Близко не подходи туда, — ты же после этого станешь импотентом». — «Почему?» — «Каждый раз будешь думать: «Опять пропадают пятьдесят долларов!»»

Через некоторое время дела у художника пошли в гору. Его начали выставлять. Однажды он вернулся в праздничном настроении с какого-то вернисажа, где хвалили его картины, и радостно заявил своей русской жене: «Вот, Вера, кто я был в России? А здесь я вхожу в первую пятерку художников Израиля». На что жена скептически ответила: «Ты бы еще в Люксембург переехал».

Сложнее обстоит дело с русской литературой и русскоязычным театром. В Израиле живет немало русских поэтов и прозаиков — Дина Рубина, Елена Аксельрод, Игорь Губерман,

Михаил Генделев, Рина Левинзон, Вадим Халупович, Ася Векслер, Борис Камянов, Александр Бараш и многие другие. Кроме того, в Израиле существует первоклассная литература на иврите. А вот вся русскоязычная пресса, включая и литературные журналы, за редким исключением (журнал «22», например), как правило, второго сорта. Тем не менее в Израиле существует союз русскоязычных писателей, членство в котором дает автору право на издание одной книжки бесплатно.

Почему же возникают проблемы в этой стране с русской литературой? Возможно, дело, в частности, в том, что русскоязычная читательская аудитория здесь не слишком велика и со временем уменьшается, поскольку во всех семьях эмигрантов дети активно изучают иврит и быстро отвыкают от русского языка. Да и взрослые стараются как можно быстрее интегрироваться в новую среду обитания, где русский язык чаще всего только мешает.

Даже приехавшие недавно олимы думают больше о будущем, а не о прошлом, учат иврит и стараются поменьше оглядываться назад. Та, казалось бы, обширная русская языковая среда, которая возникла в стране в последнее время в связи с массовым исходом из бывшего СССР, с течением времени неумолимо мелеет и высыхает по мере ухода старших и адаптации младших. Может быть, именно поэтому в стихах русскоязычных израильских поэтов ощущаются растущая камерность и отсутствие воздуха русского языка, которым мы дышим в России, не задумываясь о его ценности, как человек дышит, не замечая этого, пока вдруг не ощущает нехватку воздуха. В Израиле же поэты обречены на известную языковую изоляцию, что, впрочем, не мешает их самодостаточности и довольно сложным взаимоотношениям.

Тем не менее хороших русскоязычных поэтов в Израиле немало. В 1993 году Зиновий Гердт, с которым мне посчастливилось провести там около месяца, познакомил меня с поэтессой Сарой Погреб, живущей в Ариэле. Интересно и новое поколение — Александр Валовик, уже упомянутый Александр Бараш и другие. Обращает на себя внимание, что некоторые поэты, ощущая узость русскоязычной среды обитания только в печатном слове, начали писать песни. Михаил Генделев, например, который еще в родном Питере написал превосходную песню «Ностальгия», теперь, уже вполне став израильским классиком, снова начал писать песни, и в последнюю нашу встречу в 97-м году показал мне целый цикл.

Хотелось бы отдельно остановиться на талантливом поэте и барде Александре Алоне, прожившем недолгую, но героическую жизнь. Он родился в Москве в 1953 году, поступил после школы в

институт, но уже в восемнадцать лет уехал в Израиль, сменив свою фамилию Дубовской на Алон (алон на иврите — дуб). Здесь он окончил морское училище, стал офицером, до 76-го года служил на флоте, воевал, защищая свою страну, получил боевые награды. Он был настоящим романтиком. Может быть, именно поэтому мне так близки его стихи и песни. За свою короткую жизнь он объехал почти весь земной шар, побывал в Бирме, Корее, Японии, Австралии, Непале, Индии, Европе, Мексике, Латинской Америке. Он был моряком и воином, но прежде всего он был поэтом.

Едким пороховым дымом и копотью солярки пахнет его «Песня о танкистах», написанная на поле боя:

Мы на той высоте, мы на том рубеже, на который
Дня и ночи границу продвинули в беге своем.
Танки, те, что дошли, в темноте заглушают моторы.
Ну, а те, что горят, освещают за нами подъем.
Мы не все поднялись. Это значит — расскажет не каждый.
Каково на войне атакующей первой волне.
Эту кручу в огне штурмовали мы с вечера дважды.
И хватили вполне, и за все заплатили вдвойне.
Вместе с теми, кто был, я мечтал о вершине об этой.
Вместо тех, кого нет, я ладонью здесь слезы утру.
Это тяжко всегда, но оправдано только победой.
Это ясно, как кровь, что мерцает росой поутру.

Александр Алон погиб не на войне. Он погиб в 1985 году в гостях, в столь, казалось бы, благополучной Америке, в Нью-Йорке, защищая дом, в котором он жил, от ворвавшихся туда ночью вооруженных грабителей. Вот что написал об этом Игорь Губерман в предисловии к книге стихов и песен Александра Алона «Голос»: «В таких случаях американцы поступают разумно — и покорно ложатся на пол, отдавая дом в распоряжение насильников. Саша Алон вести себя разумно (то есть покорно) не захотел или счел недостойным (не случайно есть у него стихи об этом — поэты часто предвидят свою судьбу). И был убит. Смерть нелепая и бессмысленная для любого случайного человека. Смерть естественная и полная смысла — для русского поэта и солдата армии Израиля».

Что же касается отношения к русскоязычной культуре, то, несмотря на декларирование демократии и большое число русскоязычных изданий, в целом оно довольно сдержанное. Более того, ревнители «истинно еврейского духа», весьма

напоминающие наших ревнителей «русского духа» типа Проханова, Кунаева и Владимира Бондаренко, время от времени выступают в печати с заявлениями, что «русскоязычное вторжение представляет собой угрозу многовековой еврейской культуре». Читаешь такое, и кажется, что у тебя в руках очередной номер газеты «Завтра» или «Русский порядок», только в типографии слово «русский» заменяется на «еврейский» или наоборот. Дело доходило до того, что в 1991 году мэр Тель-Авива запретил выступления переехавшего туда Евгения Клячкина, как «не соответствующие еврейскому духу».

Тлетворным духом противопоставления еврейской и русской культур отдавало и от многих статей профессора Агурского, публиковавшихся в начале 90-х. Ну как тут не вспомнить невеселые строчки все того же Игоря Губермана:

> С душою, раздвоенной, как копыто,
> Обеим чужероден я отчизнам:
> Еврей, где гоношат антисемиты,
> И русский, — где грешат синонанизмом.

Кстати, вопрос о том, почему я не хочу остаться в Израиле, «на земле моих предков», мне неоднократно задавали не только доброжелатели на улице и в автобусе, но и журналисты, и нередко в весьма агрессивной форме. Так, известная радиожурналистка Ципора Таль, бравшая у меня интервью для «Голоса Израиля», довольно напористо стала объяснять мне, что я «плохой еврей», поскольку отсиживаюсь в тылу в России, в то время как долг каждого еврея быть здесь, на передовой, вместе со своей маленькой страной, борющейся с более чем стомиллионным арабским окружением. «Почему вы говорите «У нас в Москве»? — возмущалась она. — Ваш дом здесь. У русских много своих поэтов, и вам совершенно незачем писать на чужом языке. Вы должны изучить иврит и писать песни на иврите для своего народа». Тон этого нравоучения меня, помню, несколько разозлил, и я был вынужден, может быть, резче, чем нужно, высказать свою точку зрения.

Она состояла в том, что родство по культуре для меня не менее важно, чем родство по крови. Что Родина человека, его среда обитания — это язык и культура. И для меня они русские. А свой долг еврея в помощи своей исторической Родине я вижу в том, чтобы вместе с остальной российской интеллигенцией, от которой я себя не отделяю, бороться с нарождающимся русским фашизмом. Как раз утром этого дня я побывал в музее Холокоста и был под сильным впечатлением от увиденного. Я сказал, что

если фашизм победит в России, то катастрофа еврейского народа во Второй мировой войне окажется не последней. Ибо победа фашизма в России обернется не только трагедией для ее народов, но и мировой ядерной катастрофой, где от Израиля может только мокрое место остаться. Что же касается «передовой» и «тыла», то именно здесь, в Израиле, где арабские экстремисты то и дело учиняют теракты, я чувствую себя в глубоком тылу вдали от российского криминального беспредела и нарукавных свастик неофашистов, нагло разгуливающих по российским городам.

Через несколько дней на авторском вечере в Тель-Авиве я получил довольно ядовитую записку от известного физика Марка Азбеля: «Еврейское ли это дело — бороться с русским фашизмом, и неужели Вы всерьез полагаете, что кучка жалких интеллигентов вроде Вас может одержать победу в этой заведомо неравной борьбе?»

Вопросы о том, почему я не переезжаю в Израиль, мне приходилось получать в каждой поездке и почти на каждом концерте. Вопросы эти, разные по своей тональности, были обращены не столько ко мне, сколько к самим себе, и нередко уже содержали в себе ответы, не всегда однозначные. Авторы записок хотели получить от меня подтверждение правильности своего переезда, и спор со мной чаще всего означал мучительный и неразрешимый спор с самим собой, что же такое Родина и где она. Иногда это отчетливо просматривалось в заявках на песни. Вот примеры таких записок:

«Скажите, чувствуете ли Вы себя здесь дома? Могли ли бы представить себя в израильском обществе? Относитесь ли Вы к Израилю как к тому «гуманному Западу», который «не привидится во снах»?» (Кирьят-Оно, 1993)

«Скажите, пожалуйста, сколько времени прошло между написанием стихотворения «Не разбирай баррикады у Белого Дома» и «Пусть они приканчивают сами своего кровавого царя»?» (Реховот, 1993)

«Всего три месяца из Питера. Пожалуйста, исполните «Атланты»!» (Хайфа, 1990)

«Ваши песни знаю с конца пятидесятых. В семидесятом укачивал сына под Ваш «Снег», а на следующей неделе вылетаю в Питер на его свадьбу. Смогу ли я там достать что-нибудь из Ваших сборников? Существуют ли они в печатном виде хотя бы сейчас, через 35 лет?» (Тель-Авив, 1996)

«Скажите хоть несколько слов о Москве» (Ашкелон, 1993)

«Собираетесь ли Вы приехать к нам навсегда? Большая алия Вас ждет» (Кирьят-Оно, 1993)

«Давно ли Вы были в Ленинграде и как Вы относитесь к его

переименованию? Если можно, — «Романс Чарноты»» (Акка, 1993)

«Мы встретились с Вами после многолетней разлуки во время Вашего первого приезда в Израиль. С тех дней у нас осталась кассета с Вашими песнями. Она не переставала звучать на магнитофоне в нашей машине, на которой мы много раз мчались с дикой скоростью по безлюдному Тель-Авиву в смутные дни войны в заливе. Мы всегда надеялись, что при случае расскажем Вам об этом. Слава Богу, наша встреча состоялась. Вы для нас — часть Родины. Спасибо и всего Вам доброго». (Бат-Ям, 1996)

«Я просила Вас еще три года назад спеть «Воздухоплавательный парк» и «Постоялые дворы». Надеюсь, что сейчас мне повезет больше. Пожалуйста, спойте. А эмиграция — страшная штука. Наши дети не будут знать «Постоялые дворы», потому что у этой страны нет прошлого века. Такой вот разрыв в истории на 1800 лет». (Иерусалим, 1996).

«Тар странно, что мы уже здесь, а Вы все еще там. Что с Вашей еврейской душой? Еще несколько лет, и мы расстанемся навсегда. Жаль Вас, как жаль!» (Тель-Авив, 1996)

В заключение мне хотелось бы процитировать еще одну записку, полученную мной в марте 1995 года в Питере:

«Здравствуйте! Спасибо за стихотворение о том, почему Вы не хотите уезжать. Я — еврейка, и все чаще передо мной встает вопрос об отъезде. Спасибо, что я не одна не хочу уезжать с настоящей Родины на историческую. Яна, 21 год».

Надо сказать, что длительное пребывание в Израиле, вполне законное на первый взгляд чувство патриотизма, столь понятное после долгих веков бесправия и гонений, иногда приносят весьма странные плоды. Здесь много, иногда слишком много говорят о еврействе, о том, что должен делать и чего не должен делать еврей, как бы отделяя евреев от всего остального человечества. Вызывает невольную улыбку также стремление обязательно найти во всех великих людях хоть какие-нибудь еврейские корни. В упомянутом музее диаспоры в Тель-Авиве есть даже специальный стенд — знаменитые евреи. Там рядом с портретом Альберта Эйнштейна можно увидеть фотографии Иосифа Бродского, Жака Ширака и многих других известных людей нашего столетия.

В связи с этим я вспоминаю, как мой старый знакомец по Ленинграду профессор русской литературы Илья Захарович Серман, работающий сейчас, несмотря на преклонный возраст (ему уже за восемьдесят), в Иерусалимском университете, взялся мне доказывать, что Пушкин был евреем. Дескать, знаменитый прадед Пушкина — арап Петра Великого Ибрагим (Абрам) Ганнибал происходил из эфиопского царского рода, который

ведет свое начало от царицы Савской, как известно, забеременевшей от царя Соломона. Поэтому весь этот род — фалаши, африканские евреи. И Пушкин, конечно, тоже. Его рассказ напомнил мне старый анекдот. Один старый еврей спрашивает другого: «Вы слыхали, какой национальности новый Римский Папа?» И второй отвечает: «Не может быть!»

Впрочем, версия мне показалась занятной, и я даже написал стишок на эту тему:

Мне будет сниться странный сон:
Кричащий за окошком кочет,
Самумом поднятый песок.
Что ноздри сфинксовы щекочет.
Разъединение культур,
Их позднее соединенье,
Всеволод — храбрый багатур
И князя Игоря плененье.
Египетский позорный плен
И избавление от рабства.
Среди двенадцати колен
Поди попробуй разобраться.
Мне будет сниться до утра
Земли коричневое лоно,
Арап Великого Петра —
Фалаш из рода Соломона.
И петербургская пурга
Среди окрестностей дубравных.
Где в ожидании врага
Стоял его курчавый правнук.
Мне будет сниться странный фильм, —
Пустыня сумрачного вида
И шестикрылый серафим,
Слетевший со щита Давида.

В прошлом году, уже в Москве, один историк поведал мне не менее фантастическую легенду, относящуюся к Пушкину: он пытался доказать, что Троцкий — правнук Пушкина. Основа этой версии состояла в том, что у Александра Сергеевича было довольно много побочных детей от крепостных девушек, которых он с помощью своих друзей — Плетнева, Вяземского и других, пристраивал в состоятельные семьи. Одного из новорожденных мальчиков якобы пристроили в еврейскую семью богатых землевладельцев Бронштейнов в Херсонской губернии. Приемные родители, страдавшие без детей, обрадовались, что мальчик

черноволосый и курчавый, и дали ему свою фамилию. Он-то и был дедом Льва Давыдовича Троцкого.

Каждый раз в Израиле я подолгу бывал в гостеприимном доме упомянутого выше Игоря Губермана в Неве-Якове на окраине Иерусалима. За это время он стал поэтом и писателем с мировым именем. Вот только характер его совершенно не изменился. Если раньше он бесстрашно воевал с советскими гебешниками, то теперь, считая себя патриотом Израиля, не менее яростно борется с идиотизмом бюрократов и религиозников в этой стране, где его русскоязычные «гарики» (в прошлом — «дацзыбао») оказались как бы никому не нужны. Несмотря на его теперешнюю всемирную популярность, в Израиле у него время от времени возникают проблемы. Пару раз его брали на работу в русские газеты и журналы, но нигде он долго не задерживался. Его непоседливый и неукротимый характер, полное отсутствие способности хотя бы в чем-то пойти на компромисс и с чем-то примириться рано или поздно неизменно приводили к очередной безработице.

К примеру, работу в одной из ведущих русскоязычных газет он потерял после того, как, выступая по радио, прочел стихи, в которых высмеивались религиозные ортодоксы. Дело в том, что, в соответствии с системой религиозных запретов, правоверный еврей не может держать на одном столе мясные и молочные продукты. Более того — для мытья посуды из-под молока и из-под мяса в религиозных домах на кухне существуют две отдельные раковины, — не дай Бог перепутать! Неистребимый остроумец Губерман не нашел ничего лучше, чем прочитать по иерусалимскому радио такие стихи:

Еврею нужна не простая квартира.
Еврею нужна для жилья непорочного
Квартира, в которой два разных сортира:
Один — для мясного, другой — для молочного.

Теперь Игорь Губерман полностью стал свободным. Он издает свои книги, выезжает с гастролями за рубеж, главным образом в США и в Россию, и иногда сотрудничает вместе со своим другом Александром Окунем на русском радио. Надо сказать, что в России, где книги Губермана выходят теперь многотысячными тиражами, его выступления проходят в переполненных залах, а его принимают восторженно, как национального героя. Юмор его все так же неизменен. Когда в первый приезд в Израиль я пожаловался ему на желудок, он немедленно среагировал: «Старик, все очень проста. Твой советский желудок отторгает

непривычные для него свежие продукты».

В конце 90-го года, за несколько дней до моего возвращения в Москву, я неожиданно встретил в Иерусалиме моего давнего приятеля актера «Современника» Валентина Никулина. Мы как раз заехали на базар купить фруктов и овощей на мою «отвальную». И вдруг посреди узкой улочки, запруженной автомобилями и пешеходами, я увидел Валю Никулина, окруженного небольшой стайкой журналистов. Вид у него был потерянный, глаза — лихорадочно веселые. «Саня, представляешь? — оживился он при виде меня, как бы продолжая прерванный разговор. — Я ухитрился сюда всю звуковую аппаратуру беспошлинно вывезти». Выяснилось, что он решил навсегда расстаться с Москвой и переезжает в Израиль.

На следующий день я прочел в русскоязычной иерусалимской газете интервью с Никулиным под бодрым заголовком: «Полагаю, что в Израиле я буду «беседер» (в порядке)». Бодрический самоуверенный тон интервью никак не вязался с испуганным выражением его нервного астенического лица на фотографии, с узким, вечно небритым подбородком и трагически поднятыми бровями. Судя по интервью, он рассчитывал вместе с известными актерами и режиссерами — Леонидом Каневским, Михаилом Козаковым и другими, организовать в Израиле русский театр. Мне же вспоминались его лицо на российских экранах, вдохновенный глуховатый голос, поющий Окуджаву или читающий стихи Самойлова, приглушенный шепот в метро у нас за спиной: «Смотри, Никулин» и втянутая в плечи голова на пути из «Крестов» к Финляндскому вокзалу.

В апреле 91-го года в Москве, в доме покойного Эйдельмана, в день его рождения, я встретил Михаила Козакова, также складывавшего чемоданы для отъезда в «Землю обетованную». Незадолго перед этим он опубликовал в «Московских новостях» трагическое интервью «Не могу плыть в серной кислоте», где обосновывал невозможность далее жить и работать в России. Обхватив пустую рюмку тонкими нервными пальцами, он громко вещал притихшим слушателям о своих будущих перспективах на Западе. «Прости, Миша, — некстати ввязался я, — у меня в Израиле сложилось твердое впечатление, что русский театр там не нужен. Он вообще только здесь и нужен». Я не удивился бы гневной вспышке, типичной для выпившего Козакова. Он, однако, ненавидяще блеснув в мою сторону своими огромными черными глазами, неожиданно тихо сказал: «Ну да, ну да, что ты мне объясняешь! Но у меня ребенок маленький, это ты понять можешь?» Это я понять мог. Тем более что после премьеры только что поставленного им по Шварцу кинофильма «Тень», заехав на

пути домой с группой провожающих его друзей в ЦДЛ и привычно попросив там в буфете «пару бутылок водки для Миши Козакова», он услышал в ответ от ухмыляющейся, счастливой своей лакейской безнаказанностью буфетчицы: «В Израиле своем водку проси — хрен тебе, а не водка». Это несколько уменьшило его предотъездные сомнения.

С Никулиным и Козаковым мне неоднократно довелось потом встречаться во время моих поездок в Израиль. Идея с русским театром, вначале как будто имевшая успех, со временем довольно быстро сошла на нет. Зрителей становилось все меньше, и труппа не смогла существовать. Михаил Козаков, со свойственным ему упорством и нечеловеческой работоспособностью, изучил иврит и с успехом дебютировал на подмостках еврейскою театра «Гешер». А вот с Никулиным все было сложнее, — иврит ему не давался, пошли нелады с сердцем, он перенес нелегкую операцию по шунтированию, и, хотя нельзя было сказать, что он остался совсем без работы, но настроение у него было подавленное. Я помню наш грустный разговор об этом осенью 93-го под Иерусалимом:

Актер Никулин жаловался мне
Среди холмов Израиля отвесных:
Ему, артисту, нестерпимо тесно
В библейской этой маленькой стране,
Где наизусть изучены давно
Одни и те же улицы и лица,
И скорость превышать запрещено,
Чтобы не оказаться за границей.
«Бывало — прилетаешь из Читы,
В Москве — спектакль, назавтра в Минске — проба,
А здесь все глухо, как под крышкой гроба,
С ума сойдешь от этой тесноты.
Здесь тягостно и душно, как в метро,
И хочется повеситься порою».
Вокруг дышало каменной жарою
Вселенной обнаженное нутро.
И я смотрел на край лиловых гор
Под небом, остывающим и красным,
И времени немеряный простор
Нам дул в лицо из узкого пространства.

В 1993 году Михаил Козаков поставил в Израиле пьесу Пауля Барца «Возможная встреча». Это пьеса о вымышленной встрече двух великих композиторов — Генделя и Баха. В ней Гендель,

которого блестяще играет Козаков, богат и знаменит, а Бах, роль которого прекрасно исполняет Никулин, беден и неизвестен.

Прошло несколько лет, и оба они вернулись в Москву. Козаков, по своему обыкновению, так же громко хлопнув на прощанье дверью в Израиле, как когда-то в Москве, Никулин — более незаметно. Оба, к сожалению, полностью убедились в правоте моих слов.

Несколько лучше обстоит в Израиле дело с авторской песней, хотя и здесь все далеко не так просто. Мне рассказывали, как отчужденно встретила израильская аудитория на первом концерте Александра Галича, который вышел на сцену с большим наперсным крестом, что в Израиле, мягко говоря, не вызывает положительных эмоций.

Характерна в этом отношении также драматическая судьба одного из самых талантливых авторов первого поколения Евгения Клячкина, приехавшего сюда в надежде обрести наконец истинную Родину и настоящее признание.

Он погиб неожиданно и трагически 30 июля 1994 года при купании в Средиземном море в кибуце неподалеку от Хайфы. Во время купания внезапно отказало сердце. Была сильная волна. Все усилия спасателей и реаниматоров, быстро прибывших на место происшествия, оказались безрезультатными.

Я дружил с Женей Клячкиным более 30 лет, с середины 60-х, когда в нашем родном Ленинграде, на улице Правды, в Доме культуры работников пищевой промышленности образовался песенный клуб «Восток», объединивший ленинградских бардов.

Среди других молодых ленинградских авторов Евгений Клячкин с самого начала выделялся музыкальной самобытностью и интонационной оригинальностью своих песен, занимающих в авторской песне 60-х годов особое место. В удивительном и чаще всего Нерасторжимом синтезе его песен-монологов несущей конструкцией, как, возможно, определил бы сам автор, инженер-строитель по образованию, является не стихотворная строка, а сложная и гармоничная мелодия, придающая каждой его песне яркую авторскую окраску. Песни Клячкина легко распознать среди других именно по этой щемящей струнной просодии. Он лирик, певец личности, бард «Великого города с областной судьбой». Эта «питерская» неуютная любовь блокадного ленинградского мальчика, неизбывная, пожизненная, как оказалось, привязанность к покинутым дворцам, сырым промозглым переулкам, обветшалым домам и каналам, лежит в основе его лучших песен. Таких, например, как «Песня об утреннем городе», «Мокрый вальс», «Возвращение», «Колыбельная домов». Мне, тоже блокадному мальчишке, особенно близки его

строчки:

> Я сквозь асфальт булыжник узнаю
> И дровяные склады под травой.

Евгений Клячкин — очень питерский бард. Может быть, именно поэтому мне всегда было трудно представить его поющим о солнечном Израиле. В песнях ленинградского периода, который был и остался основным в его творчестве, постоянно звучит тема одиночества городского интеллигента, мучающегося от сознания неприкаянности в окружающем его бездуховном мире. Лирический герой Клячкина чрезвычайно близок к самому автору. В отличие от ярких разнообразных театральных персонажей песен Кима и Высоцкого, это всегда практически один и тот же человек, одинокий, откровенный и беззащитно лиричный: «И привычно нам щадить других, себя не защищая». Даже шуточные его песни наполнены грустным сарказмом («По ночной Москве идет девчонка», «Я был мальчишка глупенький», «Завистливая песенка», «На Театральной площади»).

Грустные песни, однако, удавались ему лучше. Они были более близки эмоциональному и искреннему автору, постоянно ощущавшему тревогу и одиночество в окружавшем его мире «развитого социализма». Вместе с тем, в лучших своих песнях, не всегда одинаковых по уровню стихов, Евгений Клячкин видел мир глазами художника, обращающего внимание на детали. В его песне «Танец старой газеты» газетный лист «встал на носочки, поднял над снегом плечо, и вот уже края его трепещут, как крылья, и ломкая грудь выгибается вздутым плащом, и в каждой бывшей строчке, в каждой букве — усилье».

Круг его песен по тематике как будто не очень широк: город, любовь к женщине, горькая любовь к своей равнодушной Родине, не рассчитывающая на взаимность, природа, возвращающая автору душевное равновесие.

В песне, посвященной другому, также безвременно ушедшему из жизни автору, Юрию Визбору, он написал: «Нас Бог избавил от вранья». Вот это полное отсутствие фальши, беззащитная искренность и прямота разговора всегда были отличительными качествами его песен. Возможно, именно поэтому с самого начала, еще с середины 60-х, Евгений Клячкин постоянно подвергался резкой критике (точнее травле) со стороны всех без исключения партийно-комсомольских инстанций. Концерты его много лет проводились полуподпольно. Не могло быть и речи о выступлениях по радио, телевидению, о записи песен на пластинки. К партийным и комсомольским функционерам

дружно примкнули «профессиональные» композиторы и музыковеды. Их почему-то раздражало, что человек с дипломом инженера-строителя, владеющий одной гитарой и не имеющий музыкального образования, оказался автором оригинальных и талантливых мелодий.

Действительно, Клячкина как мелодиста не спутаешь ни с кем. Об этом говорили не только барды — Юрий Визбор и Сергей Никитин, но и один из величайших композиторов нашего времени Альфред Шнитке. Да и сам Клячкин, как отмечала поэт и критик Наталья Аксельруд, признавался: «У меня есть стихи — мало, но есть. Но я чувствую, что этим стихам не хватает музыки, а музыка доскажет то, чего нет в словах».

Не получившие официального признания песни Евгения Клячкина, широко расходившиеся по нашей стране, наряду с песнями Галича, Окуджавы, Высоцкого и Кима, стали основой «Магнитофониздата», сыгравшего важную роль в духовном становлении целого поколения. В середине 60-х годов он уже был частью жизни и культуры интеллигентной молодежи. Не случайно Андрей Битов в своей повести «Путешествие к другу детства» написавший об этих ребятах, отмечал «магнитофоны с Клячкиным и Визбором, их внимание к поэзии». Прошли десятилетня, но магнитофонные записи Евгения Клячкина все звучат, теперь уже для новых поколений.

В те годы песни Клячкина могли исполняться по радио только «по недосмотру властей». В Сибири, в Академгородке, Юрию Кукину местные жители поведали как-то, что впервые познакомились с песнями Клячкина благодаря радиопередаче, где известный композитор Зарицкий вдребезги разругал его творчество. В качестве примера «плохой песни» передали «Сигаретой опиши колечко». И это был первый, кажется, случай, когда критическая передача повторялась по радио трижды по многочисленным просьбам радиослушателей, не успевших записать песню.

В 1966 году, когда Евгений Клячкин приехал в Академгородок с выступлением, местная газета «За научные кадры Сибири», через год опозорившая себя доносительской статьей об Александре Галиче, опубликовала издевательскую разгромную заметку, в которой он именовался «композитор Крячкин».

Когда в 1967 году Слава Чаплин сделал фильм об авторской песне, в котором были отсняты концерты-диспуты в клубе «Восток» с участием Высоцкого, Окуджавы, Кима и Визбора, песням Клячкина опять не повезло. Фильм этот попался на глаза всемогущему в те поры Первому секретарю ленинградского

обкома партии Толстикову, печально известному своей расправой над Бродским. Явно подражая «величайшему гению всех времен и народов», Василий Сергеевич любил лично просматривать продукцию вверенного ему «Ленфильма». Посмотрев готовую к выпуску ленту, Толстиков заявил: «Пока я здесь первый секретарь обкома, людей с таким профилем у меня на экране не будет». В результате из уже готового фильма были вырезаны Евгений Клячкин с «Песней об утреннем городе» и я с песней «Атланты».

В начале марта 1964 года, когда в Ленинграде проходил позорный процесс над Иосифом Бродским, Евгений Клячкин на концерте в клубе «Восток» заявил, что посвящает свое выступление любимому им поэту Бродскому. После этого он спел несколько песен на его стихи, которые стали потом широко известны. Нет нужды объяснять, что сразу же после этого выступления имя Клячкина надолго попало в «черные списки» и концерты его были настрого запрещены. Пожалуй, только Юрию Визбору удалось тогда записать песни Евгения Клячкина на гибкую пластинку звучащего журнала «Кругозор» и передать по радиостанции «Юность».

Вообще цикл песен на стихи Иосифа Бродского в музыкальном творчестве Евгения Клячкина занимает особое место. Поэзия Бродского — по-видимому, крупнейшего русского поэта нашего времени — как будто совсем не нуждается в гитарном сопровождении. Да и сам Нобелевский лауреат неоднократно высказывал свое равнодушное отношение к жанру авторской песни. Что же побудило Евгения Клячкина, автора многих популярных песен на собственные стихи, обратиться к сложной и, на первый взгляд, далекой от песенного мира поэзии Бродского? В чем причина того, что именно благодаря музыке Клячкина, написанной к поэме «Шествие» и некоторым другим стихам Бродского в начале 60-х и в 70-е годы, стихи эти, ни разу не опубликованные в печати в те «застойные» времена и бывшие достоянием сравнительно узкого круга московских и ленинградских интеллигентов, знакомых с ними изустно или по бледным машинописным копиям «Самиздата», сразу стали популярны и известны по всей стране? Хорошо помню, как в сибирской тайге и ленинградских электричках геологи, туристы, студенты распевали в ту пору чеканные строки:

И значит, не будет толка
От веры в себя да в Бога,
И значит, остались только
Иллюзии и дорога.

Появившиеся в то глухое безвременье песни Клячкина на стихи Бродского вызвали множество подражаний и послужили великому делу приобщения к истинной поэзии людей, от нее далеких.

Дело, видимо, прежде всего в чутком поэтическом слухе Евгения Клячкина, его редкой музыкальной одаренности, давшей возможность извлечь для слухового восприятия внутреннюю сложную, но гармоничную мелодию стихов Бродского, во всей их многоплановой полифонии. Ему, как никому другому, удалось уловить не только музыку самих стихов, но и авторскую манеру их чтения.

Мне неоднократно приходилось слышать, как Бродский читает свои стихи, и кажется, что при всей внешней непохожести пения Клячкина на глуховатый, чуть завывающий голос читающего поэта, звук гитарной струны, щемящий, иногда кажущийся резким до диссонанса, внезапная смена лирической плавной мелодии («Ах, улыбнись, ах, улыбнись, вослед взмахни рукой») драматичным и напряженным мотивом («Жил-был король…»), создают близкое по знаку к авторскому чтению силовое поле. Услышав хотя бы раз в музыкальном прочтении Клячкина эти стихи или такие, например, как «Ни страны, ни погоста» или упомянутых уже «Пилигримов», в мелодии которых слышатся вагнеровские отголоски, уже не хочется слушать их иначе. Так поэзия Бродского, взятая «с листа», получила как бы отдельное звуковое существование.

В песнях на стихи Бродского полностью реализовался безусловный талант Клячкина-композитора, автора удивительных мелодий («Баллада короля», «Ах, улыбнись», «Романс скрипача» и многие другие). Талант этот сочетается с высоким вкусом в музыкальной интерпретации сложных поэтических монологов, где голос автора неуловимо переплетается с голосами его театральных героев — Арлекина, Коломбины, Честняги, князя Мышкина, и вновь возвращается к их создателю, человеку, как и они, обреченному на одиночество и непонимание во враждебном ему мире, сам воздух которого для него губителен.

И здесь мы переходим к самому главному. Когда я вспоминаю ранние стихи Бродского, написанные еще в Ленинграде, в бесславные для нас, его современников, годы судебной расправы над ним как над «тунеядцем» и последующего изгнания, то невольно сам собой возникает вопрос, почему его прекрасные стихи тех лет — «Джон Донн», «Письма римскому другу» и другие, воспринимающиеся сейчас как классика и далекие от обличительной политизированной поэзии, такой, например, как песни Галича, вызвали тем не менее откровенную неприкрытую

враждебность у партийных и литературных чиновников брежневской поры, да и сейчас служат красной тряпкой для подкармливаемых этими чиновниками охранных отрядов, состоящих из полуграмотных ревнителей «истинно русской» поэзии? Не потому ли, что в самой интонации этих стихов, как прежде в великих стихах Мандельштама, они чувствуют чуждый им дух одинокого, непокорного, мучимого мировой скорбью неприкаянного мыслящего интеллигента, само существование которого чревато угрозой их сытому благополучию? Именно это ощущение обреченности в бездуховном мире, где утрачены действительные ценности, трагическая щемящая интонация стихов, подчеркнутая и усиленная музыкой, является основной особенностью и песен Евгения Клячкина, дает тот гармоничный синтез, который обеспечивает им долгую жизнь.

Последние годы ленинградской жизни были для Жени нелегкими. Оставив свою инженерскую должность, он пошел работать в «Ленконцерт», связав себя изнурительными гастролями по российской «глубинке», не дававшими ни денег, ни творческого удовлетворения. Чувство одиночества, ощущение невозможности реализоваться здесь как художнику, опасения за жизнь и благополучие своей семьи на фоне поднимающей голову «черной сотни» заставили Евгения Клячкина в 1990 году переехать в Израиль. Ему казалось, что там, вне партийно-советской системы удушения всего живого, вне пропитавшего все наше общество насквозь, как вирус, народно-государственного антисемитизма, он наконец обретет себя.

Отъезд этот, проблема которого решалась им мучительно и долго (вспомним хотя бы одну из лучших его песен — «Я прощаюсь со страной, где…»), оказался весьма драматичным. Песни «русскоязычного» автора Клячкина не получили в Израиле того признания, на которое он рассчитывал.

В первый свой приезд в Израиль я прожил двое суток у него в квартире, которую он снимал в Рамат-Гане, на окраине Тель-Авива. С работой у него тогда не клеилось, с выступлениями тоже. Он признался мне, что временами близок к самоубийству. Потом, правда, все понемногу наладилось. Его друг врач-стоматолог Геннадий Гонтарь, приехавший в Израиль из Одессы, где когда-то возглавлял одесскую команду КВН, довольно неплохо перевел несколько песен Клячкина на иврит, чем попытался расширить его аудиторию. Однако песни Клячкина в переводе на иврит уже что-то необратимо теряли, и эффект был совсем не тот.

Помню, после первой поездки в Израиль я привез в Питер аудиокассету с записью его песен на иврите и показывал ее на

вечере в «Востоке». Хорошо знакомые всем песни, исполнявшиеся на иврите, неизменно вызывали смех в ленинградском зале. Да и в самом Израиле Евгений, хотя и продолжал писать песни, но что-то уже не получалось. Это, видимо, понимала и русскоязычная израильская аудитория. На своем концерте в Холоне в октябре 1993 года я получил записку: «Как вы относитесь к творчеству Евгения Клячкина «до» и «после»»? С горечью говорил он мне в 1993 году: «Сколько стоят билеты на твой концерт? Десять шекелей? А на меня и за пять не ходят».

Надо было кормить свою большую семью, и пришлось снова вспомнить про диплом инженера-строителя. Но работу найти тоже удалось далеко не сразу. Привыкший к многотысячным российским аудиториям, он страдал от равнодушия и неприятия. На фоне этого безразличия быстро угасли его неофитские патриотические восторги по поводу обретенной им новой Родины. Спрос на его выступления постепенно сходил на нет, а иногда, как уже упоминалось, они просто запрещались, совсем как когда-то в Ленинграде.

Для эмоционального и легкоранимого автора грустных питерских песен сложности и неурядицы жизни в этой новой и, как оказалось, чужой для него стране, были мучительны. Это не могло не сказаться на сердце, на которое он до этого как будто никогда не жаловался.

Надо сказать, что, переехав в Израиль, Женя не позволил себе ни одного критическою замечания в адрес покинутой им России, ибо отчетливо сознавал:

> То, что болью прозвенит здесь.
> Клеветой прошелестит там.

Еще в 1986 году Евгений Клячкин подготовил сборник своих песен для ленинградского отделения издательства «Советский писатель». В сентябре 1987 года автор писал главному редактору: «Слова моих стихов оплачены судьбой и жизнью моей и моих близких. Я хочу, чтобы они были изданы в моей стране и моем городе. Думаю, что имею на это право». В издательстве, однако, думали иначе. К концу 1988 года стало ясно, что сборник в печать не пойдет.

В год своего шестидесятилетия Евгений Клячкин приехал в свой родной Питер, как оказалось, в последний раз. К его юбилею здесь, благодаря усилиям его друзей, и прежде всего Леонида Левина, Натальи Аккуратовой, Марка и Аллы Левитанов, вышла наконец его первая и, к сожалению, последняя прижизненная книга «Не гляди назад». В книгу эту прекрасно оформленную

художником Юлией Далецкой, вошли основные песни Клячкина, разбитые на одиннадцать циклов (с нотами). И хотя мелодии, да и стихи песен, гораздо труднее воспринимаются «с листа», чем при живом звучании, книга, ставшая итогом его творческой деятельности, дает представление о том, что успел сделать Евгений Клячкин за свою недолгую жизнь.

Торжественно и сердечно прошел юбилейный вечер, собравший, как и встарь, сотни поклонников. К этому времени фирма «Мелодия» выпустила два стереодиска с песнями. Женя возвратился на Родину. К несчастью, ненадолго.

Личная и семейная жизнь у Жени складывалась непросто, но он всегда был любящим мужем и трогательным отцом. Когда умерла после долгой и мучительной болезни его жена Виолетта, ее родители предложили взять на воспитание их маленькую дочь. Женя однако наотрез отказался и растил ребенка сам. Он всегда был преданным другом и обладал редким талантом радоваться чужим удачам. В середине 60-х в Питере, когда мы с ним выступали вместе, он неизменно помогал мне игрой на гитаре.

Помню, мы с ним вдвоем ездили с концертами в Новгород. Уже на обратном пути, в поезде, сидя с ним рядом, я прочел ему новое стихотворение, начинавшееся словами: «Сентябрь сколачивает стаи». И он сказал: «Саня, подари его мне, — я песню напишу. А то ты его, не дай Бог, опять изуродуешь своими примитивными мотивами». Так появилась его песня «Элегия».

Характер у Жени был упорный. Помню, как упрямо он овладевал искусством вождения машины, которое давалось ему с трудом. Наш общий друг, бывший президент клуба «Восток» Михаил Кане, написавший позднее книжку воспоминаний о Клячкине, опытный водитель с многолетним стажем, как-то пошутил, что, когда Женя выезжает на своей машине, ленинградское ГАИ объявляет по городу сигнал опасности. Это не помешало Жене вполне освоить водительское мастерство в Израиле, где водить машину еще труднее.

В Израиле Женя приобрел целый музыкальный комплекс с усилителями, синтезатором, колонками и еще какой-то современной акустической техникой, которую также освоил в совершенстве. Незадолго до его гибели я приезжал с выступлением в город Ариэль, куда он перебрался на постоянное житье, и он специально привез на машине для меня весь этот громоздкий комплекс.

Евгений Клячкин умер в Израиле, но песни его остались в России. Они выросли на петербургско-ленинградской культурной почве, для которой чужды эстрадность, аффектация, внешняя броскость. В них, как и в его любимом городе, преобладают

«краски севера», царит атмосфера сдержанности. Именно эти черты присущи стихам в лучших песнях Евгения Клячкина, поражающих своей словесной и музыкальной точностью.

Сейчас, когда Евгения Клячкина не стало и «изменились его портреты», с особой пронзительностью звучат его старые песни, пронизанные многострадальной любовью к России, к Питеру, с которыми, теперь уже навеки, связана его внезапно оборвавшаяся жизнь.

Узнав о его трагической гибели, я написал песню, посвященную его памяти.

Сигаретой опиши колечко,
Снова расставаться нам пора.
Ты теперь в земле остался вечной.
Где стоит июльская жара.
О тебе поплачет хмурый Питер
И родной израильский народ.
Только эти песни на иврите
Кто-нибудь навряд ли запоет.

Со ступеней набережной старой
На воду пускаю я цветы.
Слышу я знакомую гитару.
Может, это вовсе и не ты,
Может, и не ты совсем, а некто
Улетел за тридевять земель.
Старый дом у Малого проспекта
Поменяв на город Ариэль.

Сигаретой опиши колечко,
Пусть дымок растает голубой.
Все равно на станции конечной
Скоро мы увидимся с тобой.
Пусть тебе приснится ночью синей.
Возвратив душе твоей покой.
Дождик василеостровских линий
Над холодной цинковой рекой.

В последние годы многочисленную русскоязычную молодежь, перебравшуюся в Израиль из распавшегося Союза, все более интересует вопрос о возможности существования там русской авторской песни и неистребимого движения КСП, которое с началом массовой эмиграции из России распространилось теперь по всему земному шару. За последние годы в Израиль переехало

немало талантливых авторов и исполнителей из России, Белоруссии, Украины, Узбекистана и других краев бывшего Союза.

Среди них, наряду с Евгением Клячкиным, Дмитрий Киммельфельд, Александр Медведенко, Игорь Бяльский, Марина Меламед и многие другие. Приезжая в Израиль на выступления, я каждый раз встречался с ними и убеждался — несмотря ни на что, клубы самодеятельной песни здесь растут и процветают; а в последнее время на севере страны на озере Кинерет зажег свои огни ежегодный фестиваль русской авторской песни, — «Дуговка», — израильский младший брат Грушинского. Его душой и вдохновителем стал Евгений Гангаев. Недавно здесь стал выходить журнал «Майдан», посвященный проблемам авторской и самодеятельной песни, пользующийся большим спросом. Наряду с «Дуговкой» на юге Израиля (не слишком далеко удаленном от севера), в Беер Шеве собирается свой отдельный фестиваль, получивший название «Бардюга», что означает «Бард Юга», а в Ашдоде — «Дюна».

Что же касается популярности нашей авторской песни в Израиле, то я дважды убеждался в несокрушимом интересе к ней. В первый раз — когда несколько лет назад, в 1995 году, целая группа наших бардов, в которую входили кроме меня Юлий Ким, Сергей Никитин, Александр Мирзоян, Галина Хомчик, Дмитрий Сухарев, Виктор Берковский и другие, совершила турне по Израилю при переполненных залах и всеобщем энтузиазме русскоязычной публики (Юлий Ким назвал эту группу — «Бардформирование»). И во второй раз — уже совсем недавно, в 98-м и 2000-м годах, когда по всей стране не менее триумфально проехался коллектив бардов с первым диском из серии «Песни нашего века». Так что русская авторская песня в Израиле — непотопляема.

Кстати, у меня бывали весьма неожиданные встречи с бывшими энтузиастами самодеятельной песни. В 1990 году в Иерусалиме в одной из синагог религиозного квартала Рамот, обликом своим напоминающей скорее временный домик строителей, ко мне подошел молодой человек с длинной черной бородой и в полной форме религиозного ортодокса, как бы сошедший со страниц Шолом-Алейхема: черная круглая шляпа, такой же черный лапсердак по моде литовских евреев прошлого века, черные брюки и туфли. «Вы меня не узнаете? — шепнул он, опасливо оглянувшись. — «Да нет, по-моему мы раньше не встречались». — «Давайте выйдем наружу». Мы вышли из синагоги и завернули за угол, подальше от посторонних глаз. Он снял шляпу, прикрыл ладонью бороду и, радостно улыбнувшись,

сказал: «Три года назад на Грушинском фестивале вы мне вручали первый приз за лучшее исполнение, помните?» Тут я его наконец узнал, хотя и с трудом, — уж очень не вязались его лапсердак, шляпа и набожность с прежними шортами и тельняшкой.

Почти на всех моих концертах, а их за четыре поездки в Израиль было немало, мне постоянно приходили записки: «Что Вы думаете о перспективах авторской песни в Израиле?» В доме Льва Сыркина меня познакомили с еще одним израильским автором, боевым офицером-танкистом, отличившимся в боях, Григорием Рубинштейном, который пишет на русском языке. Песни его — родные сестры тех, что написаны нашими «афганцами» и знаменитой танковой песни времен Великой Отечественной войны «Первая болванка попала танку в лоб», которую распевали на мотив знаменитой песни: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить». В его песнях, так же как и в песнях Александра Алона, звучит знакомая российская интонация, неразрывно связывающая обе страны.

Что же касается песен и танцев вообще, то любят их в Израиле не меньше, чем в России. Поют и танцуют здесь, кажется, по любому поводу, и старые, и молодые, и, конечно же, дети. Я помню, как поразило меня в 90-м году празднование в Эйлате древнего праздника Ханука, посвященного освобождению евреев из вавилонского плена и длящегося около недели. Весь город иллюминован, всюду горят цветные свечи, и все вокруг, забыв про дела, поют и танцуют прямо на улицах. Подумать только, — более трех тысяч лет прошло со времен событий, описанных в этом библейском мифе, а они все поют и танцуют, будто это было вчера!

Тогда в первый день Хануки я выступал с концертом в Беер Шеве, четвертом по величине городе Израиля, стоящем посреди пустыни Негев. Меня, как почетного гостя, приветствовал речью на русском языке мэр города Ицхак Регер (в недавнем прошлом, как мне поведали, резидент израильской разведки «Моссад» в Европе). После этого мне была предоставлена честь зажечь на сцене первую свечу ханукального праздника.

Примерно через полгода после этого, летом 90-го, мне довелось присутствовать на праздновании юбилея подмосковного города Обнинска. Здесь в начале торжественной части выступал с напутственным словом тамошний священник отец Вадим, а потом мне, опять же как почетному гостю, предложили зажечь на сцене свечу, на этот раз православную. «Александр Моисеевич, — спросил меня в микрофон ведущий, — вам, вероятно, впервые в жизни приходится зажигать свечу религиозного праздника?».

«Нет, отчего же, — откликнулся я, — как раз полгода назад мне довелось зажечь первую свечу ханукального праздника в Израиле. Впрочем, мне кажется, — продолжил я, услышав сильное оживление в зале, — что ничего странного в этом нет, — ведь Бог един». И зал стих.

Поют в Израиле не только на праздниках, но и в путешествиях, и на отдыхе, и собираясь в компаниях. Что это — российская привычка или израильская? Во время многодневных экскурсий по стране на автобусах с лучшим, пожалуй, в этой стране экскурсоводом Мариной Фельдман, в динамике постоянно звучали магнитофонные записи еврейских народных песен и современной израильской эстрады.

Многие из этих песен напомнили мне еврейские песни на патефонных пластинках, изредка звучавшие в доме моих родителей до войны. Меня поразила их органическая мелодичность и глубокая гармония. И в то же время я испытывал странное ощущение, что слышал их еще где-то, что помню даже не сами мелодии, а скорее тональность песен, звучащих сейчас на непонятном для меня языке. Покопавшись в памяти, я, неожиданно для себя, обнаружил нечто схожее в хорошо знакомых мне песнях советских композиторов, — Дунаевского, Блантера и других. Что это — стилизация или голос крови?

Впрочем, в голос крови я не слишком верю. В последние годы наши московские барды, побывавшие в Израиле и восхищенные им, написали несколько песен, где довольно удачно имитировали еврейские мелодии. Можно вспомнить, например, прекрасную шуточную песню Сергея Никитина на стихи Дмитрия Сухарева:

Это чьи там прозвенели в небе трели?
Это едут на гастроли менестрели,
Не в Нью-Йорки, не в Парижа,
И не дальше, и не ближе,
А в родной почти советский Тель-Авив.
Александр Моисеич Городницкий
Спит и видит этот берег заграницкий,
А маэстро Юль Черсаныч
Вспоминает Хайфу на ночь,
И Персидский ему грезится залив
И заливное с хреном.
Ершалаим,
Поезжай к своим и спой им.
Ершалаим,
Хоть по радио, друг, попой им.

Сам упомянутый в этой песне Юлий Черсанович Ким, также сложил вполне стилизованную под еврейскую народную мелодию песенку «Ах, Исроел, Исроел».

И только я, единственный среди этих уважаемых авторов евреи по крови, сколько ни старался, так ни одной песни, стилизованной под еврейскую, сочинить не смог.

Что же касается проявлений еврейской ментальности в песенном творчестве советских композиторов, то они оцениваются по-разному. Вот что пишет Дмитрий Сухарев в упомянутой статье «Введение в субъективную бардистику»:

«…Пение, укорененное в какой-либо из дореволюционных русских традиций, было нежелательным для новой власти. Ей требовалось что-нибудь принципиально непохожее. Подходящие кондиции обнаружились в музыкальном языке еврейских поселений, еще недавно отделенных чертой оседлости от большей части России, где евреям гнездиться не разрешалось. Лирические и задорные напевы былых резерваций оказались совершенной новостью для большинства населения страны и подарком для советской власти. Соединение еврейских мелодий с коммунистическими стихами а ля рюс давало то, что надо.

Еврейский мелос проявил еще одно полезное свойство — экспортный потенциал. Мелодичные, бодрые, легко запоминаемые напевы таких песен, как «Полюшко-поле», «Тачанка» и «Катюша», стали визитной карточкой первой страны победившего социализма.

Уже в 30-х годах дело было сделано. Русский мелос задвинули в хор имени Пятницкого да в балалаечный класс районной музыкальной школы. Там, в маргинальных резервациях официальной культуры, он и перебивался с хлеба на квас, в ожидании лучших времен. А центральную, представительскую, позицию заняли в предвоенной советской песне еврейские мотивы.

Неудивительно, что вслед за композиторами в советскую пер ню устремились и поэты-евреи, которые быстро освоили сочинение текстов а ля рюс. Однако литературный вклад выходцев из черты оседлости поначалу оказался несколько жиже, чем мелодический. Это позже дети и внуки тех выходцев закрутили нешуточный роман с русской музой, а поначалу автору с приблизительным знанием русского языка ничего не стоило ославить роскошную музыку Дунаевского таким, к примеру, пассажем: «Приходи вечор, любимый», что в переводе на русский означает: «Приходи, любимый, вчера вечером…»

…При советской власти быть песенником значило быть богатым, и вездесущее еврейское радение явило себя здесь во

всей красе».

С чувством растерянности и грусти читал я эти строки, как бы выхваченные из черносотенной статейки, но написанные не Прохановым и Кунаевым, а умным и талантливым человеком, к которому я привык относиться с уважением и которого трудно заподозрить в антисемитизме.

Я уже не говорю о том, что среди «выходцев из черты оседлости» с «приблизительным знанием русского языка» оказались Эдуард Багрицкий, Михаил Светлов, написавший знаменитую «Каховку» и не менее известную впоследствии «Гренаду», Михаил Голодный, автор стихов популярной песни «Матрос Железняк» и многие другие вполне достойные поэты. Главное однако в том, что и здесь непросвещенному читателю вполне отчетливо навязывается милая идея злонамеренного сионистского заговора, имеющего целью извести на корню русскую национальную песенную культуру. А чего стоит выражение «вездесущее еврейское радение»! Вполне сродни фразе из письма Виктора Астафьева к Натану Эйдельману: «Гнойное еврейское высокомерие».

Несколько ниже Д. Сухарев пишет и о русской авторской артели, сочинявшей партийные гимны (Василий Лебедев-Кумач, Сергей Михалков), однако это уже не впечатляет. Как написал однажды Максим Горький: «Если украл русский, то говорят, что украл вор, а если украл еврей, говорят, что украл еврей».

Но вернемся в Израиль. В 90-м году, во время трехдневной автобусной экскурсии в Эйлат все с той же знаменитой Мариной Фельдман, она вечером в гостинице попросила меня спеть несколько песен для нашей группы. Мы собрались внизу в холле, где была небольшая эстрада. Не будучи мастером гитарного аккомпанемента, я довольно робко под собственное убогое струнное сопровождение спел несколько песен, но тут подошли израильские музыканты, чьи инструменты стояли на эстраде.

Поинтересовавшись у Марины в чем дело (по-русски они не понимали) и тут же окрестив меня «Бен-Моше», они подхватили мои нехитрые мотивы во всю свою мощь. Потом спели хором две еврейские народные песни, потом «Катюшу», — мы по-русски, они — на иврите. Потом опять мои: «Над Канадой небо сине» и «На материк». В результате в холле набилось огромное количество народа, и экспромт закончился общими танцами. «Саша, — сказала мне Марина (в иврите нет обращения на вы и по имени-отчеству), — бросай все, переезжай сюда. Я тебя немедленно беру в штат экскурсий. Будем устраивать музыкальные песенные вечера».

Юлий Ким и я вместе с женами объездили весь Израиль еще

раз в ноябре 1996 года. На этот раз гастроли организовал один из главных вдохновителей КСП в Израиле — Женя Гангаев. Его небольшая, но, как выяснилось, на редкость вместительная квартира в центре Хайфы по существу превратилась в постоянно действующий центр КСП в этой стране. Здесь постоянно звенят гитары, какие-то люди приходят, уходят, пьют, едят, спят и все время поют. Соседи по дому, которым крупно не повезло, первоначально возмущались, особенно по ночам, и даже неоднократно жаловались в полицию, но потом как-то попривыкли. Дело дошло до того, что однажды вечером, когда мы ночевали у Жени, соседи, удивленные неожиданной тишиной, пришли узнать, что случилось.

Мы с Юликом не первый раз путешествовали и выступали вместе, образуя как бы союз Пьеро и Арлекина: первое отделение — я, второе — он.

Незадолго перед этим мы побывали с ним на нашем Севере, в Котласе. У Юлика уже тогда возникли серьезные проблемы с сердцем, и жизнь его в поездке, как и моя из-за жестокой гипертонии, была полна грустных ограничений. Организм свой он называл «Федей», и отношения с «Федей» у него были далеко не простые. Помню, на обратную дорогу хлебосольные поклонники авторской песни из Котласа надавали нам с собой массу всяких изысканных закусок. Юлий Ким ухитрился довольно точно описать эту ситуацию в одном из своих стихотворений:

Юлий Ким и Городницкий,
Две заслуженных гитары,
Две почтенных седины.
Песни авторской титаны.
Колебатели струны.
Посреди родной страны.
На пространном перегоне,
В замечательном вагоне —
Мягком, спальном, черт возьми!
Как у Бога на ладони,
Ужинают визави.
Только что-то не по-русски
Ихний выглядит фуршет:
Вон грибочки, вон закуски,
А поллитры нет как нет!
Неприятные детали
Подмечает грустный взор:
Между рыбкой и салями
Адельфан да валидол.

И с улыбкою печальной
Вспоминаешь пару строк:
«Нет дороге окончанья, —
Есть зато ее итог».

На этот раз в Израиле перед началом гастролей Женя Гангаев сосватал нас на четырехдневное путешествие по Красному морю на экскурсионном теплоходе с необычным названием: «Odessa Song». Удивительное это судно, пришедшее из Одессы и зафрахтованное израильским бюро путешествий, возило туристов по Красному и Средиземному морям. Флаг у него был кипрский, портовая приписка греческая, экипаж русский, а сервис — вполне европейский. За четыре дня мы ухитрились побывать в Иордании, в древнем скальном городе Петра, считающемся одним из чудес света, понырять с маской на коралловых рифах в египетском городке Хургада и в бухте Эйлата. Юлик оказался страстным фотолюбителем, — он беспрерывно щелкал своим аппаратом. Все попытки уговорить его поберечь пленку для более интересных кадров были обычно безрезультатны. Эти четыре солнечных беззаботных дня, проведенные вместе с ним и Ирой, я отчетливо помню до сих пор. Снимки Юлика запечатлели эти недолгие радостные часы. С грустью смотрю я теперь на молодое и счастливое лицо Иры на этих фотографиях. Кто мог тогда предполагать, что через два года ее не станет?

Ира Якир, жена Юлия Кима и внучка знаменитого командарма Ионы Якира, расстрелянного в 1937 году, родилась в мае 1948 года в селе Головинщина Пензенской области, — там отбывала ссылку ее мать, только что вышедшая из воркутинского лагеря, где сидела как «ЧСИР» (член семьи изменника Родины). В 1952 году сюда же приехал ее отец Петр Якир, тоже вышедший из лагеря. После XX съезда и известного доклада Н. С. Хрущева семья перебралась сначала в Подмосковье, а потом в Москву. В 1963 году юная Ира познакомилась с молодым бардом Юлием Кимом, часто приходившим в их дом и находившимся в абсолютном плену могучего обаяния ее отца. В 1964 году Юлик уехал на два года учительствовать на свою любимую Камчатку, а когда вернулся, они поженились. Ире тогда едва исполнилось 18 лет.

Была она удивительной красавицей, какой, впрочем, оставалась всю жизнь, поскольку, к сожалению, состариться не успела. Она поступила учиться в Историко-архивный институт, который за четыре года до этого, уже в весьма зрелом возрасте, закончил ее вернувшийся из лагерей и ссылки отец. Ире, однако,

закончить институт не удалось. Ее отец Петр Якир с 1967 года стал одним из лидеров набиравшего силу общественного движения, которое быстро превратилось в диссидентское.

Дом Якира стал центром этого движения, и молодая семья Юлия Кима, жившая вместе с родителями, не могла и не хотела оставаться в стороне. Ира активно участвовала в распространении «Самиздата», вместе с отцом, Юликом и своими новыми друзьями — Ларисой Богораз, Павлом Литвиновым, Натальей Горбаневской, Анатолием Марченко и другими — подписывала письма протеста, а с появлением в 1968 году знаменитой «Хроники текущих событий» приняла прямое участие в ее подготовке и издании, осуществляя в частности связь с Украиной. В 1969 году ее исключили из института. В 1972 году снова арестовали Петра Якира. Иру тоже таскали на допросы, где следователи, зная о ее беременности, всячески издевались над ней, стараясь «расколоть». Судя по ее рассказам, в ход пускалось все — от запугивания и самых грязных провокаций до прямых побоев. Ира выстояла, оказавшись более стойкой, чем ее отец. Однако выпавшие на ее долю испытания не могли не подорвать ее здоровья. Кстати, много лет спустя, уже в 1996 году, она недолгое время работала в Думе, и однажды в думской столовой неожиданно лицом к лицу встретилась со следователем, который ее допрашивал…

В 1973 году у Кимов родилась дочь Наташа. К этому времени Юлий был уже весьма популярным драматургом. Его пьесы шли по всей стране. Однако после ареста Петра Якира, как уже упоминалось, потерял работу и вынужден был, чтобы прокормить семью, писать к фильмам и спектаклям песни под псевдонимом «Ю. Михайлов».

Мы познакомились и подружились с Кимами примерно с середины 70-х в Пярну, где вместе проводили отпускное время. Там в этот период жил Давид Самойлов, и летом собиралась большая и шумная компания, в которую входили кроме наших двух семейств семья Володи Лукина, однокашника Кима по МГПИ им. В. И. Ленина, Наташа и Егор Мирза, Марк Харитонов, ставший впоследствии известным писателем и Букеровским лауреатом, и многие другие.

В середине 80-х семейство Кимов вместе со своими украинскими друзьями купили дом в деревне на Полтавщине и с тех пор каждое лето наезжали туда, отдыхая от сумасшедшей московской жизни и своей тесной квартиры на Автозаводской.

В 1985 году Ира тяжело заболела. Одна операция следовала за другой. В 1996 году у нее обнаружили рак. Курсы облучений положения не улучшили. В 1997 году сам Ким перенес

тяжелейший инфаркт. Инфаркт был обширный, и не сразу удалось его купировать. В связи с болезнью Юлика, главного кормильца семьи, возникли серьезные финансовые проблемы. В то же время Ире необходима была срочная операция, делать которую московские хирурги не решались. Пытаясь снасти жену, Юлий Ким принял израильское гражданство и вывез ее осенью 1998 года в Израиль. Однако было уже поздно. Проведя полгода в больнице, Ира умерла в ночь с 1 на 2 мая 1999 года.

Была она на редкость талантливым и сердечным человеком. Сколько я ее помню, она все время кого-то опекала, кому-то помогала и никогда не жаловалась. В советские времена ей со своей одиозной фамилией не удавалось работать подолгу на одном месте, однако даже то недолгое время, когда она в 70-е годы работала под началом Ильи Зильберштейна и занималась архивами Блока и Белого в связи с подготовкой одного из томов «Литературного наследства», оказалось для нее плодотворным. Ей удалось разыскать, в частности, несколько неопубликованных стихотворений Блока. Главным же ее делом было активное участие в подготовке самиздатовской «Хроники текущих событий», а также в работе общественного Красного Креста и помощи семьям осужденных. Все, кому посчастливилось встречаться с ней в ее недолгой и полной испытаний жизни, не могли не почувствовать на себе незабываемого обаяния ее красоты и душевности.

А тогда, в ноябре 1996 года, обратно из Эйлата в Хайфу мы ехали вчетвером на автобусе долгим ночным рейсом. Автобус закладывал крутые виражи по горной дороге над Мертвым морем, и полная луна заглядывала в окна то слева, то справа. Бодрствующий Юлик неожиданно предложил мне послушать начало новой песни. Послушав его, я сказал, что мотив мне что-то напоминает. Это, впрочем, не помешало Юлику дописать песню, которую он с успехом показывал на всех наших концертах: «Дорогой длинною, да ночкой лунною, с Эйлата в Хайфу через Тель-Авив»…

В этом же ночном путешествии началась еще одна история. Рядом со мной в автобусе оказалась супружеская пара, приехавшая в Хайфу с Урала, из Перми, — Давид и Татьяна. Мы разговорились. Выяснилось, что они работают в фармакологической фирме «Санрайдер», пропагандируют и продают разного рода целительные средства. Татьяна, статная, типично русская красавица с серыми внимательными глазами и русой густой косой, работала до этого в пермской милиции, в угрозыске, в звании майора. Неожиданно выяснилось, что у нее уникальные способности экстрасенса. Она окончила какие-то

специальные курсы и теперь профессионально работает экстрасенсом, проводя диагностику больных и рекомендуя им для исцеления продукцию фирмы «Санрайдер».

Я пригласил их на ближайший концерт в Хайфе. После концерта они подошли ко мне с тревожными лицами и сказали, что у меня есть кое-какие проблемы и я должен срочно пройти диагностику у Татьяны. Что касается моих проблем, связанных с гипертонией, атеросклерозом и другим возрастным джентльменским набором, я был уже о них неплохо проинформирован, поскольку незадолго до этого провел в Москве месяц на диагностике в кардиоцентре. Однако наивная вера в оккультные чудеса и детское, несмотря на возраст (а возможно, и благодаря ему, — как это написано в одной из несен Юрия Кукина: «Шестьдесят — это то же, что двадцать, ну а семьдесят — то же, что десять»), любопытство заставили меня согласиться на встречу с Татьяной, хотя моя жена, ни в какие оккультные науки не верящая, и возражала.

Встретились на следующий день в доме у Жени Гангаева, где мы остановились. Отведя в отдельную комнату, Татьяна посадила меня на стул одетым — в брюках и рубашке. Одну ладонь она приблизила к моему затылку, а вторую начала медленно перемещать сверху вниз вдоль головы, шеи и туловища на расстоянии нескольких сантиметров, попутно сообщая мне мои болезни. С удивительной точностью она рассказала о моих глазах с правильным определением необходимых диоптрий; назвала цифры давления и процент обызвествления артерий, который я хорошо помнил по результатам доплексного сканирования; практически полностью подтвердила цифровые данные анализа крови и кардиограмм.

Я был поражен этим явным чудом, но не сдавался. И вдруг, приблизив ладонь к моей левой лопатке, она строго произнесла: «На левой лопатке у вас шрам от старого ножевого ранения. Второй должен быть на левой руке. Покажите руку!» И тут я сломался окончательно, поняв, что она знает про меня все. Действительно, оба эти шрама остались у меня с 59-го года, когда в экспедиции в Туруханском крае уголовник, азербайджанец Ахмет пытался из ревности меня зарезать. Нет необходимости говорить, что, безоговорочно уверовав в ее всезнание, я накупил целый ящик разного рода трав и других чудесных целительных средств фирмы «Санрайдер».

Прошло меньше года, когда у меня внезапно отнялась правая нога, и я с мучительной болью загремел в Москве в больницу. Проведенная ядерно-резонансная томография сразу же обнаружила большую межпозвонковую грыжу и разрушенный

почти полностью диск, причем случилось это, по единодушному мнению врачей, не вчера, а минимум несколько лет назад. Это привело меня в недоумение: как же всевидящая Татьяна, мой всемогущий экстрасенс, которая изложила мне все до мельчайших подробностей, проглядела такое крупное нарушение? И, поразмыслив, я понял. Все, что она мне рассказывала, Татьяна считывала с моего же мозга. Она подробно изложила мне только то, что я уже знал сам. Чего не знал я, не знала и она, и поэтому ничего нового сообщить не могла. Конечно, и это — немалое чудо, по для диагностики, увы, не годится. Так что теперь я в экстрасенсов не верю.

Израиль — страна маленькая, и все друг друга знают. Иногда это напоминает о себе довольно неожиданно. Нас с Юликом водили по прибрежным кварталам Яффы, и я, увидев общественный туалет, зашел внутрь. В предбаннике дремал, не глядя на меня, пожилой служитель. Я кинул взгляд на входные двери, надеясь увидеть знакомые буквы или хотя бы значки, но над обеими красовались какие-то непонятные мне надписи на иврите. Я замешкался и вдруг услышал у себя за спиной голос: «Господин Городницкий, — вам в правую дверь».

Двумя днями позже в квартире, где мы жили, раздался телефонный звонок, и мой собеседник, сообщив, что его фамилия тоже Городницкий, спросил — нет ли у нас общих корней. Примерно полчаса мы искали с ним возможных общих родичей в прошлом, но так и не нашли. Он заметно погрустнел. «А в чем дело? — спросил я его. — Почему вы хотите, чтобы мы оказались родственниками?» — «Понимаете, мой сын, тоже Саша Городницкий, очень талантливый мальчик. Он выступает в составе команды КВН Израиля, сам пишет. Ему очень хотелось бы быть вашим племянником». «Ну что же, — улыбнулся я, — если мальчик хороший, то я не возражаю».

На авторских выступлениях в больших залах в Израиле, как и в России, я обычно пользовался помощью аккомпаниатора. Как правило, здесь мне помогал одаренный автор и гитарист Михаил Волков, переехавший в Израиль из Москвы. Он активно сотрудничает в юмористическом журнале «Беседер», пишет песни и сам довольно успешно с ними выступает. Как-то на одном из концертов в Тель-Авиве в перерыве я зашел в артистическую, где стоял Миша, окруженный стайкой своих поклонниц. «А Городницкий твои песни слышал?» — спросила одна из них. «Да все никак не соберется послушать, — не без некоторой обиды ответил он, не заметив, что я вошел. — Да и что он в современных песнях понимает? Он же старый. Посмотрите, — у него уши белым мхом заросли». Услышав это, я кинулся к зеркалу

и с ужасом обнаружил на своих ушах клочки седой шерсти. Мне сразу же пришли на память строки из бессмертной повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» о сотрудниках некоего института «НИИЧАВО». У бездарных и ленивых уши зарастали шерстью, и их узнавали по свежим порезам от бритья.

Что же до «голоса крови», то, впервые в жизни столкнувшись с ивритом, я с удивлением убедился, что запоминается он на слух куда быстрее, чем, например, английский, который так и не смог одолеть. «Старик, — улыбнулся Губерман, с которым я поделился своим недоумением, — это же очень просто: ты не учишь, а вспоминаешь, он же у тебя в генах. Кстати, ты знаешь, почему слово РСФСР одинаково читается справа налево и слева направо? Да потому, что половина членов Первого советского правительства могла читать слева направо, а другая — только справа налево. А известно ли тебе, что блатное слово «шмон» (обыск) тоже пришло из иврита? «Шмоне» — на иврите означает «восемь», а в одесских тюрьмах обыск всегда проводился в восемь часов. Да и «кагал» тоже ивритское слово».

В тот же вечер мы смотрели с ним телевизионную передачу, в которой показывали выступление тогдашнего премьер-министра Шамира в кнессете. Свою речь премьер начал словами: «Ани мудаг». Я вздрогнул. «Старый, не удивляйся, — тут же отреагировал Губерман, — «ани» на иврите «я», а «мудаг» — «озабочен». Я же говорю — очень много родных слов. Кстати, знаешь, как звучит на иврите выражение «точка, бесконечно удаленная в пространстве?» — «Кибинимат». Тебя посылают — ты идешь. А что значит на иврите «Вы хуля, вы хуля»? «Так далее и так далее»».

На самом деле множество слов пришло в русский язык из иврита. Это и слово «колбаса» (изделие из мяса), и слово «кремль» (укрепление на холме, по имени вершины Кармель). Даже имя старинного русского города Тверь имеет своим началом имя римской крепости в Палестине Тверия, названной так в честь Тиберия.

А если серьезно говорить об общности израильской и русской культур, то конвергенция библейской и христианской мифологий, освоение ветхозаветного ядра после уничтожения еврейского государства в начале нашей эры привели к тому, что в русской поэзии, так же как и во всей классической европейской литературе, библейские сюжеты использовались как лишенные национальных корней символы и аллегории.

Кризис школ символистов и акмеистов, появление на рубеже становления крупнейшего в мире тоталитарного государства

таких художников, как Мандельштам и Пастернак, впервые наполнивших абстрактные общечеловеческие символы и метафоры хасидским и талмудистским мироощущением, ознаменовали начало нового этапа развития русской поэзии, продолженного уже в 70-е годы в творчестве Иосифа Бродского. Это дало русской поэзии многомерность, расширив рамки христианской традиции, позволив ей соприкоснуться с ветхозаветной культурой и философией непосредственно.

Возникновение государства Израиль, возродившего культурные и географические реалии Ветхого Завета, послужило импульсом для развития современной поэзии, дав ей конкретное национально-историческое содержание. Обращение к праязыку, синтез древней философии и новейшей политической обстановки, возвращение от антропоморфизма к невидимому космическому Богу, — свидетельства новых тенденций в сегодняшней поэзии.

Эту трансформацию в разной степени можно проследить на примере творчества нескольких поколений русских поэтов послевоенной эпохи — от Арсения Тарковского, Бориса Слуцкого, Давида Самойлова и Семена Липкина до Александра Кушнера, Анны Наль, Елены Аксельрод и Ларисы Миллер.

В то же время это не могло не вызвать раскола в российской литературной среде, усугубленного распадом большевистской империи и обострением межнациональных конфликтов. Явственно обозначились проблемы духовного выбора для «полукровок» — русских поэтов диаспоры. Следствием явилась резкая поляризация позиций и проявление откровенно антисемитских мотивов у русских авторов «национально-патриотического» направления — Юрия Кузнецова, Глеба Горбовского и других. Все это поставило российскую поэзию перед альтернативой — обогащение на основе синтеза иудео-христианской культуры или шовинистический изоляционизм.

Неторопливо истина простая
В реке времен нащупывает брод:
Родство по крови образует стаю,
Родство по слову — создаст народ.

Что еще поразило меня в Израиле? Пожалуй, старики, — свободные, как и дети, оживленно жестикулирующие и громко переговаривающиеся. Помнится, на одном из концертов один почтенного возраста человек, сидевший в последнем ряду, начал громко жаловаться, что он плохо слышит. «Садитесь в первый ряд», — предложил я ему, — и будет хорошо слышно». «Нет, —

возразил он, — я хочу, чтобы мне было слышно здесь». Старики здесь не боятся быть такими, какие они есть, — шумными, наивными, размахивающими руками, смешными и беспомощными. Им не надо отворачиваться и втягивать голову в плечи на улице или в автобусе под откровенно насмешливыми, по-хамски презрительными взглядами, рискуя на каждом шагу нарваться на неожиданное оскорбление «жиды проклятые». Они у себя дома, в своей стране.

Это непривычное чувство защищенности, всеобщего братства и дома, гордости за свой народ впервые в жизни возникло и у меня, и, пожалуй, это самое дорогое приобретение за долгие годы ощущения себя «человеком второго сорта».

Торжественно провозглашенная большевистскими идеологами новая общность людей, Советский Союз, с треском распалась — и обнажились во всей неприглядности звериный национализм и религиозная нетерпимость. Взрывная ядерная реакция начала неостановимо расщеплять не только бывшую сталинскую империю — «тюрьму народов», но и сами отделившиеся страны, казавшиеся мононациональными. На наших глазах распалась на части Грузия, насмерть воюют между собой кланы в Таджикистане, негасимым пожаром то тлеет, то снова вспыхивает Чеченская война, угрожая поджечь весь Северный Кавказ.

Антисемитизм однако — это не просто разновидность шовинизма. Как показал печальный опыт истории, раковая опухоль антисемитизма поражает общество, обреченное на фашизм и последующую катастрофу. Обвинения и угрозы в адрес евреев, поджоги и взрывы синагог, зловещий миф о «тайных сетях сионизма», опутывающих всю планету, — уже испытанный Гитлером метод оболванивания народа и расправы с политическими противниками. Тот небывалый в истории даже дофевральской России разгул «народного» антисемитизма, который искусно управляется красно-коричневой оппозицией, объединившей юных фашистов и старых гебешников, макашовых и баркашовых, и которому потакает наше слабое «демократическое» правительство, то слегка журящее национал-патриотов, то кокетливо с ними заигрывающее, оставляет мало надежды на чудесное исцеление больного.

Помню, в конце декабря 90-го мы улетали в Москву через Варшаву из аэропорта Бен-Гурион. Это было незадолго до войны в Персидском заливе. Уже перед самым вылетом неизвестный позвонил в диспетчерскую и сообщил, что в наш самолет подложена бомба. После тщательного обыска самолета всех пассажиров заставили ждать в порту три часа — контрольное

время полета от Тель-Авива до Варшавы. За это время несколько раз один за другим в аэропорту садились огромные аэробусы фирм «Малев» и «Лот» с сотнями эмигрантов из СССР. Общество «Сахнут» прямо рядом со взлетно-посадочной полосой разбило большой палаточный лагерь для размещения прибывших. Это была уже не эмиграция, а бегство.

Мы летели обратно в полупустом самолете, и мне на память приходил «Корабль дураков», но не Эразма Роттердамского, а Стенли Крамера.

Посещение Израиля в ноябре 2000 года, когда мы приезжали выступать с коллективом бардов, участвовавшим в проекте «Песни нашего века», пришлось на новый виток интифады и военной напряженности. Снова начались беспорядки на территориях и взрывы на автобусных остановках и базарах. Мне довелось выступать в Натании, где мы жили в гостинице клуба, принадлежащего партии Ликуд. На стенах зала висели большие цветные плакаты с видом Иерусалима, на которых по-русски было написано:

И врагу некогда не добиться.
Чтоб склонилась твоя голова.

Палестинцы опять потребовали раздела Иерусалима и начали широкую кампанию терактов и провокаций, убивая израильских поселенцев на территориях и подвергая обстрелу городские районы.

В связи с этим нельзя не вспомнить, что Иерусалим, более 3300 лет бывший еврейской столицей, никогда не был столицей какого бы то ни было арабского или мусульманского государства. Единственное арабское государство, возникшее на этой земле в итоге арабского завоевания в 635 году, просуществовало всего 22 года. Даже во время оккупации Иерусалима иорданцами они не сделали его своей столицей. В священном еврейском писании Танахе Иерусалим упоминается более 700 раз, а в Коране — ни разу. При этом арабы на Ближнем Востоке контролируют 99,9 процента всей территории, а Израиль — лишь одну десятую долю процента. Израильтянам некуда отступать.

Помню, в ноябре 2000 года в Натании я проснулся ночью от яркой вспышки, за которой последовал глухой раскат. Как раз накануне закончилась конференция Лиги арабских стран, угрожавшая Израилю войной. Через минуту — новая вспышка и новый удар. «Артобстрел», — подумал я, мгновенно вспомнив свое блокадное Детство. И только шум хлынувшего затем дождя заставил меня понять, что это гроза.

Несмотря на растущую военную напряженность, дни, проведенные в Израиле, напомнили мне о чувстве собственного достоинства. Том чувстве, которое с детства тщательно вытравливалось во мне и моих сверстниках под пионерские барабаны и комсомольское хоровое пение, под победные марши сталинских парадов и пьяный мат глумящейся толпы. Нас не учили любить, учили только ненавидеть — классовых врагов, инородцев, абстракционистов, сионистов, уклонистов — всех, на кого в очередной раз направлен указующий перст. Жизнь моего поколения невозвратно потрачена в этом больном ненормальном обществе, пораженном паранойей всеобщей ненависти. Но я рад, что хотя бы в конце пути увидел мир, где, возможно, будут жить не ненавистью, а любовью.

В шумном портовом городе Хайфа на склоне вершины Кармель, где стоит монастырь кармелитского ордена, построенный еще крестоносцами, и у подножья которой находится гробница Ильи-Пророка, я увидел в парке большой странного вида храм, не похожий ни на синагоги, ни на христианские церкви, ни на мечети. Храм этот увенчан золотым, нестерпимо полыхающим на солнце куполом и хорошо виден с моря на фоне зеленого склона. Поставлен он здесь приверженцами одной из самых молодых на нашей планете конфессий — «бахай», которая провозглашает единство всех верований, поскольку Бог един, и всеобщую любовь между людьми. Последователи этой религии одинаково поклоняются Христу, Магомету, Будде и Иегове.

Необычный этот храм стоит в огромном тенистом парке, посаженном прихожанами: каждое новое дерево здесь — форма молитвы.

В удивительном этом парке, как в дендрарии, сошлись вместе растения Запада и Востока, Севера и Юга, как бы демонстрируя людям возможность мирного и дружного сосуществования. Среди причудливого лабиринта дорожек, на клумбах, засаженных яркими и диковинными цветами, возвышаются бронзовые изваяния экзотических животных и птиц, населяющих нашу планету.

Негромкое пение птиц и шелест густых ветвей струятся над немноголюдным парком. Не странно ли, что уникальный этот храм, декларирующий любовь, так же как и храмы трех древнейших религий, встал именно здесь, на этой крошечной, истерзанной кровавыми междуусобицами земле, где когда-то зародилась человеческая цивилизация? Видимо, недаром слово «адам» на иврите означает «человек».

Я снова смотрю на карту Израиля, висящую над моим письменным столом, на коричневые горы, изрезанные речными долинами, где Моисей сорок лет водил свой народ «по оккупированным территориям», на зеленые краски лесов, на голубые пятнышки морей и озер.

В 1997 году мы, вместе с моим другом израильским геологом Арье Гелатом, анализируя эту карту, на основе совместной интерпретации геологических и геофизических данных высказали предположение, что тянущаяся с севера на юг описанная выше сквозьлитосферная трещина, раскалывающая твердую оболочку Земли, которая носит название трансформного разлома Мертвого моря, на самом деле преобразуется в рифт — расширяющуюся трещину, края которой раздвигаются в разные стороны, понемногу превращая Мертвое море в зародыш нового океана. Я докладывал об этом на Международном геологическом симпозиуме в Тель-Авиве.

Если это так, то трещина эта соединится с красноморским рифтом, отодвигающим Аравийский полуостров от Африки, и Израиль, оторвавшись от аравийской микроплиты, превратится в остров, точнее в маленький самостоятельный континент, к которому снова присоединится Синайский полуостров.

Согласно современной теории строения нашей планеты, ее внешняя твердая оболочка — литосфера состоит из отдельных плит, движущихся по сферической поверхности Земли. Там, где плиты расходятся, раскалываясь по так называемой рифтовой трещине, образуется новый океан, раздвигающий континенты, которые при этом разбиваются на части трансформными разломами. Там, где континенты сходятся, происходит закрытие древних океанов, а на границах столкнувшихся континентов от удара возникают огромные горные хребты.

Именно так случилось около 36 миллионов лет назад, когда в результате сближения Евразии с южными материками, оторвавшимися от суперконтинента Гондвана, закрылся древний океан Тетис, последними остатками которого являются Средиземное и Черное моря. От столкновения материки раскололись на множество мелких плит. Одна из них. — Израильская микроплита, примыкает к Аравийской, отделяясь от нее трансформным разломом Мертвого моря. Так что земля Израиля действительно образует собой микроконтинент в сложном ансамбле Аравийской плиты, напоминающей битую тарелку.

За долгие годы экспедиций мне довелось видеть много разных островов, от арктических — Новая Земля, Вайгач, до антарктических — Кемпбелл, Маккуори, включая Канарские,

Бермудские, Гавайские, Антильские, Азорские и многие другие. Запомнились мне острова с эндемичным растительным и животным миром — Галапагосские с доисторическими ящерами и Тасмания с сумчатыми животными — осколки жизни, исчезнувшей на Земле.

Израиль — остров другого рода. Реликтовая эндемичность географии Ветхого и Нового Завета сочетаются здесь с ростками новых для нас — или основательно забытых — основ человеческой нравственности. Соседствующие здесь рядом могендовид, крест и полумесяц, причудливые сочетания библейской, эллинской, римской, христианской и арабской цивилизаций, смешение людей, животных, языков и растений будят в нас мысли о Ноевом ковчеге во дни грядущего потопа.

А между тем неумолимое движение литосферных плит продолжается. Гудят и сотрясаются земные недра, раскалываемые новыми трещинами. Соединившиеся вместе в северном полушарии континенты снова начинают распадаться. Огромная рифтовая трещина, породившая озеро Байкал, неостановимо отрывает Забайкалье и Дальний Восток от остальной России. Такая же дышащая огненной лавой трещина («Геенна огненная») раскалывает дно Красного моря и продвигается в Акабский залив и далее по впадине Мертвого моря, преображая ее в рифт и отодвигая «Обетованную землю» от Иордании.

Пройдет не так уж много времени на геологических часах, и остров Израиль начнет наконец свое самостоятельное плавание в бурном океане истории Земли и человечества.

Эта трещина тянется мимо вершины Хермона,
Через воды Кинерета, вдоль Иордана-реки,
Где в невидимых недрах расплавы теснятся и стонут.
Рассекая насквозь неуклюжие материки.
Через Негев безводный к расселине Красного моря,
Мимо пыльных руин, под которыми спят праотцы.
Мимо Мертвого моря, где дремлют Содом и Гоморра,
Словно в банке стеклянной соленые огурцы.
Там лиловые скалы цепляются зубчатым краем,
Между древних гробниц проводя ножевую черту.
В Мировой океан отправляется остров Израиль,
Покидая навек Аравийскую микроплиту.
От пустынь азиатских к туманам желанной Европы,
От судьбы своей горькой к неведомой жизни иной
Устремляется он. Бедуинов песчаные тропы
Оборвутся внезапно над пенной крутою волной.
Капитан Моисей уведет свой корабль, неприкаян,

По поверхности зыбкой, от белых барашков седой.
Через этот пролив не достанет булыжником Каин,
Фараоново войско не справится с этой водой.
Городам его светлым грозить перестанут осады,
И над пеной прибоя, воюя с окрестною тьмой,
Загорится маяк на скиде неприступной Масалы,
В океане времен созывая плывущих домой.

Уроки немецкого

Мое открытие Германии оказалось для меня неожиданным, тем более, что случилось оно в весьма зрелом возрасте, когда открытия совершать как будто поздновато. Более тридцати лет странствуя по морям и океанам и объехав почти все задворки планеты, до самого последнего времени я так и не бывал ни разу в Центральной Европе.

Давние мои представления о Германии основывались на двух основных противоположных источниках. Первый — зыбкие воспоминания о немецкой группе Агаты Юльевны из довоенного детства и неожиданно всплывающие в памяти отрывки из стихов Гейне, Гете и Шиллера, которые мы когда-то заучивали в школе на уроках немецкого. Второй, гораздо более основательно засевший в памяти, — война, бомбежки, пикирующие самолеты со сдвоенными черными крестами на крыльях, моя бабушка, закопанная живьем в землю в могилевском лагере уничтожения в 41-м году, метельная блокадная зима с неубранными трупами на улицах Питера. Гора детских ботиночек в Освенциме, где мне довелось побывать в 1966 году. Коричневая фашистская страна, населенная нелюдями, учинившими Холокост и уничтожившими миллионы жизней.

Реальность оказалось иной. Ярким и солнечным днем в начале июля 1996 года наш самолет приземлился в аэропорту Мюнхена. Стараниями моей давней питерской приятельницы Галины. Ковалевой, связанной по работе с немецкими строительными фирмами, я получил официальное приглашение от общества немецко-российской дружбы в Мюнхене выступить с авторским концертом. В программе вечер этот назывался весьма оригинально: «Александр Городницкий — легенда Петербурга».

Приехали мы втроем с Галей Ковалевой и Михаилом Кане и остановились в предместье Мюнхена в доме знакомого Галины Харальда Дзюбы, бывшего крупного руководителя строительства гидротехнических сооружений, пожилого, весьма интеллигентного человека и его обаятельной жены Лиззи.

Сам Харальд в 41-м году был мобилизован в армию и выброшен в составе парашютного десанта под Псковом. Ему однако повезло, — при приземлении он сломал ногу и был госпитализирован. Вылечившись, был послан на Западный фронт, где и попал в плен к союзникам.

Солнечная и светлая Бавария, двухэтажные сельские дома в стиле фахверк с белым низом и черным верхом, окрестные церкви с витыми по-баварски куполами, синие силуэты Альп на

горизонте, контактные и доброжелательные баварцы, наконец, сам роскошный Мюнхен со старинными зданиями, которые были стерты с лица земли англо-американской авиацией и снова восстановлены с чисто немецкой педантичностью, — все это никак не вязалось со стереотипом мрачной вражеской страны из моего блокадного детства.

Эти улыбчивые с благородной сединой загорелые пожилые бармены в шортах и тирольских шляпах с пером, радостно, как неожиданно встреченных друзей, приветствующие нас в маленьких горных ресторанчиках и биргартенах, — неужели и впрямь они воевали когда-то на Восточном фронте, жгли города и села, убивали детей и женщин? Да и была ли в самом деле война? Как трудно в это поверить в таком уютном, стабильном и солнечном мире.

Помню, как я удивился, когда Харальд рассказал нам, что они с Лиззи взяли билеты на концерт симфонической музыки, который предполагался через год. «Как можно так все планировать? А вдруг что-нибудь случится?» «А что может случиться?» — удивился он в свою очередь.

Концерт, на который меня пригласили, должен был состояться в центральном концертном зале Мюнхена Гастайг, с немецкой аудиторией. Это очень меня обеспокоило. Ведь все песни исполнялись на русском языке. За несколько оставшихся дней, благодаря героическим усилиям приятеля Галины Петера Шенкеля, знавшего русский язык и оказавшегося прекрасным переводчиком, для десятка основных песен были составлены подстрочные переводы, которые предполагалось размножить и положить на каждое кресло в зале. Кроме того, Петер любезно обещал перед некоторыми песнями дать со сцены их краткую аннотацию на немецком.

Я со своей стороны, вспомнив уроки средней школы, решил во что бы то ни стало хотя бы одной фразой приветствовать немецких зрителей.

Зал в Гастайге, несмотря на так и не спавшую к вечеру жару, оказался полным, и зрители были одеты в вечерние костюмы. Это повергло меня в некоторое смущение, поскольку сам я обрядился в только что купленную по случаю концерта белую рубаху, рукава которой оказались слишком длинными, и прямо за сценой их пришлось срочно подкалывать. Кстати сказать, Петер Шенкель, со свойственной ему эксцентричностью, вообще пришел на концерт в затертом пиджаке и чуть ли не босиком.

Выйдя на сцену, и стараясь не забыть заученную наперед и отрепетированную с Мишей Кане приветственную фразу, я подошел к микрофону и осипшим голосом сказал, как мне

представлялось, по-немецки, примерно следующее: «Добрый вечер. Извините, но я не говорю по-немецки. Поэтому мне хотелось бы знать, кто из наших гостей не понимает по-русски. Кто не знает русского языка, поднимите, пожалуйста, руку». Добравшись с запинками до конца фразы, я долго вспоминал последние слова, и вдруг, неожиданно для себя, внезапно прорезавшимся голосом заорал в зал: «Хенде хох, битте!» Зрители дружно засмеялись и подняли обе руки, решив, что я пошутил. После этого вечер был обречен на успех.

Второй раз в том же составе мы приехали в Германию в январе 1997 года, когда живущий во Франкфурте-на-Майне мой приятель Борис Телис организовал мое концертное турне по нескольким городам Германии. За три недели мы объездили не менее десятка городов — от Берлина до Дюссельдорфа: На этот раз аудитория была везде русскоязычная и состояла, как правило, из евреев, принятых в Германии на постоянное жительство в качестве частичной компенсации за Холокост. Меня поразило многообразие великолепных ландшафтов, стремительно пролетавших за толстыми стеклами широких вагонных окон, — пенистый и быстрый Рейн со скалой Лорелеи, лесистые склоны Гарца, суровые замки на вершинах холмов, каналы Гамбурга.

В Кельне мы заехали в гости к Льву Зиновьевичу Копелеву, с которым я был знаком с начала 70-х еще по Москве и Пярну, где он в летнюю пору поселялся неподалеку от уже постоянно жившего там Давида Самойлова.

Известный правозащитник и писатель Лев Копелев, ставший прообразом бывшего майора Рубина в повести Александра Солженицына «В круге первом», действительно в 1944 году в Восточной Пруссии, в бытность свою майором, пытался защищать немецких Женщин от изнасилования. За это он получил срок и сидел вместе с Солженицыным в «шарашке». Впрочем, все это прекрасно описано в его собственной книге «Хранить вечно».

В конце 70-х годов его вместе с женой Раисой Орловой принудительно выдворили из СССР, лишив советского гражданства за правозащитную деятельность и публикации в «Тамиздате».

Я хорошо помню его проводы в Москве, квартиру в большом писательском доме на Аэропортовской улице, которая была обложена стукачами. Под окнами стояла гебешная машина с аппаратурой для прослушивания. Тем не менее масса народа пришла прощаться, — ведь тогда думали, что прощаются навсегда. Когда я вошел, Копелев подозвал меня к себе и обняв своей могучей ручищей, запел «Бригантину». Я, естественно, начал ему подпевать. И тут только заметил, что во второй руке он

держит подожженный спичкой советский паспорт и что нас с ним вместе крупным планом снимает немецкое телевидение. «Ну, все, — спекся», — испуганно подумал я, однако песню мы с ним допели до конца.

Лев Копелев был близким другом известного немецкого писателя Генриха Белля, вместе с которым написал работу «Почему мы стреляли друг в друга». В Германии он получил статус почетного гражданина в последние годы работал над Вуппертальским проектом «Немцы в русской культуре за 300 лет и русские в немецкой». Написанная им книга «Святой доктор Гааз» посвящена немцу, который жил в России и лечил заключенных.

Встреча наша в его доме в Кельне в январе 1997 года, к несчастью, оказалась последней. В мае этого же года он внезапно заболел гриппом и скончался из-за осложнения на сердце. Незадолго перед этим в его доме гостил Булат Окуджава, также заболевший гриппом и умерший в Париже. Возможно, что их встреча оказалась роковой.

Хоронили Льва Копелева дважды — первый раз в Германии, а второй — в Москве, где урну с его прахом захоронили на кладбище Донского монастыря. В этот день я написал стихи его памяти.

Прими венок мой скромный к изголовью
Перед уходом в плаванье большое,
Почетный немец с иудейской кровью
И русского доверчивой душою…
…Библейский старец с детскими глазами.
Бывалый зэк, себя судивший строго,
Ты перед Богом выдержал экзамен,
С рождения не признававший Бога.
Но в дальних неопознанных пределах.
Над звездною распутицею млечной,
Пылится неоконченное дело
С пометкою на нем: «Хранится вечно».

Там же в Кельне журналистка Хильда Хайдерзам подарила мне книгу о русской авторской песне, где был опубликован немецкий перевод песни «Атланты».

Через несколько дней после этого у меня был концерт в Берлине в Русском культурном центре. Зал на три четверти состоял из русских евреев, которые, чувствуя себя хозяевами положения, шумно переговаривались смеялись, пересаживались с места на место. Примерно одну четверть составляли немцы, в

основном студенты-слависты, изучающие русский язык. Они, не в пример евреям, вели себя крайне скромно. Вечер уже подходил к концу, когда я, вдруг вспомнив, что у меня под рукой есть немецкий перевод песни «Атланты», решил почтить немецких гостей и спеть эту песню по-немецки. Однако я недооценил звучание жесткого немецкого текста на мою мелодию.

Ganz wenn dir vor Schmerz und Sorgen
Und kalt ist in der Brust,
Dann weist du, das du morgen
Zur Ermitage gehn must,
Wo ohne je zu klagen.
Nun schon jahrhundertlang,
Atlanten muhsain tragen
Den Himmel in der Hand.

Как только я стал петь песню с листа по-немецки, то заметил краем глаза, что в зале начали происходить странные изменения. Евреи, которые только что чувствовали себя вполне вольготно, вдруг перестали смеяться, замолчали и принялись боязливо озираться, как будто ожидая новой «хрустальной ночи». Немцы же, наоборот, оживились, начали улыбаться, переглядываться, бить друг друга по плечу и привставать со своих мест. Мне сразу вспомнился эпизод из гениального фильма «Кабаре», когда мальчик чистым голосом начинает петь народную песню, а к концу она преображается в фашистский гимн. Испугавшись, я перешел на русский язык, и все встало на место.

Попав в начале 1997 года в промышленную провинцию Рейн-Вестфалия, в соседствующие города Вуппераль, Дортмунд и Дюссельдорф, я с удивлением обнаружил там крепкие, хотя и не слишком многочисленные клубы самодеятельной песни, созданные выходцами из недавнего СССР. В Вуппертале, где, как оказалось, регулярно проходят «всегерманские фестивали русской бардовской песни», клубом руководит бывший майор Советской Армии Юрий Томилин. В этом клубе активно участвуют многие исполнители и авторы. В их числе — Татьяна Синицына, ставшая в последние годы регулярной участницей Грушинского и других российских фестивалей.

Уже позднее, в 1998 году в Берлине, мне довелось познакомиться еще с одним из лидеров движения КСП в Германии — Ильей Тимаковым, возглавляющим берлинский бард-клуб «Берлога». Справедливости ради следует отметить, что здесь, совсем как в России, отношения в клубах не всегда простые, часто в одном городе возникают два альтернативных

клуба, неизвестно почему соперничающие между собой. Ни Берлин, ни Вуппераль этого не избежали.

В последние годы заметное место среди германских клубов самодеятельной песни занял Ганновер, где клубом руководит Злата Лихтенман, приехавшая вместе с родителями из Ташкента, где теперь хозяйничают узбекские националисты. Она поведала мне, как ректор одного из институтов, прибыв с инспекцией на физический факультет, показал пальцем на портрет Ньютона и спросил сопровождающих его лиц: «Кто это такой?» «Исаак Ньютон», — ответили ему. «Исаак? — насторожился начальник. — А что он сделал для узбекского народа?» И портрет сняли.

В Ганновер мне приходилось попадать неоднократно. В последний раз мы были там с группой бардов, принимавших участие в плавании на яхте «Банъярд» из Бремерсхафена. Я уже вспоминал, что в Бремерсхафене мы попали на Всемирный фестиваль парусников и побывали на моем родном «Крузенштерне». Там же мы побывали в гостях на русском паруснике «Штандарт», который был построен группой питерских энтузиастов как точная копия военного корабля петровского времени, с которого когда-то начинался русский военный флот. После этого вся наша группа, — Галина Хомчик, братья Мищуки, Леонид Сергеев, Константин Тарасов и я — отправились в Ганновер в гости к тамошнему клубу самодеятельной песни, где состоялся большой концерт и собрались тамошние активисты из всех окрестных городов.

С каждым годом укрепляется клуб во Франкфурте-на-Майне, где душой КСП стала Анна Белякина.

Русские клубы самодеятельной песни в Германии понемногу растут, постоянно пополняемые узким ручейком еврейской эмиграции и отчасти — русскоязычной немецкой. В 1997 году на берегу Вуппера, например, состоялся «Третий всегерманский слет авторской песни», а в Берлине в Шоенхольце бард-клуб «Берлога» в традиционной форме слета провел «Первый международный фестиваль авторской песни «Русский акцент»».

Сейчас регулярно выходит газета — информационный дайджест «Авторская песня сегодня» («АП-острофф»), которая в декабре 2000 года учредила ежегодную премию в виде трехнедельной поездки с концертами по городам Германии для авторов, ранее там не выступавших. В газете публикуется «бард-афиша» и вся информация, связанная с авторской песней в Германии.

Все это не случайно. В Германии, так же, как и в Израиле и других странах с многочисленной русской эмиграцией, именно

авторская песня стала символом русской культуры, русского языка, причастности к покинутой Родине. Характерно, что в семьях, где увлекаются авторской песней, дети не утрачивают русский язык и не презирают родителей, отстающих от них в освоении языка новой среды обитания. С началом массовой эмиграции из России русская авторская песня буквально охватила весь мир, образовав как бы единое глобальное песенное пространство.

В 2001 году в Ганновере состоялся зимний слет КСП, посвященный памяти талантливого барда Виктора Шнейдера, жившего в Мюнхене и внезапно погибшего в возрасте двадцати девяти лет при катании на горных лыжах под Бостоном. Поэт, переводчик, прозаик, бард, переехавший в Германию из Питера, он успел выпустить две книги стихов, свидетельствующие о его безусловной литературной одаренности:

Новые стихи не лучше старых.
Может быть, немного совершенней,
Но написаны вослед свершений
И напоминают мемуары.

Виктор учился в Геттингенском университете и по специальности был биохимиком.

В 1999 году он стал лауреатом интернационального конкурса Тенета за переводы немецкого поэта Герхарда Тенцера. Виктор Шнейдер успешно переводил Генриха Гейне и других классиков немецкой поэзии. Он писал также повести, рассказы, публицистику. Его перу принадлежат оригинальные эссе о «Гамлете» и «Докторе Живаго». Одна из последних заметок Виктора посвящена полемике с упомянутой выше статьей Дмитрия Сухарева, вызвавшей у него негативную реакцию. Вот цитата из этой заметки:

«Оказывается, что советская власть боролась с русским мелосом, а насаждала вместо него мелос еврейский. Кроме фамилий лучших советских композиторов-песенников подтверждений этой гипотезе нету, но академик Сухарев с удивительной смелостью пренебрегает фактами. Получается, будто бы Клавдия Шульженко была принесена в жертву Марку Бернесу. Причем если русский народный дух репертуара первой очевиден, то еврейство второго выразилось в искусстве разве что в роли солдата из фильма «Два бойца». «Еврейский мелос проявил еще одно полезное свойство — экспортный потенциал», — сообщает Сухарев, невольно подкрепляя тезис о культурной экспансии малого народа в большем своего коллеги

по Академии мифом о международности этого кагала».

Что же касается других достойных упоминания авторов, живущих в Германии, то их оказалось довольно много, особенно если учитывать «процент на душу населения». Среди них Людмила Барон, Николай Бень, Марина Белоцерковская, Марина Гершенович, Евгения Голосовская, Семен Кац, Манана Менабде, Алексей Петров, Борис Серегин, Яна Симон, Татьяна Синицына, Дмитрий Сорокин, Сергей Сусло, Константин Шнайдер. Подозреваю, что это далеко не полный список.

В январе 1997 года во время концертной поездки по Германии я впервые попал в Гамбург, который сразу же поразил меня сходством с моим родным Питером. Сходство это, впрочем, было неслучайным. Петр I, в бытность свою в Европе, в Амстердаме и Гамбурге, и очарованный их каналами и гаванями, старался строить Санкт-Петербург по их образу и подобию. К моему удивлению, оказалось, что по числу мостов Гамбург значительно превосходит Амстердам, Венецию и Санкт-Петербург, вместе взятые.

На перроне вокзала нас встречала очень красивая брюнетка с большими глазами, державшая в руке букет цветов. Подойдя ко мне, она сказала: «Я вас ждала всю жизнь». «Если бы я знал об этом, то обязательно приехал бы раньше», — улыбнулся я.

Муж Натальи Касперович (так звали встречавшую нас красавицу) Анатолий Контуш приехал сюда вместе с ней из Одессы, где в свое время занимал видное место в КВН в «Клубе одесских джентльменов». Талантливый биофизик, он работал в лаборатории в университетской клинике Эппендорф в Гамбурге. Сама Наташа родилась и выросла в Баку (она и похожа на первый взгляд скорее на азербайджанку), училась в Москве, где по окончании университета успела немного поработать на телевидении, потом вышла замуж и переехала в Одессу, откуда семь лет назад вся семья перебралась в Гамбург.

Ее приветственная фраза не была лишена оснований, — она действительно с раннего детства увлекалась моими песнями и именно поэтому взялась организовать мой концерт в Гамбурге. В то время она работала в еврейской общине, где занималась с детьми русским языком и ухитрилась поставить устный спектакль по моим стихам и песням.

Я несколько раз видел этот самодеятельный спектакль, в котором были заняты девочки и мальчики от 8 до 15 лет, нередко изрядно позабывшие русский и говорившие с акцентом. Песни они, впрочем, пели довольно чисто, запоминая их на слух. Картина была порой удивительная: на сцене стоят дети, уже частично утратившие русский язык, и бесстрастными голосами

поют мои песни, а в зале сидят родители, хорошо знающие русский, и вытирают слезы.

Вскоре после нашей встречи Наташа перешла работать в маленькую частную телевизионную компанию «Lighthouse Production» под руководством молодого немца Арне Васмута. Голубоглазый и белокурый, по-баскетбольному высокий, Арне, выглядевший типичным арийцем, происходил из богатой и знатной семьи. Дедушка его в свое время работал в разведке, и Арне не без гордости показывал в альбомах старые фотографии своих предков, в том числе и в печально памятной моему поколению форме гитлеровской армии. Более всего Арне был привязан к своей девяностотрехлетней бабушке-графине, которую чтил и изрядно побаивался. Где бы он ни находился — в Германии, России или Турции, — он каждый день по многу раз звонил ей, постоянно советуясь по всем житейским вопросам.

Крошечная фирма Арне, весь штат которой состоял из трех человек, работала по контрактам с крупными телевизионными компаниями, предлагая свои проекты. С появлением в фирме Наташи существенное место в съемках сразу стали занимать русские проекты. Летом 1997 года они с Арне впервые приехали в Москву снимать телевизионный фильм о русских разведчиках. Будучи строго проинструктирован бабушкой, много наслышавшейся о грозном советском КГБ, Арне в первое время буквально боялся выйти на улицу, но постепенно освоился.

Его явно нерусская внешность, высоченный рост и привычка все время разговаривать по мобильному телефону постоянно привлекали к нему внимание окружающих. Самое длительное телефонное общение с бабушкой он решил провести, когда, прогуливаясь по центру, увидел на площади большое красивое здание, возле которого было относительно безлюдно. Прислонившись к стене у одного из закрытых подъездов, Арне тут же достал из кармана мобильный телефон и позвонил в Гамбург бабушке. «Бабушка, не волнуйся. Москва очень красивый город, и никакого КГБ здесь нет. Я стою возле очень красивого светлого здания». В этот момент к нему подошел милиционер и потребовал документы, поскольку, как оказалось, Арне стоял как раз у подъезда «Большого дома» на Лубянке.

Случались и другие казусы. Однажды в Елисеевском магазине к нему подошел подросток с лицом дауна, дружелюбно улыбнувшись, поднял руку в фашистском приветствии и закричал: «Хайль Гитлер!» Арне испугался и выскочил из магазина на улицу. В другой раз, тоже в каком-то магазине, к ним с Наташей подошли два парня и презрительно сказали: «Ты же немец, зачем ты с жидовкой связался?» Несколько дней спустя

они снимали меня с песней «Чистые Пруды» возле Покровских ворот. Установили камеру, и Наташа попросила одного из прохожих обойти дорожку стороной, чтобы не мешать съемке. «Буду я еще всяким жидам уступать», — неожиданно заявил он.

В 1998 году в кафе «Планета Голливуд», где они снимали жизнь современной московской молодежи для другого фильма, Наташа предложила Арне пари на бутылку шампанского, что и здесь обязательно будут антисемитские выходки. Они уже выходили из кафе, и Арне потирал руки в предвкушении выигрыша, полагая, что на этот раз все обошлось. В гардеробе возле зеркала стояли два молодых парня, один русопятый блондин, другой с раскосыми глазами, похожий на казаха. Когда Наташа и Арне проходили мимо, второй громко сказал первому: «Уйдем отсюда. Здесь русских людей вообще нет — одни жиды».

Эти каждодневные проявления открытого антисемитизма, никем не осуждаемые и не запрещаемые, крайне расстраивали Арне, не привыкшего к этому в современной Германии.

В 1997 году, снимая телефильм о шпионах, они попали в гости к очень ветхому, но крайне доброжелательному старичку. Старичок много лет был разведчиком в Германии и прекрасно знал немецкий. Достав из стола старую затертую папку с грифом «Совершенно секретно», он долго рассказывал, с кем и против кого работал в 30-е и 40-е годы. Фамилию дедушки Арне, своего давнего противника, он тоже, конечно, вспомнил.

Когда гости обратили внимание на роскошь огромной, уставленной богатой мебелью квартиры, хозяин скромно сказал: «Так живут все советские люди». Когда его спросили о сталинских репрессиях, он ответил, что лично он ни о каких репрессиях ничего не знает, — скорее всего, это выдумки буржуазной прессы. «Ну как же, — возразила Наташа, — вот моего дедушку в тридцать седьмом году расстреляли. Ему было всего тридцать два года». Глаза улыбчивого и благодушно старичка сразу стали цепкими и злыми, как будто через маску вдруг проглянуло другое лицо. «Как ваша фамилия?» — спросил он жестким голосом допрашивающего.

С Наташей, впервые за восемь лет приехавшей в Россию, из-за ее яркой кавказско-семитской внешности и полного отсутствия российских навыков, тоже время от времени возникали проблемы. Например, в метро ее буквально на каждом шагу хватали бдительные милиционеры как «лицо кавказской национальности» и требовали предъявить паспорт, видимо, принимая за чеченскую террористку.

В июле 1997 года она прилетела в Москву, чтобы отправиться вместе со мной в Самару на Грушинский фестиваль. Войдя к нам

в дом в чрезвычайно модной парижской шляпке и каком-то немыслимом европейском костюме, она сказала: «Я надеюсь, что в отеле на фестивале будет какой-нибудь душ». Пришлось срочно переодевать ее в кроссовки, штормовку и по возможности затертые джинсы.

Дорога на фестиваль также оказалась не простои. Нижние полки в нашем купе занимали наркоманы, которые, как выяснилось, тоже ехали на фестиваль «покейфовать и поколоться». Я мирно уснул на своей полке и только утром обнаружил, что Наталья за всю ночь не сомкнула глаз от страха.

И на самом фестивале, где она наняла от фирмы для съемок телевизионного оператора из Тольятти, тоже не обошлось без происшествий. В один прекрасный день, проходя по поляне, я обратил внимание на обступившую кого-то плотную толпу мужчин, в том числе подвыпивших. Протиснувшись внутрь, я увидел Наташу, которая, как выяснилось потом, решила произвести расчеты со своим оператором. Прямо на глазах восхищенной публики, под жадными взглядами мужиков она доставала из-за роскошного корсажа стодолларовые бумажки и передавала их оператору.

Несколько позже оператор подошел ко мне и смущенно сказал: «Александр Моисеевич! Она заставляет меня снимать все подряд, в том числе горы пустых бутылок из-под водки. Ну она иностранка, понятно, но мы-то с вами — русские люди, зачем нам позориться?» «Правильно, — улыбнулся я, — не снимайте». Опасения наши были напрасными, поскольку пленка «Бетакам», купленная в Тольятти, оказалась бракованной, и все съемки пошли насмарку.

Забегая вперед, хочу вспомнить другую историю, связанную со съемками немецкого телевидения в Москве. В феврале 1999 года, в год двухсотлетнего пушкинского юбилея, в Москву прибыла большая съемочная группа делать фильм о Пушкине. Возглавлял группу режиссер Раймонд Кусерофф. Меня попросили быть консультантом и гидом по пушкинским местам в Москве. Начали мы с бывшей Немецкой улицы — почти напротив нынешней станции метро «Бауманская» находился прежде дом, где, по наиболее вероятной версии, родился Пушкин. Теперь там здание школы, перед которой стоит небольшой бюст юного поэта. Шел мелкий февральский снег. Операторы расположились возле бюста и начали снимать.

В этот момент подъехал экскурсионный автобус с большой группой школьников во главе с учительницей. Как выяснилось из разговора, это были четвероклассники и пятиклассники из 16-й московской школы для трудных детей. Подойдя к памятнику,

дети хором стали читать: «У Лукоморья дуб зеленый».

Я вступил с ними в разговор: «Ребята, за что вы любите Пушкина?» Маленький светловолосый мальчик, блестя отважными голубыми глазами, ответил: «За то, что он был очень храбрый человек. Ведь Дантес был моложе его и гораздо сильнее. А он не побоялся вызвать его на поединок». (Эта неожиданная мысль никогда не приходила мне в голову.) «А ведь плохо, что Дантес убил Пушкина?» — спросил я. «Плохо, плохо!» — дружно закричали дети, не ожидая подвоха. — «А было бы лучше, если бы Пушкин победил в поединке и убил Дантеса?» Наступило неловкое молчание. Школьники явно растерялись. Потом худенькая девочка, глядя в сторону, тихо сказала: «Нет, все-таки плохо». «Почему? — наседал я. — Ведь Пушкин бы остался живым». «А Пушкин, — запинаясь и с трудом подбирая нужные слова, ответила она, — а Пушкин никого не должен убивать. Лучше бы они помирились, и дуэли бы не было». И все ребята облегченно засмеялись и дружно захлопали в ладоши. Я был потрясен этим точным детским пониманием несовместимости гения и злодейства, недоступным многим взрослым людям.

В тот же день на Красной площади Раймонд нарядился в цилиндр и крылатку, приклеил бакенбарды и стал прогуливаться возле Спасской башни, изображая Пушкина. Его снимали скрытой камерой, чтобы не привлекать прохожих. Тем не менее довольно скоро подошел милиционер. «Кто этот сумасшедший?» — строго спросил он. «Вы что, не видите, что это Пушкин?» — возмущенно ответил ему русский оператор Дмитрий Благоверов. «Ну, так бы сразу и сказали», — смутился милиционер и мирно удалился.

Возвратимся снова в 1997 год. Тогда, приехав в Гамбург, Арне и Наталья подали в телекомпанию NDR проект фильма о русской авторской песне, в котором должен был сниматься я, в связи с чем планировался мои приезд в Германию в начале ноября. Но судьба расчислила иначе.

Во второй половине августа в поселке Красновидово, где мы с женой снимали на лето квартиру в писательском поселке, я выкупался в уже по-осеннему холодной Истре. Через несколько дней у меня заныла поясница, но я не придал этому особого значения, приняв боли за обычный радикулит. 12 сентября (эту дату я запомнил) я приехал на машине на работу на заседание Ученого совета и, вылезая из-за руля, ощутил резкую боль в левой ноге. С трудом добравшись до телефона, я позвонил жене, поскольку передвигаться без посторонней помощи не мог. Невропатолог в академической поликлинике выписала мне бюллетень и порекомендовала натираться мазями, однако ночью боль усилилась, стала постоянной и нестерпимой, и приехавшая

«скорая» отвезла меня в отделение невропатологии в нашу академическую больницу в Узком.

Двадцать дней и бессонных из-за боли, которую так и не смогли снять, ночей, проведенных там, наглядно показали мне катастрофически бедственное состояние нашей нищей и беспомощной медицины. Никаких лекарств в больнице не было, — их надо было искать и покупать в аптеках по чудовищным ценам. Все попытки поставить мне капельницу ни к чему не привели, так как капельницы были неисправными. Истыкав толстенными иглами вены на обеих моих руках и доведя их до полного посинения, сестры оставили это неблагодарное занятие.

В первый же день мне сделали рентген позвоночника, и к вечеру ко мне в палату вошел один из лечащих врачей со снимком в руках. «Вообще-то нам запрещено это делать, — грустно сказал он, — но я считаю, что вы человек мужественный и должны знать правду. У вас в легком, по всей видимости, саркома. Посмотрите». С этими словами он протянул мне рентгенограмму, на которой в области правого легкого отчетливо проступало большое пятно. Меня бросило в озноб. В этот день как раз была пятница, и уж не помню как я дожил до понедельника. Помогала только боль, заглушавшая всяческий страх. Через два дня меня повезли на повторный рентген и заявили, что пленка была бракованной и с легкими все в порядке.

Отделение невропатологии, в которое меня поместили, занималось в основном реабилитацией больных, перенесших инсульт. За стенкой, в соседней палате время от времени кричал и страшно матерился какой-то несчастный академик, не оправившийся после инсульта.

Надо отдать должное врачам, которые из всех сил старались мне помочь. Меня кололи иглами, возили на физиотерапию, пару раз меня тряс мануальщик. Ничего не помогало. Только после этого решили, что надо бы сделать ядерно-резонансное исследование позвоночника. Своей установки в больнице не было, и меня по большому блату за доллары возили на машине в кремлевскую клинику. Исследование показало, что у меня межпозвонковая грыжа, очень неудачно придавившая какие-то нервные узлы и центры.

Кто-то из умельцев сказал мне, что уменьшить боль можно, если лежать на спине с поднятыми на табуретку ногами, и я несколько дней провел в этом дурацком положении. Специалистов-спинальщиков в клинике не было. Пока я скучал в больнице, бедная моя жена обивала пороги московских светил в разных клиниках. «Надо оперировать, — говорили хирурги. —

Если вы не сделаете этого, он останется инвалидом и не сможет двигаться». «Только не операция, — авторитетно заявляли невропатолог. — После операции, как правило, бывают рецидивы, и все будет еще хуже. Да и процент успешных операций у нас очень невысок».

В этот критический момент неожиданно пришла помощь с немецкой стороны. Я уже упоминал, что муж Наташи Касперович Анатолий Контуш работал в лаборатории клиники Эппендорфского университета. В лаборатории велись исследования по изучению липидов в крови, наследственных заболеваний, влияния на кровь витаминов, неизлечимой болезни Альцгеймера и так далее. Руководила лабораторией профессор Ульрика Байзигель, молодая, на редкость энергичная и привлекательная женщина, носившая короткую прическу и приезжавшая на работу на велосипеде. Несмотря на молодость, она пользовалась в клинике неоспоримым авторитетом.

Благодаря активному вмешательству в ситуацию Наташи Касперович и Ульрики Байзигель удалось договориться, что меня положат в клинику для обследования на предмет определения необходимости операции. Мой друг Владимир Лукин обратился с письмом к немецкому послу, и мне буквально за два дня оформили немецкую визу. Ничего этого я, лежа в больнице, не знал и поэтому очень удивился, когда утром 30 сентября у меня в палате неожиданно возник сотрудник моей лаборатории Леша Горшков с каталкой и объявил, что меня немедленно везут на самолет. Так, прямо в больничной пижаме, с трудом переодевшись в машине, я отправился сначала домой за женой, а затем в аэропорт «Шереметьево-2», откуда санрейсом «Люфтганзы» мы вылетели в Гамбург.

Когда меня на больничной каталке выкатили в Гамбурге в зал ожидания, друзья, с которыми мы виделись лишь месяц назад, меня не узнали. Сморщившийся от боли, я был похож на груду серого тряпья. В клинике, куда меня привезли около 10 вечера, тут же была вызвана дежурная бригада диагностики. Посмотрев диаграмму ядерно-резонансного исследования, сделанного в кремлевской клинике, хирурги заявили: «Брак. Срочно повторить обследование».

Где-то к полночи все нужные обследования были закончены, и ведущий хирург с печальными итальянскими глазами — Лучо Папавера через Наташу, игравшую роль переводчицы, объяснил мне, что операцию делать совершенно необходимо и очень срочно, поскольку выскочивший позвоночный диск искрошился, И у меня в запасе всего несколько часов — может наступить общее отравление организма. После этого я подписал бумаги, что на

операцию согласен и в случае нежелательных последствий всю ответственность беру на себя. (Аккуратная немецкая медицина всегда не забывает застраховать врача от больного.)

Операция состоялась на следующее утро под общим наркозом и заняла около пяти часов, которых я, уснув после анестезии, сделанной говорившим по-русски сербом, конечно, не заметил.

Меня спасли немецкие врачи
В одной из клиник Гамбурга сырого.
Мой позвоночник разобрав и снова
Соединив его, как кирпичи.
Я перед этим твердо осознал:
За двадцать дней бессонницы и боли
Подпишешь ты признание любое.
Как вы — не знаю, — я бы подписал.
Меня спасли немецкие друзья.
Снабдивши визой, авиабилетом,
И объяснив жене моей при этом,
Что часа медлить более нельзя.
И если Бог мне даст еще здоровье.
Я буду помнить на своем веку
Красавицу Наташу Касперович,
Погромы пережившую в Баку,
И Вас, профессор Ульрика Байзигель,
С кем были незнакомы мы почти,
Которая чиновникам грозила.
Чтоб не застрял я где-нибудь в пути.
В дождливой атлантической ночи,
Пропитанной настоем листопада,
Меня спасли немецкие врачи.
Блокадного питомца Ленинграда.
И город, что похож на Ленинград,
Я полюбил порой осенней поздней, —
Где громкие слова не говорят.
Поскольку делом заняты серьезным,
Чугун мостов на медленной реке.
Где наводнений грозные отметки,
И пусть не слишком знаю я немецкий, —
Мы говорим на общем языке.

Когда я пришел в сознание после операции, ко мне в палату заявилась оперировавшая меня бригада хирургов во главе с Лучо Папавера, который спросил, есть ли у меня вопросы. Оказалось, что таков общий порядок. Голова моя еще плавала в тумане, и

мой первый и основной вопрос вышел из подкорки: «Скажите, доктор, такая сложная операция, и все рядом. Останусь ли я мужчиной?» Когда Наталья перевела мой вопрос. Папавера долго хохотал, поскольку, как он объяснял потом, ему больные никогда прежде таких вопросов не задавали. Обычно спрашивают — выживу или нет, будет паралич или не будет и тому подобное. «Передайте герру профессору, — сказал он, — что он быстро пойдет на поправку: у него на редкость здоровая психика».

Металлические скобы со шва на моей спине сняли на третий день, и уже на четвертый день меня перевезли из больницы на квартиру Ульрики Байзигель, которая, уехав на научную конференцию в Париж оставила моей жене ключи от своей квартиры, хотя мы с ней тогда были почти незнакомы. У меня были довольно веские причины не задерживаться в больнице: каждый день пребывания в ней стоил около 500 долларов.

Поскольку долгое время после операции я мог только лежать или стоять, то переезд на машине, да еще низенькой немецкой малолитражке, где надо было сгибаться, оказался весьма сложным мероприятием. Арне Васмут, который меня перевозил из больницы, сильно загрустил, поглядев на меня, и сказал потом Наташе. «Ты что думаешь, что его можно будет снимать в кино? Это же живой труп. Плакали мои денежки!»

Папавера сказал, что боли в правой ноге пройдут через три-четыре дня, но они не прошли и через неделю. Не в силах заснуть от боли, я ходил по пустой квартире, за окнами которой бушевали атлантические ветры, несущие шквальные холодные дожди. Испуг охватывал меня. Вот сделали операцию, и ничего не прошло. Что же будет? Только на третью неделю боли стали понемногу ослабевать и уходить. К этому времени мы с женой переселились от Ульрики в дом к Наташиной матери Неле, на редкость доброй и душевной женщине года на три моложе меня, которая, как оказалось, тоже была когда-то геологом.

Преодолевая боль, я начал понемногу «расхаживать» больную ногу, сначала с палкой, поскольку сильно хромал, потом — без нее. Примерно через три недели после выхода из больницы мы смогли приступить к съемкам, приятно удивив и успокоив Арне.

Что же касается доброжелательности и отзывчивости немецких врачей, с которыми мне многократно пришлось встречаться впоследствии, то вопреки Нашим заскорузлым представлениям о расчетливости и холодности немцев, она оказалась поистине удивительной. Так, через месяц после операции, в Дортмунде, где меня неожиданно прихватил нешуточный приступ гипертонии, первый попавшийся врач, к которому я обратился, и его жена, работавшая медсестрой в его

маленькой амбулатории, сделали мне необходимые уколы, снабдили грудой весьма дорогостоящих лекарств и категорически отказались брать деньги. Я уже не говорю о замечательных врачах Эппендорфской клиники: профессорах Байеле и Уланде, докторах Ангелине Гудхофф и Александре Манне, многократно помогавших мне в трудных ситуациях.

Кстати, в немецких поликлиниках меня поразила и такая мелочь, — врач выходит из своего кабинета к каждому очередному больному и обязательно протягивает ему руку. В аптеке все больные, имеющие страховку (а в Германии страховку имеют практически все), платят за лекарство не более десяти марок независимо от его реальной стоимости.

Слегка оправившись после операции, по просьбе гамбургской еврейской общины я решил устроить шефский авторский концерт в гамбургской синагоге. Зал был переполнен, тем более что вход был бесплатный. Собралось более 800 человек, и смотрители беспокоились, не рухнет ли балкон. Концерт шел успешно, и я был весьма горд своим благородным поступком, однако продолжалось это недолго. После концерта в комнату за сценой ворвалась огромного роста еврейка, таща за собой за руку низенького мужа. Кинув негодующий взгляд на пустой стол, она возмущенно заявила: «Хаим, я так и знала, — фуршета не будет».

Евреи, приезжающие на постоянное жительство в Германию из России, обеспечиваются весьма ощутимой социальной поддержкой, бесплатным жильем, медицинской помощью и так далее. Но не все так просто. В ноябре 1997 года Арне и Наташа начали снимать серию коротких телефильмов о семьях эмигрантов, живущих в Германии. Они успешно сняли индийскую семью, итальянскую, ливанскую, турецкую, греческую, сербскую. Не смогли найти только еврейскую. Все евреи, к кому они обращались, отказывались сниматься, боясь «засветиться» по телевидению.

Так просто на этом причале
Укрыться с течением дней
От глаз своих в вечной печали,
От русскоязычных корней.
В других раствориться незримо
И стать европейцами вновь,
Как будто и впрямь растворима
Густая еврейская кровь.

В четвертый раз мне довелось попасть в Германию примерно через год, в ноябре 1998 года, когда в Израиле в издательстве

«Беседер» вышла из печати книга моих избранных стихов и песен «Атланты держат небо». На этот раз я приехал по приглашению еврейских общин Германии для презентации книги и выступлений в связи с годовщиной Холокоста, начало которого приурочено к печально известной «хрустальной ночи» 9 ноября 1938 года. Именно тогда начались поджоги синагог и массовые убийства евреев. После первых погромов наступило недолгое затишье. Гитлер и Геббельс внимательно следили за реакцией мировой общественности. Общественность промолчала, и начался массовый геноцид евреев, который привел к истреблению шести миллионов человек.

Группа Арне должна была снять большой фильм обо мне для немецко-французской программы телевидения «АРТЕ». Основные съемки планировались в Берлине. Арне к этому времени начал понемногу изучать русский язык и даже пытался напевать какие-то мои песни.

Помню, накануне съемок мы вместе с операторами, тоже русскоязычными, собрались у него в его ультрасовременной квартире на последнем этаже высокого дома без лифта (в старых домах в Гамбурге лифтов нет), чтобы обсудить их последовательность. Когда обсуждение закончилось, он поставил на стол бутылку шведской водки «Абсолют», однако закуски никакой не было. «Have you some snack?» — спросил я его по-английски. «Minute», — улыбнулся он и вышел. И через несколько минут принес большое блюдо с бутербродами и водрузил его на стол, напевая на мотив «Снега»: «Snack, snack, snack, snack…»

Загрузив аппаратуру, мы отправились в Берлин из Гамбурга на стареньком «вэне», у которого по пути дважды отваливалась боковая дверца. Берлин, огромный, величественный и по-имперски холодный, совершенно не похожий на другие уютные и компактные немецкие города, с широкими столичными улицами, огромными зданиями и монументами (Рейхстаг, памятник Бисмарку, Бранденбургские ворота, триумфальная колонна со статуей Ники), чем-то напомнил мне Москву при всей несхожести этих городов. В тот год Берлин представлял собой гигантскую стройплощадку. Весь он был перегорожен котлованами, заборами, башенными кранами. Его срочно перестраивали под столицу объединенной Германии, залечивая язвы социалистической поры.

Кстати о язвах. Неоднократно перемещаясь поездом или машиной в Германии из западных областей на территорию бывшей ГДР, я всегда обращал внимание на неуловимое изменение ландшафта. Разбитые, плохо ухоженные дороги, у обочины которых нет-нет да и заметишь ржавеющий комбайн или трактор советского производства, нищие сельские домишки,

убогие блочные пятиэтажки хрущевского типа, руины зданий, так и не восстановленных с самой войны. И это в трудолюбивой и чистенькой Германии! Сколько же десятилетий надо, чтобы изжить это в России?

Среди прочего в Берлине надо было провести съемку на самом большом еврейском кладбище Вайсензее. Мне об этом ничего не сказали. Утром я вышел из гостиницы к машине, где уже ждали операторы. Было холодно. «Пойду возьму куртку», — сказал я Наташе. «Не надо, — заявила она, — мы все равно едем на кладбище». «Но я не хочу на кладбище», — возразил я. «Надо», — жестко отрезала Наталья. «Господи, Наташа, подумай, что ты говоришь», — вмешался в этот странный диалог оператор.

На огромном кладбище Вайсензее, по странной случайности не разгромленном, как все остальные, при Гитлере, я обратил внимание на четкие ряды одинаковых могил с воинскими званиями над еврейскими именами. Здесь, как оказалось, лежат евреи, погибшие за Германию во время Первой мировой войны 1914–1918 годов. Я вспомнил, как в 1968 году в Париже, во Дворце инвалидов нам показывали мемориальную доску в память французских солдат еврейского происхождения, погибших в ту же войну за Францию. С грустью вспомнил я и поросший мхом, покосившийся надгробный камень над могилой лейб-гвардии фельдфебеля Шимон-Черкасского на Казанском кладбище в Царском Селе.

Руководитель берлинской еврейской общины, самой большой в Германии, Иосиф Варди организовал мои концерты в Берлине, Дрездене и Потсдаме, которые тоже вошли в фильм. В Потсдаме поздно вечером в пустынном ресторанчике мы столкнулись с мрачной компанией бритоголовых «качков». Выяснилось, что это местные нацисты, родные братья наших баркашовцев, которые, хотя и не так явно и безнаказанно, начали поднимать голову в Германии. Весьма характерно, что происходит это в основном на территории бывшей Восточной Германии, где нацистские молодежные партии формируются в основном из членов бывшего гедеэровского комсомола «Freie Deutsche Jugend».

Что касается общности коммунистической и фашистской идеологии, на которую обратил внимание еще Василий Гроссман в своем романе «Жизнь и судьба», то она, увы, не случайна.

Упомянутый выше Е. Г. Эткинд в своей книге о советской поэзии, сравнивая коммунистические советские песни 30-х годов с нацистскими, пишет об их глубоких аналогиях: «Людоедские режимы обоих тоталитаризмов странно походят друг на друга».

В марте 2001 года в Гамбурге в русском журнале «Гамбургская мозаика» я прочел статью моею давнего приятеля

по Питеру, одного из первооснователей песенного клуба «Восток» Владимира Фрумкина, много лет живущего в Вашингтоне и работающего на радио «Голос Америки». Статья называлась «Раньше были мы марксисты» и посвящена песенной связи двух социализмов.

Например, знаменитая любимая Лениным песня «Смело, товарищи, в ногу», написанная поэтом Леонидом Радиным в конце прошлого века в одиночной камере Таганской тюрьмы, ставшая в годы Гражданской войны коммунистическим гимном, немецкая версия которой была создана видным дирижером коммунистом Германом Шерхеном, в конце 20-х годов была дружно подхвачена штурмовиками, лишь в слегка подредактированном варианте. Молодым коричневорубашечникам нравилась ротфронтовская песня, полная громких фраз о темном прошлом, светлом будущем, презрении к смерти, жажде битвы, всеобщем братстве и свободе.

В этой песне как в капле воды отобразилась интонационная и ритмическая общность двух неразличимых как близнецы тоталитарных идеологий: «Свергнем гнет буржуазного государства богачей, разобьем цепи, выведем Германию из нужды, уничтожим врагов!» Разница была только в именах вождей и врагов да в терминах.

Главный ритм, под который росли и крепли и фашистская Германия, и ленинско-сталинская Россия, это ритм «смелого бодрого революционного марша». Не зря в качестве эпиграфов к статье Фрумкин приводит рядом знаменитую строчку из «Левого марша» Владимира Маяковского: «Разворачивайтесь в марше» и весьма примечательную фразу одного из нацистских главарей Альфреда Розенберга: «Немецкая нация наконец-то готова найти свой жизненный стиль. Это стиль марширующей колонны». Под таким заявлением охотно подписался бы и сам усатый «вождь всех времен и народов».

Мне на память приходят другие не менее характерные строчки из любимого мною Маяковского:

Это мало построить парами.
Распушить по штанине канты.
Все совдепы не двинут армий,
Если марш не дадут музыканты.

И музыканты обоих режимов изо всех сил давали требуемый марш. Я уже упоминал в первой главе, что революционные марши были далеки от традиции русских народных песен. Дореволюционная Россия по этой части безнадежно отставала от

Европы. Более того, как справедливо подчеркивает Фрумкин, русские композиторы нередко прибегали к ритму марша, чтобы показать силу чужую, «нерусскую», враждебную. Вспомним «Марш Черномора» у Глинки, «Половецкий марш» у Бородина в «Князе Игоре» или фашистский марш из Пятой симфонии Шостаковича.

Советская же Россия в самое короткое время стала крупнейшим мировым экспортером воинственных революционных маршей, ведущей маршевой державой мира. Советский Союз, гитлеровская Германия и Италия Муссолини, по существу, вместе с середины 30-х годов стали активно создавать международный человеконенавистнический интонационный стиль тоталитаризма.

Не случайно во всех этих трех странах сразу же началась непримиримая борьба с фокстротом, танго, джазами и другими безыдейными «штатскими» буржуазными ритмами. Я уже упоминал, как в конце 40-х в нашей школе на вечерах строжайше запрещалось играть фокстроты и танго, и в первую очередь растленный «гамбургский фокстрот».

Общей была не только интонация, но и однотипная словесная риторика. Так, любимая мною с детства песня: «Мы шли под грохот канонады», которую мы дружно распевали в пионерских лагерях, на стихи Михаила Светлова, оказалась русской версией немецкой солдатской песни времен Первой мировой о гибели юного трубача-гусара. Фашисты сделали из нее свою печально известную «Песню о Хорсте Весселе».

Наш знаменитый «Авиамарш», написанный в 1920 году в Киеве авторами-евреями поэтом Павлом Германом и композитором Юлием Хайтом и в 1933 году официально утвержденный авиационным маршем ВВС РККА, также был сразу приспособлен нацистами, которые даже слова особенно не меняли и пели его с припевом: «Und hoher, und hoher, und hoher» («Все выше, и выше, и выше»).

Как отмечает Владимир Фрумкин, мелодия бодрого марша советских ВВС послужила мелодической основой еще одной известной фашистской песни «Дрожат одряхлевшие кости», текст которой был написан 18-летним Гансом Бауманом в 1932 году:

> И если весь мир будет лежать в развалинах.
> Мы все равно будем маршировать дальше,
> Потому что сегодня нам принадлежит Германия,
> Завтра — весь мир.

Кстати сказать, после падения гитлеровского рейха уже упомянутая песня Радина «Смело, товарищи, в ногу» снова

вернулась «на круги своя» и стала официальным партийным гимном Социалистической единой партии Германии, который с энтузиазмом распевался делегатами всех партийных съездов. О фашистском прошлом этой песни там старались не говорить. Ну, как тут не вспомнить весьма актуальную для нас недавнюю историю с официальным гимном России, трижды перелицованным из гимна ВКП(б) и СССР!

День 9 ноября, годовщина начала Холокоста, застал меня в Берлине. В этот день по телевидению выступали канцлер и президент ФРГ, посвятившие свои речи памяти об этом трагическом событии. Вечером мы стояли с моей давней знакомой актрисой Таней Куприяновой на тротуаре центральной улицы Западного Берлина Курфюрстендамм неподалеку от вокзала Цоо. Накрапывал мелкий по-осеннему холодный дождь.

Многотысячная демонстрация, вооруженная зонтами, медленно и молчаливо двигалась мимо нас. Шли, подняв транспаранты, большие группы студентов. Ехали на своих передвижных тележках инвалиды, зябко подняв воротники дождевых курток. Матери везли в колясках младенцев. Татьяна, в отличие от меня хорошо знавшая немецкий, спросила у молодого светловолосого пария, что происходит, и он, остановившись около нас, неторопливо и спокойно стал объяснять, что демонстрация посвящена памяти жертв Холокоста. «Это позор Германии, который не должен быть забыт, чтобы не было повторения». С грустью подумал я о том, что немецкая нация нашла в себе силы и мужество публично покаяться в преступлениях гитлеризма. А мы? Разве мы покаялись в не менее тяжких злодеяниях сталинского времени?

Вскоре после этого в Амстердаме, где у меня был авторский вечер в русском кафе «Обломов», я около двух часов простоял в огромной очереди перед ломом Анны Франк. Тоже шел дождь и не менее холодный, но очередь все прибывала. Белые и черные, юные и пожилые, японцы и американцы терпеливо ждали, чтобы, пройдя по дому, где и смотреть-то особенно нечего, почтить память еврейской девочки, замученной фашистами вместе со всей семьей уже в самом конце войны и оставившей свой дневник в назидание потомкам.

Мне вспомнилась некстати печальная история, произошедшая в конце 30-х годов, когда из Гамбурга вышел пароход с еврейскими эмигрантами на борту. Их тогда никто не принял, и они вынуждены были вернуться обратно, чтобы быть задушенными в газовых камерах. Как необратимо изменилось за полвека человечество! Неужели потребовалось убить 6 миллионов человек, чтобы люди наконец опомнились?

Что же ожидает завтра русскоязычных еврейских эмигрантов, которые едут в Германию из сегодняшней России, кто на безбедную сытую жизнь под старость, кто, думая о детях и опасаясь за их будущее в нашей многострадальной и невычислимой стране?

Мысль эта в очередной раз пришла мне на ум в Штутгарте, бывшей столице княжества Вюртемберг. Мне здесь показали площадь, где в XVIII веке был повешен «Еврей Зюс», имя которого дало название известному роману Лиона Фейхтвангера.

И размышляя над загадкой многовековой привязанности европейских евреев к Германии, выразившейся, в частности, в том, что в качестве своего второго языка идиш они использовали немецкий жаргон, привязанности, которую даже Холокост не сумел разрушить, я прихожу к выводу, что любовь сильнее ненависти.

Евреям немцы более сродни,
Чем англичане, шведы и французы.
Оборванные Холокостом узы
Наладятся — лишь руку протяни.
Сюда от инквизиторских костров
Бежали почитатели субботы.
Их вольница ганзейских городов
Манила обещанием свободы.
Зеленая и добрая страна
Приют сулила нищим и убогим.
Им новые давали имена:
Голдвассер, Люксембург, Кацнеленбоген.
Среди земель империи Священной
Они существовали сотни лет;
Забыв язык, и для своих общений
Немецкий приспособив диалект.
Когда в едином усомнившись Боге,
Крикливого безумца возлюбя,
Германия сжигала синагоги.
Она уничтожала и себя.
Но Мендельсона солнечные гаммы
Плывут опять над рейнскою водой,
И носит, как повязку, город Гамбург
Свой герб с шестиконечною звездой.

В центре Гамбурга на берегу внутреннего озера Альстер, рядом с величественной ратушей, восстановленной после англо-американских бомбежек, стоит небольшой памятник великому

немецкому поэту Генриху Гейне, столь любимому мною в юности.

Грустный понурый Гейне, чем-то напоминающий горестный памятник Гоголю в Москве, задвинутый с Арбатской площади за дом, где он умер, стоит, ни на кого не глядя. Как будто предчувствует черные годы фашизма. На четырех стенках постамента укреплены чугунные барельефы, на которых изображены мрачные сцены из времен Холокоста: штурмовики сжигают книги Гейне, свергают памятник и швыряют его в яму с отбросами. Теперь памятник водружен на прежнее место. Надолго ли?

В том же 1998 году, познакомившись с Артуром Лукасом, возглавляющим Общество немецко-российской дружбы в Магдебурге, я попал в Цербст в маленький музей в родовом дворце Ангальт-Цербстских князей, посвященный принцессе Софье Ангальт-Цербстской, ставшей российской императрицей Екатериной Второй. Очень красивая девушка в платье XVIII века встречает посетителей книксеном и представившись Екатериной Второй, помогает ознакомиться с небольшой экспозицией. Какая удивительная связь между этим захолустным и небогатым немецким городком и Великой и необъятной Российской империей!

Из многих городов Германии, где мне довелось побывать в концертных поездках, более других мне запомнился Марбург. Отчасти потому, что имя это пришло ко мне из стихов Пастернака, отчасти оттого, что водил нас по этому старинному университетскому городу, с которым связаны имена братьев Гримм и Ломоносова, замечательный человек Григорий Певзнер. Он влюблен в город, ставший ему родным, как только коренной ленинградец может быть влюблен в Европу.

Одаренный поэт и эссеист, Григорий уверял нас, что каждый раз, водя гостей по Марбургу, он сам обнаруживает что-то новое, чего раньше не знал или не замечал.

Именно здесь будущий великий русский ученый в бытность свою студентом, уже успев жениться и сильно подпив в местном кабаке, дал подписку вступить в армию герцога. Проснувшись наутро под замком в каталажке, он своими могучими руками раздвинул железную оконную решетку и благополучно сбежал в Россию, чем оказал немалую услугу отечественной науке.

Марбургу сильно повезло. Он оказался одним из немногих немецких городов, которые не пострадали от беспощадных англо-американских бомбежек во время войны. Бытует легенда, что командир эскадрильи, получившей приказ о его бомбардировке, был выпускником Марбургского университета.

Марбургский университет, первый протестантский

университет в Германии, основал в 1527 году ландграф Филипп. До сих пор на территории старинного замка ландграфов, возвышающегося над городом на высоком берегу Лана, можно увидеть консервативные студенческие корпорации «Алемания», «Корпус Тевтония» с традиционными пивными, украшенными чучелами медведей и шпагами в козлах. Не вышли до сих пор из моды и традиционные шрамы на лице у буршей. Многие из буршей до недавнего времени специально резали себе физиономии.

Город тесно связан с мировой литературой. В начале XIX века здесь преподавали братья Гримм, ученики знаменитого профессора римского права Карла фон Савиньи. Кстати, и знаменитые иллюстрации к сказкам братьев Гримм, как поведал нам всезнающий Гриша Певзнер, созданные в начале XX века художником Отто Убелоде, имеют своей основой реальные ландшафты Марбурга и его ближних окрестностей.

В Марбурге изучал философию Борис Пастернак. Здесь неоднократно бывал Булат Окуджава, ставший его почетным гражданином и написавший песню, начинающуюся строкой: «Когда петух над Марбургским собором…»

Нам пора было уже уезжать, а мы все ходили по древним и узким улочкам с «фахверковыми» домами, спеша как можно больше запомнить и унести с собой хотя бы часть очарования этого удивительного сказочного города.

Накануне вечером за столом в доме у Певзнеров мы разговорились с молодым профессором физики из Москвы, преподающим в Марбурге. Речь зашла о национальной ментальности студентов. Я, читавший в последние годы лекции по геофизике на геофизическом факультете Московского университета, посетовал на нерадивость русских студентов по сравнению с аккуратными и всегда дисциплинированными немцами.

«Не скажите, — улыбнулся мой собеседник, — в Германии другие трудности, связанные именно с хваленой немецкой дисциплиной. Когда я даю студентам решать задачу, они обычно приходят ко мне и спрашивают, где можно найти готовые варианты решения. Такая психология хороша для службы в армии или работы на фирме, а для теоретической физики не годится. А вот в России студенты мыслят менее стандартно. Кстати, когда в середине 30-х годов Гитлер изгнал из германских университетов профессоров-евреев, немецкие профессора облегченно вздохнули, поскольку евреи их сильно опережали, в частности в физике».

После этого разговора мне снова припомнились известные слова Альберта Эйнштейна: «Есть сто физиков, которые хорошо

знают ее законы и понимают, что эффекта быть не может. Есть сто первый, плохо ее знающий. Он приходит, ставит безграмотный эксперимент и получает неожиданный эффект. Так совершаются великие открытия».

В ноябре — декабре 1998 года во время концертных поездок по Германии мне довелось побывать также в Дании и Швеции. Меня пригласил туда эмигрант из Польши Штефан Бург, живущий и работающий в маленьком университетском городке Лунд неподалеку от порта Мальме. Комфортабельный поезд «Томас Манн» долго втягивался в огромный паром «Ферри», следующий через серые датские проливы.

В Копенгагене нас возили его окрестностям давние мои знакомые еще по Харькову Валентин и Алла Ровинские, живущие здесь уже 7 лет. Их семья как капля воды отражает причудливые пути нового Исхода российских евреев. Младшие дети, выехавшие с ними в Европу, стали здесь лютеранами, приняв христианство, старшие, переехавшие в Израиль, надели кипы и стали убежденными иудейскими ортодоксами. Впрочем, какая разница? Бог един.

Более всего мне запомнились два замка неподалеку от Копенгагена: знаменитый Кронберг в Эльсиноре — суровый и древний замок Гамлета, и королевский замок Фредериксборг, построенный в XVI веке. Они как бы создают странное двуединство: Кронберг для войны и смерти, Фредериксборг — для мира и жизни.

Русских в Дании мало. Это или ученые, приезжающие по контрактам в известный институт Нильса Бора, или русские женщины, вышедшие замуж за датчан. Русскоязычная аудитория здесь формируется в основном за счет польских евреев, выдворенных из Польши при Гомулке и осевших в скандинавских странах.

В сентябре 2000 года в Гамбурге, где мы были вместе с Александром Костроминым, немецкий музыкант, работавший одновременно пилотом Люфтганзы, огромного роста 32-летний красавец Нильс Вулькоп предложил записать диск с моими песнями у него в студии, снабдив их переводами на немецкий язык. Нильс с детства увлекался музыкой и решил посвятить себя ей. Однако надо было зарабатывать на жизнь. Поэтому он окончил летное училище и стал летать, чтобы заработать деньги на студию звукозаписи. Сам он сочиняет музыку и поет вместе с ансамблем. Мои песни ему понравились, хотя он ни слова не понимает по-русски. «В них есть какая-то сила, — говорит он, — я чувствую это по интонации».

Диск нам удалось объединенными усилиями записать

примерно за две недели напряженной работы. С переводами, однако, не обошлось без проблем. К примеру, во время перевода песни «Чистые Пруды» выяснилось, что слово «вагоновожатый» звучит по-немецки примерно как «Айзбанфюрер». «Нет уж, такого слова мне в песне не надо», — запротестовал я. Пришлось заменить слово «вагоновожатый» на более благозвучное на немецком языке слово «прохожий».

Дождливым сентябрьским днем 2000 года мне довелось принимать участие в официальной церемонии открытия в деревне Сологубовка под Мгой неподалеку от Синявинских высот немецкого военного кладбища для солдат, погибших под Ленинградом в годы войны. Здесь в 1941–1944 годах, когда фашистские войска полностью блокировали Ленинград, неподалеку от ладожской «Дороги жизни» шли самые жестокие бои, в которых погибли десятки тысяч советских и немецких солдат. Именно здесь, на ладожском направлении, в топких Синявинских болотах воевал и был ранен в 42-м молодой лейтенант Александр Межиров, написавший прекрасные стихи «Воспоминание о пехоте»:

Пули, что посланы мною, не возвращаются из полета.
Очереди пулемета режут под корень траву.
Я сплю, положив под голову Синявинские болота,
А ноги мои упираются в Ладогу и Неву.

Кстати, здесь же неподалеку находится деревушка Лодьва, где отбивал упорные атаки наседавших немцев юный солдат-разведчик Давид Самойлов:

Рукоположения в поэты
Мы не проходили, и старик Державин
Нас не встретил, не благословил.
В это время мы держали
Оборону под деревней Лодьва.
На земле болотной и холодной
С пулеметом я лежал своим.

А история кладбища для немецких солдат была не простой.

Во время войны в Ленинградской области было захоронено около 400 тысяч солдат вермахта. После 1945 года, в точном соответствии с директивой ЦК КПСС, все немецкие воинские кладбища были стерты с лица земли. Сохранилось одно-

единственное — под Сестрорецком.

С 1992 года, когда впервые было подписано российско-германское соглашение по уходу за воинскими захоронениями, в Петербург и в Ленинградскую область стали приезжать с туристскими группами и поодиночке немецкие ветераны и родственники тех, чья жизнь оборвалась в годы войны на ленинградской земле. Мало-помалу сам собой сложился традиционный маршрут, который приезжавшие немцы по собственной инициативе обязательно начинали с возложения венков на Пискаревском кладбище. Как сказал Генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге Боден: «Каждый житель Германии, посещающий Петербург, должен воспринимать его не только как сокровищницу мировой культуры, но и как трагическую страничку немецкой истории».

Писатель Даниил Гранин, бывший фронтовик, выступил в «Литературной газете» с инициативой установить на Пулковских высотах «Крест примирения», чтобы его «простой ясный знак осенил память жертв при наступлении Юденича, сражений белых и красных, русских и немцев…»

В 1993 году в Питере возник центр международного сотрудничества «Примирение». Его председатель Юрий Лебедев сказал: «Почему именно «примирение»? Слово «мир» нравится мне меньше. С этим словом за тысячелетия беспрерывных конфликтов произошла ужасная вещь: оно все чаще используется политиками для развязывания войн…»

Лебедев припомнил известные слова Альберта Швейцера: «Отношение к военным могилам свидетельствует о культуре нации».

Были и другие мнения. Например, известный телерепортер Александр Невзоров, будущий депутат Государственной Думы, в свойственной ему манере представил попытку немцев установить памятный знак в районе Красного Села как «очередную оргию фашиствующих молодчиков».

На открытии кладбища в Сологубовке молодые женщины, восстанавливавшие немецкие могилы, жаловались мне, что в деревне им вслед кричали: «Подстилки немецкие! Вас всех повесить надо!»

Кстати, под Ленинградом воевали не только немцы. Здесь в районе Стрельны, Красного Села, Пушкина воевали солдаты испанской «Голубой дивизии», норвежского, голландского, бельгийского легионов, сотни поляков, латышей, эстонцев. Были даже французы из Эльзас-Лотарингии, которые ни слова не знали по-немецки.

Теперь, спустя полвека, бывшие враги разыскивают на

многострадальной ленинградской земле, начиненной осколками, своих погибших родственников. Оказалось, что в иностранных архивах сохранились фотографии каждого военного кладбища, каждой немецкой могилы. «Когда родственники погибших немецких солдат привозят с собой эти документы, просят разыскать места захоронений своих родных, становится стыдно, — пишет Юрий Лебедев. — Стыдно, когда видишь, как варварски обошлись с этими местами… Когда на этом месте устраивается свалка, когда кости разбрасываются по округе мародерами, а мальчишки «стреляют» камнями по черепам, становится жутко».

На церемонии открытия мне рассказывали, что наших русских ветеранов, которые не всегда однозначно реагировали на строительство кладбища, пригласили в Германию и показали, как ухожены там военные кладбища советских солдат. Это сразу же убедило.

На официальное открытие кладбища в Сологубовке прибыло более тысячи немецких ветеранов и родственников погибших. Возглавляли официальную делегацию бургомистр Гамбурга, города-побратима Петербурга, и немецкий посол в России. Церемония первого дня началась с возложения венков к памятнику жертвам Ленинградской блокады на Средней Рогатке в конце Московского проспекта, где не обошлось без накладок: для возложения венков к подножию памятника милиция пропускала только «по четыре человека от каждого района», и непонятливые немцы никак не могли уразуметь, почему цветы к памятнику могут положить только «официальные представители», а не все желающие. Был и еще один неприятный инцидент, типичный для нынешней российской жизни. Когда прилетевший в Питер гамбургский бургомистр входил в гостиницу «Астория», в вестибюле, почти у него на глазах, наемные киллеры застрелили человека, сразу же дав понять иностранному гостю, где он находится.

В тот же день были возложены венки на Пискаревском мемориальном кладбище, а в немецкой кирхе на Невском «Петершуле» состоялось экуменическое богослужение памяти погибших солдат. Вечером состоялся обязательный по такому случаю банкет с обилием официальных речей и тостов.

На второй день автобусы с участниками церемонии отправились в сторону Мги, сначала на Синявинские высоты, где были возложены венки к обелиску памяти погибших здесь советских солдат, и далее в деревню Сологубовку. Здесь на церковной земле была выделена территория в пять гектаров для сооружения кладбища. По проекту питерских архитекторов

должны быть построены само кладбище с могилами 80 тысяч погибших немецких солдат и примыкающий к нему Парк мира, символизирующий бессмысленность войны и означающий примирение. Должна также быть восстановлена и отреставрирована русская православная церковь Успения Богородицы. Церковь эта, освященная в 1851 году, в конце 20-х годов была разграблена, а в 1937 году закрыта. В подвале церкви во время воины находился госпиталь для немецких солдат, и поэтому она была разрушена советской авиацией. Теперь в этом подвале планируется открыть постоянную выставку и перечислить там все имена немцев, погибших под Ленинградом. Пока установлены имена около 10 тысяч погибших.

Церемония началась с православного богослужения у большого деревянного креста, установленного перед руинами церкви. Собралось много местного населения. Службу вел местный священник, отец Вячеслав, окончивший технический вуз и свободно владеющий несколькими языками. Рядом стояли лютеранские священники, также освящавшие кладбище.

Потом участники церемонии в сопровождении многочисленного милицейского оцепления двинулись за каменную ограду, ворота которой были украшены немецкими флагами, на территорию будущего кладбища. Здесь на покрытом короткой стриженой травой поле стояли сгруппированные по три невысокие гранитные кресты. В нескольких местах поднимались редкие саженцы деревьев и стояли небольшие гранитные стелы с именами погибших.

Родственники погибших, их дети и внуки, уже ставшие седыми и старыми, несли с собой свечи и вечно молодые фотографии своих сгинувших здесь отцов. Более полувека они безуспешно пытались разыскать эти могилы. Им показывали примерную территорию, где захоронены останки их близких. Они втыкали в рыхлую землю зажженную свечу, укрепляли возле нее фотографию, клали рядом цветы, ложились или садились на поросшую редкой травой глину и плакали.

У дальней ограды кладбища в нескольких армейских палатках был организован обед. Там дымили полевые кухни. Каждому входящему в палатку давали металлическую миску с мясным гуляшом и гречневой кашей и стопку водки.

Мне почему-то запомнилось, как уже в конце официальной части какой-то человек из обслуги начал торопливо снимать с ворот кладбища немецкие флаги. На просьбу съемочной группы подождать до конца телевизионной съемки он ответил: «Что вы, нельзя, — немедленно все сопрут». Ко мне подошла стайка девушек из соседнего поселка: «Дайте, пожалуйста, автограф. Мы

вас очень любим. Ведь вы такой известный. Мы вас узнали, вы — знаменитый джазмен Давид Голощекин».

Наташа вместе с операторами брала у участников интервью для немецкого телевидения. Больные и согбенные старики, бывшие немецкие танкисты и наши пехотинцы, обнимались и плакали, поминая погибших. Выяснилось, что у немцев тоже были заградотряды, стрелявшие в своих, если те отступали. Вокруг сочувственно ахали местные бабки в белых платочках.

Они поведали нам, что в годы войны партизан подо Мгой не было. Были только наши солдаты, бежавшие из немецкого лагеря. Их выдала местная крестьянка за триста немецких марок. «Да как же не выдать, — объясняли старушки, — у нее четверо детей было, их кормить было нечем». Живется здесь и сейчас невесело. Прежде был совхоз-миллионер с породистыми коровами. Сейчас — нищета, разорение и бескормица. Молодые жалуются, что работать негде, голодуха. Увидев, что местные женщины разговорились со съемочной группой, к нам тут же подошел маленький человечек, назвавшийся представителем местной администрации, и стал интересоваться, о чем разговор.

Теперь, когда минуло уже полвека, бывшие рядовые армии противника тоже стали представляться нашим людям жертвами войны. Думается, что немалую роль в этом сыграла сегодняшняя Чеченская война. Ведь немецкие солдаты тоже вынуждены были выполнять приказ. Вряд ли им всем, даже одурманенным фашистской пропагандой, так уж хотелось умирать на чужой земле. Немцы подарили мне изданный в Германии дневник погибшего в этих местах немецкого солдата Вольфганга Буффа, начатый 29 сентября 1941 и оборвавшийся 1 сентября 1942 года. В дневнике есть и стихи, очень невеселые.

Как знать, может быть именно моему родному многострадальному Питеру суждено стать в истории первым городом-миротворцем враждовавших народов?

Еще в 1961 году известный московский художник Борис Йеменский написал картину «Безымянная высота», на которой изображены два лежащие голова к голове молодых парня, — русский и немецкий солдаты, убившие друг друга в рукопашном бою на безымянной высоте. Лицо русского солдата обращено к небу. Немец уткнулся лицом в землю. Оба юноши, одетые в солдатскую форму враждующих армий, почти дети и одинаково беспомощны перед смертью. Пожалуй, это единственная из многочисленных картин о войне советского периода, ярко и выразительно показывающая, что война — не победа и героизм, а страдание и смерть.

Картина вызвала дружную брань советской критики.

Художника обвинили в отсутствии патриотизма и буржуазном пацифизме. Более всего высокопоставленных идеологов советского искусства возмутило, что на картине смерть уравняла немца-захватчика и русского-защитника. Это никак не вписывалось в многолетний, привитый нам еще с военных лет стереотип «немец-фашист».

Несмотря на хрущевскую либеральную оттепель, после ожесточенных споров картина была убрана в запасники. Пытаясь спасти картину, художник сделал ее вариант, где изобразил немца со звероподобным лицом, но и это не помогло. Цензура была неумолима. Только через тридцать лет картина смогла увидеть свет.

Известный немецкий коллекционер Петер Людвиг купил один из вариантов картины и повесил в своем музее в городе Ахене в Германии на одном из самых почетных мест. Там было организовано интервью и открыт конкурс на тему «Память о войне и примирение глазами молодежи». Такой же конкурс в 1997 году был начат и в Петербурге центром международного сотрудничества «Примирение». Целью конкурса было укрепление взаимопонимания молодежи городов-побратимов Санкт-Петербурга и Гамбурга через творческое переосмысление уроков Второй мировой войны.

Основой для конкурса была предложена картина Йеменского. Ребят попросили нарисовать еще что-нибудь на эту тему. Сначала казалось непонятным: как можно нарисовать примирение? Вот войну, например, можно нарисовать, мир — тоже, а примирение как? «Мы сами не знаем, что такое примирение. Зачем же эту идею детям навязывать? — возмущался директор одной из художественных школ. — Детям будет слишком сложно понять эту тему. Давайте ее заменим на «Мир и дружба: Петербург — Гамбург»».

В декабре 1997 года в газете «Невское время» была напечатана заметка учительницы истории Ирины Голованова «Можно ли нарисовать примирение», посвященная картине художника Йеменского.

«Вопрос о солдатских могилах, — писала Голованова, — лишь малая часть общей большой проблемы возрождения нравственных ценностей и человечности, утраченных в нашей стране за последние 70 лет. В отношении к погибшим выражаются жестокость, инертность и бездушие, охватившие наше общество. Либо мы преодолеем это, восстановим нравственные основы, либо перед нами возникнет пропасть одичания. Поэтому так важно увидеть память о войне глазами молодежи».

И одна за другой на конкурс стали поступать детские работы, которых набралось более пятидесяти. При этом решения были самые нестандартные. Меня более других тронул рисунок четырнадцатилетней девочки. На рисунке изображены две могилы рядом на пригорке. На одной могиле — немецкий крест с каской, пробитой пулей, на другой — звездочка на фанерном постаменте и висящая на ней пробитая пилотка. Так появилась песня, исполненная впервые на церемонии открытия немецкого военного кладбища:

День над городом шпиль натянул, как струну.
Облака — как гитарная дека.
Ленинградские дети рисуют войну
На исходе Двадцатого века.
Им не надо бояться бомбежки ночной,
Сухари экономить не надо.
Их в эпохе иной обойдет стороной
Позабытое слово «Блокада».

Мир вокруг изменился, куда ни взгляну.
За окошком гремит дискотека.
Ленинградские дети рисуют войну
На исходе Двадцатого века.
Завершились подсчеты взаимных потерь,
Поизнетилось время былое.
И противники бывшие стали теперь
Ленинградской горючей землею.

Снова жизни людские стоят на кону,
И не вычислить завтрашних судеб.
Ленинградские дети рисуют войну,
И немецкие дети рисуют.
Я хочу, чтоб глаза им, отныне и впредь.
Не слепила военная вьюга.
Чтобы вместе им жить, чтобы вместе нм петь,
Никогда не стреляя друг в друга.

В камуфляже зеленом, у хмеля в плену.
Тянет руку к машине калека.
Ленинградские дети рисуют войну
На исходе Двадцатого века.
И соседствуют мирно на белом листе
Над весенней травою короткой
И немецкая каска на черном кресте,

И звезда под пробитой пилоткой.

Глава 5
Портреты на стене

У моего друга, художника Бориса Жутовского, есть серия портретов, которую писатель Фазиль Искандер, также в нее попавший, назвал «Последние люди Империи». Те, о ком пойдет речь в этой части книги, уйдя из жизни, остались портретами в галерее Жутовского.

Портреты эти, очень разные и в разное время написанные, объединяет одна общая черта — печальный и неулыбчивый облик, хотя при жизни эти люди любили улыбаться. Может быть, дело в том, что «когда человек умирает, изменяются его портреты»? А может быть, в том, что оригиналы ушли из жизни безвременно? Или в том еще, что в их лицах запечатлелись горькие черты уходящей эпохи, в историю которой навсегда врезаны их имена? Или это — печаль об остающихся, которым распад грозной Империи грозит смутными временами и гражданскими войнами, предшествующими Возрождению?

Рисовал Жутовский пару раз и меня. Первый раз — в начале 80-х, потом еще через несколько лет. Тогда его портреты меня расстроили — неужели я и впрямь такой старый и страшный? Теперь они кажутся мне комплиментарными.

Мои воспоминания о людях, изображенных на портретах Жутовского, не претендуют на полноту или объективность. Я горюю об их уходе и вспоминаю о них прежде всего потому, что они были близки мне и, как я запоздало понял, сыграли важную роль в появлении в моей искалеченной всеобщим и обязательным конформистским воспитанием душе того трудноуловимого ощущения, которое мы не очень точно называем самосознанием.

А еще я просто любил их. Вот и все…

Художник Жутовский рисует портреты друзей.
Друзья умирают. Охваченный чувством сиротства,
В его мастерской, приходящий сюда, как в музей.
Гляжу я на них, и никак мне не выявить сходства.
Я помню их лица иными в минувшие дни,
Неужто лишь в скорби их жизней действительный корень?
Портрет неулыбчив любой — на какой ни взгляни,
Суров не по правде и обликом горестным черен.
Зачем мне на эти унылые лики смотреть?
Могу рассказать я о каждом немало смешного.

Да вот улыбнуться навряд ли заставлю их снова, —
Печальны они и такими останутся впредь.
Художник Жутовский, лицо мое запечатлей
В свободной ячейке угрюмого иконостаса.
Где рядом с другими и я бы таким же остался.
Забыв понемногу, что был иногда веселей.
Художник Жутовский, налей нам обоим вина.
Смахнем со стола на закуску не годные краски
И выпьем с тобой за улыбку, поскольку она
Зеркальный двойник театральной трагической маски.

«Я говорил от имени России»

Борис Слуцкий вошел в мою жизнь в 1959 году, хотя стихи его, конечно, мы знали раньше. Их тогда практически не печатали, и распространялись они на слух или в списках. Вообще середина и конец 50-х годов — это начало раздвоения нашей литературы на официальную печатную и неофициальную «непечатную», которая ходила в списках или слепых машинописных копиях на папиросной бумаге. Так было положено начало «Самиздата». Со стихами было проще — их нетрудно было запомнить наизусть. Первые же услышанные (именно услышанные, а не прочитанные) стихи Бориса Слуцкого — это, кажется, были «Евреи хлеба не сеют» и «Нас было семьдесят тысяч пленных…» — поразили меня своей истинно мужской и солдатской, по моему тогдашнему мнению, жесткостью и прямотой, металлической точностью и весомостью звучания, совершенством монолитной строки с единственностью ее грозной гармонии. Впечатление было таким сильным, что до сих пор я читаю стихи Слуцкого с листа вслух.

Моими любимыми поэтами тогда были Редьярд Киплинг (разумеется, в переводах, ибо мое скудное знание английского ни тогда, ни позднее не позволяло читать его в подлиннике), Гумилев, ранний Тихонов, Багрицкий. Сюда относились также некоторые стихи Луговского (например, «Басмач», напоминающий перевод из Киплинга), «Стихи 39 года» Симонова и что-то еще. Во всех этих стихах меня привлекали «мужественное звучание», активное вторжение авторов в окружающий мир, яростная экспрессия строк. Поэтому Борис Слуцкий, которого я сразу же отнес к перечисленному любимому ряду, стал настоящим открытием. То было время юного идолопоклонничества, и я тут же объявил для себя Бориса Слуцкого первым поэтом. Еще бы! Такие стихи, да еще легендарная биография — боевой офицер, прошел всю войну «от звонка до звонка». Преклонению моему не было предела. Помню, в ноябре 1961 года, во время встречи в Москве с Иосифом Бродским в доме общего нашего приятеля — поэта и прозаика Сергея Артамонова, меня страшно шокировало, что молодой Иосиф фамильярно называет этого выдающегося поэта Борух. «Как ты можешь, — возмутился я, — говорить о Борисе Абрамовиче в таком тоне?» «А как же его прикажешь величать? — искренне удивился Бродский, особой скромностью в те годы не отличавшийся. — Все эти Борухи и Дезики — только для тебя поэты. Их можно поставить в одну шеренгу и рассчитать на «первый-второй». Все это останется бесконечно далеким от

истинной поэзии, которую представляю только я».

Так или иначе, но известие о том, что Борис Слуцкий приезжает в Ленинград читать стихи в Технологическом институте и университете, мигом облетело весь город, и мы, молодые «горняки» из литобъединения Горного института, решили обязательно добиться встречи с ним, тем более что вечер Слуцкого организовал Евгений Рейн, учившийся тогда в «Техноложке».

Внешний облик Слуцкого, увиденного на сцене в Технологическом, где он выступал вместе с Евгением Евтушенко, произвел на меня серьезное впечатление, так как полностью совпал с ожидаемым представлением об авторе услышанных стихов. Полувоенный френч, строгий и независимый вид — никаких улыбочек и заигрываний с аудиторией; Седые, аккуратно подстриженные усы. Подчеркнутая офицерская выправка, усугубляемая прямой осанкой и твердой походкой. Лапидарные рубленые фразы с жесткими оценками, безжалостными даже к самому себе. Помню, кто-то попросил его прочесть уже известный нам тогда «Ключ» («У меня была комната с отдельным входом…»). Он отказался. «Почему?» — спросили его, и он строго ответил: «Потому что это — пошляцкое стихотворение». «Господи, — подумал я, — если он к себе так безжалостен, то что же он скажет о наших стихах?»

На этом грозном фоне выступавшего перед Слуцким молодого Евгения Евтушенко, читавшего, кстати сказать, очень неплохие стихи: «О, свадьбы в дни военные, обманчивый уют, слова неоткровенные о том, что не убьют…», мы почти и не заметили.

И непреодолимое мазохистское желание показать этому олимпийскому громовержцу свои стихи и услышать его пусть беспощадное, но истинное суждение овладело мною и моими товарищами по «горняцким музам».

Не помню уж, кому и как (возможно, тому же Рейну) удалось уговорить Слуцкого встретиться с нами — молодыми ленинградскими поэтами. Встреча состоялась у Леонида Агеева, жившего со своей тогдашней женой Любой и только что родившейся дочерью в конце Садовой, на Покровке, именуемой площадью Тургенева, в коммунальной квартире на первом этаже огромного, с несколькими дворами, по-ленинградски закопченного старого доходного дома. В тесную комнатушку Агеева набилось человек двадцать поэтов, их жен и подруг. Было закуплено сухое вино, к которому, однако, прикасаться не разрешалось до прибытия высокого гостя. Наше ЛИТО было, кажется, в полном составе: кроме хозяина дома и меня

присутствовали Елена Кумпан, Нина Королева, Олег Тарутин, Володя Британишский, Шура Штейнберг, Саша Кушнер, Глеб Горбовский, Яков Виньковецкий, Андрей Битов, Евгений Рейн и еще несколько поэтов и болельщиков. Все изрядно волновались, хотя виду старались не показывать, поэтому разговор не клеился.

Наконец прибыл Слуцкий, не один, а со своим, как он сказал, старым другом — полковником Петром Гореликом. Этот курчавый черноволосый полковник, снявший штатское пальто и оказавшийся в щегольской офицерской диагоналевой гимнастерке, перехваченной в талии скрипучим ремнем и увешанной орденами и медалями, был для нас, вчерашних блокадных мальчишек, как бы наглядным воплощением того недоступного нам всем фронтового героизма, поэтическим олицетворением которого являлся Борис Слуцкий. Это усилило всеобщее смущение. Борис Абрамович строго посмотрел на нас, прищурился и неожиданно произнес: «Вот вы, ленинградцы, все время без конца твердите, что любите и хорошо знаете свой родной город. Кто из вас сейчас перечислит мне двадцать общественных уборных?» Мы были шокированы этой «чисто московской» шуткой, однако напряжение начало спадать. Пошли в ход сухое вино и винегрет хозяйки Любы. Разговор сразу, приобрел характер вопросов и ответов, причем спрашивали не мы гостя, а он нас. Строго и пунктуально он требовал немедленной информации о нас самих, о наших специальностях, зарплате, кто где печатается или не печатается и почему. Кажется, не было ни одной мелочи, к которой он не проявил бы живейшего интереса. О том, чтобы задать какой-нибудь вопрос ему, не было даже речи.

Начали читать стихи. Слуцкий вел себя властно и, на первый взгляд, бесцеремонно. Он мог оборвать читающего, сбить его каким-то совершенно неожиданным вопросом или категорическим мнением. При всем этом стихи он слушал с огромным вниманием и как будто сразу безошибочно определял их качество. Больше других ему понравились стихи Лени Агеева, и он тут же заявил: «Вот настоящий поэт. У него ничего не придумано, все прямо из жизни, а не из книжек. И стихи жесткие и суровые, в них виден будущий мастер. Вот кто будет большим поэтом!» Как ни странно, стихи Глеба Горбовского, который тогда ходил у нас в главных гениях, произвели на него меньшее впечатление. Александру Кушнеру он сказал; «Скучные стихи. Правда, стихи, но унылые. И фамилия — Кушнер. Еврейская фамилия. С такой фамилией печатать не будут». «Но у вас же тоже еврейская», — возразил кто-то робко. «Во-первых, не еврейская, а польская. А во-вторых, меня уже знают», — отрезал он. Спорить с ним, естественно, никто не осмелился.

Когда дело дошло до меня, я дрожащим голосом стал читать какие-то, как мне казалось, лирические стихи. «Ну, это для Музгиза», — беспощадно сказал Слуцкий, выслушав их. Я попытался прочесть другие, но он перебил меня на середине и заявил: «А вот этого даже Музгиз не возьмет. А как ваша фамилия? Городницкий? Ну, это вообще ни в какие ворота… Мало того, что тоже еврейская, так еще и длинная. Такую длинную фамилию народ не запомнит». Я уже совершенно упал духом, как вдруг он спросил, нет ли у меня каких-нибудь стихов про войну, и я срывающимся от отчаяния голосом, уже ни на что не надеясь, стал читать незадолго перед этим написанные стихи «Про дядьку». Стихи эти неожиданно для меня Слуцкому понравились. Он вызвал из коридора своего друга Горелика, вышедшего покурить, и заставил меня прочесть стихотворение еще раз, сказав: «Повторите — полковникам такие стихи слушать полезно».

О стихах в этот вечер Слуцкий говорил много и увлеченно. Большинство присутствующих были из числа многолетних «студийцев» Глеба Семенова, занимавшихся у него — кто во Дворце пионеров, кто в Горном институте. Мы уже привыкли к его «классическому» ленинградскому стилю бесстрастного и вдумчивого слушания и обсуждения стихов. Здесь же все было совершенно иначе. Уже позже я узнал, что Слуцкий — прирожденный и профессиональный педагог. Действительно, он всю жизнь возился с молодежью и не жалел для этого ни сил, ни времени.

«Если, начиная писать стихи. — сказал он нам, — ты заранее знаешь, чем кончить стихотворение, брось и не пиши; это наверняка будут плохие стихи. Стихотворение должно жить само, нельзя предвидеть, где и почему оно кончится. Это может быть неожиданно для автора. Оно может вдруг повернуть совсем не туда, куда ты хочешь. Вот тогда это стихи».

Рассказывал он и о мало еще известных в то время своих однокашниках — ИФЛИйцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Больше всех о Павле Когане — авторе уже любимой нами тогда «Бригантины», и Михаиле Кульчицком, которого он, как и Давид Самойлов, считал самым талантливым из всех своих сверстников. Тогда от него мы впервые услышали широко известные теперь стихи Михаила Кульчицкого:

Я думал — лейтенант
Звучит — налейте нам, —
И зная топографию,
Он топает по гравию.

Война — совсем не фейерверк,
А просто трудная работа,
Когда, черна от пота, вверх
Ползет по пахоте пехота.

Несколько лет спустя Давид Самойлов, тоже припомнив именно эти стихи, сказал: «Вот замечательные строчки. Почему у Кульчицкого пехота ползет «вверх по пахоте»? Да потому, что ползти так трудно, что кажется, ты лезешь все время куда-то вверх».

Рассказывал Борис Слуцкий и о неукротимом характере Кульчицкого. Говорил, что когда Кульчицкого друзья-поэты (им тогда было по девятнадцать-двадцать, а многим так и осталось) обвиняли, что он порой берет у них понравившиеся ему строчки и беззастенчиво использует в своих стихах, тот отвечал: «Подумаешь! Шекспир тоже обкрадывал своих малоодаренных современников».

Потом Слуцкий по нашим усиленным просьбам читал свои стихи. Мне тогда особенно запали в душу строки, посвященные памяти погибшего под Сталинградом Михаила Кульчицкого, о котором он только что вспоминал:

Писатели вышли в писатели,
А ты — никуда не вышел,
Хотя в могиле, в печати ли.
Ты всех нас чище и выше.
А ты никуда не вышел.
Ты просто пророс травою,
И я, как собака, вою
Над бедной твоей головою!

Второй раз я увидел Бориса Слуцкого уже в Москве, в 1963 году, в его небольшой, увешанной картинами без рам квартире неподалеку от метро «Сокол», в Балтийском переулке, где он жил вместе с женой Таней и куда я получил от него приглашение зайти. Все тем же строгим тоном он примерно полчаса выспрашивал у меня все ленинградские литературные и нелитературные новости, а потом сказал: «Ну что ж, читайте, посмотрим, на что вы теперь способны». После недолгой читки последовала прямая и жесткая зубодробительная критика, не оставившая от прочитанных стихов камня на камне. Справедливости ради следует сказать, что когда я сейчас перечитываю стихи, которые осмеливался читать тогда Слуцкому,

мне становится страшно. Я совершенно не понимаю, как он мог столь терпеливо слушать эти беспомощные, плохо зарифмованные вирши, да еще и обсуждать их. «Из дерьма строишь свои стихи, из песка. Это не материал. Учись у Андрюши Вознесенского, как надо работать со словом, как надо ваять его из камня, каторжно работать. Из камня, а не из песка. А не будешь учиться — так Коржавиным и помрешь».

Меня эти слова крайне удивили. Я уже знал широко распространяемые в то время в списках стихи Наума Манделя-Коржавина, и они мне как раз очень нравились, чего никак нельзя было сказать о стихах Андрея Вознесенского, которые, несмотря на их внешнюю мастеровитость и сложность, казались мне трескучими и пустыми. Раздражало также его неожиданное взвизгивание посреди строки при чтении стихов. Незадолго до встречи со Слуцким я слушал выступление Андрея Вознесенского по «Би-Би-Си», где он заявил, что учеба в Архитектурном институте и, в частности, изучение теоретической механики, помогли ему понять, как силовые линии давят на стихотворную строчку. Мне, выпускнику технического вуза, заявление это показалось пижонством. А вот Коржавина я любил, и он был мне по духу близок. Особенно стихи «Мужчины мучили детей» и замечательное восьмистишие, посвященное русским женщинам:

Столетье промчалось, и снова,
Как в тот незапамятный год,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Надеть подвенечный наряд.
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.

Я не стал спорить со Слуцким и только через много лет понял, что он имел в виду. Прощаясь, он неожиданно спросил: «Вам деньги нужны? Если нужны, я вам дам». Оказалось, что он многих молодых поэтов ссужал тогда деньгами, хотя и сам не был особенно богат. Важнее другое: заметив мой интерес к живописи, развешанной на стенах, он спросил: «А вы никогда не видели картин Филонова? Даже не знаете такого художника? Ну, это позор, хотя откуда вам его знать? Вот что, я вам сейчас напишу записку к его сестрам. Они живут в Ленинграде, на Невском. У них хранятся многие его работы. С моей запиской они вас пустят. Это надо смотреть». И через несколько дней я уже звонил в старую и обшарпанную дверь коммуналки во дворе кинотеатра

«Аврора» на Невском, где в страшной нужде жили две пожилые сестры одного из самых крупных художников нашего столетия, основоположника знаменитой «филоновской школы», умершего в блокаду. Меня поразила скромность их быта, отсутствие самого необходимого. Медленно двигаясь и переставляя картины и рисунки, при тусклом свете несильной электрической лампочки, они показывали замечательные работы Филонова, из которых более других поразила меня «Первая симфония Шостаковича».

Старухи оказались истинными ленинградками. С грустной гордостью рассказывали они мне, что Русский музей отказывается брать работы Филонова в свои запасники даже даром, ссылаясь на отсутствие помещения. Что приходили к ним американцы и предлагали огромные деньги в валюте, но что они скорее умрут, чем отдадут это за границу. Что рисунки и картины гибнут здесь, в коммунальной квартире, осыпаются краски и карандашный графит, а у них нет даже бумаги, чтобы переложить рисунки и акварели. Помню, я принес им несколько рулонов кальки и миллиметровой бумаги.

Известный художник Борис Биргер говорил как-то мне, что Слуцкий в живописи ничего не понимал, что «у него были дырки вместо глаз». А я при этом вспоминал историю с Филоновым…

В течение 60-х и самом начале 70-х годов, до его тяжелой болезни, я встречался с Борисом Слуцким несколько раз. Несмотря на внешнюю суровость, он оказался человеком удивительной чуткости и доброты и крайне ранимым. Все время возился с молодыми поэтами, вел литературные объединения. Работа эта не всегда была благодарной, да и молодые поэты порой свысока посматривали на своего мэтра, совершенно не понимая, видимо, какая бесконечная дистанция их разделяет.

В конце 60-х годов мы неожиданно встретились с ним в Коктебеле, где он жил в Доме творчества писателей. Его жена Таня тогда уже была неизлечимо больна, и он, как мог, окружал ее трогательнейшей заботой. Ходил он при этом по вечерам по набережной все с той же прямой и суровой осанкой отставного прусского генерала. Увидев меня, он потребовал, как и обычно, творческого отчета и потащил к себе в писательский корпус. Кроме него и Тани, слушали меня литературовед Апт с женой и поэтесса Юлия Друнина, сделавшая, кстати, несколько дельных замечаний по песне «Романс Чарноты». Большую часть прослушанных стихов Слуцкий, как будто одобрил, но одно стихотворение — «Державин» — привело его в неописуемую ярость. В стихотворении речь шла о старом Державине. Я читал:

Не звала чуму на домы

Од высокая хвала,
И поэта на приемы
Государыня звала.
Молодой державы гордость.
Отрывался он от книг.
Шеи старческой нетвердость
Прятал в твердый воротник…

«Стоп, прекратить читать! — закричал неожиданно Борис Абрамович. — Это безобразные стихи. Полное неприличие». «Почему?» — спросил я, растерянный его внезапным гневом. «А потому, — ответил он сердито, — что Державину было всего лишь немного за пятьдесят, и у него не могло быть дряблой шеи».

Жизнь не баловала Бориса Слуцкого. Судьба отняла у него двух самых близких людей — мать и жену. Обе болели долго и умерли у него на руках. Он остался одиноким. Ученики не заменили ему семью. Будучи всю жизнь непримиримо требовательным к себе, честным и прямым, он на фронте вступил в партию, свято верил в конечную правоту ее дела, безусловно подчинялся партийной дисциплине. Наш общий знакомый, тоже фронтовик, Юрий Овсянников рассказывал мне, как однажды встретил Бориса Слуцкого на улице, когда тот возвращался из Союза писателей с партийного собрания. «Зачитывали закрытое письмо ЦК», — сказал Слуцкий. «О чем?» — спросил Овсянников. «А ты член партии?» — в свою очередь спросил Слуцкий. — «Да!» — «Тогда я могу с тобой об этом говорить». Борис Слуцкий был политработником на фронте, на передовой, в самое трудное время войны: «Я был политработником три года, сорок второй и два еще потом».

Жесткая партийная дисциплина, привычка беспрекословно подчиняться партийному решению, идущему сверху, выработанная им еще в годы войны, привела к трагическому для его последующей жизни поступку: будучи парторгом объединения поэтов, он вместе с другими «обличителями» выступил на общем собрании потребовавшем исключения Бориса Пастернака из Союза писателей. И хотя в самом его выступлении как будто не было никаких слов, порочащих Пастернака, сам факт этого выступления в одном ряду с партийными функционерами, действовавшими по указке сверху, был неожиданным для всех, знавших Слуцкого, и трагичным.

Профессор Вячеслав Всеволодович Иванов, единственный человек, нашедший в те темные годы мужество открыто высказаться в защиту Пастернака, поведал мне о своем разговоре

со Слуцким на следующий день после того злополучного собрания. Слуцкий телефонным звонком вызвал его на улицу и около двух часов говорил с ним, пытаясь объяснить свой поступок. «Он был совершенно убежден, что Пастернака посадят. А с ним вместе, по всей вероятности, и меня», — рассказывал Вячеслав Всеволодович.

Многие бывшие друзья Бориса Слуцкого, которые, кстати, не высказались открыто в защиту Бориса Пастернака, осуждали его. Сам он, высоко ценивший поэзию Пастернака и более других понимающий несправедливость происходящего, тяжело переживал свой роковой поступок. Все это — жесточайший разлад с собственной совестью при его органической честности и прямоте, потеря близких людей и последовавшее одиночество, невозможность предать гласности свои стихи, которые он писал всю жизнь и прятал в стол, не могли не привести к глубокому и неизлечимому нервному заболеванию, отнявшему у него сначала возможность писать, а затем и саму жизнь.

Драматическая, полная трагизма судьба Бориса Слуцкого, так же как самоубийство Маяковского, со всей очевидностью показывает, что поэт не должен «всю свою звонкую силу» отдавать «атакующему классу», брать на себя опасную миссию говорить «от имени России». Все это плохо кончается и неизбежно ведет к потере внутренней свободы и душевному разладу. И снова приходит на ум сравнение с Давидом Самойловым, избегавшим говорить «от имени России», сохранившим эту внутреннюю свободу при жизни. Поэтическая судьба Слуцкого — жестокая борьба поэта за свою бессмертную душу с безжалостным тоталитарным государством, договоры с которым подписываются только кровью. Победа в этой борьбе стоила Слуцкому жизни.

Последние годы перед смертью он мучился сознанием того, что его стихов якобы никто не помнит, что он предан забвению. Переживания были напрасны. Его лучшие стихи помнили и помнят тысячи людей, многие из них стали песнями (например, «Лошади в океане»). Уже после смерти поэта в его архивах были найдены сотни неизвестных ранее стихотворений, ныне опубликованных благодаря эпохе гласности и самоотверженным усилиям их собирателя, критика Юрия Болдырева, также безвременно ушедшего из жизни. Стихи Слуцкого, получившие сейчас второе рождение, переведены и переводятся на языки многих народов мира.

А я с благодарностью вспоминаю те недолгие часы, когда я с робостью слушал его короткие отрывистые фразы и мог считать его своим ментором.

В поэзии определяет случай,
Что принимать за образцовый стих.
Мне полюбился в молодости Слуцкий, —
Прямолинейность строк его простых,
Его одежда бывшего солдата,
И строгий ус, и бритая щека.
Был мир его сколочен грубовато,
Но, мне тогда казалось, на века.
Его системы яростная вера
Была жестка, и жестким был он сам:
Удачнее не знаю я примера
Такого соответствия стихам.
И ученик в его огромном цехе,
В нем отыскав начало всех начал,
Я ждал его безжалостной оценки
(А больше тройки я не получал).
Куда теперь от веры этой деться?
Кто нас ободрит? Кто укажет путь?
Оплакиваю собственное детство,
Которое обратно не вернуть.

«Повремени, певец разлук»

23 февраля 1990 года умер поэт Давид Самойлов, скончавшийся в один день с Борисом Слуцким, пережив его на четыре года. С уходом Самойлова кончилась эпоха послевоенной поэзии, наиболее яркими представителями которой были Самойлов и Слуцкий, всю жизнь бывшие друзьями-соперниками, на десятилетия пережившие своих институтских однокашников по ИФЛИ — Когана, Кульчицкого и других, сложивших головы на полях сражений.

Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом.
И леса нет — одни деревья.

Теперь и этих деревьев не стало.

Самойлов умер неожиданно и легко — «смертью праведника». Когда-то он писал: «Надо готовиться к смерти так, как готовятся к жизни». Но все случилось вдруг, в Таллинне, на юбилейном пастернаковском вечере, который он же и организовал. На вечере Самойлов был в приподнятом настроении и, сидя за сценой в артистической, шутил со своим старинным другом актером Зиновием Гердтом. Открывая вечер, он говорил о духовном наследии Пастернака, о том, что только теперь мы начинаем его понимать и осваивать. Говорил прекрасно, может быть, более патетично, чем обычно. Чувствовал ли он, что это последняя речь в его жизни? Ему много хлопали. Вручили, как это водится в Прибалтике, цветы. Обычно он никогда не знал, что делать с цветами, — держал их как веник вниз головой, старался избавиться поскорее. На этот же раз он, взяв цветы, довольно изящно поклонился залу и пошел за сцену своей легкой танцующей походкой. Там он потом и сидел в артистической, разделенной зеркалами, оживленный, улыбающийся, довольный своим выступлением.

Вышедший вслед за ним Зиновий Гердт читал стихи Пастернака. Во время чтения он вдруг услышал за сценой негромкий глухой стук и какой-то шум. Через несколько секунд на сцене появился один из организаторов вечера и попросил врача-реаниматора, находившегося в зале, срочно подняться на сцену. Жена Самойлова — Галина Ивановна, тотчас почувствовав неладное, бросилась в артистическую вслед за реаниматором.

Когда они вбежали, Самойлов лежал на полу без сознания и без пульса. Врач сразу же начал делать массаж сердца. Через несколько минут Самойлов очнулся, открыл глаза и сказал окружающим: «Ребята, не волнуйтесь, все в порядке». Это были его последние слова. Потом он снова потерял сознание, на этот раз навсегда. Приехала вызванная «скорая». Делали какие-то уколы. Несколько врачей, сменяя друг друга, усиленно продолжали массаж сердца. Но все оказалось бесполезным.

В последние годы Давид Самойлов тяжело болел: гипертония, сердце. Незадолго до развязки, в Ленинграде, куда он ездил выступать, у него приключился тяжелый сердечный приступ. Перенесенная им в свое время неудачная операция по поводу катаракты на глазах сделала его полуслепым. «С постепенной утратой зрения все мне видится обобщенней». И все-таки его смерть была как гром среди ясного неба. Он был из семьи долгожителей. Его мать Цецилия Израилевна прожила около девяноста лет. И сам он до последнего времени оставался бодрым, энергичным, не признающим нытья и жалоб.

Его смерть была третьей из ряда трагических и безвременных смертей, потрясших меня и всех нас на рубеже 89-го и 90-го годов. 29 ноября 1989 года неожиданно остановилось сердце моего друга, писателя и историка Натана Эйдельмана; 16 декабря так же неожиданно, во сне, скончался один из величайших людей нашего времени Андрей Дмитриевич Сахаров, которого оплакивала вся страна. И вот 23 февраля 1990 года не стало Давида Самойлова — первого поэта уходящей уже эпохи. Случайно ли это трагическое совпадение? Думаю, что нет. При всем несходстве личностей, жизни и характера трех этих замечательных людей, рода их занятий и одаренности, у них была одна главная общность — непоколебимая вера в возможность мирного реформаторского преобразования нашей многострадальной страны, любовь как конструктивная основа бытия, убеждение, что в себе, а не в окружающих надо искать причины наших бед и неудач, надежда на духовное обновление человека, на его нравственное возрождение. Теперь этой могучей веры, питающей нас, не стало. Не знак ли это судьбы перед решительным переломом в ходе сложных событий в нашей стране к худшему? Не поворот ли к смутным временам, к царству ненависти и насилия? Ведь обязательно надо было убить Илью Чавчавадзе, чтобы потом развязать в Грузии «революционный» террор, и застрелить Жореса, чтобы могла начаться Первая мировая война…

Тело Давида Самойлова привезли для прощания и кремации в Москву, где администрация Дома писателей на этот раз

расстаралась, и гражданская панихида была организована «по первому разряду»: в большом зале, с музыкой, венками, свечами, привезенными из Таллинна, траурным крепом на сцене и последующими поминками в цедеэловском ресторане. Одни говорили, что это связано с «табелью о рангах» — поэт-фронтовик, лауреат Государственной премии, другие — что дело не обошлось без помощи одноклассника Самойлова Анатолия Черняева, высокопоставленного партийного чиновника. На самом деле Черняев действительно серьезно помог, только не с панихидой, а с организацией перевозки гроба с телом для прощания из Таллинна в Москву.

Так или иначе, панихида, которую вел поэт Владимир Соколов, прошла достойно — было человек семьсот, но все его друзья и почитатели: Фазиль Искандер, Юрий Любимов, Борис Чайковский, Юрий Левитанский… Михаил Козаков, Зиновий Гердт, Рафаэль Клейнер читали его стихи. Давида Самойлова кремировали в Донском, и я почему-то впервые обратил внимание, что гроб с покойным, прежде, чем опустить его вниз, с уже закрытой крышкой, перехватывают черной траурной лентой и пломбируют, как контейнер. А над сценой в большом зале ЦДЛ, где перед этим шло прощание, висел большой портрет поэта с улыбающимися озорными глазами.

Портретом этим занимался уже давно вышедший на пенсию бывший главный администратор ЦДЛ Аркадий Семенович, похоронивший за свою жизнь не одно поколение писателей, за свой низкий рост прозванный «Малютка». Мне довелось принимать участие в перевозке этого портрета из фотомастерской, когда зашел разговор о том, чтобы отдать его вдове. Аркадий Семенович, любивший Самойлова, не заставил себя долго упрашивать, но при этом поднял палец и значительно сказал: «А вы обратили внимание, какой подрамник я вам отдаю? Это исторический подрамник — я на нем еще Кочетова хоронил…»

После панихиды гроб с телом Самойлова увезли хоронить в Эстонию, в Пярну.

Я познакомился с Давидом Самойловым весной 1962 года, придя к нему домой вместе с молодыми московскими поэтами, к которым он благоволил, — Анной Наль и Сергеем Артамоновым. Жил он тогда в старом шестиэтажном московском доме на площади Борьбы («Площадь борьбы с самим собой», как он в шутку ее называл.) Его еще почти не печатали, но мы уже, конечно, знали наизусть его знаменитые «Сороковые, роковые…» и «Смерть царя Ивана». Для нас поэтому тогда Давил Самойлов, равно как Борис Слуцкий, были самыми главными поэтами, почти

богами. Еще бы! — боевые фронтовики, прошагавшие пол-Европы, да еще такие легкие, звонкие, по-пушкински прозрачные, дышащие свободой стихи.

Со Слуцким я к этому времени уже был знаком, и его упомянутые выше суровая осанка, нарочитая офицерская выправка, строгие усы и начальственный тон, заставлявшие робеть, производили на меня серьезное впечатление. Внешность же Давида Самойлова оказалась полной противоположностью моим заочным представлениям — передо мной стоял маленький, как мне сначала показалось, небрежно одетый лысоватый человек с удивительно завораживающими и все время чему-то, даже не относящемуся к разговору, смеющимися глазами, начисто лишенный какой бы то ни было внешней внушительности, подобающей бывалому солдату и классику поэзии, каковым он в действительности и являлся.

Меня удивило и даже поначалу шокировало, что уже хорошо знакомый с ним мой ровесник Сережа Артамонов вместо почтительного обращения «Давид Самойлович» называет его каким-то странным и никак не подходящим детским именем Дезик. На меня, к моему великому огорчению, Самойлов никакого внимания не обратил, так как почти все оно было тогда поглощено девятнадцатилетней Анной Наль, поражавшей своей яркой внешностью и необычными стихами. Но мне, в те поры терзаемому честолюбием и комплексами поэтической иерархии, казалась счастьем сама возможность быть в доме такого поэта, как Самойлов, и слушать, что он говорит, хотя и говорил он в тот раз почему-то больше не о поэзии, а о вещах от нее, на мой взгляд, далеких — например, о водке. Стихи мои, уже одобренные Слуцким, он слушал недолго, явно скучая, и вполуха. «Да, — сказал он, хмыкнув, — вы не живописец», — чем поверг меня в полное отчаяние. Потом ему позвонили, и он заторопился в «Метрополь» встречаться с какими-то друзьями.

Снова я увидел его два года спустя, уже в подмосковной Опалихе, куда он, женившись на Галине Ивановне Медведевой, переселился в купленный им просторный бревенчатый дом с довольно большим садовым участком. Дом этот отапливался углем, и поэтому обычно в зимнее время Самойлов наряжался в валенки и свитер, а выходя во двор по хозяйственным делам, облачался в старый армейский ватник и такую же ушанку. На черной бревенчатой стене его кабинета висели старая медвежья шкура, охотничье ружье, несколько фотографий и еще какие-то безделушки. Скрипучая, обитая для тепла дверь вела в коридор и далее — на кухню, где почти круглосуточно хлопотали Галя и ее мать. Ольга Адамовна, что-то дымилось, варилось и пеклось. Вход

в «зимний» дом вел через застекленную террасу, уставленную старыми детскими колясками и пустыми бутылками, разнообразию этикеток которых мог бы позавидовать любой коллекционер. За домом располагались сад и огород, которые, по всей вероятности, могли бы приносить большой урожай, и поначалу действительно приносили, если бы не полное равнодушие главы семейства к садово-огородным занятиям. Поэтому все это понемногу дичало и зарастало, что обеспечивало иногда неожиданное обилие дикорастущей малины.

Почти каждый будний день, не говоря уже о выходных и праздничных, распахивалась никогда не запираемая калитка, и в дом вторгались гости, обычно из числа друзей хозяина. С ними, однако, появлялись затем и их друзья, а то и просто посторонние приезжие люди, желающие повидать поэта и поделиться с ним — кто стихами, кто неудачами. Все они, как правило, шли с бутылками, и при этом их абсолютно не интересовало, свободен ли хозяин дома от работы, желает ли он сейчас немедленно бросить свои стихи или переводы и общаться с ними. Так что многие дни и даже ночи превращались в непрерывное застолье, где одни гости вдруг спохватывались о делах и убегали к очередной электричке, но им на смену неизменно появлялись другие. Хозяин же, которого и я уже к тому времени тоже привычно называл Дезиком, постоянно пребывал за столом, и приходилось только удивляться, когда же он успевает работать. А работа была каторжная. Стихи Самойлова печатали в те годы мало, и он жил переводами. Семья между тем разрасталась, появились дети — сначала Варвара, потом Петя, потом Павлик.

Кстати сказать, свой второй брак Дезик официально узаконил только в 71-м году, уже после рождения Пети При регистрации не обошлось без курьезов. В то время как народная депутатка торжественно зачитывала казенный текст, старшая дочь новобрачных Варвара, которой к этому времени было уже около пяти лет, вырвалась из рук сопровождавших и кинулась к папе с мамой. «А это кто?» — испуганно спросила депутатша, прервав от неожиданности чтение. «А это их будущий ребенок», — невозмутимо ответил один из свидетелей — Анатолий Якобсон. Дети постоянно болели, всех надо было кормить, и воз переводов все возрастал. Возможно, именно в эти годы Давид Самойлов окончательно сформировался как один из главных мастеров русской школы поэтического перевода. Его поначалу-то и в Союз писателей приняли по секции переводчиков. Любил ли он эту свою многолетнюю кропотливую и не всегда благодарную работу, отнимающую время и силы, этот почти пожизненный литературный оброк, связывающий его жесткими сроками сдачи

переводов и произволом редакторского вкуса? Ведь не зря ненавидели переводы, занимались ими по суровой жизненной необходимости многие выдающиеся наши поэты. Анна Андреевна Ахматова сказала как-то, что «переводить стихи — все равно, что есть собственный мозг».

Помню, уже в Пярну Дезик должен был переводить какую-то огромную драму в стихах, к которой у него душа не лежала. Это называлось «двигать шкаф».

И все-таки мне кажется, что Самойлов любил переводить. Во всяком случае, стихи своих любимых поэтов он переводил с таким блеском и свойственной только ему изящной легкостью, что они органично перевоплощались в русские стихи. Благодаря его удивительной музыкальности, тонкому поэтическому слуху и неповторимому таланту пересмешника, русские читатели впервые смогли открыть для себя многих поэтов Франции и Польши, Венгрии и Чехословакии, Грузии и Армении, Литвы и Эстонии. Более того, его переимчивый слух позволил ему воплотить в своих стихах многие интонации народной славянской поэзии. Отсюда стихи о воеводе Вуке, отсюда, наконец, его несколько неожиданные для современников баллады последних лет «Ясеневый листок», «Вставайте, Ваше величество» и другие. Так Самойлов, как некогда Пушкин, брал вечные камни народной поэзии для своих поэтических зданий.

Слава Самойлова как поэта-переводчика быстро распространялась по всей стране. Издательства наперебой заказывали ему переводы. Многие поэты южных республик приезжали к нему с ящиками коньяка или винными бочонками, приложенными к рукописям. Заслуживали ли их стихи переводов такого поэта, как Самойлов? Не знаю, да это теперь и не важно, потому что русские переводы, опубликованные под их именами, были уже настоящими стихами. Дело доходило до курьезов, когда к Самойлову приезжали эмиссары с юга и за обильным столом говорили ему: «У нас есть очень хороший поэт… Надо, обязательно надо, чтобы именно вы перевели его стихи. Это настоящий поэт, очень большой. Его надо открыть для русских. Только вот у него рифма иногда бывает слабовата. Надо ему помочь с рифмой. Да, и вот у него не всегда образов достаточно в стихах. И с этим ему надо помочь… Очень просим».

Я вспоминаю авторский вечер одного из действительно хороших литовских поэтов Эдуардаса Межелайтиса, проходивший в Москве в ЦДЛ. Зал был полон. Сначала Межелайтис читал свои стихи на литовском языке, мало понятном большинству аудитории, а потом эти же стихи читали по-русски поэты, переводившие его — Белла Ахмадулина, Юрий Левитанский,

Андрей Вознесенский. В конце вышел Давид Самойлов, который, судя по румянцу и блеску в глазах, попал на сцену уже через буфет. Он блистательно прочел несколько стихотворений Эдуардаса Межелайтиса в своих переводах, а потом неожиданно сказал: «За что я люблю моего друга Межелайтиса? За то, что он очень умный человек и подружился с хорошими русскими поэтами, которые переводят его стихи на русский. Вот поэтому-то он и классик». Межелайтис и впрямь оказался умным человеком, и дело закончилось смехом.

В начале 80-х в Москве, в театре «Современник» была снова поставлена знаменитая комедия Шекспира «Двенадцатая ночь». Поставил ее специально приглашенный для этого английский режиссер Питер Джеймс. По этому случаю Давиду Самойлову театр заказал новый перевод пьесы. И Самойлов перевел Шекспира, притом совершенно современным языком, языком Москвы 70-х годов, да еще и несколько озорных зонтов написал к комедии на музыку Давида Кривицкого.

Я присутствовал на премьере в театре на Чистых Прудах, куда, ввиду отсутствия билета, прошел по номерку от пальто Самойлова из гардероба. В спектакле, конечно, были заняты все ведущие актеры: Мальволио играл Олег Табаков, сэра Эндрю Эгьючика — покойный ныне Олег Даль, шута — Валентин Никулин. Главное, что запомнилось мне в связи со спектаклем, это до неприличия неудержимый смех, овладевавший мной на протяжении всего театрального действа. Смеялся я так, что на меня оборачивались соседи. После спектакля всех актеров и англичанина-режиссера много раз вызывали на сцену бурными аплодисментами. Наконец вытащили туда и Самойлова и долго ему хлопали. Вернувшись, он сказал мне, тронутый успехом: «Ты понимаешь? Я же выходил за автора!»

Помнится, потом поехали отмечать премьеру в его московскую квартиру, бывшую тогда на Пролетарском проспекте. Было много народу, включая английского гостя. Все говорили о том, что Самойлов должен теперь перевести заново все комедии Шекспира, чтобы дать им новую жизнь — как Пастернак дал новую жизнь шекспировским трагедиям. Жена же Галя этой идеи явно не одобряла. Меня это удивило, и когда гости разошлись, я спросил ее об этом. Она сердито ответила: «Дезик должен прежде всего писать стихи». «Что ты, — возразил я, — это ведь тоже стихи — Шекспир». «Ты не знаешь Дезика, — сказала она. — Он все хочет делать сразу: стоять на сцепе, переводить Шекспира, пить с друзьями, крутить роман и писать гениальные стихи, и при этом в одно и то же время. Так не бывает». Она была права. Больше Давид Самойлов Шекспира не переводил…

Возвращаясь же к поэтическим переводам Самойлова, можно с уверенностью сказать, что даже если бы он совсем не писал собственных стихов, то все равно остался бы в нашей литературе как непревзойденный мастер поэтического перевода. Когда стихи переводит не просто переводчик, а поэт, всегда происходит как бы противоборство двух личностей, двух поэтических систем, где побеждает сильнейший. Чтобы убедиться в этом, достаточно восстановить в памяти, например, прекрасные переводы шекспировских сонетов, сделанные Самуилом Маршаком, и его собственные стихи, скорее похожие на переводы. Обратный пример — с Эдуардом Багрицким, переведшим «Балладу о рубашке» Томаса Гуда, где перевод убедительнее подлинника. У Самойлова же, сильного и самобытного русского поэта, было редкое чувство вкуса и меры, никогда не позволявшее ему «гнуть под себя» чужие стихи. Может быть, именно это и обеспечило точную гармонию переводов.

В середине 70-х годов Самойловы купили — сначала частично, а потом и целиком — дом в Пярну, в Эстонии, на берегу Пярнуского залива, и практически переселились туда. Знаменитый и многим памятный дом в Опалихе был продан и прекратил свое литературное существование. А жаль! Ведь именно этот дом, где в гостях у Самойлова бывали многие видные литераторы — от Анатолия Якобсона и Фазиля Искандера до Вячеслава Всеволодовича Иванова и Лидии Корнеевны Чуковской, стал теперь своеобразным памятником эпохе 60-х годов. В нем всегда жили какие-то приехавшие родственники или ученики, а то и просто друзья. Быт, хотя и трудный, полусельский быт дома, где росло трое детей, никогда не бывал проблемой — как на палубе корабля, где в машинном отделении всегда все в порядке.

Частые застолья и вереница гостей образовывали как бы внешнюю декорацию этого дома. Каждое утро, даже с тяжелой головой, хозяин садился за свою нелегкую и часто постылую работу. А разговоры за столом были совсем не праздными. Шли 60-е годы, когда перед российской интеллигенцией стоял трудный выбор — эмиграция или духовная внутренняя борьба, противостояние тупой махине полицейского государства. Тесная дружба связывала Давида Самойлова с людьми, близкими к диссидентскому движению — Львом Копелевым, Юлием Даниэлем (после его возвращения из ссылки).

Наиболее трагической фигурой в этом окружении оказался поэт и переводчик из семинара, который вели в те годы Давид Самойлов и Мария Петровых, Анатолий Якобсон — самый, пожалуй, любимый ученик Самойлова. Талантливейший

литератор, человек с болезненно обнаженной совестью, со всей юной горячностью и непримиримостью он отдал свою жизнь диссидентскому движению, став одним из самых основных составителей знаменитой «Хроники», и тем обрек себя на тюрьму и высылку. Все, что писал в те годы Якобсон, и в первую очередь его блестящие литературоведческие работы, в том числе книга о Пастернаке и статьи об Ахматовой, поэме Блока «Двенадцать», советских поэтах-романтиках, во многом черпалось из общения с Дезиком. Самойлов долго и болезненно переживал его вынужденный отъезд и последовавшую затем безвременную и трагическую гибель, которой он посвятил стихи.

Для всех этих людей и для многих других, включая А. Д. Сахарова, Давид Самойлов был в те годы мерилом общественного самосознания. Тогда интеллигенция тянулась к поэтическому слову, и он стал одним из главных центров этого поэтического притяжения.

Вместе с тем Самойлов всегда был последовательным противником эмиграции и убежденно считал, что российский писатель не должен покидать родину, полностью солидаризируясь в этом с Ахматовой и Сахаровым. В его архивах сохранились не отправленные им письма к Солженицыну, где он формулирует свою позицию. Кроме того, Самойлов, подобно Пушкину, физически ощущал потребность быть независимым как от официальных инстанций, так и от политических движений, которым сочувствовал. К нему полностью могут быть отнесены автобиографические строки Пушкина в его выдуманном переводе «Из Пиндемонти»:

> Зависеть от властей, зависеть от народа —
> Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
> Отчета не давать, себе лишь самому
> Служить и угождать; для власти, для ливреи
> Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи…

В старом бревенчатом, потемневшем от времени опалихинском доме существовал в те годы особый, не всегда трезвый, но неповторимый социум творческих людей, и витал тот странный дух свободы, который я нигде не встречал за его пределами. Иногда меня охватывает ностальгия по этому дому. В Пярну тоже был дом, гораздо более роскошный и вместительный, однако там это чувство не возникало. Может быть, потому, что прошли годы и все стало восприниматься по-другому, а может быть, и потому еще, что дом этот стоял уже не посередине нашей жизни в Подмосковье, а в эстонском курортном городке, среди

чужого языка, чужой истории и быта, и все поэтому виделось не изнутри, а как бы со стороны.

Но Давид Самойлов, со свойственной лишь ему редкой особенностью становиться центром общения, и здесь создал удивительное литературное силовое поле, в зону действия которого попадали все приезжавшие в Пярну друзья и литераторы. Я в свое время даже придумал выражение «дезоцентрическая система». Поэтому с середины 70-х многие завсегдатаи Опалихи, в том числе и мы с женой, стали наезжать летом в Пярну. Организовывались купания, хотя купаться Самойлов любил не очень, так как после болезни плавал плохо. «Люблю природу, но не люблю стихию», — сказал он как-то. Устраивались разнообразные литературные игры, до которых Дезик был великий охотник. Чего стоит, например, его стихотворная переписка «Из Пярну — в Пярну» с отдыхавшим там в то время Львом Зиновьевичем Копелевым, которому он писал, в частности:

Ты всегда бываешь, Лев, — лев.
Не всегда бываешь, Лев, прав.

Вместе с рижским писателем Юрием Абызовым, своим давним приятелем, Самойлов придумал целую страну — Курзюпию, с историей и, конечно, своей литературой, которую они старательно переводили на русский язык. Был создан также специальный словарь курзюпского языка и ряд курзюпских имен — такие, например, как имена двух сестер: Ссална Ваас и Клална Ваас.

Иногда, в вечернее время, совершались посиделки «на Ганнибаловом валу», крепостной стене старинного города Пернова, возведенной, по преданию, под руководством и по чертежам знаменитого прадеда Пушкина — царского арапа Абрама Петровича Ганнибала, что нашло потом отражение в известной поэме Давида Самойлова «Сон о Ганнибале». Дезик обладал неистощимой мальчишеской фантазией на различного рода выдумки и затеи. Например, надевал шляпу и очки, брал в руки трость и изображал «богатого старика», каким он хотел бы когда-нибудь стать. Или, только что написав песенку на музыку композитора Бориса Чайковского для детской пластинки «Слоненок-турист», собирал вокруг себя детей и взрослых. Все прыгали на одной ноге и дружно распевали вслед за ним: «Цык-цык, цуцик, цык-цык, цуцик».

Рядом с Самойловым на улице Тооминга жил летом вместе с дочкой известный скрипач Виктор Пикайзен, на концерты

которого мы ходили и который неоднократно бывал в гостях у Дезика. Однажды во время утреннего купания Дезик сказал мне: «Ты знаешь, я вчера был просто потрясен Пикайзеном. Представляешь, он приходит после концерта домой, ужинает кефиром с булочкой и потом сам себе еще играет на ночь на скрипочке! Ему, оказывается, мало! Кроме того, я долго думал, — откуда у еврея может быть такая странная фамилия — Пикайзен, и сегодня я наконец сделал открытие: никакой он не Пикайзен — обыкновенный Айзенпик!»

Будучи свидетелем в ЗАГСе при моей женитьбе в 1972 году, он сказал: «Алик, я должен преподать тебе основы этики семейных отношений. Жене, конечно, можно и нужно изменять, но есть нравственные нормы, которые преступать нельзя. Например, — ты пришел домой в пять утра. Ну, бывает, — засиделся у приятеля, выпили, ничего. А теперь представь, что ты пришел домой не в пять, а в половине шестого. Это уже совсем другое дело — ты не ночевал дома. Ты понял разницу?» На мое пятидесятилетие он прислал из Пярну стихотворное послание:

Городницкий — пятьдесят —
Это, брат, не фунт изюма.
Это, я сказал бы, брат,
Основательная сумма.

Юмор не покидал Давида Самойлова даже в самых критических ситуациях. Когда к нему пришел глазной врач накануне операции по снятию катаракты, чтобы определить, насколько у больного ослабло зрение, Самойлов заявил: «Понимаете, доктор, бутылку вижу, а рюмку нет». К женщине-хирургу перед операцией он обратился со стихами:

Роза Александровна, вырежьте мне глаз,
Ибо этим глазом я не вижу Вас.

Когда я думаю о Самойлове, его облик в моей памяти всегда связан с его домом. В Опалихе или Пярну, но обязательно с домом. В Москве, на Астраханском, у Самойловых была городская квартира, но Дезик ее недолюбливал, бывал в ней недолго, наездами. Просторно он чувствовал себя только в доме. В доме, где плачут или смеются дети, пыхтит и варится что-то на кухне, шумят за столом и спорят понаехавшие гости. А на другом столе, в кабинете, ждет начатая рукопись. А за стенами дома лежат подмосковные задымленные снега или шумит неприветливая

осенняя Балтика. Не оттого ли образ Дезика легко ассоциируется в моем сознании с образами маститых мастеров Возрождения, в их шумных итальянских домах, в окружении подмастерьев, учеников, детей и домочадцев? Помните его «Свободный стих»? Сейчас таких мастеров больше нет. Ушел последний.

Самойлов вообще чем дальше, тем больше не любил большой город с его суетой, беспрерывными телефонными звонками, отсутствием моря или леса и плюс к этому — своей постоянной зависимостью от конъюнктуры событий, здесь происходящих, на которые он как один из первых поэтов обязательно должен был реагировать. Он ощущал органическую потребность быть подальше от суетной и бестолковой столичной жизни с ее важными, на первый взгляд, но не имеющими отношения к поэзии событиями. К нему полностью могут быть отнесены строки Иосифа Бродского из «Писем римскому другу»:

Если выпало в Империи родиться.
Лучше жить в глухой провинции, у моря.

Давид Самойлов и жил «в провинции у моря», найдя наиболее удобную для себя форму внутренней эмиграции. «Я выбрал залив», — пишет он сам о себе. Вряд ли он мог предположить при этом, что уже после смерти окажется внезапно за рубежом.

…И некому слово замолвить,
Его протерев, как стекло,
В краю, где и имя «Самойлов»
Латынью на камень легло.

У берега Балтики синей
Не ждет запоздалых наград
От все позабывшей России
Посмертный ее эмигрант.

Вместе с тем именно стремление жить подальше от столицы (вспомним Александра Кушнера: «Пребыванье вне столиц здоровей Кремлевских капель») определяет главный личностный и поэтический водораздел Давида Самойлова с Борисом Слуцким. Тот всю жизнь стремился быть как можно ближе к центру событий, жадно впитывал в себя все последние новости, стараясь все время быть в курсе происходящего. Его стихи почти всегда неразрывно связаны с конкретными политическими событиями,

переживаемыми нашей страной: «В то утро в мавзолее был похоронен Сталин», «Покуда над стихами плачут», «Евреи хлеба не сеют», «Я строю на песке». Эти и многие другие стихи его поражают прицельной точностью беспощадных жестких формулировок, острой актуальностью и незамедлительной быстротой реакции.

На этом фоне стихи Давида Самойлова кажутся мягкими, порой совсем неактуальными. В них часто как бы отсутствует личная позиция автора (как, например, в одном из лучших его стихотворений «Пестель, поэт и Анна»). Самойлов избегает жестких форм и формулировок, поэтических силлогизмов, внешней экспрессии стиха. При внимательном чтении, однако, убеждаешься, что поэтическая ткань его стихов гармонична и неразрывна, и негромкие, казалось бы, откровения поражают своей глубиной:

Ночь стоит ледяно и сухо,
Ночь стоит высоко и звездно, —
Не склоняй доверчиво слуха
К прозревающим слишком поздно.

Одной из главных особенностей поэзии Давида Самойлова является присутствие воздуха в его стихах, ощущение удивительной музыкальной гармонии их звучания. Секрет этого остается непонятным. Эта прозрачная пушкинская гармония не «поверяется алгеброй». При всем очевидном несходстве эпох, лексики, судеб и характера поэтических талантов, как это некоторым ни покажется странным, звонкие самойловские стихи более всего сродни пушкинским. Их сближает, помимо прочего, легкость и кажущаяся простота.

Не менее важным параметром, связывающим напрямую поэзию Самойлова с пушкинской, можно считать то постоянное ощущение улыбки, которое присутствует у Самойлова даже в самых серьезных стихах — явление вообще достаточно редкое и потому особенно ценное в русской поэзии:

Все это ясно видел Дибич,
Но не успел из дома выбечь.

Или:

По ночам бродил в своей мурмолочке.
Замерзал и бормотал: «Вот, сволочи!

Пусть пылится лучше. Не отдам».

Не говоря уж о таких его поэмах, как «Дон Жуан» или «Юлий Кломпус». Помню, как после первого прочтения озорной поэмы «Юлий Кломпус» в Москве, куда он привез ее из Пярну, Дезик сказал мне: «Сам не знаю, как она у меня выскочила. Время было самое неподходящее. Понимаешь, Петя болеет, Галя — черная, денег нет, а из меня, как назло, прет эта поэма. Ну что ты будешь делать!» Действительно, по свидетельству Галины Ивановны, «Юлий Кломпус» был написан во время второй Петиной реанимации, когда ночью до приезда реаниматора родители попеременно держали тяжелый водопроводный шланг, из которого наскоро соорудили дыхательную трубку для Пети.

Может быть, именно поэтому Самойлову всю жизнь ближе других оставались светлые, несмотря ни на что, образы гениальных Шуберта и Моцарта: «Шуберт Франц не сочиняет: как поется — так поет». Или: «Но зато — концерт для скрипки и альта!»

Что же касается политизированной декларативной эстрадной поэзии, ставшей столь модной в начале 80-х и снова набирающей силу в наши дни, то Самойлов ее откровенно не любил, не считая ее явлением поэтического ряда. С горечью говорил он мне при последней встрече в Москве, у него дома на Астраханском, о мутной волне такой поэзии, которая поднимается сейчас, о конъюнктурных однодневках, звучащих с эстрад, о том, что действительная поэзия становится не нужна в наш прагматичный век, жадный до сенсаций и разоблачений. При всем том Самойлов всегда был подлинно русским поэтом с государственным сознанием, поэтом того ушедшего поколения, которое кровью своей на полях самой кровавой войны в истории человечества заплатило за право на это сознание.

Иногда, хотя на мой взгляд и несправедливо, его обвиняли даже в «имперском» восприятии событий. Однажды наш общий знакомый, прозаик Марк Харитонов, послал ему рукопись своего большого романа об Иване Грозном. Самойлов написал автору длинное письмо, где, положительно отзываясь о романе в целом, упрекал в то же время автора в «неправильной исторической концепции при освещении событий. Так татарский историк навряд ли мог бы правильно осветить Куликовскую битву». Сам Самойлов вполне унаследовал моральную традицию ведущих российских писателей от Достоевского до Толстого искать в себе, а не в окружающих, причины общественных неурядиц. В последнюю встречу мы с ним из-за этого даже поспорили, так как

он вдруг начал говорить об исторической вине евреев перед русским народом: «Не надо было евреям лезть в первое советское правительство и чека».

Во всем остальном же, впрочем, он был совершенно русским, а не «русскоязычным», — как его стараются представить идеологи литературной «черной сотни», писателем. Не случаен в связи с этим его живой интерес к российской истории. Исторические стихи и стихотворные драмы Давида Самойлова — тема отдельного исследования. Во всех своих исторических произведениях он концептуален. Это не красочные иллюстрации к минувшим событиям былого, а как бы опрокидывание их в проблемы сегодняшнего дня. Наиболее яркий пример этого — поражающая своим лаконичным изяществом поэма «Струфиан», в которой императора Александра Первого похищают из Таганрога инопланетяне. Фантастический современный фон, возникший в поэме на основе рассказов и лекций одноклассника Дезика, известного «тарелочника» Феликса Юрьевича Зигеля, подчеркивает актуальность проблем государственного переустройства бунтующей многонациональной империи. И в челобитной, подаваемой государю Федором Кузьминым, легко угадывается современная программа сторонников «патриотической России»:

Чтобы России не остаться
Без хомута и колеса.
Необходимо наше царство
В глухие увести леса…
И завершив исход Синайский,
Во все концы пресечь пути,
А супротив стены Китайской
Превыше оной возвести.
В Руси должна быть только Русь.
Татары ж и киргиз-кайсаки
Пусть платят легкие ясаки,
А там — как знают, так и пусть!

В стихотворной драме «Меншиков» тупая махина государства ломает все нормальные человеческие чувства и, прежде всего, любовь Сапеги и Марии Меншиковой. Историческая поэма «Сон о Ганнибале», посвященная, казалось бы, семейной драме знаменитого предка Пушкина, на самом деле посвящена сложным, всегда актуальным проблемам любви и взаимного понимания близких людей. «Он заплатил за нелюбовь Натальи» — это уже о Пушкине и обо всех нас. Поэмы Самойлова, как

правило, коротки. Для них характерно стремительное развитие сюжетов и характеров героев. Композиция — редкий дар. Давид Самойлов владел нм в совершенстве, что еще раз обличает в нем мастера. Он, кстати, сознавал это и не без гордости говаривал: «Ну уж сюжетом-то я владею».

Поразительна художественная ткань этих поэм, где реплики героев органично сплетаются в строке с описанием происходящего на сцене:

> Дон Жуан: Чума! Холера! (Треск, гитара, мандолина.)
> Каталина! Каталина! (Входит.) Что вам, кабальеро?

Предельно точны изображения:

> Доныне эту вязку я помню под рукой
> И грустную развязку с искательницей той.

Что же касается истории, то и в поэмах, и в емких исторических стихах («Смерть Ивана», «Конец Пугачева») автора привлекали прежде всего нравственные проблемы, связанные с поступками героев, соотношение государственной необходимости и христианских заповедей. Все беды «Смутного времени» на Москве происходят «потому, что маленьких убивать нельзя!» Показателен в этом отношении и диалог Ивана Грозного с обреченным на мучительную смерть холопом:

> Ты милосердья, холоп, не проси.
> Нет милосердных царей на Руси.
> Русь — что корабль. Перед ней — океан.
> Кормчий — гляди, чтоб корабль не потоп!..
> Правду ль реку? — вопрошает Иван.
> Бог разберет, — отвечает холоп.

Почти все поэмы Самойлова, от «Снегопада» до «Кломпуса», так же, впрочем, как и стихи, во многом биографичны. Даже когда автор пишет о легендарном мастере средневековья Вите Ствоше, в конце жизни отправившемся в Нюренберг и «запропавшем по дороге», он пишет во многом о себе. Вместе с тем, если развивать дальше дискуссионную тему о сходстве Самойлова и Пушкина, то необходимо отметить еще одну общую черту — некую внешнюю непричастность художника к изображаемым им героям и событиям. Именно эта черта Пушкина вызвала критику со

стороны Андрея Синявского в его знаменитой работе «Прогулки с Пушкиным», публикация которой в журнале «Октябрь» наделала столько шума. Так же как и Пушкин, Самойлов равно доброжелателен ко всем своим героям, но как бы отстранен:

Как прощался он с Устиньей, как коснулся алых губ,
Разорвал он ворот синий и заплакал, душегуб.

В стихах и поэмах Давида Самойлова нет резонерства. Они рассчитаны на умного собеседника, который сам сумеет во всем разобраться.

Еще живя в Опалихе, Самойлов наряду со стихами начал писать автобиографическую прозу, книгу о себе, своей эпохе, своих современниках. Книгу эту он не успел закончить, но даже те куски из нее, которые мне посчастливилось услышать в его чтении, очень значительны, как по содержанию и нравственной позиции автора, так и по все той же неповторимой летящей легкости самойловского стиля.

Говоря о литературном стиле Самойлова, с сожалением приходится заметить, что этот прозрачный пушкинский поэтический стиль, ставший в наше время модернистских новаций уникальным, с его уходом может оказаться вообще утраченным.

В своей поэзии Давид Самойлов со всей глубиной показал огромные, еще не использованные богатства классической русской поэзии. Не случайно поэтому он занимался специальным изучением русской рифмы, разработкой теории стиха. Его знаменитая «Книга о русской рифме» — одна из редких книг такого рода, написанная не литературоведом, а поэтом, — остается бесценным вкладом в поэзию и литературоведение. Всю свою жизнь Давид Самойлов как магнит притягивал к себе поэтическую молодежь. У него было много учеников, однако все они пишут иначе. Его моцартовский легкий стиль никто из них перенять не сумел. Может быть, именно об этом думал он еще в молодости, когда написал в стихотворении «Старик Державин» пророческие строчки:

Был старик Державин льстец и скаред,
И в чинах, но разумом велик.
Знал, что лиры запросто не дарят.
Вот какой Державин был старик!

К своим публичным выступлениям, которых было немало,

Давид Самойлов почти всегда готовился тщательно, продумывая их композицию до деталей. У него был на редкость обаятельный голос и такая же завораживающая манера читать стихи — очень мягкая и ненавязчивая. В отличие от многих московских поэтов, превращающих чтение стихов в эстрадный номер или выступление на митинге, размахивающих руками и жестикулирующих каким-то особым образом, вскрикивающих вдруг в процессе чтения своих стихов, чтение Дезика начисто было лишено какой бы то ни было внешней аффектации. Стихи его были настолько насыщенны и естественны, что совершенно не требовали никаких звуковых или мимических дополнений при чтении. Голос его — казалось бы, негромкий — с удивительной точностью передавал все оттенки и полутона звучащей строки. Послушайте его стереодиски — и вы сами немедленно убедитесь в этом.

В последние годы на авторских вечерах в Москве, Ленинграде и Таллинне, где у Самойлова сложилась своя многолетняя аудитория, он, как правило, выступал не один, а с кем-нибудь из своих друзей актеров, которые читали его стихи. Обычно это были Михаил Козаков, Рафаэль Клейнер. Яков Смоленский, Зиновий Гердт, Лилия Толмачева. Все они актеры и чтецы самого высокого класса, глубоко любившие Дезика и его стихи и вкладывавшие в чтение весь свой талант. Чтение их — само по себе неплохое, звучавшее, как правило, в первом отделении каждого вечера, — ни в какое сравнение, конечно, не шло с чтением самого автора во втором отделении, несмотря на то, что в последнее время Дезик забывал строчки (и тут же весь зал принимался хором их подсказывать), снимал и надевал очки при чтении и держался без всякого сценического напряжения. «Играть» на сцене его даже остросюжетные поэмы было совершенно не нужно. Так, однажды, читая его поэму «Сон о Ганнибале», один из актеров решил почему-то разыграть на сцене роли ее персонажей и стал усиленной мимикой изображать то девицу Моор, то лихого Норцова, что вызвало в зале смешки и внесло элемент балагана, но нарушило грустный и меланхолический гармонический строй звучащей поэмы, в которой вообще-то нет ничего смешного. Рафаэль Клейнер, много лет работавший с Дезиком, который был режиссером многих его поэтических моноспектаклей (по стихам поэтов, погибших на полях Великой Отечественной войны — «Строки, пробитые пулей», по Алексею Константиновичу Толстому и т. д.), читая стихи Самойлова, всячески смирял свой громовой голос, стараясь передать мягкость Дезиковых интонаций.

Вспоминаю, как после одного из последних вечеров

Самойлова в ЦДЛ мы вместе с Гердтами заехали к нему домой на Астраханский. Дезик был недоволен вечером, реакция зала казалась ему холодной. «Понимаете, — жаловался он, — раньше, когда я читал свои поэмы, от них гул шел. А теперь нет гула, не чувствую я его». Гердт допил свою рюмку коньяка, поставил ее на стол и патетически произнес: «Гул затих». Все засмеялись.

Так же нелегко было переложить стихи Самойлова на музыку. Я помню, как нелепо и чужеродно к стихам звучал в сопровождении фортепьяно уж не помню кем написанный романс на стихи «Я — маленький, горло в ангине…», да еще и с вокальной сопрановой колоратурой. Всякая внешняя патетика и напыщенность не уживались с органическим строем этих стихов. Мне кажется, что только Сергею Никитину и Виктору Берковскому, талантливым композиторам-самоучкам с прекрасным поэтическим слухом, удалось найти правильную интонацию музыкальной аранжировки его стихов. Это относится к песням Сергея Никитина «Триптих о Царе Иване», Виктора Берковского — «Сороковые-роковые» и многим другим.

Однажды Сергей Никитин спел мне только что написанную им на стихи Самойлова новую песню «Давай поедем в город». Мелодия песни, показавшаяся оригинальной и точной, мне понравилась, о чем я Сергею тут же и сказал, поздравив его с тем, что ему удалось придумать такую хорошую мелодию. «Да я вовсе и не придумывал ее, — ответил он, — она уже была в стихах. Просто я ее извлек и подчеркнул».

Сам Самойлов песен, как правило, не писал (не считая, конечно, работы с театрами, в результате которой, в частности, появилась ставшая народной и безымянной песня «Ах, поле, поле, поле», или песен для «хора терских казаков»).

Его однокашник по ИФЛИ, поэт и прозаик военного поколения Евгений Агранович вспоминал, как в послевоенные годы, когда их собственные стихи не печатали, они писали песни на заказ втроем, — он, Борис Слуцкий и Давид Самойлов. Происходило это примерно так. Самойлов звонил с утра по телефону Аграновичу или Слуцкому и говорил: «Приходите ко мне к соавтраку». Слегка подкрепившись, они начинали сочинять песни. В каждом куплете кто-то начинал первую строку, а другие продолжали. Весьма характерный пример, приведенный Евгением Аграновичем, такой:

Привели в отделенье милиции (Агранович),
Где паркет, и букет, и портрет (Слуцкий),
Девчоночку в платьице ситцевом
Восемнадцати с чем-нибудь лет (Самойлов).

Кстати, сам Евгений Агранович, родившийся в 1919 году и поступивший в Литературный институт в 1938 году, в том же году вместе с Борисом Смоленским написал широко известную песню «Одесса-мама»:

В Одессе зажигаются огни,
И корабли уходят в море прямо.
Давай поговорим за берега твои.
Любимая моя Одесса-мама.

С первых дней войны Агранович отправился на фронт рядовым 22-го отдельного истребительного батальона и именно тогда, в самые тяжелые дни войны, написал знаменитую песню, которую я (а возможно и многие другие) приписывал Редьярду Киплингу:

День-ночь, день-ночь
Мы идем по Африке.
День-ночь, день-ночь,
Все по той же Африке.
И только пыль, пыль, пыль,
От шагающих сапог, —
Отдыха нет на войне.

В 1942 году Евгений Агранович уже военный корреспондент, старший лейтенант. Он закончил войну в 45-м в Германии, а после демобилизации в 1946 году долго не мог восстановиться в Литературном институте из-за начавшейся в стране антисемитской кампании. Для его восстановления потребовались ходатайства Константина Симонова и Павла Антокольского. В последующие годы, поэт, прозаик и драматург Евгений Агранович, став профессиональным сценаристом, неоднократно писал песни для кинофильмов, из которых наибольшую известность приобрела песня «Я в весеннем лесу пил березовый сок».

Другим однокашником Самойлова, писавшим песни, был поэт Михаил Львовский, написавший в соавторстве с Михаилом Светловым знаменитый «Глобус». Ему принадлежит также замечательная песня «На Тихорецкую состав отправится» и песня, которую любил петь Самойлов, начинавшаяся такими строчками:

Если пойдешь от Ольховки
Прямо за Уральский хребет.
Ты подойдешь к океану,
Лучше которого нет.
Дальше пойдет Сан-Франциско,
За Сан-Франциско — Нью-Йорк.
Через Париж и Варшаву
Все к той же Ольховке придешь.

Еще один многолетний приятель и современник Давида Самойлова Георгий Лепский, служивший во время войны в железнодорожных войсках, еще в 1937 году вместе с однокашником Самойлова по ИФЛИ Павлом Коганом написал самую, пожалуй, знаменитую песню нашей молодости — «Бригантину» (стихи Павла Когана, музыка Георгия Лепского).

И Евгения Аграновича, и Михаила Львовского, и Павла Когана с Георгием Лепским вполне можно причислить к предтечам авторской песни.

Сам Давид Самойлов к авторской песне относился довольно равнодушно. Именно ему принадлежит упомянутая выше крылатая фраза «Истинная поэзия не нуждается в гитарной подпорке». Тем не менее, это не мешало ему любить Окуджаву, Высоцкого и Кима, которому он незадолго до своей смерти написал предисловие для книжки.

Ким, кстати, поведал мне забавную историю о том, что как-то в Пярну Дезик пригласил его к себе в качестве «эксперта» по авторской песне. В этот день к нему в гости приехал откуда-то издалека поэт, пишущий песни, предусмотрительно прихватив с собой пару бутылок коньяка. Прикончив первую бутылку, Самойлов благосклонно предложил поэту показать свои песни. После их исполнения первое слово, как специалисту, было предоставлено Юлию Киму. Песни Киму не понравились, однако и обидеть гостя при Самойлове он не решался, поэтому говорить начал уклончиво: «Понимаете, песни с одной стороны неплохие, но с другой стороны в них не хватает того-то и того-то». Дезик долго и терпеливо слушал рассуждения Юлика, а потом выпил очередную рюмку и с римской прямотой громогласно заявил: «А по-моему, все это — полное говно!»

Вспоминается также история с другим бардом, приехавшим на поклон к Самойлову из Харькова, тоже, конечно, с бутылкой. Самойлов с ласковой улыбкой слушал его песни под гитару, и бард удалился в полной уверенности, что покорил сердце сурового мэтра. Когда дверь за гостем закрылась, Дезик, поставив

пустую рюмку на стол, поднял вверх палец и глубокомысленно произнес: «Так должен уметь каждый еврейский мальчик».

Еще с фронтовых и даже с военных ИФЛИйских лет Самойлов любил застолье и был изрядным сердцеедом. Невысокого роста, подвижный и порывистый в молодости, как Пушкин, с завораживающе красивыми и живыми глазами, на сердца всех женщин действовал он безотказно, что создавало порой то драматические, то комические ситуации. В сентябре 2000 года старинный друг Самойлова упомянутый выше Петр Горелик показал мне письмо, полученное от Давида Самойлова с Ленинградского фронта. О чем же он писал? «С радостью сообщаю тебе, что учрежденной тобой комиссии по лишению меня невинности делать нечего». Ну как тут не вспомнить его знаменитые строчки: «Война гуляет по России, а мы такие молодые»! Уже в конце жизни Самойлов со скромной гордостью написал в шуточном сборнике «В кругу себя»: «Меня любили дочери пяти генералов, двух маршалов и одного генералиссимуса». Помню, в 91-м году в Питере я процитировал эти слова на вечере его памяти, который вел в Ленинградском концертном зале. Сидевший за моей спиной Зиновий Гердт молниеносно выхватил у меня микрофон и громко крикнул в него: «И это был совсем не Чан Кай-Ши!»

Один из родственников Дезика со стороны первой жены, упомянутый выше редактор издательства «Советский писатель» Виктор Фогельсон, живший в незапамятные времена с ним вместе на даче в Мамонтовке, вспоминал, как однажды, в холодный зимний день, Дезик неожиданно появился на этой даче с дочерью «величайшего гения всех времен и народов» и заставил растерянного Фогельсона немедленно убраться на холодный чердак. Однако совершенно неожиданно появилась вдруг жена поэта, и на холодном неотапливаемом чердаке пришлось довольно долго отсиживаться самой дочери генералиссимуса, которую сердобольный Виктор, когда Дезик вынужден был удалиться вместе с женой, долго отпаивал горячим чаем и провожал на электричку.

Поэт Юрий Левитанский написал про его многочисленные увлечения: «А эту Зину звали Анной — она была прекрасней всех». Сам Самойлов однажды жаловался мне, что Левитанский «начисто убил» его любимые стихи о Франце Шуберте, начальная строчка которых звучала так: «Шуберт Франц не сочиняет — как поется, так пост». Остряк Левитанский заменил всего лишь одну букву в слове «поется», после чего Дезик навсегда вычеркнул эти стихи из своего концертного репертуара. «Все время боюсь прочесть не так», — объяснил он. Виктор Берковский, написавший

песню на эти стихи, из тех же соображений поменял эту строчку Самойлова на «Шуберт Франц не сочиняет: запоется — запоет».

В ресторане ЦДЛ и в некоторых других ресторанах Дезик пользовался общей любовью (и, кажется, порой даже кредитом) всех официанток. В 60-е годы он проводил там довольно много времени, и когда случались деньги, щедро поил всех окружающих. Он любил дружеские застолья, ставшие одной из главных составных частей его жизни. Основным здесь для него всегда была, конечно, не выпивка, а «роскошь человеческого общения». Эту сторону своей жизни он прекрасно описал в автобиографической поэме «Юлий Кломпус», посвященной своему покойному другу. В этих знаменитых московских застольях обсуждались мировые проблемы, выявлялись новые мессии, читались новые стихи и поэмы.

С одним из героев поэмы «Юлий Кломпус» произошла в то время в Коктебеле история, в поэме, правда, не отраженная. Он несколько раз подряд возвращался домой уже под утро и каждый раз объяснял жене, что был у Самойлова, где тот всю ночь читал ему новые главы из исторической драмы в стихах «Меншиков». В очередной раз, коша он, также вернувшись поздно ночью, стал раздеваться, чтобы лечь, жена заметила, что брюки на нем надеты задом наперед. «Извини, дорогая, — сказал он, оправдываясь, — драма была очень сильная».

Пил Дезик порой довольно много, однако в последние годы ему пришлось строго ограничивать себя из-за развившейся гипертонии, частичной потери зрения и болезней сердца. Тем не менее он обладал редкой способностью: продолжал писать после рюмки. В те времена, когда в Пярну еще существовали эйнелауды с коньяком в разлив, он обычно, делая передышку, совершал прогулку к паре эйнелаудов и потом, оживленный, продолжал работать. Одно время в его рабочем кабинете в Пярну даже был оборудован настоящий бар с зеркалами и разнообразными напитками. Бар этот просуществовал недолго. «Понимаешь, — объяснил мне Дезик, — я как-то пришел домой с прогулки, сел около бара и стал методично пить все, что там было. На следующий день Галина Ивановна бар закрыла, и там теперь оборудовали аптеку».

Еще живя в Опалихе, Самойлов совершал частые прогулки на станцию. Относясь к ним с подозрением, Галина Ивановна строго запретила ему заходить в станционный ресторан. Там же в то время только что открыли новый фирменный ресторан русской кухни «Опалиха». Дезик попал туда в первый день его открытия и оказался одним из первых посетителей. А поскольку открытие снимало телевидение, то Дезик немедленно оказался разоблачен,

так как в тот же вечер снова возник за столиком ресторана — на экране семейного телевизора.

В опалихинский период Давид Самойлов, загуляв в Москве, не всегда мог сам добраться до дома. Рафаэль Клейнер вспоминал, как однажды в половине первого ночи ему домой позвонил сильно выпивший Дезик: «Рафик, я звоню из телефонной будки. Забери меня отсюда». «Давид Самойлович, где вы находитесь?» — спросил Рафик. «Не знаю», — ответил Самойлов и повесил трубку. В другой раз собутыльники довезли его на машине до Опалихи и выгрузили возле калитки его дома, где он сразу же и уснул и был обнаружен встревожившимися родными только на следующее утро. Не отсюда ли строчки:

> Как валенок рваный валяюсь в кювете.
> Добро на Руси ничего не имети.

Сам Самойлов как-то вспоминал, что однажды, отправившись на выступления в Ленинград, он неожиданно встретил в поезде Евгения Евтушенко, с которым они всю ночь пили шампанское. На перроне он разошлись, поскольку каждого встречали представители разных организаций. Давида Самойлова встречали какие-то инструкторы отдела культуры Ленинградского обкома КПСС. Увидев среди встречающих женщину, Дезик, не слушая приветственных слов, заявил: «Это все — ерунда. Мы немедленно едем к тебе».

Нельзя не подчеркнуть при этом, что продолжать писать после рюмки Дезик мог только тогда, когда уже вертелось в голове и шло. Как метко определила его жена, рюмка лишь «подбадривала Трубецкого». Пьяным он никогда не писал, а если и случалось, выбрасывал или переделывал.

Зная склонность Дезика к застолью, устроители литературных вечеров часто старались ему угодить, однако так случалось не всегда. Помнится, в 1973 году в мемориальном музее А. С. Пушкина на Волхонке состоялся литературный вечер «Поэты читают Пушкина», в котором принимал участие и Самойлов.

Помню, готовясь к этому вечеру, я чрезвычайно волновался, стараясь выбрать для чтения (конечно, наизусть!) какие-нибудь не слишком тривиальные пушкинские стихи. Остальные участники отнеслись к этому более спокойно. Маргарита Алигер, например, попросив у хозяев томик Пушкина, стала, заглядывая в книжку, читать: «На берегу пустынных волн». Левитанский почему-то начал говорить, что сцены из «Фауста» написаны таким современным стихом, что напоминают Андрея Вознесенского, и

вместо пушкинских стихов прочел свои. Окуджава же вообще не приехал, и злые языки утверждали, что это, дескать, потому, что он по ошибке выучил «Бородино».

Когда официальная часть вечера завершилась и гостей повели к столу за сцену, Дезик сказал мне: «Держись возле меня. Это место приличное — обязательно коньяк поставят». Тем большим оказалось наше разочарование, когда на роскошном столе, в центре которого возвышался огромный, как в фильме «Покаяние», торт, сплошь уставленном разнообразными закусками, с фарфором фамильных сервизов и медным сиянием самовара, противостоящего торту, никаких признаков выпивки не оказалось. Дезик расстроился, но виду не подал и, взяв в руки переданную ему чашку чая, громко сказал: «Какая прелесть — чай, с десятого класса не пил».

За этими шутками, однако, была серьезная подоплека. Его каждодневная одинокая и изнурительная работа требовала нервной разрядки.

Как-то однажды летом в Пярну Самойлова пригласили выступить в Доме отдыха Балтийского флота. Он заявил, что выступать будет только вместе со своими друзьями, поэтому отправились мы туда вчетвером, — Давид Самойлов, Юлий Ким, поэт Александр Юдахин и я. Вечер прошел с большим успехом, и по окончании выступления дирекция Дома отдыха предложила нам остаться поужинать. «Мы что к вам, дрова колоть приходили? — неожиданно обиделся Дезик. — Вот если бы вы предложили нам выпить, тогда другое дело, а поесть мы и сами сможем. Пошли, ребята!» И мы дружно последовали за ним к ближайшему эйнелауду.

Характер его не был легким — порой поэт был вспыльчив и несдержан. Иногда, выпив, становился вдруг необоснованно агрессивен, мог неожиданно за столом оскорбить человека или без всякой видимой причины выставить его из дома. Или наоборот, обнявшись на людях с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, к которому тогда и подойти-то боялись, на другой день обняться в ресторане с таким человеком, которому в трезвом виде не подал бы руки.

Одна питерская поэтесса, живущая теперь в Израиле, моя давняя приятельница и однокашница по литературной студии Глеба Семенова, прочитав мои воспоминания о Самойлове в книге «И вблизи, и вдали», написала мне в письме: «Мне известно, что Давид Самойлов приложил руку к уничтожению Веры Федоровны Френкель, удивительной переводчицы, открывшей и замечательно переведшей Тадеуша Ружевича. Он, Самойлов, был редактором этого составленного ею сборника.

Стихи Ружевича, уже переведенные ею, он раздал на перевод своим друзьям. Этот рассказ я слышала от самой Веры. Для нее это был сокрушительный удар, после которого она уже не оправилась. Переводы Веры были такого высокого класса, что когда они читались в Ленинградском отделении Союза писателей, то поразили всех. И когда ты пишешь, что Иосиф Бродский пренебрежительно отозвался о Слуцком и Самойлове, то думаю, что понимание их ограниченной порядочности также диктовало ему эту оценку. Первые поэты — придворные поэты, хотели они этого или нет».

Зная сложную, постоянно конфликтную ситуацию с раздачей переводов в 70-е годы в «Худлите», оставляю достоверность истории с переводами Ружевича на совести автора письма. Что же касается «придворных поэтов», то уж никак ни Слуцкого, ни тем более Самойлова к ним отнести нельзя, сколько на них ни обижайся. Незаслуженно обидеть любого человека, особенно по пьянке, Самойлов мог, поступить непорядочно — никогда. Все его оскорбительные для собеседников реплики были, как правило, случайными и недолгими всплесками отрицательных эмоций на фоне неизменной доброжелательности.

Когда на похоронах Самойлова я слушал речи многочисленных Друзей, соратников и почитателей, то вдруг поймал себя на том, что Испытываю то забытое детское ощущение, которое появлялось всякий раз, когда доводилось читать особо полюбившуюся книжку, иллюстрированную рисунками. Любимые герои на этих рисунках были как бы и похожи на самих себя, то есть, конечно, на мое о них представление, и вроде бы не очень. И я подумал, что у каждого из близких друзей Давида Самойлова должно быть подобное ощущение, ибо у каждого из них в сердце остался такой же единственный образ его, похожий и непохожий на другие. И у меня тоже — свой, не претендующий на объективную фотографическую достоверность…

Давным-давно, лет двадцать назад, в Опалихе, Дезик сказал мне как-то утром: «Алик, не думай, что поэт или писатель — это «кто-то что-то написал». Писатель — это прежде всего образ жизни. Вот ты — не писатель, ты совслужащий, — боишься опоздать на работу и торопишься на электричку. А вот я — писатель, и спокойно сяду сейчас опохмеляться».

Впрочем, к науке Давид Самойлов относился с уважением. В 82-м году он прислал мне теплое письмо, где написал: «Только что от Феликса (Зигеля. — А.Г.) узнал о твоей успешной и блестящей защите докторской диссертации. Ничего не понимая в науке, но зная тебя, уверен, что решение научного совета было

справедливым. Ты один из немногих писателей, которые хоть что-то знают. Все свое незнание употребляй для стихов и песен, которых тебе желаю. Желаю тебе всего доброго. Всегда к тебе расположенный Д. Самойлов».

Что касается самого Самойлова, то он, безусловно, был прирожденным поэтом и писателем. И тогда, когда лежал со своим пулеметом под деревней Лодьва «на земле холодной и болотной», и когда за долгие годы официального непризнания и каторжной литературной поденщины не написал ни одной строчки «для почестей, для славы, для ливреи». И тогда, когда остался чужд соблазнительной возможности стать «властителем дум» с помощью политизированных стихов. Мне выпало редкое счастье разговаривать с ним и слушать его, и я могу сказать, что он был одним из крупнейших мыслителей нашего времени, подлинным российским интеллигентом, внешняя скромность и мягкость которого сочетались с непоколебимой нравственной позицией. И при всем том он был оптимистом, что особенно редко в наши дни. С уходом этого большого художника его поэзия начала новую жизнь, без него. И жизнь эта будет долгой.

Уже после смерти Самойлова в его черновиках были найдены лирические стихи, которые он при жизни не опубликовал, считая, возможно, что они не заслуживали этого:

Тот запах вымытых волос,
Благоуханье свежей кожи,
И поцелуй в глаза, от слез
Соленые, и в губы тоже.
И кучевые облака.
Курчавящиеся над чащей,
И спящая твоя рука.
И спящий лоб, и локон спящий.
Повремени, певец разлук. —
Мм скоро разойдемся сами.
Не разлучай уста с устами.
Не разнимай сплетенных рук.

Сергей Никитин написал песню на эти стихи, и они совершенно неожиданно приобрели новое пронзительное звучание. Минуло десять лет со времени ухода Самойлова. Необратимо изменился мир вокруг. Иногда я думаю, а как бы Дезик реагировал на сегодняшний распад огромной империи, мог ли представить, что могила его окажется за границей. И каждый раз, когда я вспоминаю о нем, в моем сердце болью отзываются строчки песни:

Не лги, не лги, считая дни.
Кукушка, — мы живем часами.
Певец разлук, повремени, —
Мы скоро разойдемся сами…

Последний летописец

Менее чем за два месяца до неожиданной и безвременной кончины Натана Эйдельмана мы с ним вместе с женами были в Варне, куда поехали отдохнуть, хотя из этого ничего и не получилось — частично из-за плохой погоды и не налаженного быта в этой, уже изрядно обнищавшей на пути социалистического развития стране, частично — из-за не знающего меры гостеприимства хозяев, составившего изрядную угрозу для здоровья.

Натан впервые был в Болгарии. Его там, конечно, знали по широко известным книгам о русской истории, а кроме того, еще по только что прошедшей в «Московских новостях» разоблачительной публикации о расстреле польских офицеров в 1940 году в Катыни и под Осташковым. Но при первой же встрече со знакомыми моими, среди которых были океанологи, журналисты и писатели, он неожиданно для хозяев (и для меня) обнаружил такие глубокие познания во всей болгарской истории — от Бориса I до разгона крестьянской партии и мучительной смерти Трайчо Костова при Сталине, что сразу же завоевал среди них постоянный и непререкаемый авторитет. Будучи немало лет знакомым с ним, я каждый раз не уставал удивляться его фантастической памяти, удерживающей десятки тысяч дат и имен в их точной и единственной взаимосвязи.

Вдруг он вспомнил за столом историю, никому из присутствовавших дотоле неизвестную, о том, как государь-император Николай Первый на военном фрегате Черноморского флота в 1829 году отправился в Варну, только что освобожденную от турок русскими войсками. В пути неожиданно разыгрался жесточайший шторм, и императорский корабль неостановимо понесло ветром прямо к берегам Турции. Стало ясно, что русскому царю грозит турецкий плен. Поэтому, когда берег уже ясно виднелся невдалеке, нашли рослого матроса, похожего на Николая, и надели на него императорский мундир с регалиями, а царь обрядился в матросскую робу. К счастью, однако, ветер переменился, и угроза плена в самый последний момент миновала.

Именно в Варне я впервые услышал от него, человека, казалось бы, несокрушимого здоровья, любившего ввечеру выпить и закусить, как Гаргантюа, а утром неумолимо будившего нас для раннего купания в холодном осеннем море, непривычные для него жалобы, что «покалывает сердце», жалобы, которым ни мы, ни он сам не придали серьезного значения. (Уже после его смерти

вскрытие показало, что у него именно в это время произошел инфаркт легкого.) Однажды, возвращаясь из гостей, мы с ним говорили не помню о чем, и внезапно, без всякой связи с предыдущей темой, он сказал: «Знаешь, как написано у Зощенко, — у одной женщины умер муж. Она сначала подумала: а, ерунда! Оказалось, совсем не ерунда!» «Ты что это вдруг?» — спросил я у него. «Да так, — ответил он, — к слову пришлось». И захохотал…

Я был знаком с Натаном Яковлевичем Эйдельманом с 1972 года и особенно дружен последние десять лет, когда мы вместе снимали дачу в Переделкино — пару маленьких комнатушек и кухню. Познакомил нас Игорь Белоусов, его друг и одноклассник. После внезапной смерти Игоря эта дружба была как бы передана мне по наследству. Меня объявили «постоянно введенным членом» этого уникального класса 110-й школы и регулярно приглашали на все сборы однокашников, ставшие многолетней традицией. И хотя формально я как будто был признан одноклассником Тоника Эйдельмана, на самом деле я никогда не был им, как остальные школьные его друзья, помнившие толстого мальчика в тесной «комбинированной» курточке, с детства отличавшегося удивительной памятью на даты и фамилии.

Школьная иерархия, сложившаяся в старших классах, — вещь консервативная, и одноклассникам Тоника, особенно тем его друзьям, которые занимали в этой иерархии когда-то более высокие места, хотя и любившим его, конечно, не всегда просто было оценивать его вне сложившихся многолетних стереотипов. Да и сами его ближайшие друзья были людьми незаурядными.

Так, Валя Смилга, в прошлом неформальный лидер класса, ныне профессор физики, отличающийся философским складом ума и любовью к крепким напиткам, сам написал интересную книгу о великом математике Лобачевском.

Второй близкий друг Эйдельмана Юлий Крейндлин, врач-хирург, кандидат медицинских наук, стал одновременно с этим известным писателем-прозаиком Юлием Крелиным, автором книг, пользующихся большим успехом. Много лет он проработал заведующим хирургическим отделением 71-й московской городской больницы и за эти годы лечил и оперировал почти всех известных писателей и поэтов — от Эммануила Казакевича до Евгения Евтушенко, что нашло отражение в его воспоминаниях. Его бескорыстная отзывчивость и врачебный авторитет, широко известные в литературных кругах, привели к тому, что все знакомые обращались к нему за помощью, в том числе и в случае самых сложных и даже безнадежных заболеваний, и я не помню, чтобы он кому-нибудь отказал. В результате ему приходилось

время от времени не только лечить своих друзей, но и хоронить их. Так было с Игорем Белоусовым, Натаном Эйдельманом и многими другими.

Вместе с тем, профессии врача и писателя не могли не сделать его философом. Когда кто-нибудь из нас звонил ему и жаловался на здоровье, он неизменно утешал собеседника: «Чего ты хочешь, ведь известно, что смертность стопроцентна». Довольно много он поведал мне о неизбежных врачебных ошибках, о силе и бессилии нашей медицины. Однажды в некрополе Донского монастыря я увидел необычную надгробную надпись: «Здесь лежит княгиня Шаховская, умершая от операции профессора Снегирева». И на очередном юбилее Юлика обратился к нему с такими стихами:

Увяли траурные ленты
В доисторической поре.
Твоих собратьев пациенты
Лежат в Донском монастыре.
Но я живой, и я не сбрендил.
И говорю я, весь дрожа.
Что мне твои романы. Крендель,
Дороже твоего ножа.

В круг друзей — одноклассников Тоника входили и рано ушедший из жизни сценарист Юрий Бразильский, и талантливый режиссер и педагог, также умерший, Владимир Левертов, и профессор физики Владимир Фридкин, и видный журналист Серго Микоян — сын А. И. Микояна. Все они были знакомы и дружны с Тоником задолго до его литературной славы.

Я же познакомился с Натаном Эйдельманом тогда, когда он уже был известен своими книгами «Михаил Лунин», «Герцен против самодержавия» и другими, а также многочисленными статьями о русской истории. Я застал его уже сложившимся ученым, писателем, человеком. Может быть, именно поэтому мне с самого начала нашей дружбы отчетливо был виден масштаб его писательского и человеческого таланта, дистанция, нас разделяющая. Он был человеком чрезвычайно доброжелательным и внимательным к людям, вывести его из себя было практически невозможно. Но мне это однажды, кажется, удалось. Наган был страстным болельщиком — прежде всего футбольным. Когда по телевидению транслировали футбольный матч, всякие дела откладывались. Иногда это был даже некий ритуал, сопровождаемый (легкой, правда) выпивкой и закуской, когда все три упомянутых друга — Смилга, Крелин и Эйдельман —

собирались у одного из них «смотреть футбол». Здесь же дело было на даче, куда-то мы с ним торопились, но вдруг выяснилось, что на телеэкране футбол, и Натан прочно уселся на стул. «Погоди, — отмахивался он от моих настойчивых увещеваний, — уже второй тайм начался — досмотрим и пойдем». «А сколько минут длится тайм?» — неосторожно спросил я у него. Тут Натан развернулся ко мне на стуле всем своим внушительным телом. В глазах его было даже не презрение, а какая-то брезгливая жалость, смешанная с откровенным удивлением. «Даже этого не знаешь, да?»

Примерно через месяц после нашего возвращения из Болгарии там начались демократические преобразования, кончившиеся смещением престарелого вождя «брежневской формации» Тодора Живкова. Тоник радовался за наших болгарских друзей. «Теперь тебе бы неплохо съездить в Румынию», — сострил я как-то. (Там еще прочно сидел Чаушеску.) Однако ни в Румынию, ни в, казалось бы, уже близкую Швейцарию, куда были взяты авиабилеты на 4 декабря, Натану Эйдельману уже не суждено было попасть никогда. Его сердце остановилось на исходе ночных часов 29 ноября 1989 года в тесном отсеке реанимационной палаты на Каширском шоссе, куда его под большим нажимом жены и друзей почти насильно уложили накануне, не зная еще всех размеров надвигающейся беды.

Можно было, конечно, говорить, что виновата равнодушная и непроницательная медицина, что Эйдельмана «проглядели», однако, все это уже бесполезно, поскольку от судьбы не уйдешь. Осталось лишь запоздалое и бесполезное сожаление, что история эта приключилась с ним здесь, а не неделю спустя в Швейцарии, где его бы по всей вероятности спасли. Меня почему-то, помимо прочего, потрясло странное совпадение дат рождения и смерти Тоника и моей покойной матери (18 апреля и 29 ноября).

Поэт Иосиф Бродский заметил как-то, что не язык — орудие поэта, а скорее наоборот: поэт — орудие языка. Если слова эти можно отнести к истории, то именно таким историком был Натан Эйдельман. Мне довелось жить рядом с ним несколько лет и видеть его каждодневную изнурительную работу, которая его самого, казалось бы, совершенно не отягощала. Он не просто собирал и изучал документы он буквально жил в материале, как бы перемещаясь в исследуемую эпоху и среду и вступая в прямой контакт с ее героями. Удивительное перевоплощение это напоминало вхождение актера в роль, но там вхождение внешнее, подражательное, а здесь глубокое и внутреннее, в качестве собеседника или «содельника», если речь шла о Михаиле Лунине

и других декабристах.

Прекрасное владение материалом, блестящая память и могучий ассоциативный ум дали возможность историку и философу Натану Эйдельману в его лучших работах выстроить стройный эволюционный ряд развития российской государственности, российского свободомыслия и российской интеллигенции в XVIII–XIX веках. Писал он и диктовал на машинку, кажется, постоянно, и творческая энергия его казалась бесконечной. Даже вечером, после целого дня каторжной работы, он ощущал потребность что-нибудь рассказывать и радовался по-детски любой застольной аудитории. А рассказывать он мог практически бесконечно. Одной из основ нашей с ним близкой дружбы, вероятно, была моя постоянная готовность слушать его всегда и на любую тему.

Несмотря на возможность каждодневного общения с Тоником, я старался не пропустить его публичных лекций и выступлений, ибо это всегда было ново и интересно, хотя, казалось бы, все было написано в его книгах. Но он, как знаменитый пушкинский импровизатор в «Египетских ночах», явно увлекаясь темой рассказа и своими комментариями и «заводясь» от полученных вопросов, впадал в состояние истинного артистического вдохновения, лицо его покрывалось румянцем, глаза блестели, а голос, как мне казалось, приобретал рокочущие громовые оттенки. Когда я сейчас думаю об этом, то невольно вспоминаю, что в многочисленных устных выступлениях он говорил много такого, что в те годы никак не могло быть напечатано. Начав разговор, он порой сам не знал, куда уведут его собственная могучая эрудиция и стремительность и ассоциативность мышления. Его любовь к прямому общению с аудиторией, многое объясняла в его артистически щедром характере.

С грустной радостью слушаю я теперь случайно сохранившиеся Магнитофонные записи некоторых его выступлений.

Мне вспоминается ясный и холодный декабрьский день в Ленинграде несколько лет назад, где я, оказавшись в командировке одновременно с приехавшим туда Тоником и его женой Юлей, попал, за его широкой спиной, в спецхран Публичной библиотеки, священное место, куда простому смертному попасть не просто. Трудно перечислить увиденное — те уникальные книги, манускрипты и документы, на которые нельзя было смотреть без сердечного трепета — от древних рукописей Корана и Псалтыря до автографов Пушкина и Кюхельбекера. Удивительно, как меняется представление о

человеке, когда видишь его автограф. Так, например, Кюхельбекер представлялся мне, по Тынянову, сентиментальным, порывистым и нескладным, а здесь я увидел по-немецки аккуратный каллиграфический почерк его писем и рукописей. А строгий, казалось бы, склонный к порядку, благополучный Державин писал, как выяснилось, рваным беспокойным почерком человека, лишенного душевного покоя. Меня поразила более всего выставленная под стеклом грифельная доска с записанными его дрожащей рукой предсмертными стихами:

Река времен в своем стремленье
Уносит все дела людей,
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не минет судьбы.

Какая пронзительная и проницательная безнадежность на краю смерти! Какая противоположность его же величавому и самоуверенному «Памятнику»!

Кстати о рукописях. В наши дни победного шествия Интернета, когда сами рукописи становятся ненужным атавизмом, вместе с ними уходит целая культура. Представьте себе наследие Пушкина без его черновиков с рисунками на полях или переписку Пастернака и Фриденберг в виде электронной почты.

Залы, где мы находились, как рассказал Тоник, были специально отведены под хранилище редких рукописей, прежде императорское. Я обратил внимание на большое число старых французских рукописей и книг, и Эйдельман, улыбаясь хищной улыбкой миссионера при виде еще не обращенного дикаря, поведал мне забавную историю из времен Великой Французской революции. 14 июля 1789 года, когда дымилась взятая санкюлотами Бастилия, все ее многолетние архивы были вышвырнуты прямо на мостовую. Мимо проезжал скромный чиновник русского посольства страстный коллекционер Дубровин, который, проявив чисто российскую сметку, послал тут же в посольство за подводами. Так бесценные архивы французской королевской тюрьмы оказались в Санкт-Петербурге.

Не менее удивительной в этом строгом хранилище мне показалась та нескрываемая симпатия, с которой к Тонику относились все без исключения хранители и хранительницы, чья

строгость и недоверчивость являлись необходимой частью их профессии. Его человеческое обаяние вообще везде и всегда действовало на окружающих. Он был на редкость органичный человек, никогда не старался подделываться ни под кого, понравиться аудитории или какому-нибудь значительному лицу. Может быть, именно поэтому, будучи полным и грузным, двигался он с каким-то неповторимым изяществом, а лицо его, часто освещенное улыбкой, казалось всегда молодым. Борис Жутовский нарисовал его портрет, на котором Натан Эйдельман совсем не такой — на портрете он жесткий, монументальный и трагический. Наверное, так оно в самом деле и было, но мне запомнился другой Тоник — общительный и веселый. На друзей своих он сердиться долго не умел и прощал им любые обиды.

Более всего обычно ссорился он в компаниях и застольях со своим самым близким другом Вольдемаром Петровичем Смилгой, человеком во всех отношениях выдающимся. Не случайно Юлий Крелин, осуждая приверженность Смилги к Бахусу, заявил как-то: «Нужны мировые запасы водки, чтобы разрушить такой интеллект». Обладая весьма язвительным характером, Смилга часто изрядно покусывал Тоника, тем более что еще со школьной парты он более всех знал его уязвимые места. Шумные ссоры эти, однако, были несерьезными и недолгими.

Сам Смилга любил вспоминать историю со встречей у него на квартире какого-то, сейчас уже не вспомню какого, Нового года, на которой присутствовали я и Тоник с женами. В три часа ночи, когда веселье уже заметно спало, распахнулась вдруг входная дверь и в доме появился еще один друг и одноклассник Эйдельмана — режиссер Владимир Левертов, преподававший в театральном училище, в сопровождении нескольких будущих актрис (в том числе будущей кинозвезды Татьяны Догилевой). По уверениям Смилги, уже через пять минут я пытался петь нм какие-то песни, хотя без аккомпанемента обычно петь не люблю, а Тоник, отпихивая меня, начал громко вещать им что-то о Пушкине. Жены наши, однако, были начеку, и нас развели по домам, а что касается меня, то, как обычно едко рассказывает Смилга, «жена по дороге била его о памятники, не имеющие архитектурной ценности».

По его собственному заявлению, дружбу Натан Эйдельман ценил более всего. Он, по существу, был центром того «школьного братства», которое в наш небогатый традициями и долговечными людскими связями век на долгие годы объединило выпускников 110-й школы. Класс их, подобно лицеистам, традиционно собирался раз в году, не считая различного рода сборищ на днях рождений. Сам Тоник вел летопись класса. Ему очень нравилось

их сходство с пушкинскими лицеистами. Он даже книгу хотел написать об этом, да вот не успел.

Выполнение любых дружеских обязательств Эйдельман считал для себя священным и непреложным долгом. Когда смертельно заболел близкий друг и коллега Юлия Крелина, талантливый хирург Михаил Жадкевич, Тоник регулярно приходил к нему домой и читал лекции по русской истории. На наши дни рождений он сочинял обстоятельные доклады на тему о том, какие события происходили в тот день в различные исторические эпохи. Вместе с тем решительно никаких интимных тайн поверять ему было нельзя, потому что он немедленно рассказывал о них кому-нибудь из друзей или своей неизменной подруге Юле, после чего все это становилось достоянием широкой общественности. При этом трогательно произносил любимую со школы фразу: «Старик, я тебя не продаду», что совершенно не меняло сути дела. Злого умысла в этом, конечно, не было никакого. Причина проста — Эйдельман физически не мог не поделиться немедленно полученной им информацией с другими. Иногда это приводило к неожиданным драматическим коллизиям, но друзья Тоника, зная эту его особенность, на него не обижались.

Так же трудно было договариваться с ним о датах выступлений. Он почти всегда соглашался, но потом оказывалось, что уже назначенное время занято у него чем-то другим. Опытные люди знали, что договариваться следует не с ним, а с Юлей, которая вела все его дела и была не только женой, но и бессменным секретарем, машинисткой, редактором и т. д. Работала она, так же как и Тоник, с утра до ночи, а в то недолгое время, когда он отдыхал, ухитрялась перепечатывать начисто правленые части рукописей.

Мне неоднократно приходилось выступать вместе с Эйдельманом, и каждый раз это было серьезным испытанием, потому что после него на сцене уже нечего было делать: весь зал и все участники выступления знали, что самое интересное уже прошло. Я помню, как в начале июня, в дни очередного пушкинского юбилея, мы ездили вместе с небольшой группой писателей выступать в Сухуми. Встреча с аудиторией должна была состояться в городском театре. Всем было выделено для выступления по пять минут, и только Эйдельману, как основному лектору, предоставили полчаса. Когда перед выступлением он сидел и готовился за сценой, к нему подошел писатель и литературовед Зиновий Паперный, известный своими шутками, и сказал: «Знаешь, Тоник, когда ты будешь им рассказывать про Пушкина, не говори, что его убили, — это омрачит вечер».

На юбилейном вечере Булата Окуджавы даже популярнейший Михаил Жванецкий все просил ведущего, чтобы его выпустили выступать перед Эйдельманом, а выйдя все же сразу после него, сказал: «После Эйдельмана выступать трудно. Ведь он сам гораздо более популярен, чем те люди, о которых он пишет».

Пожалуй, только Юлию Крелину удалось однажды, выступая сразу вслед за Эйдельманом всерьез заинтересовать аудиторию, да и то с помощью запрещенного приема.

Его представили как писателя и врача, и он, сев перед рампой на стул, произнес: «Ну что рак. От рака умрет примерно каждый десятый из сидящих здесь». И начал считать первый ряд по головам: «Один, два, три, четыре…» Зал испуганно затих. «А вот от сердечно-сосудистых уже каждый пятый». И снова начал считать: «Один, два, три…» Ужас воцарился в зале. Все присутствующие поняли, что судьба каждого из них в руках этого бородатого, как он скажет, так и будет, и слушали его в мертвой тишине и с редким вниманием.

Друзья Натана, в том числе и я, часто обвиняли его, что он разбрасывается — много пишет всяких, на наш взгляд, необязательных книжек, в том числе детгизовских, где занимается популяризацией истории; что ему следовало при таком уме и таланте сосредоточиться на главном. Критиковали, в частности, его «автобиографический» роман «Большой Жанно», написанный как бы от лица Ивана Ивановича Пущина. Некоторые говорили о всяческих «вредных влияниях» на Тоника, которые отвлекают его от основного поприща. Зная Тоника много лет, я могу сказать, что, при всей внешней мягкости характера, в вопросах творчества он был твердым и неподатливым, как на портрете Бориса Жутовского. И влиять на него здесь было практически невозможно — он делал только то, что сам хотел делать в этот момент.

Подобно другим крупнейшим российским историкам — Карамзину, Соловьеву, Ключевскому, Костомарову, Эйдельман был концептуален. Его главная концепция, близкая к пушкинской идее «в надежде славы и добра», состояла в реформаторском преобразовании нашей огромной страны на основе демократии, экономических реформ, культуры и просвещения. Показательной в этом отношении является его последняя прижизненная книга «Революция сверху», которую он подарил мне с характерной надписью: «И никаких революций снизу!» И в истории России его привлекали реформаторы и просветители при всем их несходстве — от Лунина и Герцена до князя Щербатова и Карамзина. Петра Первого Эйдельман считал «первым интеллигентом на троне», справедливо полагая, что отмена телесных наказаний для дворян

заложила основу для рождения российской интеллигенции. Внуки этого первого поколения «непоротого» сословия вышли на Сенатскую площадь.

В долгих ежевечерних прогулках по зеленым улочкам дачного поселка Мичуринец, где уютно пахло печным дымом и тишина мягких подмосковных сумерек лишь изредка нарушалась криками играющих детей или шумом проходящей электрички, Топик, обдумывавший тогда будущую книгу о «революции сверху», подробно рассказывал о сложностях реформаторской деятельности в России во все времена, о страшной силе давления «правых» и «аппарата» на царей-реформаторов, которые только на первый взгляд были «самодержавными», а в действительности не могли, конечно, не считаться с мнением помещиков и губернаторов.

«Вот Павел попытался пойти против аппарата — его и убили. Знаешь, он послал своего доверенного чиновника с ревизией в Курскую губернию. Тот вернулся и доложил, что воруют все — от губернатора до последнего коллежского регистратора. И Павел на его донесении собственноручно начертал: «Уволить всю губернию». Представляешь? Обстановка такая же, как сегодня. Ну, а Александр, хорошо помня про папин опыт, против аппарата идти не решался. Ведь на самом деле он очень хотел провести реформы, вот Польше в тысяча восемьсот двадцать первом году Конституцию дал. Хотел и крестьян освободить, уже специальная комиссия указ подготовила, но консерваторов своих всемогущих сильно побаивался. И более всех при этом постарался великий наш историк Николай Михайлович Карамзин. — Карамзина Эйдельман любил больше всех и никогда не расставался с «Историей Государства Российского». — Николай тоже, по существу, готовил земельную реформу. В дневнике Александра Николаевича, наследника, есть такая запись: «Вчера обсуждали с папа и дядей Костей (Великий князь Константин), давать ли народу свободу. Решили не давать». Так что на аппарат, который во все времена был гораздо консервативнее верховных правителей, даже цари с опаской оглядывались. А ведь против теперешнего аппарата царский — это детский сад».

Воспоминания об этих прогулках вызывают теперь острую ностальгию по прошлому.

К моим стихотворным и песенным опусам на историческую тему Тоник относился весьма благосклонно и всячески их поощрял. В предисловии к моей книжке стихов «Перелетные ангелы», вышедшей уже после его безвременной смерти, в 1991 году, он написал:

«Не было почти ни одной статьи или заметки о творчестве

Александра Городницкого, где бы не говорилось, подробно или мимоходом, что он к тому же ученый, морской геолог, доктор наук, заведующий лабораторией: вот, дескать, у человека столь серьезная профессия, а он успевает сочинять и песни, и стихи — да еще какие!

Между тем читатели, почитатели давно поняли, что их поэт не дважды, а трижды профессионал. Он еще и тонкий, глубокий историк.

Когда-то о Николае Карамзине говорили, что, прославившись «Письмами русского путешественника», он после заменил перемещение в пространстве путешествиями во времени и вместо предполагаемого вояжа в Южную Америку, Восточную Азию, отправился в древние века за «Историей государства Российского». Городницкий, наш современник, не прекращает странствий: у него и деревянные северные города, и «голубой океан Индийский», и «остров Хиос, остров Самос, остров Родос».

Все дорога, дорога, дорога…

Однако многие и многие земли, океан, не только и не столько география, сколько история: над тундрой «тяжелые крылья поют», оттуда идет «последний караван». Греческие же острова — «человечества цветная колыбель»…

В стихах и песнях Александра Городницкого легко размешаются сотни, тысячи, случается, и миллионы лет. Сначала — хребты, скалы, древние плиты: «Все временно — рептилии и люди. Что прежде них и после? — Пустота». Прошлое начинается с оологии, неторопливой истории планеты. Вслед за тем — античные образы, Испания Сервантеса — но более всего, конечно, родная страна. Московская Русь — тут и юродивый, основатель «преславной плеяды крикунов» и восьмилетнее Соловецкое восстание («Осуждаем вас, монахи, осуждаем»). Затем XVIII век — Петр Великий, дворец Трезини, Петр III, в XIX столетии Пушкин, декабристы, народовольцы, стреляющие в царя, «ах, постоялые дворы, аэропорты XIX века», в начале XX столетия первый авиатор Уточкин, Петербург, Петроград, «отчизна моя Ленинград, российских провинций столица…»

Приближаются наши дни — и снова Москва, с двумя памятниками Гоголю, Донским и Новодевичьим монастырем, откуда властной волею поэта нас ведут на военные поля под Москвой, под Орлом, на Колымскую трассу, «на материк».

Из миллионолетних далей мы возвращаемся к исходу 1980-х годов нашей эры. Символично, что в родном городе поэта, на Стрелке Васильевского острова рядом расположились два

института, не чуждых, близких поэту и ученому Городницкому: Институт геологии Докембрия, где считают на сотни миллионов лет, — и Пушкинский дом Академии наук с рукописями Булгакова, Лермонтова, Кантемира, Аввакума…

Но тут-то открывается, что для Городницкого истории, собственно говоря, как бы и не было: существует некий поэтический циркуль, чья ножка постоянно вонзается в сегодняшнее, в уходящий XX век, круги же свободно витают на каких угодно дистанциях — «мимо Сциллы и Харибды, мимо Трои, мимо детства моего и твоего».

Некоторые историки стесняются, даже сердятся, когда им доказывают, что они тоже люди определенной эпохи и что этот факт должен обязательно отразиться на их взглядах, концепциях, что если бы они жили раньше или позже, то и XI, XVII, XIX век в их статьях и книгах были бы несколько иными. Историки обижаются и стараются отстоять свою объективность, независимость от «слишком современных» субъективных эмоций.

Между тем — зря обижаются: поэзия, которая субъективна «по определению», которая свободно и прихотливо пропускает через поэтическую личность любой век и тысячелетие — она ведь по-своему стремится к той же цели, что и ученые, и не уступит почтенной науке в добывании истины. Однако, чтобы не засохнуть, не обмануть самих себя, — и ученым, и читателям, думаю, не грех поучиться у поэта: разумеется, не стихотворному мастерству, тут дело в таланте («историками делаются, поэтами рождаются»). Не грех заразиться смелостью, высокой субъективностью, откровенностью, стремлением к нравственным оценкам, и настоящей радости — и «злой тоске».

Не дело поэта расцвечивать иллюстративными подробностями, как Соловки держались против царя всея Руси. Дело поэта — печалиться, размышляя о кровавом столкновении двух непримиримых правд — у мятежных монахов своя, у государя своя.

Поэт знает, что Петр III ничтожен, что пока он «играет на скрипке, государство уходит из рук», что новые руки, которые приберут это государство, — более сильные и умелые: да, разумеется, это необходимо, неизбежно — но как не пожалеть «одинокого и хлипкого» монарха?

Враги, кровь, борьба — неизбежные спутники любого раздела мировой истории, присутствующие на любой странице учебника, и вдруг поражающие своей смелостью слова: «И в горло нож вонзает Брут, а под Тезеем берег крут, и хочется довериться врагу».

Нельзя довериться — но хочется: вот история человечества!..

Поэзия оказывается одним из сильнейших, вернейших способов соединения времен, геологической разведкой, открывающей нравственные сокровища во всех эрах и эпохах.

За этой добычей, над тундрой, океаном, над тысячелетиями, поэт снова и снова пускается «в полет свой дальний»…»

Кстати сказать, к историческим ошибкам в моих стихах и песнях (а их было немало) Тоник также относился снисходительно, полагая, что не в этом дело. Помню, как известный критик Станислав Рассадин критически отозвался о моем стихотворении «Пушкин и декабристы», где были такие строчки:

…Три каторжника сели у огня,
Чугунными браслетами звеня.

Рассадин справедливо заметил, что кандалы со ссыльных были сняты еще до 1830 года. Эйдельман же, высказавшись в мою поддержку, заявил, что для художественною произведения, в отличие от научной статьи, не всегда обязательна точная фактология, а «чугунные браслеты» здесь вполне уместны как красочный символ неволи.

Сам Эйдельман также подвергался резкой критике за «научную некорректность». Когда вышла из печати его уже упомянутая книга «Большой Жанно», посвященная Ивану Ивановичу Пущину, где содержался его вымышленный дневник, на Эйдельмана ополчились такие авторитеты, как Илья Зильберштейн и Эмма Герштейн, выступившие на страницах «Литературной газеты» с разгромными статьями. Между тем, если ученый Эйдельман в своих работах не имел права на творческий вымысел и то, что называется «художественной правдой», то писатель Эйдельман, так же, как его знаменитый предшественник Юрий Тынянов, вполне имел на это право.

Кстати, в упомянутом выше стихотворении «Пушкин и декабристы» есть еще одна фактологическая ошибка, на которую Рассадин внимания не обратил. Там упоминаются ели, стонущие за стенами тюрьмы, а ели в Забайкалье не растут. Я узнал об этом из письма, полученного из Иркутска, где комментируются эти стихи.

С сожалением вынужден признать, что то же самое относится к моей песне «Испанская граница», где есть такие строчки: «Каталонские лавры над бойцами шумят, где-то плачут над ними магаданские ели». Упомянутый выше историк и журналист Александр Михайлович Бирюков, живущий в Магадане, прислал мне письмо, где в частности написал: «Ели вообще в Магадане и

нигде на Крайнем Северо-Востоке не растут. Пробовали сажать — не приживаются. У магаданского поэта Игоря Кохановского (друг Высоцкого, автор песни «Бабье лето», живущий теперь со мной в Москве в одном доме. — А.Г.) даже есть такой стих: «А в Магадане ели не прижились»».

Самая же досадная ошибка содержится в любимой Эйдельманом песне «Донской монастырь». Друг Пушкина, автор замечательной песни «Нелюдимо наше море», поэт Николай Михайлович Языков похоронен не в Донском монастыре, как сказано в песне, а в Новодевичьем. Его могила находится неподалеку от могилы безвременно ушедшего Веневитинова, а также писателей-славянофилов Хомякова, Шевырева и Аксакова. В Донском же монастыре похоронен его однофамилец. Я несколько раз пытался исправить строчку с «поэтом Языковым», но из этого так ничего и не вышло. Как говорится, из песни слова не выкинешь.

В оценке будущего России Эйдельман всегда оставался неисправимым оптимистом. Уже в Болгарии, в сентябре 89-го года, за два месяца до смерти, он яростно возражал против моих пессимистических оценок экономической и политической ситуации в нашей стране, нарастающей волны национальной непримиримости, что могло, по моему мнению, привести к национал-коммунистическому перевороту и гражданской войне. «Я — оптимист, — заявил он. — Надо трезво смотреть на вещи. Даже если коммунисты и захватят на какое-то время власть, они ее надолго не удержат. Ведь им нечем кормить народ. Значит, неизбежно будет развиваться рыночная экономика и связанная с ней демократизация общества. Будущее России — прекрасно!» «Да, — возражал я ему, — но ведь нас-то с тобой к этому времени, по всей вероятности, уже укокошат». «Ну и что из этого? — возмущался он, — Саня, ты эгоист. Разве можно думать о собственной шкуре, когда речь идет о будущем великой страны?» Мне, да и не только мне одному, сегодня сильно недостает его оптимизма.

Эйдельман всерьез занимался не только российской историей. Он выпустил книгу «Мгновенье славы настает» о Великой Французской революции, писал о Марке Аврелии, которым собирался заняться вплотную, изучал судьбы итальянцев в России. А я уговаривал Тоника написать вместе со мной книгу об Атлантиде, в которой он написал бы все, что касается истории, а я — результаты подводных исследований и геологическое обоснование возможности ее существования и катастрофической гибели. Тоник загорелся этой идеей и даже собирался со мной вместе в одну из экспедиций. Планам этим, однако, не суждено

было сбыться. Несмотря на официальный запрос из моего института, выездная комиссия Союза писателей не дала Тонику разрешения на поездку в зарубежную экспедицию. «Мы с Пушкиным оба — невыездные», — грустно пошучивал он. Его в те годы за рубеж не пускали. Возможно (во всяком случае, так он сам предполагал), это было связано с тем, что в университете Тоник оказался причастным к известному в 50-е годы «делу Краснопевцева». Особых улик против Эйдельмана по этому делу как будто не было, но он вызвал раздражение следователей, решительно отказавшись давать какие бы то ни было показания. За это по окончании университета он был сослан учительствовать в Калугу.

Провожая меня в экспедицию, Тоник грустно сказал: «Знаешь что, Саня? Если ты найдешь Атлантиду, не проси там политического убежища». За рубеж, в «капстраны», его начали пускать только после 1986 года, в эпоху перестройки, да и то не «автоматически», а благодаря письму, направленному им на имя члена Политбюро и секретаря ЦК КПСС А. Н. Яковлева в ответ на очередной отказ в загранпоездке. После этого его долго оформляли в Италию, потом сообщили, что уже поздно и что его теперь будут оформлять во Францию. Там тоже что-то не получилось, и началось оформление в ФРГ. Он позвонил мне в радостном возбуждении: «Видал? Я еще никуда не поехал, но уже дважды сменил страну пребывания!»

Потом он все же поехал в Италию, и в ФРГ (где «Люфтганза» потеряла чемодан с его вещами и рукописями, но через месяц чемодан все-таки отыскался), и во Францию, где его восторженно принимали коллеги и русскоязычная аудитория, и в США, где он в Калифорнии более месяца безвылазно работал в архивах, почти не имея возможности взглянуть на открытую им наконец Америку. Как ни странно, рассказы его о зарубежных впечатлениях были не особенно интересны. Никакой сенсации для него не произошло от того, что он воочию увидел Венецию или Париж. Совсем другое дело — рассказы о новых находках, о сокровищах в зарубежных архивах, касающихся отечественной истории. Неожиданно точными поэтому оказались строки из посвященной ему песни Вероники Долиной: «Он не открывает Америк — Россия его материк».

И хотя географию он знал так же блестяще, как историю, поражая своих собеседников не только обилием дат и имен, но и многочисленными географическими названиями дальних островов, рек и городов, расположение которых помнил досконально, «перемещения в пространстве», по-видимому, меньше занимали его, и он, подобно любимому своему

Карамзину, заменил их «перемещениями во времени». Вместе с тем, рассказывая ему о своих плаваниях в отдаленных районах Атлантики, Индийского и Тихого океанов, я неоднократно убеждался, что он просто зрительно точно представляет всю карту, например, Тихого океана, безошибочно перечисляя многочисленные острова и проливы Океании или Индонезии. Прекрасно знал он также и любил истории про известных мореплавателей и пиратов. В свое время даже писал о Френсисе Дрейке, и когда я, вернувшись из Англии, стал рассказывать ему об увиденном мною замке Дрейка в графстве Девон, неподалеку от Плимута, он сам рассказал мне о нем и о его обитателе столько интересного, словно это он, а не я побывал там.

При всем при том главным смыслом всей его жизни была русская история, русская литература. Он не мыслил себя вне своей родной страны. Когда при нем кто-нибудь из друзей или знакомых заводил разговор о возможном отъезде. Тоник только сочувственно и беспомощно улыбался, как бы извиняясь и показывая, что понимает, конечно, проблемы своего собеседника и даже вполне сочувствует им, но к нему самому это никак не относится. Эта мысль не возникала у него даже тогда, когда после переписки с В. Астафьевым, о которой речь пойдет ниже, он стал подвергаться анонимным угрозам по телефону и по почте со стороны фашиствующих молодчиков.

Много сил Тоник отдал преподавательской работе, с которой он начал после университета, которую любил, всегда находя время, чтобы прочесть лекцию в школе или даже просто в квартире для заинтересованной аудитории. Вместе с своей дочерью Тамарой, тоже педагогом, он намеревался полностью перестроить преподавание истории в средней школе. Хотел даже написать новый учебник истории, и безусловно написал бы его, если бы не внезапная смерть. Его «детские» книги «Вьеварум», «Твой девятнадцатый век», «Твой восемнадцатый век» с увлечением читают и взрослые, и дети. Во «времена застоя», когда Эйдельман еще не имел возможности выходить на широкую аудиторию, он охотно читал циклы лекций о русской истории для детей своих приятелей и их товарищей, конечно, совершенно бескорыстно.

Вспоминается, как незадолго до смерти, уже в эпоху гласности, во время выступления Тоника в какой-то молодежной аудитории один из шустрых и самоуверенных молодых людей заявил: «Что вы нам можете объяснить? Ваше поколение прожило напрасно». «Нет, не напрасно, — улыбнулся Эйдельман, — мы вырастили вас!»

Всю свою жизнь Натан Эйдельман вел дневники. Вернувшись

вечером из гостей или после выступления, как бы ни было поздно, он садился к столу и аккуратно записывал в тетрадь все события прошедшего дня. Внимательно слушал и записывал потом рассказы и байки всех пожилых людей — от Арсения Тарковского до Игоря Черноуцана. Его, как историка, интересовали все свидетельства уходящей эпохи. К сожалению, записи эти он, как правило, зашифровывал, и дневники эти теперь так и остаются непрочитанными.

Никогда не забуду, как однажды вечером, в июне 1981 года, мы встретились с ним в гостях у моих друзей — физика Александра Штейнберга и его жены, поэтессы и литературоведа Нины Королевой, тогда еще живших в Ленинграде. Был самый разгар белых ночей, и за высокими окнами квартиры, выходящими на Мойку, желтым негаснущим светом горело закатное небо над крышей дома напротив, отражаясь в неподвижной воде канала. На этом ослепительном фоне торчащий за крышей шпиль Петропавловского собора и ангел на нем казались черными. Застолье было долгим и шумным, с чтением стихов и исполнением песен. Этим как бы отдавалась дань нашим старым ленинградским, ныне невозвратно утраченным традициям 60-х годов, когда мы, еще будучи молодыми, собираясь в компаниях, обязательно читали друг другу стихи или пели песни. Сейчас в застольях песен не поют, а вместо этого говорят о политике.

Помнится, в конце застолья мы всерьез поссорились с моим давним другом, поэтом Александром Кушнером. Предметом ссоры послужили Владимир Высоцкий, умерший за год до этого, и всенародное оплакивание его. Кушнер заявил, что Высоцкий — плохой поэт, что так называемая авторская песня к поэзии вообще никакого отношения не имеет, и что неожиданное по своим масштабам оплакивание его, включая сотни стихов, посвященных его памяти, — истерическое кликушество, любезное российскому мещанству. Я, естественно, обиделся не на шутку за Высоцкого и авторскую песню и стал в весьма энергичных выражениях, усиленных количеством выпитого, возражать ему. Эйдельман, который с его громовым голосом только и мог перекричать нас, встрял в разгоревшуюся перепалку и загасил огонь, предложив нам вместо того, чтобы ссориться, пойти на Марсово поле к Инженерному замку, где он на месте расскажет и покажет, как убивали Павла I. Мы, разумеется, немедленно согласились.

И вот около часа ночи мы отправились вверх по Мойке, горевшей полуночной белизной, к тому роковому месту, где она вытекает из Фонтанки и где у развилки этих городских рек, за Садовой, горит темно-красным пламенем фасада безлюдный

Михайловский замок, огороженный когда-то со всех сторон рвами, заполненными водой. Нет никакой возможности воспроизвести вдохновенный рассказ Эйдельмана, бывшего нашим Вергилием в этом полуночном путешествии в прошлое, на грань минувших веков, к кровавым событиям 11 марта 1801 года. Начал он не с заговора, а сначала повел нас на Фонтанку и указал на окна, чернеющие между белыми колоннами старинного дома на противоположной ее стороне. Здесь, на третьем этаже, была квартира братьев Тургеневых, где молодой Пушкин, сидя на подоконнике и глядя на мрачный замок Святого Михаила — свидетеля тогда еще недавнего убийства, набрасывал строки оды «Вольность»:

Падут бесславные удары…
Погиб увенчанный злодей.

Потом он обвел нас вокруг замка, подробно, обнаружив великолепное знание всех до мелочи деталей, рассказывая о системе предмостных укреплений, кордегардий, разводных мостов, смены караулов, тщательной проверки всех лиц, допускаемых к императору, — системе, которая полностью, казалось бы, исключала возможность для злоумышленников проникнуть во дворец. Рассказал он и о том, как заговорщики, используя болезненную подозрительность Павла, добились того, что преданный ему начальник охраны полковник Саблуков был в эту ночь отстранен от службы. И о том, как душа заговора, решительный и мрачный фон Пален, записки которого до сих пор не найдены, долго поил остальных участников, а потом, когда уже во дворце они, неожиданно окликнутые караульным часовым, бросились бежать, преградил им дорогу с обнаженной шпагой и заставил продолжить роковой путь к императорской опочивальне.

Через калитку в воротах, озираясь, словно заговорщики, как будто и нас могли окликнуть и схватить каждую минуту, проникли мы во внутренний двор замка, вымощенный грубыми булыжниками. Кушнер выронил портфель, который шлепнулся о камни, и все на него испуганно зашикали. Казалось, сама курносая тень убиенного императора смотрит на нас из безмолвных окон, в которых отражается неподвижное зарево белой ночи. В абсолютной звонкой тишине звучал только тоже приглушенный и низкий, гулко отражающийся от высоких темных стен и поэтому кажущийся потусторонним голос Тоника, заставившего нас подойти под окно спальни, где было совершено убийство и где испуганный самодержец пытался спрятаться за каминный экран, но свет луны упал на его босые ноги. Я поднял

голову и увидел в светлеющем небе бледную луну. Это ночное путешествие запомнилось мне на всю жизнь…

В середине 80-х годов, осенью, в конце сентября и октябре, мы пару раз ездили совместно с Эйдельманом и Крелиным, жена которого Лида работала в «Литературной газете», в Гульрипш, неподалеку от Сухуми, где тогда располагался Дом «Литературной газеты». А кроме того, еще один друг и одноклассник Эйдельмана, Толя Васельвицкий и его жена Оля имели тогда в Гульрипше дачу. На эту дачу приезжали в гости и «для помощи в ремонте» их одноклассники Анатолий Дунский, в прошлом изрядный донжуан, и Владик Гайдукевич. Туда же приезжали Смилга с женой, которой он почему-то дал кличку «Росомаха», и художник Борис Жутовский. Вся шумная компания практически ежедневно собиралась на пляже, а по вечерам на даче Васельвицких. Естественно, душой всей этой вольницы был Натан, несмотря на то, что значительную часть времени он корпел над работой, постоянно не успевая к срокам сдачи рукописи. Это не мешало ему азартно играть в шахматы со Смилгой, читать нам ежевечерние лекции на самые разные темы, купаться и даже возглавлять нечастые походы в Сухуми в ресторан абхазской кухни «Нард». Все эти жизненные моменты постоянно запечатлевал в своих портретах и шаржах беспрерывно рисовавший Борис Жутовский. Мне почему-то особенно запомнился шашечный турнир между Тоником и Славой Поспеловым, прекрасным журналистом, также безвременно ушедшим из жизни. По условиям турнира, после каждой «съеденной» шашки полагалось выпивать по рюмке. В результате уже во второй партии противники начали путать, кто из них играет белыми, а кто черными, и турнир прервался.

Помню долгие и веселые проводы Смилги с «Росомахой», которых литгазетовский автобус должен был отвезти в Сухуми к поезду. Автобус стоял под окном, что внушало отъезжающим уверенность в себе, и застолье набирало силу, когда кто-то из присутствующих, глядя в окно, меланхолически сказал: «Смотрите, автобус поехал». Никто не среагировал на его слова, и только минут через десять отъезжающие поняли, что их автобус ушел. После этого вся компания, подхватив багаж отъезжающих, с шумом и гамом двинулась пешком к шоссе с целью поймать машину. По дороге неоднократно теряли и вновь находили билеты, деньги и даже вещи. В итоге Смилга и его жена были все же отправлены в Москву. Когда на следующее утро мы красочно рассказали эту историю одному из старейших ленинградских писателей Израилю Моисеевичу Меттеру, он долго слушал, а потом поднял трагически брови и сказал: «Вы опоздали на поезд?

Вы не евреи».

В те времена Гульрипш, так же, как и Пицунда, где помещался Дом творчества писателей, был своего рода литературным центром. Здесь неподалеку от дачи Васельвицких постоянно жили на своих дачах Евгений Евтушенко, Карло Каладзе и другие писатели. Устраивались литературные вечера, читались и обсуждались рукописи новых книг, напечатать которые их авторы не надеялись. Помню, год спустя в Доме творчества писателей в Пицунде, где мы были в одно время с Даниилом Даниным, Виктором Конецким и Натальей Ивановой, Даниил Данин читал отрывки из только что написанной им прекрасной книги о Пастернаке. В конце срока был устроен литературный вечер, на котором меня уговорили выступить с песнями, но, как и обычно, возникла проблема с аккомпанементом. Тут выяснилось, что Наталья Иванова играет на пианино и берется мне помочь. Пианино стояло в библиотеке, и когда мы попросили у заведующей ключ, чтобы порепетировать, она строго сказала: «Я не могу вас туда пустить. У меня там хранятся книги с дарственными надписями самого Доризо».

Теперь в Абхазии война, дача Васельвицких в Гульрипше сожжена, да и Дома «Литгазеты» и Союза писателей прекратили свое существование, видимо, надолго, если не навсегда.

Основные исторические труды Эйдельмана посвящены русской истории второй половины XVIII — первой половины XIX века. Эпоха эта привлекала его, помимо всего прочего, еще и тем, что она была временем могучего развития российского просвещения, недолгого единения нарождающейся мыслящей интеллигенции и молодой Империи, единения, разрушенного николаевской реакцией. Эта модель импонировала Эйдельману, в ней он видел надежду на будущее. Чуждый каким-либо шумным сенсациям, историк по самому характеру своей работы с архивными материалами время от времени оказывался первооткрывателем многих тайн российской истории.

Ему даже пару раз пришлось выступать с лекциями на тему «Тайны русских царей» здесь и за рубежом. О том, например, что Павел I не был не только сыном официального отца своего — Петра III, но и Екатерины II, своей матери. По материалам, найденным в архивах, Екатерина родила мертвого ребенка, который был незаметно для нее заменен другим по указанию императрицы Елизаветы. Эйдельман же комментировал личную записку Павла I, в которой тот отказывает в престолонаследии сыну своему Николаю на том основании, что в действительности он родился не от него, а от гоф-фурьера Бабкина, на которого был

очень похож.

Были и другие скандальные находки. Я помню, что уже после выхода из печати одной из лучших книг Тоника «Герцен против самодержавия» появились документы, что Яковлев, которого считали раньше отцом Герцена, отцом его на самом деле не был, так как будущая жена пришла в русское консульство, будучи уже беременной от барона Фаненберга. Этой находки Тонику опубликовать не дали, чтобы не отнимать у нашей литературы Герцена. Я же, узнав об этом, предлагал заменить название его знаменитой книги: вместо «Герцен против самодержавия» назвать ее «Барон Фаненберг против русского самодержавия».

Уже на панихиде в Центральном Доме литераторов представитель Института истории Академии наук СССР выразил сожаление, что Эйдельман мог бы защитить докторскую диссертацию, а вот умер кандидатом. Так же уместно было бы сожалеть о том, что Лермонтов умер поручиком, а Пушкин камер-юнкером. Как историк Эйдельман стоил один целого академического института со всеми академиками и членкорами, не говоря уже о докторах наук. Его в свое время и не брали в Институт истории потому, что он был опасен, хотя формальные причины были иными.

История для Эйдельмана была не сухим научным предметом строгих архивных изысканий, а источником творчества. Карамзин, которому он посвятил книгу «Последний летописец», привлекал его еще и потому, что был одним из ведущих писателей своего времени. По мнению Эйдельмана, правильное освещение исторических событий, во всей их сложности и неоднозначности, мог дать только писатель, который кроме конкретных фактов обладает к тому же и творческой интуицией, помогающей правильно их выстроить. Он ведь и сам был писателем и прекрасно это понимал. Отсюда его книга «Пушкин-историк», отсюда постоянный интерес, который он проявлял к Юрию Тынянову.

В наше время самые великие открытия происходят на стыке наук. Натан Эйдельман совершил свои открытия на стыке науки и искусства. Он был по-пушкински щедр на сюжеты и обладал удивительным бесстрашием исследователя. Подобно тому как поэт открывает в обыденности окружающего мира удивительные, невидимые прежде черты, он делал удивительные находки в рукописях и материалах, уже, казалось бы, изученных до этого. Огромная заслуга Эйдельмана состоит в том, что он сделал историю предметом литературы, вынес ее на открытую аудиторию…

Главной же любовью его был и оставался Пушкин. Об этом

говорит не только книга «Пушкин и декабристы» и другие, посвященные Пушкину непосредственно; писал ли он о Михаиле Лунине, Иване Ивановиче Пущине, Сергее Муравьеве-Апостоле или Герцене, все эти (и многие другие) книги освещал подобно солнцу постоянный свет пушкинского присутствия. Судьба Пушкина, его стихи были как бы главной несущей конструкцией описываемой эпохи, началом координат. Тоник любил говорить, что, как это ни кажется парадоксальным, чем более мы удаляемся от эпохи, тем точнее ее история. Что мы знаем историю Древнего мира лучше, чем Плутарх, который во многом ошибался. Что мы знаем сейчас о Пушкине гораздо больше, чем он сам. Например, Пушкин не знал, кто за ним следил, а мы знаем. Пушкин не знал, что его прямым предком был знаменитый воевода Александра Невского Гаврила Олексич, а мы знаем. И так далее.

Страстное пожизненное увлечение Эйдельмана Пушкиным было настолько сильным, что передалось его близким друзьям. Его одноклассник профессор физики Владимир Фридкин, выезжавший в служебные загранкомандировки во Францию и в Бельгию, провел настоящее исследование по зарубежным архивам и написал книгу «Пропавший дневник Пушкина». Он познакомился в Сульце с потомками Дантеса и надеялся получить от одного из нынешних Дантесов материалы из переписки Екатерины и Натальи Гончаровых, однако из этого ничего не вышло. «У меня не сложились отношения с Дантесом», как-то пожаловался он мне. «Не огорчайся, — утешил я его, — у Пушкина они тоже не сложились».

Кстати, совсем недавно Фридкин поведал мне забавную историю. В 1992 году в Риме, где он читал лекции, занимаясь розысками материалов о Пушкине, он решил сделать видеосъемки в доме, некогда принадлежавшем подруге Пушкина Зинаиде Волконской. Теперь здесь разместилось британское посольство. И естественно, для съемок надо было получить специальное разрешение. Такое разрешение было без труда получено (представляю, какой бы поднялся шум, если бы какой-нибудь иностранец задумал провести видеосъемку в каком-нибудь нашем посольстве). Жена посла, Мария, оказалась русской. Будучи приглашен посольской четой на чай, Володя узнал, что в Италии они недавно, а до этого много лет прожили в Сенегале, где супруг Марии был английским послом. Надо сказать, что сам посол, высокий седой англичанин, по-русски не понимавший, никакого участия в разговоре не принимал и только вежливо улыбался. «А у меня, — заявил Фридкин, — есть приятель, который написал песню про Сенегал». «Спойте, пожалуйста», — попросила Мария. И тут Фридкин,

расслабившийся от чая и рома, прямо за посольским столом спел гостеприимным хозяевам песню про «Жену французского посла». Мария перевела супругу песню на английский, и немногословный и сдержанный до этого британский лорд начал, явно волнуясь, быстро говорить что-то по-английски. «Мой супруг очень интересуется, — перевела его слова Мария, — в каком году ваш приятель был в Сенегале?» «Кажется, в семидесятом», — ответил Фридкин. «А, так значит, это Женевьева Легран, — радостно воскликнула Мария. — Ну, конечно, это она. Правда, тогда ей было уже за сорок, но она всегда была «шарман»».

Другой школьный приятель Тоника, известный журналист Александр Борин, рассказал курьезную историю, произошедшую с ним в Торжке, вблизи которого, как известно, похоронена Анна Петровна Керн. Местные власти очень гордились причастностью Торжка к жизни великого российского поэта. Дело дошло до того, что стало традицией для новобрачных после регистрации брака класть цветы к памятнику Анны Петровны, которая, хотя и вдохновила Пушкина на знаменитые строки «Я помню чудное мгновенье», вряд ли могла служить достойным примером нерушимости супружеских уз.

Вернувшись в очередной раз из Торжка, Алик Борин рассказал об этом Натану, и тот припомнил не менее знаменитое письмо Пушкина приятелю, в котором поэт писал в частности: «Керн была со мной очень мила, и надеюсь, что на Пасху с божьей помощью я ее…» При следующем посещении Торжка Борин встретился с председателем горисполкома, который, описывая достопримечательности города, не преминул вспомнить и о могиле Керн. «Ведь вы знаете. — сказал он, — многие считают, что у нее с Пушкиным действительно что-то было». «Еще бы!» — воскликнул Борин и немедленно процитировал фразу из упомянутого письма. «Что вы говорите, — оживился председатель, — вот это новость! Завтра у нас как раз бюро — вот обрадуются товарищи!»

Борин, кстати, поведал мне еще одну историю, как однажды, когда он лежал дома с высокой температурой во время очередной эпидемии гриппа, к нему ворвался возбужденный Эйдельман и закричал: «Вот ты здесь валяешься, а я только что обнаружил ордер на арест Пушкина по делу о декабристах!» Борин утверждает, что от этого неожиданного известия он сразу же выздоровел.

Помню, как смеялся Тоник, когда я рассказал ему, что в моем родном Царском Селе, переименованном теперь в город Пушкин, в дни шестидесятилетия образования СССР поперек главной улицы Ленина красовался транспарант со строкой из Пушкина:

«Друзья мои, прекрасен наш Союз!», в которой слово «Союз» начиналось с заглавной буквы.

Эрудиция Эйдельмана поистине была безграничной. Помню, как-то он сказал мне: «Вот, Саня, ты ленинградец. А ну-ка ответь мне, почему в последнем предсмертном стихотворении Блока, посвященном Пушкинскому Дому, есть такие строчки:

…Потому в часы заката.
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему?

Пушкинский Дом ведь стоит на Малой Неве и с Сенатской площади не виден».

Я не мог ответить. «Вот так, — удовлетворенно поднял он палец, — не знаешь, конечно. А в том дело, что при Блоке литмузей и Пушкинский Дом помещались в главном здании Академии наук на Неве, как раз напротив Сенатской».

Предметы исторических исследований Эйдельмана были, казалось бы, более чем на век отдалены от наших дней, однако это не мешало ему активно участвовать в бурных событиях последних лет. Показателен в этом отношении его обмен письмами с писателем Виктором Астафьевым. (Я прочел эти письма одним из первых.) Причиной послужил опубликованный в журнале «Наш современник» рассказ Астафьева «Ловля пескарей в Грузии», в котором карикатурно, штрихами, оскорбительными для их национального достоинства, изображались грузины. Эйдельман обратился к Астафьеву с письмом, где, отдавая должное его известным книгам и литературному мастерству, упрекнул в некорректности по отношению к малым нациям, непозволительной для крупного русского писателя, представителя великого народа. Писал он о том, что великим русским писателям прошлого было свойственно в себе, а не в инородцах искать причины неурядиц, приводил цитаты из «Хаджи-Мурата» Толстого. Письмо кончалось с большим пиететом к адресату: «Уважаемый Виктор Николаевич, извините меня за прямоту, но Вы сами своими произведениями учите нас этому».

Ответ Астафьева, которого мы до этого действительно уважали как автора «Царь-рыбы» и «Печального детектива», оказался неожиданным. Он содержал грубую и откровенно антисемитскую брань лично в адрес еврея Эйдельмана, которого автор письма обвинял в «гнойном еврейском высокомерии» за непозволительную дерзость поучать истинно русского писателя. Ни о каких грузинах речи в ответе вообще не было. Надо сказать,

что письмо это было написано в 1986 году, когда открытая антисемитская пропаганда и брань не стали еще такими повседневными и безнаказанными явлениями нашей жизни, как теперь — благодаря многочисленным фашистским и полуфашистским газетам и журналам, — поэтому среди читающих оно вызвало некоторое потрясение. Я даже сомневался вначале, верно ли, что это действительно написал Виктор Астафьев. Время, однако, развеяло мои сомнения. В своем письме Астафьев почему-то обвинял Эйдельмана в первородном грехе убийства царя Николая II и выражал твердую надежду, что о Пушкине и русской истории в будущем станут писать только русские люди. Сам Тоник, насколько я помню, тоже был крайне удивлен и обескуражен грубым и истерическим тоном ответного письма.

Переписка эта, хотя и носившая личный характер, стала тем не менее достоянием общественности и даже попала в зарубежную печать. Реакция на нее была неоднозначной. В Великобритании, например, переписка была опубликована в переводе на английский с комментарием: «Идет перебранка между двумя представителями советского истеблишмента». Многие бывшие поклонники Виктора Астафьева, прочитав его ответ, стали возвращать автору по почте его книги. Некоторые обвиняли Эйдельмана в том, что он предал переписку гласности и что обнародование такого «антисоветского смелого» письма Виктора Астафьева может принести неприятности его автору. Опасения эти оказались напрасны. Писатель Астафьев некоторое время спустя был удостоен высокой правительственной награды и других официальных почестей, а вот у Эйдельмана действительно начались неприятности. Главная газета «Правда» весьма неодобрительно высказалась в его адрес в связи с упомянутой перепиской. Журналы начали возвращать его статьи, уже заказанные ранее. Издательства отложили заключение договоров. По его домашнему телефону стали звонить неизвестные «патриоты», обещая в нецензурных выражениях убить его и его жену.

В 1987 году в Пушкинском Доме в Ленинграде, на конференции, посвященной 150-летию со дня смерти А. С. Пушкина, которую открыл Д. С. Лихачев, после того, как ведущий предоставил слово для выступления Эйдельману, на трибуну стремительно выбежал неизвестный верзила и закричал, что сообщение должен делать не Эйдельман, а Астафьев. Его не без труда удалили из зала, после чего Эйдельмана встретили продолжительными аплодисментами.

Многие друзья Тоника также неодобрительно отнеслись к его

переписке с Астафьевым, считая, во-первых, что не следовало предавать огласке частную переписку, а во-вторых, что он полез «не в свое дело». В последнем они, как ни странно, оказались солидарными с самим Астафьевым, который уже после смерти Эйдельмана, отвечая на вопрос французской газеты «Либерасьон» почему он не любит евреев, сказал: «Потому что всюду они лезут».

Переписка эта, ставшая сама сейчас историей, оказалась одним из первых признаков активно проявляющегося ныне в нашем обществе разделения на демократов и национал-патриотов.

На одном из своих вечеров в Москве в 89-м году я получил записку такого содержания: «Как вы относитесь к просочившейся полемике между Эйдельманом и Астафьевым, к тому, что на страницах «Правды» Эйдельмана сравнили с Гапоном? Кому объективно нужен астафьевский антисемитизм?»

В том же году в Питере на вечере в Концертном зале пришла такая записка: «Виктор Астафьев заявил в «Правде», что ленинградцы зря защищали в блокаду свой город — несколько сотен домов-коробок, заплатив за это слишком дорогую цену. По Астафьеву, делать этого не стоило. Вы согласны с ним?»

Справедливости ради следует заметить, что для Астафьева переписка с Эйдельманом все же не прошла бесследно. Он в последующие годы отмежевался от наиболее оголтелых черносотенцев, вышел из состава редколлегии журнала «Наш современник» и отказался подписать печально известное прохановско-варенниковское «Слово к народу», послужившее идеологической увертюрой августовского путча, и некоторые другие погромные воззвания.

Кстати, когда я предложил журнальный вариант воспоминаний об Эйдельмане питерскому журналу «Звезда», главный редактор А. Ю. Арьев согласился напечатать его только при условии исключения из воспоминаний истории с перепиской, и публикация не состоялась.

В 1989 году в Болгарии Эйдельман показал нам черновик написанного им открытого письма Горбачеву в связи с ростом антисемитизма в нашей стране и появления разного рода националистических организаций типа «Памяти». Письмо это вызвало критику, и Тоник намеревался его переделать, но внезапная смерть не дала ему этой возможности. Так после его ухода оно и зачитывалось на радиостанции «Свобода», ибо актуальность этого письма, к сожалению, со временем возросла.

В своих книгах, статьях и лекциях Натан Эйдельман убедительно показывал, что империи, в том числе и наша,

недолговечны, что не может человеческое общество долго держаться на насилии и лжи, независимо от того, относится это к доисторическим временам правления Хаммурапи, николаевской России или эпохе «сталинской конституции». Не «русский бунт — бессмысленный и беспощадный», а демократизация, реформы и просвещение — вот курс нашего многострадального общества. Эйдельман был учителем не только по образованию, но и по призванию, не преподавателем, а именно Учителем — с заглавной буквы. В наше сложное кризисное время, когда четко обозначился дефицит не только продуктов питания и товаров первой необходимости, но и нравственности, он учил добру. Не потому ли так тянулись к нему люди? Не потому ли, думая о его внезапном и безвременном уходе, я жалею, прежде всего, не его, а нас, оставшихся без утешения и надежды? Кто прокомментирует теперь наши сегодняшние беды и тревоги: бесконечные войны в Чечне, распад СНГ? Я настолько привык к тому, что он всегда рядом, что до сих пор мне кажется чудовищным его отсутствие. С горечью думаю и о том, что Натан Эйдельман, мать которого прожила более 90 лет, умер в пятьдесят девять.

Предчувствовал ли он это, когда говорил порой, что все его любимые герои — Александр Герцен, Михаил Лунин, Николай Карамзин и даже Иван Иванович Пущин — декабрист, доживший до возвращения, ушли из жизни до шестидесяти лет, и что с ним будет то же самое? Ведь сказал он жене, когда его везли в больницу: «Я же всегда говорил, что умру в пятьдесят девять». Кто из нас принимал всерьез эти дурацкие шутки? Знали ли мы тогда, глядя на его улыбающееся лицо, какой смертельной болью переполнено его сердце, готовое взорваться?

Уже после его смерти вышла из печати книга, пророчески названная им «Оттуда» и сданная в издательство незадолго до смерти. Помнится, Тонику очень нравилось это название, хотя речь шла, конечно, не о том свете, а об Италии.

Незадолго до смерти Эйдельман вернулся из Калифорнии, где работал в Стенфордском университете, и привез груду ксерокопий и книг, касающихся событий в нашей стране в 20-е годы — по эмигрантской прессе и мемуарам. Вся эта груда была свалена в маленькой комнатушке у нас на даче, и время от времени Тоник, с нескрываемым удовольствием озирая эту груду, вдруг выхватывал из нее какой-нибудь листок и увлеченно начинал рассказывать о неведомых нам событиях, сопровождая рассказ, как обычно, интереснейшими комментариями. В это время он обдумывал также замысел новой, уже заказанной ему книги об истории московского Кремля и его обитателей — от Юрия Долгорукого до современных. Книге этой не суждено было

осуществиться.

Уже после смерти Натана Эйдельмана в «Огоньке» была опубликована его небольшая статья, даже не статья, а расшифровка его лекции после возвращения из Стенфорда, где он ежедневно, более двух месяцев, прерывая работу только на выходные дни, работал в архивах входящего в этот университет Института Гувера, явившегося самым крупным архивным фондом материалов о России в послереволюционные годы. Даже по этой небольшой статье можно судить о масштабах и значении задуманной им книги. Основу ее должны были составить рукописные материалы, собранные в эмиграции Борисом Ивановичем Николаевским и Николаем Владиславовичем Вольским, известным под псевдонимом Валентинов и ставшим одним из обруганных героев «Материализма и эмпириокритицизма». Два этих выдающихся человека собрали огромную коллекцию рукописей, создавшую основной фонд Гуверовского архива — сотни тысяч документов. В них — вся неискаженная история России; от Александра II, Герцена и Огарева — до ГУЛАГа, Жданова и Берии. В общем, как сказал Эйдельман — «от Радищева до Брежнева». Один из наиболее интересных документов — биография Ленина, написанная Валентиновым. В переписке с Николаевским Валентинов, не скрывая своей несомненной симпатии к Ленину, несмотря на его авторитарность, и восхищения его безусловным талантом, пишет, что без Ленина революции в России быть не могло; «У него была ражь, гипноз, он мог бы и десять революций сделать. Я вам точно говорю — гипноз».

Огромное количество найденных Эйдельманом материалов проливает свет на события 30-х годов, ранее почти неизвестные у нас. К ним относятся катастрофическое землетрясение в Армении весной 1931 года — в районе медных рудников Зангезура, чудовищный взрыв, произошедший в августе 1939 года на Магаданском рейде, при котором погибло три или четыре тысячи человек и который долгие десятилетия оставался государственной тайной.

Впервые обнаружены документы о массовом выселении корейцев и китайцев с Дальнего Востока, которое, оказывается, началось не в годы войны, а значительно раньше и достигло внушительных масштабов — более трех с половиной миллионов человек. Большая часть выселенных была отправлена в Заполярье, в Якутию, где их обрекли на вымирание. Эти огромные планомерные операции, по мнению Николаевского, в известном смысле подготавливали массовые выселения во время войны. «Действительно, — пишет Эйдельман, — те методы, которыми

руководствовались при выселении калмыков, татар, отрабатывались много раньше на жителях российских земель — на казачестве, на немцах Поволжья, а до этого — на китайцах и корейцах».

Кстати, о казачестве. В рукописной коллекции Николаевского Эйдельман обнаружил анализ Кубанского дела, относящегося к 1932–1933 годам. Из этого зажиточного края в указанные годы было принудительно выселено около двух миллионов человек, более четверти которых расстреляны или погибли в тюрьмах и лагерях. Такие же акции по приказу Сталина проводились в это время в Тамбовской и Воронежской областях. Не менее обличительные документы были найдены Эйдельманом в связи с убийством Кирова. Оказалось, что по «делу Кирова» репрессии были обрушены не только на Ленинград, но и на Москву, Киев, Харьков, Ростов и Одессу, в результате чего пострадало около полумиллиона человек.

Внимательно анализирует Эйдельман исторические прогнозы Николаевского и Валентинова на будущее развитие Советского Союза. Николаевский писал, что сложившаяся тоталитарная система в данных условиях не может эволюционировать в демократию, а Валентинов утверждал: «Еще как может!», в чем в известной степени совпадал с Эйдельманом.

Даже беглый обзор этих удивительных по своему значению и охвату материалов позволяет вообразить, какую книгу о современной нашей истории мог бы написать Натан Эйдельман. В ней на основе новых материалов он собирался развить одну из основных своих концепций — о неразрывной связи событий XVIII–XIX веков с современностью, о недоразвитых зачатках российского парламентаризма, прерванного матросом Железняковым, о людях, биографии которых «одним концом уходят во времена Герцена и Плеханова, а другим — в наши дни».

Любимый Натаном пример — эмигрант-историк Сватьков, написавший в 1935 году, что его матушка в молодости, в Таганроге, училась у престарелого Павла Александровича Радищева, сына Александра Николаевича. Сын Радищева выучил матушку, а матушка — Сватькова, который говорил по-французски с женевским акцентом потому только, что у чизель Радищева был родом из Женевы. Так женевский акцент был передан из времен Екатерины II человеку, дожившему до начала Второй мировой войны. «Но это нормальное явление, — пишет Эйдельман. — Все переплетено, и все оказывается необычайно близко. Вот эта связь, этот стык времен и есть моя тема… Николаевский и Валентинов для меня олицетворяют эту связь. Роль этих людей, как и других честных серьезных ученых, в

нашей стране будет возрастать. Термин «эмиграция» начнет стираться. Все понятнее будет, что у нас единая культура. Все больше и больше мы будем оценивать тех, кто не впал ни в пресмыкательство, ни в черную ненависть».

Не меньшего внимания заслуживает и оборванная на полуслове рукопись последней статьи Натана Эйдельмана «Гости Сталина», опубликованной, также посмертно, в «Литературной газете». В этой работе, по-видимому, написанной в связи с планами будущей книги об обитателях Кремля, Эйдельман с удивительной исторической точностью и художественным чутьем описывает, как ловко обманывал Сталин в Кремле своих знаменитых гостей — Бернарда Шоу, Ромена Роллана, Лиона Фейхтвангера и других выдающихся деятелей западной культуры, которые, будучи убежденными сторонниками демократии и либерализма, тем не менее проявили феноменальную слепоту, восхищаясь кровавой тиранией Сталина. Даже известный своим беспощадным аналитическим умом и скептицизмом Шоу написал:

«Часовой в Кремле, который спросил нас, кто мы такие, был единственным солдатом, которого я видел в России. Сталин играл свою роль с совершенством, принял нас как старых друзей и дал нам наговориться вволю, прежде чем скромно позволил себе высказаться». А в октябре 1938 года, выступая по радио, тот же Шоу сравнивал большевиков с создателями независимых Соединенных Штатов: Ленин — Джефферсон, Литвинов — Франклин, Луначарский — Пейн, Сталин — Гамильтон. Недалеко ушел от него и Ромен Роллан, сравнивавший Сталина с римским императором Августом. Выясняя причины этого чудовищного самообмана, Эйдельман выдвигает на первый план такие факторы, как гигантский аппарат дезинформации, идеологической обработки и умелой и незаметной для них изоляции именитых гостей от крестьянства, концлагерей и других миров горя, ужаса и террора. Беседы со Сталиным, открытые политические процессы также входят в эту огромную систему обмана.

На этих мыслях рукопись последней статьи Натана Эйдельмана обрывается. Как вспоминает его жена, он, оставив лист в пишущей машинке, отложил работу на завтра. Но это «завтра» не наступило для него никогда. Теперь можно только с горечью сожалеть, каких книг о современной истории и «связи времен» мы лишились.

Уже в больнице, ложась на каталку в свой последний путь в палату, Натан Эйдельман, несмотря на запрещение врача, взял с собой томик Пушкина, в надежде разгадать тайну знаменитого

пушкинского стихотворения «Андрей Шенье». Эту разгадку, до последнего дыхания живя российской литературой и историей, он унес с собой в небытие.

Осталась где-то в россыпях дневниковых и случайных записей «главная книга о собственной жизни», о 110-й школе, о товарищах, об отце, о любимой им «связи времен». Заметки эти он собирал всю жизнь, но книга эта так и не написана.

В пасмурный, не по-летнему холодный июльский день мы с Юлием Крелиным получали урну с прахом Эйдельмана в крематории Донского монастыря. Урну положили в целлофановый пакет, а пакет спрятали и сумку. «Такой толстый, а поместился в сумку», — вспомнил невесело Юлик «черную шутку», сказанную на этом же месте восемнадцать лет назад, когда забирали урну с прахом Игоря Белоусова. Пышная высокая трава зеленела вокруг нас на газонах и клумбах, почва которых образовалась из безымянного праха тысяч расстрелянных в сталинские годы, чьи тела сжигались здесь в 30-е и 40-е. Низкие серые облака, смешиваясь с негустым дымком, неспешно струящимся из квадратной трубы, стремительно перемешались над кирпичной стеной колумбария с фотопортретами усопших, напоминавшей Доску почета, в сторону старой части монастыря с полуразрушенным собором, обломками горельефов из взорванного храма Христа-Спасителя, фамильными склепами Ланских и Голицыных, надгробиями над местами последнего приюта Хераскова и Чаадаева… «Все переплетено и все чрезвычайно близко» — вспомнилась мне снова одна из последних строк Тоника…

Когда я стою перед книжной полкой и смотрю на плотный ряд книг, написанных Натаном Эйдельманом, поражает, как много он успел в своей короткой, трудной, но безусловно счастливой жизни. Когда же вспоминаю его безвременный уход, с горечью думаю, сколько он мог бы еще написать. И ощущение нереальности смерти охватывает меня. И не отпускает…

Скончался Натан Эйдельман.
Последний российский историк.
Пустует промятый диван.
Завален бумагами столик.
В квартире, где мертвая тишь.
Раскатистый голос не слышен.
Вчерашние скрыты афиши
Полотнами новых афиш.

…Скончался Натан Эйдельман.

Случайно ли это? — Едва ли:
Оборван истории план.
Стремящийся вверх по спирали.
Захлопнулась времени дверь,
В полете застыла минута, —
Безвременье, голод и смута
Страну ожидают теперь.
И нам завешает он впредь
Познание тайны несложной,
Что жить здесь, увы, невозможно.
Но можно лишь здесь умереть.

18 апреля 2000 года Натану Эйдельману исполнилось бы 70 лет. В этот день в Центральном доме литераторов состоялся вечер его памяти. Выступали друзья Эйдельмана Михаил Козаков, Владимир Рецептер. Антонина Кузнецова читала отрывки из его книги «Грань веков». Виктор Берковский пел песни на стихи Окуджавы и Самойлова. Выступления время от времени прерывались фрагментами из старого фильма, снятого во время одной из лекций Эйдельмана, и я впервые обратил внимание, насколько он, вдохновенно вещающий с экрана, моложе его состарившихся друзей, сидевших в зале и на сцене.

Мне вспомнился один из вечеров его памяти, проходивший пять лет назад в Доме кино, который мне довелось вести вместе с Лидией Борисовной Либединской. Тогда еще был жив и Булат Окуджава, и многие другие друзья Тоника. Булат, помнится, рассказывал, что он любил «посидеть с Тоником, выпить и посплетничать». На вечере вообще много говорилось о общительном и жизнелюбивом нраве Эйдельмана. В перерыве ко мне подошел пожилой человек и возмущенно сказал: «Вы плохо ведете вечер. Все выступающие и вы сами постоянно говорите о выпивках и эпикурействе Эйдельмана. Это не так. Я хорошо знал его. Это был кристально чистый человек, который в рот не брал спиртного». Растерявшись от столь неожиданной реплики, я рассказал об этом Михаилу Жванецкому, который, выйдя на сцену в начале второго отделения, заявил: «Эйдельмана я помню плохо. Дело в том, что при встречах с ним я почти сразу же наливался, поскольку сам он был кристально чистый человек и в рот не брал спиртного. Так что все приходилось выпивать мне».

Более десяти лет минуло со времени внезапного ухода Натана Эйдельмана. Когда-то Пушкин сказал, что Карамзин открыл для россиян их историю подобно тому, как Колумб открыл Америку. Натан Эйдельман во второй половине

минувшего века снова открыл для нас отечественную историю, закрытую почти на семьдесят лет, когда многотомные исторические работы Карамзина, Ключевского, Соловьева, Костомарова, Тхоржевского были насильственно заменены «Кратким курсом ВКП(б)» и кастрированной «Историей СССР». Открытие это, представляется мне, можно сравнить с другим великим открытием нашего времени, совершенным знаменитым французским исследователем подводных глубин Жаком Ивом Кусто, с которым мне довелось встречаться. Благодаря многочисленным телевизионным подводным съемкам капитана Кусто, неведомые прежде для человеческого глаза таинственные океанские глубины стали доступны каждому включившему телевизор. Книги Натана Эйдельмана открыли миллионам читателей безбрежный океан Российской истории, вернули истории гласность, возвратили нам интерес к нашему прошлому, которое после этого уже нельзя было отменить или запретить. Возможно, в этом — главный подвиг его недолгой жизни.

«Единственный свидетель уходящего столетия»

Лев Эммануилович Разгон, замечательный писатель и солнечный человек, ушел из жизни сухой и ясной последней осенью XX века на девяносто втором году жизни. Жизнь эта была долгой, но нелегкой, — семнадцать лет сталинских лагерей, ранние утраты дорогих и близких людей, упорная война с осадившими его в последние годы недугами. Корней Иванович Чуковский как-то сказал: «В России надо жить долго». Лев Разгон на наше счастье жил долго, хотя другой на его месте, возможно бы, сломался. Ушли из жизни Варлам Шаламов и другие чудом выжившие узники, смертельно раненные зонами, а Разгон жил и радовался тому, что, как он сам говорил, «пересидел Сталина».

Лагеря не сломали его ни физически, ни духовно. Он не ожесточился, не озлобился. Его книга «Непридуманное», другие его повести и рассказы, несмотря на трагизм описываемых ситуаций, где герой и автор практически одно и то же лицо и литература тесно сплетена с документом, полны света и неистребимой надежды на победу добра. Даже в лагере, под гнетом и надзором, Лев Разгон оставался свободным человеком в несвободной системе. Кто мог позволить себе тогда смеяться над усатым тираном? А он мог. День смерти этого тирана, — 5 марта, он всю жизнь отмечал, как праздник, наряду с днем своего рождения — 1 апреля. Так же отмечал этот день за рюмкой и упомянутый выше Лев Копелев.

Я вспоминаю, что впервые услышал рассказы Льва Разгона от него самого в Переделкино, где мы снимали дачу вместе с Натаном Эйдельманом. Меня тогда поразил его не по возрасту юный задорный облик, особенно эти светлые по-мальчишески озорные глаза и манера себя держать совершенно свободно. С первого момента подкупало также его очевидное бесстрашие, поскольку то, что рассказывал он, даже тогда еще было небезопасно предавать гласности.

Потом мы подружились, и ом буквально заставил меня перейти с мим на ты несмотря на мое упорное сопротивление, — все-таки четверть века разницы, да и величины несоразмерные. Однако по прошествии некоторого времени я начисто перестал замечать разницу в возрасте. Он оказался моложе и крепче духом не только меня, но и многих нынешних двадцатилетних.

Лев Разгон по-детски умел радоваться жизни. Он верил в счастливое чудо, и оно с ним происходило. Именно так к нему

через мною лет, проведенных в потемках ГУЛАГа, вдруг вернулась его старая рукопись, утерянная, казалось бы, навсегда. Она называлась необычно: «Позавчера и сегодня». Вчера, — времени, проведенного в заточении, не было.

Биография его была причудливой. Родившись в 1908 году, в 1922 он приехал в Москву, где в 1932 году закончил исторический факультет 2-го МГУ. К этому времени относится его недолгая служба в ОГПУ, где он служил в отделе под руководством своего тогдашнего тестя, старого революционера-боевика, активного участника революции 1905 года Глеба Ивановича Бокия, бывшего в свое время начальником Петроградской ЧК и расстрелянного в 37-м. Есть даже архивная фотография — Лев Разгон в чекистской форме. После гибели Бокия Разгон ушел работать в Детгиз редактором «Детской энциклопедии». В первый раз его посадили еще в 30-м году. А в 38-м его снова арестовали, и долгие годы до окончательной амнистии в 1955 году он провел в лагерях.

Тем не менее «жертвой ГУЛАГа» он себя не считал:

«Свободным человеком я стал в лагере. Там нечего было терять. В лагере освобождаешься от догм и стереотипов. Кроме того, у меня были счастливые возможности свободного общения с людьми огромного интеллекта. Потерял я за эти годы многое, но еще больше приобрел».

В лагерях сформировалось его мировоззрение на базе полного отрицания фальшивых идеалов коммунизма, которые он считал утопичными и античеловечными.

Вот что написал он накануне очередных выборов в 1996 году:

«Пусть никто не обманывает себя тем, что можно произвести сколько-нибудь серьезные изменения в экономике нашей страны и в нашей жизни вообще в том направлении, которое нам указывают Зюганов и его единомышленники, не применив старые и хорошо известные нам методы запугивания, принуждения и подавления личности. Такими методами ничего исправить нельзя. Мы через это уже прошли. Этот путь — тупиковый.

Надо помнить, что насилие обладает одним страшным свойством — оно распространяется, как эпидемия. Стоит лишь начать, начать с малого, а дальше покатится неудержимо.

Как человек, который прожил очень долгую жизнь и все это не только видел, но и испытал, хочу сказать тем, кто будет участвовать в выборах: давайте ничего не будем забывать, давайте думать не только о себе, давайте думать о своих детях, внуках, о нашем будущем.

В конечном счете речь идет о нашем спасении, о спасении России. От нашею с вами выбора будет зависеть очень многое».

Когда в 1946 году Разгона ненадолго освободили, то, поскольку в Москву он вернуться не мог, он приехал в Ставрополь, где устроился работать в типографию. Однако его вторую жену Рику через недолгое время арестовали и отправили в пожизненную ссылку, а вскоре снова забрали и его, инкриминировав ему, что в одном из номеров газеты он поместил портрет Сталина «за решеткой».

Надо сказать, что со своей второй женой — Ревеккой Ефремовной Берг Лев Разгон познакомился в лагере и прожил с ней вместе 47 лет. Ее суммарный лагерный срок оказался даже больше, чем у него, поскольку она была дочерью известного революционера, члена ЦК партии эсеров Ефрема Берга, который, по ее собственному свидетельству, был на свободе только короткий период между февралем и октябрем 1917 года. Именно Рика помогла Льву Разгону стать писателем. Смерть ее была большим ударом для него. В последние годы Разгон собирал материалы для книги об отце и дочери Бергах, которую так и хотел назвать: «Отец и дочь».

Писательская судьба Разгона также складывалась непросто. Настоящая известность пришла к нему только в 1988 году после публикации в журнале «Огонек» рассказа «Жена президента» — о драматической жизни жены Калинина, упрятанной Сталиным в лагеря. К тому времени у него уже вышло несколько книг. Зато последние его книги, в том числе «Непридуманное», переведены на многие иностранные языки и получили всеобщее признание.

Жизнь свою без работы он не представлял. Вот что написал он всего за полгода до смерти:

«Для меня главным в жизни была и есть возможность трудиться. Седьмой год состою членом Комиссии по помилованию при президенте России. Три полных дня в неделю читаю толстые папки с заявлениями о помиловании. Это счастье, что президент объявил мораторий на исполнение приговоров, и с мая никого не казнят. Состою я и в совете «Мемориала», в совете Еврейского российского конгресса. Увы, я уже не могу передвигаться ни пешком, ни на городском транспорте, поэтому на заседания и собрания меня возят. Глупо умолчать о том, что за эти годы у меня было два инфаркта, повалялся по больницам, не понимаю, как ухитрился выжить, но все это не мешало ощущению счастья и удачи. Моя главная книга лагерно-тюремных воспоминаний продолжает выходить в разных странах. В прошлом году — в американском издательстве «Ардис», а в этом — в Лондоне. В Италии вышел перевод книги «Позавчера и сегодня». Продолжаю публиковаться и часто выступаю по телевидению. Отказывать не имею права, ведь я чуть ли не

единственный свидетель уходящего столетия. В США умер почти мой ровесник Толя Рыбаков. Я работаю, активно живу, и обязан чувствовать себя счастливым».

Одним из удивительных качеств Льва Разгона были изначальная доброжелательность к незнакомым людям и обостренное чувство справедливости вместе с практическим отсутствием чувства страха.

Так, совсем недавно, когда ему было уже за девяносто, он дал публично пощечину подлецу, оскорбившему память его первой жены Оксаны, — тот написал в комментариях к «Энциклопедии Булгакова», что дочери Бокия принимали участие в оргиях на чекистской даче.

Кажется совершенно естественным, что именно он, бывший зек, активно работал в Комиссии по помилованиям, пытаясь творить добро в наш недобрый век. Недаром на открытии памятного камня жертвам сталинских репрессий в сквере на Лубянской площади он сказал, обернувшись на здание КГБ: «Мой путь от этого дома до этого камня продолжался тридцать лет». По свидетельству Анатолия Приставкина, председателя Комиссии по помилованию, Разгон всегда голосовал против смертной казни. На обвинение в «мягкотелости и беспринципности» он ответил, что голосовать всегда за смертную казнь — не менее беспринципно. Еще за день до смерти он упорно продолжал работать и передал в Комиссию папку с просмотренными им делами.

И хотя он был как бы из другого поколения, мы — шестидесятники — считали его своим.

Он любил женщин, и они любили его. Жена его племянника Ирина, живущая в США, вспоминает, что когда он нес ее будущего мужа из родильного дома, то так заговорился с какой-то встреченной по пути красот кой, что, по уверениям родственников, чуть не потерял младенца.

Он любил петь и пел, кстати, превосходно. Предметом особой гордости для меня было то, что несколько моих песен, знакомых еще с лагерной поры, он любил и пел.

Выступая на сцене в Политехническом музее на моем шестидесятипятилетии, он сказал: «Когда после семнадцати лет отсутствия я вернулся в Москву и очутился в обществе друзей моей двадцатилетием дочери, я был поражен — они все непрерывно что-нибудь пели. Большая часть этих песен принадлежала, как выяснилось, некоему Алику Городницкому, хотя я-то их слышал раньше и считал народными. И я сам невольно поддался магии этих песен, хотя и не сразу понял, в чем она заключается. В чем же причина успеха этих песен среди

тогдашней молодежи? Во-первых, эти песни были вовсе не советскими, — они не звали на целину и в космос, не призывали бороться и побеждать, да и написаны были о нормальных человеческих чувствах нормальными человеческими словами, а во-вторых — это была поэзия».

Несколько лет назад для авторского телевидения был отснят фильм о моих песнях, куда вошла довольно своеобразная сцена. В соответствии с идеей режиссера, в мастерской у упомянутого выше художника Бориса Жутовского сидят за столом мои друзья и разговаривают обо мне. На столе стоят водка и закуска, а сам я отсутствую. По режиссерскому плану, в состав присутствующих должны войти: художник (Борис Жутовский), политик (им стал мой давний приятель, один из лидеров партии «Яблоко» Владимир Лукин), поэт (в этой роли выступил Игорь Губерман) и писатель, которым к моей радости согласился быть Лев Разгон.

По мере истребления водки и закуски разговор приобретал все более непринужденный характер. Игорь Губерман уже со второй рюмки начал активно вплетать в разговор неформальную лексику, и весь материал для фильма безнадежно пропал, а я, отсмотрев эти кадры, узнал о себе массу нового и интересного. Дело однако не в этом, а в том, что, когда зашла речь о песне «Снег», написанной в 58-м году, Разгон стал страстно доказывать, что он ее слышал на зоне еще в 55-м, чем немало подогрел мое авторское тщеславие.

Жизнерадостный по натуре, он и в последние годы нередко позволял себе дружеские посиделки с выпивкой. Помню, на банкете по поводу моего 65-летия, буквально за день до того, как ему самому исполнилось 90, он выпил так много, что чуть не сорвал собственный юбилей.

В своем отношении к людям, к друзьям и врагам, к женщинам, к правде и неправде, по своему удивительному бескорыстию и фатальной вере в победу добра он был настоящим рыцарем и настоящим мужчиной, — категории нетипичные в нашу торгашескую эпоху.

Он любил друзей, и друзья любили его. В последние годы, когда стало сдавать сердце, они сделали все, чтобы продлить эту замечательную жизнь. Трудно перечислить всех, но хотелось бы выделить кроме его дочери Наташи еще Евгению Альбац, помогавшую ему в самые трудные часы, и Раду Полищук, выпустившую прекрасную книгу «С Разгоном о Разгоне», посвященную его памяти.

При жизни Лев Разгон не был религиозным человеком, но хоронили его на Востряковском кладбище по традиционному религиозному обряду, и читали над ним «кадиш» — еврейскую

поминальную молитву. Во время панихиды в Центральном доме литераторов, куда собралась, кажется, вся Москва, и на кладбище, согласно его последнему желанию, звучали мотивы еврейских народных песен, которые мастерски исполнял на скрипке один из видных исполнителей авторской песни Борис Кинер. Солнечная и ясная осенняя погода, звуки скрипки, просветленные лица провожающих, — все это придавало грустному обряду прощания какую-то странную праздничность. Лидия Борисовна Либединская обратила внимание на то, что в день его похорон евреи всего мира с первой звездой встречали новый 5760 год: «В такие праздники из жизни уходят праведники».

Он совсем немного не дотянул до рубежа тысячелетий, до выборов, которые ожидал с надеждой. Он навсегда остался в уходящем Двадцатом столетни рядом с другими такими же светлыми рыцарями правды, как Андрей Дмитриевич Сахаров и Булат Окуджава — его коллега в Комиссии по помилованию.

Не случайно Булат Окуджава посвятил ему песню, опубликованную в его последнем сборнике «Чаепитие на Арбате» и названную «Песенка Льва Разгона»:

Я долго лежал в холодильнике,
омыт ледяною водой.
Давно в небесах собутыльники,
а я до сих пор молодой.
Преследовал Север угрозою
надежду на свет перемен,
а я пригвоздил его прозою —
пусть маленький, но феномен.
По воле судьбы или случая
я тоже растаю во мгле,
но эта надежда на лучшее
пусть светит другим на земле.

Вот таким молодым он и остался теперь уже на все времена, свободный человек в несвободной стране, оптимист в век разочарования и уныния.

Мы осиротели, ибо некому теперь давать нам живой пример нравственности и бодрости, радости и принципиальности, чувства собственного достоинства.

В конце ноября 2000 года по инициативе Бориса Жутовского в Бутырской тюрьме, в административном корпусе была организована выставка картин московских художников для заключенных.

Выставка эта как бы продолжила добрую традицию, начатую

еще Федором Ивановичем Шаляпиным в 1922 году. Как вспоминала жена Разгона Рика Берг, ее отец в канун нового года сидел в Бутырке, и родным разрешили вместе с заключенными принять участие в новогоднем вечере. Незадолго до полуночи в комнату, где собрали заключенных и их родных, неожиданно вошел Шаляпин и сказал: «В этом году я покидаю Россию навсегда и последнюю новогоднюю ночь хочу провести с теми, кто страдает. Я буду вам петь».

На этот раз на открытии выставки пришлось петь мне, и чувствовал я себя не слишком ловко, памятуя о своем великом предшественнике. Кроме тюремного и городского милицейского начальства в штатском и нескольких «избранных» заключенных на выставке собралось немалое число журналистов и телеоператоров. Был здесь и случившийся в эти дни в Москве Игорь Губерман. На вопрос Жутовского, можно ли пустить Губермана по израильскому паспорту, начальник тюрьмы ответил: «Губермана я пущу по любому документу и на любой срок».

Рассматривая представленные на выставке картины, мы с Игорем одновременно обратили внимание на то, что висевшие на стенах под темными сводчатыми тюремными потолками портреты работы Жутовского странным образом изменились, — все лица на них, в том числе и наши, приобрели еще более мрачное и явно испуганное выражение, вполне соответствующее этому невеселому месту. Один только несгибаемый Лев Разгон дерзко и бесстрашно смотрел своими огромными светлыми глазами, вселяя в присутствующих надежду и призывая их к стойкости.

Трудно, почти невозможно поверить, что его не стало. Зато нам есть у кого учиться.

Имени Окуджавы

Несколько лет назад, еще при жизни Булата Окуджавы, сын моих приятелей, девятнадцатилетний студент, спросил меня: «А что вы пели, когда не было Окуджавы?» Вопрос этот звучал примерно как: «А что вы смотрели, когда еще не было телевизора?» И я вспомнил, что с песнями Булата Окуджавы впервые познакомился в 1961 году, услышав их в записях сначала в Москве, а потом на борту военного парусника «Крузенштерн». До этого в последних классах школы и в Горном институте мы пели песни военных и послевоенных лет, а в студенческие годы — еще и наследие российских буршей: «Там, где Крюков канал…», «Быстры, как волны», а также обязательную «Кису-Мурочку», «Жену» и еще что-то легкомысленное. Об этом прекрасно написал Давил Самойлов в своей упомянутой выше поэме «Юлий Кломпус»:

Что пели мы в ту пору, бывшие
Фронтовики, не позабывшие
Свой фронтовой репертуар?
Мы пели из солдатской лирики
И величанье лейб-гусар —
Что требует особой мимики,
«Тирлим-бом-бом», потом «по маленькой»,
Тогда опустошались шкалики.
Мы пели из блатных баллад
(Где про шапчонку и халат),
И завершали тем, домашним.
Что было в собственной компании
Полушутя сочинено.
Тогда мы много пели, но
Былым защитникам державы.
Нам не хватало Окуджавы.

Окуджавы действительно не хватало, и именно его обычно считают основоположником авторской песни, хотя еще раньше писали песни под гитару Юрий Визбор, Ада Якушева, Михаил Анчаров и некоторые другие авторы. Главная причина здесь, вероятно, в масштабе его огромного поэтического таланта. Но кроме того, еще и в масштабе личности, в том, что он в своих песнях один из первых заменил столь привычное для воспитанных под сталинский барабан предыдущих поколений

советской молодежи местоимение «мы» местоимением «я», которое звучало не только в стихах, но и в самой непривычной для слуха интонации его изысканных поэтически и, как поначалу казалось, камерных песен, звучавших как продолжение городского романса. Вспомним горькие строки поэта фронтового поколения Владимира Соколова:

Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек,
И не надо мне прав человека, —
Я давно уже — не человек.

Именно благодаря «камерным» произведениям Булата Окуджавы впервые после долгих лет маршевых и лирических песен казарменного «социализма» в песенной (и не в песенной) поэзии появился «отдельно взятый» человек, личность, «московский муравей», заявивший о себе, единственное и неповторимое «я». Так началась революционная эпоха авторской песни, в которой снова обрела свой голос молчавшая много лет в беспросветных потемках сталинских и послесталинских времен российская интеллигенция.

Кстати об интеллигенции. Понятие это, безапелляционно определенное «величайшим гением всех времен и народов» как «социальная прослойка», в наши дни толкуется по-разному. Помню, как мы яростно и неоднократно спорили на эту тему в Переделкино с Натаном Эйдельманом, особенно тогда, когда он назвал Петра I «первым интеллигентом на троне». Это Петра-то, который убил собственного сына, своими руками во время стрелецкой казни рубил головы, которого Пушкин назвал «гений-палач»! Я в полемике с Тоником, помнится, заявил, что первым интеллигентом был скорее протопоп Аввакум, и что интеллигент — это человек, для которого духовные ценности важнее материальных и главным законом являются нравственно-этические нормы.

В последнее время стало модно обвинять интеллигентов в том, что они «сделали революцию» и поэтому с самого начала виноваты во всех бедах русского народа. Между тем история показывает, что первыми и последними интеллигентами в русском революционном движении были декабристы. (Не потому ли они так привлекали к себе и Эйдельмана, и Окуджаву?) Пришедшие же им на смену Желябовы и Нечаевы, петрашевцы, народовольцы и социал-демократы, выродившиеся в большевиков, вышли главным образом из разночинцев и были не интеллигентами, а образованцами. А вот мнение Булата

Окуджавы, высказанное им в феврале 1992 года в беседе с Ириной Ришиной:

«Образованцы, которые делали революцию, — это не интеллигенция, конечно… Честно говоря, я устал от разброса мнений, от чудовищной неразберихи в этом вопросе. Все переплелось — и попытки научного осмысления, и невежество. Хотя уйти от ответа невозможно.

Майор по телевидению заявляет: «Я интеллигент, потому что майор…» Писатель Боборыкин утверждал, что интеллигенты — университетские недоучки, раздраженные посему. А. Солженицын считает, что интеллигенции нет, а есть образованщина. Некто Иван Иванович уверен, что интеллигенты — это «в очках и шляпах».

Бедные интеллигенты! Я тоже, набравшись мужества, вмешиваюсь в этот хор. В течение многих десятилетий нас учили, что интеллигенция — это «прослойка» или в лучшем случае «люди умственного труда». Нас воспитывали на этом стереотипе. Но у меня постепенно сложилось свое представление об интеллигентах, далекое, понимаю, от совершенства, очень неполное, но свое.

Интеллигентность, я думаю, — это прежде всего способность мыслить самостоятельно и независимо, это жажда знаний и потребность приносить эти знания, как говорится, на алтарь отечества. Вот уже что-то вырисовывается, но этого, конечно, мало. Ведь интеллигентность, кроме того, в моем понимании, — это состояние души. Важны нравственные критерии: уважение к личности, больная совесть, терпимость к инакомыслию, способность сомневаться в собственной правоте и отсюда склонность к самоиронии и, наконец, что крайне важно, неприятие насилия. Что-то, видимо, я упустил и не сомневаюсь, что кому-то эти качества покажутся и не полными, и не достаточными, а кого-то мое мнение, может быть, и покоробит. Я вовсе не претендую на окончательное определение, просто размышляю.

Я никогда не утверждал, что я интеллигент. Но мне всегда хотелось быть интеллигентом. Хотя у меня масса недостатков, пороков, но освобождение от них, наверное, и сеть приближение к интеллигентности».

То, что песни Булата Окуджавы исполнялись под гитару, на которой он не слишком виртуозно аккомпанировал себе сам, освоив, по его собственным словам, всего шесть аккордов, тоже имело принципиальное значение, как бы восстанавливая интонационные традиции не «мещанской гитары с красным бантом», о которой тут же принялись оголтело кричать

многочисленные ревнители идейной чистоты, а дворянского романса, дворянской интеллигенции. Гитара стала как бы сразу же в оппозицию к высочайше утвержденным в качестве «народных инструментов» баяну («Играй, мой баян») и аккордеону, бодрый рев которых заглушал тихие человеческие слова. Не случайно Белла Ахмадулина спросила как-то на совместном концерте у партийных функционеров: «Послушайте, что вы его так боитесь? У него же в руках гитара, а не пулемет».

Именно его песни привили молодежи, и не только молодежи, новый (а скорее, утраченный задолго до нас старый) тип самосознания — любовь и уважение к Личности. И пути назад уже нет:

Совесть, благородство и достоинство —
Вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь.
За него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем.
Но зато умрешь как человек.

Кстати, один известный московский драматург, получивший в молодости музыкальное образование, уже после смерти Окуджавы говорил мне, пожимая плечами: «Ну, какой же Окуджава музыкант? Как он мог сочинять песни? Я же видел, как он беспомощно играет, — он все время смотрит на свои пальцы, чтобы не ошибиться в нужной струне».

Помню, как лет пятнадцать назад, обеспокоенный приставаниями профессиональных певцов, уверявших, что нельзя петь не поставленным голосом, я, встретив Булата Окуджаву в тогда еще доступной для писателей поликлинике Литфонда, спросил у него, ставили ли ему голос. «А зачем? — искренне удивился он. — Для моих песенок мне и так хватит».

Дело было не в голосе и не в мастерстве владения гитарой. Оказалось, что самая сложная гамма чувств и настроений, акварельная система поэтических образов, подлинная стихотворная строка — все это может быть предметом песни. Стихи Окуджавы неразрывно связаны с органикой его неповторимых мелодий. Отсюда невозможность «улучшать» и «аранжировать» его музыку, чего упорно не хотели понимать некоторые композиторы, даже такие талантливые, как Таривердиев и Рыбников, потерпевшие на этом фиаско. Чтобы убедиться, попробуйте послушать, например, песни Булата

Окуджавы к «Золотому ключику» на музыку Рыбникова, а потом — на его собственные мелодии.

В отличие от Галича, Кима и даже Высоцкого, Булат Окуджава не писал обличительных диссидентских песен. Как сказала Зоя Крахмальникова, он «не был ни опальным, ни правительственным поэтом». «Я никому ничего не навязывал» — эта фраза послужила названием одной из его книг. Он был лириком и, так же как и Давид Самойлов, не слишком жаловал политизированные стихи. Но сам дух его поэзии, личность лирического героя и автора, свободного человека, подчеркивающего свою независимость, не могли не вызвать с самого начала яростно враждебного отношения всех многочисленных охранительных инстанций.

Я вспоминаю одно из первых выступлений Булата Окуджавы в 1961 году в моем родном Питере, после которого он был подвергнут травле в доносительской статье некоего Н. Лисочкина, снискавшего себе этой статьей сомнительные лавры. Статья была опубликована в газете «Комсомольская правда» от 6.12.61 г. под названием «О цене «шумного успеха»». Вот отдельные цитаты из нее:

«О какой-либо требовательности к самому себе говорить не представляется возможным. Былинный повтор, звон стиха «крепких» символистов, сюсюканье салонных поэтов, рубленый ритм раннего футуризма, тоска кабацкая, приемы фольклора — здесь перемешалось все подряд. Добавьте к этому добрую толику любви, портянок и пшенной каши, диковинных «нутряных» ассоциаций, метания туда и обратно, «правды-матки» — и рецепт стихов готов. Как в своеобразной поэтической лавочке: товар есть на любой вкус, бери, что нравится, может, прихватишь и что сбоку висит.

Дело тут не в одной пестроте, царящей в творческой лаборатории Окуджавы. Есть беда более злая. Это его стремление и, пожалуй, умение бередить раны и ранки человеческой души, выискивать в ней крупицы ущербного, слабого, неудовлетворенного. Позволительно ли Окуджаве сегодня спекулировать на этом? Думается, нет! И куда он зовет? Никуда.

Невооруженным глазом видна здесь тенденция уйти в «сплошной подтекст», возвести в канон бессмыслицу. А вот и ее воинствующий образчик — «Песня о голубом шарике».

Девочка плачет,
Шарик улетел,
Ее утешают,
А шарик летит».

Теперь, по прошествии многих лет, перечитывая эту заметку, я с удивлением обнаруживаю, что помимо своей воли Лисочкин на самом деле наговорил осуждаемому им автору немало поэтических комплиментов, усмотрев в его стихах «былинный повтор, звон стиха «крепких» символистов, рубленый ритм раннего футуризма, приемы фольклора», и наконец, самое главное, — признавая за автором «умение бередить раны и ранки человеческой души».

На выступлении, проходившем во втором Юсуповском дворце на Невском, где тогда располагался Дом работников искусств, вход которого в этот вечер охраняла почему-то конная милиция, присутствовало довольно много ленинградских композиторов. Настроены они были весьма агрессивно и не стеснялись топать ногами, свистеть, выкрикивать: «Пошлость!» и всячески выражать свое возмущение. После концерта, уже в гардеробе, к Окуджаве подскочил именитый в те поры и обласканный властями композитор Иван Дзержинский, автор популярной в сталинские годы оперы «Тихий Дон». Багровый от негодования, брызжа слюной, он размахивал руками перед самым носом Булата и истерически кричал: «Я не позволю такого безобразия в нашем доме! Я — Дзержинский! Я — Дзержинский!» Обстановку неожиданно разрядил стоявший за спиной разбушевавшегося композитора замечательный актер Большого драматического театра Евгений Лебедев, уже успевший слегка выпить, который хлопнул его по плечу и громогласно заявил: «А я — Фрунзе».

Вслед за композиторами по команде партийных органов к освистыванию Булата Окуджавы немедленно подключились и многие профессиональные поэты, усмотревшие в исполнении стихов под гитару эстрадную профанацию поэзии, салонность и поиски дешевой популярности. Особо ревностно обличал Булата руководивший тогда ленинградской писательской организацией поэт Александр Прокофьев. «Шансоне, шансонетки», — кипятился он.

В результате активной клеветнической кампании, начатой «Комсомольской правдой», Булата Окуджаву уволили из «Литгазеты», где он тогда работал. Благоволившие к нему редакционные начальники как-то вызвали его и сказали: «Нам все время звонят сверху и удивляются, что в отделе поэзии работает гитарист».

И в последующие годы выступления Булата неизменно давали пищу для многочисленных доносов. Наиболее известен один из них, который был направлен в отдел культуры ЦК КПСС

секретарем Ульяновского обкома КПСС А. Скочиловым в 1967 году.

Интересно, что и многие диссиденты также приняли песни Окуджавы в штыки: его укоряли, что он член КПСС; что вместо того, чтобы разоблачать советскую власть, он поет какие-то песенки про Ваньку Морозова или уже упомянутый шарик. Давний друг его писатель Владимир Войнович, в доме которого в Штокдорфе, неподалеку от Франкфурта Булат жил в 1985 году во время поездки в Германию и Францию, вспоминает: «Одна парижская дама из числа просто дураков отказалась прийти на концерт Окуджавы, сказав примерно такое: «Я бы пришла, если бы знала, что он выйдет на сцену, отшвырнет в сторону гитару и скажет, что советский режим хуже фашистского и он отказывается петь до тех пор, пока этот режим не рухнет»».

Помню, как в 1986 году в Ленинграде, куда мы вместе с ним ездили выступать, Булат, только что вернувшийся из поездки в Германию и Францию, с горечью жаловался мне на Владимира Максимова, бывшего тогда главным редактором «Континента» и заявившего, что «Булат Окуджава — агент КГБ, поскольку иначе бы его в поездку по странам Европы не выпустили».

Эта поездка, как говорил сам Булат, принесла ему немало неприятностей. На обратном пути на пограничной станции Чоп он подвергся жесточайшему обыску, явно по наводке стукачей, поскольку за рубежом он уже бывал неоднократно, а такой обыск был учинен впервые. «Я сам виноват, — рассказывал он мне, — поскольку перед пересечением границы вынул запрещенные к провозу книги из чемодана и спрятал их в вагонный ящик под сиденьем, а вошедший таможенник сразу же туда полез. В результате мне приписали не только провоз запрещенной литературы, но и намеренное ее укрытие».

Окуджаву сняли с поезда и целый день обыскивали самым тщательным образом, — даже зубной порошок проверяли. При обыске были отобраны книги «КГБ» Барона, «Бодался теленок с дубом» Солженицына, «Номенклатура» Восленского, «История царской семьи», а также другие книги и видеокассеты.

Последовал скандал с проработкой по партийной линии в Союзе писателей и угрозами исключения из КПСС.

Надо сказать, что членство в партии принесло Булату Окуджаве немало неприятностей и трудных ситуаций, включая вынужденные публичные покаяния в печати. Вступил он в партию после XX съезда в 56-м с открытым сердцем, веря в «комиссаров в пыльных шлемах» и новые времена, так же, как когда-то в 1942 году в Тбилиси после девятого класса пошел добровольцем на войну.

«Уже в 59-м году я понял, что совершил ошибку. Коммунистом себя не ощущал, и вообще, какой я был член партии в общепринятом тогда понимании? Но выйти из нее не мог: со мной бы разделались и семью бы не пощадили».

Характерно, что и проза Булата Окуджавы, в первую очередь особенно полюбившееся мне «Путешествие дилетантов», — это тоже продолжение его песенной поэзии. Только в другой стране стране прозы. Может быть, именно поэтому и проза его так же неповторима по своей интонации, как песни.

Окуджава часто перемещал себя в любимое им начало XIX века, мысленно становясь на место своего литературного героя. Эта эпоха — «дней Александровых прекрасное начало», восстание декабристов, «глоток свободы», пушкинская пора — привлекали его более всего:

> А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем
> поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа.

На одном из вечеров его спросили, почему он так любит декабристов и ничего не пишет о народовольцах. Он помолчал и ответил: «Какие-то они — оголтелые». Трудно сказать точнее.

И все же нельзя не согласиться с мнением Владимира Войновича, что Булат Окуджава «в прозе был один из немногих, в поэзии — одним из нескольких, а в песне — первым и единственным».

Помню, в конце 70-х годов я организовал авторский вечер Окуджавы в нашем Институте океанологии. Булат заранее предупредил меня, чтобы его не просили петь — он будет выступать не как автор песен, а как писатель. Он вообще время от времени старался почему-то всячески отгораживаться от своих песен. Например, свою вышедшую незадолго до этого книгу «Путешествие дилетантов» он подарил мне с характерной надписью: «Дорогому Саше от бывшего гитариста». Такая форма надписи, как выяснилось позднее, была им весьма любима. Ему почему-то хотелось, чтобы его помнили не по песням, а знали как писателя. «Песни — как театр, они живут двадцать лет», — сказал он однажды Фазилю Искандеру.

В связи с его предупреждением, открывая вечер, я представил Булата аудитории как «поэта и исторического писателя». Здесь он неожиданно обиделся и поправил меня: «Я не исторический писатель. Разве можно сказать о «Войне и мире», что это исторический роман? Я просто писатель».

Привязанность к первой половине XIX века во многом роднила Окуджаву с Натаном Эйдельманом, с которым его

связывала многолетняя дружба. Написав в конце 60-х годов роман «Бедный Авросимов» и пьесу «Глоток свободы», где рассказывается о судебном следствии по делу Пестеля, он как прозаик принял эстафету этой темы от Юрия Тынянова, писателя и историка, более других любимого и Эйдельманом. Потом появились повесть «Мерси, или Похождения Шипова» (1971), романы «Путешествие дилетантов» (1978) и «Свидание с Бонапартом» (1983) и многочисленные песни, тесно связывающие кавалергардов, чей «век недолог», и гусара, «в Наталию влюбленного», с героями наших дней и самим автором.

Не случайно Окуджава, «грузин московского разлива», как он в шутку называл себя, родившийся на Арбате в родильном доме Грауэрмана, пишет о себе:

> Я дворянин арбатского двора.
> Своим дворам введенный во дворянство.

Не случайно он присваивает звание короля соседу по двору, простому парню Леньке Королеву, сложившему голову на войне. Не случайно обращается к своим согражданам с изысканным словом «кавалеры» («Капли Датского короля»), не случайно призывает вернуть в жестокий «век нынешний» утраченные рыцарские традиции минувшего века.

Рыцарственность как главная жизненная позиция — вот что прежде всего объединяет лирического героя Окуджавы с автором. Это более всего проявляется в таких его песнях, как «Женщина — ваше величество», «Вы пропойте, вы пропойте славу женщине моей», «Комсомольская богиня», «Ель моя ель, уходящий олень». Адресаты песен могли меняться, но возвышенное чувство любви и поклонения женщине как «Прекрасной даме» оставалось неизменным. В этом лирическая поэзия Булата Окуджавы сродни поэзии Пушкина.

Что касается прозы Булата Окуджавы, связанной с русской историей, то и она подвергалась самой жестокой и необъективной критике в 1969 и 1979 годах в статьях Владимира Бушина. В первой статье в издевательской форме критиковался роман «Бедный Авросимов». При этом неграмотность Бушина проявилась сразу же, начиная с заголовка статьи, в качестве которого он взял фразу из романа «Удобности производить революцию», не подозревая, что фраза взята из документов Пестеля. Во второй статье, напечатанной 10 лет спустя в журнале «Москва», известном своим «патриотическим» направлением, Бушин старательно выискивал ошибки и исторические несоответствия в романе «Путешествие дилетантов».

Непозволительный злорадный тон обеих статей со всей очевидностью показывал, что дело вовсе не в исторических ошибках, а в том, что нечего, мол, грузину лезть в нашу русскую историю. Эта шовинистическая черносотенная основа так же отчетливо просматривалась в обоих пасквилях малоодаренного критика Бушина, как почти на десять лет позже в упомянутом выше письме талантливого писателя Виктора Астафьева к Натану Эйдельману. К сожалению, достойного отпора со стороны друзей Окуджавы, как считал Булат; Бушин не получил. Ответная статья Валерия Оскоцкого в «Литературной Грузии» прошла относительно незаметно, и все получилось почти как в песне Булата:

Умный в одиночестве гуляет кругами,
Он ценит одиночество превыше всего.
И его так просто взять голыми руками…
Скоро их повыловят всех до одного.

С Булатом Окуджавой я познакомился впервые где-то в середине 60-х годов, когда он недолгое время жил в Ленинграде, и мы с ним участвовали в каких-то общих выступлениях, а в 1965 году сидели вместе в жюри ленинградского конкурса авторской песни во Дворце культуры имени С. М. Кирова на Васильевском острове. Справедливости ради следует отметить, что к моим тогдашним песням и стихам он относился довольно критически, в чем, по всей видимости, был прав. В последующие поды его мнение существенно изменилось. Где-то с начала 80-х мы подружились, сначала через посредство Тоника Эйдельмана, с которым вместе жили в поселке Переделкино, а потом и просто так.

В 86-м году, осенью, мне довелось вместе с Булатом Окуджавой, Натальей Горленко и большой группой бардов принять участие в поездке с гала-концертами по городам России, организованной Лидией Киселевой из Ленинграда. В географию поездки входили Казань, Набережные Челны, Саратов, Петербург и еще какие-то города. Поездка была довольно утомительной. Выступать приходилось в больших залах, а в Набережных Челнах — даже на открытом стадионе, чего Окуджава не любил, справедливо полагая, что авторская песня — для небольших аудиторий. В связи с этим нельзя не вспомнить поражающее своей скромностью заявление одного весьма популярного эстрадною автора-исполнителя: «Ну, какой же Окуджава поэт? Вот я могу держать стадион, а Окуджава не может. Так кто из нас поэт — я или Окуджава?» На этот раз Окуджава вполне «держал

стадион», был вообще весел, оживлен и на редкость демократичен. Возможно, эта поездка была и для него «глотком свободы». Мне почему-то особенно запомнилось наше с ним посещение старого кладбища в Елабуге, где похоронена Марина Цветаева.

С этой поездкой связан один курьезный случай. В Ленинграде мы выступали в большом концертном зале Дворца молодежи на Петроградской. Известный бард Вадим Егоров, принимавший участие в концерте, со свойственной ему эстрадной патетикой пел со сцены свою песню «Баллада о певчей стае», посвященную Булату Окуджаве и написанную к его шестидесятилетнему юбилею:

Запомним этот март, и занавеса плеск, и дату.
Запомним этот зал, где души и глаза светали,
Запомним этот день, когда на юбилей Булата
Стремительно птенцы гнезда Булатова слетались.

Последние строки песни, которые Вадим спел с особенной аффектацией, были такие:

Летит наш певчий клин, которому названья нету,
И впереди вожак, которого зовут Булатом.

Находившийся за сценой и не слышавший, что поет Егоров, Булат должен был выступать следующим. Когда в своей первой песне про дураков он дошел до строчек:

Дураки обожают собираться в стаю.
Впереди — главный во всей красе, —

в зале раздались дружный смех и аплодисменты.

В моих бумагах до сих пор хранится один забавный документ — решение худсовета Татарской филармонии о тарификации Окуджавы Б. Ш. и Городницкого А. М. как «чтецов-декламаторов 2 категории с оплатой за выступление 14 рублей 30 копеек».

В последние годы жизни Булата мы часто встречались с ним в летнюю пору в Переделкино, где мы с женой снимали комнату в дачном поселке Мичуринец, неподалеку от дачи Окуджавы на улице Довженко. Он жил там, как правило, один, работая над очередным романом, сам готовил себе обеды, копал огород, ходил на прогулки и любил время от времени вечерком зайти к

нам на чай «посплетничать» (его любимое выражение). К тому времени он уже перенес тяжелую операцию на сердце, жил со стимулятором и время от времени жаловался на неважное самочувствие.

Несмотря на это, он активно работал вместе с Львом Разгоном и другими в Комиссии по помилованию при Президенте и каких-то других общественных комиссиях и жюри. Писатель Леонид Жуховицкий вспоминает, что когда Анатолий Приставкин, возглавлявший Комиссию, предложил Окуджаве войти в ее состав, тот сказал: «Я не могу судить людей». «Ты никого не будешь судить, — ты будешь миловать», — ответил Приставкин, и Окуджава согласился. Это очень характерно для Булата. В своих суждениях он, как правило, избегал категорических оценок. На одном из выступлений в ЦДЛ на записку «Кто Вам нравится из современных поэтов?» он, добродушно улыбнувшись, ответил: «Все хорошие». Когда Жуховицкий поведал ему как-то, что его сосед по Переделкино, известный в свое время официозный поэт Егор Исаев, лауреат государственных премий, возглавлявший долгое время редакцию русской поэзии в издательстве «Советский писатель» и на дух не переносивший Булата, завел у себя на даче кур и продаст яйца, Булат сказал: «И слава Тебе, Господи, — нашел человек настоящее дело». Одним из самых отрицательных отзывов в его устах были слова: «Это — холодный человек». Сам он холодным человеком не был и все события принимал близко к сердцу.

Вспоминаю, как вскоре после октябрьских событий 93-го года в Москве он ездил выступать в Минск, где провокаторы, организованные тамошними сталинистами, устроили Булату Окуджаве безобразную обструкцию, кидали ему под ноги его книги и пластинки, освистывали его, оскорбляли. Собравшаяся на площади перед консерваторией, где проходил концерт, толпа размахивала красными флагами и плакатами с надписями «Окуджава, вон из Белоруссии!» Он перенес это стоически, не вступая с ними в диалог. Несмотря на все усилия «красно-коричневых», концерт все-таки состоялся.

Неподалеку от Булата, на той же улице Довженко, поселился наш общий знакомый журналист Юрий Щекочихин. Как-то летом мы встретились у него на дне рождения, где был обещан «настоящий кавказский шашлык». Народу собралось много. Все пили обильно выставленные напитки и ожидали шашлыка. Неожиданно для всех в разгар мероприятия в калитку вошли запыхавшиеся друзья именинника, которые вели на веревке живого барана. Гости приуныли. Стало ясно, что до шашлыка далеко. Булат тут же вспомнил, что он — член общества по

охране животных и в самых категорических выражениях выразил протест против преобразования жалобно блеющего барана в шашлык. Получив такую могучую поддержку, баран как-то незаметно освободился от веревки и убежал в открытую калитку, за которой, возможно, был изловлен другими любителями шашлыков. В тот вечер Булат в разговоре со мной сетовал на то, что «стихи идут время от времени. А вот с песнями хуже, — мелодий не стало». Я засмеялся: «Наш с тобой разговор напоминает анекдот: «Один мужик жалуется другому — я уже седьмой год импотент. А второй отвечает — а я, тьфу, тьфу, тьфу, — всего три года»».

Последние переделкинские встречи летом и осенью 96-го, в музее Корнея Ивановича Чуковского и у нас на даче, были невеселыми. Булат жаловался на здоровье, на легкие, сетовал на то, что вот придется опять ехать в Европу с выступлениями, отрываясь от привычного ритма переделкинской жизни, от работы над книгами. «Врачи не советуют менять ритм жизни». С грустью вспоминаю я теперь об этих днях.

Известие о смерти Булата Окуджавы я получил неожиданно, под Челябинском на Ильменских озерах, где 10–13 июня 1997 года проходил Уральский фестиваль авторской песни. Услышанному ночью по Би-Би-Си сообщению не поверили и стали проверять по Интернету. К несчастью, оно подтвердилось. Воскресный день 13 июня был ясным и солнечным. На берегу озера, на самодельных трибунах и склонах холма в ожидании дневного заключительного концерта с утра разместилось несколько тысяч молодых людей, до которых трагическое известие еще не дошло. Настроение было праздничным, — кое-где звенели гитары и раздавался смех. Я как председатель жюри должен был объявить им о смерти Окуджавы. Помню, как невыносимо тяжело было подниматься на сцену. Как язык упорно отказывался произносить роковые слова. Какая душная, беспросветная тишина повисла над поляной, когда все, сразу онемев, встали.

Через несколько дней, вместе со всей Москвой, я пришел прощаться с Булатом в Вахтанговский театр, где состоялась гражданская панихида. Будучи уверен, что придется в толпе прорываться через всякие кордоны, я сдуру надел джинсовый костюм, но писателей провели обходным путем, и я горько сожалел о своем нелепом одеянии, когда стоял у гроба в почетном карауле.

В развороченном сердце Арбата
Я стоял возле гроба Булата,

Возле самых Булатовых ног,
С нарукавным жгутом красно-черным,
В карауле недолгом почетном,
Что еще никого не сберег.
Под негромкие всхлипы и вздохи
Я стоял возле гроба эпохи
В середине российской земли.
Две прозрачных арбатских старушки,
Ковылять помогая друг дружке.
По гвоздичке неспешно несли.
И под сводом питающий голос.
Что отличен всегда от другого.
Возникал, повторяясь в конце.
Над цветами засыпанной рампой,
Над портрет освещающей лампой
Нескончаемый длился концерт.
Уступая пространство друг другу.
Песни шли, словно солнце, по кругу.
И опять возникали сначала
После паузы небольшой,
Демонстрируя в ходе финала
Разобщение тела с душой.
И косой, как арбатский художник.
Неожиданно хлынувший дождик
За толпою усердно стирал
Все приметы двадцатого века.
Где в начале — фонарь и аптека,
А в конце — этот сумрачный зал.
И, как слезы глотая слова.
Нескончаема и необъятна,
Проходила у гроба Москва,
Чтоб уже не вернуться обратно.

Когда мы говорили с моим другом Юлием Крелиным, можно ли было бы все-таки спасти Окуджаву, случись беда не во Франции, а дома, он, профессиональный врач, пожав плечами, сказал, что сомневается в этом. «Во-первых, французские врачи все делали правильно. Во-вторых — дело не в болезни. В последнее время у меня было четкое ощущение, что Булат уходит».

На отпевании Булата в церкви святых Космы и Дамиана и похоронах на Ваганьковом, куда его вдова Ольга Владимировна просила «не приходить никого, кроме ближайших друзей», я не

был. Мне вообще показалось странным, что его за несколько дней до смерти, уже в бессознательном состоянии окрестили, хотя при жизни он не был религиозным. Скорее — наоборот. Не случайно в его песнях и стихах, как правило, вместо слова «Бог» стоит слово «Природа» («У природы на губах коварная улыбка», «Как умел так и жил, а безгрешных не знает природа»). Впрочем, вопрос это не простой. Отпевавший его священник отец Георгий в своей проповеди назвал его псалмопевцем. Ибо, подобно тому, как, читая псалмы, видишь как в зеркале собственную душу, так, слушая песни Окуджавы, человек в 60-е годы увидел в них самого себя. Да и сам Булат, написавший песню «Молитва», стал, по существу, пророком нашего поколения, вернувшим людям смысл и свет жизни. Не случайно многие крылатые строчки его песен сродни заповедям Нового Завета.

Кстати, именно Окуджава, всегда бывший подлинным русским патриотом, рассказал мне однажды кавказскую притчу о существе патриотизма.

Пришли к сороке и спросили, что такое Родина. «Ну, как же, — ответила сорока, — это родные леса, поля, горы». Пришли к волку и спросили у него, что такое Родина. «Не знаю, — сказал волк, я об этом не думал». А потом взяли обоих, посадили в клетки и увезли далеко. И снова пришли к сороке и задали тот же вопрос. «Ну, как же, — ответила сорока, — это родные леса, поля, горы». Пришли к волку, а волка уже нет — он сдох от тоски».

В 98-м году указом президента Ельцина «в целях увековечивания памяти Булата Окуджавы» была учреждена Государственная литературная премия его имени с довольно странной формулировкой: «За создание выдающихся произведений русской поэзии и вклад в авторскую песню, соизмеримый с вкладом Булата Окуджавы». И кто же это придумал? Да разве можно хоть что-нибудь соизмерить с его вкладом?

В мае того же года мне домой позвонил заместитель главного редактора еженедельника «Вечерний клуб», известивший меня, что газета выдвигает на эту премию мою кандидатуру. Через несколько дней раздался звонок из Питера. Звонил критик Александр Рубашкин, бывший когда-то в незапамятном 65-м году редактором моей первой, довольно беспомощной книжки стихов «Атланты». Он сказал, что правление петербургской писательской организации на своем заседании также решило выдвинуть мою кандидатуру на премию имени Булата Окуджавы. «Хоть ты нас и бросил четверть века назад, а мы все-таки считаем тебя своим». Мое питерское сердце ностальгически заныло, когда я прочитал копию письма питерской писательской организации в Комиссию

по Государственным премиям: «Хотя Александр Городницкий много лет живет в Москве, но он родился и вырос в Ленинграде. Здесь происходило его становление как поэта. Родному городу посвящены его лучшие стихи и песни». Еще через неделю позвонил Яков Аронович Костюковский, заместитель председателя правления Международного Литфонда с таким же сообщением. Что мне было делать? А как же «соизмеримый вклад»? Махнув рукой на все, я согласился.

В декабре 98-го, когда я был в отъезде, мне домой позвонил главный редактор «Знамени» Сергей Иванович Чупринин, сообщивший моей жене «по секрету», что моя кандидатура в комиссии по премиям «поддержана единогласно». После позвонили с такими же известиями другие члены комиссии — Вячеслав Пьецух и Андрей Битов. Уже после того, как в газетах был опубликован Указ президента, я узнал некоторые подробности обсуждения. Выяснилось, что мою кандидатуру горячо поддержали Алла Пугачева и Олег Янковский. Я даже не подозревал, что они вообще когда-нибудь слышали обо мне.

Премию вручали в Кремле вместе с другими Государственными премиями 11 июня 1999 года, накануне недавно утвержденного праздника — Дня независимости России, пришедшегося на 12 июня — годовщину смерти Булата Окуджавы, день рождения которого, 9 мая, пришелся на другой праздник — День Победы. Я перед этим был в США вместе с группой «Песни нашего века», откуда, прервав гастроли, прилетел 10 июня. Только что отремонтированный Георгиевский зал Кремля, сиявший свежей позолотой и ослепительным зеркалом паркетных полов, был полон знатными гостями. Я, как уже упоминал, оказался чуть ли не единственным из всех присутствующих без галстука, и на меня неодобрительно косились. Вызванные для вручения премии сначала стояли в очереди на роскошной лестничной площадке перед длинными столами, и расписавшись, совали в карманы конверты с полученными деньгами, а потом проходили в Георгиевский зал. Приятная толщина конвертов обнадеживала. Я еще раньше, сразу после публикации Указа, объявил по радио, что считаю своим долгом передать всю полученную мною премию общественному музею Булата Окуджавы в Переделкино, и рассчитывал, что смогу ему всерьез помочь. Как раз назавтра, 12 июня, в годовщину смерти Булата был намечен вечер его памяти в Концертном зале им. Чайковского на Маяковской площади, и я планировал в начале вечера вручить деньги прямо на сцене директору музея.

В Георгиевском зале, пока ожидали президента, будущих лауреатов ознакомили с протоколом вручения. От награжденных

с ответным словом должны были выступать всего два человека: поэт Игорь Шкляревский и актер Михаил Ульянов. Остальные, подойдя к президенту, могли только кратко поблагодарить его, не утомляя долгой беседой. Вошедший Ельцин выглядел непривычно бодрым и свежим, не в пример тому, что мы видели в последнее время по телевидению. Церемония вручения дипломов и медалей явно ему нравилась. Меня вызвали где-то в конце. Когда я подошел к Ельцину вплотную, он оказался значительно выше меня. Лицо его расплылось в выжидательной улыбке.

— Спасибо вам, Борис Николаевич, — сказал я ему, — что такая премия стала возможна в России. Ведь ни Галич, ни Высоцкий, ни сам Окуджава долгие годы ничего кроме травли и гонений от этого государства не получали. И я так понимаю, что эта первая в истории России Государственная премия за авторскую песню вручается не мне, а им. А вот за то, что через меня, — спасибо.

Ельцин еще шире улыбнулся и, утопив мою ладошку в своей необъятной медвежьей лапище, прорычал: «Правильно. Это будет хорошая для них память».

После чего, вручив мне диплом и необъятный букет, развернул меня лицом к телеобъективам.

На премию, переданную музею (она оказалась довольно скромной чуть менее пятнадцати тысяч рублей) купили видеокамеру и тент, который теперь натягивают во дворике дома в Переделкино во время концертов. В самом доме, со стен которого улыбаются портреты Булата, молча стоят на полках десятки колокольчиков, которые он собирал при жизни. Музей пока общественный, чиновниками от культуры не признан и существует только благодаря энтузиазму его общественного директора — Ирины Ритиной и ее многочисленных помощников. Теперь там регулярно устраиваются литературные и музыкальные вечера, звенят гитары. В комнате, где вроде бы совсем недавно мы пили с Булатом сухое вино, гости почтительно косятся на коллекцию колокольчиков. Кажется, сам дух Окуджавы витает над этим еще не остывшим от его присутствия домом. И все-таки с каждым годом:

Все слабее запах очага и дыма, молока и хлеба.

И когда мне доводится бывать там, зимой и в летнюю пору, и я слышу молодые голоса в ограде Булатова двора, на память снова приходят бессмертные строки его ранней песни:

Не клонись-ка ты, головушка, от невзгод и от обид.

Мама, белая голубушка, утро новое горит.
Все оно смывает начисто, все разглаживает вновь…
Отступает одиночество, возвращается любовь.

Не пойте без меня

Мы совсем недавно перевалили через рубеж третьего тысячелетия, и еще можно оглянуться на стремительно удаляющийся от нас Двадцатый век. Для нового поколения молодежи «поющие шестидесятые», первая оттепель хрущевской поры — время такое же давнее, как для моего Первая мировая война. Новый ускоряющийся ритм жизни, Интернет, мгновенно связывающий континенты и грозящий заменить книги, — почти как у Рея Бредбери в «451˚ по Фаренгейту». Победное шествие постмодернизма и других суперсовременных течений в искусстве, отменивших рифмы и ритм в стихах, мелодию в музыке и похожесть в рисунке. Объявление нравственности в литературе устаревшим атавизмом. То тлеющая, то вновь вспыхивающая Чеченская война. Растущая национальная, социальная и религиозная рознь, раскалывающая некогда единый народ на враждующие лагеря. Диктатура продажных чиновников вместо демократии. Поглотивший все криминал, проникающий во все эшелоны власти.

Все как будто призвано разделять людей, отталкивать их друг от друга. Не кажутся ли по-детски наивными сегодня знаменитые строки Булата Окуджавы, пением которых заканчивались когда-то многотысячные фестивали авторской песни: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке»?

Помню, где-то еще в начале 90-х годов он сказал мне: «Как все поменялось вокруг. Ведь когда-то мы были в авангарде, а теперь все наоборот. Мы в арьергарде». Справедливость его слов за последние годы стала очевидной. При распаде единого политического, экономического и культурного пространства на просторах бывшего Союза авторская песня из неподцензурного и крамольного искусства 60-х превратилась в одно из последних немногих средств объединения людей, борьбы за души следующего поколения, разъедаемые наркотиками, национализмом и криминалом. Если раньше ее основой было свободное дыхание в несвободной стране, атака на лживый авторитарный строй, то теперь она старается отстоять те немногие духовные ценности, которые еще сохранились в людских душах. «Не страшно потерять уменье удивлять — страшнее потерять уменье удивляться».

И несмотря на то, что первое поколение поющих шестидесятников навсегда осталось в прошлом веке, а на смену ему так и не пришла новая когорта поющих поэтов, потребность в песне осталась. Не случайно каждый год, так же как и прежде,

собирают многотысячные аудитории и Грушинский фестиваль, и другие многочисленные фестивали в России и за рубежом. Пока есть потребность петь вместе, пока существует не поддающееся разрушению единое песенное пространство, остается надежда на будущее.

Что же касается нашего поколения шестидесятников, на которое сегодня принято вешать всех собак, то оно уходит в историю вместе с веком. Несколько лет назад уже вышло учебное пособие по авторской песне для средней школы, составленное в Московском государственном университете профессором Новиковым с соавторами, — темы сочинений и домашних заданий, биографии и основные песни ведущих авторов. Не выучишь «Атлантов» — двойку получишь. Так что удивленная реплика девушки, познакомившейся с песней «Снег» еще в детском саду: «Я думала, вы давно уже умерли», — теперь не кажется мне смешной.

Говорят, что старики, как правило, песен не поют, а если и поют, так только то, что пели в молодости. Видимо, и я — не исключение:

Мне непонятен современный стих.
Пусть молодые учат молодых, —
Я никого из них судить не оправе,
Причастных к обольстительной отраве
Писательства, поскольку ни они,
Ни я — неинтересны для потомков.
Поэзия — наркотику сродни:
Чем дольше кайф, тем яростнее ломка.
Когда уходит время на закат,
Ежеминутно удлиняя тени,
Чужого не освою языка,
Чужих не оценю изобретений.
Бери перо смелее, ученик,
Смертельного не убоявшись яда,
Чтобы счастливым сделаться на миг,
Или на сутки, — большего не надо.
Не в результате дело: сам процесс
Сближает ощущением полета
И ястреба под золотом небес,
И ржавый лист, слетающий в болото.

В начале марта 2000 года мне позвонил технический директор фонда фестивалей памяти Грушина с просьбой поддержать его просьбу к директору фонда Михаилу Грушину —

выделить деньги на приобретение цифрового фотоаппарата. «Понимаете, ведь вот вы скоро уйдете, потом Берковский, потом еще кто-нибудь. Надо же срочно снимать, пока не поздно. Пожалуйста, объясните ему».

В марте этого же года в моем родном Питере в старом особняке на набережной адмирала Макарова, неподалеку от Пушкинского Дома, где помещается теперь «Центр современной литературы и книги», состоялась презентация моей книги «Избранные стихи и песни». Забавно, что когда я, приглашая питерских друзей на презентацию, называл им адрес, они, кивая, говорили: «А, это у Каралиса». Таинственное это слово, звучание которого вызывает в памяти то ли коралловые рифы, то ли сказочные персонажи, оказалось просто фамилией директора центра Дмитрия Николаевича Каралиса, симпатичного молодого человека, приютившего под кровом отреставрированного особняка начала XIX века питерских писателей, ставших бездомными, после того как несколько лет назад сгорел их дом на Шпалерной улице.

Книгу мою, впервые в жизни толстую и красивую, издало издательство «Лимбус-пресс» на деньги, которые дал один из активных деятелей новой экономики, оказавшийся моим поклонником, Сергей Александрович Васильев. Все это было не в зрительном зале, а в гостиной, вмещавшей около 70 человек, сидевших вокруг огромного старинного стола. Выступали разные люди: главный редактор журнала «Нева» Борис Никольский, с которым мы в конце незапамятных 40-х вместе занимались во Дворце пионеров в студии у Глеба Семенова; актер и поэт, мой давний друг Владимир Рецептер; директор Всероссийского института морской геологии академик Игорь Грамберг; критик Александр Рубашкин; композитор Михаил Слонимский; писатель Михаил Кураев; поэты Александр Кушнер и Илья Фоняков и многие другие.

Выступали пожилые люди и говорили не столько о стихах и песнях, сколько о прожитой жизни, с ними связанной. Борис Никольский вспоминал вечера во Дворце пионеров, Илье Фонякову запомнилась моя студенческая горняцкая форма с золотыми погончиками, убийственно, по его словам, действовавшая на филологинь, Грамберг вспоминал мои первые экспедиции на Крайний Север, Миша Кураев — наши с ним веселые похождения в лагере немецко-советской дружбы под Цесисом в 65-м году. От всего этого было грустновато.

В битком набитом зале, где не было ни одного свободного стула, отчетливо зияли прорехи. Не хватало тех, кто навсегда остался в ушедшем веке и чьи имена постоянно были на слуху в

этот вечер: Глеба Семенова, Натана Эйдельмана, Давида Самойлова, Булата Окуджавы и многих других, чьи имена менее известны. Это прилипчивое ощущение уныния не смогли спять ни мои звучавшие в конце песни, ни шумный фуршет, на котором и выпивать-то приходилось с оглядкой на здоровье.

В апреле того же года в Кемерово на сцену поднялась девушка с гвоздичкой в руках и вручила ее мне, сказав с улыбкой: «Спешу вручить ее вам живому, а не так, как в ваших стихах памяти Окуджавы».

В январе 2001 года в Санкт-Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме состоялся вечер, посвященный памяти Глеба Семенова и выходу из печати однотомника его стихов с предисловием Якова Гордина. Литературная критика на выход книги никак не отреагировала. Московская поэтесса Ирина Алексеева написала статью о поэзии Семенова, но ее никуда не взяли, ни в газеты, ни в журналы. Когда она попыталась предложить ее в «Литературную газету», там пожали плечами: «Мы не обязаны реагировать на всех второстепенных поэтов».

На вечере, который вел Яков Гордин, собрались постаревшие ученики Глеба Семенова, поредевшее и повыбитое поколение «глеб-гвардии семеновского полка». Выступали Александр Кушнер, Ольга Кириенко, Андрей Битов. Вспоминали тех, кого уже не стало, — Олега Тарутина, Татьяну Галушко, Нонну Слепакову, Леонида Агеева. Сутулые, седые и лысые, давние студийцы напоминали недовымерших ветеранов, собравшихся на запоздалый праздник победы.

В последнее время я ловлю себя на том, что все чаще оборачиваюсь назад, в прошлое. Старые друзья и собеседники уходят один за другим, а новых заводить уже поздно. Как гласит восточная мудрость, тот, кто сажает деревья под старость, уже не может надеяться, что будет сидеть в тени их ветвей. От этого — постоянно растущее чувство гнетущего одиночества и тревоги, которое не снимается ни аплодисментами на вечерах, ни патентованными таблетками. Врачи пожимают плечами и дружно советуют снять перегрузки, избегать нервных стрессов, больше отдыхать, перейти на «щадящий режим» и тому подобное. Совсем как в стихах Игоря Губермана:

> Увы, всему живому есть предел:
> Облез фасад, и вылезли стропила.
> В автобусе на девку поглядел, —
> Она мне молча место уступила.

Память начинает подводить, особенно по части всего

недавнего. «Память, как зрение, делается дальнозоркой: помню войну и не помню, что было вчера». Среди постоянной суеты текущих дел, шумного громыхания сегодняшних буден и ежедневных телевизионных страшилок, в моих ушах все явственнее звучат негромкие струнные аккорды давно умолкших гитар.

Дрожат, не просыхая,
Дождинки на стекле.
Пора глухонемая
Настала на Земле.
Я думал ли когда-то,
Что выживу хоть год
Без песенки Булата.
Без Юриных острот?

Сияет мир окрестный,
По-прежнему хорош.
Сегодняшние песни
Горланит молодежь.
Но нету мне мелодий
В полях родной страны
Без голоса Володи.
Без Жениной струны.

Идет к закату лето,
Покачивая рожь.
Не чокнешься с портретом
И песню не споешь.
И мы грустим под вечер
С приятелем вдвоем.
Нам выпить бы за встречу,
Да только мы не пьем.

В падении живу я,
Как лист на вираже.
Еще я существую.
Но нет меня уже.
Звучит мой голос глуше
И не окрепнет впредь,
И некого послушать,
И некому попеть.

А значит, без сомненья

Пора и мне туда,
В другие измеренья,
В другие города.
Где вместе вы сидите,
Гитарами звеня.
Постойте, погодите, —
Не пойте без меня.

Когда-то давно, классе, кажется, в пятом, в голодном послевоенном Питере мне попалась в какой-то книге старинная гравюра: человек забрался по лестнице на небо, просунул голову через дыру в небосводе и с интересом наблюдает, что происходит по другую его сторону. Картинку эту я неожиданно для себя вспомнил дважды совсем недавно: первый раз, когда наступил 2000 год, и мы, те кто дожил, перевалили в новое тысячелетие, и второй раз, когда услышал о расшифровке генома человека, о чем в июле 2000 года официально объявили лидеры стран «Большой восьмерки» на саммите на острове Окинава.

Двадцатый век стремительно удаляется от нас, становясь историей. Пожалуй, самым важным научным открытием в нем явилось открытие и освоение ядерной энергии, которое сразу же привело к созданию оружия массового уничтожения, Хиросиме и Нагасаки, Чернобыльской катастрофе и многим другим трагическим событиям, поставившим вопрос о самом существовании человечества и земной природы и реально приблизившим времена Апокалипсиса. Все разработки по этому направлению с самого начала велись учеными враждующих стран отдельно и в обстановке строжайшей секретности, привели к накоплению огромного арсенала ядерных вооружений, уничтожить которые оказалось труднее, чем создать. Все многолетние попытки мирового сообщества объединиться, ликвидировать ядерное оружие и поставить под контроль дальнейшие разработки неизменно наталкиваются на противодействие целого ряда развивающихся стран с авторитарными режимами — от Северной Кореи до Ирана. Угроза ядерной войны и связанного с ней самоуничтожения до сих пор висит над человечеством, перекочевав в новое столетие и заставляя людей называть ядерную энергию дьявольской, хотя мирное использование ее, казалось бы, сулило людям неисчислимые блага.

Исследования по изучению и расшифровке генома человека осуществлялись по открытой международной программе, с участием многих стран, в том числе и России, хотя ее финансовая

доля была более чем скромной. И по концептуальной сути эти исследования структуры ДНК человека, истории и условий их формирования близки к познанию великих тайн акта творения, которые, согласно религиозным представлениям, доступны только Богу. На открытия подобного масштаба человечество до сих пор не замахивалось.

По роду своей научной деятельности (а я, как геофизик, занимаюсь изучением строения и эволюции верхних оболочек нашей планеты) я далек от генетики, но хорошо помню, как на Международном геофизическом конгрессе несколько лет назад в Москве в МГУ выступал с докладом Протоиерей Духовной Академии, имевший научную степень доктора геолого-минералогических наук. Он доказывал в своем докладе, что все попытки предсказывать землетрясения заведомо бесплодны, поскольку это «Промысел Божий».

Так может ли человек приблизиться к Богу в управлении самыми главными проблемами, с которыми связано наше существование, проблемами устройства планеты, где мы живем, и нашего собственного устройства? Мне кажется, этот философский вопрос, веками напрягавший лучшие умы, с открытием генома человека приобретает новое звучание.

Обращает на себя внимание одна характерная особенность исследованной структуры генома человека: различия в генах для различных человеческих рас крайне незначительны и составляют менее тысячных долей процента. Это могучий удар по многочисленным до сих пор сторонникам человеконенавистнических расовых теорий. Незначительно также расхождение в генах для человека и животных. Это, с одной стороны, как бы подтверждает дарвиновскую теорию эволюции, с другой — может свидетельствовать в пользу единого акта творения. Вместе с тем результаты исследований показали, что даже весьма небольшое различие в генных структурах может дать огромное расхождение в эволюционных ветвях, что требует весьма осторожного подхода.

Вряд ли следует ожидать, что это замечательное открытие немедленно принесет человечеству исцеление от всех болезней. Опыт научных открытий показывает, что от принципиальных результатов до их практической реализации путь не близкий. И все-таки, если верить оптимистам, мы получаем ключ к решению главных проблем борьбы с неизлечимыми сегодня болезнями, такими, как рак, спид, диабет и многие другие. И возможно, не за горами те времена, когда средняя продолжительность жизни человека будет составлять 150 лет, а его активные творческие возможности существенно возрастут.

Но хотелось бы предостеречь моих доверчивых современников от поспешной эйфории. С одной стороны, медицина, в течение столетий до последнего нейрона детально изучившая анатомию и физиологию человека, так и не приблизилась к познанию тайны человеческой жизни. С другой, в человеческой истории практически не было ни одного великого открытия, которое не могло бы быть обращено во зло, и открытие генома человека — не исключение. Вспомним хотя бы чудовищные угрозы, которые сулят нам многочисленные романы, повести и фильмы в связи с непредсказуемыми возможностями генной инженерии. Может быть, действительно правы братья Стругацкие, предупредившие нас об опасности великих открытий в своем замечательном романс «За миллиард лет до конца света»? Способен ли человек подняться до Бога не только в возможностях познавать сокровенные тайны Вселенной и жизни, но и в высокой нравственности использовать это познание только во благо? Кто может ответить на это сегодня?

Перед нами два соседних века и два столь разных по своему существу великих открытия. Новый век только начинается, и никто пока не знает, что он принесет нашим детям и внукам. Открытие генома человека внушает надежду, что, не в пример минувшему веку, он пройдет под знаком объединения усилий всех народов во имя добра.

Летом 2000 года мне довелось побывать в университетском городе Беркли в Калифорнии, где когда-то велись первые ядерные исследования в США и Оппенгеймер трудился над атомной бомбой. На небольшой площади, рядом с первым синхрофазотроном, превращенным теперь в памятник, и музеем ядерных исследований, по которому водят школьников, на детской площадке, установлены причудливые сооружения из чугуна, напоминающие современные абстрактные скульптуры. Оказывается, это схемы строения ДНК живой природы. На скульптурах укреплены таблички с изображением растений, рыб, животных и людей, и написано, что все это состоит из ДНК. Многочисленные малыши с радостным хохотом и криком взбираются на эти сооружения и скатываются обратно, нисколько не подозревая, что когда они вырастут, эти схемы возможно и на самом деле станут такими же доступными и понятными, какими кажутся им сейчас. Зато они уверены, что завтрашний день принесет им только счастье.

Очень хотелось бы поверить в это и нам, жителям России, где начало нового тысячелетия ознаменовалось трагическими событиями — неизлечимой войной в Чечне, гибелью атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море и очередными

разочарованиями в наивных надеждах на лучшее. Что ждет нашу страну, какие песни будет петь она завтра? Бог весть.

Я обошел все континенты света,
А город мой все тот же с давних пор,
Там девочка, склонясь у парапета,
Рисует мост, решетку и собор.

Звенят трамваи, чаек заглушая,
Качает отражения вода.
А я умру, и часть меня большая
Не убежит от тлена никуда.

Моих стихов недолговечен срок.
Бессмертия мне не дали глаголы.
Негромкий, незначительный мой голос
Сотрут с кассет, предпочитая рок.

Прошу другого у грядущих дней,
Иная мне нужна Господня милость,
Чтобы одна из песен сохранилась,
Став общей, безымянной, не моей.

Чтобы в лесной далекой стороне,
У дымного костра или под крышей,
Ее бы пели, голос мой не слыша
И ничего не зная обо мне.

Александр Городницкий, 1988 год.